

Меченосцы. Генрик Сенкевич

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

В Тынце на принадлежащем аббатству постоялом дворе под вывеской "Лютый Тур" сидели несколько человек и слушали рассказы бывалого солдата, который, придя из дальних стран, говорил о приключениях, случившихся с ним на войне и во время дороги.

Это был бородатый, в расцвете лет, широкоплечий, почти огромный, но исхудалый человек; волосы его были подобраны в сетку, расшитую бисером; на нем был кожаный кафтан с полосами, оттиснутыми панцирем, и пояс из медных блях; за поясом – нож в роговых ножнах, на боку – короткий дорожный кинжал.

Рядом с ним за столом сидел юноша с длинными волосами и веселым взглядом, по-видимому, его товарищ, а может, и оруженосец, он также был одет по-дорожному, в такой же кожаный кафтан со следами панциря. Прочее общество состояло из двух землевладельцев из окрестностей Кракова и трех горожан в мягких красных шапках, острые концы которых свешивались у них до самых локтей.

Хозяин, немец в желтом кафтане с зубчатым воротником, разливал им из бочонка в глиняные кружки крепкое пиво и с любопытством прислушивался к военным рассказам.

Но еще с большим любопытством слушали горожане. В те времена ненависть, еще при Локотке разделявшая горожан с рыцарями-землевладельцами, значительно уже остыла, и горожане держали голову выше, чем это было впоследствии. В то время еще ценили их готовность *ad concessionem pecuniarum* [1], поэтому часто случалось видеть на постоянных дворах купцов, пьющих запанибрата со шляхтой. С ними водили знакомство даже охотно, как с людьми денежными: обычно они платили за шляхтичей.

И вот точно так же сидели теперь они и разговаривали, время от времени подмигивая хозяину, чтобы он наполнял кружки.

– Так вы, благородный рыцарь, погуляли-таки по свету, – сказал один из купцов.

– Не многие из тех, которые теперь со всех концов собираются в Краков, видели столько, – отвечал прибывший рыцарь.

– А немало их соберется, – продолжал горожанин, – большой праздник и, большое счастье для королевства. Говорят, да так должно быть и есть, что король приказал все ложе королевы обить парчой, расшитой жемчугом, и поставить над ним такой же балдахин. Будут игры и состязания, каких до сих пор мир ни видывал.

– Кум Гамрот, не перебивай рыцаря, – сказал другой купец.

– Я и не перебиваю, кум Эйертретер, а только так думаю, что ему приятно будет узнать, о чем говорят: ведь он небось и сам едет в Краков. Сегодня мы и так не вернемся в город, ворота уже будут заперты, а ночью зверь, который водится в щепках, спать не даст: значит, хватит времени на все.

– А ты на одно слово отвечаешь двадцать, стареешь, кум Гамрот.

– А все-таки штуку мокрого сукна одной рукой подыму.

– Эва! Такого, которое просвечивает как сито!

Но дальнейшую ссору прервал захожий воин, сказавший:

– Конечно, я останусь в Кракове, потому что слышал о состязании и рад буду использовать свою силу на арене, да и племянничек мой тоже: он хоть и молод, и безус, а уже не один панцирь сбил на землю.

Гости взглянули на мальчика, который весело усмехнулся и, заложив руками длинные свои волосы за уши, поднес к губам кружку пива. Старый рыцарь прибавил:

– Да если бы и хотели мы возвратиться, так некуда.

– Как так? – спросил один из шляхтичей. – Кто вы, и откуда, и как вас зовут?

– Меня зовут Мацько из Богданца, а этот подросток – сын моего брата, зовут его Збышко. Мы герба Тупой Подковы.

– А где он, ваш Богданец?

– Э, лучше спросите, где он был, потому что его уж нет. Еще во времена войны гримальтов с наленчами сожгли наш Богданец дотла, так что один старый дом остался, а что было, все растащили; слуги все разбежались, осталась голая земля, потому что даже крестьяне, жившие по соседству, ушли дальше в лес. Снова построились мы с братом, с отцом вот этого мальчика, а на другой год снесло нас наводнение. Потом брат умер, а как умер, так и остался я один с сестрой. Думал я тогда: не усiju. А поговаривали тогда про войну и про то, что Ясько из Олесницы, которого король Владислав послал в Вильну за Миколаем из Москожева, усердно ищет рыцарей по всей Польше. И вот, зная достойного аббата и родственника нашего, Янка из Тульчи, заложил я ему землю, а на деньги купил оружие, лошадей и снарядился, как следует, на войну; мальчику было тогда двенадцать лет, посадил я его на лошадь и – марш к Яську из Олесницы.

– С подростком?

– Он и тогда подростком не был – здоров был с малолетства; бывало, на двенадцатом году упрется самострелом в землю, нажмет животом, да так тетиву натянет, что ни одному англичанину, которых мы видали под Вильной, лучше не натянуть.

– Такой был сильный?

– Шлем он носил за мной, а как минуло ему тринадцать лет, так и щит.

– А воевать вам было где?

– Все по милости Витольда. Сидел князь у меченосцев и каждый год делали набеги на Литву и Вильну. Шел с ними разный народ, немцы, французы, англичане, – великие мастера из луков стрелять, – чехи, швейцарцы, бургунцы. Леса они вырубали, строили по дороге крепости и под конец покорили Литву огнем и мечом, так что весь народ, который живет в этой земле, хотел уже бросить ее и искать другой, хотя бы на краю света, хотя бы среди детей Велиала, только бы подальше от немцев.

– Слышно было и здесь, что все литовцы хотели уйти с женами и детьми, да мы этому не верили.

– А я это видел. Эх, если бы не Миколай из Москожева, если бы не Ясько из Олесницы, да – без хвастовства сказать! – кабы не мы, не было бы уже Вильны.

– Знаем! Крепости вы не сдали.

– Не сдали. Вы рассудите, что я вам скажу, потому что я человек служилый и войну знаю. Еще старики говорили: "крутая Литва" – и это верно. Дерутся они хорошо, но с рыцарями им не тягаться. Вот когда увязнут немецкие кони в болоте, либо падут в густых лесах, тогда дело другое.

– Немцы – хорошие рыцари! – воскликнули горожане.

– Стеной стоят они рядом друг с другом в железных латах, так закованные, что насили у них глаза разглядишь за решеткой. Стенкой идут. Ударит, бывало, Литва и рассыплется, как песок, а если не рассыплется, так немцы их всех уложат и перебьют. Да между ними – не одни немцы. Сколько ни есть народов на свете – все служат у меченосцев. И храбрые же! Иной раз наклонится рыцарь, выставит копьё и один-одинешенек, прежде чем битва начнется, налетит на целое войско, как ястреб на птичью стаю.

– Иисусе Христе! – воскликнул Гамрот. – А кто же из них лучше всех?

– Смотря для чего. Из самострелов всех лучше англичане стреляют. Они насквозь пробивают стрелой панцирь, на сто шагов в голубя попадают. Чехи отчаянно топорами рубятся, для двуручного меча нет никого лучше немца. Швейцарец железным цепом расшибает шлемы, но самые лучшие рыцари те, которые происходят из французской земли. Такой рыцарь будет драться и с конницей, и с пехотой, да еще таких слов военных наговорит тебе, что и не всегда поймешь. Уж это такой язык, точно кто оловянными мисками стучит одна об другую, хоть народ они набожный. Обвиняли они нас через немцев, что защищаем мы язычников и сарацин от креста, и обещались доказать это рыцарским поединком. Вот и произойдет такой Божий суд между четырьмя ихними и четырьмя нашими, а встреча назначена при дворе Вацлава, короля римского и чешского [2].

Тут еще большее любопытство охватило дворян и купцов: они даже головы вытянули в сторону Мацька из Богданца и давай расспрашивать:

– А из наших кто? Говорите скорее!

Мацько поднес кружку к губам, отхлебнул и ответил:

– Э, не бойтесь за них. Ян из Влоцовой, каштелян добжинский, Миколай из Вашмунтова, Ясько из Здакова, да Ярош из Чехова. Все рыцари на славу, ребята огромные. До копей ли дело дойдет, до мечей ли, до топоров – им не впервой. Будет людям на что посмотреть, будет чего послушать: ведь я уж сказал – как французу на горло наступишь, так он тебе рыцарские слова говорит. Богом клянусь и святым крестом, что те прогадают, а наши их побьют.

– Будет слава, только бы Бог благословил, – сказал один из шляхтичей.

– И святой Станислав, – прибавил другой.

После этого, обратившись к Мацьке, он стал расспрашивать дальше:

– Ну, рассказывайте. Прославляли вы немцев и других рыцарей, что они храбрецы и легко Литву били. А с вами им не трудней приходилось? Так же ли охотно шли они на вас? Как вам Бог помогал? Прославляйте и наших!

Но, видно, Мацько из Богданца не был самохвалом, он скромно ответил:

– Те, которые только что пришли из чужих краев, храбро напали на нас, но, попытавшись разок-другой, делали это уже не с таким легким сердцем. Народ наш упорный и за это упорство часто нас укоряли: "Вы, дескать, смертью пренебрегаете, но помогаете сарацинам, и будете за это осуждены". А в нас упорство еще росло от этого, потому что неправда, король с королевой Литву окрестили, и каждый пан признает Господа Иисуса Христа, хоть и не каждый умеет это делать. Всем известно, что и милосердный наш повелитель, когда бросили наземь дьявола в плочком капище, велел ему огарок свечи поставить, и пришлось ксендзам объяснять ему, что этого делать нельзя. Так что ж говорить о простом человеке. Другой так рассуждает: "Велел мне князь креститься, я окрестился; велел мне Христу класть поклоны, я и кладу, но с какой стати мне старым языческим дьяволам жалеть горсть творога. Почему бы не бросить им печеной репы либо не плеснуть пивной пены. Не сделаю я этого, так у меня кони падут, либо коровы запаршивеют, либо в молоке у них кровь покажется, либо хлеба погибнут". И многие так делают, и через то попадают на подозрение. А делают они это по незнанию и потому что боятся дьявола. В старые времена этим дьяволам было хорошо. Были у них свои роши и лошади для езды и десятинную дань им давали. А нынче леса вырублены, есть нечего, в городах звонят колокола, вот и попряталась вся эта нечисть в густые леса и воет там с тоски. Пойдет литвин в лес, то один дьявол, то другой дергает его за кожух, говорит: "Дай". Иные дают, но есть и смелые мужики: ничего дать не хотят, да еще самих дьяволов ловят. Один насыпал жареного гороха в воловий пузырь, так туда сразу тринадцать дьяволов влезло. А он заткнул их рябиновой втулкой да и принес в Вильну отцам францисканцам; они с радости дали ему двадцать скойцев [3], чтобы он врагов имени Христова уничтожил. Я сам видел этот пузырь; страшный смрад от него еще издали щекотал ноздри: так эти поганые духи страх свой перед святой водой выказывали.

– А кто считал, что их было тринадцать? – бойко спросил купец Гамрот.

– Литвин считал: он видал, как они лезли. Видно было, что они в пузыре, это по одному запаху можно было понять, а втулку никому не хотелось вынуть.

– Чудеса! – воскликнул один из шляхтичей.

– Больших чудес нагляделся я там; нельзя сказать, это хороший народ, а все у них по-своему, косматые они все и разве кое-кто только из князей волосы чешет, живут печеной репой и предпочитают ее всякой другой еде, потому что говорят, будто от нее храбрость растет; в хатах они живут вместе со скотиной и ужами, в питье и еде меры не знают. Замужних женщин ни во что не ставят, но девушек очень чтут и признают за ними большую силу: кому девушка натрет живот сухим яфером, у того боль проходит.

– Не жалко и захворать, коль хороши бабы, – воскликнул кум Эйертретер.

– Про это спросите Збышку, – ответил Мацько из Богданца. Збышко так засмеялся,

что под ним затряслась скамья.

– Бывают чудесные, – сказал он, – разве Рингалла не хороша была?

– Это что за Рингалла, бесстыдница, что ли, какая, ну?

– Как, вы не слышали о Рингалле? – спросил Мацько.

– Не слышали ни слова.

– Да ведь это сестра князя Витольда, жена Генрика, князя мазовецкого.

– Да ну, какого князя Генрика? Был один князь мазовецкий епископом плоцким, его так звали, да уж он помер.

– Он самый и был. Должно было ему прийти из Рима разрешение, да смерть дала ему разрешение раньше, потому что, видно, поступком своим он не больно Бога обрадовал. Я тогда послан был с письмом от Яська из Олесницы к князю Витольду; вдруг от короля приехал в Ритершвердер князь Генрик, епископ плоцкий. Война тогда уже надоела Витольду, потому что он Вильну занять не мог, а королю нашему надоели родные братья и их разврат. Видя, что у Витольда и ловкости и ума больше, чем у его родных, король послал к нему епископа уговаривать, чтобы он бросил меченосцев и покорился, а за это обещал ему отдать Литву. Витольд, всегда любивший перемену, выслушал посла благосклонно. Были тогда и пиры и состязания. Епископ охотно садился на коня и показывал рыцарскую силу свою на поединках, хотя другие епископы этого не одобряют. Все князья мазовецкого рода – силачи: известно, что даже девушки ихние легко ломают подковы, и вот один раз выбил князь из седел троих рыцарей, а из наших меня повалил, да под Збышкой конь присел на задние ноги, а награды все принимал он из рук прекрасной Рингаллы, перед которой во всеоружии преклонял колени. И так полюбили они друг друга, что на пирах оттаскивали от нее его за рукава клирики, которые с ним приехали, а ее сдерживал брат Витольд. Наконец князь сказал: "Я сам себе дам разрешение, а папа, если не римский, так авиньонский, мне его подтвердит, свадьба же пусть будет немедля, а не то сгорю". Великий был грех, но Витольд не хотел противиться, чтобы не обидеть посла королевского, и свадьбу сыграли, потом поехали они в Сураж, а потом в Слуцк к великому горю вот этого Збышки, который, по немецкому обычаю, избрал эту Рингаллу дамой своего сердца и поклялся ей в вечной верности...

– Да, – внезапно перебил его Збышко, – это правда. Но потом люди говорили, будто княгиня Рингалла смекнула, что не пристало ей быть женой епископа (ведь он хотя и женился, а от сана своего отказаться не хотел) и что не может быть над таким союзом благословения Божьего. И будто она мужа отравила. Услышав это, я попросил одного благочестивого пустычника из-под Люблина, чтобы он разрешил меня от моего обета.

– Пустынником-то он был, – ответил смеясь Мацько, – а был ли он благочестивым, не знаю: приехали мы в лес в пятницу, а он топором дробил медвежьи кости и мозг высасывал, так что у него глотка ходуном ходила.

– Но он говорил, что мозг не мясо, а кроме того, что выпросил себе на то разрешение, потому что у него после мозга бывают во сне чудесные видения и на другой день он может пророчить хоть до самого полудня.

– Ну ладно, – отвечал Мацько, – а прекрасная Рингалла теперь вдова и может тебя потребовать на службу.

– Напрасно она станет требовать, потому что я выберу себе другую даму, которой буду служить до смерти, а потом найду и жену.

– Ты сперва получи рыцарский пояс.

– Вона! Разве не будет состязаний, когда королева родит. Перед этим либо после этого король опояшет многих. Я против всякого выйду. И князь бы меня не повалил, кабы конь мой не сел на задние ноги.

– Тут будут люди получше тебя.

На это дворяне из-под Кракова заспорили.

– Помилуй бог, перед королевой выступят не такие, как ты, а самые славные рыцари в мире. Будет состязаться Завиша из Гарбова, и Фарурей, и Добка из Олесницы, и Повала из Тачева, и Пашко Злодей из Бискупиц, и Ясько Нашан, и Абданк из Гуры, и Андрей из Брохотиц, и Кристин из Острова, и Якоб из Кобылян... Где тебе равняться с ними, с которыми ни здесь, ни при чешском дворе, ни при венгерском не может равняться никто. Как это ты говоришь, что ты лучше их! Сколько тебе годков?

– Восемнадцать, – ответил Збышко.

– Так тебя каждый между ладонями разотрет.

– Посмотрим.

Но Мацько сказал:

– Я слышал, будто король щедро вознаграждает рыцарей, которые возвращаются с литовской войны. Вы люди здешние: скажите, правда ли это.

– Ей-богу, правда, – ответил один из шляхтичей. – Всему миру известна королевская щедрость, только теперь не легко будет до него добраться, потому что весь Краков полон гостей, которые съезжаются к родам королевы и на крестины, желая тем выказать почтение нашему господину. Должен приехать король венгерский; говорят, будет и император римский, и целая уйма разных князей да комесов [4], да рыцарей, и каждый рассчитывает, что уйдет не с пустыми руками. Сказывали даже, будто приедет сам папа Бонифаций, который также просит милости и помощи нашего повелителя против своего авиньонского недруга. Значит, в такой тесноте доступ будет нелегко, а пасть к ногам государя, так он уж достойно вознаградит того, кто заслужит этого.

– Ну и паду, потому что я этого заслужил, а если будет война, то пойду опять. Досталось мне там кое-что в добычу, а кое-что от князя Витольда в награду, не беден я, только подходят поздние мои годы, и хотелось бы мне под старость, когда выйдет из костей сила, найти себе покойный угол.

– Король с радостью встречал тех, которые вернулись с Литвы под начальством Яська из Олесницы, и все они теперь живут богато.

– Вот видите, а я еще тогда не вернулся, а продолжал воевать. Надо вам знать,

что согласие короля с князем Витольдом сказалося на немцах. Князь хитро выманил заложников и сам ударил на немцев. Замки разрушил, сжег, рыцарей перебил, кучу народа перерезал. Хотели немцы мстить вместе со Свидригайлой, который убежал к ним. Снова был большой поход. Сам магистр Конрад пошел на Литву с большим войском. Вильну осадили, пробовали при помощи огромных башен разрушать крепости, пробовали их брать хитростью и ничего не добились. А на обратном пути столько их пало, что и половины домой не вернулось. Выходили мы еще против Ульриха из Юнгингена, брата магистра, войта самбисского, но войт испугался князя и с плачем убежал, а после этого бегства начался мир и город отстраивался снова. Один святой монах, который босыми ногами может ходить по раскаленному железу, пророчествовал, что до тех пор, пока стоит мир, Вильна не увидит под стенами своими вооруженного немца, но если так будет, то чьи это руки так сделали?

Сказав это, Мацько из Богданца вытянул свои широкие, могучие руки, а все присутствующие стали кивать головами и поддакивать:

– Да. Да. Да. Он верно говорит. Он правильно говорит. Да.

Но дальнейший разговор был прерван шумом, донесшимся через окна, из которых были вынуты, затянутые пузырем, рамы, потому что ночь спускалась теплая и светлая. Издали слышался стук оружия, людские голоса, фыркание лошадей и пение. Все удивились, потому что час был поздний и луна высоко уже поднялась на небе. Немец-хозяин выбежал на двор, но прежде чем гости успели опорожнить кружки, он еще поспешнее вернулся назад, крича:

– Едет какой-то двор.

Минуту спустя в дверях появился слуга в голубом кафтане и мягкой красной шапке. Он остановился, оглядел присутствующих и, заметя хозяина, сказал:

– Эй, вытереть столы и зажечь свет: княгиня Анна Данута остановится здесь на отдых.

Сказав это, он повернулся и вышел. На постоялом дворе поднялась суматоха. Хозяин стал скликать челядь, а гости с удивлением поглядывали друг на друга.

– Княгиня Анна Данута, – сказал один из горожан, – да ведь это дочь Кейстута, жена Януша мазовецкого. Она уже две недели в Кракове, только выезжала в Затор в гости к князю Вацлаву, а теперь, видно, возвращается.

– Кум Гамрот, – сказал другой горожанин, – пойдем на сеновал: высока нам эта компания.

– Что они ночью едут, это меня не удивляет, – проговорил Мацько, – днем жарко, но почему она заехала на постоялый двор, коли под боком монастырь...

Тут он обратился к Збышке:

– Родная сестра прелестной Рингаллы.

А Збышко ответил:

– И мазовецких девушек с ней небось уйма. Эх!

II

В это время в дверь вошла княгиня, женщина средних лет, с улыбающимся лицом, одетая в красный плащ и узкое зеленое платье с золотым поясом на бедрах и низко застегнутой большой пряжкой. За княгиней шли придворные девушки, некоторые постарше, некоторые еще подростки, с розовыми и лиловыми веночками на головах и по большей части с лютнями в руках. Были и такие, которые держали в руках целые пучки свежих цветов, видимо только что собранных по дороге. Комната наполнилась; за девушками показалось несколько придворных и маленьких пажей. Все вошли бойко, с веселыми лицами, громко разговаривая или напевая, словно упоенные тихой ночью и ярким светом луны. Между придворными было двое певцов, один с лютней, другой с гусями у пояса. Одна из девушек, еще совсем молоденькая, лет двенадцати, несла за княгиней маленькую лютню, украшенную медными гвоздиками.

– Слава Господу Богу Иисусу Христу, – сказала княгиня, останавливаясь посередине комнаты.

– Во веки веков, аминь, – отвечали присутствующие, отвешивая низкие поклоны.

– А где хозяин?

Немец, услышав зов, вышел вперед и, по немецкому обычаю, встал на колени.

– Мы остановимся здесь отдохнуть и подкрепиться, – сказала княгиня, – хлопочи поскорей, а то мы проголодались.

Горожане уже ушли и теперь два местных шляхтича, а также Мацько из Богданца и юный Збышко поклонились вторично и собирались покинуть комнату, не желая мешать двору княгини.

Но она задержала их:

– Вы шляхтичи, значит, не помешаете. Познакомьтесь с моими придворными. Откуда вас бог несет?

Тогда они стали называть свои имена, прозвища, гербы и деревни, откуда кто родом. Наконец княгиня, услышав от Мацьки, откуда он возвращается, всплеснула руками и сказала:

– Вот какой случай! Расскажи же нам о Вильне, о моем брате и моей сестре. Приедет ли сюда князь Витольд к родам королевы и на крестины?

– Хотел бы, да не знает, сможет ли; поэтому он послал вперед с ксендзами и боярами в подарок королеве серебряную колыбель. С этой колыбелью приехали и мы с племянником, охраняя ее по дороге.

– Она здесь? Я хотела бы ее посмотреть. Вся серебряная?

– Вся серебряная, но ее здесь нет, ее повезли в Краков.

– А что же вы делаете в Тынпе?

– Мы здесь заехали к монастырскому прокуратору, нашему родственнику, чтобы отдать на сохранение благочестивым монахам то, что дала нам война и что подарил князь.

– Значит, Бог послал вам удачу. Хороша ли добыча? Но расскажите, почему брат не знает, приедет ли.

– Он собирается идти на татар.

– Это я знаю; меня только огорчает, что королева предсказывает несчастный конец этому походу, а что она предсказывает, то всегда сбывается.

Мацько улыбнулся:

– Э, королева наша благочестива, спору нет, но с князем Витольдом пойдут множество наших рыцарей, крепких людей, с которыми никому не справиться.

– А вы не пойдете?

– Я вместе с другими послан при колыбели, а кроме того, пять лет не снимал с себя панциря, – отвечал Мацько, показывая на полосы, оттиснутые панцирем на кафтане из лосиной кожи. – Но как только отдохну, так и пойду, а если сам не пойду, так вот этого племянника моего, Збышку, отдам пану Спытку из Мельштына, под начальством которого пойдут все наши рыцари.

Княгиня Данута взглянула на высокую фигуру Збышки, но дальнейшую беседу прервало появление монаха из монастыря; поздоровавшись с княгиней, он стал смиренно укорять ее за то, что она не прислала гонца с уведомлением о своем прибытии и остановилась не в монастыре, а на обыкновенном постоялом дворе, не достойном ее высокого положения. Ведь в монастыре нет недостатка в домах, где даже обыкновенный человек находит гостеприимство, не говоря уже о высоких особах, особенно о супруге князя, от предков и родственников которого аббатство видело столько благодеяний.

Но княгиня весело отвечала:

– Мы зашли сюда только отдохнуть, а утром нам нужно в Краков. Мы выпались днем и едем ночью только ради прохлады; ведь уже петухи пели, и я не хотела будить благочестивых отцов, в особенности с такими спутниками, ведь они больше думают о песнях и о плясках, нежели о душевном спокойствии.

Но так как монах настаивал, то она прибавила:

– Нет. Уж мы тут останемся. Время хорошо пройдет за мирскими песнями, но на утреню мы приедем в костел, чтобы начать день с Богом.

– Мы отслужим обедню за здоровье милостивого князя и милостивой княгини, – сказал монах.

– Князь, мой супруг, приедет только дня через четыре или через пять.

– Господь Бог и издали пошлет ему благополучие, а тем временем да будет позволено нам, убогим людям, принести сюда из монастыря хоть вина.

– Очень будем признательны, – сказала княгиня и, когда монах ушел, стала звать:

– Эй, Дануся, Дануся, влезь-ка на лавку, повесели нам сердце той песенкой, которую пела в Заторе.

Услышав это, придворные проворно поставили посреди комнаты скамью. Певцы сели на концах ее, а между ними встала та девочка, которая несла за княгиней украшенную медными гвоздиками лютню. Волосы ее были распущены, на ней был веночек, голубое платье и красные башмачки с длинными носками. Стоя на скамье, она казалась ребенком, прекрасным, как фигурка из костела. Видно, не первый раз приходилось ей стоять на скамье и петь княгине: в ней незаметно было ни малейшего смущения.

– Ну, ну, Дануся! – кричали придворные девушки.

Она протянула лютню вперед, вскинула голову, как птица, которая хочет петь, и, закрыв глаза, серебристым голосом начала песенку.

Певцы тотчас завторили ей, один на гусях, другой на лютне.

Княгиня, больше всего любившая мирские песни, стала покачивать головой, а девочка продолжала петь голосом тоненьким, детским и свежим, как пение птиц в весеннем лесу.

И снова завторили певцы. Молодой Збышко из Богданца, с детства привыкший к войне и ее жестоким зрелищам, не выдавший никогда ничего подобного, толкнул рядом стоящего мазура и спросил:

– Это кто такая?

– Это девочка из княгининой свиты. Нет у нас недостатка в певцах, увеселяющих двор, но это самый прелестный певец и княгиня ничьих песен не слушает так охотно.

– Меня это не удивляет. Я думаю, что это ангел. Не могу насмотреться. А как ее зовут?

– Да разве ты не слышал: Дануся. Ее отец – Юранд из Спыхова, комес, могущественный и храбрый, принадлежащий к избранной знати.

– Эх, да такой еще и не видано!

– Все ее любят и за пение, и за красоту.

– А кто ее рыцарь?

– Да ведь она еще ребенок.

Дальнейший разговор был прерван пением Дануси. Збышко сбоку смотрел на ее светлые волосы, на поднятую голову, на полузакрытые глазки и на всю фигуру ее, освещенную одновременно светом восковых свечей и светом падающих в раскрытые окна лунных лучей, – и дивился все больше. Казалось ему, что он уже где-то видел ее, но он не помнил, во сне ли это было или где-то в Кракове, на расписанном стекле костела.

И, снова толкнув придворного, спросил он, понизив голос:

– Так она принадлежит к вашему двору?

– Мать ее приехала с Литвы с княгиней Анной Данутой, которая выдала ее за графа Юранда из Спыхова. Была она красивая и из знатного рода, лучше всех понравилась она княгине и сама полюбила княгиню. Поэтому и дочери она дала то же имя – Анна Данута. Но пять лет тому назад, когда при Злоторые немцы напали на наш двор, она умерла от страха. Тогда княгиня взяла девочку и с той поры воспитывает ее. Отец тоже часто приезжает ко двору и радуется, что дитя его растет в полном здоровье, окруженное милостями княгини. Только всегда, глядя на нее, обливается он слезами, вспоминает свою покойницу, а потом снова возвращается мстить немцам за жестокое свое горе. Так любил он свою жену, как никто до тех пор не любил во всей Мазовии, и перебил за нее целую толпу немцев.

У Збышки глаза сразу вспыхнули, а на лбу вздулись жилы.

– Так ее мать убили немцы? – спросил он.

– И убили, и не убили. Она сама умерла от страха. Пять лет тому назад был мир, никто о войне и не думал, все жили в безопасности. Поехал князь в Злоторюю строить башню, без войска, с одними придворными, как водится в мирные времена. Вдруг, не объявляя войны, без всякой причины, налетели предатели немцы.. Самого князя, позабыв страх божий и то, что осыпаны они были милостями его предков, привязали они к лошади и похитили, а людей перебили. Долго сидел князь у них в неволе, и только когда король Владислав пригрозил им войной, они от страха отпустили его; но при этом нападении умерла мать Дануси. Сердце подступило к самому горлу и задушило ее.

– А вы были при этом? Как вас зовут, я позабыл.

– Зовут меня Миколай из Длуголяса, а прозвище мое – Обух. Я был при нападении. Я видел, как мать Дануси один немец с павлиньими перьями на шлеме хотел привязать к седлу и как она на глазах у него побелела, самого меня ударили алебардой, вот с тех пор знак остался.

Сказав это, он указал на глубокий шрам, тянувшийся у него на голове из-под волос до самых бровей.

Наступило молчание. Збышко снова посмотрел на Данусю. Потом спросил:

– Так вы сказали, что у нее нет рыцаря?

Но он не дождался ответа, потому что в эту минуту песня замолкла. Один из певцов, человек толстый и тяжелый, вдруг встал, и от этого скамья перекачнулась на одну сторону. Дануся зашаталась и раскинула ручки, но прежде чем она успела упасть или соскочить, Збышко прыгнул, как рысь, и схватил ее. Княгиня, в первую минуту вскрикнувшая от страха, тотчас весело засмеялась и воскликнула:

– Вот так рыцарь, Дануся! Подойди же, милый рыцарь, и отдай нам милую нашу певунью.

– Ловко он ее подхватил, – слышались голоса среди придворных.

Збышко направился к княгине, неся Данусю, которая, обняв его одной рукой за шею, другой рукой поднимала кверху лютню, боясь, как бы она не сломалась. Лицо у нее было улыбающееся и счастливое, но немного испуганное.

Между тем юноша, дойдя до княгини, поставил перед нею Данусю, а сам преклонил колена и, подняв голову, сказал с необычайной для его возраста смелостью:

– Так пусть же будет так, как сказали вы, милостивая госпожа. Пора этой прелестной девушке иметь своего рыцаря, да пора и мне иметь свою даму, красоту и добродетели которой я буду прославлять. И вот, с вашего позволения, ей я хочу поклясться в верности и быть ей верным во всех испытаниях.

На лице княгини промелькнуло удивление, но не от слов Збышки, а потому, что все это произошло так внезапно. Рыцарские обеты не были польским обычаем, но Мазовия, лежащая на границе немецкой земли и часто видевшая рыцарей даже из отдаленных стран, знала его даже лучше, чем другие области, и довольно часто применяла его. Княгиня тоже слышала о нем давно, при дворе своего великого отца, где все западные обычаи признавались законом и образцом для наиболее благородных рыцарей; поэтому в желаний Збышки она не нашла ничего такого, что могло бы обидеть ее или Данусю. Напротив, она обрадовалась, что любезная ее сердцу девочка начинает привлекать к себе взоры и сердца рыцарей.

И она с довольным лицом обратилась к девочке:

– Дануся, Дануся! Хочешь, чтобы у тебя был свой рыцарь?

Дануся три раза подпрыгнула в красных своих башмачках, а потом, обняв княгиню за шею, она закричала с такой радостью, как будто ей обещали забаву, которой можно играть только взрослым:

– Хочу, хочу, хочу!

Княгиня хохотала до слез, а с нею смеялся весь двор. Наконец освободившись от объятий Дануси, она сказала, обращаясь к Збышке:

– Ну давай, давай обет. В чем же ты ей поклянешься?

Но Збышко, который среди общего смеха сохранил неколебимую серьезность, так же серьезно ответил, не подымаясь с колен:

– Клянусь, что, приехав в Краков, повешу на стене постоялого двора щит, а на нем вызов, который по всем правилам напишет мне искусный в письме клирик; напишу, что панна Данута, дочь Юранда, – прекраснейшая и добродетельнейшая из девиц во всем королевстве. А кто будет противоречить этому, с тем я буду сражаться до тех пор, пока либо сам не погибну, либо он не погибнет, а если изменю своему слову, то лучше пойду в рабство.

– Хорошо. Видно, ты знаешь рыцарский обычай. А еще что?

– А еще, узнав от пана Миколая из Длуголяса, что мать панны Юранд, по милости немца с павлиньими перьями на шлеме, испустила дух свой, я обещаюсь сорвать несколько таких павлиньих грив с немецких голов и положить их к ногам моей госпожи.

Княгиня стала серьезна и спросила:

– Не ради ли шутки клянешься ты?

Но Збышко ответил:

- Клянусь Богом и святым крестом; эту клятву я повторю в костеле перед ксендзом.
- Похвально бороться с лютым врагом нашего народа, но мне жаль тебя, потому что ты молод и легко можешь погибнуть.

Тут подошел Мацько из Богданца, который, как человек старого закала, до сих пор только пожимал плечами, но теперь он нашел нужным сказать:

- Что касается этого, не тревожьтесь, милостивая госпожа. Смерть в бою может настичь каждого, но для шляхтича, старый ли он, молодой ли, это даже почетно. Не в диковину война этому юноше; хотя ему еще мало лет, но уже не раз случалось ему сражаться и на коне, и в пешем бою, и копьем, и топором, и длинным мечом, и коротким, и со щитом, и без щита. Это новый обычай, что рыцарь дает обет девушке, которая ему приглянулась, но я не поставлю в вину Збышке, что он обещал своей даме павлиньи перья. Он уж бил немца, пусть еще поколотит, пусть в этих боях расколется несколько черепов, от этого только возрастет его слава.

- Вижу, не плохой стоит перед нами отрок, – сказала княгиня. Потом она обратилась к Данусе:

- Садись на мое место: ты сегодня здесь первая. Только не смейся, потому что это нехорошо.

Дануся села на место княгини; она хотела придать себе важности, но голубые глазки ее смеялись при виде стоящего на коленях Збышки. И она не могла удержаться, чтобы не топотать от радости ножками.

- Дай ему перчатки, – сказала княгиня.

Дануся достала перчатки и подала их Збышке, который принял их с великим почтением и, прижав к устам, проговорил:

- Я привяжу их к шлему, и горе тому, кто посмеет протянуть за ними руку.

Потом он поцеловал руки Дануси, а после рук ноги и встал. Но тут покинула его прежняя серьезность, и сердце его наполнила великая радость, что отныне в глазах всего этого двора он будет считаться взрослым мужчиной; и вот, потрясая Данусиными перчатками, полусутия, полувывызывающе он стал восклицать:

- Выходите, песьи братья, с павлиньими перьями! Выходите!

Но в эту минуту в комнату вошел тот самый монах, который приходил раньше, а с ним двое других постарше. Монастырские слуги несли за ними ивовые корзины, наполненные бутылками с вином и всякими наскоро собранными сладостями. Эти два монаха стали приветствовать княгиню и снова укорять ее за то, что она не остановилась в аббатстве, а княгиня во второй раз стала объяснять, что она и весь ее двор выпалились днем и едет она ради прохлады ночью, а потому в отдыхе не нуждается, и что, не желая будить ни аббата, ни достойную братию, она предпочла остановиться на отдых на постоялом дворе.

После множества любезных слов решено было, что после утрени и ранней обедни княгиня с двором соблаговолит позавтракать и отдохнуть в монастыре.

Гостеприимные монахи вместе с мазурами пригласили краковских шляхтичей и Мацьку из Богданца, который и без того собирался отправиться в аббатство, чтобы оставить в монастыре все богатство, добытое на войне и от щедрот благородного Витольда и предназначенное на выкуп Богданца. Но молодой Збышко не слышал приглашений, потому что он побежал к своим телегам, стоящим под надзором слуг, чтобы переодеться и предстать перед княгиней и Данусей в достойной одежде. И вот, взяв с телег корзины, он приказал их отнести в комнату слуг и там начал переодеваться. Завив сначала поспешно волосы, он прикрыл их шелковой сеткой, украшенной янтарными бусинками сзади, а спереди расшитой настоящими жемчугами. Потом он надел белый шелковый кафтан с вышитыми на нем золотыми грифами, а снизу украшенный каймою; он опоясался двойным позолоченным поясом, на котором висел маленький кортик, оправленный серебром и слоновой костью. Все это было новое, блестящее и совсем не запачканное кровью, хотя было взято в добычу с молодого фризского рыцаря, служившего у меченосцев. Потом Збышко надел отличные штаны, у которых одна половина состояла из красных и зеленых продольных полос, а другая из фиолетовых и желтых, а обе кончались наверху пестрой клетчатой полосой. Потом, надев еще пурпурные с узкими носами башмаки, блестящий и прекрасный, он направился в общую залу.

И, действительно, лишь только он остановился в дверях, как его вид произвел на всех сильное впечатление. Княгиня поняла теперь, какой красивый рыцарь отдал себя на служение Данусе, и еще больше обрадовалась, а Дануся тотчас же, как серна, бросилась к Збышке. Но красота молодого человека и удивленные голоса придворных задержали ее. Она остановилась, не дойдя до него одного шага, и опустила глаза, покрасневшая и смешавшаяся. Вслед за ней приблизились и другие, – сама госпожа, придворные, певцы и монахи, – всем хотелось получше рассмотреть Збышку. Мазовецкие панны смотрели на него как на картину, и всякая жалела, что он не ее избрал своей дамой; те, которые постарше, дивились ценности наряда, а Збышко стоял посередине с хвастливою улыбкой на молодом лице и поворачивался, чтобы его лучше рассмотрели.

– Кто это? – спросил один из монахов.

– Племянник вон того шляхтича, – сказала княгиня, указывая на Мацьку, – он только что произнес обет Данусе.

Монахи тоже не выказывали удивления, потому что такой обет не обязывал ни к чему. Часто приносились обеты замужним женщинам, и в знаменитых родах, среди которых распространен этот западный обычай, почти у каждой был свой рыцарь. Если же рыцарь приносил обет девушке, то благодаря этому он не становился ее женихом, напротив, чаще всего она выходила за другого, а он, поскольку у него хватало постоянства, не переставал быть ей верным, но женился на другой.

Немного более удивил монахов молодой возраст Дануси, да и то не особенно, потому что в те времена 16-летние подростки бывали каштелянами. Самой великой королеве Ядвиге в момент своего прибытия из Венгрии было только 15 лет, а 13-летние девочки иногда выходили замуж. Впрочем, в эту минуту больше смотрели на Збышку, чем на Данусю, и прислушивались к словам Мацьки, который, гордясь племянником, рассказывал, каким образом юноша добыл себе столь драгоценное платье.

– Год и девять недель тому назад, – говорил он, – пригласили нас в гости саксонские рыцари. Также был у них в гостях один рыцарь из далекого народа фризов, живущих у самого моря, и был при нем сын, года на три постарше Збышки. Раз на пиру сын этот стал непристойно говорить Збышке, что у него нет ни усов,

ни бороды. Збышко горячий, неприятно ему было это слушать, и вот схватил он его за губу и вырвал из нее все волосы... А потом бились мы: смерть или рабство.

– Как это вы бились? – спросил шляхтич из Длуголяса.

– Да отец вступился за сына, а я за Збышку. Ну и дрались мы вчетвером, в присутствии гостей, на утопанной земле, и был у нас такой уговор: кто победит, тот возьмет и телеги, и лошадей, и слуг побежденного. Помогай Господь! Зарезали мы этих фризов, хоть и с большим трудом, потому что ни в мужестве, ни в силе у них недостатка не было. А добыча досталась нам славная: было у них четыре телеги, четыре огромных жеребца, да девять слуг, да пара отличных лат, каких у нас и не сыщешь. Шлемы, правду сказать, мы в бою раскололи, но Господь Бог в другом нас утешил, потому что был у них целый кованный сундук дорогих одежд. Та, в которую теперь переоделся Збышко, была там же.

Тут оба краковских шляхтича и все мазуры стали с большим уважением смотреть на дядю и племянника, а пан из Длуголяса по прозвищу Обух сказал:

– Так вы, я вижу, народ проворный и крепкий.

– Теперь мы верим, что этот мальчик добудет павлиньи перья.

Мацько смеялся, и в суровом лице его было воистину что-то хищное.

Между тем монастырские слуги вынули из ивовых корзин вино и закуски, а из людской девки стали выносить миски, полные дымящейся яичницы, обложенной колбасами, от которых по всей комнате распространился крепкий, вкусный запах свиного сала. При виде этого зрелища все почувствовали аппетит и двинулись к столам.

Однако никто не занимал места против княгини; она же, сев посредине стола, велела Збышке и Данусе сесть против нее, а потом обратилась к Збышке:

– Полагается вам с Данусей есть из одной миски, но не жми ей ног под столом и не трогай ее колен, как делают другие рыцари, ибо она слишком молода.

На это он отвечал:

– Я не буду делать этого, милостивая госпожа, разве только через два или три года, когда Господь дозволит мне исполнить обет, а жать ей ноги я, если бы и хотел, не могу, потому что они болтаются в воздухе.

– Верно, – сказала княгиня, – но приятно видеть, что у тебя приличный обычай.

Потом наступило молчание, потому что все начали есть.

Збышко отрезал самые жирные куски колбасы и подавал их Данусе, а то и просто клал ей в рот, она же, счастливая, что ей прислуживает красивый рыцарь, усердно набивала себе рот и подмигивала, улыбаясь то ему, то княгине. Когда миски были опорожнены, монастырские слуги стали разливать сладкое и душистое вино, – мужчинам помногу, а дамам – поменьше. Рыцарская любезность Збышки особенно проявилась тогда, когда принесли полные меры присланных из монастыря орехов. Были там и лесные орехи и редкостные в те времена, привозимые издалека, волошские, на которые усердно набросились все пирующие, так что через минуту в

комнате только и слышно было, что треск скорлупы. Но напрасно кто-нибудь стал бы думать, что Збышко заботился только о себе: он предпочитал доказать княгине и Данусе свою рыцарскую силу и воздержность, нежели унижить себя в их глазах жадностью до редкостных лакомств. То и дело, беря целую горсть орехов, то лесных, то волошских, он не клал их себе на зубы, как делали другие, но, сжимая железные свои пальцы, колот их, а потом подавал Данусе выбранные из скорлупы зерна. Он выдумал для нее даже забаву: отобрав зерна, он подносил ко рту ладонь и могучим своим дуновением сразу подбрасывал всю скорлупу до самого потолка. Дануся так хохотала, что княгиня, боясь, как бы девочка не поперхнулась, вынуждена была велеть ему прекратить эту забаву; но, видя, как девочка довольна, она спросила:

– Ну что, Дануся, хорошо иметь своего рыцаря?

– Ой, хорошо! – отвечала девочка.

А потом, протянув розовый пальчик, она прикоснулась им к белому шелковому кафтану Збышки, но, тотчас отдернув руку, спросила:

– А завтра он тоже будет мой?

– И завтра, и в воскресенье, и до самой смерти, – отвечал Збышко. Ужин затянулся потому, что после орехов подали сладкие пряники с изюмом. Некоторым придворным хотелось танцевать; другие хотели слушать пение певцов или Дануси. Но у Дануси под конец стали слипаться глазки, а головка качалась из стороны в сторону; еще два раза взглянула она на княгиню, потом на Збышку, еще раз протерла кулачками глаза, а потом доверчиво оперлась на плечо рыцаря и уснула.

– Спит? – спросила княгиня. – Вот тебе и "дама"!

– Она мне милее, когда спит, чем другие, когда танцуют, – отвечал Збышко, сидя прямо и неподвижно, чтобы не разбудить девочку.

Но ее не разбудила даже музыка и пение певцов. Кое-кто притопывал в лад музыке, кое-кто стучал мисками, но чем сильнее был шум, тем крепче спала она, открыв, как рыбка, рот. Проснулась она только тогда, когда, заслышав пение петухов и звон церковных колоколов, все поднялись со скамей, говоря:

– К утрене, к утрене!

– Пойдемте пешком, во славу Божью, – сказала княгиня.

И, взяв за руку разбуженную Данусю, она вышла из постоянного двора, а за ней высыпал весь двор.

Ночь уже побледнела. На восточной стороне неба видна была уже легкая полоса света, сверху зеленая, снизу розовая, а под ней словно узенькая золотая ленточка, которая ширилась на глазах. На западной стороне луна, казалось, отступала пред этим светом. Рассвет становился все светлее и розовее. Окрестность пробуждалась, мокрая от обильной росы, радостная и отдохнувшая.

– Бог дал погоду, но жара будет страшная, – говорили придворные княгини.

– Не беда, – успокаивал их пан из Длуголяса, – выпимся в аббатстве, а в Краков

приедем к вечеру.

– Должно быть, опять на пир.

– Там теперь каждый день пиры, а после родов пиров и состязаний будет еще больше.

– Посмотрим, как-то покажет себя Данусин рыцарь.

– Просто дубы, а не люди... Слышали, что говорили они, как вчетвером дрались.

– Может быть, они присоединятся к нашему двору: ишь, о чем-то советуются.

А те действительно советовались, потому что старик Мацько не особенно был доволен тем, что случилось, и теперь, идя позади всех и нарочно отставая, чтобы свободнее было говорить, рассуждал:

– По правде сказать, толку в этом для тебя нет. Я-то как-нибудь доберусь до короля, хоть с этим двором, и, быть может, что-нибудь мы получим. Страсть как хотелось бы мне какой-нибудь замок либо городок... Ну да там видно будет. Богданец, конечно, мы выкупим, потому что чем владели отцы, тем и нам надо владеть, но откуда взять мужиков: кого там поселил аббат, тех он назад возьмет, а земля без мужиков то же, что ничего. Вот ты и смекни, что я тебе скажу: ты себе клянись кому хочешь, а все-таки ступай с мельшынским паном к князю Витольду татар бить. Если объявят поход раньше, чем королева родит, тогда не жди ни родов, ни рыцарских состязаний, а иди, потому что там может быть польза. Сам знаешь, как щедр князь Витольд, а тебя уж он знает. Справишься, так он наградит хорошо, а главное, коли Бог пошлет, можешь пленных набрать сколько хочешь. Татар на свете – что муравьев. В случае победы придется на брата штук по шестидесяти.

Тут Мацько, который любил землю и хозяйство, начал мечтать:

– Господи боже ты мой! Пригнать этак штук пятьдесят мужиков да посадить их в Богданце. Порасчистили бы кусок леса. Разбогатели бы мы. А ты знай, что нигде столько не наберешь, сколько там можно набрать.

Но Збышко завертел головой:

– Ну вот, нагоню я конюхов, которые конской падалью питаются, а с землей не знают, что делать. На что они нужны в Богданце, а кроме того, я поклялся добыть три немецких шлема. Где ж я их найду у татар?

– Поклялся ты потому, что глуп; такова же твоя и клятва.

– А моя рыцарская честь?

– А как было с Рингаллой?

– Рингалла отравила князя, и пустынник разрешил меня от клятвы.

– А теперь тебя тынецкий аббат разрешит. Аббат лучше пустынника, тот больше похож был на разбойника, чем на монаха.

– А я не хочу!

Мацько остановился и спросил с заметным гневом:

– Ну так как же будет?

– Поезжайте одни к Витольду, потому что я не поеду.

– Ах ты мразь! А кто королю поклонится... И не жалко тебе моих костей?

– Если на ваши кости дерево свалится, то и то их не сломает. Да если бы мне и жалко вас было, не хочу я ехать к Витольду.

– Что ж ты будешь делать? Сокольником или певцом останешься при мазовецком дворе?

– А что ж, плохо сокольником? Если вам больше нравится ворчать, чем меня слушать, так и ворчите.

– Куда ты поедешь, наплевать тебе на Богданец! Ногтями будешь землю пахать, без мужиков...

– Неправда. Ловко вы насчет татар выдумали! Слышали вы, что говорят русские? Татар найдешь столько, сколько их убитых на поле лежит, а живого никому не поймать, потому что за татаринном в степи не угонишься. Да и на чем мне его ловить? Не на наших ли тяжелых конях, которых мы у немцев отняли? То-то и есть! А какую я добычу возьму! Паршивые кожухи и ничего больше. То-то я богачом приеду в Богданец! То-то меня комесом назовут!

Мацько замолк, потому что в словах Збышки было много правды, и только через некоторое время проговорил:

– Зато тебя князь Витольд наградил бы.

– Ну сами знаете: одному он даст слишком много, а другому ничего.

– Так говори, куда поедешь.

– К Юранду из Спыхова.

Мацько со злости вывернул пояс на кожаном кафтане и сказал:

– Да ты, прости господи, с ума спятил?

– Послушайте, – спокойно отвечал Збышко. – Я разговаривал с Миколаем из Длуголяса, и он говорит, что Юранд мстит немцам за жену. Пойду помогу ему. Во-первых, вы сами сказали, что не в диковинку мне будет подраться с немцами, потому что и их самих, и приемы ихние мы уже знаем. Во-вторых, там, у границы, я скорей достану павлиньи перья, а в-третьих, вы сами знаете, что павлиньи перья не кнехты какие-нибудь носят на головах, так если Господь Бог пошлет мне перья, то пошлет и добычу. Наконец, тамошний невольник – это вам не татарин, его посадить в лесу – дело не плохое.

– Да что ты, парень, с ума, что ли, спятил? Ведь теперь нет войны, и бог знает, когда она будет.

– Ой, дядюшка! Заключили медведи мир с бортниками: и пасек не портят, и меду не едят. Ха-ха! Да разве нам в диковину, что хоть большие войска не воюют и что хоть король на пергаменте печати положит, а на границе всегда смута жестокая. Отнимут ли друг у друга скот, так за каждую корову по нескольку деревень сжигают и осаждают замки. А разве мужиков и девок не воруют? А разве купцов на больших дорогах не грабят? Вспомните старые времена, о которых вы сами говорили. Плохо разве было тому наленчу, который схватил сорок рыцарей, ехавших к меченосцам, посадил в подземелье и до тех пор не выпускал, пока магистр не прислал ему целый воз гривен? Юранд из Спыхова тоже ничего другого не делает, а на границе работа всегда найдется.

С минуту шли они молча; между тем совсем рассвело, и яркие лучи солнца озарили скалы, на которых построено было аббатство.

– Бог везде может послать счастье, – смягченным голосом сказал Мацько, – проси, чтобы он благословил тебя.

– Это верно, что во всем Его милосердие.

– А о Богданце думай, потому что в этом ты меня не разубедишь, будто ты хочешь ехать к Юранду из Спыхова ради Богданца, а не ради этого утенка.

– Не говорите так, а то рассержусь. Она мне мила, от этого я не отпираюсь; и не такова эта клятва, как клятва Рингалле. Встречали вы девушек лучше?

– Что мне ее красота! Лучше женись на ней, когда вырастет, если она дочь могущественного комеса.

Лицо Збышки озарилось молодой, доброй улыбкой.

– Может и это быть. Ни другой госпожи, ни другой жены! Кости ваши слабнут, будете вы наших деток, а ваших внуков нянчить.

Тут, в свою очередь, улыбнулся Мацько и сказал уже совсем ласково:

– Ну что ж, пусть их будет, как граду, много. На старость радость, а после смерти спасение пошли нам, Господи Иисусе!

III

Княгиня Данута, Мацько и Збышко уже раньше бывали в Тынце, но в свите находились придворные, видевшие его впервые; они, подняв головы, с изумлением смотрели на великолепное аббатство, на зубчатые стены, бегущие вдоль скал над пропастями, на здания то на склонах горы, то в палисадниках, громоздящиеся одно над другим, высокие и озаренные золотом восходящего солнца. По этим величественным стенам и зданиям, по домам, по хозяйственным постройкам, по садам, лежащим у подножия горы, и по старательно возделанным полям с первого взгляда можно было догадаться о старинном, неистощимом богатстве, к которому не привыкли и которому должны были удивляться люди, пришедшие из убогой Мазовии. Существовали, правда, старинные и богатые бенедиктинские аббатства и в других частях страны, как, например, в Любуше на Одре, в Плоцке, в Великой Польше, в Могильне и в иных местах, но все-таки ни одно не могло сравниться с Тынецким, владения которого превышали не одно удельное княжество, а доходы могли бы вызвать зависть даже в тогдашних королях.

И удивление придворных росло. Некоторые почти не хотели верить глазам. Между тем княгиня, желая как-нибудь сократить дорогу и развлечь своих девушек, стала просить одного из монахов, чтобы он рассказал старинную и страшную повесть о Вальгере Удалом, которую, хоть и не очень подробно, ей уже рассказывали в Кракове.

Услышав это, девушки кольцом окружили княгиню и медленно шли в гору, озаренные ранними лучами солнца, похожие на живые цветы.

– Пусть о Вальгере расскажет брат Гидульф, которому однажды явился он ночью, – сказал один из монахов, оглядываясь на другого, человека уже преклонного возраста; несколько сгорбившись, шел он рядом с Миколаем из Длуголяса.

– Неужели вы видели его собственными глазами, благочестивый отец? – спросила княгиня.

– Видел, – мрачно отвечал монах, – ибо бывают сроки, когда по воле Божьей дозволено ему покидать адские подземелья и являться миру.

– Когда же это бывает?

Монах поглядел на двух других монахов и замолчал, ибо существовало предание, что дух Вальгера появляется тогда, когда портятся нравы среди монахов и когда монахи более, чем подобает, думают о мирских богатствах и радостях.

Этого-то никто не хотел сказать вслух, но так как говорили также, что привидение является и перед войной или другими несчастьями, то брат Гидульф сказал, помолчав немного:

– Появление его не предрекает ничего хорошего.

– Не хотела бы я его видеть! – сказала, крестясь, княгиня. – Но почему он в аду, если, как я слыхала, он только мстил за тяжкую обиду, ему нанесенную?

– Если бы он даже прожил всю жизнь добродетельно, – строго отвечал монах, – то и тогда был бы осужден, ибо жил в языческие времена и не был святым крещением смыт с него первородный грех.

После этих слов горестно сдвинулись брови княгини, ибо ее великий отец, которого любила она всей душой, умер также в заблуждении языческом, и предстояло ему вечно гореть в огне.

– Слушаем, – сказала княгиня после некоторого молчания. И брат Гидульф начал рассказывать:

– Жил в языческие времена могущественный граф, которого за красоту звали Вальгером Удалым. Вся эта страна, куда ни глянь, принадлежала ему, а в походы, кроме пеших людей, водил он по сто копейщиков, ибо все дворяне, на запад до самого Ополя, а на восход до Сандомира, были его вассалами. Стад его не мог сосчитать никто, а в Тынце была у него башня, доверху насыпанная деньгами, как теперь в Мальборге у меченосцев.

– Знаю, есть, – перебила его княгиня Данута.

– И был он великан, – продолжал монах, – и дубы вырывал с корнями, а в красоте, в игре на лютне и в пении никто во всем мире не мог с ним сравниться. И вот однажды, когда был он при дворе короля французского, полюбила его королева Гельгунда, которую отец во славу Божью хотел отдать в монастырь, и убежала она с ним в Тынец, где оба они жили в греховном союзе, ибо ни один ксендз не хотел повенчать их по христианскому обряду. Был также в Вислице Вислав Прекрасный, из рода короля Попеля. В отсутствие Вальгера Удалого опустошил он тынецкое графство. Вальгер победил его и привел в Тынец пленником, не глядя на то, что всякая женщина, увидав Вислава, готова была тотчас отступить от отца, от матери и от мужа, лишь бы насытить свою страсть. Так случилось и с Гельгундой. Тотчас придумала она для Вальгера такие пути, что хоть был он великан и вырывал дубы, а их разорвать не мог, – и отдала его Виславу, который повез его в Вислицу. Но Ринга, сестра Вислава, услышав в подземелье Вальгерovo пение, тотчас влюбилась и освободила его из подземелья; он же, убив мечом Вислава и Гельгунду, бросил тела их воронам, а сам с Рингой вернулся в Тынец.

– Разве он поступил неправильно? – спросила княгиня.

Но брат Гидульф отвечал:

– Если бы он принял крещение и отдал Тынец бенедиктинцам, то, может быть, Господь Бог отпустил бы ему грехи, но так как он этого не сделал, то земля поглотила его.

– Значит, бенедиктинцы были уже в этом королевстве?

– Бенедиктинцев в этом королевстве не было, ибо тогда здесь жили одни язычники.

– Так как же он мог принять крещение и отдать Тынец?

– Не мог, именно потому и осужден в ад на вечные муки, – серьезно ответил монах.

– Верно. Он правильно говорит, – слышалось несколько голосов.

Между тем путники подошли к главным монастырским воротам, где во главе многочисленной свиты монахов и шляхты княгиню ждал сам аббат. Людей светских – "экономов", "адвокатов", "прокураторов" и всяких монастырских сановников – в монастырях бывало много. Множество дворян, и даже могущественных рыцарей, держали неисчислимы монастырские земли по довольно исключительному в Польше ленному праву. Они, в качестве "вассалов", охотно жили при дворах своих сюзеренов, где у большого алтаря легко было рассчитывать на всякие подачки, льготы и благодеяния, зависевшие порой от мелкой услуги, от ловкого слова, а то и от минуты хорошего настроения могущественного аббата. Предстоящие в столице торжества стянули из отдаленных мест много таких вассалов, и те, кому трудно было вследствие наплыва приезжих найти место на постоялом дворе в Кракове, разместились в Тынце. Благодаря этому "аббат сотни деревень" мог приветствовать княгиню, окруженный еще более многочисленной свитой, чем обыкновенно.

Это был человек высокого роста, с лицом сухим, умным, с головой, обритой сверху, а ниже над ушами окруженной венком седеющих волос. На голове у него был шрам, оставшийся от раны, полученной еще в юные рыцарские годы; глаза его были пронзительны и гордо смотрели из-под черных бровей. Одет он был в рясу, как и другие монахи, но сверху на нем был плащ, подбитый пурпуром, а на шее золотая

цепь, на конце которой висел такой же золотой крест, украшенный драгоценными камнями, – знак аббатского достоинства. Вся его внешность обличала человека гордого, привыкшего повелевать и уверенного в себе.

Однако с княгиней он поздоровался любезно и даже униженно, ибо помнил, что муж ее происходит из того самого рода мазовецких князей, из которого происходили короли Владислав и Казимир, а по женской линии и нынешняя королева, владычица одного из прекраснейших государств в мире. Поэтому он переступил порог ворот, низко склонил голову, а потом, благословив Анну Дануту и весь двор ее маленьким золотым ковчегом, который держал в пальцах правой руки, сказал: "Приветствую тебя, милостивая госпожа, на убогом монастырском пороге. Святой Бенедикт Нурсийский, святой Мавр, святой Бонифаций и святой Бенедикт Анианский, а также Иоанн Толомейский, патроны наши, в вечном свете живущие, да ниспошлют тебе здоровье и счастье и да благословят тебя семикратно в день во весь век жития твоего!"

– Глухи были бы, если бы не выслушали слов столь великого аббата, – любезно сказала княгиня, – тем более, что прибыли мы сюда к обедне, во время которой отдадим себя под их покровительство.

Сказав это, она протянула ему руку, которую он, став по придворному обычаю на одно колено, поцеловал по-рыцарски, а затем они вместе прошли в ворота. С обедней, видимо, уже ждали, потому что сейчас же зазвонили большие и маленькие колокола; трубачи, стоящие у дверей костела, затрубили в честь княгини в большие трубы, а другие ударили в огромные котлы, выкованные из красной меди и обтянутые кожей, дающей громкий, раскатистый звук. На княгиню, родившуюся в нехристианской стране, каждая церковь до сих пор производила впечатление, а тем более тынецкая, с которой редкая церковь может сравниться величию. Внутренность храма наполнял мрак; только в большом алтаре дрожали пучки разноцветных лучей, смешанные с блеском свеч, озаряющих позолоту и резьбу. Монах в облачении вышел служить обедню, поклонился княгине и начал службу. Тотчас поднялись столбы благовонного дыма, который, окутав ксендза и алтарь, медленно клубами восходил вверх, увеличивая таинственную торжественность церкви. Анна Данута откинула голову назад и, подняв руки на высоту лица, начала истово молиться. Но когда раздались звуки редкого еще в те времена органа, когда эти звуки торжественным громом стали то потрясать стены храма, то наполнять их ангельскими голосами, то рассыпаться в них соловьиной песней, тогда княгиня подняла глаза вверх, на лице ее вместе с благоговением и страхом отразилось безграничное наслаждение, и смотрящим на нее могло показаться, что это какая-то пророчица в чудесном видении созерцающая разверстые небеса.

Так молилась рожденная в язычестве дочь Кейстута, которая в обыденной жизни, так же, как и все тогдашние люди, попросту и доверчиво произносила имя Божье, но в доме Господнем с детской робостью и смирением возносила глаза к таинственной и неизмеримой силе.

И так же набожно, хоть и с меньшим страхом, молился весь двор. Збышко стоял на коленях сзади, вместе с мазурами, потому что только женщины прошли с княгиней вперед, и поручал себя покровительству Божьему. Иногда посматривал он на Данусю, которая, полузакрыв глаза, сидела подле княгини, и думал, что в самом деле стоило сделаться рыцарем такой девушки. Но и он тоже не пустяки обещал ей. И вот теперь, когда пиво и вино, выпитое на постоялом дворе, повыветрилось у него из головы, призадумался он, как исполнить свое обещание. Войны не было. В пограничной смуте, конечно, легко было наткнуться на какого-нибудь вооруженного

немца и либо переломать ему кости, либо поплатиться собственной головой. Так он и говорил Мацьке. "Только не каждый немец, – думал он, – носит на голове павлиньи либо страусовые перья. Из гостей крестоносцев – одни только графы, а из самих меченосцев – одни комтуры, да и то не каждый".

Если войны не будет, то могут пройти года, прежде чем он добудет свои три пучка павлиньих перьев; ведь и то еще пришло ему в голову, что, не будучи сам посвящен в рыцари, он может вызвать на поединок только таких же непосвященных. Правда, он надеялся получить рыцарский пояс из королевских рук во время турниров, предстоящих после крестин, потому что этого он давно заслужил. Но что дальше? Поедет он к Юранду из Спыхова, будет ему помогать, наколотит кнехтов, сколько удастся, – и на том конец. Кнехты меченосцев – не рыцари с павлиньими перьями на головах.

И в этом огорчении и сомнении, видя, что без особой милости Божьей многого он не добьется, Збышко начал молиться:

"Пошли, Господи Иисусе, войну с меченосцами и немцами: они враги царствия твоего и всех народов, на нашем языке исповедующих святое имя твое. И благослови нас, а их сотри с лица земли, ибо они больше служат владыке ада, нежели тебе, а нас ненавидят в сердце своем, гневаясь больше всего на то, что король наш с королевой, крестивши Литву, запрещают им преследовать мечом христианских слуг твоих. За гнев сей покарай их.

А я, грешный Збышко, смиряюсь пред тобою и у пяти ран твоих молю помощи, чтобы ты поскорее послал мне трех важных немцев с павлиньими перьями на шлемах и чтобы по милости твоей позволил мне побить их до смерти. Но это потому, что я обещал перья панне Дануте, дочери Юранда, а твоей слуге, и в том поклялся рыцарской моей честью.

А что еще найдется на убитых, из того десятину благочестиво отдам я святой твоей церкви, чтобы ты, Иисусе Сладчайший, получил от меня выгоду и славу и чтобы узнал, что я обещал тебе от чистого сердца, а не всуе. И поколику это правда, потолику ты помоги мне. Аминь".

Но по мере того, как он молился, сердце его все более таяло от набожного волнения, и он накинул новое обещание: когда они выкупят Богданец, он отдаст также на церковь весь воск, который сделают пчелы на пасеках за целый год. Он надеялся, что дядя Мацько не станет против этого спорить, а Господь Иисус Христос особенно будет рад воску для свечей, и, желая скорее получить его, скорее поможет Збышке. Мысль эта показалась ему такой верной, что сердце его исполнилось радостью: теперь он почти был уверен, что молитва его будет услышана и что вскоре наступит война, а если и не наступит, он все-таки своего добьется. Он почувствовал в руках и ногах такую силу, что готов был в эту минуту один броситься на целый отряд. Он даже подумал, что, дав такие обеты Богу, можно бы и Данусе накинуть парочку немцев. Юношеская запальчивость толкала его на это, но на этот раз благоразумие взяло верх, потому что он боялся, как бы излишними просьбами не обидеть Господа. Однако уверенность его возросла еще более, когда после обедни и продолжительного отдыха, которому предался весь двор, он прослушал разговор, происшедший за завтраком между аббатом и Анной Данутой.

Тогдашние жены князей и королей, столько же по благочестию, сколько и вследствие даров, которых не жалели для них магистры ордена, оказывали меченосцам большое расположение.

Даже благочестивая Ядвига удерживала, пока была жива, занесенную над ними руку властительного своего супруга. Одна только Анна Данута, изведавшая от них жестокие семейные обиды, ненавидела их всей душой. И вот, когда аббат спросил ее о Мазовии и ее делах, княгиня начала горько жаловаться на орден: "Какие дела могут быть в княжестве, у которого такие соседи. Как будто мир: обмениваются посольствами и письмами, а между тем нельзя быть уверенными ни день, ни час. Кто вечером на границе ложится спать, тот не знает, не проснется ли он в окопах, или с острием меча у горла, или с пылающим потолком над головой. От предательства не обеспечивают ни клятвы, ни печати, ни пергаменты. Ведь так было под Злоторьей, когда во время полного мира князь был взят в плен. Меченосцы говорили, что этот замок может угрожать им. Но ведь замки строятся для обороны, а не для нападения, и какой же князь не имеет права строить или перестраивать их на собственной земле. Ордена не умилостивит ни слабый, ни сильный, ибо слабого они презирают, а сильного стараются ослабить. Кто делает им добро, тому они оплачивают злом. Есть ли на свете орден, который бы получил в других королевствах столько благодеяний, сколько получили они от польских князей, а чем они отплатили за это? Ненавистью, отнятием земель, войной и предательством. И напрасно укорять их, напрасно жаловаться на них самой столице апостольской, ибо они, живя в упорстве и гордости, не слушаются даже папы римского. Говорят, что теперь к родам королевы и к ожидаемым крестинам прислали они посольство, но это только потому, что хотят отвратить от себя гнев могущественного короля за то, что они сделали на Литве. Но в сердцах своих они всегда помышляют об истреблении королевства и всего польского племени".

Аббат слушал внимательно и поддакивал, а потом сказал:

– Я знаю, что в Краков во главе посольства приехал комтур Лихтенштейн, один из братьев, весьма почитаемый в ордене за свой знаменитый род, храбрость и ум. Может быть, вы, милостивая госпожа, случайно увидите его здесь, потому что вчера он прислал мне известие, что, желая помолиться у наших святых, заедет в Тынец.

Услышав это, княгиня опять начала жаловаться:

– Люди говорят, и, кажется, это верно, что вскоре наступит большая война, в которой, с одной стороны, будет польское королевство и все народы, говорящие речью, похожую на польскую, а с другой – все немцы и орден. Говорят, есть об этой войне пророчество какой-то святой...

– Бригиды, – перебил ученый аббат, – восемь лет тому назад сопричислена она к лику святых. Благочестивый Петр из Альвастра и Матвей из Линкепинга записали ее пророчества, в которых, действительно, предсказана великая война.

При этих словах Збышко задрожал от радости и, не в силах будучи выдержать, спросил:

– А скоро это будет?

Но аббат, занятый княгиней, не расслышал, а может быть, сделал вид, что не расслышал вопроса. Княгиня же продолжала:

– Радуются и у нас этой войне молодые рыцари, но старшие, более рассудительные, говорят так: "Не немцев боимся мы, хотя велико их могущество и гордыня, не копий и не мечей их, а боимся мы святых орденов, ибо против них ничто всяческая

человеческая сила".

Тут Анна Данута со страхом взглянула на аббата и прибавила тише:

– Говорят, есть у них подлинный крест Господень: как же воевать с ними?

– Им прислал его французский король, – отвечал аббат.

Наступило молчание, а потом заговорил Миколай из Длуголяса, по прозванию Обух, человек бывалый и опытный:

– Был я в плену у меченосцев и несколько раз видел процессию, в которой носили великую эту святыню. Но, кроме того, есть в Оливском монастыре множество других величайших реликвий, без которых орден не достиг бы такого могущества.

Тут бенедиктинцы повернулись к говорящему и с большим любопытством начали спрашивать:

– Расскажите, какие же это реликвии?

– Есть у них кусочек одежды Пресвятой Девы, – отвечал пан из Длуголяса, – есть коренной зуб Марии Магдалины и угольки от неопалимой купины, в которой сам Бог Отец явился Моисею, есть рука святого Либерия, а костей других святых – и на руках, и на ногах пальцев не хватит, чтобы пересчитать...

– Как же воевать с ними? – со вздохом повторила княгиня. Аббат нахмурил высокий свой лоб и, подумав с минуту, ответил так:

– Воевать с ними тяжело хотя бы и потому, что они иноки и носят крест на плащах, но если они превзошли меру в прегрешениях, тогда и святыням неприятно будет пребывать у них, и они не только не приумножат их силы, а скорее уменьшат их для того, чтобы перейти в достойнейшие руки. Да сохранит Господь кровь христианскую, но если наступит великая война, то и в нашем королевстве есть реликвии, которые будут ратовать за нас. Господь же, устами святой Бригиды, изрек: "Я поставил их, аки полезных пчел, и утвердил на рубеже земель христианских, но они восстали против меня, ибо они не заботятся о душе и не щадят тел народа, который из заблуждения обратился к католической вере и ко мне. И обратили его в рабов, и не учат его заповедям Божьим, и отнимают у них Святое причастие, обрекая его на большие мучения, чем если бы он остался в язычестве. А войны они ведут для распространения своего властолюбия. Посему придет время, когда будут выломаны их зубы и отсечена у них будет правая рука, а правая нога захромает, дабы они познали свои прегрешения".

– Дай-то бог! – воскликнул Збышко. Прочие рыцари и монахи также ободрились при этих словах. Аббат обратился к княгине и сказал:

– Уповайте на Бога, милостивая госпожа, ибо, скорее, сочтены их дни, чем ваши, а пока с благодарным сердцем примите вот этот ковчежец, в нем хранится палец ноги Птолемея, одного из наших патронов.

Княгиня, дрожа от счастья, протянула руки, преклонила колена и приложила ковчежец к губам. Радость госпожи разделяли дворяне и дамы – никто не сомневался, что этот дар призовет благословение на всех, может быть, и на все княжество. Збышко также чувствовал себя счастливым, ему казалось, что война

должна наступить немедленно после краковских торжеств.

IV

Было уже сильно за полдень, когда княгиня вместе со своей свитой тронулась из гостеприимного Тынца в Краков. Тогдашние рыцари, въезжая в большие города или замки для посещения знакомых, часто облакались в полное вооружение. Правда, существовал обычай снимать его немедленно, после проезда через ворота – к этому приглашал и сам владелец торжественными словами: "Снимите оружие, благородный рыцарь: вы приехали к друзьям", – тем не менее "военный" выезд считался более пышным и поднимал значение рыцаря. Для этой-то пышности как Мацько, так и Збышко нарядились в лучшие панцири и нараменники, отнятые у фризских рыцарей, ясные, блестящие и украшенные пропущенной золотой нитью по краям. Миколай из Длуголяса, – он знал свет, видал много рыцарей и, кроме того, был хорошим знатоком военных вещей, – сразу узнал, что эти панцири выкованы лучшими в тогдашнее время миланскими оружейниками и что каждый из этих панцирей стоит хорошей деревни. Он вывел из этого заключение, что фризы должны были быть не малыми людьми в своем народе, и тем с большим почтением начал смотреть на Мацьку и Збышку. Шлемы их, хотя не последнего достоинства, не были так богаты; зато огромные лошади, покрытые богатыми попонами, возбудили между придворными удивление и зависть. И Мацько, и Збышко, сидя на непомерно высоких седлах, смотрели на весь двор сверху. У каждого из них было в руке длинное копье, у каждого на боку висел меч, а к седлу прикреплен был топор. Правда, щиты ради удобства положили они на телеги, но и без них у обоих был такой вид, точно они ехали в битву, а не в город.

Оба они ехали вблизи от коляски, в которой на заднем сиденье сидела княгиня с Данусей, а на переднем – почтенная придворная дама Офка, вдова Кристина из Яжомбова, и старик Миколай из Длуголяса. Дануся с большим любопытством поглядывала на железных рыцарей, а княгиня время от времени доставала из-за пазухи ковчежец с мощами святого Птолемея и подносила его к губам.

– Ужасно мне любопытно, как выглядят кости, – сказала она наконец, – но я не открою, чтобы не обидеть святого. Пусть откроет краковский епископ.

На это осторожный Миколай из Длуголяса ответил:

– Лучше этого из рук не выпускать, вещь-то уж очень лакомая.

– Пожалуй, вы и верно говорите, – сказала, подумав, княгиня, а потом прибавила: – Давно мне никто не доставлял такого удовольствия, как почтенный аббат, и этим подарком, и тем, что успокоил мой страх перед реликвиями меченосцев.

– Он говорил мудро и справедливо, – заметил Мацько из Богданца. – Были у них и под Вильной всякие реликвии, тем более что они хотели убедить гостей, будто воюют с язычниками. Ну и что же? Увидали наши, что стоит только поплевать на руку да наотмашь ударить топором, как и шлем раскалывался, и голова раскалывалась. Святые помогают, грешно с этим спорить, но только справедливо, тем, которые идут в битву за правду, во имя Божье. Вот я и думаю, милостивые господа, что если дело дойдет до великой войны, то хотя бы все немцы помогали меченосцам, мы разобьем их на голову, потому что народ наш больше и Господь Бог дал нашим костям большую силу. А что до реликвий, так разве у нас в монастыре Святого Креста нет частицы Животворящего Древа?!

– Ей-богу, верно! – сказала княгиня. – Но оно у нас останется в монастыре, а они

свое с собой возят.

– Все равно, для могущества Божьего нет расстояний.

– Правда ли это, скажите, так ли, – спросила княгиня, обращаясь к мудрому Миколаю из Длуголяса, а он отвечал:

– Это и каждый епископ подтвердит. До Рима тоже далеко, а все-таки папа правит всем миром. А уж Бог и давно.

Слова эти окончательно успокоили княгиню, и она перевела разговор на Тынец и его великолепие: всех Мазуров удивляло не только богатство монастыря, но и богатство и красота всей страны, по которой они теперь проезжали. Кругом были разбросаны зажиточные деревни, при них сады, полные фруктовых деревьев, липовые рощи, на липах гнезда аистов, а ниже ульи с соломенными крышками. По обеим сторонам большой дороги тянулись поля, покрытые разными хлебами. Иногда ветер наклонял еще зеленое море колосьев, среди которых часто, как звезды в небе, мелькали головки голубых васильков и ярко-красного мака. Вдали, за полями, чернел кое-где сосновый лес, кое-где радовали глаз дубовые и ольховые рощи, залитые солнечным светом, кое-где виднелись сырые луга, чайки, кружащиеся над болотами, а дальше снова холмы, облепленные хатами, и снова поля; видно было, что в земле этой живет многочисленный, трудолюбивый, влюбленный в поля народ, и куда ни глянь, вся страна казалась не только богатой, но и спокойной и счастливой.

– Это Казимирово королевское хозяйство, – сказала княгиня, – тут бы жить и не умирать.

– Сам Господь Бог улыбается этой земле, – ответил Миколай из Длуголяса, – и благословение Божье почиет на ней. Да и как же быть иначе, если здесь, когда начнут звонить колокола, нет такого угла, куда бы не дошел колокольный звон. Ведь всем известно, что злые духи не могут выносить этого и должны бежать в глухие леса, к венгерской границе.

– Вот то-то мне и удивительно, – проговорила пани Офка, вдова Кристина из Яжомбокова, – что Вальгер Удалой, о котором говорили монахи, может показываться в Тынце: там семь раз в сутки звонят в колокола.

Замечание это на минуту смутило Миколая и, лишь подумав немного, он отвечал:

– Прежде всего, пути Божьи неисповедимы, а во-вторых, заметьте, что он каждый раз спрашивает особое разрешение.

– Как бы то ни было, я рада, что мы не ночуем в монастыре. Я умерла бы от страха, если б он мне явился.

– Гм... Как знать, говорят, он красавец.

– Хотя бы он был раскрасавец, я не хотела бы целоваться с тем, у кого изо рта разит серой.

– Вот оно что! Даже когда речь идет о чертях, у вас на уме поцелуи.

Княгиня, пан Миколай и оба владельца Богданца засмеялись. Засмеялась, сама не зная чему, по примеру других, и Дануся; Офка из Яжомбокова обратила разгневанное

лицо к Николаю из Длуголяса и сказала:

– Я предпочла бы его, а не вас.

– Э, не вызывайте волка из лесу, – весело ответил мазур, – он ездит часто и таскается между Краковом и Тынцом, в особенности по вечерам; а ну как он вас услышит, ну как предстанет перед вами в образе великана...

– С нами крестная сила! – ответила Офка.

В это время Мацько из Богданца, – с своего высокого седла он мог видеть дальше, чем те, которые сидели в коляске, – задержал лошадь и воскликнул:

– Боже всемилостивый, что же это!

– Что такое?

– Богатырь какой-то едет к нам навстречу из-за горы.

– И слово бысть плоть! – испугалась княгиня. – Не наговорите чего-нибудь.

Збышко приподнялся на стременах и сказал:

– Так и есть, великан Вальгер, не кто другой.

Возница от страха осадил лошадей и, не выпуская из рук вожжей, стал креститься: и он с козел увидал на противоположном холме гигантскую фигуру всадника.

Княгиня приподнялась и тотчас же опустилась на место, с лицом, изменившимся от страха. Дануся спрятала голову в складках ее платья. Дворяне, дамы и девицы, ехавшие верхом за коляской, услышав зловещее имя, начали сбиваться в кучу. Мужчины еще пытались смеяться, хотя в глазах их отражалось беспокойство, но женщины побледнели, и только Миколай из Длуголяса, выдавший виды на своем веку, держал себя по-прежнему и, желая успокоить княгиню, сказал:

– Не тревожьтесь, милостивая госпожа. Солнце еще не зашло, а если бы теперь была даже ночь, то святой Птоломей справится с Вальгером.

Тем временем всадник выехал на вершину пригорка, сдержал коня и остановился неподвижно. Его можно было ясно разглядеть в лучах заходящего солнца, и, действительно, его фигура своей величиной, казалось, превосходила обыкновенные размеры человека. Расстояние между ним и свитою княгини было не больше трехсот шагов.

– Зачем он стоит? – спросил один из певцов.

– Потому что и мы стоим, – ответил Мацько.

– Смотрит на нас; как будто хочет выбрать кого-нибудь из нас, – заметил другой певец. – Если бы я знал, что это человек, а не нечисть, то подъехал бы к нему и хватил бы его лютней по лбу.

Женщины вконец перепугались и начали вслух читать молитвы. Збышко, желая похвастать отвагой в глазах княгини и Дануси, сказал:

– А я поеду! Что мне Вальгер!

Дануся с плачем закричала: "Збышко, Збышко", – но он пустил коня и помчался вперед, уверенный, что если встретит и настоящего Вальгера, то насквозь пронизет его копьем.

У Мацька глаза были дальнозоркие, и он сказал:

– Он кажется таким большим потому, что стоит на пригорке. Здоровенный детина, но самый обыкновенный человек – и только. Эва! Поеду и я, а то как бы у Збышка не дошло с ним дело до ссоры.

Тем временем Збышко, пустив коня во всю рысь, раздумывал, сразу ли наставить копьё или подъехать поближе и поглядеть сперва, что же это за человек стоит на холме.

Он решил сначала удостовериться хорошенько и тотчас же убедился, что рассудил правильно: по мере того как он приближался, незнакомец в его глазах начал терять необыкновенные свои размеры. Очень рослый человек сидел на огромной лошади, еще большей, чем лошадь Збышки, но чудесного в нем не было ничего. Он был невооружен, с атласной, похожей на колокол, шапочкой на голове, в белом полотняном плаще, из-под которого виднелась зеленая одежда. Голова его была поднята кверху, – он молился и для этого, вероятно, остановил коня.

"Э, что мне Вальгер!" – подумал мальчик.

Он подъехал так близко, что мог бы достать копьем незнакомца. Незнакомец, увидав перед собой великолепно вооруженного молодого рыцаря, дружелюбно улыбнулся и сказал:

– Слава Господу Богу Иисусу Христу.

– Во веки веков.

– Это не двор княгини Мазовецкой, там, внизу?

– Да.

– Так вы из Тынца едете?

Ответа на вопрос не последовало. Збышко посмотрел вперед и так изумился, что не слышал ничего. С минуту он стоял, как окаменелый, не веря глазам. В нескольких сажнях за незнакомцем он увидел конных солдат, во главе которых ехал рыцарь в блестящих латах, в белом суконном плаще с черным крестом, в стальном шлеме, украшенном великолепным гребнем из павлиньих перьев.

– Меченосец, – прошептал Збышко.

И при виде меченосца он подумал, что молитва его услышана, что Бог, по милосердию своему, посылает ему немца, о котором он просил в Тынце, что нужно пользоваться Божьим соизволением, и, не колеблясь ни минуты, прежде чем он успел оправиться от изумления, наклонился на седле и со своим родовым криком "Грады! Грады!" – всю помчался на меченосца.

Меченосец также изумился, придержал коня и, не наклоня копыя, смотрел вперед, как бы не уверенный, на него ли это нападают.

– Наклони копые, – кричал Збышко, вонзая железные концы стремян в бока лошади. – Грады! Грады!

Расстояние, разделяющее их, уменьшалось. Меченосец, видя, что нападение направлено против него, подставил щит; копые Збышко вот-вот готово было коснуться его груди, как вдруг какая-то могучая рука переломила копые, как сухую тростину, а потом дернула поводья с такой страшной силой, что лошадь сразу остановилась, как вкопанная.

– Сумасшедший, что ты делаешь! – раздался глубокий, грозный голос. – На посла нападаешь, короля оскорбляешь!

Збышко оглянулся и увидел того богатыря, который под видом Вальтера так напугал придворных княгини.

– Пусти меня на немца. Кто ты такой? – крикнул Збышко, хватаясь за рукоять топора.

– Оставь топор. Богом клянусь, оставь топор, говорю тебе, а то с коня сброшу, – еще грознее проговорил незнакомец. – Ты оскорбил короля и будешь предан суду.

Он обратился к людям, которые ехали за меченосцем, и крикнул:

– Сюда.

Тем временем подоспел Мацько с беспокойным и зловещим лицом. И он ясно понимал, что Збышко поступил как безумный и что из этого дела могут произойти гибельные для него последствия; однако он был не прочь и от схватки. Весь отряд неизвестного рыцаря и меченосца состоял не более чем из пятнадцати человек, вооруженных отчасти копыями, отчасти самострелами; двое вполне вооруженных рыцарей могли сразиться с ними не без надежды на победу. Мацько думал, что если впоследствии им грозит суд, то, может быть, лучше пробиться сквозь этих людей и спрятаться, пока не пройдет буря. Его лицо сморщилось, как морда волка, готового укусить, и, остановив коня между Збышкой и незнакомцем, он крикнул:

– Кто вы такие? По какому праву?

– По такому, – отвечал незнакомец, – что король повелел мне наблюдать за безопасностью этих мест, а зовут меня Повала из Тачева.

При этих словах Мацько и Збышко посмотрели на рыцаря, опустили головы и вложили в ножны полуобнаженные мечи. Не страх объял их, – они преклонили голову перед знаменитым и хорошо знакомым им именем: Повала из Тачева, дворянин знаменитого рода и могущественный вельможа, был вместе с тем и славнейшим рыцарем во всем королевстве. Певцы воспевали его в песнях как образец чести и мужества, прославляли его имя наравне с именами Завиши из Гарбова, Фарурея, Скарбка из Гуры, Добка из Олесницы, Яська Нашана, Миколая из Москожова и Зиндрама из Машковиц. В эту минуту, кроме того, он представлял особу короля, и посягнуть на него значило то же, что склонить голову под топор палача.

Мацько остыл и проговорил почтительным голосом:

– Честь и поклон вам, вашей славе и мужеству!

– Поклон и вам, – ответил Повала, – хотя я предпочел бы свести с вами знакомство не при таких тяжелых обстоятельствах.

– Почему же так? – спросил Мацько. Повала обратился к Збышке:

– Что ты натворил, молодой человек?! На большой дороге, на глазах у короля, напал на посла. Знаешь ли ты, что тебя ждет за это?

– Напал он на посла потому, что молод и глуп, ему легче отважиться на какое-нибудь дело, чем обдумать его. Но вы не осудите его сурово, когда я вам расскажу всю историю.

– Не я его буду судить. Мое дело – только взять его под стражу...

– Как же это? – отозвался Мацько, угрюмым взглядом окидывая всех людей, окружающих его.

– По приказу короля.

После этих слов наступило молчание.

– Он дворянин, – помолчав немного, проговорил Мацько.

– Тогда пусть он поклянется рыцарской честью, что предстанет перед судом.

– Клянусь честью! – воскликнул Збышко.

– Хорошо. Как вас зовут?

Мацько назвал свою фамилию и герб.

– Если вы принадлежите ко двору княгини Мазовецкой, то просите, чтоб она ходатайствовала за вас перед королем.

– Мы не принадлежим ко двору княгини. Мы едем с Литвы от князя Витольда. Лучше бы нам не встречаться ни с каким двором. От этой встречи на мальчишку и свалилось несчастье.

Мацько начал рассказывать, что произошло на заезжем дворе, как туда приехала княгиня, как его племянник произносил обет, и вдруг воспламенился таким гневом против Збышки, что закричал на него:

– Лучше бы тебе умереть под Вильной! О чем ты думал, дурак?

Збышко ответил:

– После того как я дал обет, я молился Господу Иисусу, чтоб он послал мне побольше немцев, и обещал ему разные дары, и когда увидел павлиньи перья и плащ с черным крестом, то какой-то голос заговорил во мне: "Бей немцев, чудо совершилось". Ну я и напал на него, да кто бы не напал...

– Слушайте, – перебил Повала, – я не желаю вам зла, я вижу ясно, что мальчик провинился скорее по легкомыслию, свойственному его возрасту, чем по злему умыслу. Я был бы рад, если бы мне можно было совсем не обратить внимания на его поступок и ехать дальше как ни в чем не бывало. Но сделать это я могу только в том случае, если комтур обещает ничего не говорить королю. Просите его, может быть, он и сжалится над подростком.

– Я скорее пойду под суд, чем стану кланяться меченосцу! – воскликнул Збышко. – Недостойно это моей рыцарской чести.

Повала из Тачева сурово посмотрел на него и сказал:

– Не хорошо ты поступаешь. Те, что постарше, лучше тебя знают, что достойно и что недостойно рыцарской чести. Обо мне люди кое-что знают, а я все-таки скажу тебе, что если б я провинился, то не постыдился бы просить прощения за свою вину.

Збышко смутился, но, осмотревшись вокруг, ответил:

– Земля здесь ровная, утоптать бы ее немного... Чем просить прощения у немца, я предпочел бы сразиться с ним на коне или на ногах, на смерть или неволю.

– Дурак ты, – перебил Мацько. – Как же это ты с послом станешь сражаться. Ни тебе с ним нельзя, ни ему с таким паршивцем.

И он обратился к Повале:

– Простите, благородный рыцарь! Мальчишка совсем избаловался во время войны, пусть он лучше не говорит с немцем, а то еще обругает его. Говорить буду я, буду просить прощения, а если, после своего посольства, немец захочет встретиться со мной, то я охотно выйду против него.

– Рыцарь этот знатного рода, едва ли он с кем-нибудь захочет биться, – ответил Повала.

– Как же это так! Разве у меня нет пояса и шпор? Против меня и князь может стать.

– Не спорю, но лучше не говорить об этом, если он сам не начнет беседы, а то как бы он на вас не обиделся. Ну, помощи вам Бог!

– Пойду хлопать глазами! – сказал Мацько Збышке. – Погоди ты у меня!

И он приблизился к меченосцу, который неподвижно сидел на своем огромном, похожем на верблюда, коне и с величайшим равнодушием прислушивался к тому, что говорят. Мацько во время войны научился по-немецки и начал объяснять немцу на его родном языке, что случилось, сваливая вину на молодые годы и неукротимый характер мальчика, которому показалось, что сам Бог послал ему рыцаря с павлиньими перьями, и наконец стал просить, чтоб Збышке отпустили его вину.

Лицо комтура не дрогнуло. Прямой и неподвижный, с высоко поднятой головой, он смотрел на Мацьку своими стальными глазами так равнодушно и так презрительно, как будто бы смотрел не на рыцаря, даже не на человека, а на какой-нибудь

бездушный предмет. Владелец Богданца заметил это, и хотя слова его были по-прежнему вежливы, душа его, видимо, начинала возмущаться. Он говорил все с большим принуждением, а на его загорелых щеках выступил румянец. Было очевидно, что при столкновении с этой ледящей гордостью он сдерживался, чтоб не заскрежетать зубами и не разразиться гневом.

Повала, у которого было доброе сердце, заметил это и решил прийти ему на помощь. И он в молодости при дворах: венгерском, рагузском, бургундском и чешском, в поисках рыцарских приключений, которые повсюду прославили его имя, научился по-немецки; поэтому теперь он обратился на этом языке к Мацьку примирительным и нарочито шутливым тоном:

– Как видите, благородный комтур полагает, что все это дело не стоит слов. Не только в нашем королевстве, но и повсюду подростки не отличаются зрелым умом, но такие рыцари, как комтур, не борются с детьми ни на арене, ни в суде.

Лихтенштейн выпятил свои усы и, не сказав ни слова, тронул коня, минуя Мацьку и Збышку.

А у них от бешеного гнева волосы встали дыбом под шлемами, а руки так и хватались за мечи.

– Подожди, проклятый меченосец! – сквозь стиснутые зубы проговорил старый рыцарь из Богданца. – Теперь уж я обрек тебя и найду, когда ты перестанешь быть послом.

Но Повала, также вскипевший, сказал:

– Это потом. А теперь пусть княгиня просит за вас, не то плохо будет мальчику.

Повала поехал за меченосцем, остановил его и повел с ним оживленную беседу. И Мацько и Збышко заметили, что немецкий рыцарь смотрел на Повалу не так гордо, как на них, и это их еще больше обозлило. Через минуту Повала вернулся к ним, дал меченосцу отъехать и сказал:

– Я просил за вас, но с ним ничего не поделаешь. Он говорит, что не станет жаловаться только в том случае, если вы сделаете то, чего он захочет.

– А чего он хочет?

– Он сказал так: "Я остановлюсь, чтобы приветствовать мазовецкую княгиню; пусть они подъедут, слезут с коней, снимут шлемы и, стоя с обнаженными головами, попросят у меня прощения".

Тут Повала взглянул на Збышку и добавил:

– Это тяжело для людей благородного происхождения... я понимаю, но Должен предостеречь тебя, что если ты этого не сделаешь, то кто знает, что ожидает тебя: может быть, топор палача.

Лица Мацьки и Збышки словно окаменели. Снова наступило молчание.

– Ну так как же? – спросил Повала.

Збышко ответил спокойно, с такой серьезностью, как будто в одну минуту сделался

на двадцать лет старше:

– Что ж делать? На все воля Божья!

– Как так?

– Да так, что, если б у меня было две головы и палач собирался бы отсечь мне обе, – так честь-то у меня одна, и позорить ее я не могу.

Повала сделался серьезным и, обратившись к Мацьке, спросил:

– А вы что скажете?

– Я скажу, – угрюмо ответил Мацько, – что этого малого я воспитывал с колыбели. Наш род от него зависит, я уже стар, но вымалывать прощения он не может, хотя б ему суждено было погибнуть.

Его суровое лицо задрожало, и вдруг любовь к племяннику вспыхнула в нем с такой силой, что он обхватил его своими, закованными в железо, руками и воскликнул:

– Збышко! Збышко!..

Молодой рыцарь изумился и, в свою очередь, обняв дядю, сказал:

– Ах, я и не знал, что вы меня так любите...

– Вижу, что вы настоящие рыцари, – сказал взволнованный Повала, – а коль скоро молодой человек поклялся мне честью явиться на суд, то я не стану брать его под стражу: таким людям, как вы, можно верить. Надейтесь! Немец целый день пробудет в Тынце, значит, я увижу короля раньше и представлю ему дело так, чтоб меньше разгневать его. Хорошо, что я успел переломить копье, это великое счастье.

Но Збышко сказал:

– Если уж мне придется сложить голову, то пусть бы у меня было хоть утешение, что я продырявил панцирь меченосца.

– Честь свою защищать ты умеешь, а того не понимаешь, что своим безумным поступком опозорил бы весь наш народ, – сердито ответил Повала.

– Понимать-то я понимаю, – сказал Збышко, – но поэтому-то мне и жаль...

Повала же обратился к Мацьке:

– Знаете что? Если этому подростку каким-нибудь образом удастся вывернуться, то вы должны надеть ему на голову шапочку, как делают с соколами. Иначе он не умрет своей смертью.

– Ему удалось бы вывернуться, если б вы утаили перед королем то, что случилось.

– А с немцем я что сделаю? Ему языка узлом не завяжешь!

– Верно! Верно!..

Они повернули обратно ко двору княгини. Слуги Повалы, которые перед этим смешались с людьми Лихтенштейна, теперь присоединились к господину. Издалека из-за мазовецких шапок виднелись развевающиеся павлиньи перья меченосца и его сверкающий на солнце шлем.

– Удивительная натура у меченосцев, – как бы в раздумье сказал рыцарь из Тачева.
– Когда меченосцу приходится плохо, он терпелив, как францисканец, покорен, как ягненок, и сладок, как мед, так, что лучше его на свете не найдешь. Но чуть он почувствует в себе силу, никто не станет так величаться, ни у кого не найдешь меньше милосердия. Видно, Господь Бог дал им камень вместо сердца. Я присматривался к разным народам и не раз видел, как истинный рыцарь щадит другого рыцаря, послабей, и говорит себе: "Много чести мне не прибудет, если я убью лежачего". А меченосец тогда-то и делается еще свирепей. Держите же его и не пускайте, а то плохо будет. Вот так и этот посол. Сейчас же пожелал не только нашего извинения, но и позора. Но я рад, что этого не будет.

– Не дождется он! – вскричал Збышко.

После этих слов они подъехали и смешались со свитой княгини. Меченосец при их приближении принял гордый и презрительный вид, но они не обращали на него внимания. Збышко стал возле Дануси и весело начал рассказывать ей, что с пригорка виден уже Краков, а Мацько повел разговор с одним из певцов о необычайной силе пана из Тачева, переломившего копье Збышки, как сухую тростинку.

– А зачем он сломал копье? – спросил певец.

– Мальчишка наскочил на немца, да только для смеха.

Певцу, который был шляхтич и человек опытный, такая шутка показалась не особенно пристойной, но, видя, что Мацько говорит о ней небрежно, и он не придавал ей важного значения. Немца такое поведение начало сердить. Он посмотрел на Збышку, потом на Мацьку и, наконец, понял, что с коней они не сойдут и нарочно не обращают на него внимания. Тогда глаза его сделались еще суровее, и он начал прощаться с княгиней.

Когда он удалился, пан из Тачева не мог сдержаться и сказал ему на прощанье:

– Поезжайте смело, храбрый рыцарь. Места здесь спокойные и на вас никто не нападет, кроме какого-нибудь шального мальчишки.

– Хотя в вашей земле странные обычаи, но я искал не защиты, а вашего общества, – ответил Лихтенштейн. – Надеюсь, что мы встретимся в здешнем дворце и еще где-нибудь...

В последних словах слышалась скрытая угроза, и Повала серьезно ответил:

– Как бог даст...

Сказав это, он поклонился и повернул назад, потом пожал плечами и проговорил вполголоса, но так, что его слышали ближайшие люди:

– Паршивец! Я поднял бы тебя с седла на острие копья и держал бы в воздухе столько времени, чтобы можно было трижды прочесть "Отче наш".

Повала вступил в разговор с княгиней, которую хорошо знал раньше. Анна Данута спросила у него, что он делал на дороге; он ответил, что разъезжает по королевскому предписанию, чтоб поддерживать порядок в этой местности; теперь столько народу съезжается в Краков, что легко может случиться какое-нибудь недоразумение. И в доказательство он привел ей то, чему только что был свидетелем. Соображая, что просить княгиню заступиться за Збышку еще будет время, если это понадобится, и не желая портить ее хорошего расположения, он не придавал случившемуся особенно важного значения. И действительно, княгиня смеялась над Збышкой, которому так скоро понадобились павлиньи перья, а другие, узнав о том, что пан из Тачева переломил копьё одной рукой, удивлялись его силе.

Он же немного любил прихвастнуть, был очень доволен, что его так хвалят, и в конце концов начал сам рассказывать о своих подвигах, которые прославили его имя в особенности в Бургундии, при дворе Филиппа Смелого. Раз он, во время турнира, после первой стычки, схватил одного арденского рыцаря, вырвал его из седла и подбросил на воздух на высоту копья, хотя арденец был весь закован в железо. За это Филипп Смелый подарил Повале золотую цепь, а герцогиня – атласный башмачок, который он до сих пор носит на шлеме.

При этом рассказе все пришли в великое изумление, за исключением Миколая из Длуголяса, который сказал:

– Теперь люди все обессилели; нет уже таких мужей, какие бывали во времена моей молодости, или таких, о которых рассказывал мне отец. Случится какому-нибудь рыцарю разорвать панцирь или скрутить между пальцами железный тесак, так уж сейчас же объявят героем и превознесут выше всех. А прежде это дельвали и бабы...

– Я не спорю, что прежде люди были крепче, – отвечал Повала, – но и теперь найдутся сильные люди. Меня Господь Бог не обидел крепостью в костях, однако я не считаю себя самым сильным в королевстве. Видали вы когда-нибудь Завишу из Гарбова? Этот и меня одолел бы.

– Видал! Плечи у него такие же широкие, как бока у краковского колокола.

– А Добко из Олесницы! Раз на турнире, который меченосцы устраивали в Торуни, он выбил из седла двенадцать рыцарей, к великой славе для себя и для нашего народа.

– А наш мазур, Сташко Телек, еще сильнее был и вас, и Завиши, и Добка. Говорили о нем, что, бывало, он возьмет в руку свежий кол и выдавит из него сок.

– Да это и я сделаю, – крикнул Збышко.

И прежде чем кто-нибудь попросил его сделать опыт, он сорвал толстую ветку с придорожного дерева и, на глазах у княгини и Дануси, стиснул ее так сильно, что сок, действительно, закапал на дорогу.

– Ай, Иисусе Христе! – воскликнула Офка из Яжомбкова. – Не ходи на войну, жалко будет, если ты погибнешь раньше, чем женишься.

– Жалко! – повторил Мацько и сразу нахмурился.

Но Миколай из Длуголяса засмеялся, а вместе с ним и княгиня. Другие вслух восхваляли силу Збышки, а так как в то время железную руку ставили выше всех

достоинств, то девушки кричали Данусе: "Радуйся". Девочка была рада, хотя и не понимала, какую пользу может ей принести кусок выжато́го дерева. Збышко совсем забыл о меченосце и смотрел на всех так победоносно, что Миколай из Длуголяса, желая успокоить его, сказал:

– Напрасно ты хвалишься своей силой, есть люди покрепче тебя. Я этого не видал, но отец мой был свидетелем того, что случилось при дворе Карла, римского императора. Поехал король Казимир к нему в гости со множеством дворян, между которыми был и силач Сташко Телек, сын воеводы Андрея. Однажды император стал хвалиться, что в его свите есть некий чех, который может обхватить медведя и задушить его на месте. Устроили зрелище, и чех задушил двух медведей по очереди. Наш король сильно опечалился, как бы ему не уехать со стыдом, и говорит: "Ну, мой Телек не даст себя посрамить". Назначили, что через три дня он будет бороться; дам и знатных рыцарей наехало видимо-невидимо, а через три дня чех и Телек сошлись на императорском дворе. Схватились они, и тотчас же Телек переломил чеху спинной хребет, все ребра, и только мертвого, к великой славе короля, выпустил из рук. С той поры прозвали его Ломигнатом. Потом он один внес на колокольню колокол, а этот колокол двадцать горожан не могли сдвинуть с места.

– А сколько ему было лет? – спросил Збышко.

– Он был молодой!

Тем временем Повала из Тачева, – он ехал справа княгини, – наклонился к ее уху и рассказал всю правду о важности случившегося и вместе с тем просил ее поддержать его, когда он будет ходатайствовать за Збышку, который слишком может поплатиться за свой поступок. Княгине Збышко очень понравился, она с грустью выслушала рассказ и сильно встревожилась.

– Краковский епископ расположен ко мне, – сказал Повала, – может быть, я упрошу его и королеву, но чем больше будет ходатаев, тем лучше.

– Только бы королева вступилась за него, тогда волос с его головы не спадет, – сказала Анна Данута, – король из благочестия и за приданое весьма почитает ее, особенно же теперь, когда с нее спал позор бесплодия. Но в Кракове живет любимая сестра короля, жена князя Земовита, ступайте к ней. Я тоже сделаю, что могу, но она ему родная сестра, а я двоюродная.

– Король любит и вас, милостивая госпожа...

– Но не так, – с некоторой печалью сказала княгиня, – для меня одно звено, для нее вся цепь. Для меня лисица, для нее соболь. Никого из родных король не любит так, как Александру. Не бывает такого дня, чтобы она ушла с пустыми руками...

Так разговаривая, они подъехали к Кракову. На дороге встречалось все больше и больше народу. Нагоняли землевладельцев, едущих в город с целой свитой слуг, то в латах, то в летних одеждах и соломенных шляпах. Одни ехали верхами, другие в экипажах с женами и дочерьми, которых интересовали давно обещанные турниры. Кое-где вся дорога была загромождена телегами купцов, которым не позволялось объезжать город, чтобы не лишать его многочисленных пошлин. Другие телеги шли из города, нагруженные сукном и прочими городскими товарами. Краков был уже ясно виден, видны были сады короля, вельмож и обывателей, со всех сторон окружавшие город, а за ними стены и башни церквей. Чем ближе к городу, тем становилось

тесней, а в воротах вследствие толкотни невозможно было проехать.

– Вот так город! Другого такого и не найдешь, – сказал Мацько.

– Здесь всегда точно ярмарка, – отвечал один из певцов. – Вы здесь давно не были?

– Давно, и всему удивляюсь, словно в первый раз вижу: я ведь из дальних краев вернулся.

– Говорят, Краков страсть как разросся при короле Ягелле.

Это была правда. Со вступлением на престол великого князя литовского неизмеримые литовские и русские страны открылись для краковской торговли, а от этого увеличилось и население, и богатство Кракова, и он мало-помалу становился одним из лучших городов мира...

– У меченосцев тоже хорошие города, – продолжал толстый певец.

– Только бы нам до них добраться, – отвечал Мацько, – хорошая была бы добыча!

Но Повала думал совсем о другом: о том, что молодой Збышко, провинившись только благодаря своей запальчивости, идет прямо в пасть волку. В могучей груди пана из Тачева, сурового и неумолимого во время войны, билось сердце воистину голубиное. Он лучше других понимал, что ждет виновного, и ему стало жаль Збышку.

– Я все думаю и думаю, – обратился он к княгине, – говорить королю о том, что случилось, или не говорить? Если меченосец не пожалуется, то и никакого дела не будет, но если он собирается жаловаться, то, может быть, нам лучше рассказать все раньше, чем он, чтобы государь не возгорелся внезапным гневом...

– Если меченосец может кого-нибудь погубить, так уж он погубит, – отвечала княгиня, – но я скажу мальчику, чтобы он присоединился к нашему Двору. Может быть, король не так строго накажет нашего придворного...

Сказав это, она подозвала Збышку, который, узнав, в чем дело, соскочил с коня, упал к ее ногам и с величайшей радостью согласился стать ее придворным, не только для большей безопасности, но и для того, чтобы таким образом быть поближе к Данусе...

Между тем Повала спросил у Мацьки:

– А где вы остановитесь?

– На постоялом дворе.

– На постоянных дворах давно уже нет ни одного места.

– Ну тогда пойдем к знакомому купцу, Амылею, может быть, он нас примет...

– А я вам вот что скажу: остановитесь у меня. Племянник ваш мог бы поселиться с придворными княгини в замке, но лучше для него быть подальше от короля. Что делается в первом порыве гнева, то не делается, когда гнев немного остынет. При этом вам удобнее будет разделить свое добро, а на это надобно время. Знаете что?

Вам у меня будет хорошо и вполне безопасно...

Мацько хоть и встревожился немного тем, что Повала так заботится об их безопасности, но все-таки сердечно поблагодарил, и тут они въехали в город. При виде окруживших их чудес Мацько и Збышко забыли на миг все печали. На Литве и возле границы видали они только отдельные замки, а из более значительных городов одну Вильну, плохо построенную и сожженную, лежащую в развалинах, под слоем пепла; здесь же дома купцов сплошь и рядом были величественнее тамошнего великокняжеского замка. Правда, многие дома были деревянные, но и они удивляли высотой стен и кровель, окнами из мелких, вправленных в олово стекол, которые так отражали блеск заходящего солнца, что можно было подумать, будто в доме пожар. На улицах, расположенных вблизи городской площади, было много кирпичных и даже каменных домов. Они стояли в ряд, как солдаты в строю, – одни пошире, другие поуже, не более девяти футов в ширину, но все готические, со сводчатыми стенами, часто с изображениями Пресвятой Девы над воротами. Были такие улицы, на которых только и видно было, что два ряда домов, вверху узкую полоску неба, внизу дорогу, замощенную камнем, а по обеим сторонам, куда ни глянь, все лавки да лавки, полные великолепных, странных, а то и совсем неведомых товаров. Мацько, привыкший к непрестанной войне и грабежу, смотрел на них глазами, сверкающими от жадности. Но еще в большее удивление повергали и его и Збышку общественные здания: церковь Пресвятой Девы на площади, ратуша с огромным погребом, в котором продавалось свидницкое пиво, джингус, склады сукна, огромный мерка-ториум [5], предназначенный для иностранных купцов, здание, где хранились городские весы, цирюльни, бани, целые горы бочек возле так называемого Штротамта – словом, все богатства, которых незнакомый с городом человек, хотя бы даже владелец целого "городка", не мог и вообразить себе...

Повала проводил Збышку и Мацьку в свой дом, на улице Святой Анны, велел отвести им обширную комнату, поручил их своим слугам, а сам отправился в замок, из которого вернулся к ужину, уже довольно поздней ночью. Вместе с ним пришло несколько его друзей и, обильно угощаясь вином и мясом, они стали весело пировать; один только хозяин был как-то задумчив, когда же гости наконец разошлись по домам, он сказал Мацьке:

– Я говорил с одним монахом, сведущим в писании и в законе, и он говорит, что оскорбление посла – это дело, которое может кончиться смертной казнью. Просите же Бога, чтобы меченосец не жаловался...

Услыша это, оба рыцаря хоть и хватили за ужином несколько через край, все же удалились на покой уже не с таким веселым сердцем. Мацько даже не мог заснуть и спустя несколько времени, когда они уже улеглись, обратился к племяннику:

– Збышко!

– А?

– Подумал я, и выходит так, что тебе обязательно отрубят голову.

– Вы думаете? – сонным голосом спросил Збышко.

И, отвернувшись к стене, заснул крепким сном, потому что был утомлен дорогой.

На другой день оба рыцаря из Богданца вместе с Повалой отправились в собор к ранней обедне, как для того, чтобы помолиться, так и с целью увидеть двор и

гостей, съезжавшихся в замок. И в самом деле, Повала уже по дороге встретил много знакомых, а между ними немало рыцарей, известных в Польше и за границей. Юный Збышко с восторгом смотрел на них, обещая себе, что если в деле с Лихтенштейном он выйдет сухим из воды, то постарается сравняться с ними в мужестве и во всех добродетелях. Один из этих рыцарей, Топорчик, родственник каштеляна краковского, сообщил им новость о возвращении из Рима Войцеха Ястжембца, схоластика, ездившего к папе Бонифацию IX с королевским письмом, содержащим в себе приглашение прибыть в Краков на крестины. Бонифаций принял приглашение, но, выказав сомнение в том, сможет ли прибыть на крестины лично, уполномочил своего посла быть его заместителем при обряде и вместе с тем просил, чтобы, в знак особого его благоволения к королю и королеве, младенец был назван Бонифацием или Бонифацией.

Говорили также о скором приезде короля венгерского Зигмунта и рассчитывали, что он приедет обязательно. Дело в том, что Зигмунт приезжал и званный и незванный, всегда, как только предстоял какой-нибудь съезд, или пиры, или турниры, в которых с увлечением принимал участие, ибо желал прославиться во всем мире и как государь, и как певец, и как один из первых рыцарей. Повала, Завиша из Гарбова, Добко из Олесницы, Нашан и другие подобные им мужи с улыбкой припоминали, как в прошлый приезд Зигмунта король Владислав тайком просил их быть не слишком упорными на турнирах и щадить "венгерского гостя", тщеславие которого, известное всему миру, было так велико, что в случаях неудачи на глазах у него навертывались слезы. Но более всего занимали рыцарей дела Витольда. Рассказывались чудеса о великолепии той отлитой из чистого серебра колыбели, которую от Витольда и жены его Анны привезли в дар литовские князья и бояре; как бывает всегда перед обедней, образовались кучки людей, сообщающих друг Другу всякие новости. В одной из них Мацько, услышав о колыбели, стал описывать ценность подарка; но еще больше рассказывал он о задуманном огромном походе Витольда на татар, его так и закидали расспросами об этом походе. Дело было уже почти готово; громадные войска двинулись уже на восток Руси; если бы поход оказался удачным, то он распространил бы власть короля Ягеллы чуть ли не на полмира, до неведомых глубин Азии, до границ Персии и берега Арала. Мацько, который был близок к особе Витольда и мог знать его намерения, умел рассказывать о них толково и так красноречиво, что, пока не звонили к обедне, перед папертью собора образовался вокруг него целый кружок любопытных. "Дело идет, – говорил он, – попросту о крестовом походе. Сам Витольд, хоть его титулуют великим князем, правит Литвой от имени Ягеллы и является лишь наместником. Таким образом вся честь заслуги будет принадлежать королю. Какая слава будет для новокрещеной Литвы и для могущества Польши, когда союзные войска понесут крест в такие страны, где если и произносят имя Спасителя, то лишь ради кошунства, и где не ступала до сих пор нога поляка или литвина. Свергнутый Тохтамыш, когда польские и литовские войска снова посадят его на утраченный кипчакский престол, признает себя "сыном" короля Владислава и, согласно своему обещанию, вместе с Золотой Ордой поклонится кресту". Все напряженно прислушивались к этим словам, но многие вовсе не знали, о чем идет речь, кому Витольд собирается помогать, с кем воевать; поэтому некоторые стали спрашивать:

– Говорите толком: с кем война?

– С кем? С Тимуром Хромым, – отвечал Мацько.

Наступило молчание. До слуха западных рыцарей, правда, часто долетали имена Золотой, Синей, Азовской и всяких других орд, но татарские дела и междоусобные распри между отдельными ордами не были им хорошо известны. Зато с другой стороны

в тогдашней Европе не нашлось бы ни одного человека, который бы не слышал о страшном Тимуре Хромом, или Тамерлане, имя которого повторялось с неменьшей тревогой, нежели когда-то имя Атиллы. Ведь это был "властелин мира" и "властелин времени" – господин двадцати семи завоеванных государств, обладатель Московской Руси, Сибири, Китая до самой Индии, Багдада, Исфагана, Алеппо, Дамаска; тень его падала через аравийские пески на Египет, а через Босфор на Греческую империю, это был истребитель человеческого рода, чудовищный строитель пирамид из человеческих черепов, победитель во всех битвах, ни разу не побежденный "господин душ и тел".

Тохтамыш посажен им на престол Золотой Орды и признан его "сыном". Но когда господство его простерлось от Урала до Крыма через большее пространство земли, чем было ее во всей Европе, "сын" захотел быть самостоятельным государем; но "единым пальцем" отцовским он был свергнут с престола и бежал к литовскому князю, умоляя о помощи. Его-то и вознамерился Витольд снова посадить на престол, но, чтобы сделать это, надо было сначала померяться силами с владыкой мира – Хромом.

Поэтому имя его произвело на слушателей сильное впечатление, и после некоторого молчания один из старейших рыцарей, Войцех из Яглова, сказал:

– Не с кем попало придется иметь дело.

– Да толку-то мало, – поспешно ответил Миколай из Длуголяса. – Какое нам дело до того, кто будет царствовать за тридевять земель отсюда, Тохтамыш или какой-нибудь Кутлук?

– Тохтамыш примет христианскую веру, – отвечал Мацько.

– Либо примет, либо не примет. Можно ли верить этим собачьим детям, которые Христа не признают?

– Но достойно пасть в бою во имя Христа, – ответил Повала.

– И во имя рыцарской чести, – прибавил Топорчик, родственник каштеляна. – Есть же между нами такие, которые пойдут. У пана Спытка из Мельштына жена молодая и любимая, а ради такого дела и он поехал уже к Витольду.

– И неудивительно, – вставил Ясько из Нашан, – хоть бы самый тяжкий грех лежал на душе – за такую войну он наверно простится и спасение вечное тоже наверно дастся.

– А вечная слава! – снова сказал Повала из Тачева. – Уж коли война, так война, а коли с хорошим противником, так тем лучше. Тимур завоевал мир и обладает двадцатью семью царствами. Какая слава была бы для нашего народа, если бы мы его покорили.

– А почему бы и не так? – отвечал Топорчик. – Хоть бы сто царств у него было, пусть его боятся другие, а не мы. Это вы хорошо говорите. Созвать бы тысяч десять хороших солдат – так мы весь мир завоюем.

– А какому же народу и покорить Хромого, если не нашему?...

Так разговаривали рыцари; и Збышко даже удивлялся, как это ему раньше никогда не

приходила охота пойти за Витольдом в степи... Но во время пребывания в Вильне ему хотелось увидеть Краков, двор, принять участие в рыцарских турнирах, а теперь он думал, что может найти здесь не славу, а суд, между тем как гам в худшем случае обрел бы славную смерть...

Но древний Войцех из Яглова, у которого от старости тряслась голова, но у которого ум соответствовал возрасту, облил рыцарей холодной водой:

– Глупы вы, – сказал он. – Неужели никто из вас не слышал, что изображение Христа сказала королеве, а уж если Спаситель допускает ее так близко к себе, то почему бы Святой Дух, третья ипостась Святой Троицы, был бы к ней менее милостив? Поэтому она видит будущие события так, как если бы они совершались перед ее глазами. Она же сказала так...

Тут он остановился и некоторое время тряс головой, а потом сказал:

– Я позабыл, что она сказала, но сейчас вспомню...

И он стал размышлять, они же ждали в молчании, потому что всеобщее мнение было таково, что королева видит будущие события.

– Ага, – сказал наконец Войцех, – вспомнил. Королева сказала, что если бы все здешние рыцари пошли бы с князем Витольдом на Хромого, то тогда бы сила языческая была сокрушена. Но этого не может быть из-за разных христианских государей. Надо охранять границы от чехов и от венгров, и от меченосцев, никому верить нельзя. Если же с Витольдом пойдет только горсть поляков, Хромой Тимур победит его или сам, или через своих воевод, которые предводительствуют неисчислимыми полчищами врагов...

– Да ведь теперь мир, – отвечал Топорчик, – ведь, кажется, сами меченосцы обещают Витольду какую-то помощь. Они не могут поступить иначе, хоть бы потому, что побоятся позора. Кроме того, надо же им показать святому отцу, что они готовы сражаться с язычниками. Да и при дворе поговаривают, будто Куно Лихтенштейн находится здесь не только ради крестин, но и для каких-то переговоров с королем...

– А вот и он! – с удивлением воскликнул Мацько.

– Правда, – сказал Повала, оглянувшись. – Ей-богу он! Недолго гостил он у аббата, должно быть, еще до рассвета выехал из Тынца.

– Ишь как ему не терпелось, – мрачно ответил Мацько.

Между тем Куно Лихтенштейн прошел мимо них. Мацько узнал его по кресту, вышитому на плаще, но сам он не узнал ни его, ни Збышку, потому что видел их только в шлемах, а когда шлем бывал надет, то даже при поднятом забрале виднелась лишь небольшая часть лица рыцаря. Проходя, он кивнул головой Повале из Тачева и Топорчику, а потом вместе со своими оруженосцами стал подыматься по ступеням лестницы в собор походкой медленной и полной величия.

Вдруг раздался колокольный звон, всполошивший стаю галок и голубей, гнездившихся на колокольнях, и в то же время возвестивший, что обедня сейчас начнется. Мацько и Збышко, несколько встревоженные поспешным возвращением Лихтенштейна, вместе с другими вошли в костел. Но старый рыцарь тревожился больше потому, что внимание

младшего целиком поглотил королевский двор. Збышко никогда в жизни не видал ничего более блестящего, чем эта церковь и это общество. Со всех сторон окружали его знаменитейшие в королевстве люди, прославленные в совете или на войне. Многие из тех, чья мудрость привела к браку великого князя литовского с прекрасной и юной королевой польской, уже умерли, но некоторые были еще живы, и на них смотрели с необычайной почтительностью. Молодой рыцарь не мог насмотреться на величественную фигуру Яська из Тенчина, каштеляна краковского, в котором суровость соединялась с величием и справедливостью; он удивлялся умным и мужественным лицам прочих советников, могучим головам рыцарей, с волосами, ровно подстриженными над бровями и длинными локонами спадающими по бокам и сзади. Некоторые носили на головах сетки, а некоторые только перевязи, сдерживавшие волосы. Иностранные гости, послы короля римского, чехи, венгры и рагузцы вместе со своими свитами поражали Збышку необычайным великолепием нарядов: на литовских князьях и боярах, состоявших при короле, несмотря на лето и жаркие дни, надеты были для представительности шубы, подбитые дорогими мехами; русские князья, в тяжелых и широких одеждах, на фоне церковных стен казались византийскими иконами. Но с наибольшим любопытством ожидал Збышко прибытия короля и королевы; он изо всех сил протискивался вперед, откуда можно было видеть перед самым алтарем две подушки из красного бархата: король и королева во время обедни всегда стояли на коленях. Ждать пришлось недолго: король первый вышел из дверей ризницы, и пока он дошел до своего места, к нему можно было хорошо присмотреться. Волосы у него были черные, курчавые, слегка редющие на лбу, по бокам заложенные за уши; лицо смуглое, бритое, нос горбатый и довольно острый, около рта морщины; глазки черные, маленькие, блестящие; ими он зыркал во все стороны, точно хотел, прежде чем дойдет до алтаря, сосчитать всех людей, находящихся в костеле. Выражение лица было у него доброе, но вместе с тем и осторожное, – выражение, какое почти всегда бывает у человека, помимо собственных ожиданий слишком высоко вознесенного счастьем и постоянно принужденного думать о том, соответствуют ли его поступки его положению, и не скажут ли о нем чего-нибудь дурного. Но именно вследствие этого в его лице и движениях проглядывала какая-то нетерпеливость. Легко было угадать, что гнев его бывает внезапен и страшен и что все-таки это тот самый князь, который когда-то, выведенный из себя увертками меченосцев, кричал их послам: "Ты ко мне с пергаментом, а я к тебе с копьем".

Но теперь врожденная эта запальчивость побеждалась великой и подлинной набожностью. Не только вновь обращенные в христианство князья литовские, но и набожные по самому происхождению своему польские вельможи любовались на короля, когда он бывал в костеле. Часто, отбросив подушку, он, для вящего умерщвления плоти, преклонял колена на голых камнях; часто, подняв руки к небу, он держал их так до тех пор, пока они сами не падали от изнеможения. Он слушал в день не менее трех обеден, и слушал их почти с жадностью. Звон колокольчика при поднятии Святых Даров всегда наполнял душу его весельем, восторгом, блаженством и ужасом. По окончании службы он выходил из костела, точно проснувшийся от сна, успокоенный и умиленный, и придворные вскоре смекнули, что это самое подходящее время, чтобы просить его о прощении или о подарках.

Ядвига вошла через двери, ведущие в ризницу. Увидев ее, стоящие поблизости рыцари, хотя обедня еще не началась, тотчас же опустились на колени, невольно воздавая ей честь как святой. Збышко сделал то же самое, так как среди присутствующих никто не сомневался, что перед ними действительно находится святая, иконы которой будут со временем украшать стены костела. Особенно суровая, подвижническая жизнь, которую Ядвига вела последние годы, сделала то, что кроме почестей, надлежащих ей, как королеве, ей воздавались почести почти

религиозные. Говорили, что прикосновение руки ее исцеляло больных; люди, не владевшие руками и ногами, исцелялись, надев старое платье королевы. Достоверные свидетели утверждали, что слышали собственными ушами, как однажды Иисус Христос говорил с ней из алтаря. Иностранные монархи преклоняли перед ней колена, ее чтил и боялся обидеть даже надменный орден меченосцев. Папа Бонифаций IX называл ее благочестивой и избранной дочерью церкви. Весь мир смотрел на ее поступки и помнил, что это дитя Анжуйского дома и польских Пястов, эта дочь могущественного Людовика, воспитанная при самом блестящем дворе, прекраснейшая из девушек, отреклась от своего счастья, отреклась от первой девической любви и, как королева, вышла замуж за "дикого" литовского князя, чтобы вместе с ним склонить к подножию креста последний в Европе народ, остававшийся еще в язычестве. То, чего не могли добиться соединенные силы немцев, власть ордена, крестовые походы и море пролитой крови, – то сделало одно ее слово. Никогда еще венец апостольский не осенял более молодого и более прекрасного лица, никогда апостольская миссия не соединялась с таким самоотречением, никогда женственная прелесть не светилась такой ангельской добротой и такой тихой грустью.

Теперь менестрели воспевали ее при всех дворах Европы; рыцари съезжались в Краков из самых отдаленных земель, чтобы видеть эту "польскую королеву"; ее народ, которому, вступив в союз с Ягелло, прибавила она столько славы и мощи, любил ее, как зеницу ока. Одно лишь великое горе висело над ней и над ее народом: Бог долгие годы отказывал избраннице своей в потомстве.

Но когда наконец миновало и это несчастье, радостная весть о благословении Божьем разнеслась, как молния, от Балтики до Черного моря, до самых Карпат, и наполнила радостью все народы великого государства. Даже при иностранных дворах, кроме столицы меченосцев, встретили эту весть с радостью. В Риме пели: "Te, Deum". В польских землях рассеялось всякое сомнение в том, что если "святая госпожа" о чем-либо попросит, то это и случится неизбежно.

И вот люди стекались к ней с просьбами, чтобы она вымолила им здравия; приходили ходоки от разных земель и уездов ходатайствовать, чтобы она, смотря по надобности, молилась то о дожде, то о ведре, то о счастливом покосе, то о благополучном сборе меда, то об обилии рыбы в озерах, то о звере в лесах. Грозные рыцари из пограничных замков, которые, по перенятому у немцев обычаю, грабили друг друга и предавались междоусобным Распрям, по одному слову ее вкладывали мечи в ножны, без выкупа отпускали пленников, возвращали захваченные стада и подавали друг другу руки в знак мира. Всякое горе, всякая беднота теснились к воротам краковского замка. Чистый дух королевы проникал в людские сердца, смягчал участь рабов, гордость господ, суровость судей, и как счастье, как ангел, как справедливость возносился над всей страной.

И вот все с бьющимися сердцами ожидали дня благословения Божьего.

Рыцари внимательно осматривали фигуру королевы, чтобы по формам ее заключить, долго ли еще им ждать будущего наследника или наследницу престола. Ксендз епископ краковский Выш, который был в то же время самым опытным в Польше и известным даже в чужих краях врачом, не обещал еще скорого разрешения, и если делались различные приготовления, то только потому, что обычай того века повелевал начинать все торжества как можно раньше и длить их целыми неделями. И в самом деле, фигура государыни, хоть и подавшаяся немного вперед, сохраняла еще прежнюю стройность. Одежду носила она даже слишком простую. Когда-то, воспитанная при блестящем дворе и самая красивая из тогдашних принцесс, любила она дорогие ткани, цепочки, жемчуг, золотые браслеты и перстни, теперь же, уже

несколько лет, не только носила монашескую одежду, но даже закрывала лицо, из боязни, чтобы мысль о собственной красоте не возбудила в ней мирского тщеславия. Напрасно Ягелло, узнав о ее положении, охваченный радостью, захотел, чтобы она украсила свое ложе парчю, бисером и драгоценностями. Она отвечала, что давно уже отказалась от всякой пышности; она помнит, что час родов бывает иногда часом смерти, а потому не среди драгоценностей, но в тихом смирении должно ей принять милость, которую посылает Господь.

И вот золото и драгоценные камни шли на академию и на посылку вновь окрещенной литовской молодежи в заграничные университеты.

Только в одном отношении согласилась королева изменить монашеский образ жизни: с тех пор, как надежда стать матерью сделалась для нее несомненной, она больше не закрывала лица, справедливо полагая, что с этой минуты одежда затворницы не идет ей...

И вот все взоры с нежностью обратились теперь к этому прекрасному лицу, которого не могли более украсить ни золото, ни драгоценные камни. Королева медленно шла от дверей ризницы к алтарю, подняв глаза вверх, держа в одной руке молитвенник, а в другой четки. Збышко увидел белое, как лилия, лицо, голубые глаза, ангельские черты лица, полного спокойствия, доброты, милосердия, и сердце его застучало, как молот. Он знал, что по заповеди Божьей обязан любить и короля своего, и королеву, и любил их по-своему, но теперь сердце его вдруг возгорелось великой любовью, которая возникает не по приказанию, но вспыхивает своевольно, как пламя; в ней и величайшее преклонение, и покорность, и жажда принести себя в жертву. Молод и пылок был рыцарь Збышко, и тотчас же охватило его желание как-нибудь выказать эту любовь, что-то сделать, куда-то бежать, кого-то победить, что-то завоевать и при этом самому сложить голову. "Не пойти ли мне с князем Витольдом? – говорил он себе. – Как же я услужу святой госпоже, если нигде поблизости нет войны?" Ему даже в голову не пришло, что можно услужить иначе, нежели мечом, рогатиной или топором, но зато он готов был один ринуться на все войско Хромого Тимура. Ему хотелось вместо того, чтобы слушать обедню, сесть на коня и что-то начать. Что? Этого он сам не знал. Он знал только, что у него горят руки и горит вся душа...

Он совершенно забыл об опасности, которая ему угрожала. На минуту он забыл даже о Данусе, а когда детское пение, вдруг пронесшееся по собору, напоминало ему о ней, то он почувствовал, что "это – совсем другое". Данусе он поклялся в верности, поклялся победить трех немцев – и клятву свою сдержит, но ведь королева выше всех женщин, и когда он подумал, скольких хотел бы убить для королевы – он увидел перед собой целую стену панцирей, шлемов, страусовых и павлиньих перьев, и почувствовал, что для его отваги даже этого всего было бы мало...

Между тем он не сводил глаз с королевы и с переполненным сердцем думал, какой молитвой почтить ее: он полагал, что какой попало молитвой молиться за королеву нельзя. Он умел прочитать "Pater noster, qui esin coelis, sanctificetur nomen tuum" [6], этому научил его один францисканец в Вильне. Но может быть, сам монах не знал дальше, а может быть, Збышко остальное забыл, как бы то ни было, всего "Отче наш" произнести он не мог. Однако он стал повторять эти несколько слов, которые в душе его означали: "Пошли нашей возлюбленной государыне здоровье и жизнь, и счастье, и более пекись о ней, нежели обо всем прочем". И так как это говорил человек, над собственной головой которого висел суд и казнь, то во всей церкви не было молитвы более искренней...

Когда обедня кончилась, Збышко подумал, что если бы ему можно было стать перед королевой, упасть пред ней ниц и обнять ее ноги, то пусть бы после этого наступил хоть конец мира; но после первой обедни началась вторая, потом третья, а потом государыня удалилась в свои покои, потому что она обыкновенно постилась до самого полудня и нарочно не принимала участия в веселых завтраках, за которыми для увеселения короля и гостей выступали шуты и скоморохи. Зато перед Збышкой появился старый рыцарь из Длуголяса, позвавший его к княгине.

– Ты будешь прислуживать за завтраком мне и Данусе, как мой придворный, – сказала княгиня, – и быть может, тебе посчастливится понравиться королю каким-нибудь веселым словом или поступком, которым ты привлечешь к себе его сердце. Если меченосец узнает тебя, то не сможет жаловаться, видя, что ты служишь мне за королевским столом.

Збышко поцеловал руку княгини, а потом обратился к Данусе; хотя он более привык к битвам, нежели к придворной жизни, однако, видимо, знал, что надлежит делать рыцарю, когда он утром встречает даму своего сердца: он отступил назад и, притворяясь изумленным, воскликнул, крестясь:

– Во имя Отца и Сына и Святого Духа!..

А Дануся, подняв на него голубые глазки, спросила:

– Отчего вы креститесь, Збышко? Ведь обедня уже отошла.

– Я крещусь оттого, что за эту ночь, прекрасная панна, красота ваша так возросла, что я поражен.

Но Миколай из Длуголяса, как человек старый, не любил новых, заграничных рыцарских обычаев, поэтому он пожал плечами и сказал:

– Чего там понапрасну тратить время и болтать о ее красоте. Ведь это мразь, которой и от земли-то еще не видать...

Но Збышко свирепо посмотрел на него.

– Остерегайтесь звать ее мразью, – сказал он, бледнея от гнева, – и знайте, что если бы вам было поменьше лет, то я тотчас же велел бы утоптать землю за замком – и пусть бы тогда либо вам, либо мне пришлось умереть...

– Молчать, молокосос! Я бы и теперь с тобой справился.

– Молчать! – повторила княгиня. – Вместо того чтобы думать, как бы спасти свою голову, он еще ищет ссор! Надо бы мне было поискать для Дануси рыцаря поумнее. Но я тебе одно скажу: если ты хочешь буяннить, то ступай, куда хочешь, потому что здесь таких не нужно...

Збышко пристыдили слова княгини, и он стал просить у нее прощения.

При этом он подумал, что если у пана Миколая из Длуголяса есть взрослый сын, то он когда-нибудь со временем вызовет этого сына на пеший или конный бой, потому что простить эту "мразь" нельзя. Но пока что он решил вести себя в королевских покоях тише воды, ниже травы и не вызывать никого, разве только рыцарская честь

потребует этого во что бы то ни стало...

Звуки труб возвестили, что завтрак готов, и княгиня Анна, взяв за руку Данусю, направилась в королевские покои, перед которыми, ожидая ее прибытия, стояли светские сановники и рыцари. Княгиня, дочь Земовита, уже пришла, потому что, как родная сестра короля, она занимала за столом высшее место. Комната тотчас наполнилась заграничными гостями и приглашенными местными сановниками и рыцарями. Король сидел на верхнем конце стола; по левую руку его находился епископ краковский, а по правую Войцех Ястжембец, который хотя и был чином ниже прелатов, но теперь являлся как бы папским послом. Две княгини заняли следующие места. За Анной Данутой удобно раскинулся на широком кресле бывший архиепископ гнезненский Ян, князь, происходящий из рода силезских Пястов, сын Болька III, князя Опольского. Збышко слышал о нем при дворе Витольда и теперь, стоя позади княгини и Дануси, сразу узнал его по огромным волосам. Завитые косичками, они делали его голову похожей на церковное кропило. При дворах польских князей его так и звали Кропилом, и даже меченосцы называли его "Гропиля". Это был человек, известный своей веселостью и легкостью нрава. Получив, вопреки воле короля, право на Гнезненское архиепископство, он хотел взять его вооруженной силой, за что был лишен сана и изгнан; тогда он связался с меченосцами, которые дали ему в Поморье бедное епископство Каменское. Только тогда поняв, что с могущественным королем лучше жить в мире, он вымолил себе прощение, вернулся в Польшу и ждал, не освободится ли какая-нибудь кафедра, в надежде, что он получит ее из рук доброго государя. В будущем ожидания его сбылись, а пока он старался привлечь к себе сердце короля шутками и остротами. Однако старинная склонность к меченосцам в нем сохранилась. Даже и теперь, при дворе Ягелло, не особенно благосклонно встреченный придворными и рыцарями, он искал общества Лихтенштейна и рад был сидеть за столом возле него.

Так было и теперь. Збышко, стоя за креслом княгини, очутился так близко к меченосцу, что мог достать до него рукой. И вот, руки у него стали чесаться, но совершенно невольно: он тотчас же подавил свою горячность и не позволил себе никаких дерзких замыслов. Однако он не мог удержаться от того, чтобы не бросать время от времени жадных взглядов на слегка лысеющий затылок Лихтенштейна, на его шею, спину и плечи; Збышко хотелось сообразить, много ли придется положить труда, если бы им довелось когда-нибудь встретиться в сражении или в поединке. Ему казалось, что не особенно много, потому что хотя лопатки меченосца казались под узким, из тонкого серого сукна, платьем довольно крепкими, Лихтенштейн был все-таки дрянь по сравнению с каким-нибудь Повалой, Пашком Злодеем из Бискупиц, с обоими знаменитыми Сулимцами, с Кшоном из Козиглув и со многими другими рыцарями, сидевшими за королевским столом.

Збышко с восторгом и завистью поглядывал на них, но главное внимание его привлекал сам король, который, бросая взоры во все стороны, то и дело закладывал пальцами волосы свои за уши, точно его брала досада, что завтрак еще не начался. На мгновение взгляд его остановился и на Збышке, и тогда молодой рыцарь испытал чувство некоторого страха, а при мысли, что вероятно придется ему предстать пред разгневанным королем, охватила его мучительная тревога. Впервые подумал он серьезно об ответственности и наказании, которое могло его постигнуть; до сих пор все это казалось ему отдаленным и смутным, а потому не заслуживающим огорчения.

Но немец и не догадывался, что это тот самый рыцарь, который так дерзко напал на него на большой дороге. Завтрак начался. Подали винную похлебку с яйцами, корицей, гвоздикой, имбирем и шафраном; запах ее распространился по всей

комнате. В то же время шут Цярушек, сидевший у дверей, стал подражать пению соловья, что, видимо, забавляло короля. Потом другой шут стал вместе со слугами обходить стол: он незаметно становился позади гостей и так ловко изображал жужжание пчелы, что некоторые откладывали ложки и отмахивались. Прочие при виде этого разражались хохотом. Збышко внимательно прислуживал княгине и Данусе, но когда вслед за другими и Лихтенштейн стал похлопывать себя по лысеющему темени, юноша снова забыл об опасности и принялся хохотать до слез, а стоящий возле него молодой князь литовский Ямонт, сын наместника смоленского, помогал ему в этом так добросовестно, что даже ронял кушанья с блюд.

Но меченосец, заметив наконец ошибку, полез в карман и в то же время, обратившись к епископу Кропилу, сказал ему несколько слов по-немецки; епископ же тотчас повторил их по-польски:

– Благородный рыцарь говорит тебе так, – сказал он, обращаясь к шуту, – ты получишь два скойца, но не жужи слишком близко, потому что пчел отгоняют, а трутней бьют...

В ответ на это шут спрятал два скойца в карман и, пользуясь свободой, предоставленной шутам при всех дворах, отвечал:

– Много меду в земле Добжинской [7], потому-то трутни и облепили ее. Бей же их, король Владислав!

– Вот тебе и от меня грош за то, что хорошо сказал, – проговорил Кропило, – только помни, что если лестница сломается, то бортник свернет себе шею. Мальборгские трутни, завладевшие Добжином, имеют жала, и лезть на них вовсе не безопасно.

– Вона! – воскликнул Зиндрам из Машкова, мечник краковский. – Их можно выкурить.

– Чем?

– Порохом.

– Либо топором срезать бортъ, – сказал великан Пашко Злодей из Бискупиц.

У Збышки сердце дрожало от радости, потому что он думал, что такие слова предвещают войну. Но понимал их и Куно Лихтенштейн, который, долго прожив в Торуни и Хелмне, научился польскому языку и не употреблял его только из гордости. Однако теперь, раздраженный словами Зиндрама из Машкова, он устремил на него черные глаза и ответил:

– Посмотрим.

– Смотрели отцы наши под Пловцами, да смотрели и мы под Вильной, – отвечал Зиндрам.

– Рах vorbiscum! [8] – воскликнул Кропило. – Рах! Рах! Только бы ксендз Миколай из Курова оставил Куявское епископство, а милостивый король назначил туда меня, – так уж я вам произнесу такую проповедь о любви между христианскими народами, что насквозь вас пройму. Что такое ненависть, как не ignis, да еще ignis infernalis... [9] огонь столь ужасный, что и вода бессильна против него. Одно остается – заливать его вином. Давайте вина. Пойдемте на Опсу, как говаривал

покойник епископ Завиша из Курозвенка.

– А с Опсы в ад, как говаривал черт, – прибавил шут Цярушек.

– Ну и пусть он тебя возьмет.

– Чудно было бы, кабы он вас взял. Никто еще не видал черта с Кропилом, но я так думаю, что это удовольствие мы все получим...

– Сперва еще я тебя покроплю. Давайте вина – и да здравствует любовь между христианами.

– Между истинными христианами, – повторил с ударением Куно Лихтенштейн.

– То есть как? – воскликнул, поднимая голову, епископ краковский Выш. – Разве вы находитесь не в истинно христианском государстве? И разве церкви здесь не старше, чем в Мальборге?

– Не знаю, – отвечал меченосец.

Короля особенно легко было задеть, когда дело шло о христианстве. Ему показалось, что меченосец намекает на него самого, и щеки его мгновенно покрылись красными пятнами, а глаза засверкали.

– Что такое? – слышался его низкий голос. – Разве я не христианский король? А?

– Королевство ваше называет себя христианским, но обычаи в нем языческие, – холодно отвечал меченосец.

При этих словах повскакали с мест грозные рыцари: Мартин из Вроцимовиц, Флориан из Корытницы, Бартош из Водзинка, Домарат из Кобылян, Повала из Тачева, Пашко Злодей из Бискупиц, Зиндрам из Машковиц, Якса из Тарговиска, Кшон из Козьих Голов, Зигмунт из Бобовы и Сташко из Харбимовиц, – могучие, славные герои многих сражений, многих турниров, – и то бледнея, то вспыхивая от гнева, скрежеща зубами, стали они кричать, перебивая друг друга:

– Горе нам, ибо он гость и не может быть вызван.

А Завиша Черный, Сулимец, – славнейший из славных, "образец рыцаря", – обратился к Лихтенштейну нахмуренное чело и сказал:

– Не узнаю тебя, Куно. Как же ты можешь, будучи рыцарем, оскорблять великий народ, если знаешь, что, как послу, тебе не грозит за это никакое возмездие?

Но Куно спокойно выдержал на себе грозные взгляды и медленно, с расстановкой ответил:

– Наш орден, прежде чем прибыл в Пруссию, воевал в Палестине, но и там сарацины уважали послов. Одни вы их не уважаете, и потому ваши обычаи я назвал языческими.

Тут поднялся еще больший шум. Снова вокруг стола слышались восклицания: "Горе! Горе!"

Но все затихли, когда король, на лице которого пылал гнев, по литовскому обычаю несколько раз ударил в ладоши. Тогда поднялся старик Ясько Топор из Тенчина, каштелян краковский, маститый, степенный, возбуждавший страх высотой своего положения, и сказал:

– Благородный рыцарь из Лихтенштейна, если вас, как посла, встретило какое-нибудь оскорбление, скажите, и самая строгая справедливость тотчас будет удовлетворена.

– Ни в каком другом христианском государстве со мной этого не случилось, – отвечал Куно. – Вчера по дороге в Тынец напал на меня один ваш рыцарь, и хотя по кресту на плаще моем легко мог понять, кто я, он покусился на мою жизнь.

Збышко, услышав эти слова, побледнел и невольно взглянул на короля, лицо которого было страшно. Ясько из Тенчина удивился и сказал:

– Может ли это быть?

– Спросите пана из Тачева, который был свидетелем этого.

Все взоры обратились к Повале, который постоял с минуту, мрачно опустив веки, и наконец сказал:

– Это так...

Услышав это, рыцари стали кричать: "Позор! Позор! Пусть земля разверзнется под таким человеком". И от стыда одни ударяли себя кулаками по грудям и коленам, другие скручивали пальцами цинковые блюда, стоявшие на столе, и не знали, куда смотреть.

– Почему же ты не убил его? – закричал король.

– Потому что голова его принадлежит суду, – отвечал Повала.

– Вы связали его? – спросил каштелян Топор из Тенчина.

– Нет, потому что он рыцарской честью поклялся явиться на суд.

– И не является, – насмешливо вскричал Куно, поднимая голову.

Вдруг за плечами меченосца молодой, грустный голос произнес:

– Не дай бог, чтобы я предпочел позор смерти. Это сделал я, Збышко из Богданца.

При этих словах рыцари подскочили к несчастному Збышке, но грозный знак короля удержал их. Поднявшись, с горящими глазами, задыхающимся от гнева голосом, подобным грохоту колес, катящихся по камням, король стал кричать:

– Отсечь ему голову. Отсечь ему голову. Пусть меченосец отошлет ее магистру в Мальборг.

Потом он крикнул стоявшему рядом князю литовскому, сыну смоленского наместника:

– Держи его, Ямонт.

Испуганный королевским гневом, Ямонт положил дрожащие руки на плечи Збышки, который, обратив к нему побледневшее лицо, произнес:

– Не убегу...

Но седобородый каштелян краковский, Топор из Тенчина, поднял руку в знак того, что хочет говорить, и когда все затихли, сказал:

– Милостивый король! Пусть комтур убедится, что не порыв твоего гнева, а наши законы карают смертью за покушение на особу посла. Иначе он еще с большим основанием мог бы предполагать, что в королевстве этом нет христианских законов. Я сам совершу суд над преступником.

Последние слова он произнес громким голосом и, очевидно, не допуская Даже мысли, что его голос может не быть услышан, кивнул головой Ямонту:

– Запереть его в башню. А вы, пан из Тачева, будете свидетелем.

– Я расскажу всю вину этого подростка. Ни один из нас, зрелых мужей, никогда бы не совершил ее, – отвечал Повала, мрачно глядя на Лихтенштейна.

– Он верно говорит, – тотчас же подхватили другие, – ведь это еще мальчик. За что же из-за него позорят нас всех?

Наступило молчание. Все с досадой смотрели на меченосца, а между тем Ямонт вел Збышку, чтобы отдать его в руки лучников, стоящих на дворе замка. В молодом своем сердце он чувствовал к узнику жалость, которую усиливала врожденная ненависть к немцам. Но как литвин, привыкший слепо исполнять волю великого князя и сам потрясенный королевским гневом, он по дороге стал шептать молодому рыцарю тоном дружеского совета:

– Знаешь, что я тебе скажу? Повесься. Лучше всего – сразу повесься. Король рассердился – и значит, тебе отрубят голову. Почему бы тебе не доставить ему удовольствие? Повесься, друг, у нас такой обычай.

Збышко, едва не лишаясь чувств от стыда и страха, сначала, казалось, не понимал слов молодого князя, но наконец понял их и даже остановился от изумления:

– Что ты толкуешь?

– Повесься. Зачем тебе нужно, чтобы тебя судили? А королю ты доставишь удовольствие, – повторил Ямонт.

– Повесься же сам, – воскликнул молодой рыцарь. – Как будто и окрестили тебя, а шкура осталась на тебе языческая, и ты даже того не понимаешь, что грех христианину делать такое дело.

Но князь пожал плечами:

– Да ведь не по доброй воле. Все равно тебе отрубят голову.

У Збышки мелькнула мысль, что за такие слова надо бы тотчас вызвать князька на бой, пеший или конный, на мечях или на топорах, но он подавил в себе это

желание, вспомнив, что у него уже не хватит на это времени. Поэтому он грустно опустил голову и молча позволил отдать себя в руки предводителя дворцовых лучников.

А между тем в зале общее внимание обратилось в другую сторону. Дануся, видя, что происходит, сперва перепугалась так, что в груди ее захватило дыхание. Личико ее побледнело, как полотно, глазки стали от ужаса круглыми, и она смотрела на короля, неподвижная, как восковая фигурка в костеле. Но когда наконец она услышала, что ее Збышке собираются отрубить голову, когда его взяли и вывели из комнаты, ее охватило неизмеримое отчаяние; губы и брови ее задрожали; не помогло ничто – ни страх перед королем, ни кусание губ, и она вдруг разразилась такими горькими, такими громкими рыданиями, что все лица обратились к ней, и сам король спросил:

– Что такое?

– Милосердный король, – воскликнула княгиня Анна. – Это дочь Юранда из Спыхова. Этот несчастный маленький рыцарь избрал ее своей дамой. Он поклялся ей сорвать со шлемов три пучка павлиньих перьев; и вот, увидев такие перья на шлеме этого комтура, он подумал, что сам Бог ему их послал. Не по злобе сделал он это, государь, а только по глупости, а потому будь милостив к нему и не карай его, о чем мы молим тебя на коленях.

Сказав это, она встала и, взяв за руку Данусю, подбежала с ней к королю, который, увидев это, отшатнулся назад. Но обе они стали пред ним на колени, и Дануся, обняв руками ноги государя, воскликнула:

– Прости Збышку, король, прости Збышку.

И от волнения и страха она спрятала свою белокурую головку в складках серой королевской одежды, дрожа как лист и целуя колени государя. Княгиня Анна, дочь Земовита, опустилась на колени с другой стороны и, сложив руки, умоляюще смотрела на короля, на лице которого отразилось великое смущение. Правда, он пятился назад вместе с креслом, но не отталкивал Данусю и только махал обеими руками, точно отгоняя их от себя.

– Оставьте меня в покое! – восклицал он. – Он совершил преступление, он опозорил все королевство. Пусть ему отрубят голову.

Но крошечные ручки все сильнее обвивались вокруг его колен, и детский голосок восклицал все горестнее:

– Прости Збышку, король, прости Збышку.

Вдруг послышались голоса рыцарей:

– Юранд из Спыхова... Славный рыцарь... Гроза немцев...

– И этот подросток уже достаточно отличился под Вильной, – прибавил Повала.

Но король продолжал сопротивляться, сам тронутый видом Дануси:

– Оставьте меня в покое. Он провинился не предо мной, и не мне его прощать. Пусть посол ордена простит его, тогда и я прощу, а нет – так пускай ему отрубят

голову.

– Прости его, Куно, – сказал Завиша Черный, – сам магистр не поставит тебе этого в вину.

– Прости его! – воскликнули обе княгини.

– Прости его! – повторили голоса рыцарей.

Куно опустил веки и сидел с поднятой головой, как бы наслаждаясь тем, что и обе княгини, и столь славные рыцари просят его. Вдруг он мгновенно изменился: опустил голову, скрестил на груди руки, из гордого стал смиренным и проговорил тихим, ласковым голосом:

– Христос, Спаситель наш, простил разбойника на кресте и врагов своих...

– Вот это говорит истинный рыцарь, – откликнулся епископ Выш.

– И простил и я, – продолжал рыцарь Куно, – я не только христианин, но и монах! Почему прощаю его от всего сердца, как слуга Христов и монах.

– Слава ему! – грянул Повала из Тачева.

– Слава! – повторили другие.

– Но, – сказал меченосец, – я нахожусь среди вас в качестве посла и ношу в себе величие всего ордена, который есть орден Христов. И потому, кто оскорбил меня как посла, тот оскорбил орден, а кто оскорбил орден, тот оскорбил самого Христа, а такой обиды я ни перед Богом, ни перед людьми простить не могу. Если же законы ваши прощают ее – то да узнают об этом все христианские государи.

После этих слов воцарилось глубокое молчание. Лишь немного спустя кое-где послышался скрежет зубов, тяжкие вздохи подавляемой ярости и рыдания Дануси.

К вечеру все сердца склонились к Збышке... Те самые рыцари, которые утром готовы были по одному знаку короля изрубить его мечами, ломали теперь головы, обдумывая, как бы прийти ему на помощь. Княгини решили просить королеву, чтобы она уговорила Лихтенштейна совершенно отказаться от жалобы или, в случае надобности, написала бы великому магистру ордена письмо с просьбой повелеть Куно прекратить дело. Путь этот представлялся правильным, ибо Ядвигу окружал такой почет, что великий магистр, если бы отказал ей в таком деле, навлек бы на себя гнев папы и всех христианских государей. Отказа нельзя было ждать еще и потому, что Конрад фон Юнгинген был человеком спокойным и гораздо более миролюбивым, нежели его предшественники. К несчастью, епископ краковский Выш, бывший в то же время и главным врачом королевы, строжайше запретил хотя бы единым словом упоминать ей обо всей этой истории. "Она никогда не может равнодушно слышать о смертных приговорах, и хотя бы дело касалось простого разбойника, – тотчас же принимает его близко к сердцу; что же будет теперь, когда дело касается юноши, который справедливо мог бы рассчитывать на ее милосердие. Но всякое расстройство легко может довести ее до опасной болезни, здоровье же ее для всего королевства стоит больше, чем десять рыцарских голов". Наконец он объявил, что если бы кто-нибудь, наперекор его словам, осмелился волновать государыню, то он навлечет на этого человека страшный гнев короля и, кроме того, предаст ослушника церковному проклятию.

Обе княгини испугались этого предупреждения и решили ничего не говорить королеве, но зато до тех пор умолять короля, пока он не окажет какой-нибудь милости. Весь двор и все рыцари стали уже на сторону Збышки. Повала из Тачева обещал, что он покажет истинную правду, но показания его будут клониться на пользу юноши и все дело будет представлено как ребяческая запальчивость. Несмотря на все это, каждый предвидел, а каштелян Ясько из Тенчина вслух говорил, что если меченосец упрется, то суровый закон должен быть исполнен.

И вот все сильнее ожесточались сердца рыцарей против Лихтенштейна, и многие не только думали, но и откровенно говорили: "Он посол и потому не может быть вызван на арену; но когда он вернется в Мальборг, то не дай ему бог умереть собственной смертью". И это были не пустые угрозы, потому что рыцарям, носившим пояс, нельзя было произносить на ветер ни единого слова, и если кто давал какое-нибудь обещание, то должен был или выполнить его, или погибнуть. Грозный Повала оказался при этом всех свирепее, потому что в Тачеве была у него любимая дочка, ровесница Данусе, и от того Данусины слезы совершенно растрогали его сердце.

И он в тот же день навестил Збышку, сидевшего в подземелье, велел ему не падать духом и рассказал о просьбах обеих княгинь и о слезах Дануси... Збышко, узнав, что девочка ради него бросилась к ногам короля, до слез был растроган этим поступком и, не зная, как ему выразить свою благодарность и любовь, сказал, вытирая глаза кулаком:

– Ах, пусть же благословит меня как можно скорее Господь Бог сразиться за нее в конном или пешем бою! Мало я обещал ей немцев: такой девушке надо было обещать их столько, сколько ей лет. Только бы Господь Бог избавил меня от этой напасти, а уж я ради нее не поскоплюсь...

И он поднял к небу полные благодарности глаза...

– Прежде обещаю что-нибудь церкви, – отвечал пан из Тачева, – потому что если обет твой будет угоден Господу, ты наверняка тотчас же получишь свободу. А во-вторых, слушай: пошел к Лихтенштейну твой дядя, а потом пойду еще и я. Не стыдно тебе будет попросить у него прощения, потому что ты провинился, и будешь ты прощения просить не у какого-нибудь Лихтенштейна, а у посла. Готов ли ты к этому?

– Если такой рыцарь, как вы, говорит мне, что это достойно меня, то сделаю. Но если он захочет, чтобы я просил у него прощения так, как он хотел этого по дороге из Тынца, то пусть мне отрубят голову. Дядя останется и оплатит ему, когда кончится его посольская миссия...

– Посмотрим, что он скажет Мацьке, – сказал Повала.

Мацько, действительно, был вечером у немца, но тот принял его свысока; не приказал даже зажечь огня и разговаривал с ним в полумраке. Старый рыцарь вернулся от него мрачный, как ночь, и отправился к королю. Король принял его ласково, потому что уже совершенно успокоился, и когда Мацько преклонил колена, приказал ему сейчас же встать и спросил, что ему угодно.

– Милосердный государь, – сказал Мацько, – случилась вина, должна быть и кара, иначе не было бы на свете никакого закона. Но есть и моя вина в том, что я не только не усмирлял врожденную запальчивость этого подростка, но даже хвалил ее:

так я его воспитывал и таким с детских лет воспитывала его война. Моя вина, милостивый король, потому что я не раз ему говорил: сперва руби, а уж там увидишь, кого зарубил. И с этим правилом ему хорошо было на войне, но плохо оказалось при дворе. Но парень – золото, последний в роду, и жалко мне его – страсть как...

– Он опозорил меня, опозорил королевство, – сказал король. – Что же мне его за это, медом, что ли, мазать?

Мацько молчал, потому что при воспоминании о Збышке горе сдавило ему горло; лишь после долгого молчания он заговорил еще взволнованным и прерывающимся голосом:

– Я и не знал, что так люблю его; только теперь понял, когда пришла беда. Но я старик, а он последний в роду. Не будет его – не будет нас. Милосердный король и государь, сжался же ты над нашим родом.

Тут Мацько снова стал на колени и, протянув вперед уставшие от войны руки, сказал со слезами:

– Мы защищали Вильну, добычу дал Бог хорошую, а кому я ее оставляю? Если хочет меченосец кары, государь, пусть будет кара, но позволь мне отдать свою голову. Что мне жизнь, если нет Збышки! Он молод, пусть выкупит землю и плодит потомство, как повелел Господь человеку. Меченосец даже не спросит, чья голова падает, только бы упала. Тяжело человеку идти на смерть, но если смекнуть, то лучше пропасть одному человеку, чем чтобы пропадали весь род...

Говоря это, он обнял ноги короля, а король заморгал глазами, что в нем было признаком волнения, и наконец сказал:

– Не будет того, чтобы я без вины приказал отрубить голову опоясанному рыцарю. Не будет! Не будет!

– И это было бы несправедливо, – прибавил каштелян. – Закон преследует виновного, но закон не какой-нибудь дракон, который не разбирает, чью кровь он пьет. А вы заметьте, что даже позор падет на ваш род, если бы ваш племянник согласился на то, о чем вы говорите. Тогда все будут презирать и его самого, и его потомство...

На это Мацько ответил:

– Он не согласился бы. Но если бы это случилось без его ведома, то он после отомстил бы за меня, как и я отомщу за него...

– Э, – сказал Тенчинский, – добейтесь у меченосца, чтобы он отказался от своей жалобы...

– Я уж был у него.

– И что же? – спросил король, поднимая голову. – Что же он сказал?

– Он сказал мне так: "Надо было просить прощения на Тынецкой дороге; вы не хотели, а теперь я не хочу..."

– А вы почему не хотели?

– Потому что он велел нам сойти с коней и стоя просить прощения. Король заложил волосы за уши и хотел что-то ответить, но в это время пришел придворный и доложил, что рыцарь Лихтенштейн просит принять его.

Услышав это, Ягелло взглянул на Яську из Тенчина, потом на Мацьку, но приказал им остаться, в надежде, что таким образом ему удастся уладить дело при помощи своего королевского авторитета.

Между тем меченосец вошел, поклонился королю и сказал:

– Милосердный государь! Вот писанная жалоба на оскорбление, которое нанесено мне в вашем королевстве.

– Жалуйтесь ему, – отвечал король, указывая на Яську из Тенчина.

Но меченосец, смотря королю прямо в лицо, сказал:

– Я не знаю ни ваших законов, ни ваших судов, знаю я только то, что посол ордена может жаловаться только самому королю.

Маленькие глазки Ягеллы замигали от злости, но он протянул руку, взял жалобу и отдал ее Тенчинскому.

Тот развернул ее и стал читать, но по мере чтения лицо его становилось все более озабоченным и печальным.

– Вы так хлопчете о смерти этого мальчика, – сказал он наконец, обращаясь к Лихтенштейну, – словно он страшен всему вашему ордену. Неужели вы, меченосцы, боитесь уже и детей?

– Мы, меченосцы, не боимся никого, – гордо ответил комтур.

А старый каштелян тихо прибавил:

– А особенно Бога.

На другой день Повала из Тачева делал перед каштелянским судом все, что было в его силах, чтобы уменьшить вину Збышки. Но тщетно приписывал он весь проступок ребячеству и неведению, тщетно говорил, что даже и постарше кто-нибудь, дав обет добыть три пучка павлиньих перьев и помолившись о ниспослании их, а потом, увидев такие перья перед собой, мог точно так же подумать, что в этом – перст Божий. Одного только не мог отрицать благородный рыцарь, а именно того, что если бы не он, то копье Збышки ударило бы в грудь меченосца. Куно же приказал принести себе панцирь, в котором он был тогда, и оказалось, что это был тонкий жестяной панцирь, употреблявшийся только в случаях торжественных, такой ломкий, что Збышко, особенно, если принять во внимание его необычайную силу, конечно, пробил бы этот панцирь насквозь и убил бы посла. После этого Збышко спросили, намерен ли он был убить меченосца; но он не хотел от этого отпереться. "Я ему кричал издали, – сказал он, – чтобы он выставил копье вперед, потому что живой он, конечно, не дал бы снять с себя шлем, но если бы и он издали закричал, что он посол, то я бы оставил его в покое".

Слова эти понравились рыцарям, которые из благожелательства к юноше в большом

количестве сошлись на суд, и тотчас послышались голоса: "Верно. Почему же он не кричал?" Но лицо каштеляна осталось суровым и мрачным. Приказав всем молчать, он сам тоже молчал несколько времени, а потом устремил на Збышку испытующий взор и спросил:

– Можешь ли ты поклясться Страстями Господними, что не видел плаща и креста?

– Нет, – отвечал Збышко, – если бы я не видел креста, то подумал бы, что это наш рыцарь, а на нашего я бы не напал.

– А как же мог находиться под Краковом какой-нибудь другой меченосец, кроме посла или лица, принадлежащего к посольской свите?

На это Збышко не сказал ничего, потому что сказать было нечего. Для всех было даже слишком ясно, что если бы не пан из Тачева, то в настоящее время перед судом лежал бы не панцирь посла, но сам посол, с пробитой, к вечному стыду польского народа, грудью. И потому даже те, которые от всего сердца желали Збышке добра, понимали, что приговор не может быть для него милостивым...

И в самом деле каштелян сказал после некоторого молчания:

– Так как ты в запальчивости своей не подумал, на кого нападаешь, то Спаситель наш зачтет тебе это и простит твой грех, но ты, несчастный, поручи себя Пресвятой Деве, так как закон не может тебя простить...

Услышав это, Збышко, хоть и ждал он подобных слов, слегка побледнел, но тотчас же откинул назад длинные свои волосы, перекрестился и сказал:

– Воля Божья. А жаль...

Потом он повернулся к Мацьку и глазами указал ему на Лихтенштейна, как бы поручая не забывать о нем, а Мацько кивнул головой в знак того, что понимает и помнит. Понял это движение и этот взгляд также и Лихтенштейн, и хотя в груди его билось столь же мужественное, сколь и жестокое сердце, однако же на мгновение дрожь пробежала по нему с ног до головы. Видел меченосец, что между ним и этим старым рыцарем, лица которого он даже не мог хорошенько рассмотреть под шлемом, начнется отныне борьба не на жизнь, а на смерть и что если бы он даже хотел от него укрыться, то не укроется и что когда он исполнит свой долг посла, им придется встретиться хотя бы в Мальборге.

Между тем каштелян направился в соседнюю комнату, чтобы продиктовать смертный приговор Збышке искусному в письме секретарю. Во время этого перерыва то один, то другой рыцарь подходил к меченосцу и говорил:

– Дай бог, чтобы на Страшном суде тебя судили милостивей. Что же, рад ты этой крови?

Но Лихтенштейна заботил только Завиша, ибо своими боевыми подвигами, знанием рыцарских уставов и невероятной строгостью в их соблюдении Завиша известен был всему миру. В самых запутанных делах, если только дело шло о рыцарской чести, нередко даже издалека, обращались к Завише, и никто никогда не смел с ним спорить, не только потому, что поединок с ним был невозможен, но и потому, что его почитали "зерцалом чести". Одно слово осуждения или похвалы, исходившее из его уст, быстро распространялось среди рыцарей Польши, Венгрии, Чехии, Германии

и могло сделать добрую или дурную славу рыцарю.

И вот Лихтенштейн подошел к нему и, как бы желая оправдать свое жестокосердие, сказал:

– Один только великий магистр с капитулом мог бы его помиловать, я же не могу...

– Магистр ваш ни при чем; когда дело идет о наших законах, помиловать его может только король наш, – отвечал Завиша.

– А я, как посол, должен был добиваться наказания.

– Прежде чем быть послом, тебе следовало бы быть рыцарем, Лихтенштейн!..

– Не думаешь ли ты, что я поступил против чести?..

– Ты знаешь наши рыцарские книги и знаешь, что рыцарю надлежит быть подобным двум животным: льву и ягненку. Кому же из них уподобился ты в этом деле?

– Не тебе судить меня!..

– Ты спросил, не поступил ли ты против чести, и я ответил тебе то, что думаю.

– Ты плохо ответил, потому что этого я проглотить не могу.

– Но подавишься собственной злостью, а не моей.

– Но Господь зачтет мне, что я больше заботился о величии ордена, чем о твоей похвале...

– Господь рассудит всех нас.

Дальнейший разговор был прерван приходом каштеляна и секретаря. Все уже знали, что приговор будет неблагоприятный, но все-таки воцарилось глухое молчание. Каштелян занял место за столом и, взяв распятие, велел Збышке стать на колени.

Секретарь стал читать по-латыни приговор. Ни Збышко, ни рыцари не поняли его, но все догадались, что это смертный приговор. По окончании чтения Збышко несколько раз ударил себя кулаком в грудь, повторяя: "Боже, милостив буди мне, грешному".

Потом он встал и бросился в объятия Мацька, который молча стал целовать его голову и глаза.

В тот же день вечером герольд при звуках труб объявил рыцарям, гостям и горожанам на четырех углах городской площади, что благородный Збышко из Богданца присужден каштелянским судом к отсечению головы мечом...

Но Мацько выпросил, чтобы казнь была несколько отсрочена; это ему легко удалось, потому что тогдашним людям, любившим до мелочей точно распределять свое имущество, обычно давали время на прощание с родственниками и на примирение с Господом Богом. Не хотел настаивать на быстром исполнении приговора и сам Лихтенштейн, понимавший, что раз оскорбленное достоинство ордена получило удовлетворение, уже не следует окончательно раздражать могущественного монарха, к которому он был послан не только для участия в торжествах, но и для

переговоров о Добжинской земле. Но главной причиной было здоровье королевы. Епископ Выш даже слышать не хотел о совершении казни раньше родов, справедливо полагая, что такого дела нельзя было утаить от государыни, а та, как только о нем узнает, впадет в "расстройство", которое может тяжело повредить ей. Таким образом для отдачи последних распоряжений и прощания с родными Збышке оставалось жить, может быть, даже несколько месяцев...

Мацько навещал его ежедневно и утешал, как мог. Горестно беседовали они о неминуемой смерти Збышки, но еще горестнее о том, что род их может пресечься.

– Ничего больше не остается, как то, что приходится вам бабу брать, – сказал однажды Збышко.

– Лучше бы мне найти какого-нибудь родственника, хоть далекого, – отвечал расстроенный Мацько. – Где мне о бабах думать, когда тебе собираются голову отрубить. А если бы даже и пришлось жениться во что бы то ни стало, – не сделаю этого до тех пор, пока не пошлю Лихтенштейну вызова и не отомщу ему. Уж ты не бойся!..

– Пошли вам Господь за это! Пусть у меня будет хоть это утешение. Но я знал, что вы ему не простите. Что же вы станете делать?

– Как только его посольство кончится, будет или война, или мир, понимаешь? Если будет война, я пошлю ему вызов, чтобы перед битвой он вышел со мной на поединок.

– На утопанной земле?

– На утопанной земле, пешком или на конях, но обязательно на смерть, не на рабство. Если же будет мир, то я поеду в Мальборг и ударю копьем в ворота замка, а трубачу велю объявить, что вызываю Лихтенштейна на смертный бой. Тогда-то уж он не спрячется.

– Конечно, не спрячется. И вы с ним совладеете, это я знаю наверно.

– Совладаю?... С Завишей я бы не справился, с Пашком тоже и с Повалой тоже; но не хвастаясь могу сказать, что с такими, как он, справлюсь с двумя. Увидит он, собачий сын! Разве не здоровее был тот рыцарь у фризов? А как ударил я его сверху по шлему, так где у меня топор остановился? На зубах остановился. Так или нет?

Тут Збышко вздохнул с большим облегчением и сказал:

– Легче мне будет погибать!

И оба они стали вздыхать, а потом старый шляхтич заговорил взволнованным голосом:

– Ты не убивайся. Не будут твои кости искать друг друга на Страшном суде. Гроб я тебе заказал дубовый, такой, что и у каноников из монастыря Пресвятой Девы – и то не лучше. Не погибнешь, как кто попало. Ба! Я даже того не допущу, чтобы тебя казнили на том же сукне, на котором казнят мещан. Уж я с Амылеем сторговался: совсем новое сукно даст, отличное, самому королю на кафтан подошло бы. И обедню по тебе заказать не поскуплюсь, – не бойся.

От этих слов возрадовалось сердце Збышки, и, наклонившись к дядиной руке, он повторил:

– Пошли вам за это Господь Бог!

По временам, однако, несмотря на все утешения, охватывала его ужасная тоска, и в следующий раз, когда Мацько пришел навестить его, он едва поздоровался, как спросил, поглядывая сквозь решетчатое окно:

– А что там, на воле?

– Погода – просто золото, солнышко греет, просто весь мир радуется.

В ответ на это Збышко заложил обе руки за шею и, перегнувшись назад, сказал:

– Эх, господи боже мой! Сидеть бы теперь на коне да носиться по широким полям. Жаль погибать молодым. Страсть, как жаль!

– Погибают люди и на конях, – отвечал Мацько.

– Да зато раньше сами скольких переколотят!..

И Збышко стал расспрашивать о рыцарях, которых видал при дворе короля: о Завише, о Фарурее, о Повале из Тачева, о Лисе из Тарговиска и обо всех Других; что они делают, чем развлекаются, в каких благородных забавах проводят время. И он жадно слушал ответы Мацьки, который рассказывал, как по утрам скачут они в латах через коней, как перетягивают канат, как примерно сражаются на мечах и топорах с оловянными лезвиями, а под конец – как пируют и как поют песни. Всем сердцем хотелось Збышке побегать к ним, а когда он узнал, что Завиша сейчас же после крестин собирается куда-то на юг Венгрии, сражаться с турками, Збышко не мог удержаться от восклицания:

– Пустили бы меня с ним! Пусть бы я лучше погиб в битве с неверными! Но этого не могло быть, а между тем случилось нечто другое. Дело в том, что обе мазовецкие княгини не переставали просить за Збышку, пленившего их молодостью и красотой. Наконец княгиня Александра, дочь Земовита, придумала написать письмо великому магистру ордена. Конечно, магистр не мог изменить приговор, вынесенный каштеляном, но мог ходатайствовать за юношу перед королем. Правда, Ягелле не следовало оказывать милосердия, раз дело шло о покушении на жизнь посла, однако представлялось несомненным, что он охотно окажет его при заступничестве самого магистра. И надежда снова вселилась в сердца обеих княгинь. Княгиня Александра, сама питавшая склонность к вежливым рыцарям ордена, была в свою очередь весьма почитаема ими. Неоднократно приходили ей из Мальборга богатые подарки и письма, в которых магистр называл ее глубокочтимой, благочестивой благодетельницей и ревностной защитницей ордена. Слова ее могли сделать многое, и было весьма правдоподобно, что отказа на них не последует. Все дело было лишь в том, чтобы найти гонца, который приложил бы все усилия, чтобы как можно скорее вручить письмо и вернуться с ответом. Услышав об этом, старый Мацько, не колеблясь, предложил взяться за это дело..

Каштеляна упросили точно назначить срок, до которого он обещал отложить исполнение приговора. Полный надежд, Мацько в тот же день принялся готовиться к отъезду, а потом отправился к Збышке, чтобы возвестить ему счастливую новость.

В первую минуту Збышко проявил такую радость, точно двери башни уже перед ним раскрылись. Однако потом он задумался, сразу стал мрачен и сказал:

– Ну кто дождетя от немцев чего-нибудь хорошего. Лихтенштейн тоже мог просить у короля милости, и даже выиграл бы на этом, потому что избавился бы от мщения, а все-таки не захотел сделать ничего.

– Он обозлился на то, что мы не хотели просить у него прощения на Тынецкой дороге. О магистре Конраде люди говорят неплохо. В конце концов, ты от этого потерять ничего не можешь.

– Конечно, – сказал Збышко, – только вы там очень низко не кланяйтесь.

– А что мне кланяться? Я везу письмо от княгини Александры, только и всего...

– Эх, коли уж вы такой добрый, так помогите вам Господь Бог!..

Вдруг Збышко быстро взглянул на дядю и прибавил:

– Но если король простит меня, то Лихтенштейн будет мой, а не ваш. Помните!

– Ты еще не знаешь, будешь ли жив, так не давай никаких обещаний. Довольно ты наобещал глупостей, – гневно ответил старик.

Тут они бросились друг другу в объятия, и Збышко остался один. Душу его охватывала то надежда, то сомнение, но когда настала ночь и началась гроза, когда решетчатое окно стало озаряться зловещим блеском молнии, а стены задрожали от грома, когда наконец ветер со свистом ворвался в башню и погасил маленький светильник, стоявший у кровати, – Збышко опять потерял всякое присутствие духа и всю ночь ни на минуту не мог смежить глаз...

"Не избежать мне смерти, – думал он, – и ничто мне не поможет".

Однако на следующий день пришла навестить его благородная княгиня Анна, дочь Януша, а с нею Дануся с маленькой своей лютней за поясом. Збышко упал на колени сначала перед одной, потом перед другой, а потом, хотя и был огорчен и измучен бессонной ночью, своим несчастьем и неизвестностью, но все же не настолько забыл о рыцарском долге, чтобы не выразить Данусе восторга перед ее красотой...

Но княгиня взглянула на него полными грусти глазами и сказала:

– Не восхищайся ею, потому что если Мацько не привезет благоприятного ответа, то вскоре будешь ты, несчастный, любоваться на небе вещами более прекрасными!..

Тут она стала плакать, размышляя о неведомой судьбе маленького рыцаря, а Дануся стала тотчас же вторить ей. Збышко снова склонился к их ногам, потому что от этих слез размякло и его сердце, как воск в тепле. Он не любил Данусю так, как мужчина обычно любит женщину, но почувствовал, что любит ее всей душой и что при виде ее в груди у него происходит что-то такое, точно в ней заключен еще один человек, менее суровый, менее горячий, не так жаждущий войны, а, напротив, как бы мечтающий о сладостной любви. В конце концов, его охватило отчаяние, что он должен покинуть ее и не сможет исполнить то, в чем поклялся.

– Бедняжка, уж не положу я к ногам твоим павлиньих перьев, – сказал он. – Но

если стану я пред Господом Богом, я скажу ему так: "Прости мне, Господи, все мои прегрешения, но все, что есть хорошего на земле, то отдай не кому другому, как панне Данусе, дочери Юранда из Сыхова".

– Вы недавно узнали друг друга, – сказала княгиня. – Господь Бог не допустит, чтобы ваше знакомство было напрасно.

Збышко стал вспоминать все, что произошло на постоялом дворе в Тынце, и расчувствовался окончательно. В конце концов, он стал просить Данусю спеть ту самую песенку, которую она пела тогда, когда он подхватил ее со скамьи и принес к княгине.

И Дануся, хоть было ей не до песен, тотчас же подняла головку и, точно птичка, прищурив глазки, запела.

Но вдруг из-под опущенных век ее хлынули слезы целым потоком – и она не могла петь дальше.

А Збышко схватил ее так же, как тогда, в Тынце, и стал ходить с ней по комнате, повторяя с восторгом:

– Не только даму ищу я в тебе. Если бы Господь Бог спас меня, а ты подросла бы, да если бы позволил родитель твой – женился бы я на тебе, девушка... Эх!..

Дануся, обняв его за шею, спрятала заплаканное лицо у него на плече, а в нем отчаяние становилось все страшнее; и эти страдания, вырываясь из глубины его полевой, славянской души, превращались в степную песню.

V

Между тем произошло событие, перед которым в глазах людей все другие дела потеряли всякое значение. Под вечер 21 июня по замку разнеслась весть, что у королевы внезапно начались роды. Вызванные врачи вместе с епископом Вышем всю ночь пробыли в ее комнате, а тем временем придворные узнали от прислужниц, что государыне угрожает преждевременное разрешение от бремени. Каштелян краковский, Ясько Топор из Тенчина, в ту же ночь отправил гонцов к отсутствовавшему королю. На другой день известие с утра распространилось по городу и окрестным местам. Это было воскресенье, и потому толпы народа наполнили все церкви, в которых ксендзы приказывали молиться о здоровье королевы. После обедни гости-рыцари, съехавшиеся на предстоящие торжества, шляхта и купеческие депутации направились в замок; цехи и братства вышли с хоругвями. К полудню неисчислимые толпы народа окружили Вавель; королевские латники поддерживали среди них порядок, приказывая соблюдать спокойствие и тишину. Город опустел почти совершенно, и только время от времени по пустынным улицам проходили толпы окрестных мужиков, которые тоже узнали уже о болезни обожаемой государыни и спешили к замку. Наконец в главных воротах появились епископ и каштелян, а с ними соборное духовенство, королевские советники и рыцари. С многозначительными лицами они разбрелись вдоль стен, замешались в толпу и начинали со строгого приказания воздерживаться от всяких криков, которые могут повредить больной. После этого они возвестили, что королева родила дочь. Новость эта преисполнила сердца радостью, в особенности потому, что народ узнал, что, несмотря на преждевременные роды, ни матери, ни ребенку не угрожает заметная опасность. Толпа стала расходиться, потому что возле замка нельзя было кричать, а между тем каждому хотелось дать волю своей радости. И вот, как только улицы, ведущие к городской площади, наполнились народом, тотчас раздались песни и радостные восклицания. Никто не был огорчен

даже тем, что родилась дочь. "Разве плохо было, говорил народ, – что у короля Луиса не было сыновей и что королевство досталось Ядвиге? Благодаря ее браку с Ягеллой удвоилась мощь государства. Так будет и теперь. Где же искать такой наследницы, какой будет наша королева, если ни император римский и ни один из прочих королей не обладает таким обширным государством, такими пространствами земли и таким многочисленным рыцарством. Руки ее будут добиваться могущественнейшие монархи земли; они будут кланяться королеве и королю, будут съезжаться в Краков, а нам, купцам, будет от этого выгода, не говоря уже о том, что какое-нибудь новое государство, например, чешское или венгерское, соединится с нашим королевством". Так говорили между собой купцы – и радость с каждой минутой распространялась все шире. Пировали в частных домах и на постоянных дворах. Площадь заиграла огнями фонарей и факелов. В предместьях окрестные земледельцы расположились лагерями вокруг повозок. Евреи совещались о чем-то возле синагоги. До поздней ночи, почти до рассвета, на площади, особенно возле ратуши и весов, все кипело, как во время большой ярмарки. Делились новостями, посылали за ними в замок и целой толпой окружали тех, кто приносил оттуда известия.

Худшим из тех известий было то, что епископ окрестил ребенка в ту же ночь, из чего заключали, что он, должно быть, очень слаб. Однако опытные горожанки приводили примеры, когда дети, родившиеся полумертвыми, именно после крещения обретали силы для жизни. Поэтому утешали себя надеждой, которую усиливало и имя, данное девочке. Говорили, что ни один Бонифаций и ни одна Бонифация не может умереть тотчас же после рождения, потому что им предназначено совершить нечто благое; между тем в первые годы, а тем более первые месяцы жизни, не может ребенок совершить ни дурного, ни хорошего.

Однако на другой день из замка пришли известия, неблагоприятные и для матери и для ребенка; город взволновался. В церквях целый день толпился народ, как во время праздников. Посыпались приношения за здоровье королевы и королевны. Трогательно было смотреть, как убогие крестьяне жертвовали четверики зерна, ягнят, кур, связки сушеных грибов либо коробка орехов. Текли богатые дары от рыцарей, от купцов, от ремесленников. Разосланы были гонцы по местам, известным чудотворными святынями. Астрологи гадали по звездам. В самом Кракове готовились торжественные крестные ходы. Выступили все цехи и братства. Весь город запестрел хоругвями. Состоялся и крестный ход детей, ибо полагали, что невинные существа всего легче вымолят у Господа милосердия. Из окрестностей через городские ворота съезжались целые толпы.

Так под непрерывный звон колоколов, среди говора, крестных ходов и обеден, протекал день за днем. Но когда прошла неделя, а высокая больная и ребенок все еще были живы, надежда мало-помалу начала возвращаться. Людям казалось невозможным, чтобы Господь безвременно призвал к себе владычицу государства, которая, сделав уже так много, оставила бы все-таки дело свое незавершенным; Господь не мог призвать к себе так рано равноапостольную монархиню, которая ценой собственного счастья привела к христианству последний языческий народ Европы. Ученые вспоминали, сколько сделала она для академии, духовные – сколько во славу Божию, государственные мужи – сколько для мира между христианскими народами, законоведы – для правосудия, бедные – для убогих, и никто не мог представить себе, что жизнь, столь необходимая для королевства и всего мира, могла быть так преждевременно пресечена.

Однако 13 июля печальный перезвон возвестил о смерти ребенка. Снова засуетился город, снова тревога охватила народ, а толпа во второй раз окружила Вавель,

расспрашивая о здоровье королевы. Но на этот раз никто не являлся с хорошей вестью. Напротив, лица панов, въезжавших в замок или выезжавших из ворот, были мрачны и с каждым днем становились все мрачнее. Говорили, что ксендз Станислав из Скарбимежа, краковский ученый, уже не отходит от королевы, которая ежедневно принимает причастие. Говорили также, что после каждого причащения комната ее наполняется небесным светом. Некоторые даже видели свет этот в окнах, но это зрелище скорее вселяло ужас в преданные государыне сердца, ибо служило признаком, что для нее уже начинается жизнь неземная.

Однако некоторые не верили, чтобы могла случиться такая страшная вещь, и подбодряли себя надеждой, что справедливые небеса удовлетворятся одной жертвой. И все-таки в пятницу, 17 июля, утром, разнеслась в народе весть, что королева кончается. Все бросились к замку. Город так опустел, что остались в нем одни калеки, потому что даже матери с грудными младенцами поспешили к воротам дворца. Лавки были заперты; в домах не готовили обедов. Все дела прекратились, но зато под Вавелем чернело целое море народу, – тревожное, испуганное, но молчаливое.

Вдруг в двенадцать часов пополудни с колокольни собора раздался удар колокола. Сначала не поняли, что это означало, однако тревога сразу возросла еще более. Все головы и все глаза обернулись к колокольне и впились в колокол, который раскачивался все сильнее, другие колокола по всему городу стали повторять его жалобные стоны. Звонили в монастыре францисканцев, у Святой Троицы, у Пресвятой Девы – словом, по всему городу, из конца в конец. Наконец поняли, что означал этот звон; души наполнились ужасом и таким горем, словно медные сердца колоколов ударяли в самые сердца народа.

Вдруг на башне взвился черный флаг с большим черепом посередине, а под черепом белели две расположенные крест-накрест кости. Тогда исчезло всякое сомнение. Королева отдала Богу душу.

Под замком раздался вопль и плач ста тысяч человек; он смешался с мрачными голосами колоколов. Некоторые бросались на землю, другие разрывали на себе одежду или царапали лица, третьи в немом остолбенении смотрели на стены; некоторые тихо стенали, некоторые, простирая руки к костелу и к комнате королевы, молили о чуде и о милосердии Божьем. Но раздались также и гневные голоса, в ужасе и отчаянии доходившие до кощунства. "Отняли у нас нашу возлюбленную! На что же нужны были наши крестные ходы, наши молитвы и просьбы? Серебро и золото взяли, а нам ничего за это? Взять взяли, а дать не дали?" Другие, заливаясь слезами и стеля, на все лады повторяли: "Иисусе! Иисусе! Иисусе!" Толпа захотела войти в замок, чтобы еще раз взглянуть на любимое лицо государыни. Людей не пускали, но обещали, что вскоре тело будет выставлено в костеле, и тогда каждому можно будет видеть его и при нем помолиться. Тогда, уже под вечер, мрачные толпы народа стали возвращаться в город, рассказывая друг другу о последних минутах королевы, о будущем погребении и о чудесах, которые будут совершаться возле ее тела и на ее могиле; в чудесах этих все были совершенно уверены. Рассказывали также, что королева тотчас же после смерти будет сопричислена к лику святых, а когда некоторые выражали сомнение в том, может ли это быть, то другие приходили в негодование и грозили Авиньоном...

Мрачная скорбь пала на город, на всю страну, и не только простому народу, но и всем казалось, что вместе с королевой погасла и над королевством счастливая звезда. Даже среди краковских панов находились такие, которым будущее представлялось в мрачном свете. Стали задавать себе и другим вопросы: "Что теперь будет? Имеет ли Ягелло право быть королем и после смерти королевы, или же

вернется в свою Литву и удовлетворится великокняжеским престолом?" Некоторые предвидели, – и, как впоследствии оказалось, не без оснований, – что сам он не захочет уступить и что в этом случае от королевства отпадут обширные земли, начнутся снова нападения со стороны Литвы и кровавое мщение со стороны природных жителей королевства. Орден усилится, усилятся император римский и венгерский король, а королевство, еще вчера одно из могущественнейших в мире, придет в упадок и будет страдать от унижений.

Купцы, для которых ныне были открыты обширные литовские и русские земли, предвидя убытки, давали благочестивые обеты, чтобы только Ягелло остался на королевском троне, но в этом случае можно было предвидеть близкую войну с орденом. Известно было, что от этой войны удерживала только королева. Люди вспоминали теперь, как некогда, возмущенная жадностью и хищностью меченосцев, она говорила им в пророческом наитии: "Пока я жива, до тех пор я удерживаю руку и справедливый гнев моего супруга, но помните, что после моей смерти на вас падет кара за ваши грехи".

Правда, в своей гордыне и слепоте они не боялись войны, рассчитывая, что после смерти обаяние ее святости не будет уже сдерживать наплыва добровольцев из западных государств, и тогда на помощь им придут тысячи воинов из Германии, Бургундии, Франции и еще более отдаленных стран. Но смерть Ядвиги была все же событием столь важным, что посол ордена Лихтенштейн, не дожидаясь даже приезда отсутствующего короля, как можно скорее уехал в Мальборг, чтобы как можно скорее представить великому магистру и капитулу важное и даже грозное известие.

Послы – венгерский, рагузский, императорский, чешский – также уехали или отправили гонцов к своим монархам. Ягелло приехал в Краков в полном отчаянии. В первую минуту объявил панам, что раз нет королевы, он больше не хочет быть королем и уедет к себе домой, на Литву, а потом с горя впал как бы в оцепенение, не хотел решать никаких дел, не отвечал на вопросы и иногда неистово гневался на самого себя за то, что уехал, за то, что не присутствовал при кончине королевы, за то, что с ней не простился, за то, что не выслушал ее последних слов и желаний. Напрасно Станислав из Скарбимежа и епископ Выш уверяли его, что болезнь королевы приключилась внезапно и что, согласно вычислениям, у него было достаточно времени, чтобы вернуться, если бы роды произошли своевременно. Это не приносило ему никакого утешения и не успокаивало его горя. "Не король я без нее, – отвечал он епископу, – а окаянный грешник, которому нет утешения". Потом он начинал смотреть в землю, и никто не мог добиться от него ни слова.

Между тем все занялись погребением королевы. Со всей страны начали съезжаться новые толпы панов, шляхты и простого народа, особенно же нищих, которые рассчитывали на обильную милостыню при погребении, торжества которого должны были длиться целый месяц. Тело королевы было выставлено в соборе на возвышении, устроенном таким образом, что более широкая часть гроба, где лежала голова покойницы, находилась значительно выше другой части. Сделано это было нарочно для того, чтобы народ мог лучше видеть лицо королевы. В соборе не прекращались богослужения; вокруг катафалка пылали тысячи восковых свечей, а среди этих огней и цветов лежала она, спокойная, с улыбкой на лице, похожая на белую мистическую розу, с руками, накрест сложенными на голубом платье. Народ видел в ней святую, к ней приводили одержимых, калек, больных детей – и время от времени среди собора раздавался то крик матери, замечавшей румянец на личике больного ребенка, то какого-нибудь паралитика, который вдруг начинал владеть больными членами. Тогда сердца людей вздрагивали, известие о чуде проносилось по церкви, замку и городу и стягивало все большие толпы несчастных, которые могли лишь от чуда

ждать себе спасения.

О Збышке в это время совсем забыли, потому что кто же при таком огромном несчастье станет помнить об обыкновенном шляхетском мальчике и о том, что он томится в башне замка. Збышко, однако, знал от тюремщиков о болезни королевы, слышал говор народа под стенами замка, а когда услышал плач и звон колоколов, он бросился на колени и, забыв о собственной своей судьбе, стал оплакивать смерть обожаемой государыни. Ему казалось, что вместе с нею угасло что-то и для него и что после такой смерти не стоит никому жить на свете.

Отголоски похорон, колокольный звон, пение процессий и причитания толпы доносились до него целые недели. За это время он стал мрачен, потерял охоту есть, спать и ходил по своему подземелью, как дикий зверь по клетке. Его томило одиночество, потому что бывали дни, когда даже тюремщик не приносил ему свежей пищи и воды: так все заняты были погребением королевы. Со времени ее смерти не посетил его никто: ни княгиня, ни Дануся, ни Повала из Тачева, который раньше выказывал по отношению к нему столько благожелательности, ни купец Амылей, знакомец Мацьки. Збышко с горечью думал, что как только не стало Мацьки, все о нем забыли. Минутами приходило ему в голову, что, быть может, забудет о нем и закон и что придется ему до смерти гнить в этом подземелье. Тогда он молился о смерти.

Наконец, когда со времени похорон королевы прошел целый месяц и начался второй, он стал сомневаться и в возвращении Мацька. Ведь Мацько же обещал ехать поспешно, не жалея коня. Мальборг не на краю света. За двенадцать недель можно было доехать и вернуться, особенно если спешить. "Но, может быть, он и не спешит, – с горечью думал Збышко, – может быть, где-нибудь по дороге присмотрел он себе бабу и собирается отвезти ее в Богданец, чтобы дожидаться собственного потомства, а я тут во веки веков буду ждать, когда Господь надо мной смилостивится".

Наконец он потерял счет времени, совсем перестал разговаривать со стражей и только по паутине, все больше покрывавшей железную решетку окна, догадывался, что приближается осень. Теперь целыми часами он сидел на постели, упершись в колени локтями, запустив пальцы в волосы, которые доходили ему уже гораздо ниже плеч, и не то в полусне, не то в одеревенении не подымал головы даже тогда, когда страж заговаривал с ним, принося пищу. Но однажды проскрипели засовы, и знакомый голос окликнул его с порога тюрьмы:

– Збышко!

– Дядя! – воскликнул Збышко, вскочив с подстилки.

Мацько схватил его в объятия, потом взял обеими руками его белокурую голову и стал ее целовать. Горе, страдание и тоска так наполнили сердце юноши, что он заплакал на груди дяди, как ребенок.

– Я думал, уж вы не вернетесь, – сказал он рыдая.

– Да это чуть было не случилось, – отвечал Мацько.

Только теперь Збышко поднял голову и, взглянув на него, воскликнул:

– Да что же с вами случилось?

И он с изумлением стал смотреть на исхудалые, ввалившиеся и бледные, как полотно, щеки старого воина, на его сгорбившуюся фигуру и поседевшие волосы.

– Что с вами? – повторил он.

Мацько сел на кровать и с минуту тяжело дышал.

– Что случилось? – сказал он наконец. – Не успел я переехать через границу, как в лесу меня подстрелили из лука разбойники-рыцари... Знаешь? До сих пор мне трудно дышать... Бог послал мне помощь, а то бы ты меня здесь не видел.

– Кто же вас спас?

– Юранд из Спыхова, – отвечал Мацько.

Наступило короткое молчание.

– Они напали на меня, а полдня спустя он на них. Меньше половины их ушло от него. Меня он взял к себе в местечко, и там, в Спыхове, я три недели боролся со смертью. Не дал Господь умереть, и хоть плох я еще, а все-таки вернулся.

– Так вы, значит, не были в Мальборге?

– Да с чем же мне было ехать? Они меня ограбили до последней рубашки и письмо взяли с другими вещами. Вернулся я просить княгиню, чтобы она написала другое, да разминутся с ней по дороге. Уж и не знаю, догоню ли ее, потому что мне кажется, надо на тот свет собираться.

Сказав это, он плюнул на ладонь и, протянув ее Збышке, показал ему кровь, говоря:

– Видишь?

А помолчав, прибавил:

– Видно, такова воля Божья.

Несколько времени оба молчали под впечатлением мрачных мыслей; потом Збышко сказал:

– Вы все время харкаете кровью?

– Как же мне не харкать, если наконечник на полпяди вошел в меня между ребрами? Небось и ты харкал бы. Но у Юранда из Спыхова мне уже стало лучше, только я потом опять очень измучился, потому что дорога длинная, а ехал я скоро.

– Эх, да зачем же вы спешили?

– Хотел застать княгиню Александру и взять у нее другое письмо. А Юранд из Спыхова говорил так: "Поезжайте – и возвращайтесь с письмом в Спыхов. У меня, – говорит, – есть в подземелье несколько немцев, отпущу я одного на честное слово рыцаря, чтобы он отвез письмо великому магистру". А у него всегда есть в подземелье по несколько немцев. Он их там держит в отместку за смерть жены:

любит слушать, как они по ночам стонут да цепями звенят, человек он жестокий. Понял?

– Понял. Одно только меня удивляет, что потеряли вы первое письмо: ведь если Юранд поймал тех, которые на вас напали, так письмо должно было быть у них.

– Он не всех поймал. Человек пять убежало. Такова уж судьба наша. Сказав это, Мацько закашлялся, снова харкнул кровью и слегка застонал от боли в груди.

– Тяжело вас ранили, – сказал Збышко. – Как же это так? Из засады?

– Из таких густых зарослей, что на шаг впереди видно не было ничего. А ехал я без панциря, потому что мне купцы говорили, что места эти безопасные. Жарко было.

– Кто же был во главе разбойников? Меченосец?

– Не из ордена, но немец из Лентца, известный разбоями и грабежами.

– Что же с ним случилось?

– У Юранда на цепи сидит. Но у него тоже есть в плену два мазура, шляхтичи: он их хочет отдать в обмен за себя.

Снова наступило молчание.

– Господи Иисусе Христе, – сказал наконец Збышко, – значит, Лихтенштейн будет жив и этот немец из Лентца тоже, – а нам погибать без отмщения. Мне голову отрубят, а вы, должно быть, тоже зиму не проживете.

– Эхма! И до зимы-то не дотяну. Хоть бы тебя как-нибудь спасти.

– Видали вы здесь кого-нибудь?

– Был у каштеляна краковского, потому что как только узнал, что Лихтенштейн уехал, думал, что тебя помилуют.

– Как, Лихтенштейн уехал?

– Уехал в Мальборг, как только умерла королева. Был я тогда у каштеляна, но он сказал так: "Вашему племяннику не потому отрубят голову, что хотят угодить Лихтенштейну, а потому, то таков приговор, и здесь ли Лихтенштейн, или его нет – это все равно. Хоть бы меченосец даже умер – и тогда ничто не изменится, потому что, – говорит, – закон блюдет справедливость, это не то, что кафтан, который можно вывернуть подкладкой наружу. Король, – говорит, – может помиловать, но больше никто".

– А где король?

– После похорон уехал на Русь.

– Ну, значит, нет спасения.

– Никакого. Каштелян еще вот что сказал: "Жаль мне его, потому что и княгиня

Анна за него просит, но если не могу, так уж не могу".

– А княгиня Анна тоже еще здесь?...

– Да пошлет ей Господь Бог! Вот добрая госпожа! Она еще здесь, оттого что дочь Юранда захворала, а княгиня ее любит, как родное дитя.

– Боже мой! Так и Дануся захворала? Что же с ней?

– Почему я знаю... княгиня говорит, что ее кто-то сглазил.

– Наверное, Лихтенштейн. Никто, как Лихтенштейн. Ах он, собачий сын!

– Может быть, и он. Да что с ним поделаешь? Ничего.

– Так потому-то меня все и забыли, что она была больна...

Сказав это, Збышко стал большими шагами ходить по комнате, но наконец схватил руку Мацьки, поцеловал ее и сказал:

– Пошли вам Господь за то, что вы умрете из-за меня, но раз вы в самую Пруссию ездили, то пока окончательно не ослабеете – сделайте ж для меня еще одно дело. Подите к каштеляну и скажите, чтобы он отпустил меня под честное слово рыцаря хоть на двенадцать недель. Потом я вернусь – и пусть мне отрубят голову, – но ведь не может же быть, чтобы мы погибли без всякого мщения. Вот что... поеду я в Мальборг и сейчас же pošлю Лихтенштейну вызов. Иначе быть не может. Либо ему помирать – либо мне.

Мацько покачал головой:

– Пойти-то я пойду, да позволит ли каштелян?

– Я дам честное слово рыцаря, на двенадцать недель, мне больше не нужно...

– Что тут толковать: на двенадцать недель. А если ты будешь ранен и не вернешься, что тогда станут думать?...

– Хоть на четвереньках, а вернусь. Да вы не бойтесь. Кроме того, может быть, за это время король вернется с Руси, и у него можно будет просить помилования.

– Верно, – сказал Мацько. Но, помолчав, прибавил:

– Дело в том, что каштелян сказал мне еще вот что: "Мы забыли о вашем племяннике из-за смерти королевы, но теперь пора все это кончить".

– Позволит, – уверенно отвечал Збышко. – Ведь он же знает, что шляхтич свое слово сдержит, а отрубят ли мне голову сейчас или после Михайлова дня, это ему все равно.

– Эх, нынче же пойду.

– Нынче вы ступайте к Амылею и маленько отдохните. Пусть вам какого-нибудь лекарства приложат к ране, а завтра ступайте к каштеляну.

– Ну, значит – с Богом.

– С Богом.

Они обнялись, и Мацько направился к двери, но на пороге остановился и, нахмутив лоб, словно о чем-то вспомнил.

– Да ведь у тебя еще нет рыцарского пояса: Лихтенштейн скажет тебе, что не станет драться с непосвященным. Что ты тогда с ним сделаешь?

Збышко призадумался, но только на миг.

– А как же на войне? – сказал он. – Разве рыцарь выбирает обязательно одних рыцарей?

– Война – одно дело, а поединок – совсем другое.

– Верно... только... постойте... Надо что-нибудь сделать... Ну вот – выход есть. Князь Януш меня опояшет. Если княгиня и Дануся его попросят, он опояшет. А я по дороге подерусь еще в Мазовии, с сыном Миколая из Длуголяса.

– За что?

– За то, что Миколай, знаете, тот, который состоит при княгине и которого зовут Обухом, сказал, что Дануся – "мразь".

Мацько с удивлением посмотрел на него, а Збышко, желая, видимо, получше объяснить, в чем тут дело, продолжал:

– Этого я, конечно, тоже не могу простить, а с Миколаем мне драться нельзя: ведь ему лет восемьдесят.

На это Мацько сказал:

– Слушай, парень. Жаль мне твоей головы, но ума твоего не жаль, потому что ты глуп, как козел.

– Да вы чего сердитесь?

Мацько ничего не ответил и хотел уйти, но Збышко еще раз подскочил к нему:

– Что же Дануся? Здорова? Не сердитесь из-за пустяков. Ведь вас так долго не было.

И он снова наклонился к руке старика, а тот пожал плечами, но ответил уже несколько мягче:

– Здорова, только ее еще не выпускают из комнаты. Будь здоров.

Збышко остался один, но как бы возрожденный душой и телом. Ему было радостно думать, что впереди еще три месяца жизни, что он поедет в дальние страны, разыщет Лихтенштейна и сразится с ним не на живот, а на смерть. При одной мысли об этом радость наполняла его грудь. Хорошо хоть двенадцать недель чувствовать под собой коня, ездить по вольному миру, сражаться и не погибнуть без отмщения.

А потом пусть будет что угодно, – ведь это же огромное протяжение времени. Король может вернуться с Руси и простить его, может вспыхнуть та война, которую все давно предсказывали. Может быть, сам каштелян, увидев через три месяца того, кто победил Лихтенштейна, скажет: "Ступай на все четыре стороны". Ведь Збышко ясно чувствовал, что, кроме меченосца, никто не ненавидел его, и что сам строгий каштелян краковский только как бы по необходимости приговорил его к смерти.

Надежда все разгоралась в нем, потому что он не сомневался, что в этих трех месяцах ему не откажут. Напротив, он думал, что ему дадут времени даже больше, потому что такой случай, чтобы шляхтич, поклявшись рыцарской честью, не сдержал слова, не может даже прийти в голову старому владыке Тенчина.

И вот, когда Мацько на другой день под вечер пришел в тюрьму, Збышко, который уже еле мог сидеть на месте, кинулся к нему навстречу и спросил:

– Позволил?

Мацько сел на постель, потому что от слабости не мог стоять; с минуту он тяжело дышал и наконец ответил:

– Каштелян сказал так: "Если вам надо разделить землю или имущество, то на неделю или на две я вашего племянника под честное слово рыцаря отпущу, но не больше".

Збышко был так поражен, что некоторое время не мог произнести ни слова.

– На две недели? – спросил он, помолчав. – Да ведь в неделю мне даже до границы не доехать. Что же это такое?... Разве вы не сказали каштеляну, зачем я собираюсь в Мальборг?

– Не только я просил за тебя, но и княгиня Анна.

– И что же?

– Что? Старик сказал ей, что голова твоя ему не нужна и что он сам тебя жалеет. "Кабы, – говорит, – я нашел хоть какое-нибудь основание, хоть бы даже видимость основания, – так я бы его совсем отпустил. Но уж ежели не могу, значит, не могу. Плохо, – говорит, – будет жить в этом королевстве, если люди станут закрывать глаза на закон и дружески потакать друг другу; этого я не сделаю, хотя бы дело шло о Топорчике, моем родственнике, или хотя бы даже о родном брате". Вот какой упрямый народ! Да он еще так сказал: "Нечего нам угождать меченосцам, но и позорить себя перед ними тоже нельзя. Что бы подумали и они, и их гости, которые съезжаются со всего мира, если бы я позволил приговоренному к смерти шляхтичу ехать к ним на поединок? Разве бы они поверили, что наказание его не минет и что в нашем государстве есть какое-нибудь правосудие? Я предпочитаю отсечь одну голову, чем обречь на смерть короля и королевство". На это княгиня сказала, что странно ей такое правосудие, от которого даже родственница короля не может спасти человека, но старик ей ответил: "И сам король может пользоваться только правом миловать, но не бесправием". Тут они стали спорить, потому что княгиня рассердилась: "Так не гноите, – говорит, – его в тюрьме". А каш-телян отвечает: "Хорошо. Утром велю поставить на площади помост". На том и разошлись. Разве только Господь Бог спасет тебя, горемычного... Наступило долгое молчание.

– Как? – глухим голосом проговорил наконец Збышко. – Значит, это будет теперь

же?

– Дня через два, через три. Я что мог, то и сделал. Упал в ноги каштеля-ну, просил помиловать, а он опять свое: "Найди закон или хоть какую-нибудь лазейку". А что я найду? Был я у ксендза Станислава из Скарбимежа, чтобы он пришел тебя причастить. Пусть хоть та слава будет, что тебя напутствовал тот же ксендз, что и королеву. Да не застал я его дома, потому что он был у княгини Анны.

– Может быть, у Дануси?

– Куда там. Девка выздоравливает. Я еще завтра рано утром пойду к нему. Говорят, что после его исповеди вечное спасение прямо, можно сказать, будет у тебя в кармане.

Збышко сел, уперся локтями в колени и опустил голову так низко, что волосы совсем закрыли его лицо. Старик долго всматривался в него, а потом стал потихоньку звать:

– Збышко.

Мальчик поднял лицо, скорее рассерженное и полное холодной злобы, нежели грустное.

– Что?

– Слушай внимательно, потому что, может быть, я кое-что придумал.

Сказав это, он подвинулся ближе и почти зашептал:

– Слышал ты о князе Витольде, как некогда, сидя в плену у нашего теперешнего короля в Креве, он ушел из тюрьмы в женской одежде? Ни одна женщина здесь за тебя не останется, но бери мой кафтан, бери колпак и уходи, понял? А ну как тебя не заметят? Да даже наверняка. За дверями темно. Лица твоего освещать не будут. Вчера видели, как я выходил, и никто даже не взглянул. Сиди тихо и слушай: завтра найдут меня, – и что же? Отрубят мне голову? То-то им будет радость, коли мне и так жить осталось две либо три недели. А ты, как только выйдешь отсюда, садись на коня и поезжай прямо к князю Витольду. Напомнишь ему, кто ты, поклонись, он тебя возьмет, и будет тебе у него, как у Христа за пазухой. Тут люди поговаривают, что войска князя разбиты татарами. Неизвестно, правда ли это, но, может быть, потому что покойница-королева это предсказывала. Если правда, то князю тем более нужны будут рыцари, и он тебя примет с радостью. Ты же держись за него, потому что на свете нет лучшей службы. Коли другой король проиграет войну, так уж его дело кончено, а у князя Витольда такая изворотливость, что он от проигранных войн становится еще сильнее. И щедр он, и наших страсть как любит. Расскажи ему все как было. Скажи, что хотел идти с ним на татар, да не мог, потому что сидел в башне. Бог даст, он одарит тебя землей, мужиками, и в рыцари тебя посвятит, и короля станет просить за тебя. Он хороший заступник – увидишь. Ну?

Збышко слушал молча, а Мацько, как бы возбужденный собственными словами, продолжал:

– Надо тебе не погибать молодым, а возвращаться в Богданеи. А как только вернешься, сейчас же бери себе жену, чтобы наш род не пресекся. Только когда

детей наплодишь, можешь вызвать Лихтенштейна, а до тех пор не смей мстить, потому что, если тебя подстрелят где-нибудь в Пруссии, как меня, тогда уж ничего не поделаешь. А теперь – бери кафтан, бери колпак и ступай с Богом.

Сказав это, Мацько поднялся и стал раздеваться, но Збышко тоже поднялся, остановил его и сказал:

– Богом клянусь, я не сделаю того, чего вы от меня хотите.

– Почему? – с удивлением спросил Мацько.

– Потому что не сделаю!

Мацько даже побледнел от волнения и гнева.

– Лучше бы тебе не родиться.

– Вы уже говорили каштеляну, – сказал Збышко, – что отдаете свою голову за мою?

– Откуда ты знаешь?

– Мне говорил Повала из Тачева.

– Ну так что же из этого?

– Что из этого? А то, что каштелян вам сказал, что тогда позор падет на меня и на весь наш род. Неужели не больший позор был бы, если бы я убежал отсюда, а вас оставил на мечь закону?

– На какую мечь? Что делает мне закон, если я и так умру? Будь же благоразумен, ради бога.

– Ну тем более. Пусть Бог накажет меня, если я вас, старого и больного, оставлю здесь. Тьфу! Позор...

Наступило молчание; слышно было только тяжелое, хриплое дыхание Мацьки да перекличка лучников, стоящих у ворот на страже. На дворе наступила уже глубокая ночь...

– Слушай, – проговорил наконец Мацько надорванным голосом, – не позорно было князю Витольду бежать из Крева – не позорно будет и тебе...

– Эх, – с некоторой грустью отвечал Збышко, – знаете что? Князь Витольд – великий князь: есть у него корона, дарованная королем, богатство и власть, а у меня, бедного шляхтича, одна честь...

Но помолчав, он воскликнул, как бы охваченный внезапным гневом:

– А того вы не понимаете, что я вас тоже люблю и что вашей головы за свою не отдам?

Тогда Мацько поднялся, шатаясь, протянул руку, и хотя тогдашние люди были крепки, точно выкованы из железа, все же он вдруг закричал душераздирающим голосом:

– Збышко...

А на другой день слуги суда стали свозить на площадь доски для помоста, который должен был быть воздвигнут против главных ворот ратуши.

Однако княгиня Анна еще совещалась с Войцехом Ястжембцем, со Станиславом из Скарбимежа и с прочими учеными канониками, одинаково сведущими в писаном и обычном праве. К этим усилиям побуждали ее слова каштеляна, который объявил, что если бы ему отыскали "закон или хоть лазейку", то он не замедлил бы освободить Збышку. Поэтому совещались долго и оживленно, ища какого-нибудь выхода, и хотя ксендз Станислав приготовил уже Збышко к смерти и дал ему последнее Причастие, он все-таки прямо из тюрьмы вернулся на совещание, которое продолжалось почти до рассвета. Между тем наступил день казни. Толпы народа с самого утра стекались на площадь, потому что голова шляхтича возбуждала больше любопытства, чем всякая другая, а к тому же была отличная погода. Между женщинами распространился слух о юном возрасте осужденного, и потому вся дорога, ведущая от замка, точно цветник, расцвятилась от целых толп разряженных горожанок; в окнах, выходящих на площадь, тоже виднелись чепцы, золотые и бархатные шапочки, а то и простоволосые головы девушек, украшенные только венками из роз и лилий. Городские советники, хотя дело, собственно, их не касалось, ради важности вышли все и стали вблизи от помоста, сейчас же позади рыцарей, которые, чтобы выразить юноше свое сочувствие, целой толпой стали у самого помоста. Позади их пестрела толпа, состоящая из мелких торговцев и ремесленников, одетых в цвета своих цехов. Дети, оттиснутые назад, носились в толпе, как назойливые мухи, пробираясь всюду, где оказывалось хоть немного свободного места. Над этим сплошным морем людских голов виднелся помост, покрытый новым сукном; на помосте стояло три человека: палач, широкоплечий и страшный немец, в красном кафтане и таком же колпаке, с тяжелым, обоюдоострым мечом в руке, и два его помощника с голыми руками и веревками на поясах. У ног их стояла плаха и гроб, обитый тоже сукном. На колокольне Пресвятой Девы звонили колокола, наполняя город звоном меди и спугивая стаи галок и голубей. Люди смотрели то на дорогу, ведущую к замку, то на помост и на стоящего на нем палача с сверкающим, в солнечном блеске, мечом, то на рыцарей, на которых всегда глазели мещане с завистью и уважением. Дивились ширине плеч и осанке Завиши Черного, курчавым его волосам, падающим до плеч, дивились коренастой, квадратной фигуре и могучим ногам Зиндрама из Машковиц, гигантскому, почти нечеловеческому росту Пашка Злодея из Бискупиц, грозному лицу Бартоша из Водзинка, красоте Добка из Олесницы, который на турнире в Торуни победил двенадцать немецких рыцарей; дивились Зигмунту из Бобовы, который таким же образом прославился в Кошицах, победив венгров; дивились Кшону из Козьих Голов и страшному в рукопашной схватке Лису из Тарговиска, и Сташку из Харбимовиц, который на бегу догонял коня. Общее внимание обращал также на себя Мацько из Богданца своим бледным лицом; его поддерживали Флориан из Корытницы и Мартин из Вроцимовиц. Все думали, что это отец осужденного. Но наибольшее любопытство возбуждал Повала из Тачева, который, стоя в первом ряду, держал в могучих своих объятиях Данусю, всю в белом, с веночком из зеленой руты на белокурых волосах. Люди не понимали, что все это значит, и почему эта одетая в белое платье девочка должна смотреть на казнь осужденного. Одни думали, что это сестра, другие угадывали в ней владычицу дум молодого рыцаря, но и они не могли объяснить себе ни ее наряда, ни того, почему она находилась возле помоста. Однако во всех сердцах ее румяное, как яблочко, но залитое слезами личико возбуждало сочувствие. В толпе начался ропот против непреклонности каштеляна и строгости закона, и ропот этот становился все грознее, и наконец кое-где стали раздаваться

восклицания, что если бы разнести помост, то казнь должна была бы быть отложена.

Толпа ожила и заколыхалась. Все говорили друг другу, что если бы король был в Кракове, то он, конечно, помиловал бы юношу, который, как уверяли, ни в чем не виноват.

Но все затихло, когда отдаленные восклицания возвестили приближение лучников и алебардчиков королевских, среди которых шел осужденный. Вскоре шествие появилось на самой площади. Оно открывалось погребальным братством, в черных, доходящих до самой земли, епанчах, в черных покрывалах с отверстиями, прорезанными для глаз. Народ боялся этих мрачных фигур и при виде их смолк. За ними шел отряд лучников, состоящий из отборных литвинов, одетых в кожу из невыделанной лосиной кожи. Это был отряд королевской гвардии. В конце шествия виднелись алебарды другого отряда, а в середине, между судебным писарем, который должен был прочитать приговор, и ксендзом Станиславом из Скарбимежа, несшим распятие, шел Збышко.

Все взоры обратились теперь на него, и из всех окон высунулись женские фигуры. Збышко шел одетый в свой добытый в бою белый кунтуш, расшитый золотыми грифами и с золотой бахромой, и в этом блестящем наряде казался глазам толпы каким-то княжичем и пажем из знатной фамилии. Судя по росту, по плечам, обтянутым узкой одеждой, по крепким ногам и широкой груди, он казался совершенно созревшим мужчиной, но над этим телом мужчины подымалась почти детская голова и молодое лицо с первым пухом на верхней губе, прекрасное лицо королевского пажа, с золотыми волосами, ровно подстриженными над бровями и падающими сзади на плечи. Он шел ровным, упругим шагом, но с бледным лицом. Иногда, словно сквозь сон, смотрел он на толпу, иногда поднимал глаза на колокольню, к стаям галок и качающимся колоколам, которые били его последний час; иногда, наконец, отражалось у него на лице как бы изумление, что эти девушки, и этот плач женщин, и вся эта торжественность – все это из-за него. На площади он наконец увидел помост и на нем красный силуэт палача. Тогда он вздрогнул и перекрестился, а ксендз в ту же минуту подал ему распятие, чтобы он приложился. На несколько шагов дальше к ногам его упал пучок цветов, брошенный какой-то девушкой из народа. Збышко наклонился, поднял его и улыбнулся девушке, разразившейся громкими рыданиями. Но он, видимо, подумал, что перед этой толпой и перед женщинами, машущими из окон платками, надо умереть отважно и, по крайней мере, оставить по себе воспоминание, как о "храбром малом". Поэтому он напряг все свое мужество и всю волю, быстрым движением откинул назад волосы, еще выше вскинул голову и шел гордо, почти так, как идет после окончания рыцарского турнира победитель, когда его ведут за наградой. Однако шествие подвигалось медленно, потому что толпа все увеличивалась и неохотно очищала Дорогу. Напрасно литвины-лучники, шедшие в первом ряду, поминутно кричали: "Эйк шалин! Эйк шалин!" (прочь с дороги). Толпа не хотела догадываться, что значат эти слова, и потому становилось все теснее. Несмотря на то что тогдашние горожане состояли на три четверти из немцев, однако же кругом слышались грозные проклятия меченосцам: "Позор! Позор! Чтоб им издохнуть, этим волкам, если тут ради них будут губить детей. Позор королю и королевству". Литвины, видя сопротивление, сняли с плеч натянутые луки, исподлобья поглядывали на народ, но не смели без приказа стрелять в толпу. Но начальник отряда выслал вперед алебардчиков, потому что алебардами легче было расчистить путь, и, таким образом, шествие дошло рыцарей, сплошным квадратом стоявших у помоста.

Рыцари расступились без сопротивления. Первыми вошли на помост алебардчики, а за ними Збышко с ксендзом и писарем. Но тут случилось то, чего не ожидал никто. Повала с Данусей на руках вдруг выступил из толпы рыцарей вперед и таким

громовым голосом крикнул: "Стой", что все остановились, как вкопанные. Ни начальник отряда, ни солдаты не хотели противиться рыцарю, которого каждый день видели в замке, иногда дружески беседующим с королем. Наконец и другие столь же знаменитые рыцари повелительными голосами стали кричать: "Стой! Стой!" – а пан из Тачева приблизился к Збышке и подал ему одетую в белое Данусю.

Тот, думая, что это прощание, схватил ее, обнял и прижал к груди, но Дануся, вместо того чтобы прижаться к нему и обхватить его ручками за шею, поспешно сорвала со своих золотых волос, из-под венка руты, белое покрывало, обернула им всю голову Збышки и в то же время стала изо всей силы кричать детским, охрипшим от слез голосом:

– Мой! Мой!

– Ее! – подхватили могучие голоса рыцарей. – К каштеляну!

Им ответил подобный грому голос толпы: "К каштеляну! К каштеляну!" Ксендз поднял глаза к небу, смутился судейский писец, начальник отряда и алебардчики опустили оружие, потому что все поняли, что случилось.

Существовал старый, крепкий, как закон, известный в Подгалье, в Краковском воеводстве и даже в других странах обычай, что если на юношу, которого вели на смерть, невинная девушка набрасывала покрывало в знак того, что она хочет выйти за него замуж, то она тем самым избавляла его от смерти и наказания. Знали этот обычай рыцари, знали крестьяне, знал польский городской люд, и даже немцы, издавна жившие в польских городках и местечках, знали о его силе. Старый Мацько даже ослабел при виде этого зрелища от волнения; рыцари, мигом оттеснив лучников, окружили Збышку и Данусю; взволнованный и обрадованный народ все громче кричал: "К каштеляну! К каштеляну!" Толпа вдруг двинулась, точно огромные морские волны. Палач и его помощники поскорее сбежали с помоста. Произошло замешательство. Для всех стало ясно, что если бы Ясько из Тенчина захотел теперь пойти против освященного веками обычая, то в городе начались бы опасные беспорядки. Поток людей тотчас бросился на помост. В одно мгновение сняли и разорвали на куски сукно, потом стали сильными руками растаскивать во все стороны или рубить топорами доски и балки; все трещало, ломалось, рушилось, и через несколько минут на площади не осталось и следа помоста.

А Збышко, все еще держа на руках Данусю, возвращался в замок, но на этот раз уже как настоящий победитель и триумфатор. Вокруг него с радостными лицами шли первые рыцари королевства, а по сторонам, сзади и спереди толпились тысячи женщин, мужчин и детей, которые громко кричали, пели, простирали руки к Данусе и славил мужество и красоту их обоих. Из окон им хлопали в ладоши белые руки богатых горожанок, всюду виднелись глаза, залитые слезами радости. Дождь веночков из роз и лилий, дождь лент и даже золотых повязок и головных сеток падал под ноги счастливому мальчику, а он, сияющий, как солнце, с сердцем, исполненным благодарности, то и дело поднимал кверху свою белую девушку, иногда, охваченный восторгом, целовал ее колени, – и это зрелище до того трогало горожанок, что некоторые бросались на шею к своим возлюбленным, восклицая, что если бы те были приговорены к смерти, то были бы спасены точно так же. Збышко и Дануся сделались точно любимыми детьми рыцарей, горожан и всего народа. Старый Мацько, которого все время вели под руки Флориан из Корытницы и Мартин из Вроцимовиц, чуть не сходил с ума от радости и в то же время недоумевал, что такой простой способ спасти племянника даже не пришел ему в голову. Повала из Тачева среди общего шума рассказывал своим могучим голосом, как придумали, а

вернее припомнили, этот способ во время совещания с княгиней Войцех Ястжембец и Станислав из Скарбимежа, осведомленные в письменном и обычном праве; рыцари дивились простоте этого обычая и говорили, что, должно быть, никто не помнил о нем потому, что он давно уже в городе не применялся.

Однако все зависело еще от каштеляна. Рыцари и народ направились в замок, где в отсутствие короля жил воевода краковский, и тотчас писец, ксендз Станислав из Скарбимежа, Завиша, Фарурей, Зиндрам из Машковиц и Повала из Тачева пошли к нему, чтобы напомнить ему про силу обычая и про то, как он сам говорил, что если бы он нашел "закон или хоть лазейку", то тотчас же простил бы осужденного. А могли быть лучший закон, чем стародавний обычай, которого не нарушали никогда? Правда, Ясько из Тенчина ответил, что обычай этот больше подходит для простого народа и для подгалянских разбойников, чем для шляхты, но каштелян сам был слишком сведущ во всяких законах, чтобы не признать силу этого обычая. При этом он прикрывал рукой седую бороду и тайком улыбался, потому что был видимо рад. Наконец с княгиней Анной, несколькими духовными особами и рыцарями он вышел на низенькое крылечко.

Збышко, увидев его, снова поднял Данусю, а он положил свою морщинистую руку на ее золотые волосы, с минуту постоял так, а потом важно и ласково кивнул седой головой.

Знак этот поняли; стены замка дрогнули от криков. "Пошли тебе Господь! Живи долго, справедливый судья! Живи и суди нас!" – кричали со всех сторон. Потом новые крики раздались в честь Дануси и Збышки, а минуту спустя оба они, взойдя на крылечко, пали к ногам доброй княгини Анны Дануты, которой Збышко обязан был жизнью, потому что это она с учеными придумала способ спасти его и научила Данусю, что надо делать.

– Да здравствует молодая чета! – вскричал при виде их Повала из Тачева.

– Да здравствует! – повторили другие.

А старый каштелян обратился к княгине и сказал:

– Ну, милостивая княгиня, надо сейчас же быть и обручению, так повелевает этот обычай.

– Обручение я сейчас устрою, – отвечала с сияющим лицом добрая княгиня, – но свадьбы без отцовской воли Юранда из Спыхова не допущу.

VI

Мацько и Збышко, сидя у купца Амылея, совещались о том, что делать. Старый рыцарь ожидал скорой смерти, а так как ему предсказывал ее и знающий толк в ранах францисканец, о. Цыбек, то Мацько хотел вернуться в Богданец, чтобы быть похороненным подле предков, на островском кладбище.

Однако не все предки лежали там. Когда-то это был многочисленный род. Во время войн скликались они, крича "Грады", а в гербе, считая себя выше некоторых владетельных лиц, не всегда располагавших гербами, имели они тупую Подкову. В 1331 году, в битве под Пловцами, семьдесят четыре воина из Богданца были перестреляны на болоте немецкими лучниками; остался только один Войцех, по прозвищу Тур, которому король Владислав Локоток, разбив немцев, особой привилегией подтвердил право на герб и земли Богданца. Кости прочих валялись с

тех пор на полях, Войцех же вернулся к своим пенатам, но лишь для того, чтобы созерцать окончательную гибель своего рода.

Дело в том, что, когда богданецкие мужи погибли под стрелами немцев, разбойники-рыцари из ближайшей Силезии напали на их гнездо, сожгли все постройки, а людей изрубили или увели в рабство, чтобы продать их в отдаленные немецкие страны. Войцех остался один в старом доме, чудом уцелевшем от огня, остался обладателем обширных, но пустых земель, некогда принадлежавших целому владетельному роду. Пять лет спустя он женился и, родив двух сыновей, Яську и Мацьку, был убит в лесу на охоте туром.

Сыновья росли под охраной матери, Кахны из Спаленицы, которая во время двух походов отомстила силезским немцам за давние обиды, во время же третьего была убита. Ясько, достигнув зрелого возраста, женился на Ягенке из Моцажева, с которой прижил Збышку, Мацько же, оставшись холостяком, охранял имение и племянника, насколько ему позволяли постоянные походы.

Но когда во время междоусобной распри гжималов с наленчами во второй раз были сожжены в Богданце хаты и рассеяны мужики, одинокий Мацько тщетно пытался отстроить Богданец заново. Пробедствовал немало лет, он наконец оставил землю родственнику-аббату, а сам с маленьким Збышкой отправился на Литву, против немцев.

Однако он никогда не забывал о Богданце. На Литву поехал он именно для того, чтобы разбогатеть при помощи добычи, со временем вернуться, выкупить землю, заселить ее пленниками, отстроить городок и поселить в нем Збышку. Теперь же, после счастливого спасения юноши, он думал об этом и совещался с ним в доме купца Амылея.

У них было на что выкупить землю. Из добычи, из выкупов, которые платили им взятые в плен немцы, и из подарков Витольда составили они порядочную сумму денег. Особенно крупную выгоду принесла схватка с двумя фризскими рыцарями. Одно оружие, которое они с них сняли, составляло по тем временам целое богатство, а между тем кроме оружия им достались экипажи, лошади, люди, одежда, деньги и множество военных припасов. Многие из этой добычи приобрел теперь купец Амылей, между прочим – две штуки чудесного фландрского сукна, которое предусмотрительные и богатые фризы возили с собой. Мацько продал также дорогое, добытое в бою оружие, полагая, что ввиду близкой смерти оно ему больше не понадобится. Купивший его оружейник на другой день перепродал его Мартину из Вроцимовиц, и даже со значительной пользой, потому что панцири миланской работы ценились тогда чрезвычайно высоко.

Збышко ужасно жаль было этого оружия.

– Если Господь возвратит вам здоровье, – говорил он дяде, – где вы достанете другое такое же?

– Там же, где и это достал, на каком-нибудь другом немце, – отвечал Мацько. – Но уж мне смерти не избежать. Острие расколосось у меня между ребрами, и наконечник остался во мне. Чем больше я старался его выковырять, тем глубже запихивал. И уж теперь ничем помочь нельзя.

– Выпить бы вам горшка два медвежьего сала.

– Да, отец Цыбек тоже говорит, что это бы хорошо, потому что наконечник может вылезть. Да где здесь достать сала? Будь я в Богданце – взял бы топор да на ночь засел на пчельнике...

– Значит, надо ехать в Богданец. Только вы по дороге не помрите.

Старик Мацько растроганно поглядел на племянника:

– Знаю я, куда тебе хочется: ко двору князя Януша или к Юранду из Спыхова, с холмскими немцами драться.

– В этом не отопрись. Я бы охотно поехал с двором княгини в Варшаву или в Цеханов, чтобы подольше быть с Данусей. Не могу я теперь жить без нее, потому что это не только моя дама, но и возлюбленная. Так я ее люблю, что как только о ней подумаю, так по мне дрожь проходит. Я за ней хоть на край света пойду, но теперь первая моя обязанность – вы. Не оставили вы меня, так и я вас не оставлю. В Богданец так в Богданец.

– Ты добрый парень, – сказал Мацько.

– Меня бы Господь наказал, если бы я не был добр к вам. Глядите, уж телеги укладывают, а я велел одну для вас выстлать сеном. Жена Амылея подарила нам отличную перину, да только не знаю, сможете ли вы на ней лежать – больно жарко. Поедем тихонько с княгиней и двором, чтобы за вами уход был. Потом они повернут к Мазовии, а мы домой – и да поможет нам Господь Бог!

– Мне бы только пожить, чтобы отстроить городок, – сказал Мацько. – Потому что я знаю, что после моей смерти ты не много будешь о Богданце думать.

– Почему ж мне не думать?

– Потому что в голове у тебя будут сражения да любовь.

– А у вас в голове не была война? А я уж все обдумал, что мне надо делать, и в первую голову отстроим мы из крепкого дуба городок, а потом велим для порядка обвести его рвом.

– Ты думаешь? – спросил заинтересованный Мацько. – Ну а как городок будет готов? Тогда что? Говори.

– Как только городок будет готов, так сейчас же поеду ко двору княгини, либо в Варшаву, либо в Цеханов.

– Когда я уж умру?

– Если скоро умрете, то после вашей смерти, но вперед вас похороню, как следует; а если Господь пошлет вам здоровья, то вы останетесь в Богданце. Мне княгиня обещала, что я получу от князя рыцарский пояс. Иначе Лихтенштейн не захочет со мной драться.

– Значит, потом ты едешь в Мальборг?

– Не только в Мальборг, но хоть на край света, только бы добраться до Лихтенштейна.

– Тут я спорить с тобой не стану. Либо твоя смерть, либо его.

– Не бойтесь, привезу я вам в Богданец его перчатки и пояс.

– Только берегись предательства. Это им нипочем.

– Я поклонюсь князю Янушу, чтобы он послал в Мальборг за пропуском. Теперь мир. Поеду с пропуском в Мальборг, а там всегда гостит много рыцарей. И знаете что? Сперва Лихтенштейн, а потом стану высматривать, у кого на Шлеме павлиньи перья, и буду их одного за другим вызывать. Боже мой! Ежели пошлет мне Господь победу, то, значит, я в то же время и обет выполню.

Говоря это, Збышко улыбался собственным своим мыслям, причем лицо его было совсем детское, лицо мальчика, который обещает совершить ряд рыцарских подвигов, когда подрастет.

– Эх, – сказал Мацько, кивая головой, – если бы ты победил трех рыцарей из знатных фамилий, то не только выполнил бы обет, но и какой добычи наградил бы, боже мой!

– Чего там трех! – вскричал Збышко. – Я еще в тюрьме сказал себе, что не поскуплюсь для Дануси. Столько, сколько на руках пальцев, а не трех.

Мацько пожал плечами.

– Удивляйтесь, а то хоть и не верьте, – сказал Збышко, – а ведь из Мальборга поеду к Юранду из Спыхова. Как же не поклониться ему, коли это Данусин отец? Мы с ним на холмских немцев наезжать будем. Сами же вы говорили, что для немцев нет никого страшнее во всей Мазовии.

– А коли он не отдаст за тебя Данусю?

– Как это не отдаст? Он мстит – и я мщу. Кого же он найдет лучше меня? Кроме того, раз княгиня согласилась на обручение, так и он не откажет.

– Я одно только думаю, – сказал Мацько, – что ты всех людей из Богданца заберешь, чтобы была у тебя рыцарская свита, а земля останется без рабочих рук. Пока я жив буду – я не дам, но после моей смерти – вижу я, что возьмешь.

– Господь Бог пошлет мне свиту, да и Янко из Тульчи нам родня, он не поскупится.

Вдруг отворилась дверь, и как бы в подтверждение того, что Господь Бог пошлет Збышку свиту, вошли два человека, смуглых, коренастых, одетых в желтые, похожие на еврейские кафтаны, в красных тюбетейках и невероятно широких штанах. Остановившись в дверях, они стали прикладывать пальцы к губам, ко лбу и к груди, отвешивая в то же время земные поклоны.

– Это что за дьяволы? – спросил Мацько. – Вы кто такие?

– Рабы ваши, – на ломаном польском языке отвечали новоприбывшие.

– Как так? Откуда? Кто вас прислал сюда?

– Прислал нас пан Завиша в дар молодому рыцарю, чтобы были его рабами.

– Господи боже мой! Двумя мужиками больше! – радостно восклицал Мацько. – А из какого вы народа?

– Мы турки.

– Турки? – переспросил Збышко. – У меня в свите будут два турка. Видели вы когда-нибудь турок?

И подскочив к ним, он принялся ощупывать их руками и разглядывать, точно каких заморских чудовищ. А Мацько сказал:

– Видать я их не видал, но слышал, что у Завиши из Гарбова есть на службе турки, которых он взял в плен, когда воевал на Дунае у императора римского Сигизмунда. Так вы язычники?

– Господин велел нам креститься, – сказал один из пленников.

– А выкупить себя вам не на что было?

– Мы издалека, с азиатского берега, из Бруссы.

Збышко, всегда жадно слушавший всякие военные рассказы, особенно же когда дело шло о подвигах славного Завиши из Гарбова, стал их расспрашивать, каким образом попали они в плен. Но в рассказах пленников не было ничего необычайного: их было несколько десятков, три года тому назад Завиша напал на них в ущелье, часть перебил, часть забрал в плен, а потом многих раздарил. У Збышки и Мацьки сердца прыгали от радости при виде такого замечательного подарка, в особенности потому, что достать людей в те времена было трудно и обладание ими составляло настоящее богатство.

Вскоре пришел и сам Завиша, в обществе Повалы и Пашки Злодея из Бискупиц. Так как они все старались о спасении Збышки и рады были, что им удалось этого достигнуть, то каждый сделал ему какой-нибудь подарок на прощанье и на добрую память. Благородный пан из Тачева подарил ему попону для лошади, широкую, богатую, обшитую на груди золотой бахромой; Пашко – венгерский меч, стоящий несколько гривен. Потом пришли Лис из Тарговиска, Фарурей и Кшон из Козьих Голов, с Мартином из Вроцимовиц, а под конец – Зиндрам из Машковиц – все не с пустыми руками.

Збышко растроганно приветствовал их, вдвойне обрадованный – и подарками, и тем, что славнейшие в королевстве рыцари выказывают ему дружбу. Они же расспрашивали его об отъезде и о здоровье Мацьки, советуя, как люди хоть и молодые, но опытные, разные мази и пластыри, чудесно заживляющие раны.

Но Мацько лишь поручал им Збышку, сам же собирался на тот свет. Трудно жить с железным осколком между ребрами. Он жаловался, что все время харкает кровью и не может есть. Кварта очищенных орехов, две пяди колбасы да миска яичницы – вот и все его дневное пропитание. Отец Цы-бек несколько раз пускал ему кровь, думая, что таким образом оттянет у него горячку от сердца и возвратит охоту к еде, но и это не помогло.

Однако он так был обрадован подарками, сделанными племяннику, что в эту минуту

чувствовал себя здоровым, и когда купец Амылей, чтобы почтить столь славных гостей, велел принести вина, Мацько сел к столу вместе с ними. Заговорили о спасении Збышки и об его обручении с Данусей. Рыцари не сомневались, что Юранд из Спыхова не захочет противиться воле княгини, особенно если Збышко отомстит за память Данусиной матери и добудет обещанные павлиньи перья.

– Только вот насчет Лихтенштейна, – сказал Завиша, – не знаю, примет ли он вызов, потому что ведь он монах и к тому же один из сановников ордена. Люди из его свиты говаривали, что только бы ему дожить, а он со временем и великим магистром будет.

– Если откажется, то лишится чести, – заметил Лис из Тарговиска.

– Нет, – отвечал Завиша, – он не светский рыцарь, а монахам запрещено выходить на поединки.

– Но ведь часто бывает, что выходят.

– Потому что уставы в ордене ослабели. Они всякие обеты дают, а прославились тем, что, к соблазну всего христианского мира, то и дело их нарушают. Но на поединок меченосец, а в особенности комтур, может и не выйти.

– Ну, значит, ты его только на войне поймаешь.

– Да войны, говорят, не будет, – ответил Збышко, – потому что меченосцы боятся теперь нашего народа.

Тут Зиндрам из Машковиц сказал:

– Мир этот недолог. С волком в согласии не проживешь, потому что он всегда хочет чужим пользоваться.

– А тем временем нам, пожалуй, придется с Тимуром Хромым потягаться, – заметил Повала. – Князь Витольд разбит Эдигеем, уж это верно.

– Верно. И воевода Спытко не вернулся, – прибавил Пашко Злодей из Бискупиц.

– И князьков литовских уйма осталась на поле битвы.

– Покойница королева предсказывала, что так будет, – сказал Повала из Тачева.

– Так, может быть, придется и нам идти на Тимура.

Тут разговор перешел на литовский поход против татар. Не было никакого сомнения, что князь Витольд, вождь более горячий, нежели благоразумный, потерпел страшное поражение под Ворсклой и что в этой битве пало множество литовских и русских бояр, а вместе с ними горсть польских рыцарей-добровольцев и даже меченосцев. Собравшиеся у Амылея особенно горевали об участии молодого Спытка из Мелыптына, богатейшего в королевстве пана, пошедшего на войну добровольцем и после битвы пропавшего без вести. Все до небес прославляли его истинно рыцарский поступок: получив от вождя неприятелей охранный колпак, он не захотел надеть его во время битвы, предпочитая славную смерть, нежели жизнь, дарованную по милости языческого владыки. Однако нельзя еще было сказать наверное, погиб он или попал в плен. Впрочем, у него было чем выкупиться, ибо богатства его были неизмеримы,

да еще, кроме того, король Владислав дал ему в ленное обладание всю Подолию.

Но поражение литовцев могло угрожать и всему государству Ягеллы, ибо никто не знал наверняка, не бросятся ли татары, ободренные победой над Витольдом, на земли и города, принадлежащие великому княжеству. В этом случае в войну было бы втянуто и королевство. Поэтому многие рыцари, привыкшие, как, например, Завиша, Фарурей, Добко и даже Повала, искать счастья и поединков при иностранных дворах, теперь нарочно не покидали Кракова, ибо не знали, что принесет ближайшее будущее. Если бы Тамерлан, обладатель двадцати семи государств, поднял весь монгольский мир, то опасность могла грозить страшная. И действительно, были люди, предсказывавшие, что так и будет.

– Если понадобится, то померимся силами и с самим Хромым. С нашим народом дело у него не пойдет так легко, как со всеми теми, кого он перебил и завоевал. Ведь к нам на помощь придут и другие христианские государи.

На это Зиндрам из Машковиц, пылавший особенной ненавистью к ордену, с горечью возразил:

– Государи, не знаю, но меченосцы готовы стакнуться с татарами и ударить на нас с другого бока.

– И значит – будет война! – вскричал Збышко. – Я иду на меченосцев. Но другие рыцари стали спорить. Меченосцы не знают страха Божьего и заботятся только о своем богатстве, но все-таки язычникам против христианского народа они помогать не станут. Впрочем, Тимур воюет где-то далеко в Азии, а татарский вождь Эдигей потерял в битве столько народу, что, кажется, испугался собственной победы. Князь Витольд проворен и, вероятно, хорошо укрепил свои города, а кроме того, хоть на этот раз литовцам и не повезло, все же не первый раз им колотить татар.

– Не с татарами, а с немцами предстоит нам бороться не на жизнь, а на смерть, – сказал Зиндрам из Машковиц, – и если мы не сотрем их с лица земли – от них будет нам погибель.

Он обратился к Збышке:

– И прежде всего погибнет Мазовия. Там тебе всегда найдется работа, не бойся.

– Эх, кабы дядя здоров был, я бы сейчас же туда поехал.

– Помогай тебе Бог! – сказал Повала, подымая бокал.

– За здоровье твое и Дануси!

– И да погибнут немцы! – прибавил Зиндрам из Машковиц.

И рыцари стали прощаться со Збышкой. В это время вошел придворный княгини с соколом на руке и, поклонившись рыцарям, с какой-то странной улыбкой обратился к Збышке:

– Княгиня велела сказать вам, – проговорил он, – что она проведет еще одну ночь в Кракове и тронется в путь завтра утром.

– И хорошо, – сказал Збышко, – но почему это? Разве кто-нибудь захворал?

– Нет, но у княгини гость из Мазовии.

– Сам князь приехал?

– Не князь, а Юранд из Спыхова, – отвечал придворный.

Услышав это, Збышко страшно смутился, и сердце в груди у него так забилося, как в ту минуту, когда ему читали смертный приговор.

VII

Княгиня Анна не особенно удивилась приезду Юранда из Спыхова, потому что часто случалось, что среди непрестанных стычек с соседними немецкими рыцарями Юранда охватывала внезапная тоска по Данусе. Тогда он внезапно являлся в Варшаву, или в Цеханов, или еще куда-нибудь, где временно находился двор князя Януша. При виде дочки он всегда испытывал порыв страшного горя. Дело в том, что Дануся с годами становилась так похожа на мать, что с каждым разом ему все больше казалось, что он видит свою покойницу, такую, какой он некогда впервые увидел ее у княгини Анны в Варшаве. Люди иногда думали, что от этого горя разорвется наконец его железное сердце, преданное только мести. Княгиня часто уговаривала его, чтобы он бросил свой кровавый Спыхов и остался при дворе и Данусе. Сам князь, ценя его храбрость и значение и вместе с тем желая избавиться от хлопот, которые причиняли ему непрестанные пограничные стычки, предлагал ему должность мечника. Все было тщетно. Самый вид Дануси бередил его старые раны. Через несколько дней Юранд терял охоту есть, спать, говорить. Сердце его, видимо, начинало кипеть и обливаться кровью, и наконец он исчезал с двора и возвращался в литовские свои болота, чтобы утопить в крови горе и гнев. Тогда люди говаривали: "Горе немцам! Не овцы они, но для Юранда – овцы, потому что он для них лютей волк". И в самом деле, через несколько времени начинали приходить вести то о захваченных в плен добровольцах, которые пограничным путем ехали к меченосцам, то о сожженных городках, то о разогнанных крестьянах, то о яростных схватках, из которых страшный Юранд всегда выходил победителем. При хищнических замашках Мазуров и немецких рыцарей, которые от имени ордена владели землей и городками, прилегавшими к Мазовии, даже во время полного мира между мазовецкими князьями и орденом никогда не прекращались пограничные схватки. Даже на рубку леса или на жатву местные жители выходили с луками или копьями. Люди жили, не будучи уверены в завтрашнем дне, в вечной готовности к войне, в сердечном ожесточении. Никто не ограничивался только обороной, но за грабеж платил грабежом, за поджог поджогом, за набег набегом. И случалось, что немцы тихонько подкрадывались лесами, чтобы захватить какой-нибудь городок, растащить мужиков или стада, а мазуры в то же время делали то же самое. Иногда они встречались друг с другом и бились не на живот, а на смерть, но часто только предводители вызывали друг друга на смертный бой, после которого победитель брал себе всех людей побежденного противника. И потому, когда к варшавскому двору приходили жалобы на Юранда, князь отвечал жалобами на нападения, чинимые в других местах немецкими рыцарями. Таким образом ввиду того, что обе стороны хотели справедливости, но ни одна не хотела и не могла восстановить ее – все грабежи, пожары и нападения проходили совсем безнаказанно.

Но Юранд, сидя в своем болотистом, поросшем тростником Спыхове и пылая неугасимой жаждой мщения, сделался так невыносим своим зарубежным соседям, что, в конце концов, их ужас перед ним стал сильнее их злобы. Поля по соседству со Спыховом лежали в запустении, леса зарастали диким хмелем, луга – сорными травами. Не один немецкий рыцарь, привыкший на родине к кулачному праву,

пробовал селиться по соседству со Спыховом, но спустя некоторое время каждый предпочитал бросить владение, стада и крестьян, нежели жить под боком у неумолимого воина. Часто рыцари сговаривались между собой и сообща нападали на Спыхов, но каждый такой набег оканчивался поражением. Пробовали разные способы. Однажды привезли знаменитого своей силой и закаленностью в боях рыцаря с Майна; рыцарь этот во всех битвах выходил победителем; он должен был вызвать Юранда на поединок на утопанной земле. Но когда они вышли на арену, словно по волшебству, при виде страшного мазура упало у немца сердце, и он повернул коня, собираясь обратиться в бегство; но Юранд ударил его копьем в непокрытую панцирем спину и таким образом лишил его чести. С той поры еще больший страх овладел соседями, и немец, хоть издали заметив дым, выходящий из спыховских труб, крестился и начинал молиться своему патрону, потому что укоренилась вера, будто Юранд ради мщения продал душу нечистому.

О Спыхове рассказывались страшные вещи: будто через топкие болота, среди дремучих, затянутых ряской омутов, ведет туда такая узкая тропинка, что двое мужей на конях не могут проехать по ней рядом; что по обеим сторонам ее валяются немецкие кости, а по ночам на паучьих ногах ходят по ней головы утопленников, стеная, воя и затаскивая людей в омут вместе с лошадьми. Упорно говорили, что в самом городке частокол украшен человеческими черепами. Правдой во всем этом было лишь то, что в покрытых решетками ямах, вырытых под спыховским двором, томилось несколько десятков узников и что имя Юранда было страшнее всех вымыслов о скелетах и утопленниках.

Збышко, узнав о его прибытии, тотчас поспешил к нему, но так как это был отец Дануси, то он шел с некоторой робостью в сердце. Что он выбрал Данусю дамой своего сердца и дал ей клятву верности, этого ему никто не мог запретить, но потом княгиня обручила его с Данусей. Что скажет на это Юранд? Согласится или не согласится? И что будет, если отец крикнет: "Не бывать этому!" Вопросы эти томили тревогой душу Збышки, потому что Дануся уже нужна была ему больше всего на свете. Храбрости прибавляла ему только мысль, что Юранд сочтет заслугой, а не проступком с его стороны нападение на Лихтенштейна, потому что ведь он сделал это, чтобы отомстить за Данусину мать, и едва не лишился за то собственной головы.

Между тем он принялся расспрашивать придворного, пришедшего за ним к Амылею:

– А куда вы меня ведете? В замок?

– Конечно, в замок. Юранд остановился там же, где двор княгини.

– А скажите-ка мне, каков он? Чтобы мне знать, как с ним говорить...

– Что вам сказать? Это человек, совсем не похожий на других людей. Говорят, он раньше веселый был, покуда у него кровь не запеклась.

– А умен он?

– Хитер, потому что других бьет, а сам не дается. Глаз у него только один, потому что другой немцы ему из лука прострелили, но он и одним глазом видит человека насквозь. С ним не поспоришь... Любит он только княгиню, госпожу нашу, потому что ее придворную девушку взял себе в жены, а теперь и дочка его у нас растет.

Збышко вздохнул с облегчением.

– Так вы говорите, что он воле княгини не воспротивится?

– Я знаю, что вам хочется узнать, и что слышал, то и скажу. Говорила ему княгиня о вашем обручении, потому что нельзя было бы утаить. Но что он на это сказал – неизвестно.

Так разговаривая, дошли они до ворот. Начальник королевских лучников, тот самый, который когда-то вел Збышку на казнь, теперь дружески кивнул ему головой, и, пройдя мимо караула, они очутились во дворе, а потом вошли в расположенный справа флигель, который занимала княгиня.

Придворный, встретив у дверей мальчика-слугу, спросил:

– А где Юранд из Спыхова?

– В Косой комнате, с дочерью.

– Значит, туда, – сказал придворный, указывая на дверь.

Збышко перекрестился и, откинув от открытых дверей занавесь, вошел с бьющимся сердцем. Но он не сразу нашел Юранда из Спыхова, потому что комната была не только "Косая", но и темная. Только через минуту увидел он белокурую головку девочки, сидящей у отца на коленях. Они тоже не слышали, как он вошел; поэтому он остановился у занавеси, кашлянул и наконец сказал:

– Слава Господу Богу нашему.

– Во веки веков, – отвечал Юранд, вставая.

В этот миг Дануся подбежала к молодому рыцарю и, схватив его за руку, стала кричать:

– Збышко, папа приехал.

Збышко поцеловал у нее руку, потом вместе с ней подошел к Юранду и сказал:

– Я пришел вам поклониться: вы знаете, кто я?

И он слегка наклонился, делая руками такое движение, точно хотел обнять ноги Юранда. Но тот схватил его за руку, повернул лицом к свету и стал молча вглядываться в него.

Збышко уже немного оправился и, подняв любопытный взор на Юранда, увидел перед собой мужчину почти гигантского роста, с русыми волосами и такими же русыми усами, с рябым лицом и одним глазом железного цвета. Ему казалось, что этот глаз хочет пронзить его насквозь, и смущение снова стало его охватывать; наконец, не зная, что сказать, но желая обязательно сказать что-нибудь, чтобы прервать неприятное молчание, он спросил:

– Так это вы Юранд из Спыхова, отец Дануси?

Но тот только указал ему на дубовую скамью, на которой уселся и сам, и, не

сказав ни слова, продолжал вглядываться. Наконец Збышке это надоело.

– Знаете, – сказал он, – нескладно мне так сидеть, точно перед судом. Тут только Юранд проговорил:

– Так это ты на Лихтенштейна напал?

– Ну да, – отвечал Збышко.

В глазу пана из Спыхова блеснул какой-то странный свет, и грозное лицо его слегка прояснилось. Потом он взглянул на Данусю и снова спросил:

– И это ради нее?

– А то ради кого же? Должно быть, вам дядя рассказывал, как я дал ей клятву сорвать с немецких голов павлиньи перья? Но их будет не три пучка, а, по крайней мере, столько, сколько пальцев на обеих руках. Тут я и вам мстить помогу, потому что ведь это за Данусину мать.

– Горе им! – отвечал Юранд.

И опять наступило молчание. Однако Збышко, сообразив, что, выражая свою ненависть к немцам, он попадает Юранду прямо в сердце, сказал:

– Не прощу я им, хоть они уж чуть не сгубили меня.

Тут он повернулся к Данусе и прибавил:

– Она спасла меня.

– Знаю, – сказал Юранд.

– А вы за это не сердитесь?

– Уж коли ты дал ей клятву, так скажу: таков рыцарский обычай.

Збышко сперва не решался, но потом вдруг заговорил с заметной тревогой:

– Видите ли... она мне накинула на голову покрывало... Все рыцари слышали, и францисканец, который стоял возле меня с крестом, слышал, как она сказала: "Он мой". И верно, Богом клянусь, что до самой смерти не буду больше ничей.

Сказав это, он снова стал на колени и, желая показать, что знает рыцарский обычай, с великим почтением поцеловал оба башмака сидящей на ручке кресла Дануси, а потом встал и, обращаясь к Юранду, спросил:

– Видали вы другую такую? А?...

А Юранд внезапно положил на голову обе свои страшные, смертоносные руки и, закрыв глаза, глухо ответил:

– Видел, да немцы ее у меня убили.

– Так слушайте же! – воскликнул Збышко. – Одна у нас обида и одна месть. Немало

и наших людей из Богданца перебили из лука собачьи дети немцы... Не найти вам для вашего дела никого лучше меня... Это мне не в диковину! Спросите дядю. На копьях ли, на топорах ли, на длинных или коротких мечах – мне все равно. А говорил вам дядя о фризах?... Стану я вам резать немцев, как баранов, а что касается девочки, так на коленях стоя клянусь вам, что за нее с самим чертом стану драться и не отдам ее ни за земли, ни за стада, ни за какие богатства, и хоть бы давали мне без нее замок со стеклянными окнами – я и замок брошу, а пойду за ней на край света...

Юранд некоторое время сидел, закрыв лицо руками, но наконец словно проснулся и сказал с грустью:

– Понравился ты мне, мальчик, но тебе я ее не отдам, потому что не про тебя, несчастный, она писана.

Збышко, услышав это, онемел и, не говоря ни слова, стал смотреть на Юранда широко раскрытыми глазами.

Но Дануся пришла ему на помощь. Очень ей нравился Збышко и очень нравилось ей сходить не за "подростка", а за "девку на выданье". Понравилось ей и обручение, и сласти, которые каждый день приносил ей молодой рыцарь, и вот теперь, поняв, что все это хотят у нее отнять, она поспешно соскользнула с ручки кресла и, спрятав голову в коленях отца, воскликнула:

– Папа! Папа! Я буду плакать.

А он, видимо, любил ее больше всего на свете. Он ласково положил руку ей на голову. В лице его не было ни злости, ни гнева, только печаль. Между тем Збышко пришел в себя и сказал:

– Как же? Вы, значит, хотите противиться воле Божьей? Юранд на это ответил:

– Если будет на то воля Божья, то ты ее получишь; но свою волю я не могу склонить в твою пользу. И рад бы склонить, да нельзя...

Сказав это, он поднял Данусю и, взяв ее за руку, направился к дверям, когда же Збышко хотел загородить ему дорогу, он остановился еще на мгновение и сказал:

– Я не буду на тебя сердиться за рыцарскую твою службу, но не спрашивай больше меня, потому что я ничего не могу тебе сказать.

И вышел из комнаты.

VIII

На следующий день Юранд нисколько не избегал Збышки и не мешал ему оказывать Данусе разные дорожные услуги, которые он, как рыцарь, обязан был ей оказывать. Напротив, Збышко, хоть и очень был угнетен, заметил, что угрюмый пан из Спыхова смотрит на него дружелюбно и как бы с грустью, что принужден был дать ему такой жестокий ответ. Молодой рыцарь пробовал неоднократно приближаться к нему и заговаривать. По дороге из Кракова это было не трудно, потому что оба они верхами сопровождали экипаж княгини. Юранд, обыкновенно молчаливый, говорил охотно, но как только Збышко выказывал желание узнать что-нибудь о препятствиях, лежащих между ним и Данусей, разговор сразу обрывался, и лицо Юранда хмурилось. Збышко думал, что княгиня знает больше, и потому, улучив подходящую минуту,

попытался как-нибудь получить от нее сведения, но она тоже не много могла сказать ему.

– Тут, конечно, есть тайна, – сказала она. – Юранд сам сказал мне это, но в то же время просил его не расспрашивать. Должно быть, он связан какой-нибудь клятвой, как бывает между людьми. Однако, бог даст, со временем все это объяснится.

– Мне на свете жить без Дануси – то же, что собаке на привязи, либо медведю в яме, – отвечал Збышко. – Ни счастья, ни радости. Одно горе да вздыхания. Лучше бы мне было пойти с князем Витольдом на татар, пусть бы меня там убили. Но сначала надо отвезти дядю, а потом сорвать с немецких голов эти самые павлиньи перья. Может быть, меня при этом убьют, да оно и лучше по мне, чем смотреть, как Данусю другой возьмет.

Княгиня подняла на него свои добрые голубые глаза и спросила с некоторым удивлением:

– А ты бы на это согласился?

– Я? Разве только, если бы у меня рука отсохла и не могла бы держать топора.

– Ну вот видишь.

– Да только как же мне на ней против отцовской воли жениться? На это княгиня сказала как бы про себя:

– Боже мой! Да разве и так не бывает...

А потом обратилась к Збышке:

– Разве воля Божья не сильнее отцовской? А что Юранд сказал? "Если, – говорит, – будет на то воля Божья, так он ее получит".

– Он то же и мне сказал, – воскликнул Збышко. – "Если, – говорит, – оудет на то воля Божья, так ты ее получишь".

– Ну вот видишь.

– Вот это, да еще милость ваша – единое мое утешение.

– Милость моя к тебе неизменна, и Дануся будет тебе верна. Еще вчера говорю я ей: "Дануся, будешь ли ты верна Збышке?" А она отвечает: "Или я буду Збышковой, или ничьей". Зеленая еще ягода, а как что скажет, так и сдержит слово, потому что шляхетское дитя, а не сброд какой-нибудь. Такова же была и мать ее.

– Дал бы Бог, – сказал Збышко.

– Только помни: будь верен и ты. Не всегда хороши мужчины: другой обещает любить неизменно, а сам сейчас же лезет к другой, да так, что его и веревками не удержишь. Это я верно говорю.

– Пусть Господь Бог меня накажет, если так будет! – воскликнул Збышко.

– Ну так помни же. А как отвезешь дядю – приезжай к нашему двору. Будет случай – получишь у нас и шпоры, а там видно будет, что Бог даст. Данусяка к тому времени подрастет и волю Божью почувствует, потому что теперь она тебя страсть как любит, иначе и сказать не могу, а все-таки не так еще, как любят взрослые девушки. Может быть, и Юранд склонится на твою сторону, потому что, я так полагаю, что он бы рад. Поедешь в Спыхов и с ним вместе пойдешь на немцев, и, может, тебе так посчастливится, что ты как-нибудь ему угодишь и совсем привлечешь к себе.

– Я и сам, милостивая княгиня, хотел так сделать, но с вашим позволением мне будет легче.

Разговор этот очень ободрил Збышку. Однако на первом же привале старик Мацько так расхворался, что надо было остановиться и ждать, пока к нему хоть сколько-нибудь не вернется сил для дальнейшего пути. Хорошая княгиня Анна оставила ему все мази и лекарства, какие у нее были с собой, но сама вынуждена была ехать дальше, и потому обоим рыцарям из Богдан-ца пришлось расстаться с мазовецким двором. Збышко упал сначала к ногам княгини, потом Дануси, еще раз поклялся ей в рыцарской верности, обещал вскоре приехать или в Варшаву, или в Цеханов и наконец схватил ее в сильные свои объятия, поднял вверх и стал повторять взволнованным голосом:

– Помни же обо мне, цветик мой дорогой, помни, рыбка моя золотая!

А Дануся, обняв его, как младшая сестра обнимает любимого брата, прижалась своим вздернутым носиком к его щеке и заплакала крупными, как горох, слезами, повторяя:

– Не хочу в Цеханов без Збышки, не хочу в Цеханов...

Юранд видел это, но не рассердился. Напротив, и сам очень ласково простился с мальчиком, а уже садясь на коня, еще раз обернулся к нему и сказал:

– Оставайся с Богом и обиды на меня не питай.

– Какую же мне на вас питать обиду, если вы Данусин отец, – чистосердечно ответил Збышко.

И наклонился к стремям, а Юранд крепко сжал его руку и сказал:

– Помоги тебе Бог во всем... понимаешь?...

И он уехал. Однако Збышко понял, какое расположение таилось в его последних словах, и, вернувшись к телеге, на которой лежал Мацько, сказал:

– Знаете что? Он бы тоже хотел, да только ему что-то мешает. Вы были в Спыхове, и ум у вас славный, так постарайтесь смекнуть, в чем тут дело.

Но Мацько был слишком болен. Лихорадка, начавшаяся с утра, усилилась к вечеру до такой степени, что он начал терять сознание, и вместо ответа Збышке взглянул на него словно с удивлением, а потом спросил:

– А где тут звонят?

Збышко испугался, потому что ему пришло в голову, что, если больной слышит звон, значит – смерть уж подходит к нему. Тут же он подумал, что старик может умереть без ксендза, без исповеди и потому попасть, если не совсем в ад, то, по крайней мере, на веки вечные в чистилище. И вот он все-таки решил везти старика дальше, чтобы как можно скорее доехать до какого-нибудь прихода, где Мацько мог бы в последний раз причаститься.

С этой целью решено было ехать всю ночь. Збышко сел на телегу, высланную сеном, на котором лежал больной, и стерег его, пока не наступил день. Время от времени он поил его вином, которым снабдил их на дорогу купец Амылей и которое томящийся от жажды Мацько пил жадно, ибо оно, по-видимому, приносило ему значительное облегчение. После второй кварты он даже вернулся к сознанию, а после третьей уснул так крепко, что Збышко иногда наклонялся над ним, чтобы убедиться, что он не умер.

При мысли о том, что Мацько может умереть, его охватывала глубокая грусть. До тюрьмы он даже не отдавал себе как следует отчета, как сильно он любит этого "дядьку", который был ему и отцом и матерью. Но теперь он знал это хорошо, чувствуя в то же время, что после смерти Мацьки он будет страшно одинок на свете, без родни, если не считать того аббата, у которого был заложен Богданец, без друзей и без всякой опоры. В то же время ему приходило в голову, что если Мацько умрет, то тоже из-за немцев, из-за которых он сам чуть не погиб, из-за которых погибли все его предки и мать Дануси и много, много неповинных людей, которых он знал или о которых слышал от знакомых. И он начинал даже удивляться. "Неужели, – говорил он себе, – во всем этом королевстве нет человека, который не потерпел бы от них обиды и не жаждал бы мести?" Тут ему вспомнились немцы, с которыми он воевал под Вильной, и он подумал, что, вероятно, татары не жесточе их на войне и что, вероятно, другого такого народа нет на свете.

Рассвет прервал его размышления. День восходил ясный, но холодный. Мацько, видимо, чувствовал себя лучше: он дышал ровнее и спокойнее. Только когда солнце стало уже порядком пригревать, он проснулся, открыл глаза и сказал:

– Полегчало мне. А где мы?

– Подъезжаем к Олькушу. Знаете, где серебро добывают и в казну отдают.

– Кабы иметь то, что в земле лежит! Вот бы можно Богданец отстроить!

– Видно, что вам лучше, – смеясь, отвечал Збышко. – Эх, хватило бы и на каменный замок. Но заедем в приход, там и примут нас, и вы сможете исповедаться. Все в руках Божьих, а все-таки лучше, когда совесть в порядке.

– Я человек грешный, покаяться рад, – отвечал Мацько. – Снилось мне ночью, что черти сдирают у меня кожу с ног... А между собой они по-немецки брехали... Слава богу, полегчало мне. А ты спал?

– Где же мне было спать, коли я вас стерег?

– Ну так приляг хоть немного. Как приедем, я тебя разбужу.

– Не до сна мне.

– А что тебе мешает?

Збышко взглянул на дядю глазами ребенка:

– Что же, как не любовь? У меня даже колики начались от вздохов, да вот сяду на минутку на коня – мне и полегчает.

И слезши с телеги, он сел на коня, которого проворно подвел ему подаренный Завишей турок. Между тем Мацько от боли немножко хватался за бок, но, очевидно, думал о чем-то другом, а не о своей болезни, потому что качал головой, чмокал губами и наконец сказал:

– Вот дивлюсь я, дивлюсь и никак не могу надивиться, в кого ты такой влюбчивый уродился: ни отец твой не был таков, ни я.

Но Збышко вместо ответа вдруг выпрямился в седле, подбоченился, вскинул голову и грянул изо всех сил:

– Гей...

И это "гей" разнеслось по лесу, откликнулось дальним эхом и наконец стихло в чаще.

А Мацько снова потрогал свой бок, в котором сидел наконечник немецкой стрелы, и с тихим стоном сказал:

– Прежде люди умнее были, понял?

Но потом он задумался, точно припоминая старые времена, и прибавил:

– Положим, кое-кто и прежде бывал дураком.

В это время они выехали из леса, за которым увидели шалаши рудокопов, а вдали зубчатые стены Олькуша, выстроенные королем Казимиром, и колокольню костела, построенного Владиславом Локотком.

IX

Каноник приходской церкви дал Мацьке отпущение грехов и гостеприимно оставил их ночевать, так что они тронулись в путь только на следующее утро. За Олькушем свернули они к Силезии, по границе которой намеревались доехать до самой Великой Польши. Дорога по большей части шла лесом, в котором на закате часто раздавалось, точно подземный гром, рыкание туров и зубров, а по ночам сверкали в ореховых зарослях волчьи глаза. Но еще большая опасность грозила на этой дороге купцам и путникам от немецких или онемечившихся рыцарей из Силезии, замки которых высились в разных местах вдоль границы. Правда, благодаря войне с владельцем Ополя, которому помогали против короля Владислава многочисленные силезские племянники, польские руки разрушили большую часть этих замков, но все-таки надо было быть осторожными, особенно после захода солнца, и не выпускать из рук оружия.

Ехали, однако, спокойно, так что Збышке начинала уже надоедать дорога, и только тогда, когда до Богданца оставались лишь сутки пути, ночью послышалось сзади лошадиное фыркание и топот копыт.

– Какие-то люди едут за нами следом, – сказал Збышко.

Мацько посмотрел на звезды и, как человек опытный, ответил:

– Скоро рассвет. Разбойники не напали бы под утро, потому что в это время им надо убираться домой.

Однако Збышко остановил телегу, выстроил людей поперек дороги, лицом к приближающимся, а сам вышел вперед и стал ждать.

В самом деле, через несколько времени он увидел во мраке десятка полтора всадников. Один ехал во главе их, на несколько шагов впереди, но, по-видимому, не намерен был прятаться, так как распевал во всю глотку. Збышко не мог слышать слов, но до ушей его доходили веселые восклицания "гоп", "гоп", которыми незнакомец кончал каждый куплет песни.

"Наши", – подумал Збышко.

Но все же окликнул:

– Стой!

– А ты сядь! – ответил шутливый голос.

– Что вы за люди?

– А вы?

– Зачем вы за нами едете?

– А ты зачем загораживаешь дорогу?

– Отвечай, а то у нас луки натянуты.

– А у нас не натянуты... Стреляй!

– Отвечай по-людски, а то тебе плохо будет.

На это Збышке ответили веселой песней.

Удивился Збышко, услышав такой ответ; затем песня оборвалась, но тот же голос спросил:

– А как здоровье старого Мацьки? Дышит еще?

Мацько приподнялся на телеге и сказал:

– Ей-богу же, это наши.

А Збышко тронул коня вперед.

– Кто спрашивает про Мацьку?

– А сосед, Зых из Згожелиц. Уже с неделю еду за вами и расспрашиваю по дороге людей.

– Батюшки! Дядя! Это Зых из Згожелиц! – воскликнул Збышко.

И они стали радостно здороваться, потому что Зых был действительно их соседом, к тому же хорошим человеком и общим любимцем, чем обязан был необычайной своей веселости.

– Ну, как поживаете? – спросил он, тряся руку Мацьки. – Гоп еще или уже не гоп?

– Эх, уж не гоп, – отвечал Мацько. – Но вам я рад. Боже ты мой милостивый, да мне кажется, что я уже в Богданце.

– А что с вами? Я слышал, немцы вас подстрелили?

– Подстрелили собачьи дети. Наконечник у меня между ребрами остался.

– Господи! И что же? А медвежье сало пить пробовали?

– Вот видите! – сказал Збышко. – Все медвежье сало советуют. Только бы добраться до Богданца. Сейчас же пойду ночью с топором на пасеку.

– Может быть, у Ягенки найдется, а нет, так пошлю к кому-нибудь.

– Какая Ягенка? Ведь вашу жену звали Малгохной? – спросил Мацько.

– Э, какая там Малгохна! В Михайлов день будет три года, как Малгохна лежит на кладбище. Норовистая была баба, упокой, Господи, ее душу! Да и Ягенка в нее, только еще молода... А Малгохне я говорил: "Не лезь на сосну, коли тебе пятьдесят лет". Так нет же, влезла. А ветка обломилась – и бац. Так я вам скажу – даже яму выбила. А через три дня – и дух из нее вон.

– Царство ей небесное, – сказал Мацько. – Помню, помню... Как, бывало, упрется руками в бока да начнет чудить, так работники от нее в сено прятались. Да уж зато хозяйка была... С сосны, значит, свалилась?... Ишь ты...

– Свалилась, как шишка зимой... Ох, вот горе было! Знаете, после похорон я с горя так напился, что три дня меня не могли разбудить. Думали – тоже окочурился. А сколько я потом заплакался – так и ведром не вынесешь. А насчет хозяйства молодец и Ягенка. Теперь ею весь дом держится.

– Я ее еле помню. Когда я ее знал, она не больше топорища была. Под лошадью пройти могла, головой живота не задевши. Да давно уж это было, выросла небось.

– В день святой Агнесы пятнадцать лет минуло; да уж я ее почти год не видел.

– А что с вами случилось? Откуда вы возвращаетесь?

– С войны. Кто же меня заставит дома сидеть, коли есть Ягенка?

Мацько, хоть и болен был, но при упоминании о войне насторожил уши и спросил:

– Может быть, вы с князем Витольдом под Ворсклой были?

– Был, – весело отвечал Зых из Згожелиц. – Ну не послал ему Господь Бог удачи:

разбил нас Эдигей на голову. Прежде всего лошадей у нас перестреляли. Татарин в рукопашную не идет, как христианский рыцарь, а все издали из луков стреляет. Ты на него наскочишь, а он увернется и снова стреляет. Делай с ним, что хочешь. В нашем войске, изволите видеть, рыцари страсть как похвалялись: "Мы, – говорят, – даже копий не наклоним, мечей из ножен не вынем, а лошадиными копытами этих червей раздавим". Хвалились они, хвалились, а как начали стрелы свистать, так что темно от них стало, вот тебе и вся битва кончилась. Из десяти насилу один жив остался. Поверите ли, больше половины войска да семьдесят князей, литовских и русских, на поле осталось; а что бояр и разных дворян, да разных, как они говорят, отроков [10], так и две недели не пересчитаешь.

– Слышал, – перебил его Мацько. – И наших рыцарей-добровольцев тоже много полегло.

– Да даже девять меченосцев, пришлось и им послужить Витольду. И наших много, потому что, как сами знаете, где другой назад оглянется, там наш оглядываться не станет. Больше всего надеялся князь на наших рыцарей и не хотел иметь в битве возле себя другой охраны, кроме одних поляков. Хе-хе! Все кругом него повалились, а ему ничего. Погиб пан Спытко из Мельштына, и мечник Бернат, и мечник Миколай, и Прокоп, и Пшецлав, и Доброгост, и Ясько из Лазевиц, и Пилик Мазур, и Варш из Михова, и воевода Соха, и Ясько из Домбровы, и Петрко из Милославля, и Щепецкий, и Одерский, и Томко Лагода. Кто их всех пересчитает. А некоторые так утыканы были стрелами, что были словно ежи, даже смешно смотреть было.

Тут он на самом деле рассмеялся, точно рассказывал что-то чрезвычайно веселое, и вдруг запел.

– Ну а потом что? – спросил Збышко.

– Потом великий князь бежал, но сейчас же ободрился, как всегда с ним бывает. Чем крепче его согнешь, тем лучше отскочит, как ветка ореховая. Помчались мы тогда к Таванскому броду, защищать переправу. Пришло и из Польши несколько новых рыцарей. Ну ничего. Хорошо. На другой день налетел Эдигей с тучей татарвы, да уж ничего у него не вышло. То-то веселье было! Чуть он к броду, а мы его по морде. Никак не мог. Еще же мы их перебили и переловили немало. Я сам пятерых поймал, везу их с собой в Згожелицы. Вот днем увидите, какие у них собачьи морды.

– В Кракове говорили, что и в королевстве может начаться война.

– А что, дурак Эдигей, что ли? Он хорошо видел, что у нас за рыцари, а ведь самые главные дома остались, потому что королева недовольна была, что Витольд первый начинает войну. Э, хитер он, старик Эдигей. Сразу смекнул у Тавани, что силы князя растут, и ушел себе прочь, за тридевять земель...

– А вы вернулись?

– Вернулся. Больше там делать нечего. А в Кракове про вас узнал, что вы недавно выехали.

– Потому вы и знали, что это мы?

– Знал, что вы, потому что везде на остановках про вас расспрашивал. Тут он обратился к Збышке:

– Эх, боже мой, ведь я тебя в последний раз маленького видал, а теперь, хоть и темно, а вижу, что стал ты, парень, что твой тур. И сразу готов был из лука стрелять... Видно, что на войне бывал.

– Меня с малых лет война воспитывала. Пусть дядя скажет, знаю ли я, что такое война.

– Не к чему дяде говорить. Видал я в Кракове пана из Тачева, он мне про тебя рассказывал... Да говорят, этот мазур не хочет за тебя девку выдавать, а я бы так не упряился, потому что ты мне пришелся по вкусу... Только увидишь мою Ягенку – забудешь ту. Это, брат, штука...

– Нет, не забуду, хоть бы десять таких увидел, как ваша Ягенка.

– За ней в приданое Мочидолы пойдут, где есть мельница. Да когда я уезжал, было на лугах десять славных кобыл с жеребятами... Еще многие мне поклонятся, чтобы я им Ягенку отдал, не бойся.

Збышко хотел ответить: "Да не я", но Зых из Згожелиц снова стал напевать.

– У вас вечно веселье да песни в голове, – заметил Мацько.

– А что блаженные души в раю делают?

– Поют.

– Ну вот видите. А погибшие плачут. Я больше хочу идти к поющим, чем к плачущим. Да и святой Петр скажет: "Надо его в рай пустить, а то станет шельма и в пекле петь, а это не дело". Глядите-ка, уж светает.

И действительно, занимался день. Вскоре они выехали на просторную поляну, где было уже совсем светло. На маленьком озере, занимавшем большую часть поляны, какие-то люди ловили рыбу, но при виде вооруженных людей бросили невод, выскочили из воды, проворно схватили багры и крючья и остановились, готовые к бою.

– За разбойников приняли нас, – смеясь сказал Зых. – Эй, рыбаки, чьи вы?

Те еще некоторое время стояли молча, с недоверием глядя на рыцарей, но наконец старший, узнав своих, сказал:

– Ксендза аббата из Тульчи.

– Нашего родственника, – сказал Мацько, – у которого заложен Богданец. Значит, это его лес, да только он, видно, недавно купил его.

– Где там купил! – ответил Зых. – Он воевал из-за него с Вильком из Бжозовой и, видно, отвоевал. С год тому назад они даже собирались сразиться верхами на копьях и длинных мечах из-за всей этой земли, да не знаю, чем у них дело кончилось, потому что я уехал.

– Ну, мы с ним люди свои, – сказал Мацько, – с нами он драться не станет, а еще, пожалуй, что-нибудь скинет с долга.

– Может быть. Если с ним быть по-хорошему, так он еще своего прибавит. Он из рыцарей, ему не в диковину шлем надеть. А вместе с тем человек набожный и очень хорошо обедню служит. Да вы небось помните... Как рывкнет за обедней, так даже ласточки, что под потолком живут, из гнезд вылетают. И от того, конечно, слава Божья растет.

– Как мне не помнить! Ведь он за десять шагов свечи в алтаре дыханием гасил. А заезжал он хоть раз в Богданец?

– Еще бы! Заезжал. Пятерых новых мужиков с женами на расчищенной земле поселил. И у нас в Згожелицах тоже бывал, потому что, как сами знаете, он у меня Ягенку крестил, очень ее любит и дочуркой зовет.

– Дал бы Бог, чтобы он согласился оставить мне мужиков, – сказал Мацько.

– Эвона! Что для такого богача пять мужиков? Наконец, если моя Ягенка его попросит, так оставит.

Тут беседа на время смолкла, потому что над темным бором и румяной зарей взошло яркое солнце, озарившее всю окрестность. Рыцари встретили его обычным восклицанием: "Слава Господу Богу нашему", а потом перекрестились и стали читать утренние молитвы.

Зых, кончив первым и несколько раз ударив себя в грудь, обратился к спутникам:

– Теперь я к вам хорошенько присмотрюсь. Э, изменились вы оба... Вам, Мацько, надо сперва поправиться... Ягенка будет за вами ухаживать, потому что у вас бабы нет... Да, заметно, что у вас наконецник сидит между ребрами... Не хорошо...

Тут он обратился к Збышке:

– Покажись-ка и ты... Ой, боже мой милостивый! Помню я тебя маленьким, как ты по хвостам на лошадей взлезал, а теперь, черт возьми, что за рыцарь... Лицом настоящая девчонка, а все-таки парень широкоплечий... Такому хоть на медведя идти.

– Что ему медведь, – ответил Мацько. – Ведь он моложе, чем теперь был, когда этот фриз назвал его молокососом, а Збышке это не совсем понравилось, так он ему усы и вырвал...

– Знаю, – перебил Зых. – Потом вы дрались и отбили у них людей. Мне все пан из Тачева рассказывал.

И он стал глядеть на Збышку восхищенными глазами. Тот тоже с большим любопытством глядел на его длинную, как жердь, фигуру, на худое лицо с огромным носом и на круглые, смеющиеся глаза.

– О, – сказал он, – с таким соседом только бы Господь вернул дяде здоровье, а скучно не будет.

– Веселого соседа лучше иметь, с веселым не поссорисься, – отвечал Зых. – А теперь послушайте, что я вам по дружбе и по христианству скажу. Дома вы давно не были и порядку никакого в Богданце не застанете. Я не говорю – в хозяйстве, потому что аббат хорошо хозяйничал... кусок лесу выкорчевал и мужиков новых

поселил... Но так как сам он только изредка наезжает, то кладовые окажутся пустыми, да и в доме разве что какая-нибудь скамья найдется да вязанка гороху для спанья. А больному нужны удобства. Так знаете что? Поезжайте со мной в Згожелицы. Погостите месяц, другой, мне это будет приятно, а Ягенка тем временем позаботится о Богданце. Только на нее положитесь и ни о чем не думайте... Збышко будет ездить смотреть за хозяйством, а ксендза аббата я вам тоже в Згожелицы привезу, вы с ним сейчас же и рассчитаетесь... За вами, Мацько, девка так будет ухаживать, как за отцом, а в болезни бабы заботы лучше всего. Ну, дорогие мои, сделайте так, как я вас прошу.

– Известно, что вы человек добрый и всегда таким были, – отвечал слегка растроганный Мацько, – но видите ли: если суждено мне умереть от этой проклятой занозы, которая у меня между ребер сидит, так уж лучше у себя дома. Кроме того, дома, хоть и болен, а все-таки кое про что расспросишь, кое-что доглядишь, туда-сюда заглянешь. Если велит Господь отправляться на тот свет – тут уж ничего не поделаешь. Больше ли будет ухода, меньше ли – все равно не отвертишься. К неудобствам мы на войне привыкли. Хороша и связка гороху тому, кто несколько лет спал на голой земле. Но за доброту вашу от всего сердца спасибо, и если мне не придется отблагодарить, так – даст бог – Збышко отблагодарит.

Зых из Згожелиц, действительно славившийся своей добротой, снова стал настаивать и просить, но Манько уперся: коли помирать, так на своей земле. Целые годы тосковал он по этому Богданцу, и теперь, когда граница уже недалеко, не откажется от него ни за что, хотя бы это был его последний ночлег. Спасибо Господу и за то, что Он дал ему сюда дотащиться.

Тут отер он кулаками слезы, нависшие у него на ресницах, поглядел вокруг и сказал:

– Если это уже леса Вилька из Бжозовой, так, значит, вскоре после полудня приедем.

– Теперь уж не Вилька из Бжозовой, а аббата, – заметил Зых.

На это больной Мацько улыбнулся и, помолчав, сказал:

– Если аббата, так, может быть, когда-нибудь станут наши.

– Эвона! А вы только что говорили о смерти! – воскликнул весело Зых. – Теперь вам аббата хочется пережить.

– Не я переживу, а Збышко.

Дальнейшую беседу прервали звуки рогов, послышавшиеся далеко в бору. Зых тотчас остановил коня и стал прислушиваться.

– Должно быть, кто-нибудь охотится, – сказал он. – Погодите.

– Может быть, аббат. Вот бы хорошо было, если бы мы сейчас встретились.

– Помолчите-ка.

И он обратился к своим людям:

– Стой.

Остановились. Звуки рогов слышались ближе, а минуту спустя раздался лай собак.

– Стой, – повторил Зых. – К нам приближаются.

Збышко соскочил с лошади и стал кричать:

– Давайте лук. Может быть, зверь на нас выскочит. Живо! Живо!

И схватив из рук слуги лук, он уперся им в землю, надавил животом, потом выпрямился и, схватив обеими руками тетиву, натянул ее на железный крюк; потом вложил стрелу и помчался в бор.

– Натянул. Без веревки натянул, – прошептал Зых, пораженный такой необычайной силой.

– У, страсть какой парень! – с гордостью прошептал в ответ Мацько.

Между тем звуки рогов и собачий лай раздались еще ближе, и вдруг направо в лесу послышался тяжелый топот, треск ломаемых кустов и ветвей, – и на дорогу, как молния, вылетел старый бородатый зубр с огромной низко наклоненной головой, с налитыми кровью глазами и высунутым языком, тяжело дышащий, страшный. Наскочив на придорожный ров, он одним прыжком перелетел через него, с размаху упал на передние ноги, но поднялся и вот-вот готов был скрыться в чаще по другую сторону дороги, как вдруг зловеще заворчала тетива лука, послышался свист стрелы, зверь поднялся на дыбы, закружился, взревел и, как громом пораженный, грохнулся на землю.

Збышко вышел из-за дерева, снова натянул лук и подошел, готовый стрелять, к лежащему быку, задние ноги которого еще рыли землю.

Но, посмотрев на него, Збышко спокойно обернулся к своим и издали закричал.

– Ах, чтоб тебя! – воскликнул Зых, подъезжая ближе. – От одной стрелы!

– Близо было, а ведь в стреле сила страшная. Глядите: не только наконечник, а вся стрела ушла ему под лопатку.

– Охотники небось уже близко; наверно, они у тебя его отнимут.

– Не дам! – отвечал Збышко. – На дороге убит, а дорога ничья.

– А если это аббат охотится?

– А если аббат, так пусть берет его.

Между тем из леса выскочило десятка полтора собак. Увидев зверя, они с отчаянным лаем бросились на него, сучились над ним и тотчас же стали грызться между собой.

– Сейчас появятся и охотники, – сказал Зых. – Гляди. Вот они, только выскочили на дорогу впереди нас, и зверя еще не видят. Эй! Эй! Идите сюда. Идите... Убит, убит...

Но вдруг он замолчал, приставил руку к глазам и через минуту воскликнул:

– Боже мой! Что такое? Ослеп я или мне мерещится?...

– Один на вороном коне впереди, – сказал Збышко.

Но вдруг Зых закричал:

– Господи боже мой! Да ведь это Ягенка.

И стал кликать ее:

– Ягна! Ягна...

И он поехал вперед, но прежде чем успел пустить коня рысью, Збышко увидел самое странное на свете зрелище: на быстро скачущем коне приближалась к ним сидящая в седле по-мужски девушка, с луком в руках и с копьем за плечами. В распутившиеся от быстрой езды волосы ее вплелись шишки хмеля, лицо у нее румянилось, как заря, на груди виднелась расстегнутая рубашка, и на рубашке кожух мехом наружу. Подъехав, она сразу осадил коня; некоторое время на лице ее отражалось недоверие, удивление, радость, но наконец не в силах будучи не верить глазам и ушам, тонким, еще несколько детским голосом она стала кричать:

– Тятя! Милый тятя!

И она в мгновение ока соскочила с коня, а когда Зых тоже соскочил, чтобы поздороваться, бросилась ему на шею. Долго Збышко слышал только звуки поцелуев, восклицания: "Тятка!", "Ягуся!", "Тятка!", "Ягуся!" – повторяемые в радостном восторге.

Подъехали оба обоза, подъехал на телеге Мацько, а они все еще повторяли: "Тятка!", "Ягуся!", и все еще стояли обнявшись. Только нацеловавшись и накричавшись вдоволь, Ягенка стала расспрашивать отца:

– Вы, значит, с войны? Здоровы?

– С войны. А что мне не быть здоровым? А ты? А мальчики? Здоровы небось? Да? А то бы ты по лесу не носилась. Но что ты тут делаешь, девка?

– Ведь вы же видите – охочусь, – смеясь отвечала Ягенка.

– В чужих лесах?

– Аббат мне дал позволение. Даже прислал обученных этому слуг и собак.

Тут она обратилась к своей челяди:

– Отгоните собак, а то шкуру изорвут. Потом к Зыху:

– Ох, вот я рада, что вижу вас! У нас все хорошо.

– А я разве не рад? – отвечал Зых. – Дай-ка, девочка, я еще тебя поцелую. И они снова стали целоваться, а когда кончили, Ягна сказала:

– До дому страсть как далеко... все мы за этим зверем гнались. Мили две проехали, лошади уставать стали. Зато здоров зубр... Видели? В нем три стрелы моих сидят, от последней он и пал.

– Он пал от последней, да не от твоей, вот этот рыцарь его подстрелил. Ягенка откинула рукой волосы, упавшие ей на глаза, и быстро, но не особенно ласково взглянула на Збышку.

– Знаешь, кто это? – спросил Зых.

– Не знаю.

– Не диво, что ты его не узнала: вырос он. Но может быть, ты старого Мацьку из Богданца узнаешь?

– Боже ты мой! Это Мацько из Богданца! – воскликнула Ягенка. И, подойдя к телеге, она поцеловала у Мацьки руку.

– Так это вы?

– Я. Только на телеге, потому что немцы меня подстрелили.

– Какие немцы? Ведь с татарами война была? Я это знаю: довольно я тятку просила, чтобы он и меня с собой взял.

– Война была с татарами, да мы на ней не были, потому что мы перед этим на Литве воевали, и я и Збышко.

– А где же Збышко?

– Так ты не узнала, что это Збышко? – смеясь сказал Мацько.

– Это Збышко? – воскликнула девушка, снова смотря на молодого рыцаря.

– А то как же?

– Поцелуй же его, по крайней мере, – весело вскричал Зых.

Ягенка быстро обернулась к Збышке, но вдруг отступила назад и, закрыв глаза рукой, сказала:

– Мне стыдно...

– Да ведь мы с детства знакомы, – сказал Збышко.

– Еще бы, хорошо знакомы. Помню я, помню. Лет восемь тому назад приехали вы с Мацькой к нам, а покойница-матушка принесла нам орехов с медом. А вы, как только старшие вышли из комнаты, сейчас же мне кулаком в нос, а орехи все сами съели.

– Теперь бы он этого не сделал, – сказал Мацько. – У князя Витольда бывал, в Кракове в замке бывал и обычаи придворные знает.

Но Ягенке пришло в голову другое, и, обратившись к Збышке, она спросила:

– Это вы зубра убили?

– Я.

– Посмотрим, где стрела торчит.

– Не увидите, потому что она вся ушла под лопатку.

– Оставь, не сутяжничай, – сказал Зых. – Мы все видали, как он подстрелил его, да и еще кое-что получше: он лук натянул без веревки.

Ягенка в третий раз взглянула на Збышку, но на этот раз с удивлением.

– Натянули лук без веревки? – спросила она.

Збышко почувствовал в ее голосе что-то вроде недоверия, упер лук в землю, мгновенно натянул его, так что скрипнул железный обруч, а потом, желая показать, что знает придворный обычай, стал на одно колено и подал лук Ягенке.

А девушка, вместо того чтобы взять оружие из его рук, покраснела, сама не зная отчего, и стала застегивать на шее рубашку, расстегнувшуюся от быстрой езды по лесу.

Х

На другой день по приезде в Богданец Мацько и Збышко стали осматривать свое старое пепелище и заметили, что Зых из Згожелиц был прав, когда говорил, что на первых порах натерпятся они от недостатка во всем.

Хозяйство шло сравнительно недурно. Было несколько полей, обработанных прежними крестьянами или теми, которых недавно поселил аббат. Прежде в Богданце возделанной земли бывало гораздо больше, но с тех пор, как в битве под Пловцами род Градов погиб почти без остатка, рабочих рук не стало, а после нападения силезских немцев и войны гжимальтов с наленчами некогда тучные богданецкие нивы по большей части заросли лесом. Один Мацько справиться с хозяйством не мог. Напрасно старался он в течение нескольких лет привлечь свободных крестьян из Кшесни и поселить их на земле, за известный оброк, они предпочитали жить на собственной земле, нежели обрабатывать чужую. Он заманил, однако, нескольких бездомных; в разных войнах взял несколько человек в плен, поженил их, поселил в хатах, – и таким образом деревня начала возрождаться. Но все-таки ему приходилось трудно, и, когда представилась возможность, Мацько немедля заложил весь Богданец, полагая, что, во-первых, богатому аббату легче будет управиться с землей, а во-вторых, что тем временем ему и Збышке война доставит людей и деньги. И в самом деле, аббат хозяйничал хорошо. Рабочую силу Богданца увеличил он пятью крестьянскими семьями, умножил стада скотины и лошадей, а кроме того, построил амбар, плетеный коровник и такую же конюшню. Зато, не живя постоянно в Богданце, он не заботился о доме, – и Мацько, иногда мечтавший, что по возвращении найдет его окруженным рвом и частоколом, застал его все таким же, как оставил, разве только с той разницей, что углы слегка покосились, а стены казались ниже, потому что осели и вросли в землю.

Барский дом состоял из огромных сеней, двух больших комнат с каморками и кухни. В комнатах были окна, затянутые пузырем, а посередине в каждой очаг на глиняном полу; дым выходил через отверстия в потолке. Этот потолок, совершенно черный, в

лучшие времена служил и коптильной: на колышках, вбитых в балки, вешались тогда кабаньи, медвежьи и лосиные окорока, куски оленьего мяса, воловьей спины и целые пучки колбас. Однако теперь в Богданце под потолком было пусто, так же, как и на полках, бегущих вдоль стен; в других домах на таких полках ставились оловянные и глиняные миски. Только стены под полками казались не особенно голыми, потому что Збышко велел людям развешать на них панцири, шлемы, короткие и длинные мечи, рогатины, луки, рыцарские копья, топоры, щиты и конские попоны. Развешанное, таким образом, оружие чернело от дыма, и его приходилось часто чистить, но зато все было под рукой, а кроме того, червь не точил дерева копий, луков и топоров. Дорогие одежды заботливый Мацько велел отнести в каморку, где он спал.

В передних комнатах возле окон стояли столы, сколоченные из сосновых досок, и такие же лавки, на которых господа сидели вместе с челядью во время еды. Людям, за долгие годы войны отвыкшим от каких бы то ни было удобств, нужно было немного, но в Богданце ощущался недостаток в хлебе, муке и разных других запасах, а в особенности в посуде. Мужики принесли, что могли, но Мацько рассчитывал главным образом на то, что, как бывает в таких случаях, на помощь к нему придут соседи, и в самом деле, он не ошибся по крайней мере, поскольку дело касалось Зыха из Згожелиц.

На другой день по приезде старик сидел на колоде перед домом, наслаждаясь прекрасной осенней погодой, как вдруг во двор на том же вороном коне въехала Ягенка. Слуга, коловший у плетня дрова, хотел помочь ей сойти с лошади, но она, мигом соскочив на землю, подошла к Мацьке, слегка задыхаясь от быстрой езды и зарумянившись, как яблочко.

– Слава Господу Богу нашему! Я приехала поклониться вам от тятки и спросить, как здоровье.

– Не хуже, чем было в дороге, – отвечал Мацько, – по крайности, выспался у себя дома.

– Только вам, должно быть, неудобно очень, а за больным уход должен быть.

– Мы люди крепкие. Действительно, поначалу-то удобств нет, да зато нет и голода. Я велел зарезать вола да двух овец, мяса достаточно. Бабы муки принесли да яиц, но этого мало, а что всего хуже – посуды нет.

– Я велела отвезти к вам два воза. На одном едут две постели и посуда, а на другом разная еда. Есть там лепешки с мукой, солонина, сушеные грибы, есть бочонок пива, другой с медом; и вообще всего понемногу, что у нас было.

Мацько, который всегда рад был всякой прибыли, протянул руку, погладил Ягенку по голове и сказал:

– Пошли Господь за это тебе и твоему отцу! Как наладим хозяйство – так и отдадим.

– Да бог с вами! Немцы мы, что ли, чтобы подарки назад отнимать.

– Ну так еще большее спасибо вам. Говорил про тебя отец, какая ты хозяйственная. Ты, значит, целый год всеми Згожелицами правила?

– Ну да... Если вам еще что-нибудь понадобится, так пришлите человека, только

такого, чтобы он знал, чего надо, а то другой раз приедет дурак и не знает, за чем его посылали.

Тут Ягенка стала поглядывать по сторонам, а Мацько, заметив это, улыбнулся и спросил:

– Ты кого ищешь?

– Никого я не ищу.

– Я пришлю к вам Збышко; пусть от меня поблагодарит тебя и Зыха. Понравился тебе Збышко? А?

– А я и не глядела.

– Ну так теперь погляди, вот он идет.

В самом деле, Збышко шел с водопою и, заметив Ягенку, прибавил ходу. Одет он был в лосиную куртку и круглую войлочную шапочку, такую, какие обычно надевались под шлем; волосы его не были подобраны в сетку и, ровно подстриженные над бровями, по бокам золотыми волнами падали на плечи; он шел быстро, высокий, красивый, похожий на пажа из владетельного дома.

Ягенка совсем повернулась к Мацьке, чтобы показать этим, что приехала только к нему, но Збышко весело поздоровался с ней, а потом, взяв ее руку, несмотря на сопротивление девушки, поднес ее к губам.

– Почему ты у меня руку целуешь? – спросила она. – Разве я ксендз?

– Не отнимайте руку. Это такой обычай.

– Надо бы тебе и другую поцеловать за то, что ты привезла, – заметил Мацько, – и то не было бы слишком.

– А что она привезла? – спросил Збышко, оглядывая двор, но не видя ничего, кроме вороного коня, который стоял привязанный к столбу.

– Воза еще не пришли, но придут, – отвечала Ягенка.

Мацько стал перечислять, что она привезла, ничего не пропуская, а когда сказал о двух постелях, Збышко сказал:

– Я и на зубровой шкуре хорошо сплю, но спасибо, что и обо мне подумали.

– Это не я, это тятя... – отвечала, краснея, девушка. – Если вам больше нравится на шкуре, то никто вас не неволит.

– Мне на всем хорошо, на чем придется. Бывало, в поле, после битвы, спал я, положив под голову убитого меченосца.

– А разве вы когда-нибудь убили хоть одного меченосца? Небось нет?

Збышко вместо ответа стал смеяться. А Мацько воскликнул:

– Побойся ты Бога, девушка, видно, ты его не знаешь. Он ничего больше и не делал, а все только меченосцев бил. Он на всем готов драться: на копьях, на топорах, а как увидит издали немца, так хоть на веревке его держи: так рвется в драку. В Кракове он даже посла Лихтенштейна убить хотел, за это ему чуть голову не отрубили. Вот каков парень. И о двух фризах я тебе расскажу, после которых получили мы слуг и такую добычу, что за половину ее можно бы Богданеи выкупить.

Тут Мацько принялся рассказывать о поединке с фризами, а потом о других приключениях, которые с ними случились, и о подвигах, совершенных ими. Дрались они и из-за стен, и в чистом поле, дрались со славнейшими рыцарями, какие только живут в чужих странах. Били немцев, били французов, били англичан и бургундцев. Бывали они в таких битвах, что лошади, люди, оружие, немцы и перья – все мешалось в один клубок. И чего только они при этом не видели. Видели замки меченосцев из красного кирпича, литовские деревянные крепостцы, церкви, каких нет возле Богданца, и города, и непроходимые чащи, в которых по ночам стонали выгнанные из храмов литовские божки, и разные чудеса; и везде, где дело доходило до битвы, Збышко шел впереди, так что дивились ему славнейшие рыцари.

Ягенка, присев на колоде возле Мацьки, внимательно слушала эти рассказы, поворачивая голову, точно она была у нее на винтах, то в сторону Мацьки, то в сторону Збышки и смотря на молодого рыцаря все с большим удивлением. Наконец, когда Мацько кончил, она вздохнула и сказала:

– Хорошо бы было родиться мальчиком.

Но Збышко, который во время рассказа так же внимательно присматривался к ней, думал при этом, видимо, совсем о другом, потому что неожиданно сказал:

– А вы тоже красивая девушка.

Но Ягенка ответила, не то с досадой, не то с огорчением:

– Вы видели и красивее меня...

Однако Збышко мог без лжи ответить ей, что много таких не видел, потому что Ягенка блистала здоровьем, молодостью и силой. Старик аббат не попусту говорил про нее, что она похожа и на калину, и на сосенку. Все в ней было прекрасно: и стройная фигура, и широкие плечи, и грудь, точно каменная, и красные губы, и голубые глаза. Одета она была старательнее, чем в тот раз, на охоте в лесу. На шее у нее были красные бусы, на плечах кожух, расстегнутый спереди, крытый зеленым сукном, а снизу самодельная юбка и новые сапожки. Даже старик Мацько заметил этот прекрасный наряд и, поглядев на Ягенку, спросил:

– А что это ты так разрядилась, точно на ярмарку? Но она вместо ответа стала кричать:

– Воза, воза идут...

Когда же воза подъехали, она побежала к ним, а Збышко за ней. Разгрузка продолжалась до захода солнца, к великому удовольствию Мацьки, который разглядывал отдельно каждую вещь и за каждую хвалил Ягенку. Спустились уже сумерки, когда девушка стала собираться домой. Когда она садилась на лошадь, Збышко внезапно обхватил ее, и не успела она выговорить и слова, как он уже поднял ее и посадил на седло. Она покраснела, как заря, и, обернувшись к нему,

сказала слегка задыхающимся голосом:

– Какой вы сильный...

Он же, благодаря сумраку не заметив ее румянца и смущения, засмеялся и спросил:

– А вы не боитесь зверей? Ведь уж ночь?...

– На возу есть копье, подайте мне его.

Збышко подошел к возу, взял копье и передал его Ягенке.

– Будьте здоровы.

– Будьте здоровы.

– Спасибо вам. Я завтра или послезавтра приеду в Згожелицы поклониться Зыху и вам за соседскую ласку.

– Приезжайте. Рады будем.

И тронув коня, она через минуту исчезла в придорожных кустарниках. Збышко вернулся к дяде.

– Пора вам возвращаться в комнату.

Но Мацько ответил, не вставая с колоды:

– Эх, что за девка! Даже на дворе от нее веселее стало.

– Еще бы!

Наступило молчание. Мацько, казалось, о чем-то думал, глядя на восходящие звезды, а потом сказал, словно обращаясь к самому себе:

– И ласковая и хозяйственная, хоть ей не больше пятнадцати лет.

– Да, – сказал Збышко, – старый Зых бережет ее пуще глаза.

– Он говорил, что за ней в приданое пойдут Мочидолы, а там на лугах есть стадо кобыл с жеребятами.

– Говорят, в мочидольских лесах – ужасные болота?...

– Зато в них бобры живут.

И снова наступило молчание. Мацько несколько времени искоса поглядывал на Збышку и наконец спросил:

– Что это ты так задумался? О чем думаешь?

– Да вот... увидел Ягенку, и вспомнилась мне Дануся... даже в сердце у меня что-то заболело.

– Пойдем в комнату, – ответил на это старик. – Поздно уже.

И с трудом поднявшись, он оперся на плечо Збышки, который отвел его в каморку.

Однако Збышко на другой же день поехал в Згожелицы, потому что Мацько на этом очень настаивал. Он также заставил племянника для почета взять с собой двоих слуг и получше одеться, чтобы таким образом почтить Зыха и выразить ему должную благодарность. Збышко уступил и поехал разодетый, как на свадьбу, в том самом отбитом в бою кафтане из белого атласа, обшитом золотой бахромой и украшенном золотыми аграфами. Зых принял его с распростертыми объятиями, с радостью и пением, а Ягенка, войдя в комнату, при виде юноши остановилась на пороге, как вкопанная, и чуть не выронила из рук бутыл с вином: она думала, что приехал какой-нибудь королевич. Она сразу лишилась всякой смелости и сидела молча, лишь время от времени протирая глаза, точно хотела пробудиться от сна. Збышко, которому недоставало житейской опытности, думал, что она по неизвестным причинам недовольна его приездом, и разговаривал только с Зыхом, восхваляя его соседские чувства и дивясь згожелицкому дому, который, действительно, нельзя было и сравнивать с домом в Богданцах.

Всюду здесь был заметен достаток и хозяйственность. В комнатах были окна, закрытые рамами с роговыми пластинками, такими тонкими и отполированными, что они были прозрачны, почти как стекло. Посредине комнат не было очагов, но по углам возвышались огромные каминные трубы. Пол сделан был из сосновых досок, чисто вымытых, на стенах оружие и множество посуды, блиставшей, как солнце, а также полки с рядами прекрасно выточенных ложек, между которыми находились две серебряные. Кое-где висели ковры, добытые на войне или купленные у бродячих торговцев. Под столами лежали огромные рыжие турьи шкуры, а также шкуры зубров и кабанов. Зых охотно показывал свои богатства, то и дело говоря, что всем этим он обязан хозяйственности Ягенки. Он повел Збышку в кладовую, всю пропахнувшую смолой и мятой; там у потолка висели целые связки волчьих, лисьих, куньих и бобровых шкур. Показал он ему сыроварню, склады воска и меда, бочки с мукой, склады сухарей, конопля и сушеных грибов. Наконец он повел его в амбары, коровники, конюшни и хлева, под навесы, где находились телеги, охотничьи принадлежности, сети, и так ослепил Збышку своим богатством, что тот, вернувшись к ужину, не мог не выразить своего восторга.

– Жить в ваших Згожелицах и не умирать, – сказал он.

– В Мочидолах почти что такой же порядок, – ответил Зых. – Помнишь Мочидолы? Ведь это рядом с Богданцем. Предки наши даже спорили из-за границ и вызывали друг друга на бой, да я-то спорить не буду.

Тут он чокнулся со Збышкой кубком меду и спросил:

– Может быть, тебе хочется что-нибудь спеть?

– Нет, – отвечал Збышко, – я вас слушаю с любопытством.

– Згожелицы, видишь ли, достанутся медвежатам. Только бы не погрызлись они когда-нибудь из-за них...

– Какие медвежата?

– Ну мальчишкам, Ягенкиным братьям.

- Ну не придется им лапы зимой сосать.
- Не придется. Но и Ягенка в Мочидолах голодать не будет...
- Еще бы.
- А почему ты не ешь и не пьешь? Ягенка, налей ему и мне.
- Я ем и пью, сколько могу.
- Когда перестанешь мочь, распояшись... Отличный пояс. Должно быть, вы на Литве хорошую добычу взяли?
- Не пожалуемся, – отвечал Збышко, пользуясь случаем показать, что и владельцы Богданца не бедные люди. – Часть добычи мы продали в Кракове и получили сорок гривен серебра...
- Боже ты мой! Да за эти деньги можно деревню купить.
- Были миланские латы; дядя, готовясь к смерти, продал их, а ведь знаете...
- Знаю. Ну, значит, стоит на Литву ходить. Я когда-то хотел, да боялся.
- Чего? Меченосцев?
- Э, кто их станет бояться. Пока не убили, так чего же бояться, а как убьют, так уж для страха времени нет. Боялся я этих самых божков языческих, дьяволов значит. Говорят, в лесах этой нечисти, что муравьев...
- Да где ж им сидеть, коли капища сожгли?... Прежде они богатые были, а теперь одними грибами да муравьями пробавляются.
- Видел ты их?
- Сам я не видел, но слышал, что люди видели... Высунет косматую лапищу из-за дерева да трясет ею, чтобы ему дали что-нибудь.
- То же и Мацько сказывал, – заметила Ягенка.
- Да, он и мне об этом рассказывал по дороге, – прибавил Зых. – Да диво не велико. Ведь и у нас, хоть край наш давно христианский, иногда кто-то в лесах смеется, да и в домах, хоть ксендзы за это бранятся, все-таки лучше оставлять нечисти на ночь миску с едой, а то они так в стены скребутся, что и глаз не сомкнешь... Ягенка... поставь-ка, дочка, на порог миску.

Ягенка взяла глиняную миску, полную клецок с сыром, и поставила ее на пороге, а Зых сказал:

- Ксендзы кричат, бранятся. А ведь у Господа Иисуса Христа от нескольких клецок славы не убудет, а домовой, только бы сыт да доволен был, и от огня и от вора убережет.

И Зых обратился к Збышке:

– Да, может быть, ты бы выспался или спел бы немножко?

– Спойте вы: вам, я вижу, давно хочется... Но, может быть, панна Ягенка споет?

– По очереди петь будем, – воскликнул обрадованный Зых. – Есть у меня мальчик, слуга, он нам на деревянной дудочке подыгрывать будет. Позвать мальчишку.

Позвали; тот сел на скамью и, засунув дудку в рот и растопырив по ней пальцы, стал смотреть на присутствующих, ожидая, кому придется подыгрывать.

Они же стали спорить, потому что никто не хотел быть первым. Наконец Зых велел Ягенке подать пример, и Ягенка, хоть и очень стыдилась Збышки, встала со скамьи, спрятала руки под фартук и начала.

Збышко сначала вытарашил глаза и громко воскликнул:

– А вы откуда умеете это петь? Ягенка посмотрела на него с удивлением:

– Да ведь это все поют... Что с вами?

Зых, полагая, что Збышко подвыпил, повернул к нему радостное лицо и сказал:

– Распояшись. Сразу тебе полегчает.

Но Збышко постоял несколько времени с изменившимся лицом, а затем, поборов волнение, обратился к Ягенке:

– Простите меня. Что-то мне вдруг припомнилось. Пойте дальше.

– А может быть, вам это грустно слушать?

– Э, где там! – дрожащим голосом отвечал он. – Я бы рад слушать это всю ночь.

Сказав это, он сел и, закрыв глаза руками, замолк, чтобы не проронить ни слова из песни.

Ягенка запела второй куплет, но, кончив его, заметила, как по пальцам Збышковой руки катится крупная слеза.

Тогда она быстро подошла к нему и, сев рядом, стала толкать его локтем:

– Ну что с вами? Я не хочу, чтобы вы плакали. Говорите, что с вами?

– Ничего, ничего, – со вздохом ответил Збышко, – долго рассказывать... Что было, то прошло. Мне уже веселей стало.

– А может быть, вы бы выпили еще сладкого вина?

– Хорошая девка! – воскликнул Зых. – Почему вы говорите друг другу "вы"? Говори ему: Збышко, а ты ей – Ягенка. Ведь вы с малых лет друг друга знаете...

Потом он обратился к дочери:

– Что он тебя вздул когда-то – это не беда... Теперь он этого не сделает.

– Не сделаю, – весело сказал Збышко. – Пусть теперь она меня за это побьет, коли хочет.

В ответ на это Ягенка, желая окончательно развеселить Збышку, сложила руку в кулак и со смехом стала делать вид, что бьет его.

– Вот тебе за мой разбитый нос! Вот тебе! Вот тебе!

– Вина! – закричал расходившийся владелец Згожелиц.

Ягенка побежала в кладовую и вскоре вынесла кувшин вина, два красивых кубка с вытисненными серебряными цветами, работы вроцлавских мастеров, и пару сыров, запах которых был слышен издали.

Зыха, немного уже подгулявшего, зрелище это растрогало окончательно; он прижал к себе кувшин и, думая, очевидно, что это Ягенка, заговорил:

– Ох, дочурка ты моя! Ох, сирота горемычная! Что я, несчастный, стану в Згожелицах делать, как отнимут тебя у меня? Что стану делать?...

– А скоро придется ее отдавать! – воскликнул Збышко.

Зых мгновенно перешел от чувствительности к веселью:

– Хе-хе! А девке-то пятнадцать лет, и уж к парням ее тянет... Чуть завидит издали, так и трет коленом об колено...

– Тятя, я к себе пойду, – сказала Ягенка.

– Не уходи, с тобой хорошо...

И Зых стал таинственно подмигивать Збышке.

– Двое их сюда заезжало: один – молодой Вильк, сын старого Вилька из Бжозовой, а другой – Чтан [11] из Рогова. Кабы они тебя тут застали, сейчас же стали бы на тебя зубами лязгать, как друг на друга лязгали.

– Эвона! – сказал Збышко.

Потом он обратился к Ягенке и, говоря ей, по указанию Зыха, "ты", спросил:

– А тебе кто больше нравится?

– Никто.

– Вильк [12] крепкий парень, – заметил Зых.

– Пускай себе в другом месте воеет.

– А Чтан?

Ягенка стала смеяться.

– Чтан, – сказала она, обращаясь к Збышке, – весь волосами зарос, точно козел, так что и глаз не видно, а сала на нем – как на медведе.

Збышко, словно что-то припомнил, хлопнул себя по лбу и сказал:

– Да, если уж вы такие добрые, так я вас еще об одной вещи попрошу: нет ли у вас медвежьего сала? Дяде для лечения нужно, а в Богданце я не могу добиться.

– Было, – сказала Ягенка, – да мальчики на двор вынесли луки смазывать, а собаки все дочиста съели... Вот жалость-то!

– Ничего не осталось?

– Дочиста съели.

– Ишь ты! Значит, ничего больше не остается, как в лесу поискать.

– Устройте облаву, медведей много, а если вам охотничье оружие нужно, мы дадим.

– Где мне ждать. Поеду на ночь к ульям.

– Возьмите с собой человек пять. У нас есть мужики.

– Я с мужиками не пойду: еще зверя спугнут.

– Так как же? С луком пойдете?

– Да что же я с луком в лесу, да еще в темноте, стану делать? Ведь месяц теперь не светит. Возьму вилы, хороший топор, да и пойду завтра один.

Ягенка помолчала, потом на лице ее отразилось беспокойство.

– В прошлом году, – сказала она, – пошел от нас охотник Бездух, а медведь его разорвал. Это дело опасное, потому что он как увидит ночью человека, а особенно возле ульев, сейчас на задние лапы становится.

– Коли он убежать станет, так его и не догонишь, – ответил Збышко. Между тем задремавший было Зых проснулся и начал петь. А потом обратился к Збышке:

– Знаешь, их двое: Вильк из Бжозовой и Чтан из Рогова... А ты...

Но Ягенка, боясь, как бы Зых не сказал чего лишнего, быстро подошла к Збышке и стала расспрашивать:

– А когда ты пойдешь? Завтра?

– Завтра, после захода солнца.

– А к каким ульям?

– К нашим, к богданецким, недалеко от нашей границы, возле Радзи-ковского болота. Говорили мне, что там медведей сколько хочешь.

XI

Збышко, как и намерен был, отправился на медведя, потому что Мацько чувствовал себя все хуже. Сперва поддерживала его радость и домашние хлопоты, но на третий день лихорадка и боль в боку вернулись к нему с такой силой, что он вынужден был лечь. Збышко отправился сперва днем, осмотрел ульи, заметил поблизости на болоте огромный след и разговорился с бортником Ваврком, который по ночам спал тут же, в шалаше, с парой злых подгальских овчарок, но вынужден был переселиться в деревню из-за осенних холодов.

Вдвоем раскидали они шалаш, взяли собак, кое-где слегка обмазали медом стволы, чтобы запах его привлек зверя, а потом Збышко вернулся домой и стал готовиться к охоте. Для теплоты оделся он в кафтан из лосиной кожи, без рукавов; на голову натянул чепец из железной проволоки, чтобы медведь не мог содрать ему кожу с головы, взял хорошо окованную рогатину и широкий стальной топор с дубовым топорщиком, не таким коротким, какие употребляются плотниками. Под вечер он был уже у цели и, выбрав себе удобное место, перекрестился, сел и стал ждать.

Красные лучи заходящего солнца просвечивали сквозь ветви сосен. На верхушках, каркая и хлопя крыльями, прыгали вороны; кое-где, шелестя травой и опавшими листьями, пробирались к воде зайцы; иногда мелькала проворная куница. В чаще, мало-помалу стихая, раздавался еще щебет птиц.

В лесу на закате не все еще успокоилось. На некотором расстоянии от Збышки с ревом и хрюканьем прошло стадо кабанов, потом длинной вереницей пробежали лоси, положив головы один другому на хвост. Сухие ветви трещали под их копытами, весь лес гудел, а они, озаренные красным светом солнца, бежали к болоту, где ночью им было удобно и безопасно. Наконец в небесах запылала заря, от которой верхушки сосен, казалось, пылали огнем, и все стало постепенно успокаиваться. Лес запылал. Мрак подымался от земли вверх, к сверкающей заре, да и та под конец стала бледнеть, темнеть и гаснуть.

"Теперь будет тихо, пока не завоят волки", – подумал Збышко.

Однако он жалел, что не взял лука, потому что легко мог бы убить кабана или лося. Между тем с болота еще несколько времени доносились какие-то глухие звуки, похожие на тяжелые стоны и посвистывание. Збышко поглядывал в сторону этого болота с некоторой тревогой, потому что мужик Радик, некогда живший здесь в землянке, однажды исчез со всей семьей, точно сквозь землю провалился. Некоторые говорили, что их похитили разбойники, но были люди, которые впоследствии видели около землянки какие-то странные следы, не то человеческие, не то звериные; люди эти многозначительно покачивали головами и даже думали, не позвать ли из Кшесни ксендза, чтобы он освятил эту землянку. Но до этого дело не дошло, потому что не нашлось никого, кто бы захотел жить там, и землянку мало-помалу размыли дожди; однако место это не пользовалось с тех пор доброй славой. Правда, на это не обращал внимания бортник Ваврек, летом ночевавший здесь в шалаше, но о самом Ваврке всякое говорили. Збышко, у которого была рогатина и топор, не боялся диких зверей, но с некоторой тревогой думал о нечистой силе и потому обрадовался, когда этот шум замолк.

Погасли последние отблески зари, и настала совершенная ночь. Ветер прекратился, не было даже обычного шума в верхушках сосен. Иногда где-нибудь падала шишка, издавая среди молчания сильный и отчетливый звук, но все-таки было так тихо, что Збышко слышал собственное дыхание.

Так просидел он долго, думая сперва о медведе, который мог прийти, а потом о Данусе, которая ехала с мазовецким двором в дальние страны. Он вспомнил, как в минуту прощания с княгиней схватил Данусю на руки и как слезы ее катились у него по щекам, вспомнил ее лицо, белокурую головку, ее веночки и песни, ее красные башмаки с длинными носками, которые целовал он перед отъездом, и все, что произошло с минуты их первого знакомства; и охватила его такая печаль, что ее нет поблизости, и такая тоска по Данусе, что он весь ушел в эту тоску, забыл, что находится в лесу, что поджидает зверя, и стал говорить самому себе:

"Пойду я к тебе, потому что без тебя мне не жизнь".

И он чувствовал, что это так и что ему надо ехать в Мазовию, потому что иначе он в Богданце зачахнет. Вспомнился ему Юранд и его странное упорство, но он подумал, что тем более ему надо ехать, чтобы узнать, что это за тайна, что за препятствия, и не может ли какой-нибудь вызов на смертный бой устранить эти препятствия. Наконец ему показалось, что сама Дануся простирает к нему руки и зовет: "Здравствуй, Збышко, здравствуй". Как же ему не идти к ней?

И он не спал, но видел ее так явственно, точно это было видение или сон. Вот едет теперь Дануся, сидя рядом с княгиней, играет на маленькой лютне и напевает, а думает о нем. Думает, что вскоре увидит его, а может быть, и оглядывается назад, не скачет ли он за ними, а он в это время сидит в темном бору.

Тут Збышко очнулся – и очнулся не только потому, что вспомнил про темный бор, но и по той причине, что вдали за спиной у него раздался какой-то шорох.

Тогда он крепче сжал в руках рогатину, наострил уши и стал прислушиваться.

Шорох приближался и через несколько времени стал совершенно отчетлив. Под чьей-то осторожной ногой хрустели сухие ветки, шуршала опавшая листва и трава... Кто-то шел.

Иногда шелест прекращался, точно зверь останавливался у деревьев, и тогда наступала такая тишина, что у Збышки начинало звенеть в ушах, а потом снова слышались медленные и осторожные шаги. Вообще в этом приближении было что-то такое осторожное, что Збышку охватило удивление.

"Должно быть, "Старик" собак боится, которые были здесь у шалаша, – сказал он себе, – а может быть, это волк, который меня почуял".

Между тем шаги затихли. Однако Збышко отчетливо слышал, что кто-то остановился шагах в двадцати или тридцати от него и как бы присел. Он оглянулся раз и другой, но хотя стволы довольно отчетливо вырисовывались во мраке, он ничего не мог разглядеть. Нечего было делать, как только выждать.

И он ждал так долго, что удивление охватило его во второй раз.

– Не придет же медведь спать возле ульев, а волк меня бы уже почуял и тоже не стал бы ждать утра.

И вдруг по телу его с ног до головы пробежали мурашки.

А ну как какая-нибудь "дрянь" вылезла из болота и заходит сзади него? А ну как внезапно схватят его скользкие руки утопленника или заглянут ему в лицо зеленые

глаза упыря? Ну как расхохочется кто-то позади него страшным смехом или из-за сосны вылезет синяя голова на паучьих лапах?

И он почувствовал, что волосы под железным чепцом начинают у него вставать дыбом.

Но через минуту шелест послышался впереди него – и на этот раз еще отчетливее, чем прежде. Збышко вздохнул с некоторым облегчением. Правда, он допускал, что то же самое привидение обошло кругом него и теперь приближается спереди. Но это он предпочитал. Он половчее схватил рогатину, тихонько поднялся и стал ждать.

Вдруг над головой он услышал шум сосен, на лице почувствовал сильное дуновение, идущее со стороны болота, и в то же время до его ноздрей донесся запах медведей.

Теперь не было никакого сомнения: шел медведь.

Збышко в одно мгновение перестал бояться и, наклонив голову, напряг зрение и слух. Шаги приближались, тяжелые, явственные, запах делался все острее; вскоре послышалось сопение и ворчание.

"Только бы не два шли", – подумал Збышко.

Но в ту же минуту он увидел перед собой большую и темную фигуру зверя, который, идя по ветру, до последней минуты не мог его почуять, тем более что его занимал запах намазанного на стволы меда.

– Здравствуй, дедушка! – воскликнул Збышко, выходя из-под сосны.

Медведь отрывисто рявкнул, как бы испуганный неожиданным явлением, но он находился уже слишком близко, чтобы ему можно было спастись бегством; поэтому он мгновенно поднялся на задние лапы и раскинул передние, точно собираясь обнять кого-то. Этого-то и ждал Збышко: он напряг все силы, как молния подскочил к зверю и всей силой могучих рук и собственной тяжести воткнул рогатину в грудь медведя.

Весь бор задрожал от страшного рева. Медведь схватил лапами рогатину, желая ее вырвать, но на концах рогатины были крючки, и, почувствовав боль, зверь взревел еще страшнее. Чтобы достать Збышку, он налег на рогатину и загнал ее в себя еще глубже. Збышко, не зная, достаточно ли глубоко вошли острия, не выпускал рукояти. Человек и зверь стали бороться. Бор Дрожал от рева, в котором звучали ярость и отчаяние.

Збышко не мог взять топор, не воткнув предварительно другого заостренного конца рогатины в землю, а медведь, ухватившись лапами за рукоять, раскачивал ее и Збышку во все стороны, точно понимал, в чем тут дело, и, несмотря на боль, которую причиняло ему каждое движение глубоко вошедших в него концов рогатины, не давал себя "подпереть". Страшная борьба продолжалась, и Збышко понял, что силы его, в конце концов, иссякнут. Он мог также и упасть и тогда погиб бы; поэтому он напряг все силы, расставил ноги, согнулся, как лук, чтобы не перекувыркнуться навзничь, и стал повторять сквозь стиснутые зубы:

– Либо моя смерть, либо твоя...

И наконец охватил его такой гнев, такая ярость, что в самом деле он предпочел бы

теперь сам погибнуть, нежели упустить зверя. Наконец, задев ногой о корень сосны, он покачнулся и упал бы, если бы не то, что в этот миг рядом с ним очутилась какая-то темная фигура; вторая рогатина "подперла" зверя, и в то же время чей-то голос внезапно воскликнул над ухом Збышки:

– Топором...

Збышко, увлеченный борьбой, ни на минуту не задумался о том, откуда пришла к нему неожиданная помощь, а тотчас же выхватил топор и ударил со страшной силой. Теперь рогатина хряснула, сломанная тяжестью и предсмертной судорогой зверя. Точно громом пораженный, повалился он на землю и захрипел. Но тотчас же перестал. Настала тишина, нарушаемая только громким дыханием Збышки, который прислонился к сосне, потому что ноги его шатались. Только через некоторое время он поднял голову, взглянул на стоящую возле него фигуру и испугался, думая, что это, быть может, не человек.

– Кто здесь? – спросил он с тревогой.

– Ягенка, – ответил высокий женский голос.

Збышко так и онемел от изумления, не веря собственным глазам. Но сомнения его продолжались недолго, потому что голос Ягенки раздался снова:

– Я добуду огня...

И тотчас раздался удар огнива о камень; посыпались искры, и в их дрожащем свете Збышко увидел белое лицо, черные брови и вытянутые губы девушки, раздувавшей огонь в затлевшем труте. Только тогда подумал он, что она пришла в этот лес, чтобы помочь ему, что без ее рогатины могло быть плохо – и почувствовал к ней такую признательность, что, не раздумывая долго, обнял ее и поцеловал в обе щеки.

А у нее трут и огниво вывалились из рук.

– Оставь. Что ты? – стала она повторять сдавленным голосом, но в то же время не отстраняла лица от него, а даже, напротив, как бы случайно, коснулась губами губ Збышки.

Он же выпустил ее и сказал:

– Спасибо тебе. Не знаю, что без тебя случилось бы.

А Ягенка, наклонившись во тьме, чтобы найти огниво и трут, заговорила:

– Я боялась за тебя, потому что Бездух тоже пошел с рогатиной и топором – и медведь его разорвал. Упаси, Господи, Мацько огорчился бы, а ведь он и так еле дышит... Ну вот взяла я рогатину и пошла.

– Так это ты за соснами пряталась?

– Я.

– А я думал, что это нечисть.

– Страшно и мне было, потому что тут, возле Радзиковского болота, по ночам без огня не хорошо.

– Отчего же ты не окликнула меня?

– Боялась, что ты меня прогонишь.

И сказав это, она снова начала высекать искры, а потом положила на трут пучок сухой конопки, которая миглом вспыхнула ярким пламенем.

– Собери-ка поскорей сухих веток: будет у нас огонь.

И вскоре запылал веселый костер, свет которого озарил огромное бурое тело медведя, лежащего в луже крови.

– Здоровая тварь, – с некоторой хвастливостью заметил Збышко.

– А голова-то – совсем расколота. Иисусе Христе!

Сказав это, Ягенка нагнулась и запустила руку в медвежью шерсть, чтобы убедиться, много ли в медведе сала, а потом поднялась с веселым лицом.

– Сала будет года на два.

– А рогатина сломана. Смотри.

– В том-то и беда: что я дома скажу?

– А что?

– Отец не пустил бы меня в лес, пришлось мне ждать, когда все спать лягут.

И она прибавила, помолчав:

– И ты не говори, что я здесь была, а то надо мной смеяться станут.

– Но я провожу тебя до дому, а то еще волки на тебя нападут, а рогатины у тебя нет.

– Ну хорошо.

Так разговаривали они некоторое время при веселом свете костра, над трупом медведя, оба похожие на каких-то молодых лесных жителей.

Збышко посмотрел на красивое лицо Ягенки, озаренное блеском пламени, и сказал с невольным удивлением:

– А только другой такой девушки, как ты, должно быть на свете нет. Тебе бы на войну ходить.

А она быстро взглянула ему в глаза и ответила почти грустно:

– Я знаю... только ты надо мной не смейся.

XII

Ягенка сама натопила большой горшок медвежьего сала, первую квартиру которого Мацько выпил охотно, потому что оно было свежее, не подгорело и пахло дягилем, которого Ягенка, зная толк в лекарствах, в меру положила в горшок. Ободрился теперь Мацько духом и надеялся, что выздоровеет.

– Вот этого мне и надо было, – говорил он. – Как смажется все во мне салом, так, может быть, и окаянное острие это откуда-нибудь вылезет.

Однако следующие квартиры уже не так ему нравились, как первая, но он пил из благоразумия. Ягенка с своей стороны ободряла его, говоря:

– Будете здоровы. У Билюда из Острога звенья кольчуги глубоко вошли в мясо под шейю, а от сала все вышли наружу. Только когда рана раскроется, надо ее затыкать бобровым жиром.

– А есть у тебя?

– Есть. А если свежего понадобится, так мы со Збышкой пойдем к норам. Бобр сколько хочешь. Да не помешало бы также, чтобы вы что-нибудь какому-нибудь святому пообещали, такому, который помогает от ран.

– Мне уж это в голову приходило, только я хорошенько не знаю, которому. Святой Георгий – покровитель рыцарей: он бережет воина от несчастья и придает ему мужества, когда надо, а говорят, что часто сам становится на сторону справедливых и помогает бить неугодных Господу. Да такой, который сам рад колотить, редко рад бывает лечить; тут должен быть другой святой, которому уж он не станет мешать. У каждого святого на небе свое дело и свое хозяйство, это все знают. И в чужие дела они никогда не мешаются, потому что из этого могут несогласия выйти, а святым на небе не пристало ссориться либо драться... Есть Козьма и Дамиан, тоже великие святые, которым лекари молятся, чтобы болезни на свете не переводились, а то им есть будет нечего. Есть святая Аполлония, эта против зубов, и святой Либорий – от каменной болезни, да все это не то. Вот приедет аббат – он мне скажет, к кому мне обращаться, ведь и не всякий священник все тайны Господни знает, и не всякий в таких делах смыслит, хоть у него и выбрита голова.

– А что, если бы вам самому Господу Иисусу Христу обет дать?

– Он, известное дело, всех выше. Но ведь это все равно, что если бы твой отец побил моего мужика, а я бы в Краков самому королю жаловаться поехал. Что бы король мне сказал? Он сказал бы так: "Я над всем королевством хозяин, а ты ко мне со своим мужиком пристаешь. Суда, что ли, нет? Не можешь ты пойти в город, к моему каштеляну?" Господь Иисус хозяин над всем светом, – понимаешь? – а для мелких дел у него есть святые.

– Так я вам скажу, – объявил Збышко, пришедший к концу разговора, – дайте обет покойнице-королеве нашей, что если она вам поможет, то вы совершите паломничество в Краков, к ее гробу. Разве мало чудес совершилось там на наших глазах? К чему чужих святых искать, когда есть своя, да еще лучше других?

– Эх, кабы я знал наверное, что она от ран.

– Да хоть бы и не от ран. Никакой святой не посмеет на нее ворчать, а если

заворчит, так ему же от Господа попадет, потому что ведь это не какая-нибудь пряжа, а королева польская...

– Которая последнюю языческую страну обратила в христианство. Это ты умно сказал, – отвечал Мацько. – Высоко, должно быть, сидит она на Божьем вече, и не всякий святой сможет с ней потягаться. Ей-богу, так я и сделаю, как ты советуешь.

Совет этот понравился и Ягенке, которая не могла устоять против удивления перед умом Збышки, а Мацько торжественно дал обет в тот же вечер и с этих пор с еще большей охотой пил медвежье сало, со дня на день поджидая верного выздоровления. Однако спустя неделю он стал терять надежду. Говорил, что сало "кипит" у него в животе, а на коже, возле последнего ребра, что-то у него растет, словно шишка. Через десять дней стало еще хуже: шишка выросла и покраснела, а сам Мацько очень ослаб, и когда началась лихорадка, начал опять готовиться к смерти.

Но однажды ночью он вдруг разбудил Збышку.

– Зажги-ка скорей лучину, – сказал он, – что-то со мной делается, да не знаю, хорошее или плохое.

Збышко вскочил и, не высекая огня, раздул уголья в очаге в соседней комнате, зажег от них смолистую щепку и вернулся.

– Что с вами?

– Что со мной? Что-то у меня сквозь шишку лезет, должно быть, наконечник. Я его держу, да выковырять не могу, только чувствую, как он у меня под ногтями скрипит...

– Наконечник. Больше быть нечему. Возьмите покрепче да тащите.

Мацько стал извиваться и шипеть от боли, но засовывал пальцы все глубже, пока не схватил хорошенько твердый предмет, а потом рванул и вытащил его.

– Ох! Иисусе Христе!

– Есть? – спросил Збышко.

– Есть. Даже в холодный пот меня ударило. Зато вот он, гляди.

Сказав это, Мацько показал Збышке продолговатый острый осколок, отскочивший от плохо скованного наконечника стрелы и несколько месяцев сидевший в его теле.

– Слава богу и королеве Ядвиге! Теперь вы будете здоровы.

– Может быть, мне и легче стало, да уж очень больно, – сказал Мацько, выжимая шишку, из которой обильно потекла кровь, смешанная с гноем. – Коли будет настолько меньше во мне этой дряни, так должна же пройти болезнь. Ягенка говорила, что теперь надо будет затыкать бобровым жиром.

– Завтра же утром отправимся за бобром.

Но Мацьку на другой же день стало заметно лучше. Он спал до позднего часа, а

проснувшись, стал требовать еды. На медвежье сало он уже не мог смотреть, но зато положили ему в миску двадцать яиц, потому что больше Ягенка не дала из осторожности. Мацько жадно съел их с половиной каравая и запил пивом, а потом стал кричать, чтобы к нему привели Зыха, потому что ему стало весело.

Збышко послал одного из своих турок, подаренных Завишей, за Зыхом, который сел на коня и приехал после полудня, в ту самую минуту, когда молодежь собиралась к Одстайному озеру за бобрами. Сперва было вдоволь смеху, шуток и песен за бутылкой меда, а потом старики принялись разговаривать о детях и расхваливать каждый своего.

– Что за парень Збышко! – говорил Мацько. – Другого такого на свете нет. И храбрый, и быстрый, как рысь, и ловкий. Знаете, когда его вели в Кракове на казнь, так девки в окнах визжали, словно их кто сзади шилом колот, да еще какие девки: рыцарей да каштелянов дочери, уж я и не говорю о всяких красавицах из мещанок.

– Да пускай они будут и каштелянские и красавицы, а все-таки не лучше моей Ягенки, – отвечал Зых из Згожелиц.

– Да разве я вам говорю, что лучше? Милее Ягенки девушки не найти.

– Я тоже про Збышку ничего не говорю: лук без веревки натягивает...

– И медведя один подпереть сумеет. Видали, как он его хватил? Всю голову снес да лапу.

– Голову снес, а подпер не один: Ягенка ему помогла.

– Помогла?... Он ничего мне не говорил.

– Потому что ей обещал... Ведь стыдно девке по ночам в лес ходить. Мне она сейчас же сказала, как дело было. Другие лгать любят, а она правды скрывать не станет... По правде сказать, я не был рад, потому что кто знает... Хотел на нее накричать, а она мне так говорит: "Коли я сама веночка не сберегу, так и вы, тятя, не уберезете, но не бойтесь: Збышко знает, что такое рыцарская честь".

– Еще бы. Ведь и нынче одни пошли.

– Но к вечеру вернутся. Ночью дьявол всего темнее – и стыдиться девке Не надо: темно.

Мацько с минуту подумал, а потом сказал, словно самому себе:

– А все-таки им хорошо друг с другом...

– Эх, кабы он не дал клятвы другой!

– Это, как вы сами знаете, рыцарский обычай... Если у кого из молодежи нет своей дамы, так другие его простаком считают... Поклялся он достать павлиньи перья и должен достать их, потому что поклялся рыцарской честью; Лихтенштейна тоже должен поймать, но от других клятв аббат может разрешить его.

– Аббат приедет не нынче завтра...

– Вы думаете? – спросил Мацько и продолжал: – Впрочем, какая там клятва, коли Юранд прямо ему сказал, что девку за него не отдаст. Другому ли он обещал ее, Богу ли посвятить поклялся – этого я не знаю, но он прямо сказал, что не отдаст...

– Я вам говорил, – спросил Зых, – что аббат так любит Ягенку, точно она ему дочь родная? В последний раз он ей так сказал: "Родные у меня есть только по женской линии, но из имущества моего тебе достанется больше, чем им".

Тут Мацько тревожно и даже подозрительно взглянул на Зыха и ответил не сразу:

– Ну ведь не захотите же вы нашей обиды...

– За Ягенкой пойдут Мочидолы, – уклончиво отвечал Зых.

– Как только замуж выйдет?

– Как только выйдет. Другим я бы не стал потакать, а ей согласен.

– Богданец и так наполовину Збышков, а ежели даст мне Господь здоровья, так я все здесь приведу в порядок. Вам-то нравится Збышко?

Зых заморгал глазами и сказал:

– Плохо то, что Ягенка, чуть кто про него заговорит, сейчас же к стене отворачивается.

– А когда про других?

– А когда про других, только фыркнет да скажет: "Чего там".

– Ну так видите. Бог даст, с такой девушкой Збышко забудет про ту. Я старик, а и то забыл бы... Выпейте-ка меду.

– Выпью.

– Ну и аббат! Умный человек. Бывают, знаете, между аббатами люди совсем светские, а этот хоть и не сидит между монахами, а все-таки ксендз; а ксендз всегда лучше обыкновенного человека придумает, потому что и грамоте знает, и с Духом Святым в близких отношениях. А что вы девке сейчас же хотите Мочидолы отдать – это хорошо. Я тоже, если пошлет Бог здоровья, сманю у Вилька из Бжозовой мужиков сколько смогу. По жребию дам каждому хорошей земли, потому что в Богданце хорошей земли сколько хочешь. Разве этого нельзя? Со временем и городок в Богданце построю, хорошенький замок дубовый, а крутом – ров... Пусть себе теперь Збышко с Ягенкой на охоту ходят. Я думаю, что и снегу не долго ждать... Привыкнут они друг к другу – мальчик и забудет про ту. Пусть себе ходят. Что там долго толковать. Отдали бы вы за него Ягенку или нет?

– Отдал бы. Ведь уж мы давно порешили, чтобы Мочидолы и Богданец достались нашим внукам.

– Грады! – радостно вскричал Мацько. – Даст Бог, посыплются они градом. Аббат будет у нас крестить их.

– Только бы поспевал, – весело воскликнул Зых. – А давно я не видал вас таким веселым.

– На душе у меня хорошо... Наконечник вылез, а насчет Збышки – так вы за него не бойтесь. Вчера, когда Ягенка на коня садилась... того... ветер дул... Спрашиваю я тогда Збышку: "Видел?" – а он сразу и разомлел. И то я понял, что сначала они мало друг с другом говорили, а теперь, когда вместе ходят, так то и дело шею друг к другу поворачивают и все толкуют... толкуют... Выпей-ка еще.

– Выпью...

– За здоровье Збышки и Ягенки!

XIII

Старик Мацько не ошибался, говоря, что Збышко и Ягенка охотно проводят время друг с другом и что они даже скучают, когда расстаются. Ягенка под предлогом ухаживания за больным Мацькой часто приезжала в Богданец, то с отцом, то одна, а Збышко хотя бы из вежливости должен был время от времени ездить в Згожелицы, поэтому с течением времени создались между ними близкие и дружеские отношения. Они привязались друг к другу и охотно "толковали" обо всем, что могло занимать их. В этой дружбе была доля взаимного восхищения, потому что молодой и красивый Збышко, успевший уже прославиться на войне и принимавший участие в турнирах, в сравнении с каким-нибудь Чтаном из Рогова или Вильком из Бжозовой, казался настоящим придворным рыцарем и чуть ли не королевичем, а его порой приводила в восторг красота девушки. Он был в мыслях верен своей Данусе, но иногда, внезапно взглянув на Ягенку, дома или в лесу, говорил себе: "Эх, что за лань!" Когда же, обхватив ее, он сажал девушку на коня и чувствовал под рукой ее крепкое, словно из камня вытесанное тело, то его даже охватывало волнение, и, как говорил Мацько, "он млел". И в то же время что-то пробегало по его телу и туманило, точно сон.

Ягенка, по натуре гордая, охотница высмеивать и даже задевать, становилась с ним все смиреннее, точно служанка, то и дело смотрящая в глаза: чем бы услужить и угодить; он же понимал эту привязанность, был за нее благодарен, и ему все приятнее становилось проводить время с девушкой. В конце концов, особенно с того времени, как Мацько стал пить медвежье сало, они виделись почти ежедневно, а когда осколок стрелы вылез из раны, – они отправились вместе за бобрами, за свежим жиром, очень полезным для заживления.

Они взяли луки, сели на лошадей и поехали сперва в Мочидолы, которые со временем должны были стать приданым Ягенки, а потом к лесу, где отдали лошадей слуге, а сами пошли дальше пешком, потому что проехать через чащи и болота было трудно. По дороге Ягенка указала на синюю полосу леса, тянущуюся за большим лугом, и сказала:

– Это леса Чтана из Рогова.

– Который хочет на тебе жениться?

Она засмеялась:

– Женился бы, кабы я за него пошла.

– Ну, от него ты легко защитишься, если у тебя есть Вильк: он, я слышал от

Чтана, зубы скалит. И чудно мне, что они еще не вызвали друг друга на поединок.

– Тятя, уезжая на войну, сказал им: "Если подеретесь, то ни одного из вас не хочу в глаза видеть". Что ж им было делать? В Згожелицах они друг на Друга рычат, а потом вместе пьют на постоялом дворе в Кшесне, покуда под лавку не свалятся.

– Глупые парни.

– Почему?

– Потому что, когда Зыха не было дома, не тот, так другой должен был подступить к Згожелицам и взять тебя силой. Что бы стал делать Зых, если бы, вернувшись, нашел тебя с ребенком на руках?

Синие глаза Ягенки сразу засверкали:

– Так ты думаешь, что я бы далась? Что ж, разве в Згожелицах людей нет и разве я не сумею схватить копьё или лук? Пусть бы они попробовали. Я бы любого выгнала из дому да еще сама напала бы на Рогов или на Бжозовую. Тятя знал, что может спокойно идти на войну.

И говоря это, она наморщила свои прекрасные брови и так грозно потрясала луком, что Збышко даже засмеялся и сказал:

– Ну, быть бы тебе рыцарем, а не девушкой. А она, успокоившись, отвечала:

– Чтан стерег меня от Вилька, а Вильк от Чтана. Да кроме того, я была у аббата под защитой, а с аббатом лучше не ссориться...

– Ишь ты, – сказал Збышко, – все здесь аббата боятся. А я, клянусь святым Георгием, что говорю правду, не побоялся бы ни аббата, ни Зыха, ни згожелицких мужиков, ни тебя, а тебя взял бы...

Услышав эти слова, Ягенка остановилась и, подняв глаза на Збышку, спросила каким-то странным, мягким и ласковым голосом:

– Взял бы?

Губы ее полураскрылись, и румяная, как заря, она стала ждать ответа. Но он, по-видимому, думал только о том, что он сделал бы на месте Чтана или Вилька, потому что покачал белокурой головой и продолжал:

– Что девке с парнями воевать, коли ей надо замуж идти? Ведь если не подвернется третий, так придется тебе выбрать одного из них, потому что как же иначе?

– Ты мне этого не говори, – грустно ответила девушка.

– Почему? Я давно здесь не был и не знаю, есть ли поблизости от Згожелиц кто-нибудь третий, кто бы тебе больше нравился...

– Эх, – отвечала Ягенка, – оставь ты меня!

И они молча пошли дальше, пробираясь через чащу, тем более непроходимую, что

кусты и деревья покрыты были диким хмелем. Збышко шел впереди, разрывая зеленые заросли и кое-где ломая ветви, а Ягенка не отставала от него, с луком за плечами, похожая на богиню охоты.

– За этой чащей, – сказала она, – будет глубокий ручей, но я знаю, где есть брод.

И в самом деле, скоро они подошли к ручью. Ягенка, хорошо знавшая Мочидольские леса, легко отыскала брод, но оказалось, что речонка несколько прибыла от дождей и что вода довольно глубока. Тогда Збышко, не спрашивая, схватил девушку на руки.

– Я бы и так перешла, – сказала Ягенка.

– Держись за шею, – отвечал Збышко.

И он медленно пошел через разлившийся ручей, на каждом шагу щупая ногой, как бы не попасть в глубокое место, а девушка, как он велел, прижалась к нему и, наконец, когда они находились уже недалеко от другого берега, сказала:

– Збышко!

– Что?

– Я не пойду ни за Чтана, ни за Вилька.

Между тем он донес ее, осторожно спустил на землю и отвечал, немного взволнованный:

– Ну, пошли тебе Бог самого лучшего! Не плохо и ему будет.

До Одстайного озера было уже недалеко. Ягенка, идя теперь впереди, иногда оборачивалась и, прикладывая палец к губам, приказывала Збышке молчать. Они шли между кустами лозин и серых верб, по сырой и топкой земле. Справа доносилось до них пение птиц, чему Збышко удивлялся, потому что была уже пора отлета.

– Там утки зимуют, – прошептала Ягенка, – но и в озерке вода замерзает только у берега, да и то в сильные морозы. Гляди, какой пар стоит...

Збышко посмотрел сквозь кустарник и увидел впереди точно облако тумана: это было Одстайное озеро.

Ягенка снова приложила палец к губам, и вскоре они подошли к берегу. Девушка первая тихонько вскарабкалась на толстую старую вербу, совсем склоненную над водой. Збышко последовал ее примеру, и они долго лежали совсем неподвижно, ничего не видя из-за тумана, слыша только жалобные крики чаек над головами. Наконец, однако, подул ветер, зашелестел кустами, желтеющими листьями верб и открыл поверхность озера, пустынную и слегка сморщенную дуновением.

– Не видно? – прошептал Збышко.

– Не видно. Тише...

Вскоре ветер утих, и наступила совершенная тишина. Тогда на поверхности воды

зачернела одна голова, потом другая, и, наконец значительно ближе к ним, спустился с берега в воду большой бобер; с только что отломленной веткой во рту поплыл он среди водорослей, поднимая голову и толкая ветку вперед. Збышко, лежа на стволе пониже Ягенки, вдруг увидел, как локти ее тихонько зашевелились, а голова наклонилась и вытянулась вперед: очевидно, она целилась в зверя, который, не подозревая никакой опасности, плыл от них не дальше, как в половине пространства, которое пролетает стрела.

Наконец заворчала тетива, и в то же время голос Ягенки воскликнул:

– Готов! Готов!

Збышко в мгновение ока вскарабкался выше и взглянул сквозь ветви на воду: бобер то нырял, то всплывал на поверхность, кувыркаясь и показывая брюхо, более светлое, чем спина.

– Хорошо я попала. Сейчас он успокоится, – сказала Ягенка.

Она угадала: движения зверя все ослабевали, и вскоре он всплыл на поверхность брюхом кверху.

– Я пойду за ним, – сказал Збышко.

– Не ходи. Тут возле берега тина такая, что несколько раз с головой покроет. Кто не знает, что надо делать, тот наверно утонет.

– Так как же мы его достанем?

– К вечеру он будет в Богданце, ты об этом не беспокойся, а нам пора домой...

– А ловко ты его подстрелила.

– Ну вот. Он у меня не первый...

– Другие девушки и взглянуть-то на лук боятся, а с такой – хоть всю жизнь ходи по лесу...

Ягенка, услышав эту похвалу, улыбнулась от радости, но не ответила ничего, и они тем же путем пошли обратно. Збышко стал расспрашивать о бобровом жире, а она рассказывала ему, сколько в Мочидолах бобров, сколько в Згожелицах и как они кувыркаются на пригорках и дорогах.

Но вдруг она хлопнула себя по бедру.

– Ай! – воскликнула она. – Я забыла стрелы на вербе. Погоди.

И не успел Збышко ответить, что сам сходит за ними, как она с быстротой серны бросилась обратно и вскоре исчезла из его глаз. Збышко ждал, ждал и наконец стал удивляться, почему ее так долго нет.

"Должно быть, потеряла стрелы и ищет их, – подумал он, – а все-таки пойду, посмотрю, не случилось ли с ней чего-нибудь..."

Однако едва он прошел несколько шагов, как вдруг девушка появилась перед ним с

луком в руке, с румяным, смеющимся лицом и с бобром на плече.

– Боже мой! – вскричал Збышко. – Да как же ты его выловила?

– Как, влезла в воду, только и всего. Мне не в первый раз, а тебя я не хотела пускать, потому что, если кто не знает, как надо плыть, того сразу засосет.

– А я тебя ждал здесь, как дурак! Хитрая ты девка...

– Ну так что же? При тебе, что ли, мне надо было раздеваться?

– Так ты, значит, и стрел не забывала?

– Нет, я только хотела отвести тебя от берега.

– Эх, вот кабы я за тобой пошел, то-то диво увидел бы! Было бы на что полюбоваться! Эх...

– Молчи!

– Ей-богу, я уже шел...

– Молчи...

И желая, видимо, переменить разговор, она сказала:

– Выжми мне косу, а то очень плечи мочит.

Збышко одной рукой схватил косу у самой головы, а другой стал выжимать ее, говоря:

– Лучше всего расплети ее: ветер сейчас же высушит.

Но она не хотела делать этого из-за чащи, через которую им приходилось пробираться. Збышко взвалил теперь бобра на плечи, а Ягенка, идя впереди, сказала:

– Теперь Мацько скоро выздоровеет, потому что для ран ничего нет лучше, как прикладывать бобровый жир. Недели через две на коня будет садиться.

– Дай ему Бог! – отвечал Збышко. – Я жду этого, как избавления, потому что никак не могу от больного уехать, а тяжело мне здесь сидеть.

– Тяжело здесь сидеть? – спросила Ягенка. – Почему?

– Разве Зых ничего не говорил тебе о Данусе?

– Он что-то мне говорил... Я знаю... она тебя покрывалом накрыла... знаю... Он также мне говорил, что каждый рыцарь дает какие-то клятвы, что будет служить своей госпоже... Но он говорил, что это ничего, только служба такая... у некоторых, даже женатых, и то есть такая дама... Збышко, а кто такая эта Дануса? Скажи, кто она?...

И придвинувшись ближе, она подняла глаза и стала с тревогой смотреть ему в лицо, а он, не обратив никакого внимания на ее тревожный голос и взгляд, сказал:

– Дануся моя дама и в то же время возлюбленная. Я этого никому не говорю, но тебе скажу, как сестре, потому что мы знаем друг друга с детства. Ради нее я пошел бы за тридевять земель в тридесятое царство, на немцев, на татар – все равно, потому что другой такой нет на всем свете. Пусть дядя сидит в Богданце, а я пойду к ней... Что мне без нее Богданец, имение, стада, богатства аббата! Вот, сяду на коня да поскачу во весь дух и ей-богу исполню то, в чем ей дал клятву. Исполню – или умру.

– Я не знала... – ответила Ягенка глухим голосом.

А Збышко стал ей рассказывать, как познакомились они в Тынце с Данусей, как он тут же поклялся ей, и про все, что было потом, про то, как сидел в тюрьме, про то, как Дануся спасла его, про отказ Юранда, про расставание, про свою тоску и радость по поводу того, что, когда Мацько выздоровеет, он сможет уехать к любимой девушке, чтобы исполнить свое обещание. Рассказ его был прерван только тем, что они дошли до опушки, где ждал их слуга с лошадьми.

Ягенка тотчас же села на лошадь и стала прощаться со Збышкой.

– Пусть слуга с бобром едет за тобой, а я вернусь в Згожелицы.

– А разве ты не поедешь в Богданец? Ведь Зых там.

– Нет. Тятя собирался вернуться и мне велел.

– Ну тогда спасибо тебе за бобра.

– Оставайся с Богом...

И через минуту Ягенка осталась одна. Едучи к дому, она некоторое время смотрела вослед Збышке, а когда он наконец скрылся за деревьями, закрыла глаза рукой, словно защищаясь от солнечного света.

Но вскоре из-под руки ее потекли по щекам крупные слезы и одна за другой, как горох, стали падать на седло и конскую гриву.

XIV

После разговора со Збышкой Ягенка три дня не показывалась в Богданец и только на четвертый примчалась с известием, что в Згожелицы приехал аббат. Мацько принял известие с некоторым волнением. Правда, ему было чем вернуть залог, и он даже высчитал, что у него останется достаточно денег, чтобы увеличить число крестьян, завести стада и другие необходимые в хозяйстве вещи, но во всем этом деле многое зависело от благорасположения богатого родственника, который, например, мог взять обратно поселенных им крестьян, а мог и оставить их и тем самым увеличить или уменьшить стоимость имения.

Поэтому Мацько очень подробно расспросил Ягенку, каков приехал аббат: веселый или угрюмый, что говорил про них и когда приедет в Богданец. Она толково отвечала ему на вопросы, стараясь ободрить его и успокоить относительно всего.

Она говорила, что аббат приехал в добром здоровье, веселый, с большой свитой, в которой, кроме вооруженных слуг, было несколько клириков, ожидающих места, и несколько певцов, что он поет с Зыхом и охотно слушает не только духовные, но и

светские песни. Заметила она также, что он с большим участием расспрашивал про Мацьку и внимательно выслушал рассказ Зыха о приключениях Збышки в Кракове.

– Вы сами отлично знаете, что вам надо делать, – сказала под конец умная девушка, – но я так думаю, что надо бы Збышке сейчас же ехать поздороваться со старшим родственником, не ожидая, пока он первый приедет в Богданец.

Мацьке понравился этот совет, он велел позвать Збышку и сказал ему:

– Оденься хорошенько, поезжай к аббату да поклонись ему в ноги, чтобы ему понравиться.

Потом он обратился к Ягенке:

– Не удивлялся бы я, кабы ты была дура, потому что на то ты и баба, а вот что у тебя ум есть – этому я дивлюсь. Скажи же мне, как мне лучше всего угостить аббата и чем повеселить его, когда он приедет.

– Насчет еды он сам скажет, что любит; любит он хорошо поесть, нужно только, чтобы было побольше шафрана, а остальное ему все равно.

Услышав это, Мацько схватился за голову.

– Откуда ж я ему шафрану возьму?...

– Я привезла, – сказала Ягенка.

– Уродил бы Господь побольше таких девок, как ты! – воскликнул обрадованный Мацько. – И собой хороша, и хозяйка, и умница, и к людям добра. Эх, кабы я молод был – женился бы на тебе...

Ягенка незаметно взглянула на Збышку и, тяжело вздохнув, продолжала:

– Привезла я, кроме того, кости, кубок и сукно, потому что он после еды любит в кости играть.

– Этот обычай был у него и прежде – и сердился он при этом ужасно.

– Сердится-то он и теперь; иной раз кубком об пол хватит и в поле убежит. Но потом назад приходит веселый и сам смеется над своим гневом... Да вы его знаете... Только бы с ним не спорить, а то на свете нет человека лучше его.

– Да кто же станет с ним спорить, коли он и умнее всех.

Так разговаривали они, пока Збышко переодевался за перегородкой. Наконец он вышел, такой красивый, что Ягенка чуть не ослепла, точь-в-точь, как тогда, когда он приехал в первый раз в Згожелицы в своем белом кафтане. Но на этот раз ее охватила глубокая печаль при мысли, что красота его не для нее и что он любит другую.

А Мацько был рад, потому что подумал, что Збышко наверно понравится аббату и тот не станет создавать затруднений при деловых переговорах. Эта мысль его даже так обрадовала, что он решил ехать тоже.

– Вели мне выстлать воз сеном, – сказал он Збышке. – Мог я ехать из Кракова до самого Богданца с осколком между ребрами – так могу теперь без осколка доехать до Згожелиц.

– Только бы вам хуже не стало, – сказала Ягенка.

– Э, ничего со мной не случится, уж я в себе силу чувствую. А если и станет мне немного хуже, так зато аббат будет знать, как я к нему спешил, и оттого станет добрее.

– Мне ваше здоровье дороже, чем его доброта, – сказал Збышко.

Но Мацько уперся и настоял на своем. По дороге он легонько стонал, но не переставал поучать Збышку, как надо вести себя в Згожелицах, а в особенности требовал смирения и послушания в обращении с могущественным родственником, который никогда не выносил ни малейшего противоречия.

Приехав в Згожелицы, они нашли Зыха и аббата сидящими перед домом, любующимися на свет божий и попивающими вино.

Позади них, возле стены, на скамье сидела, состоящая из шести человек, свита аббата, в том числе два певца и пилигрим, которого легко было узнать по загнутому посоху, фляге на поясе и по раковинам, нашитым на темной одежде. Прочие похожи были на клириков, потому что головы у них были сверху выбриты, одежда же на них была светская, с поясами из бычачьей кожи и с кинжалами на боку.

При виде подъехавшего на телеге Мацьки Зых вскочил, а аббат, помня, очевидно, свой духовный сан, остался на месте и только стал что-то говорить своим клирикам, которых еще несколько выбежало через открытые двери. Збышко и Зых под руки подвели ослабевшего Мацьку к скамье.

– Слаб я еще немного, – сказал Мацько, целуя у аббата руку, – но приехал, чтобы вам, благодетелю моему, поклониться, за хозяйничанье в Богданце поблагодарить и попросить благословения, которое грешному человеку нужнее всего на свете.

– Я слышал, что вы выздоравливаете, – сказал аббат, обнимая его, – и что дали обет идти ко гробу покойницы королевы нашей.

– Не зная, к какому святому обращаться, обратился я к ней...

– И хорошо сделали! – воскликнул аббат. – Она лучше всех! Пусть бы кто-нибудь посмел ей завидовать!

И мгновенно на лице его отразился гнев, щеки налились кровью, глаза засверкали.

Присутствующие знали его горячность; поэтому Зых стал смеяться, восклицая:

– Бей, кто в Бога верует!

Аббат громко засопел, обвел присутствующих глазами, а потом засмеялся так же внезапно, как перед тем рассердился, и, взглянув на Збышку, спросил:

– А это ваш племянник и мой родственник? Збышко поклонился и поцеловал у него

руку.

– Маленьким я его видел, теперь не узнал бы, – сказал аббат. – Покажись-ка.

И он стал проворными глазами рассматривать Збышку с ног до головы и наконец сказал:

– Красив больно. Девка, а не рыцарь.

Но Мацько возразил на это:

– Приглашали немцы эту девку плясать, да чуть который пригласит – сейчас же кувыркнется и уж больше не встанет.

– И лук без веревки натягивает! – воскликнула вдруг Ягенка.

Аббат повернулся к ней:

– А ты чего здесь?...

Ягенка так покраснела, что даже шея и уши стали у нее розовые, и ответила в страшном смущении:

– Я видела...

– Смотри, как бы он тебя не подстрелил нечаянно: девять месяцев лечиться придется...

Тут певцы, пилигрим и клирики разразились громким хохотом, от которого Ягенка смутилась окончательно, так что аббат сжалился над ней и, подняв руку, показал ей огромный рукав своей одежды.

– Спрячься, девочка, – сказал он, – а то у тебя кровь из щек брызнет. Между тем Зых усадил Мацьку на скамью и велел принести вина, за которым побежала Ягенка. Аббат скосил глаза на Збышку и заговорил:

– Шутки в сторону. Не в обиду я тебя с девкой сравнил, а ради твоей красоты, которой и не одна девка могла бы позавидовать. Но знаю, что ты парень на славу. Слышал я о твоих подвигах под Вильной, и о фризах, и о Кракове. Мне Зых обо всем говорил, понимаешь?...

Тут он стал проницательно смотреть Збышке в глаза и вскоре заговорил опять:

– Коли поклялся ты добыть три пучка перьев, так добывай их. Похвальное и любезное Богу дело – преследовать врагов нашего племени... Но если ты при этом еще какую-нибудь дал клятву, то знай, что я могу тебя от этих клятв разрешить, потому что у меня есть на это власть.

– Ах, – сказал Збышко, – если человек в душе обещал что-нибудь Господу Иисусу, так какая же власть может разрешить его от этого?

Услышав это, Мацько с опаской поглядел на аббата, но тот, видимо, был в отличном расположении духа, потому что вместо того, чтобы разразиться гневом, весело погрозил на Збышку пальцем и сказал:

– Ишь ты, умник! Смотри, как бы с тобой не случилось того, что с немцем Бейгардом.

– А что с ним случилось? – спросил Збышко.

– А сожгли его на костре.

– За что?

– Зато, что болтал, будто мирянин может так же понять тайны Божьи, как и духовное лицо.

– Строго же его наказали.

– Зато справедливо! – загремел аббат. – Потому что он против Духа Святого кощунствовал! Да что вы думаете? Может ли мирянин понять хоть что-нибудь из Тайн Господних?

– Никак не может, – согласным хором откликнулись клирики.

– А вы, "шпильманы", тихо сидеть, – сказал аббат, – потому что вы ничуть не духовные особы, хоть головы у вас бритые.

– Мы больше не шпильманы, а придворные вашей милости, – ответил один из клириков, заглядывая в большой кувшин, из которого на далекое расстояние шел запах меда и хмеля.

– Ишь ты! Говорит, словно из бочки... – воскликнул аббат. – Эй ты, кудластый! Чего в кувшин заглядываешь? Латыни на дне не найдешь.

– Да я и не латыни ищу, а пива, которого не могу найти.

Но аббат обернулся к Збышке, с удивлением смотревшему на этих придворных, и сказал:

– Все это *clerici scholares* [13], хоть каждый из них рад швырнуть книгу да схватиться за лютню и с ней таскаться по миру. Приютил я их и кормлю, что тут делать? Лентяи и шалопаи отчаянные, но умеют петь и службы Божьей немного лизнули, значит, они мне при костеле годятся, да и защитить могут, потому что есть между ними здоровые парни. Этот вот странник говорит, что был в Святой Земле, да нечего и пытаться его про какие-нибудь моря или страны, потому что он даже того не знает, как императора греческого зовут и где он живет.

– Я знал, – хриплым голосом отвечал странник, – да как начала меня на Дунае лихоманка трясти, так все и вытрясла.

– Особенно я на мечи удивляюсь, – сказал Збышко, – потому что таких никогда у клириков не видал.

– Им можно носить, – сказал аббат, – потому что ведь они не посвящены, а что я тоже кортик ношу у пояса, так тут удивляться нечего. Год тому назад вызвал я Вилька из Бжозовой сразиться на утопанной земле из-за тех лесов, по которым вы ехали в Богданец. Да он не вышел...

– Да как же он против духовной особы выйдет? – перебил Зых.

Аббат на эти слова рассердился и, ударив кулаком по столу, закричал:

– Коли я в латах, так я не ксендз, а шляхтич... А он не вышел, потому что предпочел напасть на меня ночью, в Тульче, с мужиками своими. Вот почему я кортик ношу на поясе... *Omnes leges omniaque jura vim vi repellere cunctisque sese defensare permittunt* [14]. Вот почему я и им мечи дал.

Услышав латынь, Зых, Мацько и Збышко притихли, склонили головы перед мудростью аббата, потому что никто из них не понял ни единого слова; аббат же еще несколько времени поводил сердитыми глазами и наконец сказал:

– Кто его знает, может быть, он и тут на меня нападет?

– Вона! Пускай-ка нападет! – воскликнули клирики, хватаясь за рукоятки мечей.

– Да, пусть бы напал! Соскучился и я по драке.

– Не сделает он этого, – сказал Зых, – скорее придет кланяться да мириться. От лесов он уже отказался, а теперь для него все дело в сыне... Сами знаете... Да не дождется он этого...

Тем временем аббат успокоился и сказал:

– Видел я, как младший Вильк пьянствовал с Чтаном из Рогова на постоялом дворе в Кшесне. Не узнали они нас сначала, темно было, и все толковали о Ягенке.

Тут он обратился к Збышке:

– И о тебе.

– А чего им от меня надо?

– Ничего им от тебя не надо, только не нравится им то, что есть около Згожелиц третий. И вот говорит Вильк Чтану: "Как я ему шею выкостыляю, так он красоваться-то перестанет". А Чтан отвечает: "Может быть, он нас побоится, а нет – так я ему живо ноги попереломая". А потом стали они друг друга уверять, что ты побоишься.

Услышав это, Мацько взглянул на Зыха, тот на него – и лица их приняли хитрое и веселое выражение. Ни один не был уверен, действительно ли аббат слышал такой разговор, или же сочиняет для того только, чтобы подзадорить Збышку; зато оба поняли, а в особенности хорошо знавший Збышку Мацько, что нет на свете лучшего средства толкнуть мальчика к Ягенке.

А аббат, как будто нарочно, прибавил:

– И то сказать, ребята они здоровенные.

Збышко не выказал никакого волнения и только каким-то словно чужим голосом стал расспрашивать Зыха:

- Завтра воскресенье?
- Воскресенье.
- Вы к обедне поедете?
- Еще бы...
- Куда? В Кшесню?
- Это всего ближе. Куда ж нам еще ехать?
- Ну хорошо.

XV

Збышко, догнав Зыха и Ягенку, в обществе аббата и клириков ехавших в Кшесню, присоединился к ним и поехал вместе с ними, потому что ему надо было доказать аббату, что ни Вилька из Бжозовой, ни Чтана из Рогова он не боится и прятаться от них не намерен. И снова в первую минуту поразила его красота Ягенки, потому что хотя не раз он видел ее и в Згожелицах, и в Богданце, хорошо одетую, но никогда не была она разряжена так, как в костел. Платье на ней было из красного сукна, подбитое горностаем, красные перчатки, а на голове горностаевый, расшитый золотом, колпачок, из-под которого спускались на плечи две косы. Она уже не сидела на лошади по-мужски, но на высоком седле с поручнем и с подножкой; ноги ее еле видны были из-под длинной, уложенной ровными складками юбки. Зыху, позволявшему девушке дома одеваться в кожаные сапоги, важно было, чтобы перед костелом каждый понял, что приехала дочка не чья-нибудь, но панна из могущественного рыцарского рода. С этой целью лошадь ее вели два подростка в обтянутых штанах и в раздутых куртках, какие обычно носили пажи. Сзади ехали четверо слуг, а с ними клирики аббата, с кортиками и лютнями у поясов. Збышко любовался на всю эту свиту, но больше всего на Ягенку, похожую на картинку, и на аббата, который в красном своем одеянии с огромными рукавами казался каким-то путешествующим князем. Скромнее всех был одет сам Зых, который заботился только о красоте других, а сам украшался только веселостью и песнями.

Они ехали рядом: аббат, рядом с ним Ягенка, потом Збышко и Зых. Аббат сначала велел своим "шпильманам" петь духовные песни, но потом они, должно быть, ему надоели, и он стал разговаривать со Збышкой, который с улыбкой поглядывал на его огромный кинжал, величиной не меньше двуручных немецких тесаков.

- Вижу я, – с важностью сказал аббат, – что удивлен ты моим мечом; так знай же, что синоды разрешают духовным особам иметь в дороге не только мечи, но даже баллисты и катапульты, а мы находимся в дороге. Наконец, когда святой отец воспрещал ксендзам носить мечи и красные одежды, он, вероятно, имел в виду людей низкого происхождения, ибо шляхтичу Бог велел носить оружие, и тот, кто захотел бы это оружие бросить – пошел бы против известного его предназначения.
- Я видел князя мазовецкого Генриха, тот и на аренах дрался, – отвечал Збышко.
- Не то ставится ему в вину, что он дрался, – ответил аббат, подняв палец, – а то, что он женился, да еще неудачно, ибо *fomicariam* и *bibulam* [15] взял *mulierem* [16], которая, говорят, *Vacchum* [17] с юных лет *adorabat* [18], а кроме того, была тут и *adultere* [19], из чего тоже ничего хорошего выйти не могло.

Тут он даже остановил коня и с еще большей важностью стал поучать:

– Кто намерен жениться, то есть взять себе ихогет [20], тот должен смотреть, чтобы она была богобоязненна, знала приличия, умела вести хозяйство и не любила грязи, что помимо Отцов Церкви говорит еще и некий языческий философ по имени Сенека. А как же узнаешь, что сделал удачный выбор, если не знаешь гнезда, из которого берешь подругу до самой смерти? Ибо другой мудрец, но уже христианский, говорит: "Romus non cadit absque arbore" (яблочко от яблони недалеко падает). Из чего поучайся, грешный человек, искать жену не в отдалении, а поблизости, ибо если получишь злую и непокорную, то вдоволь из-за нее наплачешься, как плакал некий философ, когда сварливая жена в гневе вылила ему на голову *aquam sordidam* [21].

– *In secula seculorum, amen* [22]! – в один голос грянули клирики, которые, отвечая так аббату, не очень следили за тем, впадут ли они отвечают.

Все с великим вниманием слушали слова аббата, дивясь его речи и знанию Писания, он же, говоря собственно Збышке, часто поворачивался к Зыху и Ягенке, как бы желая особенно убедить их. Однако Ягенка, по-видимому, поняла, в чем тут дело, и зорко посматривала из-под длинных ресниц своих на юношу, который нахмурил брови и опустил голову, как бы глубоко обдумывая то, что слышал.

Вскоре шествие двинулось дальше, но в молчании; только когда показалась Кшесня, аббат ощупал свой пояс, повернув его так, чтобы легко было схватить рукоять кинжала, и сказал:

– А старый Вильк из Бжозовой, должно быть, с большой свитой приедет.

– Должно быть, – согласился Зых, – да слуги что-то болтали, будто он захворал.

– А один мой клирик слышал, что он собирается на нас напасть у постоянного двора, после обедни.

– Он бы не сделал этого без предупреждения, а особенно после обедни.

– Дай ему Бог опомниться! Я войны ни с кем не ищу и обиды переношу терпеливо.

Тут он оглянулся на своих "шпильманов" и сказал:

– Не обнажать мечей и помнить, что вы слуги духовного лица, и только если те нападут первые, тогда бейте их.

Збышко, едучи рядом с Ягенкой, с своей стороны расспрашивал ее о деле, которое его больше всех занимало.

– Чтана и молодого Вилька мы обязательно встретим в Кшесне, – говорил он. – Ты мне покажешь их издали, чтобы я знал, которые.

– Хорошо, Збышко, – отвечала Ягенка.

– Они, должно быть, подходят к тебе перед обедней и после обедни? Что же они тогда делают?

– Оказывают мне услуги, насколько могут.

– Сегодня они не будут этого делать, понимаешь? Она чуть ли не смиренно ответила:

– Хорошо, Збышко.

Дальнейший их разговор прервал стук деревянных колотушек, потому что в Кшесне еще не было колоколов. Вскоре они приехали. Из толпы, ожидающей перед костелом обедни, тотчас же вышли молодой Вильк и Чтан из Рогова, но Збышко предупредил их, соскочив с коня, прежде чем они успели подбежать и, обхватив Ягенку, снял ее с седла, а потом взял за руку и, вызывая поглядывая на них, повел к костелу.

В притворе костела ждало их новое разочарование: оба поспешили к чаше со святой водой и оба, погрузив в нее руки, протянули их девушке. Но то же самое сделал и Збышко, а она прикоснулась к его пальцам, потом перекрестилась и вместе с ним вошла в костел. Тогда не только молодой Вильк, но и Чтан из Рогова, хоть он был умом слабоват, догадались, что все это было сделано нарочно, и обоих охватил такой дикий гнев, что у них даже волосы зашевелились под сетками. Насилу сохранили они настолько ясного сознания, что в гневе, боясь наказания Божьего, не захотели войти в костел; вместо этого Вильк выскочил из притвора и как шальной помчался между деревьями кладбища, сам не зная куда. Чтан бросился за ним, тоже не зная, зачем он это делает.

Остановились они только в углу, возле ограды, где лежали большие камни, приготовленные для фундамента колокольни, которую собирались строить в Кшесне. Там Вильк, чтобы на чем-нибудь сорвать злобу, которая его душила, ухватился за один из камней и стал толкать его изо всех сил; видя это, Чтан тоже ухватился за этот камень, и через минуту они с яростью покатали его через все кладбище, к самым дверям костела.

Люди смотрели на них с удивлением, думая, что они дали какой-то обет и хотят, таким образом, участвовать в постройке колокольни. Но их эти усилия значительно облегчили, так что оба они пришли в себя и только стояли бледные от напряжения, сопя и глядя друг на друга бессмысленными глазами.

Первым прервал молчание Чтан из Рогова.

– Ну что же? – спросил он.

– А что? – отвечал Вильк.

– Мы сейчас на него нападём?

– Не в костеле, а после обедни.

– Он с Зыхом и аббатом. Да еще забыл ты, что говорил Зых: если случится драка – он обоих из Згожелиц выгонит. Если бы не это, я бы тебе давно ребра переломал.

– Либо я тебе, – сказал Чтан, сжимая кулаки.

И глаза у них зловеще засверкали, но оба сейчас же сообразили, что теперь им мир нужнее, чем когда-либо. Не раз уже они дрались друг с другом, но всегда после драки мирились, потому что хотя любовь к Ягенке и разделяла их, но все же они не могли жить один без другого, и всегда друг по другу скучали. Теперь же у них был

общий враг, и оба чувствовали, что это враг опасный до ужаса.

Поэтому Чтан спросил, помолчав:

– Что делать? Не послать ли ему вызов в Богданец?

Вильк, который был умнее, не знал, однако, сначала, что делать. К счастью, на помощь к нему пришли колотушки, которые застучали снова в знак того, что обедня начинается. И Вильк сказал:

– Что делать? Идти к обедне, а там что бог даст.

Чтан из Рогова обрадовался этому разумному совету.

– Может быть, Господь Бог нас наставит, – сказал он.

– И благословит, – прибавил Вильк.

– И это будет справедливо.

Они пошли в костел и, внимательно прослушав обедню, набрались храбрости. Они не потеряли головы даже тогда, когда Ягенка после обедни снова приняла в сенях святую воду с руки Збышки. На кладбище у ворот они поклонились до земли Зыху, Ягенке и даже аббату, хотя он был враг старика Вилька из Бжозовой. Правда, на Збышку смотрели они исподлобья, но ни один не заворчал, хотя сердца их выли от боли, гнева и ревности, потому что Ягенка никогда еще не была так прекрасна и так похожа на королеву. Только когда блестящая кавалькада тронулась в обратный путь и когда издали донеслась до них веселая песня клириков, Чтан стал вытирать пот со своих косматых щек и фыркать, как лошадь, а Вильк произнес, скрежеща зубами:

– На постоянный двор. На постоянный двор. Горе мне...

Потом, помня, что в первый раз им от этого стало легче, они снова схватили камень и с яростью покатали его на прежнее место.

А Збышко ехал рядом с Ягенкой, слушая пение аббатовых шпильманов, но, проехав с версту, внезапно остановил коня и сказал:

– Батюшки! Я собирался дать денег на обедню за здоровье дяди – и забыл. Я вернусь.

– Не возвращайся! – воскликнула Ягенка. – Пошлем из Згожелиц.

– Нет, я вернусь, а вы меня не ждите. С Богом!

– С Богом! – сказал аббат. – Поезжай.

И лицо у него повеселело, а когда Збышко скрылся у них из глаз, он незаметно подтолкнул Зыха и сказал:

– Понимаете?

– Что мне понимать?

– Как Бог свят, подерется он в Кшесне с Вильком и Чтаном, но этого-то я и хотел и к этому вел все дело.

– Парни они здоровые, того и гляди его ранят, а что толку?

– Как что толку? Если он из-за Ягенки подерется, то как же ему потом думать о дочери Юранда? С этих пор его дамой будет Ягенка, а не та; а этого я хочу, потому что он мне родня и понравился мне.

– Да, а клятва?

– Немного спустя я его освобожу от нее. Разве вы не слышали, что я уже обещал это?

– Вы все умеете сделать, – отвечал Зых.

Аббат обрадовался похвале, а потом подвинулся ближе к Ягенке и спросил:

– Ты что такая печальная?

Она наклонилась в седле и, схватив руку аббата, прижала ее к губам:

– Крестный, может быть, вы бы послали парочку "шпильманов" в Кшесню?

– Зачем? Напьются на постоялом дворе, и больше ничего.

– Но, может быть, они как-нибудь помешают ссоре? Аббат быстро взглянул ей в глаза и вдруг резко сказал:

– Да хоть бы его там убили!

– Так пусть и меня убьют! – вскричала Ягенка.

И горечь, скопившаяся в ее груди со времени разговора со Збышкой, разрешилась теперь потоком слез. Видя это, аббат обнял девушку, так что почти накрыл ее огромным своим рукавом, и заговорил:

– Не бойся, дочурка, ничего. Ссора случиться может, но ведь и те тоже шляхтичи и вместе на него не нападут, а по рыцарскому обычаю вызовут на поединок, а уж там он с ними справится, хотя бы ему пришлось драться с обоими сразу. Что же касается дочери Юранда, про которую ты слыхала, так я тебе только то скажу, что свадьбе этой не бывать.

– Если ему та милее, так и мне он не нужен, – сквозь слезы отвечала Ягенка.

– Так чего ж ты ревешь?

– Боюсь за него.

– Эх, бабий ум! – смеясь сказал аббат.

И, наклонившись к уху Ягенки, он продолжал:

– Смекни-ка, девочка, что, если даже он и женится на тебе, так не раз случится ему подраться, на то он шляхтич.

Тут он наклонился еще ниже и прибавил:

– А на тебе он женится, даже скоро, уж это как Бог свят.

– Чего ему жениться, – отвечала Ягенка.

Но в то же время она начала улыбаться сквозь слезы, поглядывая на аббата, точно хотела спросить, откуда он это знает.

Между тем Збышко, вернувшись в Кшесню, отправился прямо к ксендзу, потому что он на самом деле хотел дать денег на обедню за здоровье Мацьки, а устроив это дело, направился прямо к постоялому двору, где надеялся застать молодого Вилька из Бжозовой и Чтана из Рогова.

Действительно, он застал там обоих и, кроме того, еще множество народу – и шляхты, и мужиков, и нескольких скоморохов, показывавших разные немецкие штуки. В первую минуту он, однако, не мог никого разглядеть, потому что окна корчмы, затянутые воловьим пузырем, пропускали мало света; только после того, как слуга подбросил в камин сосновых веток, Збышко увидел в углу за пивными бочонками волосатое лицо Чтана и злое, нахмуренное лицо Вилька из Бжозовой.

Тогда он медленно стал приближаться к ним, расталкивая по дороге людей, а подойдя, ударил кулаком по столу с такой силой, что весь постоянный Двор вздрогнул.

Они тотчас встали и начали поспешно поворачивать кожаные свои пояса; но прежде чем они успели схватиться за рукоятки мечей, Збышко бросил на стол рукавицу и, говоря в нос, как обычно говорили рыцари, бросая вызов, произнес следующие неожиданные для всех слова:

– Если кто-либо из вас или кто-либо из людей рыцарского сословия, находящихся в этой комнате, станет оспаривать то, что прекраснейшая и добродетельнейшая в мире девица есть панна Данута, дочь Юранда из Спыхова, то я того вызываю на конный или пеший бой, до первого падения или до последнего дыхания.

Удивились Вильк и Чтан, как удивился бы и аббат, если бы услышал что-либо подобное, и с минуту не могли выговорить ни слова. "Это что за панна?" Ведь им же нужна Ягенка, а не она?... А если этому олуху нужна не Ягенка, то чего ему от них нужно? Зачем он рассердил их перед костелом? Зачем пришел сюда и зачем ищет с ними ссоры? От этих вопросов в головах у них образовалась такая каша, что они широко раскрыли рты, а Чтан так вытаращил глаза, точно видел перед собой не человека, а какую-то диковину немецкую.

Но более умный Вильк, немного знавший рыцарские обычаи и то, что рыцари иногда дают обет одним женщинам, а женятся на других, подумал, что в данном случае, может быть, то же самое и что раз случается возможность вступить за Ягенку, то надо немедленно этой возможностью воспользоваться.

Поэтому он вышел из-за стола и, подойдя со злобным лицом к Збышке, спросил:

– Ах ты, собачий сын, разве не Ягенка, дочь Зыха, прекраснейшая из девиц?

Вслед за ним вышел Чтань, а люди стали уже собираться вокруг них, потому что всем уже было ясно, что дело это пустяками не кончится.

XVI

Ягенка, вернувшись домой, тотчас же послала слугу в Кшесню, узнать, не произошло ли на постоялом дворе какой-нибудь драки, или не вызвал ли кто кого на поединок. Но слуга, получив на дорогу скоец, запил со слугами князя и не помышлял о возвращении. Другой слуга, посланный в Богданец, которому было поручено объявить Мацьке о скором приезде аббата, вернулся, исполнив поручение, и сказал, что видел, как Збышко играл со старым паном в кости.

Это до некоторой степени успокоило Ягенку; зная искусство и ловкость Збышки, она боялась не столько вызова, сколько какой-нибудь нехорошей истории в корчме. Она хотела вместе с аббатом ехать в Богданец, но он воспротивился этому, потому что намерен был говорить с Мацькой по поводу залога и еще об одном более важном деле и не хотел, чтобы Ягенка присутствовала при их беседе.

Кроме того, он собирался провести в Богданце всю ночь. Узнав о благополучном возвращении Збышки, он пришел в отличное расположение духа и велел своим клирикам петь так, чтобы весь лес дрожал. В самом же Богданце мужики стали выбегать из хат, думая, не пожар ли, или не подступил ли неприятель. Но ехавший впереди странник с загнутым посохом успокоил их, что это едет высокая духовная особа, и мужики стали кланяться аббату, а некоторые даже осеняли себя крестным знамением; он же, видя, как его чтут, ехал охваченный счастливой гордостью, радуясь всему и благожелательству всем людям.

Мацько и Збышко, заслышав пение, вышли ему навстречу к самым воротам. Некоторые из клириков бывали уже с аббатом в Богданце, но были и такие, которые, лишь недавно присоединившись к компании, до сих пор никогда не видали его. Грустно им стало при виде жалкого дома, который не мог даже сравниться с большим згожелицким домом. Однако их ободрил дым, восходивший над крышей; особенно же развеселились они, когда, войдя в комнату, почувствовали запах шафрану и всяких кушаний и увидели два стола, уставленных оловянными мисками, правда – еще пустыми, но такими огромными, что при виде их всякий развеселился бы. На маленьком столе сверкала миска, приготовленная для аббата, вся серебряная, и такая же, украшенная прекрасной резьбой, чарка; и то и другое, вместе с прочими драгоценностями, было отбито у фризов.

Мацько и Збышко тотчас же начали приглашать к столу, но аббат, хорошенько покушавший перед отъездом в Згожелицах, отказался, тем более что его волновало нечто другое. С первой же минуты он внимательно и тревожно поглядывал на Збышку, словно хотел найти на нем следы драки; но видя спокойное лицо юноши, он, кажется, начинал терять терпение и наконец не в силах уже был сдерживать свое любопытство.

– Пойдем в каморку, – сказал он, – покончим насчет залога. Не спорьте, а то рассержусь.

Тут он обратился к клирикам и закричал:

– А вы – сидеть тихо и у дверей не подслушивать!

Сказав это, он отворил дверь в каморку, где насилу мог поместиться, и вошел

туда, а за ним вошли Мацько и Збышко. Там, когда они уселись на сундуках, аббат обратился к молодому рыцарю:

– Ты тогда вернулся в Кшесню?

– Вернулся.

– И что же?

– И дал на обедню за дядино здоровье. Аббат нетерпеливо заерзал на сундуке.

"Ага, – подумал он, – мальчишка не встретился ни с Чтаном, ни с Вильком; может быть, их не было, а может быть, он и не искал их. Я ошибся".

Но он был зол, что ошибся, что обманулся в своих расчетах, а потому лицо его тотчас покраснело, и он засопел.

– Давайте толковать о залоге, – сказал он, помолчав. – Есть у вас деньги?... Потому что если нет, то имение мое...

На это Мацько, знавший, как надо с ним поступать, молча встал, открыл сундук, на котором сидел, достал оттуда приготовленный, очевидно, заранее мешок с гривнами и сказал:

– Люди мы бедные, но деньги у нас есть, и что с нас следует, то мы платим, как записано в "письме" и как сам я знаком святого креста скрепил. Если же вы хотите, чтобы мы доплатили за хозяйство и за разное имущество, то тоже не будем спорить, а заплатим сколько прикажете, и в ноги вам, благодетелю нашему, поклонимся.

Сказав это, он низко поклонился аббату, а за ним то же самое сделал Збышко. Аббат, ожидавший споров и торговли, был совершенно сбив с толку таким поведением и даже не особенно доволен этим, потому что хотел при переговорах ставить разные свои условия, а теперь удобный случай к этому пропал.

Поэтому, отдавая "письмо", то есть закладную, на которой Мацько расписывался, поставив крест, он сказал:

– Что вы мне о доплате толкуете?

– Потому что даром брать не хотим, – хитро отвечал Мацько, зная, что чем он больше будет по этому поводу спорить, тем больше получит.

Действительно, аббат мгновенно вскипел:

– Ишь ты, какие! Не хотят от родных даром брать! Кусок хлеба им поперек горла становится. Я не пустошь брал и не пустошь отдаю, а если захочется мне и этот вот мешок швырнуть – так швырну.

– Этого вы не сделаете! – вскричал Мацько.

– Не сделаю? Так вот же вам ваш залог! Вот ваши гривны! Я деньги дал потому, что так хотел, а если бы захотел их на дорогу швырнуть, так и то не ваше дело. Вот, как я этого не сделаю!..

Сказав это, он схватил мешок и грянул им об пол, так, что из лопнувшего холста посыпались деньги.

– Пошли вам Господь! Пошли вам Господь, отец и благодетель! – стал восклицать Мацько, который этого только и ждал. – От другого бы я не взял, но от родственника и духовника – возьму!..

Аббат же некоторое время грозно смотрел то на него, то на Збышку и наконец сказал:

– Я хоть и сержусь, а знаю, что делаю; но что получили – то крепко держите, потому что предупреждаю: больше вы не получите ни единого скойца.

– Мы и на то не надеялись!

– Но знайте, что все, что после меня останется, получит Ягенка.

– И землю? – наивно спросил Мацько.

– И землю! – рявкнул аббат.

Тут лицо у Мацьки вытянулось, но он взял себя в руки и сказал:

– Э, что там о смерти думать. Дай вам Господь Бог сто лет прожить, а то и больше, и хорошее епископство получить!

– А хоть бы и так?... Разве я хуже других? – отвечал аббат.

– Не хуже, а лучше!

Эти слова успокоительно подействовали на аббата, потому что вообще гнев его бывал недолог.

– Ну, – сказал он, – вы мои родственники, а она только крестница, но я люблю и ее, и Зыха с давних лет. Лучшего человека, чем Зых, нет на свете и лучшей девушки, чем Ягенка – тоже. Что против них можно сказать?

И он стал смотреть вызывающе, но Мацько не только не спорил, но поспешно подтвердил, что лучшего соседа во всем королевстве не сыщешь.

– А что касается девки, – сказал он, – так я дочку родную не любил бы больше, чем ее люблю. Благодаря ей я выздоровел и не забуду ей этого до самой смерти.

– Прокляты будете и один, и другой, если забудете, – сказал аббат, – и я первый вас проклянущу за это. Я обидеть вас не хочу, потому что вы мне родня, и потому придумал способ, чтобы то, что после меня останется, было Ягенкино и ваше. Понимаете?

– Дай Бог, чтобы так стало! – ответил Мацько. – Господи Иисусе! Я бы пешком пошел ко гробу королевы в Кракове, на Лысую гору, чтобы древу Креста Господня поклониться...

Аббат обрадовался искренности, с какой говорил Мацько, улыбнулся и проговорил:

– Девка имеет право выбирать, потому что и хороша она, и приданое порядочное, и род благородный. Что ей Чтан или Вильк, коли и воеводин сын не был бы для нее слишком высок. Но если бы я кого-нибудь ей посватал – она бы пошла за того, потому что любит меня и знает, что я ей плохо не посоветую!..

– Хорошо будет тому, кого вы посватаете, – сказал Мацько. Но аббат обратился к Збышке:

– А ты что?

– Да я то же думаю, что дядя!..

Благородное лицо аббата прояснилось еще больше; он хлопнул Збышку по плечу и спросил:

– А почему это ты у костела ни Чтана, ни Вилька к Ягенке не подпустил? А?...

– Чтобы они не думали, что я их боюсь, и чтобы вы тоже этого не думали.

– Но ведь ты и воду святую ей подал!..

– Подал.

Аббат снова хлопнул его по плечу:

– Так... женись на ней!

– Женись на ней! – как эхо воскликнул Мацько.

На это Збышко убрал волосы под сетку и спокойно ответил:

– Как же мне жениться, если я в Тынпе перед алтарем дал клятву Данусе?

– Ты дал клятву достать павлиньи перья, и доставай их, а на Ягенке женись!

– Нет! – отвечал Збышко. – Потом, когда она накинула на меня покрывало, я поклялся, что возьму ее в жены.

Лицо аббата стало наливаться кровью, уши его посинели, а глаза стали вылезать на лоб; он подошел к Збышке и сказал сдавленным от гнева голосом:

– Клятвы твои – шелуха, а я ветер. Понял? Только и всего!

И он дунул ему на голову так сильно, что даже сетка слетела, а волосы в беспорядке рассыпались по плечам. Тогда Збышко нахмурил брови и, глядя аббату прямо в глаза, сказал:

– В моей клятве моя честь, а чести своей страж я сам!

Услышав это, не привыкший к противоречию аббат до такой степени опешил, что на некоторое время лишился языка. Настало зловещее молчание, которое наконец прервал Мацько.

– Збышко! – вскричал он. – Опомнись! Что с тобой?

Между тем аббат поднял руку и, указывая на юношу, стал кричать:

– Что с ним? Я знаю, что с ним: душа у него не рыцарская и не шляхетская, а заячья. То с ним, что он боится Вилька и Чтана.

Но Збышко, ни на минуту не потерявший хладнокровия, небрежно пожал плечами и ответил:

– Вона! Я им накостылял шеи в Кшесне!

– Побойся ты Бога! – воскликнул Мацько.

Аббат некоторое время смотрел на Збышку, выпучив глаза. Гнев боролся в нем с изумлением, но в то же время быстрый природный ум стал ему подсказывать, что из этой драки с Вильком и Чтаном он может извлечь пользу для своих замыслов.

Поэтому, немного придя в себя, он крикнул Збышке:

– Что ж ты не сказал этого?

– Да мне стыдно было! Я думал, они меня вызовут, как пристало рыцарям, на конный или пеший бой, но это разбойники, а не рыцари! Вильк первый сорвал со стола доску, Чтан другую – и на меня. Что ж мне делать? Я тоже схватил скамью, ну... сами понимаете...

– Живы они, по крайней мере? – спросил Мацько.

– Живы, да только одурели! Но они еще при мне дышать начали! Аббат слушал, тер лоб, потом сразу вскочил с сундука, на который присел было, чтобы хорошенько подумать, и воскликнул:

– Постой!.. Теперь я тебе кое-что скажу.

– А что скажете? – спросил Збышко.

– То скажу, что если ты из-за Ягенки дрался и из-за нее людям головы проламывал, то ты ее рыцарь, а не чей-либо другой – и должен на ней жениться.

Сказав это, он подбоченился и стал торжествующе глядеть на Збышку, но тот только усмехнулся и сказал:

– Ах, отлично я знал, зачем вы хотели меня на них натравить, да только вы решительно промахнулись!

– Почему промахнулся?... Говори.

– Потому что я им велел признать, что прекраснейшая и добродетельнейшая девица в мире – Дануся, дочь Юранда, а они-то и вступились за Ягенку, и оттого вышла драка.

Услышав это, аббат с минуту стоял на месте, точно окаменев; только по тому, как он моргал глазами, можно было понять, что он еще жив. Вдруг он повернулся на

месте, вышиб ногой дверь каморки, выскочил в комнату, там выхватил из рук странника посох и стал колотить им своих "шпильманов", ревя при этом, как раненый тур:

– На коней, скоморохи! На коней, подлецы! Ноги моей не останется в этом доме! На коней! Кто в Бога верует, на коней!

И снова вышибив двери, он вошел на крыльцо, а испуганные клирики бросились за ним. Всей гурьбой подбежав к навесу, они тотчас принялись седлать лошадей. Напрасно Мацько побежал за аббатом, напрасно просил, молил, божился, что не виноват, – ничто не помогло. Аббат бранился, проклинал дом, людей, поля, а когда ему подали коня, вскочил на него без стремян и пустился вскачь, с развеваемыми ветром рукавами, похожий на гигантскую красную птицу. Клирики мчались за ним, охваченные тревогой, точно стадо, спешащее за предводителем.

Мацько некоторое время смотрел им вслед, а когда они скрылись в лесу, вернулся домой и сказал Збышке, угрюмо покачивая головой:

– Что ты наделал?...

– Не было бы этого, если бы я раньше уехал, а не уехал я из-за вас.

– Как так... из-за меня?

– Потому что не хотел уезжать, пока вы больны.

– А теперь что будет?

– А теперь поеду.

– Куда?

– В Мазовию, к Данусе!.. И к немцам, за перьями.

Мацько молчал, а потом произнес:

– "Письмо" он отдал, но залог записан в судебной книге. Не подарит нам теперь аббат ни скойца.

– И пускай не дарит! Деньги у вас есть, а мне на дорогу не нужно. Ведь меня везде примут и лошадей накормят; был бы на мне панцирь да кинжал в руке – мне все нипочем.

Мацько задумался и стал взвешивать все, что произошло. Все вышло не так, как он думал, и не так, как хотел. Сам он тоже от всей души желал, чтобы Збышко женился на Ягенке; но он понял также, что из этого ничего не выйдет и что вследствие гнева аббата, вследствие драки с Чтаном и Вильком – лучше, чтобы Збышко уехал, чем чтобы он стал причиной дальнейших споров и ссор.

– Эх! – сказал он наконец. – Меченосцев тебе все равно надо искать: так если нет другого выхода – поезжай. Да будет воля Господня!.. Но мне надо сейчас же ехать в Згожелицы; может быть, я как-нибудь уговорю Зыха и аббата!.. Зыха мне особенно жаль!

Тут он взглянул Збышке в глаза и внезапно спросил:

– А тебе Ягенки не жаль?

– Дай ей Бог здоровья и всего самого хорошего! – отвечал Збышко.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Мацько терпеливо ждал несколько дней, не придет ли из Згожелиц какое-нибудь известие и не переменит ли аббат гнев на милость, но наконец неизвестность и ожидание его истомили и он решил сам отправиться к Зыху. Все, что произошло, произошло без его вины, но он хотел знать, не обижен ли Зых и на него, потому что относительно аббата он был уверен, что гнев его будет отныне тяготеть и над Збышкой, и над ним самим.

Однако он хотел сделать все, что было в его силах, чтобы смягчить этот гнев, и поэтому дорогой думал и соображал, что он кому скажет в Згожели-цах, чтобы загладить обиду и сохранить старинную соседскую дружбу. Однако в голове у него как-то не клеилось, и он обрадовался, застав Ягенку одну; она встретила его по-старому, с поклоном, и поцеловала у него руку, словом – дружелюбно, хотя и с некоторой грустью.

– А отец дома? – спросил Мацько.

– Дома, только поехал с аббатом на охоту. Скоро вернутся...

Сказав это, она ввела его в комнаты. Они сели и довольно долго молчали. Наконец девушка первая спросила:

– Скучно вам одному в Богданце?

– Скучно, – отвечал Мацько. – Так ты уже знаешь, что Збышко уехал?

Ягенка тихо вздохнула:

– Знаю. Я узнала в тот самый день и думала... что он заедет хоть ласковое слово сказать, но он не заехал...

– Да как же ему было заехать? – сказал Мацько. – Аббат его в куски разорвал бы, да и отец твой ему не был бы рад.

Но она покачала головой и ответила:

– Э, я бы никому не позволила его обидеть!

Хоть и жестоко было сердце Мацьки, все же слова эти его растрогали; он привлек девушку к себе и сказал:

– Бог с тобой, девочка! Тебе грустно, да ведь и мне грустно, потому что одно скажу тебе: ни аббат, ни отец родной не любят тебя больше, чем я. Лучше мне было зачахнуть от той раны, от которой ты меня излечила, только бы он женился на тебе, а не на другой.

А на Ягенку нашла такая минута тоски и горя, когда человек не может ничего

утаить, и она сказала:

– Больше я уж никогда его не увижу, а если увижу, то с дочерью Юранда; но лучше бы мне раньше того глаза выплакать.

И подняв концы фартука, она закрыла ими глаза, наполненные слезами. Мацько сказал:

– Перестань. Поехать-то он поехал, но, бог даст, с дочерью Юранда не вернется!

– Что ему не вернуться? – откликнулась из-под фартука Ягуся.

– Да ведь Юранд не хочет отдавать дочь за него!

Тут Ягенка сразу открыла лицо и, обернувшись к Мацьке, быстро спросила:

– Он говорил мне, да правда ли это?

– Как Бог свят, правда!

– А почему?

– Кто его знает? Обет, что ли, какой, а против обета ничего не поделаешь. Понравился ему Збышко тем, что обещал помогать мстить, да и это не помогло. Ни к чему оказалось и сватовство княгини Анны. Юранд не хотел слушать ни просьб, ни уговоров, ни приказаний. Отвечал, что не может. Ну и видно, что есть такая причина, по которой он не может, а человек он крепкий: что сказал, от того не отступится. Ты, девушка, не падай духом и подбодрись. По совести должен был парень ехать, потому что добыть эти павлиньи перья он поклялся в костеле. А девушка ему покрывало на голову набросила в знак того, что хочет за него замуж идти, и благодаря этому не отрубили ему голову; за это он перед ней в долгу, нечего и говорить. Она, даст бог, принадлежать ему не будет, но он по закону принадлежит ей. Зых на него сердит, аббат небось проклинаят его на чем свет стоит, я тоже сердит, а ежели хорошенько подумать, так что ему было делать? Коли он перед ней в долгу, так надо было ему ехать. Ведь он же шляхтич! Но я тебе одно скажу: если немцы его не поколотят где-нибудь как следует, так он с чем поехал, с тем и вернется, – и вернется не только ко мне, старику, не только в Богданец, но и к тебе, потому что он страшно к тебе привязался.

– Где там он ко мне привязался! – сказала Ягенка.

Но в то же время она подвинулась к Мацьке и, толкнув его локтем, спросила:

– А почем вы знаете? А? Неправда небось?...

– Откуда я знаю? – сказал Мацько. – Потому что видел, как ему тяжело было уезжать. А еще было так, что как решено было, что надо ему ехать, я его и спрашиваю: "А не жалко тебе Ягенки?" А он отвечает: "Дай ей Бог здоровья и всего самого лучшего". И так стал вздыхать, точно у него кузнечный мех в груди!..

– Небось неправда! – несколько тише повторила Ягенка. – Но расскажите еще...

– Ей-богу, правда!.. Уж та ему после тебя так не понравится, да ты это и сама знаешь: крепче да красивей тебя девки по всей земле не найдешь. Тянуло его к

тебе, может быть, даже больше, чем тебя к нему.

– Где уж! – воскликнула Ягенка.

И сообразив, что впопыхах сболтнула, она закрыла румяное как яблоко лицо рукавом, а Мацько усмехнулся, провел рукой по волосам и сказал:

– Эх, кабы я был молод. Но ты приободришь, потому что я уже вижу, как что будет: поедет он, получит при мазовецком дворе шпоры, потому что там от границы недалеко и меченосцев сколько хочешь... Я знаю, конечно, что между немцами попадаются здоровые рыцари, но так думаю, что не всякий со Збышкой справится, здоров шельма драться. Погляди-ка, как он Чтана из Рогова и Вилька из Бжозовой мигмом разделал, а ведь они, говорят, мужики отличные и сильные как медведи. Привезет он свои перья, только Юрандовой дочки не привезет, потому что и я говорил с Юрандом и знаю, как обстоит дело. Ну а потом что? Потом он вернется сюда: куда же еще ему возвращаться?

– Когда еще он вернется!..

– Ну если не выдержишь, так тебе не на что обижаться. А пока что повтори-ка аббату и Зыху то, что я тебе сказал. Пускай они хоть немного поменьше на Збышку сердятся.

– Да как же мне говорить? Тятя больше расстроен, чем сердит, зато при аббате и поминать-то про Збышку опасно. Попало и мне, и тятю за слугу, которого я послала Збышке.

– За какого слугу?

– Да был у нас чех, которого тятя в плен взял под Болеславцем, хороший слуга и верный. Звали его Глава. Тятя мне его для услуг дал, потому что тот называл себя тамошним шляхтичем, а я дала ему хорошие латы и послала Збышке, чтобы он ему служил и охранял его, как надо, а если, упаси Господи, что случится, то чтобы дал знать... Дала я ему и кошелек на дорогу, а он поклялся мне спасением души, что до смерти будет верно служить Збышке.

– Славная ты девочка! Спасибо тебе. А Зых не был против?

– А как ему было быть против? Сначала он совсем не позволял, да как стала у него в ногах валяться, так и вышло по-моему. С тятей нетрудно было, но вот как аббат узнал об этом от своих скоморохов, то-то он стал ругаться, то-то сыр-бор загорелся – тятя даже на сеновал убежал. Только вечером сжалился аббат над моими слезами и даже мне бусы подарил... Да я рада была пострадать, только бы у Збышки было слуг больше.

– Ей-богу, не знаю, кого больше люблю: его или тебя? Да он и так много слуг взял с собой, и денег я ему дал, хоть он не хотел... Ну, положим, Мазо-вия не за горами...

Дальнейшую их беседу прервал собачий лай, голоса и звуки медных труб, раздавшиеся перед домом. Услышав их, Ягенка сказала:

– Тятя с аббатом вернулись с охоты. Пойдем на скамейку, что перед домом, потому что лучше, чтобы аббат издали вас увидел, чем сразу в комнатах.

Сказав это, она вывела Мацьку на крыльцо, с которого они увидели на покрытом снегом дворе кучку людей, лошадей, собак и настрелянных лосей и волков. Аббат, увидев Мацьку, прежде чем успел сойти с лошади, швырнул в его сторону копье, не для того, правда, чтобы попасть в него, но чтобы, таким образом, как можно яснее выразить свою ненависть к обитателям Богданца. Но Мацько издали снял перед ним шапку, точно ничего не заметил, а Ягенка не заметила и на самом деле, потому что больше всего поразило ее присутствие в свите аббата двух искателей ее руки.

– Чтан и Вильк приехали! – вскричала она. – Должно быть, в лесу с тятьей встретились.

У Мацьки при виде их прямо-таки старая рана заболела. Мгновенно в голове у него мелькнула мысль, что один из них может получить Ягенку, а с ней и Мочидолы, и землю аббата, и леса, и деньги... И вот огорчение вместе со злобой схватили его за сердце, в особенности же когда через минуту он увидел еще нечто. Вильк из Бжозовой, с отцом которого еще недавно хотел Драться аббат, подскочил теперь к его стремени, чтобы помочь ему слезть с коня, а аббат, слезая, дружески оперся о плечо молодого человека.

"Таким образом помирится аббат со старым Вильком, – подумал Мацько, – и отдаст в приданое за девушкой леса и землю".

Но эти неприятные мысли прервал голос Ягенки, которая в эту самую минуту сказала:

– Оправились они после того, как Збышко поколотил их, но хоть бы каждый день сюда приезжали, не будет по-ихнему.

Мацько взглянул: лицо девушки было красно, столько же от гнева, сколько от холода, несмотря на то что ей было известно, что Вильк и Чтан вступились на постоялом дворе за нее же и из-за нее же были избиты.

А Мацько ответил:

– Ну ты сделаешь, как аббат велит! А она ему на это:

– Нет, аббат сделает, как я захочу!

"Боже ты мой, – подумал Мацько, – и этот дурак Збышко от такой девки сбежал".

II

А между тем "дурак" Збышко уехал из Богданца с тяжелым сердцем. Во-первых, ему было как-то не по себе без дяди, с которым он с давних лет не расставался и к которому так привык, что сам теперь хорошенько не знал, как без него обойдется и на войне, и в дороге. Во-вторых, жаль ему было расставаться с Ягенкой, потому что хоть он и говорил себе, что едет к Данусе, которую любил всей душой, однако же ему бывало так хорошо с Ягенкой, что только теперь он почувствовал, как радостно было быть с ней и как грустно может быть без нее. И он сам удивлялся своей грусти и даже встревожился ею, потому что, если бы он скучал по Ягенке, как скучает брат по сестре, это было бы ничего. Но он заметил, что ему хочется обнимать ее и сажать на коня, потом снимать с седла, переносить через речки, выжимать воду из ее косы, ходить с нею по лесам, смотреть на нее и болтать с ней. Он так привык к ней и все это так ему нравилось, что теперь, задумавшись об

этом, он совсем забыл, что едет в дальний путь, в самую Мазовию, и вместо этого представилась ему та минута, когда Ягенка помогла ему в лесу совладать с медведем. И показалось ему, что это было вчера и что вчера же ходили они за бобрами к Одстайному озеру. Когда она вплавь пустилась доставать бобра, он ее не видал, а теперь казалось ему, что он ее видит, и тотчас же стал он "млеть" точно так же, как две недели тому назад, когда ветер слишком уж расшалился с Ягенкиной юбкой. Потом он вспомнил, как ехала она, нарядно одетая, в костел, в Кшесню, и как он тогда удивлялся, что такая простая девушка вдруг показалась ему дочерью знатного рода, едущей с целой свитой слуг. Все это привело к тому, что на сердце у него сделалось как-то беспокойно: и сладко, и грустно в одно и то же время; когда же он подумал, что мог сделать с ней все, чего ни пожелал бы, и как ее тоже влекло к нему, как она смотрела ему в глаза и как к нему прижималась, он едва усидел на лошади. "Кабы я где-нибудь повстречался с ней, да простился бы, да обнял на дороге, – говорил он себе, – так, может быть, мне бы легче было". Но в ту же минуту он почувствовал, что это неправда и что не стало бы ему легче, потому что при одной мысли о таком прощании ему становилось жарко, хотя на дворе слегка подморозило.

Наконец он испугался этих воспоминаний, слишком похожих на страсть, и стряхнул их с души, как сухой снег с одежды.

– Я еду к Данусе, к моей возлюбленной, – сказал он себе.

И тотчас же понял, что это – иная любовь, как бы более благоговейная и не так касающаяся тела. И вот постепенно, по мере того как мерзли у него в стременах ноги, а холодный ветер остужал кровь, все мысли его обратились к Данусе, дочери Юранда. Перед ней он действительно был в долгу. Если бы не она – давно бы его голова упала с плеч на краковской площади. Ведь когда она перед рыцарями и горожанами сказала: "Он мой", то тем самым вырвала его из рук палачей, и с той поры он принадлежит ей, как раб своему господину. Не он ее брал, но она его взяла; с этим никакое Юрандово сопротивление ничего не может поделать. Она одна могла бы прогнать его, как госпожа может прогнать слугу, хотя и тогда он ушел бы недалеко, потому что его связывает и собственная клятва. Но он подумал, что она его не отгонит, но скорее пойдет за ним от двора мазовецкого хоть на край света, и, подумав это, он стал славить ее в душе своей, в ущерб Ягенке, точно Ягенка была виновата, что его мучили соблазны и сердце его двоилось. Теперь не пришло ему в голову, что Ягенка вылечила старика Мацьку, а кроме того, что без ее помощи медведь, пожалуй, содрал бы кожу с его головы, и он нарочно восстанавливал себя против Ягенки, думая, что таким образом станет достоин Дануси и оправдается в собственных глазах.

В это время, ведя за собой навьюченного коня, догнал его посланный Ягенкой чех Глава.

– Слава Господу Богу нашему, – сказал он, низко кланяясь.

Збышко раза два видел его в Згожелицах, но теперь не узнал и ответил:

– Во веки веков. А кто ты такой?

– Ваш слуга, славный господин мой!

– Как мой слуга? Вот мои слуги, – сказал Збышко, указывая на двух турок, подаренных ему Завишей, и на двух рослых слуг, которые, сидя на мерилах, вели

рыцарских жеребцов. – Вот это мои люди, а тебя кто прислал?

– Панна Ягенка, дочь Зыха из Згожелиц.

– Панна Ягенка?

Збышко только что восстанавливал себя против нее, и сердце его еще полно было досады, и потому он сказал:

– Так вернись домой и поблагодари панну за ее доброту, потому что я не хочу брать тебя.

Но чех покачал головой:

– Я не вернусь. Меня вам подарили, а кроме того, я поклялся до смерти служить вам.

– Если тебя мне подарили, то ты мой слуга.

– Ваш, господин мой.

– И я велю тебе возвратиться.

– Я поклялся и хоть взят в плен под Болеславцем и стал ничтожным слугой, но я из благородного рода...

Но Збышко рассердился:

– Пошел прочь! Что такое? Против моей воли ты будешь служить мне? Ступай, не то прикажу натянуть лук.

Но чех спокойно отстегнул епанчу, подбитую волчьим мехом, подал ее Збышке и сказал:

– Панна Ягенка и это прислала вам, господин.

– Ты хочешь, чтобы я тебе кости переломал? – спросил Збышко, беря у слуги копьё.

– А вот и кошелек для вас, – отвечал чех.

Збышко замахнулся копьем, но вспомнил, что слуга, хоть он и пленник, происходит все же из хорошего рода, видно, он потому только и остался у Зыха, что ему не на что было выкупить себя; и Збышко опустил оружие.

А чех наклонился к его стремям и сказал:

– Не гневайтесь, господин! Если вы не велите мне ехать с вами, то я поеду за вами следом, потому что в том я поклялся спасением души.

– А если я велю убить или связать тебя?

– Если вы велите убить меня, то тут греха моего не будет, а если велите связать, то буду лежать так, пока не развяжут меня добрые люди или не съедят волки.

Збышко ничего не ответил, но тронул коня и поехал вперед, а за ним тронулись его люди. Чех с луком за спиной и с топором на плече тащился сзади, кутаясь в косматую шкуру зубра, потому что подул резкий ветер, принесший снеговую крупу.

Вьюга усиливалась с каждой минутой. Турки, несмотря на свои тулупы, коченели от нее, слуги Збышки стали похлопывать рука об руку, а сам он, тоже одетый недостаточно тепло, стал поглядывать на волчью епанчу, привезенную Главой, и через несколько времени велел турку подать ее.

Плотно запахнувшись в нее, вскоре он почувствовал, как теплота разливается по всему его телу. Особенно удобен был капюшон, закрывший глаза и значительную часть лица, так что ветер почти перестал докучать ему. Тогда он невольно подумал, что Ягенка хорошая девушка, и попридержал коня, потому что его разобрала охота расспросить чеха о ней и обо всем, что происходило в Згожелицах.

Поэтому, подозвав слугу, он сказал:

– А знает старый Зых, что панна послала тебя ко мне?

– Знает, – отвечал Глава.

– И не противился этому?

– Противился.

– Рассказывай, как дело было.

– Пан ходил по дому, а панна за ним. Он кричал, а она ничего, только как он к ней повернется, так она перед ним на колени. И ни слова. Наконец пан говорит: "Что ж, оглохла ты, что ничего не говоришь на мои слова? Говори! Если я позволю, так аббат мне голову с плеч снесет". Тут поняла панна, что настояла-таки на своем и давай благодарить со слезами. Пан ее упрекал, что она его подвела, и жаловался, что она все делает по-своему, а под конец сказал: "Обещай мне, что не побежишь тайком с ним прощаться, тогда позволю, а то нет". Огорчилась тогда панна, но обещала; и пан был рад, потому что оба они с аббатом страшно боялись, как бы ей не вздумалось повидаться с вашей милостью... Но этим дело не кончилось, потому что потом панна захотела послать двух лошадей, а пан был против; панна хотела послать епанчу и кошелек, а пан не хотел. Да что толку? Если бы ей пришла охота дом сжечь, пан и это позволил бы. Вот почему со мной два коня, епанча и кошелек...

"Хорошая девушка", – подумал Збышко. И, помолчав, спросил громко:

– А с аббатом трудно пришлось?

Чех усмехнулся, как сметливый слуга, отдающий себе отчет во всем, что происходит вокруг него, и сказал:

– Оба они делали это тайком от аббата, и я не знаю, что было, когда он узнал, потому что я уехал раньше этого. Аббат как аббат. Он и гаркнет иной раз на панну, а потом только и делает, что глазами за ней следит да смотрит, не больно ли ее обидел. Я сам видел, как раз он на нее накричал, а потом пошел к сундуку, принес ей цепочку такую, что лучше и в Кракове не найдешь, и говорит ей: "На". Она и с аббатом справится, коли он ее больше отца родного любит.

– Верно, что так?

– Ей-богу...

Тут они замолчали и продолжали путь среди ветра и снежной крупы; но вдруг Збышко сдержал коня, потому что с опушки леса послышался чей-то жалобный голос, наполовину заглушённый шумом деревьев:

– Добрые христиане, помогите в несчастье слуге божьему...

И в ту же минуту на дорогу выбежал человек, одетый не то по-духовному, не то по-светски, и, остановившись перед Збышкой, начал кричать:

– Кто бы ты ни был, господин, окажи помощь человеку и ближнему своему в тяжком несчастье.

– Что с тобой случилось и кто ты такой? – спросил молодой рыцарь.

– Я слуга божий, хоть и не священник еще. А случилось со мной то, что нынче утром убежала у меня лошадь, везшая сундуки с церковной утварью. Остался я один, без оружия, а уж вечер подходит, того и гляди, что в бору заревет лютый зверь. Пропаду я, если вы не спасете меня.

– Если бы ты погиб по моей вине, – отвечал Збышко, – то пришлось бы мне за твои грехи отвечать; но почему же я узнаю, что ты говоришь правду и что ты не бродяга какой-нибудь и не грабитель, каких много шатается по дорогам?

– Узнаешь по сундукам, господин. Многие отдали бы набитые дукатами кошельки, чтобы получить то, что находится в моих сундуках, но я даром уделю тебе часть, если только ты захватишь меня и мои сундуки.

– Ты говоришь, что ты слуга божий, а того не знаешь, что не ради земных, но лишь небесных наград должно помогать ближнему... Но как же ты сохранил сундуки, если везшая их лошадь убежала?

– Прежде чем я нашел лошадь, волки загрызли ее в лесу на поляне; сундуки целы остались, я же притащил их к дороге, чтобы ждать, не сжалятся и не помогут ли добрые люди.

Сказав это и желая доказать, что он говорит правду, незнакомец указал на два лубочных короба, лежащие под сосной. Збышко смотрел на него довольно недоверчиво, потому что человек не казался ему особенно честным, да и выговор его, хоть и довольно чистый, выдавал все же происхождение из отдаленных стран. Он, однако, не хотел отказать неизвестному в помощи и позволил ему вместе с его коробами, которые оказались довольно легкими, сесть на свободную лошадь, ведомую в поводу чехом.

– Да умножит Бог твои победы, могущественный рыцарь, – сказал незнакомец.

А потом, глядя на юное лицо Збышки, добавил вполголоса:

– А также и волосы на твоей бороде.

И вот он уже ехал возле чеха. Некоторое время он не мог разговаривать, потому что дул сильный ветер и в лесу стоял страшный шум, но когда несколько стихло, Збышко услышал у себя за спиной следующий разговор:

– Я не отрицаю, что ты был в Риме, но видом похож ты на немца, который только и знает, что лакать пиво.

– Бойся вечных мучений, – отвечал незнакомец, – потому что говоришь это человеку, который в прошедшую Пасху ел крутые яйца со святым отцом. Не говори мне в такой холод о пиве, а уж коли говоришь, так о подогретом говори; но если есть у тебя с собой фляга вина, то дай мне парочку глотков, а я скину тебе месяц с пребывания в чистилище.

– Ты не священник, я слышал, сам ты говорил это, так как же можешь скинуть мне месяц пребывания в чистилище?

– Я не священник, но голова у меня пробрита, потому что я получил на то разрешение, а кроме того, я везу с собой отпущения грехов и мощи.

– В этих коробах? – спросил чех.

– В этих коробах. А если бы вы увидели все, что у меня есть, то пали бы лицом на землю, и не только вы, но и все сосны в лесу, и все дикие звери.

Но чех, который был человек сообразительный и опытный, подозрительно посмотрел на продавца индульгенций и сказал:

– А лошадь волки съели?

– Съели, потому что они сродни дьяволу, но зато все полопались. Одного лопнувшего я своими глазами видел. Если у тебя есть вино, дай, потому что хоть ветер затих, но я промерз, сидя у дороги.

Но чех не дал вина, и снова все ехали молча; наконец продавец индульгенций сам начал расспрашивать:

– Вы куда едете?

– Далеко. Пока что в Серадзь. Ты с нами поедешь?

– Приходится. Выплюсь на конюшне, а завтра, быть может, этот благочестивый рыцарь подарит мне лошадь, и тогда я поеду дальше.

– Откуда же ты?

– Из Пруссии, из-под Мальборга.

Услышав это, Збышко повернул голову и сделал знак незнакомцу, чтобы тот приблизился.

– Ты из-под Мальборга? – сказал он. – Оттуда и едешь?

– Из-под Мальборга.

– Да ты что, не немец, что ли, что так хорошо на нашем языке говоришь? Как тебя зовут?

– Я немец, а зовут меня Сандерус, а на вашем языке я говорю потому, что родился в Торуня, где весь народ так говорит. Потом я жил в Мальборге, но и там то же самое. Ведь даже братья из ордена понимают ваш язык.

– А давно ты из Мальборга?

– Был я в Святой земле, потом в Константинополе и в Риме, откуда через Францию возвратился в Мальборг, а оттуда ездил в Мазовию, возя святые мощи, которые набожные христиане охотно покупают для спасения души.

– Ты в Плоцке был, а может быть, и в Варшаве?

– И там был, и там. Пошли Бог здоровья обеим княгиням. Недаром княгиню Александру даже прусские паны любят: благочестивая госпожа. Хотя и княгиня Анна, жена Януша, не хуже ее.

– Ты видел в Варшаве двор?

– Я застал его в Варшаве, а в Цеханове, где князь и княгиня приняли меня, как слугу божьего, гостеприимно и щедро одарили на прощание. Но и я оставил им реликвии, которые должны призвать на них благословение Божье.

Збышко хотел спросить о Данусе, но вдруг охватила его как бы некоторая робость и некоторый стыд, потому что он понял, что это было бы то же самое, что признаться в любви перед незнакомым человеком, да еще простого происхождения, который к тому же имел вид подозрительный и мог оказаться простым жуликом. Поэтому, помолчав, он спросил его:

– Какие же реликвии ты возишь?

– Возу и отпущения грехов, и разрешительные грамоты. Они разные бывают: есть полная, есть на пятьсот лет, и на триста, и на двести, и меньше, которые подешевле, чтобы и бедный люд мог покупать их и таким образом сокращать себе муки чистилища. Есть у меня отпущения прошедших грехов и будущих, но не думайте, господин, что деньги, за которые их покупают, я оставляю себе... Кусок черного хлеба да глоток воды – вот что приходится на мою долю, а все остальное, что собираю, я отвожу в Рим, чтобы со временем накопились деньги на новый крестовый поход. Правда, немало и жуликов ездит по свету, у которых все поддельное: и индульгенции, и реликвии, и печати, и свидетельства, таких святой отец справедливо преследует своими посланиями; но со мной приор серадзский поступил жестоко и несправедливо, потому что мои печати настоящие. Осмотрите, господин, воск и скажите сами.

– А что же серадзский приор?

– Ах, господин. Дай бог, чтобы я оказался не прав, но сдается мне, что он заражен еретическим учением Виклефа. Но если вы, как сказал мне ваш слуга, едете в Серадзь, то я предпочитаю не показываться ему на глаза, чтобы не вводить его в грех и не дать кошунствовать над святынями.

– Коротко говоря, это значит, что он счел тебя обманщиком и грабителем?

– О, если бы меня, господин мой! Я простил бы ему из любви к ближнему, как, впрочем, уже и сделал, но он кощунствовал над святыми моими товарами, за что, весьма опасаясь этого, будет он осужден без всякого снисхождения.

– Какие же у тебя святые товары?

– Такие, что и рассказывать-то тебе о них с покрытой головой не годится, но на сей раз, имея готовые отпущения грехов, даю вам, господин мой, разрешение не снимать капюшона, потому что опять дует ветер. За это, когда приедем на постоялый двор, вы купите у меня отпущеньице, и грех не будет зачтен вам. Чего только у меня нет! Есть копыто осла, на котором происходило бегство в Египет: оно найдено было вблизи пирамид. Король Арагонский давал мне за него пятьдесят дукатов чистым золотом. Есть у меня перо из крыл архангела Гавриила, уроненное им во время Благовещения; есть две головы перепелок, посланных израильтянам в пустыне, есть масло, в котором язычники хотели изжарить святого Иоанна; ступенька из лестницы, которую видел во сне Иаков; слезы Марии Египетской и немного ржавчины с ключей святого Петра... Но всего и пересказать не могу, во-первых, потому, что замерз, а слуга твой, господин, не хотел мне дать вина, а во-вторых, потому, что до вечера не кончил бы.

– Великие святыни, если настоящие, – сказал Збышко.

– Если настоящие! Возьми, господин, копьё из рук слуги и замахнись, потому что дьявол недалеко: он подсказывает тебе эти мысли. Держи его, господин, на расстоянии копья. А если не хочешь навлечь на себя несчастья, то купи у меня отпущение на этот грех, не то в течение трех недель умрет у тебя кто-то, кого ты любишь больше всего на свете.

Збышко испугался угрозы, потому что ему пришла в голову Дануся, и отвечал:

– Да ведь это не я не верю, а приор доминиканцев в Серадзи.

– Осмотрите, господин, сами воск на печатях; что же касается приора, то одному Богу ведомо, жив ли еще он, ибо скоро бывает возмездие Божье.

Но по приезде в Серадзь оказалось, что приор жив. Збышко даже отправился к нему, чтобы дать денег на две обеды, из которых одна должна была быть отслужена за здоровье Мацьки, а другая – чтобы Збышко благополучно добыл те павлиньи перья, за которыми ехал. Приор, как и многие ему подобные в тогдашней Польше, был чужеземец, родом из Цилии, но за сорок лет жизни в Серадзи хорошо научился польскому языку и был великим врагом меченосцев. Поэтому, узнав об обете Збышки, он сказал:

– Еще большее наказание Божье ждет их, но и тебя я не отговариваю от твоего намерения, во-первых, по той причине, что ты поклялся, а во-вторых, потому, что за то, что сделали они здесь, в Серадзи, польская рука никогда не оплатит им вдоволь.

– Что же они сделали? – спросил Збышко, который хотел знать обо всех преступлениях меченосцев.

В ответ старичок-приор развел руками и прежде всего стал громко читать: "Упокой, Господи", а потом сел, закрыл глаза и некоторое время молчал, как бы желая

собрать старые воспоминания, и, наконец, начал так:

– Привел их сюда Винцентий из Шамотур. Было мне тогда двенадцать лет, и я только что прибыл сюда из Цилии, откуда взял меня мой дядя Пет-цольдт, казнохранитель. Меченосцы ночью напали на город и тотчас его сожгли. Мы со стен видели, как на площади избивали мечами мужчин, детей и женщин и как бросали в огонь грудных младенцев... Видел я и ксендзов убитых, ибо в ярости своей они не пропускали никого. И случилось так, что приор Миколай, будучи родом из Эльблонга, знал комтура Германа, который предводительствовал войском. Вышел он тогда со старшими из братии к этому лютому рыцарю и, став перед ним на колени, заклинал его по-немецки пожалеть христианскую кровь. Тот ответил ему: "Не понимаю", – и приказал продолжать резню. Тогда перерезали и монахов, а с ними и дядю моего Петцольдта, а Миколоя привязали к конскому хвосту... И к утру в городе не было ни одного живого человека, кроме меченосцев да меня, потому что я спрятался на балке от колокола. Бог уже покарал их за это под Пловцами, но они непрестанно стараются погубить это христианское королевство и будут стараться до тех пор, пока рука Божья не сотрет их самих с лица земли.

– Под Пловцами, – сказал Збышко, – погибли почти все воины из моего рода; но я их не жалею, раз Господь Бог даровал королю Локотку столь великую победу и истребил двадцать тысяч немцев.

– Ты дождешься еще большей войны и больших побед, – сказал приор.

– Аминь, – отвечал Збышко.

И они стали говорить о другом. Молодой рыцарь расспросил немного о продавце индульгенций, с которым повстречался дорогой, и узнал, что по дорогам шатается много подобных мошенников, дурачащих легковверных людей. Говорил ему также приор, что существуют папские буллы, повелевающие епископам преследовать подобных продавцов и тех, у кого не окажется настоящих грамот и печатей, тотчас судить. Так как свидетельства этого бродяги казались ему подозрительными, то приор хотел тотчас отправить его на суд епископа. Если бы оказалось, что он действительно имеет право продавать индульгенции, то ему не причинили бы никакого зла. Но он предпочел убежать. Однако, возможно, что он боялся трудностей самого путешествия. Но благодаря этому бегству он стал еще более подозрителен.

Под конец беседы приор пригласил Збышку отдохнуть и переночевать в монастыре, но тот не мог на это согласиться, ибо хотел вывесить перед постоялым двором бумагу с вызовом "на пеший или конный бой" всех рыцарей, которые бы не признали, что панна Данута, дочь Юранда, – прекраснейшая и добродетельнейшая девица в королевстве; между тем вывешивать такой вызов на монастырской стене было совершенно невозможно. Ни приор, ни другие ксендзы не хотели даже написать ему вызов, чем молодой рыцарь был весьма озабочен и не знал, что ему делать. Наконец, по возвращении на постоялый двор, пришло ему в голову призвать на помощь продавца индульгенций.

– Приор не знает, жулик ты или нет, – сказал ему Збышко, – он говорит так: чего ему было бояться епископского суда, если у него есть подлинные свидетельства?

– Я и не боюсь епископа, – отвечал Сандерус, – а боюсь монахов, которые не знают толка в печатях. Я хотел ехать в Краков, но так как у меня нет лошади, то приходится ждать, пока кто-нибудь мне ее не подарит. А пока – pošлю письмо, к которому приложу собственную печать.

– Я тоже подумал, что если окажется, что ты знаешь грамоту, то ты не проходимец. Но как же ты пошлешь письмо?

– Через какого-нибудь путника или странствующего монаха. Разве мало народу ездит в Краков ко гробу королевы?

– А мне сумеешь написать кое-что?

– Напишу, все напишу, что прикажете, гладко и толково, даже хоть на доске.

– Лучше на доске, – сказал обрадованный Збышко, – не разорвется и пригодится на будущее время.

И вот когда через несколько времени слуги отыскали и принесли свежую доску, Сандерус принялся за писание. Что он написал, того Збышко прочесть не мог, но тотчас велел повесить вызов на воротах, а под вызовом щит, который попеременно охраняли турки. Тот, кто ударил бы в щит копьем, тем самым показал бы, что принимает вызов. Однако в Серадзи не было, очевидно, охотников до таких дел, ибо ни в этот день, ни до самого полудня следующего щит ни разу не зазвенел от удара, а в полдень несколько смущенный юноша отправился в дальнейший путь.

Но перед отъездом к Збышке еще раз пришел Сандерус и сказал:

– Если бы вы, господин, вывесили щит в немецких землях, то уж наверняка бы теперь слуга застегивал на вас ремни панциря.

– Как? Ведь у меченосца, как у монаха, не может быть дамы, в которую он влюблен, потому что это ему запрещено.

– Не знаю, запрещено им это или нет, но знаю, что дамы у них бывают. Правда, меченосец не может, не совершая греха, выйти на поединок, потому что дает клятву биться только в сражениях, да и то за веру, но там, кроме меченосцев, есть множество светских рыцарей из отдаленных стран; рыцари эти приходят на помощь к прусским панам. Они только и смотрят, с кем бы сцепиться, а особенно французы.

– Бона! Видал я их под Вильной, а бог даст – увижу и в Мальборге. Мне нужны павлиньи перья со шлемом, потому что я поклялся достать их, понимаешь?

– Купите, господин, у меня две-три капли пота святого Георгия, которые пролил он, сражаясь со змеем. Ни одна реликвия лучше их не может пригодиться рыцарю. А если за это вы отдадите мне коня, на которого сажали в дороге, то я вам прибавлю еще и отпущение грехов за пролитие той крови христианской, которую вы прольете в битве.

– Отстань, а то рассержусь! Не стану я покупать твоего товара, пока не узнаю, что он хорош.

– Вы едете, по словам вашим, к мазовецкому двору, к князю Янушу. Спросите там, сколько они купили у меня реликвий: и сама княгиня, и рыцари, и панны на тех свадьбах, где я был.

– На каких свадьбах? – спросил Збышко.

– Да всегда перед постом свадьбы бывают. Рыцари наперебой спешили жениться, потому что поговаривают, будто будет война у польского короля с немцами из-за Добжинской земли... Вот рыцарь и думает: "Одному Богу ведомо, останусь ли я в живых" – и хочет пока что изведать счастья со своей невестой.

Збышку очень заинтересовало известие о войне, но еще больше то, что говорил Сандерус о свадьбах, и потому он спросил:

– А какие девушки вышли замуж?

– Придворные княгини. Не знаю, осталась ли хоть одна в девушках, потому что слышал, будто княгиня говорила, что придется ей искать новых прислужниц.

Услышав это, Збышко замолк, но потом несколько изменившимся голосом спросил:

– А панна Данута, дочь Юранда, имя которой написано на доске, тоже вышла замуж?

Сандерус задумался над ответом, во-первых, потому что сам хорошенько не знал, а во-вторых, он подумал, что, держа рыцаря в неизвестности, получит над ним некоторое преимущество и сумеет его лучше использовать. Он уже решил, что надо держаться за этого рыцаря, у которого была хорошая свита и все необходимое. Сандерус знал толк в людях и вещах. Крайняя молодость Збышки позволяла ему предполагать, что это пан благородный, неосторожный и легко сорящий деньгами. Он уже заметил дорогие миланские латы и огромных боевых коней, которыми не мог владеть первый встречный; поэтому он решил, что при этом юноше ему обеспечено и гостеприимство при дворах, и достаточно случаев продать индальгенции, и безопасность в дороге, и наконец – достаточное пропитание, которое ему нужно было прежде всего.

Поэтому, услышав вопрос Збышки, он наморщил лоб, поднял глаза кверху, как бы напрягая память, и отвечал:

– Панна Данута, дочь Юранда... А откуда она?

– Данута, дочь Юранда, из Спыхова.

– Видал-то я всех их, да как которую звали, не очень помню.

– Совсем еще молоденькая. Она на лютне играет и развлекает княгиню песнями.

– А... молоденькая... на лютне играет... выходили и молоденькие... Она не черная, как агат?

Збышко вздохнул с облегчением.

– Это не та. Та бела, как снег, только щеки у нее румяные и белокурая. Сандерус отвечал:

– Одна, черная, как агат, осталась при княгине, а другие почти все вышли замуж.

– Но ведь ты говоришь, что "почти все", значит, не все до единой? Ради бога, если ты хочешь получить от меня что-нибудь, припомни.

– Этак дня в три, в четыре я бы припомнил, а всего приятнее было бы мне получить

коня, который вез бы меня и святые мои товары.

– Так получишь его, скажи только правду.

Тут чех, с самого начала слушавший этот разговор и усмехавшийся в руку, проговорил:

– Правда будет известна при мазовецком дворе. Сандерус пристально посмотрел на него и сказал:

– А ты думаешь, я боюсь мазовецкого двора?

– Я не говорю, что ты боишься мазовецкого двора, а говорю только, что ни сейчас, ни через три дня не уехать тебе на этом коне, а если окажется, что ты соврал, то и на собственных ногах тебе не убраться, потому что его милость велит их тебе переломать.

– Обязательно, – сказал Збышко.

Сандерус подумал, что ввиду такого обещания лучше быть осторожным, и отвечал:

– Если бы я хотел солгать, то ответил бы сразу, что она замуж вышла или что не вышла, а я сказал: не помню. Если бы был у тебя ум, то по этому ответу ты бы сразу постиг мою добродетель.

– Не брат мой ум твоей добродетели, потому что она, пожалуй, псу родная сестра.

– Не лает моя добродетель, как твой ум, а кто при жизни лает, тому, может статься, после смерти придется выть.

– Это верно, что добродетель твоя не будет выть после смерти: она будет скрежетать зубами, если только не потеряет их при жизни, на службе у дьявола.

И они стали браниться, потому что язык у чеха был "хорошо привешен", и на каждое слово немца он находил два. Но тем временем Збышко приказал готовиться к отъезду, и вскоре они тронулись в путь, расспросив наперед хорошенько бывалых людей о дороге в Ленчицу. Выехав из Серадзи, они вскоре вступили в глухие леса, которыми была покрыта большая часть страны. Но среди этих лесов шла большая дорога, местами даже окопанная канавами, местами же, на низинах, вымощенная кругляками: память о хозяйстве короля Казимира. Правда, после его смерти, во время военной смуты, возникшей благодаря наленчам и гжимальтам, дороги пришли в некоторый упадок, но при Ядвиге, после успокоения королевства, снова в руках пришлого люда заходили на болотах лопаты, в лесах – топоры, и под конец ее жизни купец уже мог вести нагруженные свои воза из города в город, не боясь, что они сломаются на выбоинах или завязнут в грязи. Опасность на дорогах могли представлять разве только дикие звери да разбойники, но от зверей по ночам охраной служил огонь, а днем – лук, разбойников же и бродяг было здесь меньше, чем в пограничных местностях. Впрочем, тому, кто ехал с вооруженным отрядом, можно было ничего не бояться.

Збышко тоже не боялся ни разбойников, ни вооруженных рыцарей, потому что охватила его мучительная тревога, и всей душой своей находился он при мазовецком дворе. Застанет ли он свою Данусю еще придворной княгини, или она уже стала женой какого-нибудь мазовецкого рыцаря, этого он сам не знал и с утра до ночи

мучился над этим вопросом. Иногда ему казалось невозможным, чтобы она забыла о нем, но минутами ему приходило в голову, что, быть может, Юранд приехал ко двору из Спыхова и выдал девушку за какого-нибудь соседа или приятеля. Ведь он еще в Кракове говорил, что Дануся – не для Збышка и что ему он не может ее отдать; очевидно, значит, что обещал ее кому-нибудь другому, очевидно, был связан клятвой, и теперь эту клятву исполнил. Когда Збышко думал об этом, ему казалось вероятным, что он уже не увидит Данусю в девушках. Тогда он призывал Сандеруса и снова его расспрашивал, снова выпытывал, но тот запутывал дело все больше. Иногда он уже вспоминал придворную девушку, дочь Юранда, и ее свадьбу, но потом вдруг засовывал палец в рот, задумывался и отвечал: "Пожалуй, не та". Даже в вине, которое должно было прояснять его мысли, не обретал немец памяти и все время держал молодого рыцаря между смертельным страхом и надеждой.

И вот ехал Збышко в тоске, огорчении и полном неведении. Дорогой он Уже вовсе не думал ни о Богданце, ни о Згожелицах, а только о том, что ему надлежит делать. Прежде всего нужно было ехать к мазовецкому двору, чтобы узнать правду, и он ехал поспешно, останавливаясь лишь для кратких ночлегов в усадьбах, на постоянных дворах и в городах, чтобы не загнать лошадей. В Ленчице он снова велел вывесить на воротах доску с вызовом, рассуждая так, что остается ли еще Дануся в девушках, вышла ли замуж, во всяком случае, она дама его сердца и он должен за нее сражаться. Но в Ленчице не всякий умел прочесть вызов, а те рыцари, которым прочли его грамотеи-клирики, пожимали плечами, не зная чужеземного обычая, и говорили: "Это дурак какой-то едет, потому что как с ним кто-нибудь может согласиться или поспорить, коли сам никогда этой девицы в глаза не видал?" А Збышко продолжал путь все с большей тревогой и все поспешнее. Никогда не переставал он любить свою Данусю, но в Богданце и в Згожелицах, чуть не каждый день "толкую" с Ягенкой и любясь ее красотой, он не так часто думал о Данусе; теперь же и днем и ночью стояла она у него перед глазами и не улетучивалась ни из памяти, ни из мыслей. Он видел ее перед собой даже во сне, с непокрытой головой, с лютней в руке, в красных башмачках и в веночке. Она протягивала к нему руки, а Юранд оттаскивал ее от него. По утрам, когда сны рассеивались, тотчас на место их приходила тоска, еще большая, чем была раньше, – и никогда в Богданце Збышко не любил эту девушку так, как полюбил ее теперь, когда боялся, что ее у него отняли.

Также приходило уму в голову, что, вероятно, ее выдали против ее воли, и он не осуждал ее, потому что, будучи еще ребенком, она не могла иметь своей воли. Зато он возмущался Юрандом и княгиней, а когда думал о муже Дануси, то сердце его как бы подымалось в груди к самому горлу, и он грозно поглядывал на слуг, везших оружие. Он решил, что не перестанет служить ей и что если бы даже застал ее чужой женой, то и тогда положит к ее ногам павлиньи перья. Но в этой мысли было больше печали, чем утешения, потому что он решительно не знал, что будет делать дальше.

Утешала его только мысль о большой войне. Хотя ему и не хотелось без Дануси жить на свете, все же он не обещал себе во что бы то ни стало погибнуть, а, напротив, чувствовал, что война так захватит его душу и память, что он избавится от всех других огорчений и забот. А большая война, казалось, висела в воздухе. Неизвестно было, откуда берутся вести о ней, потому что между королем и орденом господствовал мир, однако всюду, куда ни приезжал Збышко, только и разговоров было, что о войне. У людей было как бы предчувствие, что война неизбежна, и некоторые говорили откровенно: "Зачем же нам было объединяться с Литвой, как не против этих волков-меченосцев? Надо раз навсегда покончить с ними, чтобы они больше не терзали наших внутренностей". Другие же говорили: "Сумасшедшие монахи!

Мало им было Пловцов? Над ними и так витает смерть, а они еще проглотили Добжинскую землю, которую им придется выплюнуть вместе с кровью..." И вот во всех землях королевства спокойно, без суетливости готовились к войне, как обычно готовятся к битве не на жизнь, а на смерть, но с глухим упорством сильного народа, который слишком долго сносил обиды и наконец стал готовиться к страшной мести. Во всех усадьбах встречал Збышко людей, уверенных, что не нынче, так завтра придется садиться на коня, и даже удивлялся этому, потому что, думая, как и прочие, что дело должно дойти до войны, не слышал все-таки, что она наступит так скоро. Ему не пришло в голову, что на этот раз желание народа предупреждает события. Он верил другим, а не себе, и радовался при виде этих военных приготовлений, которые встречал на каждом шагу. Повсюду все иные заботы отступали на задний план перед заботами о лошадях и оружии, всюду заботливо осматривались копья, мечи, топоры, рогатины, шлемы, панцири, ремни у лат... Кузнецы день и ночь стучали молотами по железу, выковывая толстые, тяжелые латы, которые едва могли бы поднять изнеженные рыцари Запада, но которые с легкостью носили крепкие обладатели земель Великой и Малой Польши. Старики вынимали из сундуков, стоящих в чуланах, заплесневевшие мешки с гривнами, чтобы снарядить на войну детей. Однажды Збышко ночевал у богатого шляхтича Бартоша из Беляв, который, имея двадцать два здоровых сына, заложил большие пространства земли Ловичскому монастырю, чтобы купить двадцать два панциря, столько же шлемов и других частей оружия. Поэтому Збышко, хотя и не слышал о том в Богданце, думал все же, что ему сейчас же придется отправляться в Пруссию, и благодарил Бога, что он так хорошо снабжен всем, что необходимо в походе. В самом деле, оружие его всюду вызывало восторг. Его принимали за сына воеводы, а когда он говорил людям, что он только простой шляхтич и что такое оружие можно купить у немцев, только бы хорошо расплатиться при помощи топора, то всех охватывало желание поскорее идти на войну. И многие при виде этих лат не могли побороть зависти, догоняли Збышку на большой дороге и спрашивали: "Не сразишься ли, поставив в заклад эти латы?" Но он, спеша, не хотел сражаться, а чех натягивал лук. Збышко перестал даже вывешивать на постоянных дворах доску с вызовом, потому что понял, что, чем глубже заезжает он от границ в страну, тем меньше людей понимают, в чем тут дело, и тем более встречается таких, которые благодаря этому считают его за дурака.

В Мазовии о войне говорили меньше. Думали и здесь, что она будет, но не знали когда. В Варшаве все было спокойно, тем более что двор находился в Цеханове, который князь Януш перестраивал, а вернее возводил сызнова: после литовского нашествия от старого Цеханова оставался только замок. В Варшавской крепости Збышка принял Ясько Соха, староста замка, сын воеводы Абрахама, павшего у Ворсклы. Ясько знал Збышку, так как был с княгиней в Кракове, и принял его с радостью. Но Збышко, прежде чем сесть за стол, принялся расспрашивать о Данусе и о том, не вышла ли и она замуж одновременно с прочими девушками княгини.

Но Соха не мог ему на это ответить. Князь и княгиня с ранней осени находились в Цехановском замке. В Варшаве же для охраны осталась только горсть лучников да он. Он слышал, что в Цеханове были разные празднества и свадьбы, как вообще бывает перед рождественским постом, но кто из девушек вышел замуж, а кто остался, про то он как человек женатый, не расспрашивал.

— Я только думаю, — сказал он, — что дочь Юранда не вышла, потому что без Юранда это произойти не могло, а я не слышал, чтобы он приезжал. Гостят у князя два меченосца, комтуры, один из Янсборга, а другой из Щитна; с ними есть, вероятно, еще какие-нибудь заграничные гости, а Юранд в таких случаях никогда не приезжает, потому что вид белого плаща тотчас приводит его в бешенство. А коли

не было Юранда, так не было и свадьбы. Но если хочешь, я пошлю гонца, чтобы он разузнал, и велю ему тотчас вернуться; хотя я уверен, что ты застанешь дочь Юранда еще в девушках.

– Я сам завтра же поеду, спасибо за утешение. Как только лошади отдохнут, так и поеду, потому что не буду спокоен, пока не узнаю правды. Но все-таки спасибо тебе, потому что сейчас мне стало легче.

Однако Соха этим не ограничился и стал расспрашивать шляхту, случайно бывшую в замке, и солдат, не слышал ли кто о свадьбе дочери Юранда. Однако никто не слышал, хотя нашлись такие, которые не только были в Цеханове, но и присутствовали на некоторых свадьбах. "Может быть, – отвечали они, – кто-нибудь женился на ней в последние недели и даже дни". В самом деле, могло быть и так, потому что в те времена люди не тратили времени на размышления. Но пока что Збышко отправился спать очень ободренный. Уже лежа в постели, он подумал, не прогнать ли завтра же Сандеруса, но ему пришло в голову, что этот прохвост может пригодиться ему своим знанием немецкой речи, когда Збышко отправится сражаться с Лихтенштейном. Он также подумал, что Сандерус не обманул его, и хотя он был невыгодным приобретением, потому что ел и пил на постоянных дворах за четверых, но все же оказался довольно услужливым и даже обнаруживал некоторую привязанность к новому господину. Кроме того, он умел писать, чем превосходил не только слугу-чеха, но и самого Збышку.

Все это сделало то, что молодой рыцарь позволил ему ехать с собой в Це-ханов, чему Сандерус был рад не только в отношении "корма", но и потому, что заметил, что, находясь в хорошем обществе, встречает больше к себе доверия и легче находит покупателей на свой товар. После еще одной ночевки, прошедшей в Новосельске, едучи не слишком быстро, но и не слишком медленно, на другой день под вечер увидели они стены Цехановского замка. Збышко остановился на постоялом дворе, чтобы надеть латы и въехать в замок, как подобало рыцарю, в шлеме и с копьем в руке, потом сел на огромного, отбитого в сражении коня и, осенив путь крестным знаменем, тронулся.

Но не проехал он и десяти шагов, как ехавший сзади чех поравнялся с ним и сказал:

– Ваша милость, за нами едут какие-то рыцари, кажется, меченосцы.

Збышко повернул коня и не далее как в полуверсте за собой увидел блестящую кавалькаду, во главе которой ехали два рыцаря на крепких поморских конях, оба в полном вооружении, в белых плащах с черными крестами и в шлемах с высоким пучком павлиньих перьев.

– Богом клянусь, меченосцы, – сказал Збышко.

И невольно он наклонился в седле и опустил копье до конского уха. Видя это, чех поплевал на руки, чтобы топориче в них не скользило.

Челядинцы Збышки, люди бывалые и знающие военный обычай, тоже приготовились, правда, не к бою, потому что в рыцарских встречах слуги не принимали участия, но для того, чтобы отмерить место для конной битвы или утоптать покрытую снегом землю для пешей. Один только чех, будучи шляхтичем, готовился к работе, но и он надеялся, что прежде чем напасть, Збышко вступит в переговоры, и в душе даже очень был удивлен, что молодой рыцарь наклонил копье, не сделав вызова.

Но и Збышко вовремя опомнился. Он вспомнил свой безумный поступок под Краковом, когда неосмотрительно хотел налететь на Лихтенштейна, и все несчастья, которые за этим последовали. Поэтому он поднял копье, отдал его чеху и, не обнажая меча, поехал навстречу рыцарям. Приблизившись, он увидел, что кроме тех двух с ними был еще третий, также с перьями на голове, и четвертый – без лат и с длинными волосами; он казался мазуром.

Видя их, он сказал себе:

– Я поклялся своей госпоже достать не три пучка перьев, а столько, сколько на руках пальцев; но если это не послы, то три пучка я мог бы достать сейчас.

Но он подумал, что это, должно быть, именно какие-нибудь послы, прибывшие к мазовецкому князю, и, вздохнув, громко воскликнул:

– Слава Господу Богу нашему Иисусу Христу.

– Во веки веков, – отвечал длинноволосый невооруженный всадник.

– Да поможет вам Бог.

– И вам.

– Слава святому Георгию.

– Это наш патрон. Здравствуйте.

Они поклонились друг другу, а затем Збышко спросил, кто он такой, какого герба, прозвища и откуда направляется к мазовецкому двору, а длинноволосый рыцарь объявил, что зовут его Эндрек из Кропивницы и что он ведет к князю гостей: брата Готфрида, брата Ротгера и пана Фулька де Лорш из Лотарингии, который, находясь в гостях у меченосцев, захотел собственными глазами увидеть мазовецкого князя, а особенно княгиню, дочь славного Кейстута.

Когда произносились их имена, иностранные рыцари, прямо сидя на конях, один за другим наклоняли украшенные железными шлемами головы, ибо, судя по блестящему вооружению Збышки, они полагали, что князь выслал к ним навстречу какого-нибудь вельможу, а может быть, даже родственника или сына. Между тем Эндрек из Кропивницы продолжал:

– Комтур, а если сказать по-нашему – староста из Янсборга гостит у князя, которому и рассказал об этих трех рыцарях, которым хотелось бы приехать, но они не смеют этого сделать, в особенности рыцарь из Лотарингии; живя вдали, он думал, что за землей меченосцев живут сарацины, с которыми не прекращается война. Князь, как учтивый владыка, тотчас послал меня на границу, чтобы я безопасно проводил их между замками.

– Значит, без вашей помощи они не могли бы проехать?

– Народ наш ненавидит меченосцев, не только за их набеги (потому что ведь и мы к ним заглядываем), но и за их коварство: ведь если меченосец кого-нибудь обнимает, то спереди он его целует, а сам в то же время готов сзади пырнуть ножом; обычай подлый и нам, мазурам, противный... Еще бы! Ведь в гостеприимстве у

нас никто не откажет даже немцу и не обидит гостя, но дорогу охотно ему преградит. А есть и такие, которые ничего больше и не делают ради мести и славы, которой дай бог всякому.

– Кто же между вами самый славный?

– Есть один такой, что немцу лучше увидеть смерть, чем его, зовут его Юранд из Спыхова.

Сердце у молодого рыцаря вздрогнуло, когда он услышал это имя, и он тотчас решил расспросить Ендрека из Кропивницы.

– Знаю, – сказал он, – слышал, это тот самый, дочка которого, Данута, была придворной у княгини, пока не вышла замуж.

И сказав это, он стал внимательно смотреть в глаза молодому рыцарю, почти не дыша; но тот с большим удивлением ответил:

– А вам кто сказал это? Ведь она еще девочка. Правда, бывает, что и такие выходят замуж, но дочь Юранда не выходила. Шесть дней тому назад я выехал из Цеханова и тогда видел ее при княгине. Как же она могла выйти замуж постом?

Слыша это, Збышко принужден был напрячь всю силу воли, чтобы не обнять мазура и не воскликнуть: "Пошли тебе Бог за эту весть", – но он поборол себя и сказал:

– А я слышал, что Юранд выдал ее за кого-то.

– Княгиня, а не Юранд, хотела ее выдать, но против воли Юранда не могла сделать этого. В Кракове она хотела выдать ее за одного рыцаря, который поклялся девочке в верности и которого она любит.

– Любит? – воскликнул Збышко.

В ответ на это Ендрек быстро взглянул на него, улыбнулся и сказал:

– Что-то уж очень вы расспрашиваете про девочку.

– Я расспрашиваю о знакомых, к которым еду.

Лицо Збышки еле видно было из-под шлема, только нос, рот да часть щек, но зато нос и щеки были так красны, что насмешливый и лукавый мазур сказал:

– Должно быть, от мороза покраснело у вас лицо, как пасхальное яичко. Юноша еще больше смутился и отвечал:

– Должно быть.

Они тронулись в путь и некоторое время ехали молча; лошади фыркали, выпуская из ноздрей клубы пара; рыцари начали разговаривать, и вскоре Ендрек из Кропивницы спросил:

– Как вас зовут-то? Я плохо расслышал.

– Збышко из Богданца.

– Батюшки! Да ведь и того, что дал клятву Юрандовой дочери, зовут так же.

– А вы думали, что я отопрюсь? – поспешно и гордо ответил Збышко.

– Да и не к чему. Так это вы тот Збышко, которому девочка набросила покрывало на голову? Вернувшись из Кракова, девушки княгини ни о чем больше и не говорили, как только о вас. Так это вы! Эх, вот радость-то при дворе будет... Ведь и княгиня вас любит.

– Пошли ей Господь! И вам также за добрую весть. Как сказали мне, что она замуж вышла, так я и обомлел.

– Чего ей было выходит?... Такая девушка – кусок лакомый, потому что целый Спыхов за ней пойдет, но хоть много при дворе красивых парней, все-таки ни один не заглядывал ей в глаза, потому что каждый чтит и ее поступок, и вашу клятву. Да и княгиня не допустила бы этого. Эх! То-то радость будет. По правде сказать, иной раз подтрунивали над девочкой. Иной раз скажет ей кто-нибудь: "Не вернется твой рыцарь", – а она только ножками топает: "Вернется! Вернется!" А когда кто-нибудь говорил ей, что вы на другой женились, тогда дело и до слез доходило.

Слова эти растрогали Збышку, но в то же время охватил его гнев на людские толки, и он сказал:

– Того, кто про меня такие слова брехал, я вызову. Но Ендрек из Кропивницы начал смеяться:

– Бабы болтали. Баб, что ли, вы будете вызывать? С мечом против веретена ничего не поделаешь.

Збышко, довольный тем, что Бог послал ему такого веселого спутника, начал его расспрашивать о Данусе, потом об обычаях мазовецкого двора, потом опять о Данусе, потом о князе Януше, о княгине и опять о Данусе; наконец, вспомнив о своем обете, он рассказал Ендреку, что слышал дорогой насчет войны; как люди готовятся к ней, как ждут ее со дня на день, а под конец спросил, так же ли думают и в мазовецких княжествах.

Но Ендрек не думал, чтобы война была так близка. Люди говорят, что иначе и быть не может, но он слышал, как однажды сам князь говорил Миколаю из Длуголяса, что меченосцы поджали хвост и что если бы король настаивал, то они отдали бы обратно и занятую ими Добжинскую землю, потому что боятся его, или, по крайней мере, будут тянуть дело, пока хорошенько не подготовятся.

– Впрочем, – сказал он, – князь недавно был в Мальборге, где, ввиду отсутствия великого магистра, принимал его и устраивал в честь его турниры великий маршал, а теперь у князя гостят комтуры и вот, едут еще новые гости...

Однако тут он с минуту подумал и сказал:

– Говорят люди, что эти меченосцы не без причины сидят у нас и у князя Земовита в Плоцке. Будто бы хочется им, чтобы в случае войны князя наши не помогли королю польскому, а помогли бы им; если же не удастся склонить их к этому, то чтобы они хоть остались в стороне и не воевали... Но этого не будет...

– Бог даст – не будет. Как же им усидеть дома? Ведь ваши князья подчинены Польскому королевству. Я думаю, вы не усидите.

– Не усидим, – отвечал Ендрек из Кропивницы.

Збышко снова взглянул на обоих рыцарей и на их павлиньи перья.

– Значит, и эти за тем же едут?

– Меченосцы, может быть, и за этим. Кто их знает?

– А третий?

– Третий из любопытства едет.

– Должно быть, знатный какой-нибудь.

– Еще бы! Едет за ним три воза с вещами да девять слуг. Вот бы с таким сразиться. Даже слюнки текут.

– Да нельзя?

– Куда там! Ведь князь велел мне оберегать их. До самого Цеханова волос не упадет с их головы.

– А если бы я их вызвал? А если бы они захотели со мной сразиться?

– Тогда пришлось бы вам сначала сразиться со мной, потому что, пока я жив, из этого ничего не выйдет.

Збышко, услышав это, дружелюбно посмотрел на молодого рыцаря и сказал:

– Вы понимаете, что такое рыцарская честь! С вами я драться не буду, потому что вам я друг, но в Цеханове, даст бог, найду случай придраться к немцам.

– В Цеханове делайте себе, что хотите. Не обойдется там и без каких-нибудь состязаний, а значит, может дело дойти и до поединка, только бы князь и комтуры дали позволение.

– Есть у меня доска, на которой написан вызов каждому, кто откажется признать, что Данута, дочь Юранда, добродетельнейшая и прекраснейшая девица в мире. Но знаете? Люди везде только плечами пожимали да смеялись.

– Да ведь это же чужеземный обычай и, по правде сказать, глупый; его у нас не знают, разве только где-нибудь недалеко от границы. Вот и этот, из Лотарингии, задевал по дороге шляхту, приказывая какую-то свою даму признавать выше всех других. Но его никто не понимал, а я до драки не допускал.

– Как, он приказывал признавать его даму выше всех других? Боже ты мой! Да что, у него стыда нет, что ли?

И он посмотрел на зарубежного рыцаря, точно хотел видеть, каков бывает человек, у которого нет стыда, но в глубине души должен был признать, что Фульк де Лорш вовсе не похож на какого-нибудь проходимца. Напротив, из-под опущенного забрала

виднелись добрые глаза и молодое, полное какой-то грусти лицо.

– Сандерус, – закричал вдруг Збышко.

– Здесь, – отвечал немец, приближаясь к нему.

– Спроси у этого рыцаря, кто самая добродетельная и прекрасная девица в мире.

– Кто прекраснейшая и добродетельнейшая девица в мире? – спросил Сандерус рыцаря.

– Ульрика де Эльнер, – отвечал Фульк де Лорш.

И, подняв глаза к небу, он стал вздыхать, а у Збышки, когда он услышал такое кощунство, от негодования стеснилось в груди дыхание, и его охватил такой гнев, что он сразу осадил жеребца; но не успел он произнести ни слова, как уже Ендрек из Кропивницы стал между ним и чужеземцем и сказал:

– Здесь вы драться не будете.

Но Збышко опять обратился к продавцу реликвий:

– Скажи ему от моего имени, что он влюблен в сову.

– Господин мой говорит, благородный рыцарь, что вы влюблены в сову, – как эхо, повторил Сандерус.

В ответ на это де Лорш бросил поводья и правой рукой стал расстегивать и снимать железную рукавицу, после чего бросил ее в снег перед Збышкой, а тот дал знак своему чеху поднять ее острием копья.

Тогда Ендрек из Кропивницы уже с грозным лицом обратился к Збышке и сказал:

– Говорю вам, вы не встретитесь, пока не кончится моя обязанность сопровождать гостей. Я не позволю ни ему, ни вам.

– Да ведь не я его вызвал, а он меня.

– Но за сову. Этого мне достаточно. А если кто будет противиться... Эх, знаю и я, как повернуть пояс.

– Я не хочу с вами драться.

– А пришлось бы вам драться со мной, потому что я поклялся оберегать его.

– Так как же будет? – спросил упрямый Збышко.

– Цеханов недалеко.

– Но что подумает немец?

– Пусть ему ваш человек скажет, что здесь поединка не может быть и что прежде вы должны получить разрешение от князя, а он от комтура.

– Да, а если они не дадут разрешения?

– Ну вы друг друга сыщете. Довольно болтать.

Збышко, видя, что ничего не поделаешь, и понимая, что Ендрек из Кропивницы действительно не может допустить поединка, снова подозвал Сандеруса, чтобы тот объяснил лотарингскому рыцарю, что они будут драться только по прибытии на место. Де Лорш, выслушав слова немца, кивнул головой в знак того, что понимает, а потом, протянув руку Збышке, подержал его руку в своей и трижды крепко пожал ее, что по рыцарскому обычаю означало, что когда-нибудь и где-нибудь они должны друг с другом сразиться. Потом в добром согласии они направились к Цехановскому замку, тупые башни которого виднелись уже на фоне орудянного неба.

Они приехали еще засветло, но пока назвали себя у ворот замка и пока спущен был подъемный мост, настала ночь. Их принял и приветствовал знакомый Збышки, Миколай из Длуголяса, который начальствовал над гарнизоном, состоящим из нескольких рыцарей и трехсот не дававших промаха лучников. Тотчас по приезде, к великому своему огорчению, Збышко узнал, что двор в отсутствии. Князь, чтобы почтить комтуров из Щитна и Янсборга, устроил в пуще большую охоту, на которую, для придания зрелищу великолепия, отправилась и княгиня вместе с придворными девушками. Из знакомых женщин Збышко нашел только Офку, вдову Кшиха из Яжомбкова, которая была в замке ключницей. Она ему очень обрадовалась, потому что со времени возвращения из Кракова рассказывала каждому, кто хотел и кто не хотел, о любви Збышке к Данусе и о его приключении с Лихтенштейном. Эти рассказы заставляли молодых придворных и девушек больше уважать ее, за что она была Збышке благодарна и теперь старалась утешить юношу в печали, охватившей его вследствие отсутствия Дануси.

– Ты и не узнаешь ее, – говорила Офка. – Девочке время идет: в платьицах уже начинают лопаться швы поближе к шее, потому что все в ней пухнет. Это уже не подросток, каким она была, и любит она тебя теперь не так, как прежде. Теперь стоит только крикнуть ей над ухом "Збышко", – так словно ее кто шилом кольнул. Такая уж наша женская доля, ничего с ней не поделаешь, такова воля Божья... А дядя твой здоров, говоришь? Что ж он не приехал?... Да, уж такая доля... Скучно, скучно женщине одной на свете жить... Еще слава богу, что девчонка ног не переломала себе: ведь каждый день на башню лазит да на дорогу глядит... Всем нам ласка нужна...

– Вот только покормлю лошадей – и поеду к ней, хоть ночью, а поеду, – отвечал Збышко.

– Сделай это, только возьми с собой провожатого, а то в пуще заблудишься.

И вот на ужине, который Миколай из Длуголяса устроил для гостей, Збышко объявил, что сейчас же поедет догонять князя и просит дать проводника. Усталые с дороги меченосцы тотчас же после ужина придвинулись к огромным каминам, в которых пылали целые сосновые стволы, и решили ехать лишь на другой день, когда отдохнут. Но де Лорш, узнав, в чем дело, выразил желание ехать вместе со Збышкой, говоря, что иначе они могут опоздать на охоту, которую он хотел видеть непременно.

После этого он подошел к Збышке и, протянув ему руку, снова три раза сжал его пальцы.

Но и на этот раз не суждено было им сразиться, потому что Миколай из Длуголяса, узнавший от Ендрека из Кропивницы, в чем тут все дело, взял с обоих слово, что они не будут драться без ведома князя и комтуров, а в случае несогласия дать слово грозил запереть ворота. Збышко хотелось как можно скорее увидеть Данусю, и он не смел спорить, а де Лорш, охотно сражавшийся, когда было нужно, но не бывший человеком кровожадным, без всяких затруднений поклялся рыцарской честью, что будет ждать разрешения князя, тем более что, поступая иначе, боялся разгневать князя. Кроме того, лотарингскому рыцарю, который, наслушавшись песен о турнирах, любил блестящее общество и пышные празднества, хотелось сразиться именно в присутствии двора, сановников и дам, потому что он полагал, что таким образом его победа получит большую огласку и тем легче доставит ему золотые шпоры. Кроме того, его интересовала страна и люди; таким образом проволочка была ему по душе, особенно же потому, что Миколай из Длуголяса, пробывший целые годы в плену у немцев и легко объяснявшийся с чужестранцами, рассказывал чудеса о княжеских охотах на разных зверей, уже неведомых в западных странах. И вот в полночь они со Збышкой вместе отправились к Праснышу, взяв с собой вооруженные отряды слуг и людей с факелами – для охраны от волков, которые, собираясь зимой в бесчисленные стаи, могли оказаться опасными даже для двух десятков людей, как бы они ни были хорошо вооружены. По ту сторону Цеханова тоже уже не было недостатка в лесах, которые за Праснышем переходили в огромную Курпесскую пуцу, на востоке граничащую с непроходимыми лесами Подлясья и лежащей за ними Литвы. Еще недавно через эти леса налетала на Мазовию дикая литва, в 1337 году дошедшая до самого Цеханова и разрушившая город. Де Лорш с величайшим любопытством слушал, как старый проводник, Мацько из Туробоев, рассказывал об этом: в глубине души он пылал жадой померяться силами с литовцами, которых он, как и прочие западные рыцари, считал сарацинами. Ведь он прибыл в эти места точно на крестовый поход, желая снискать славу и спасение души, а по дороге думал, что война, хотя бы даже с мазурами, как народом полуязыческим, обеспечивает ему полное отпущение грехов. И он почти не верил глазам, когда, въехав в Мазовию, увидел костелы в городах, кресты на колокольнях, духовенство, рыцарей с крестами на латах и народ, правда, буйный и запальчивый, всегда готовый к ссоре и драке, но христианский и вовсе не более хищный, чем немцы, из страны которых молодой рыцарь ехал. Поэтому когда ему говорили, что народ этот испокон веков чтит Христа, он и сам не знал, что думать о меченосцах, а когда узнал, что покойная королева крестила и Литву, то изумлению его и вместе с тем огорчению не было границ.

И вот он принялся расспрашивать Мацьку из Туробоев, нет ли в лесах, по которым они проезжают, по крайней мере, хоть драконов, которым люди должны приносить в жертву девушек и с которыми можно было бы сразиться. Но и в этом отношении ответ Мацьки совершенно разочаровал его.

– В лесах много всякого хорошего зверья: волки, туры, зубры и медведи; с ними тоже много возни, – отвечал мазур. – Может быть, на болотах есть и нечистые духи, но о драконах я не слыхал; да если бы и были, то девушек, вероятно, им в жертву не приносили бы, а все разом пошли бы с ними драться. Да если бы они были, так жители пуцы давно бы уже носили пояса из их шкуры.

– Что ж это за народ и разве нельзя с ним бороться? – спросил де Лорш.

– Бороться с ним можно, но вредно, – отвечал Мацько, – да рыцарю и не пристало, потому что это народ мужицкий.

– Швейцарцы тоже мужики. А эти Христа исповедуют?

– Язычников в Мазовии нет, и люди эти наши да княжеские. Видали вы лучников в замке? Это все курпы [23], потому что лучше их лучников на свете нет.

– А англичане и шотландцы, которых я видел при бургундском дворе?...

– Видел я их в Мальборге, – перебил мазур. – Здоровые ребята, но не дай им бог когда-нибудь стать против этих. У курпов мальчишка семилетний до тех пор есть не получит, пока не достанет еды стрелой с верхушки сосны.

– О чем вы говорите? – спросил вдруг Збышко, до слуха которого несколько раз долетело слово "курпы".

– О курпских и английских лучниках. Этот рыцарь говорит, что англичане, а особенно шотландцы, стреляют лучше всех.

– Видел и я их под Вильной. Еще бы! Слышал я, как их стрелы летали мимо моих ушей. Были там и рыцари из всех стран; хвалились они нас без соли съесть, да, попробовав раз-другой, потеряли к еде охоту.

Мацько рассмеялся и перевел слова Збышки рыцарю де Лорш.

– Об этом говорили при разных дворах, – отвечал тот, – хвалили там стойкость ваших рыцарей, но ставили им в вину, что они защищают язычников от христиан.

– Мы защищали народ, который хотел креститься, против разорения и несправедливостей. Немцы хотят, чтобы они оставались язычниками, чтобы самим иметь повод к войне.

– Бог это осудит, – сказал де Лорш.

– Может быть, даже скоро, – отвечал Мацько из Туробоев.

А рыцарь из Лотарингии, услышав, что Збышко был под Вильной, стал его расспрашивать, потому что слух о сражениях и рыцарских поединках, происходивших там, разнесся уже по всему миру. Особенно тот поединок, на который вышли четыре польских и четыре французских рыцаря, волновал воображение западных воинов. Поэтому де Лорш стал посматривать на Збышку с большим уважением, как на человека, принимавшего участие в столь знаменитых сражениях, и радовался в глубине души, что ему предстоит сразиться ни с кем попало.

И вот они продолжали путь в полном согласии, оказывая на привалах взаимные услуги и угощая друг друга вином, которого у де Лорша был на телегах изрядный запас. Но когда из разговора между ним и Мацькой из Туробоев оказалось, что Ульрика де Эльнер на самом деле не девица, а сорокалетняя замужняя женщина, у которой шестеро детей, душа Збышки еще более вознегодовала на то, что этот странный чужеземец смеет не только сравнивать "бабу" с Данусей, но и требовать признания за ней превосходства. Однако он подумал, что, может быть, этот человек не совсем в своем уме, что темная комната и батоги больше бы подходили к нему, чем путешествия, и мысль эта удержала его от вспышки гнева.

– Не думаете ли вы, – сказал он Мацьке, – что злой дух помутил его разум? Может быть, дьявол сидит у него в голове, как червь в орехе, и ночью того и глядя перескочит на кого-нибудь из нас? Надо нам быть осторожными...

Правда, услышав это, Мацько из Туробоев сперва начал спорить, но потом стал поглядывать на лотарингского рыцаря с некоторой тревогой и наконец сказал:

– Иной раз бывает, что их в одержимом сидит и сто и двести, а так как им тесно, то они ищут жилья в других людях. Самый же плохой такой дьявол, которого найдет баба.

И он вдруг обратился к рыцарю:

– Слава Господу Богу Иисусу Христу.

– Ему и я поклоняюсь, – не без удивления отвечал де Лорш.

Мацько из Туробоев успокоился совершенно.

– Ну вот видите, – сказал он, – если бы в нем сидел нечистый, то сейчас же на губах у него выступила бы пена, или он ударился бы о землю, потому что я его сразу спросил. Можем ехать.

И они спокойно продолжали путь. От Цеханова до Прасныша было не особенно далеко, и летом гонец на добром коне мог в два часа проехать расстояние, отделявшее эти города друг от друга. Но они ехали много медленнее вследствие ночи, остановок и снежных заносов, а так как выехали значительно позже полуночи, то и прибыли к охотничьему замку князя, находившемуся за Праснышем, на краю пуши, только на рассвете. Замок тамшний стоял почти в самом лесу; он был большой, низкий, деревянный, но все же со стеклянными окнами. Перед домом виднелся колодезный журавель и два сарая для лошадей, а вокруг дома раскинулись шалаши, наскоро сколоченные из сосновых ветвей, и палатки из звериных шкур. В предрассветном сумраке ярко сверкали разложенные перед палатками костры, а вокруг них сидели загонщики в кожухах, вывороченных мехом наружу, в волчьих, медвежьих и лисьих тулупах. Рыцарю де Лорш показалось, что он видит двуногих диких зверей, сидящих перед огнем, потому что большая часть этих людей одета была в шапки, сделанные из звериных голов. Некоторые стояли, опершись на копыя, другие на луки; некоторые были заняты плетением огромных сетей из толстых веревок; некоторые, наконец, вращали над угольями могучие туши зубров и лосей, предназначенные, очевидно, для утреннего подкрепления сил. Отсветы огня ложились на снег и освещали эти дикие фигуры, слегка окутанные дымом костров, паром от дыхания и паром, поднимающимся над готовящейся едой. За ними виднелись озаренные красным светом стволы гигантских сосен и новые толпы людей, что приводило в изумление лота-рингского рыцаря, не привыкшего к таким многолюдным охотам.

– Ваши князья, – сказал он, – ходят на охоту, как в военный поход.

– Как видите, – отвечал Мацько из Туробоев, – у них нет недостатка ни в охотничьих принадлежностях, ни в людях. Это княжеские загонщики, но есть здесь и другие, которые приходят сюда из лесной чащи для торговли.

– Что мы станем делать? – перебил его Збышко. – В доме все еще спят.

– Ну что ж, подождем, пока проснутся, – отвечал Мацько. – Не станем же мы стучать в двери и будить князя, нашего господина.

Сказав это, он подвел их к костру, вокруг которого охотники набросали им

медвежьих и зубровых шкур, а потом стали усердно угощать дымящимся мясом; услышав чуждую речь, охотники стали все тесней окружать их, чтобы посмотреть на немца. Чрез посредство слуг Збышки тотчас разнеслась весть, что это рыцарь "из-за моря" – и кругом них образовалась такая давка, что рыцарю из Туробоев пришлось употребить свою власть, чтобы оградить чужеземца от излишнего любопытства. Де Лорш заметил в толпе и женщин, также одетых в звериные шкуры, но румяных, как яблоки, и очень красивых; и он стал расспрашивать, будут ли они также принимать участие в охоте.

Мацько из Туробоев объяснил ему, что в охоте они участия не принимают, а явились сюда с охотниками из бабьего любопытства и, кроме того, как бы на ярмарку для покупки городских товаров и продажи лесных богатств. Так это и было на самом деле. Княжеский дворец был как бы очагом, у которого, даже в отсутствие князя, сталкивались две стихии: городская и лесная. Курпы не любили выходить из леса, потому что без шума деревьев над головами было им как-то не по себе; поэтому праснышане привозили на эту лесную опушку знаменитое свое пиво, муку, смолотую на городских ветряных мельницах или на водяных мельницах, расположенных по берегам Венгерки, соль, столь редкую и столь охотно приобретаемую в лесах, железные изделия, ремни и тому подобные ремесленные изделия; взамен получали они шкуры, дорогие меха, сушеные грибы, орехи, целебные травы, а иногда и куски янтаря, которого у курпов было довольно много. Благодаря этому вокруг княжеского дворца кипела как бы вечная ярмарка, еще более оживлявшаяся во время княжеских охот, когда и обязанность, и любопытство извлекали жителей из глубины лесов.

Де Лорш слушал рассказы Мацьки, с интересом присматриваясь к фигурам охотников, которые, живя в здоровом воздухе и питаясь, как, впрочем, большинство тогдашних мужиков, по преимуществу мясом, подчас поражали зарубежных гостей своим ростом и силой. Между тем Збышко, сидя возле огня, не отрываясь смотрел на окна и двери дворца; он едва мог усидеть на месте. Но светилось только одно окно, по-видимому кухонное, потому что сквозь неплотно прилаженные оконные рамы оттуда выходил дым. Прочие окна были темны и только отражали блеск восходящего дня, который все ярче и ярче серебрил заснеженный лес, раскинувшийся позади дома. В маленькой двери, сделанной в боковой стене дома, показывались время от времени слуги, одетые в цвета князя, и с ведрами или ушатами на коромыслах бежали к колодцам за водой. Люди эти на вопрос, все ли еще спят, отвечали, что двор, утомленный вчерашней охотой, еще почивает, но что уже готовятся кушанья к утреннему завтраку.

И в самом деле через кухонное окно стал доноситься запах сала и шафрана. Наконец скрипнула и растворилась главная дверь; за ней открылись ярко освещенные сени – и на крыльцо вышел человек, в котором Збышко с первого взгляда узнал одного из певцов, некогда виденных им среди княгининых слуг в Кракове. Тут, не дожидаясь ни Мацька из Туробоев, ни де Лорша, Збышко так стремительно бросился к двери, что удивленный рыцарь из Лотарингии даже спросил:

– Что случилось с этим молодым рыцарем?

– Ничего не случилось, – отвечал Мацько из Туробоев, – а только влюблен он в одну из придворных девушек княгини и хочет увидеть ее как можно скорее.

– Ах, – отвечал де Лорш, прикладывая обе ладони к сердцу.

И подняв глаза кверху, он принялся вздыхать так жалобно, что Мацько даже пожал плечами и сказал про себя:

"Неужели это он по своей старухе так вздыхает? Пожалуй, он и впрямь не в своем уме..."

Но в это время его ввели во дворец, и оба они очутились в просторных сенях, украшенных рогами туров, зубров лосей, оленей и освещенных пылающими в огромном камине сухими бревнами. Посредине стоял покрытый коврами стол с мисками для кушаний; в сенях находилось всего несколько человек придворных, с которыми разговаривал Збышко. Мацько из Туробоев познакомил их с паном де Лорш, но так как они не говорили по-немецки, то ему пришлось продолжать беседовать с ним. Однако с каждой минутой появлялись все новые и новые придворные, люди по большей части здоровые, еще слегка неотесанные, но рослые, широкоплечие, белокурые, одетые уже по-охотничьи. Те, которые были знакомы со Збышкой и знали о его краковских приключениях, здоровались с ним как со старым приятелем, и видно было, что все к нему расположено. Некоторые смотрели на него с тем любопытством, с каким обычно смотрят на человека, над головой которого был поднят меч палача. Слышны были голоса: "Еще бы! Здесь и княгиня, и Дануся... Сейчас ты ее увидишь и поедешь с нами на охоту". В это время вошли два гостя-меченосца: брат Гуго де Данвельд, староста из Ортельсбурга, иначе Щитна, и Зигфрид де Леве, также из славного у меченосцев рода, янсбургский войт. Первый из них был еще довольно молод, но одутловат, с лицом хитрого немчуры и толстыми, мокрыми губами, другой – с суровым, но благородным лицом. Збышко показалось, что он видел когда-то Данвельда у князя Витольда и что Генрих, епископ плоцкий, свалил его на турнире с коня; но воспоминания эти были прерваны приходом князя Януша, которого и придворные, и меченосцы встретили поклонами. Подошли к нему и де Лорш, и комтуры, и Збышко; он приветствовал их любезно, но с важностью на своем безусом, мужицком лице, обрамленном волосами, ровно подстриженными спереди и спадающими до самых плеч по бокам. Тотчас, в знак того, что князь садится к столу, за окнами загремели трубы: прозвучали они раз, другой, третий – и после третьего раза в правой стене комнаты распахнулись широкие двери, и из них появилась княгиня Анна, а возле нее прелестная белокурая девушка с висящей на плече лютней.

Увидев их, Збышко вышел вперед и, приложив руки к губам, опустил на оба колена, в позе, исполненной почтительности и благоговения.

При виде этого по зале пронесся ропот, потому что поступок Збышки удивил Мазуров, а некоторых даже рассердил. "Ах, чтоб его! – говорили старики. – Небось научился этому обычаю у каких-нибудь заморских рыцарей, а то и вовсе у язычников: ведь этого даже немцы не делают". Однако же молодые думали: "Что тут дивиться? Ведь он жизнью обязан девочке". Между тем княгиня и Дануся сперва не узнали Збышку, потому что он стал на колени спиной к огню и лицо его было в тени. Княгиня сначала думала, что это кто-нибудь из придворных, провинившись перед князем, просит у нее заступничества; но Дануся, у которой взгляд был острее, сделала шаг вперед и, схватившись за светлую свою голову, вдруг закричала высоким, пронзительным голосом:

– Збышко!

Потом, не думая о том, что на нее смотрит весь двор и заграничные гости, она, как серна, подскочила к молодому рыцарю и, обняв его руками, стала целовать его глаза, губы, щеки, прижимаясь к нему и визжа от радости, пока мазуры громко не расхохотались и пока княгиня не потянула ее к себе за воротник.

Тогда она взглянула на присутствующих и, ужасно смутившись, так же поспешно спряталась за княгиню, и так спряталась в складках ее юбки, что виден был только затылок.

Збышко обнял руками ноги княгини, а она подняла его и, здороваясь, тотчас же стала расспрашивать про Мацьку: умер он или жив, а если жив, то не приехал ли и он в Мазовию. Збышко не особенно толково отвечал на эти вопросы, потому что, нагибаясь то в одну сторону, то в другую, старался увидеть за княгиней Данусю, которая в это время то выглядывала из-за юбки, то снова погружалась в ее складки. Мазуры при виде этого зрелища покатывались со смеху; смеялся и сам князь, но наконец, когда были принесены миски с горячими кушаньями, обрадованная княгиня обратилась к Збышке и сказала:

– Служи нам, милый слуга, и дай бог, чтобы не только за столом, а и всегда. Потом она обратилась к Данусе:

– А ты, муха шальная, сейчас же вылезай из-под юбки, а то всю оборвешь.

И Дануся вышла из-за юбки; она покраснела, была смущена и поминутно вскидывала на Збышку испуганные, сконфуженные глаза, полные любопытства и такие прекрасные, что не только у Збышки, но и у всех мужчин растаяло сердце: староста из Щитно стал прикладывать руку к толстым, мокрым губам своим, а де Лорш изумился, поднял руки к небу и спросил:

– Кто эта девушка, скажите мне ради бога?

В ответ на эти слова староста из Щитно, который при всей толщине своей был низок ростом, встал на цыпочки и сказал на ухо лотарингскому рыцарю:

– Чертова дочка.

Де Лорш посмотрел на него, мигая глазами, потом сморщил брови и сказал в нос:

– Не прав рыцарь, оскорбляющий красоту.

– Я ношу золотые шпоры и я монах, – с гордостью отвечал Гуго де Данвельд. Опясаные рыцари находились в таком почете, что рыцарь из Лотарингии склонил голову, но через минуту ответил:

– А я родственник князей Брабантских.

– Рах! Рах! – отвечал меченосец. – Слава могучим князьям и друзьям ордена, из рук которого вы скоро получите золотые шпоры. Я не отрицаю красоты этой девицы, но послушайте, кто ее отец.

Но де Лорш не успел ничего ответить, потому что в эту минуту князь Януш сел к столу и, еще перед этим узнав от ямбургского войта о высоких родственных связях де Лорша, дал ему знак сесть рядом. Напротив заняли место княгиня и Дануся, а Збышко, как некогда в Кракове, стал за их креслами, чтобы прислуживать им. Дануся как можно ниже наклоняла голову к миске, потому что стыдилась присутствующих, но слегка поворачивала ее набок, чтобы Збышко мог видеть ее лицо. Он же с жадностью и восторгом смотрел на ее маленькую белокурую головку, на розовую щечку, на плечи, обтянутые узкой одеждой; они переставали уже быть детскими, и Збышко чувствовал, что на него нахлынула как бы волна новой любви,

заливающая ему грудь. Он еще чувствовал на глазах, на губах и на лице ее недавние поцелуи. Когда-то она дарила ему их, как сестра брату, и он принимал их, как от милого ребенка. Теперь, при воспоминании о них, с ним происходило то, что происходило порой возле Ягенки: его что-то томило, его охватывала истома, под которой пылал жар, как в засыпанном пеплом костре. Дануся казалась ему совершенно взрослой девушкой, да она и на самом деле выросла, расцвела. Кроме того, при ней так много и так непрестанно говорили о любви, что как бутон цветка, пригретый солнцем, краснеет и раскрывается все больше, так и глаза ее раскрылись на любовь, и потому теперь в ней было что-то, чего не было прежде: какая-то красота, уже не только детская, и какое-то обаяние, сильное, опьяняющее, исходящее от нее, как теплота от огня, или запах от розы.

Збышко чувствовал это, но не отдавал себе в том отчета, потому что забывал все. Он забыл даже о том, что надо прислуживать за столом. Он не замечал, что придворные смотрят на него, толкают друг друга локтями, указывают на него и Данусю и смеются. Точно так же не замечал он ни словно окаменевшего от изумления лица пана де Лорш, ни выпуклых глаз меченосца, старосты из Щитно, которые все время были прикованы к Данусе и, отражая в то же время пламя камина, казались красными и сверкающими, как у волка. Очнулся он только тогда, когда трубы зазвучали опять в знак того, что пора собираться в леса, и когда княгиня Анна Данута, обращаясь к нему, сказала:

– Ты поедешь с нами, чтобы тебе было веселее и чтобы ты мог говорить девочке о любви, что я сама слушаю с удовольствием.

Сказав это, она с Данусей вышла, чтобы переодеться для верховой езды. Збышко же выскочил на двор, где слуги уже держали оседланных и фыркающих лошадей для князя, княгини гостей и придворных. На дворе не было уже такого оживления, как прежде, потому что охотники с сетями вышли вперед и скрылись в чаще. Костры погасли, день стоял ясный, морозный, снег скрипел под ногами, а с деревьев сыпался сухой, искристый иней. Вскоре вышел князь и сел на коня; за ним вышел оруженосец с луком и копьем, таким длинным и тяжелым, что мало кто сумел бы владеть им. Однако князь владел им с легкостью, так как подобно прочим мазовецким Пястам, обладал силой необычайной. Бывали в этом роде даже женщины, которые, выходя замуж за чужеземных князей, на свадебных пиршествах скручивали пальцами широкие железные тесаки [24]. Возле князя держались также двое мужчин, во всякую минуту готовых прийти к нему на помощь; широкоплечие и огромные, они выбраны были из всех дворян Варшавской и Цехановской земель, и прибывший издалека рыцарь де Лорш смотрел на них с изумлением.

Между тем вышли и княгиня с Данусей, обе в капорах из белых куниц. Дочь Кейстута лучше умела стрелять, нежели владеть иглой, и потому за ней также несли разукрашенный, только несколько более легкий лук. Збышко, преклонив на снегу колена, протянул руку, на которую княгиня ступила, садясь на коня; потом он точно так же поднял Данусю, как в Богданце поднимал Ягенку, – и все тронулись в путь. Шествие растянулось длинной змеей; от княжеского дома оно свернуло вправо, переливаясь и сверкая по лесной опушке, как пестрая кайма на краю темного сукна, и стало медленно забираться в чащу.

Они находились уже довольно далеко в лесу, когда княгиня, обратясь к Збышке, сказала:

– Что же ты молчишь? Говори же с ней.

Збышко, столь ласково поощренный, с минуту еще молчал, потому что его охватила какая-то робость, и наконец проговорил:

– Дануся.

– Что, Збышко?

– Я тебя так люблю..

И он остановился, подыскивая слова, которых у него не хватало, потому что хоть и преклонял он пред ней колена, как заграничный рыцарь, хоть и выказывал ей почтение всякими способами, все же тщетно старался быть ловким придворным: душа у него была лесная, и он умел говорить только попросту.

Вот и теперь он сказал, помолчав:

– Я тебя так люблю, что у меня дух захватывает.

Она же вскинула на него из-под куньего капора синие глазки и лицо, докрасна исщипанное холодным лесным воздухом.

– И я, Збышко, – ответила она как бы с поспешностью.

И сейчас же закрыла глаза ресницами, потому что уже знала, что такое любовь.

– Ах, сокровище ты мое! Девочка милая! – вскричал Збышко. – Ах...

И снова замолк он от счастья и волнения, но любопытная княгиня снова пришла к ним на помощь.

– Расскажи же, – сказала она, – как скучно было тебе без нее, а если случится чаща и ты там ее поцелуешь – я не буду сердиться, потому что это всего лучше покажет твою любовь.

И Збышко стал рассказывать, "как ему было скучно" без Дануси в Богданце, под призором Мацьки, и у соседей. Только про Ягенку ничего не сказал хитрец, впрочем, говорил он искренне, потому что в эту минуту так искренне любил Данусю, что ему хотелось схватить ее, пересадить на своего коня, обнять и держать на своей груди.

Но он не смел сделать это; зато, когда первая же заросль отделила их от едущих позади придворных и гостей, Збышко нагнулся к Данусе, обнял ее и спрятал лицо в куний капор, свидетельствуя этим поступком о своей любви.

Но так как зимой нет на орешнике листьев, то и увидели их Гуго фон Данвельд и де Лорш, увидели и придворные – стали говорить между собой:

– Чмокнул-таки ее при княгине. Видно, скоро она справит ихнюю свадьбу.

– Хват-парень, да и она горяча: Юрандова кровь.

– Кремень и огниво, даром, что цевка, словно заяц. Посыпятся от них искры. Присосался к ней, как клеш.

Так они разговаривали, но староста из Щитно повернул к де Лоршу свое козлиное, злое и сладострастное лицо и спросил:

– Хотели ли бы вы, рыцарь, чтобы какой-нибудь Мерлин своей волшебной силой превратил вас вон в того молодого рыцаря? [25]

– А вы, рыцарь? – спросил де Лорш.

На это меченосец, в котором, видимо, закипела ревность и страсть, с раздражением хлестнул коня и воскликнул:

– Еще бы, черт побери...

Но он тотчас же опомнился и, склонив голову, прибавил:

– Я монах, давший обет целомудрия.

И он быстро взглянул на лотарингского рыцаря, боясь, как бы тот не заметил на его лице улыбки, потому что с этой точки зрения орден пользовался дурной славой, а из всего ордена наихудшей – Гуго де Данвельд. Несколько лет тому назад он был помощником войта в Самбии, и там нарекания на него были так громки, что несмотря на попустительство, с каким смотрели на такие дела в Мальборге, его вынуждены были перевести начальником гарнизона в Щитну. Теперь, прибыв с тайными поручениями ко двору князя и увидев там прекрасную дочь Юранда, он воспылал к ней страстью, для которой юный возраст Дануси отнюдь не служил препятствием, ибо в те времена выходили замуж девушки и моложе ее. Но так как в то же время Данвельд знал происхождение девушки и так как имя Юранда соединилось в его памяти со страшными воспоминаниями, то и страсть его возникла из лютой ненависти.

Но де Лорш как раз стал расспрашивать его об этих историях.

– Вы, рыцарь, назвали эту прекрасную девушку дочерью дьявола; почему вы так назвали ее?

Данвельд принялся рассказывать историю Злоторыи: как при постройке замка удалось счастливо похитить князя со всеми придворными, как при этом погибла мать Дануси и как с той поры Юранд неистово мстит рыцарям ордена. И при этом рассказе ненависть вырывалась из меченосца, как пламя, ибо у него были и личные к ней причины. Два года тому назад он и сам столкнулся с Юрандом, но тогда при виде страшного "Спыховского кабана" сердце его в первый раз в жизни упало от такой постыдной трусости, что он бросил двух своих родственников, своих людей и добычу и целый день как сумасшедший мчался в Щитно, где со страху надолго разболелся. Когда он выздоровел, великий маршал ордена отдал его под суд рыцарей, приговор которого, правда, оправдал его, потому что Данвельд поклялся крестом и честью, что взбесившийся конь унес его с поля битвы, но все же этот приговор закрыл ему путь к высшим должностям в ордене. Правда, теперь, перед де Лоршем меченосец умолчал об этих событиях, но зато он высказал столько нареканий на жестокость Юранда и на дерзость всего польского народа, что все это едва могло уместиться в голове лотарингского рыцаря.

– Во всяком случае мы находимся у Мазуров, а не у поляков? – сказал он, помолчав.

– Это особое княжество, но народ тот же, – отвечал староста, – их подлость и ненависть к ордену одинаковы. Дай бог немецкому мечу истребить все это племя!

– Вы правы: чтобы князь, с виду такой достойный, осмелился в ваших же землях строить замок против вас, о подобном беззаконии я не слыхивал даже среди язычников.

– Замок он строил против нас, но Злоторые лежит на его земле, а не на нашей.

– В таком случае слава Богу, давшему вам победу над ним. Как же кончилась эта война?

– Войны тогда не было.

– А ваша победа под Злоторьей?

– В том-то и было благословение Божье, что князь находился тогда без войска, а только с двором и женщинами.

Тут де Лорш с изумлением взглянул на меченосца:

– Как так? Значит, вы во время мира напали на женщин и на князя, который на собственной земле строил замок?

– Нет низких поступков, если они совершаются во славу ордена и христианства.

– А этот страшный рыцарь мстит только за молодую жену, убитую вами во время мира?

– Кто поднимает руку на меченосца – сын тьмы.

Услышав это, задумался рыцарь де Лорш, но у него уже не было времени ответить Данвельду, потому что они выехали на просторную, занесенную снегом поляну, где князь слез с коня, а за ним стали слезать и прочие.

IV

Опытные лесники, под начальством главного ловчего, принялись расставлять охотников длинным рядом по краю поляны с таким расчетом, чтобы они, находясь сами под прикрытием, стояли перед пустым пространством, облегчающим работу лукам и арбалетам. Две коротких стороны поляны были пересечены сетями, за которыми спрятались "загонщики", обязанность которых заключалась в том, чтобы гнать зверя на стрелков, а если он запутается в сетях, то добивать его рогатинами. Бесчисленное множество курпов, умело расставленных, должны были выгонять зверей из глубины леса на поляну. За стрелками находилась вторая сеть, расставленная для того, чтобы зверь, если ему удастся прорваться сквозь цепь охотников, был остановлен сетью и в ней добит.

Князь стал посредине цепи, в небольшой ложбине, пересекавшей всю поляну. Главный ловчий, Мрокота из Моцажева, выбрал для него это место, зная, что по этой ложбине и побегут из пуши крупнейшие звери. У самого князя в руках был арбалет, а рядом с ним, у дерева, стояло тяжелое копье; сзади, на некотором расстоянии держались два "телохранителя", с топорами на плечах, огромного роста; кроме топоров, у них были два натянутых арбалета, чтобы в случае надобности подать их князю. Княгиня и Дануся не слезали с коней, потому что князь никогда не разрешал

этого, боясь туров и зубров, от ярости которых, в случае нужды, легче было спастись на конях, нежели пешком. Де Лорш, любезно приглашенный князем занять место справа от него, попросил, чтобы ему было разрешено остаться для защиты дам на коне, и стоял невдалеке от княгини, похожий на длинный гвоздь, с рыцарским копьём, над которым тихонько подтрунивали мазуры, как над оружием, мало пригодным для охоты. Зато Збышко воткнул рогатину в снег, перекинул арбалет через плечо и стоял возле коня Дануси, подняв голову к ней, иногда что-то шептал ей, а иногда обнимал ее ноги и целовал колени, потому что больше решительно не скрывал от людей свою любовь. Успокоился он только тогда, когда Мрокота из Моцажева, который в пуще осмеливался ворчать и на самого князя, грозно приказал ему хранить молчание.

Между тем далеко-далеко в пуще раздались звуки курпских рогов, которым с поляны отрывисто ответил пронзительный звук трубы; потом настала совершенная тишина. Только иногда с верхушки сосны стрекотала сойка, да кто-нибудь из облавы подражал карканью ворона. Охотники напряженно смотрели на пустое белое пространство, на котором ветер покачивал заснеженные кустарники; все с нетерпением ждали, какой зверь первым покажется на снегу; вообще же ожидалась удачная охота, потому что пуща полна была зубров, туров и кабанов. Курпы выкурили из берлог несколько медведей; разбуженные таким образом, они бродили по чаще злые, голодные и осторожные, догадываясь, что скоро придется им выдержать борьбу не за спокойную зимнюю спячку, а за жизнь.

Однако приходилось ждать долго, потому что люди, теснившие зверя к сетям и к поляне, заняли огромный кусок леса и шли так издали, что до слуха охотников не доносился даже лай собак, которые тотчас после того, как откликнулась труба, были спущены со смывков. Одна из них, спущенная, по-видимому, слишком рано или просто увязавшаяся за людьми, показалась на поляне и, пробежав через нее с опущенной к самой земле мордой, скрылась за цепью охотников. И снова стало тихо и пусто; только загонщики все время каркали воронами, давая знать таким образом, что скоро начнется работа. И вот через несколько времени на опушке появились волки, которые, как самые чуткие звери, первые пытались уйти от облавы. Их было несколько. Но выбежав на поляну и почуяв кругом людей, они снова юркнули в лес, ища, очевидно, другого выхода. Потом, выйдя из чащи, кабаны длинной черной цепью побежали по покрытому снегом пространству, издали похожие на стадо домашних свиней, которые, по знаку хозяйки, трясая ушами, спешат к избе. Но цепь эта останавливалась, прислушивалась, нюхала воздух, оборачивалась назад и снова нюхала воздух; она свернула к сетям и, почуяв ловчих, снова пустилась к охотникам, хрюкая, подходя все осторожнее, но все ближе, пока наконец не раздался скрип железных собачек у арбалетов, ворчание стрел и пока первая кровь не запятнала белый снежный покров.

Тогда раздался крик, и стадо рассыпалось, точно в него ударила молния; одни бросились сломя голову вперед, другие к сетям, другие стали бегать то в одиночку, то по нескольку сразу, смешиваясь с другим зверьем, которым тем временем наполнилась поляна. Теперь до слуха уже ясно доносились звуки рогов, лай собак и далекий говор людей, идущих из глубины леса. Обитатели леса, отгоняемые по бокам широко растянутыми сетями, все больше и больше наполняли поляну. Ничего подобного нельзя было увидеть не только в заграничных странах, но и в других землях Польши, где не было уже таких ПУЩ, как в Мазовии. Меченосцы, хоть и бывали они в Литве, где иногда случалось, что зубры, ударив на войско, приводили его в замешательство [26], немало дивились этому неисчислимому множеству зверья, особенно же дивился рыцарь де Лорш. Стоя возле княгини и придворных девиц, как журавль на страже, и не будучи в состоянии заговорить ни

с одной, он уже начинал скучать, мерзнуть в своих железных латах и думать, что охота не удалась. Но вдруг он увидел перед собой стада легконогих серн, рыжих оленей и лосей, с тяжелыми, увенчанными рогами головами, увидел, как они, смешиваясь друг с другом, носятся по поляне, ослепленные страхом, и тщетно ищут выхода. Княгиня, в которой при этом зрелище взыграла кровь Кейстута, выпускала в эту пеструю кучу стрелу за стрелой, крича от радости каждый раз, когда раненый олень или лось с разбегу подымался на дыбы, а потом тяжело падал и бил ногами по снегу. Придворные девушки тоже часто прикладывали лица к арбалетам, ибо всеми овладела охотничья горячка. Один только Збышко не думал об охоте, но, положив локти на колени Дануси, а голову на свои руки, смотрел в глаза ее, она же, конфузясь и улыбаясь, пыталась закрывать ему пальцами веки, словно не могла вынести такого взгляда.

Но внимание де Лорша привлек огромный медведь с седыми лопатками и такой же шеей: он внезапно выбежал из-за кустов, невдалеке от охотников. Князь выстрелил в него из арбалета, а потом подбежал к нему с копьем, и когда зверь с отчаянным ревом поднялся на задние лапы, так ловко и быстро ударил его на глазах у всего двора, что ни одному из "телохранителей" не пришлось прибегнуть к топору. Тогда молодой рыцарь из Лотарингии подумал, что все-таки не многие из государей, при дворах которых он гостил, отважились бы на такую забаву и что с такими князьями и с таким народом ордену когда-нибудь придется вынести тяжелую борьбу и пережить тяжелые минуты. Но после этого он видел, как другие охотники так же ловко закалывают свирепых кабанов с белыми клыками, огромных, во много раз превосходящих размером и яростью тех, на которых охотились в лесах Нижней Лотарингии и в немецких лесах. Таких ловких и уверенных в силе рук своих охотников де Лорш не видал нигде и, как человек бывалый, объяснял это себе тем, что все эти люди, живущие среди необозримых лесов, с детских лет привыкают к арбалету и копьё, а потому и приучаются владеть ими лучше других.

В конце концов поляна покрылась трупами всякого рода зверья, но охота еще далеко не кончилась. Напротив, самая интересная и в то же время и самая опасная минута только еще должна была наступить: загонщики выгнали на поляну десятка полтора зубров и туров. Хотя в лесах держались они обычно особняком, но теперь шли все вместе, нисколько, впрочем, не ослепленные страхом, а скорее грозные, нежели испуганные. Шли они не особенно скоро, как бы сознавая свою ужасную силу и то, что сломают все преграды и пройдут, но все же земля загудела под их тяжестью. Бородатые быки, идущие во главе стада с низко опущенными головами, иногда останавливались, как бы раздумывая, в какую сторону направить удар. Из чудовищных грудей их исходил глухой рев, похожий на подземный гул; из ноздрей вырывался пар, и, взрывая передними ногами снег, они, казалось, кровавыми глазами смотрели из-под грив, стараясь открыть спрятавшегося врага.

Между тем загонщики подняли страшный крик, которому со всех сторон ответили сотни громких голосов; зазвенели рога и дудки: лес содрогнулся до самых глубин, и в ту же минуту с отчаянным лаем на поляну вырвались шедшие по следам зверей курпские собаки. Вид их мгновенно привел в бешенство самок, при которых были детеныши. Стадо, шедшее до сих пор медленно, бешеными скачками рассыпалось по поляне. Один тур, рыжий, огромный бык, размерами почти превосходящий зубров, тяжелыми скачками бросился к цепи стрелков, повернулся к правой стороне поляны и, увидав в нескольких десятках шагов от себя между деревьями лошадей, остановился, а потом стал рыть землю рогами и рычать, словно возбуждая себя к борьбе.

При этом страшном зрелище загонщики стали кричать еще громче, а в цепи охотников

послышались испуганные голоса: "Княгиня! Княгиня! Спасайте княгиню!" Збышко схватил воткнутое в снег копьё и бросился к опушке леса; за ним побежало несколько литовцев, готовых погибнуть, защищая дочь Кейстута; в это время в руках ее скрипнул арбалет, засвистела стрела и, пролетев над склоненной головой зверя, вонзилась в его шею.

– Готов, – вскричала княгиня, – не уйдет...

Но дальнейшие слова ее заглушил рев, такой страшный, что даже лошади присели на задние ноги... Тур, как вихрь, бросился прямо на княгиню, но в это время с меньшей стремительностью из-за деревьев выскочил храбрый рыцарь де Лорш и, нагнувшись в седле, с копьём, наклоненным, как на рыцарском поединке, ринулся прямо на зверя.

Через мгновение присутствующие увидели, как копьё вонзилось в загривок быка, как оно тотчас же изогнулось дугой и разлетелось на мелкие щепки и как вслед за этим огромная, рогатая голова тура исчезла под брюхом лошади де Лорша, и прежде, чем кто-нибудь успел вскрикнуть от ужаса, уже и конь, и всадник взлетели на воздух, точно камень, пущенный из пращи.

Лошадь, упав на бок, в предсмертных судорогах забила ногами, путаясь в собственных внутренностях, а де Лорш лежал рядом, неподвижный, похожий на железный клин; тур, казалось, некоторое время колебался, не бросить ли их и не ринуться ли на других лошадей, но так как первые жертвы были перед ним, то он снова обратился на них и стал мучить несчастную лошадь, ударяя ее головой и с остервенением взрывая рогами ее распоротое брюхо.

Но из лесу на помощь чужому рыцарю выбежали люди; Збышко, которому важно было охранять княгиню и Данусю, подбежал первым и вонзил острие копья под лопатку зверя. Но он ударил с таким размахом, что при внезапном повороте тура копьё сломалось в его руке, а сам он упал лицом в снег. "Пропал! Пропал!" – послышались голоса бегущих на помощь Мазуров. Между тем голова быка накрыла Збышку и прижала его к земле. Со стороны князя почти уже подбежали два могучих "телохранителя", но они прибыли бы слишком поздно, если бы, по счастью, их не предупредил подаренный Збышке Ягенкой чех Глава. Он подбежал раньше их и, схватив обеими руками широкий топор, ударил в выгнутую шею тура у самых рогов.

Удар был так страшен, что зверь рухнул, как громом пораженный, с головой, раскрытой чуть ли не пополам; но, падая, он придавил Збышку. Оба "телохранителя" во мгновение ока оттащили огромное тело, а тем временем княгиня и Дануся, соскочив с лошадей, подбежали, онемев от ужаса, к раненому юноше.

А он, бледный, весь покрытый кровью тура и своей собственной, приподнялся, попробовал встать, но покачнулся, упал на колени и, опершись на РУку, смог проговорить одно только слово:

– Дануся...

Тут изо рта у него хлынула кровь, и в глазах у него потемнело. Дануся схватила его из-за плеч за руки, но не в силах будучи удержать его, стала звать на помощь. И вот его окружили со всех сторон, терли снегом, лили в рот вино, и наконец ловчий Мрокота из Моцажева велел положить его на епанчи и остановить кровь при помощи мягкого трута.

– Жив будет, если только у него сломаны ребра, а не хребет, – сказал он, обращаясь к княгине.

Другие девушки между тем при помощи охотников занялись рыцарем де Лорш. Его поворачивали с боку на бок, ища на панцире дыр или углублений, сделанных турьими рогами, но, кроме снега, набившегося между полосами стали, нельзя было найти ничего. Тур выместил свою злость главным образом на лошади, которая лежала рядом, уже мертвая, с вывалившимися внутренностями; де Лорш не был ранен. Он только лишился чувств от падения и, как оказалось впоследствии, у него была вывихнута правая рука. Однако теперь, когда с него сняли шлем и влили в рот вина, он тотчас открыл глаза, пришел в себя и, видя склоненные над собой лица двух молодых и пригожих девушек, сказал по-немецки:

– Я, должно быть, уже в раю и надо мной витают ангелы?

Правда, девушки не поняли того, что он сказал, но, обрадовавшись, что он очнулся и заговорил, стали улыбаться ему и с помощью охотников подняли его с земли; почувствовав боль в правой руке, он застонал, оперся левой на плечо одного из "ангелов" и с минуту стоял неподвижно, боясь сделать шаг, так как чувствовал, что стоит на ногах нетвердо. Потом он еще мутным взором обвел поле битвы: увидел рыжее тело тура, вблизи показавшееся ему чудовищно-огромным, увидел ломающую над Збышкой руки Данусю и самого Збышку, лежащего на епанче.

– Этот рыцарь поспешил мне на помощь? – спросил он. – Жив ли он?

– Он тяжело ранен, – отвечал один из придворных, говоривший по-немецки.

– Отныне я буду сражаться не с ним, а за него, – сказал лотарингский рыцарь.

Но в эту минуту князь, до сих пор стоявший над Збышкой, подошел к де Лоршу и стал его прославлять, говоря, что своим смелым поступком он защитил от жестокой опасности княгиню и прочих женщин, а может быть, даже спас им жизнь: за это, кроме рыцарских наград, имя его будет окружено славой у ныне живущих людей и в потомстве.

– В нынешнее изнеженное время, – сказал князь, – все меньше и меньше ездит по свету истинных рыцарей; погостите же у меня как можно дольше, а то и совсем останьтесь в Мазовии, где вы уже снискали мое расположение и где столь же легко сумеете благородными поступками снискать любовь всего народа.

Таяло от таких слов жадное до славы сердце рыцаря де Лорша, когда же он подумал, что совершил столь рыцарский подвиг и заслужил таких похвал в тех отдаленных польских землях, о которых на Западе рассказывалось столько диковинных вещей, он от радости почти перестал чувствовать боль в вывихнутом правом плече. Он понимал, что рыцарь, который при брабантском или бургундском дворе сможет рассказать, что он спас на охоте жизнь мазовецкой княгине, будет с тех пор ходить окруженный ослепительным, как солнце, ореолом славы. Под влиянием этих мыслей он даже хотел было тотчас подойти к княгине и на коленях принести ей клятву в вечной верности, но и сама она, и Дануся заняты были Збышкой. Тот на мгновение снова пришел в себя, но только улыбнулся Данусе, поднял руку к покрытому холодным потом лбу, и снова потерял сознание. Опытные охотники, видя, как при этом скрестились его руки, а рот остался открытым, говорили между собой, что ему не выжить, но еще более опытные курпы, из которых на многих были следы медвежьих когтей, кабаньих клыков и зубровых рогов, смотрели на дело более

светло, говоря, что рог тура только прошел между ребрами и что, быть может, из них одно или два сломаны, но спинной хребет цел, потому что в противном случае молодой рыцарь не мог бы привстать ни на минуту. Они также показывали, что на том месте, где упал Збышко, находился сугроб снега, что и спасло его, потому что зверь, придавив его лбом, не мог окончательно раздавить ему ни грудь, ни спинной хребет.

К несчастью, ксендза Вышонка из Деванны, княжеского лекаря, не было на охоте, хотя обычно он бывал на ней: на этот раз он был занят печением облаток [27]. Узнав об этом, чех помчался за ним; между тем курпы понесли Збышку на епанче в дом князя. Дануся хотела идти пешком рядом с ним, но княгиня воспротивилась этому, потому что дорога была дальняя, в лесных оврагах лежал глубокий снег, а между тем нужно было спешить. Староста Гуго де Денвельд помог девочке сесть на коня, а потом, едучи рядом с ней, сейчас же позади людей, несших Збышку, сказал по-польски, понизив голос так, чтобы слышала его только она:

– У меня в Щитно есть чудесный лекарственный бальзам, который я получил в Герцынском лесу от одного пустычника; я бы мог в три дня доставить его сюда.

– Да вознаградит вас Господь! – отвечала Дануся.

– Господь засчитывает нам каждый милосердный поступок, но могу ли я также рассчитывать на награду и от вас?

– Как же я могу наградить вас?

Меченосец подъехал ближе, видимо, хотел что-то сказать, но не решился и лишь после некоторого молчания проговорил:

– В ордене, кроме братьев, есть и сестры... Одна из них привезет целительный бальзам, и тогда я скажу вам, какой жду для себя награды.

V

Ксендз Вышонок осмотрел раны Збышки, понял, что сломано только одно ребро, но в первый день не ручался за выздоровление, потому что не знал, "не перевернулось ли у больного сердце и не оборвалась ли печенка". Рыцаря де Лорша к вечеру также охватила такая слабость, что он вынужден был слечь, а на другой день не мог пошевелить ни рукой, ни ногой без мучительной боли во всех костях. Княгиня, Дануся и прочие придворные девушки ухаживали за больными и по предписанию ксендза Вышонка варили для них разные мази и притирания. Збышко, однако, был сильно помят и время от времени харкал кровью, что весьма тревожило ксендза Вышонка. Все же он был в полном сознании и на другой день, узнав от Дануси, кому обязан спасением своей жизни, несмотря на слабость, призвал своего чеха, чтобы поблагодарить и вознаградить его. Но при этом пришлось ему вспомнить, что чеха он получил от Ягенки и что если бы не доброе ее сердце, он погиб бы. Мысль эта была ему даже тяжела, потому что он чувствовал, что никогда не отплатит доброй девушке добром за добро и что будет для нее лишь причиной печали и мучительной скорби. Правда, он тотчас сказал себе: "Не могу же я разорваться пополам", – но на дне души остался у него как бы укор совести, а чех еще больше разбередил эту душевную его рану.

– Я дворянской честью поклялся своей госпоже беречь вас, – сказал он, – и буду беречь без всякой награды. Ей, а не мне обязаны вы, господин, своим спасением.

Збышко ничего не ответил и только принялся тяжело вздыхать, а чех помолчал немного и снова заговорил:

– Если вы мне прикажете ехать в Богданец, я поеду. Может быть, вы хотели бы видеть старого пана, ведь одному Богу ведомо, что с вами будет.

– А что говорит ксендз Вышонок? – спросил Збышко.

– Ксендз Вышонок говорит, что все выяснится к новолунию, а до новолуния еще четыре дня.

– Эх... Ну, значит, нечего тебе ехать в Богданец. Либо я помру прежде, чем дядя сюда подоспеет, либо выздоровею.

– Вы бы хоть письмо послали в Богданец. Сандерус все отлично пропишет. По крайней мере, будут знать о вас и, бог даст, обедню отслужат за ваше здоровье.

– Теперь оставь меня, потому что я слаб. Если умру, ты вернешься в Згожелицы и скажешь, как что было, тогда и отслужат обедню. А меня похоронят здесь или в Цеханове.

– Уж должно быть, что в Цеханове или в Прасныше, потому что в лесу одних курпов хоронят, и волки над ними воют. Я слышал от слуг, что князь со двором через два дня возвращается в Цеханов, а оттуда в Варшаву.

– Ну меня здесь не оставят, – отвечал Збышко.

И он угадал, так как княгиня в тот же день отправилась к князю просить, чтобы он позволил ей остаться в охотничьем замке вместе с Данусей, прислужницами и ксендзом Вышонком, который был против скорого перевезения Збышки из Прасныша. Рыцарю де Лоршу через два дня стало заметно лучше, и он начал вставать; но узнав, что "дамы" остаются, он также остался, чтобы сопровождать их на обратном пути и защищать их от опасности в случае нападения "сарацин". Откуда было взяться этим "сарацинам", этого вопроса храбрый лотарингский рыцарь себе не задавал. Правда, на дальнем Западе так звали литвинов, но с их стороны никакая опасность не могла угрожать дочери Кейстута, родной сестре Витольда и двоюродной могучего "краковского короля" Ягеллы. Но рыцарь де Лорш слишком долго жил у меченосцев, чтобы, несмотря на все, что он слышал в Мазовии о крещении Литвы и о соединении двух государств под властью одного главы, все-таки не предполагать, что со стороны литовцев можно ждать всегда всяких зол. Так говорили ему меченосцы, а он еще не совсем потерял веру в их слова.

Но в это время произошел случай, который тенью лег между гостями-меченосцами и князем Янушем. За день до отъезда двора прибыли братья Готфрид и Ротгер, оставшиеся в Цеханове, а вместе с ними прибыл некий де Фурси, привезший неприятные для меченосцев известия. Дело заключалось в том, что иностранные гости, проживавшие у старосты меченосцев в Любове, т. е. он сам, господин де Фурси, господин де Бергов и господин Майнегер (оба последних принадлежали к фамилиям, чтимым в ордене), наслушавшись рассказов о Юранде из Спыхова, не только не испугались этих рассказов, но и решили вызвать знаменитого воина на бой, чтобы убедиться, действительно ли он так страшен, как о нем говорят. Правда, староста этому противился, ссылаясь на мир, царящий между орденом и мазовецкими княжествами, но в конце концов, быть может, в надежде избавиться от грозного соседа, не только решил смотреть на дело сквозь пальцы, но и позволил

своим кнехтам принять участие в походе. Рыцари послали Юранду вызов; он тотчас же принял его с условием, что рыцари отошлют назад своих кнехтов, а сами будут сражаться с ним и с двумя его товарищами, трое на трое, на самой границе между Пруссией и Спыховом. Но так как они не хотели ни отправить назад кнехтов, ни уйти из спыховских земель, то он напал на них, кнехтов перебил, господина Майнегера сам проткнул копьем, а господина Бергова взял в плен и бросил в подземелье спыховского замка. Де Фурси один спасся и после трехдневных скитаний по мазовецким лесам, узнав от смолокуров, что в Цеханове гостят братья ордена, добрался до них, чтобы вместе с ними принести жалобу князю и добиться от него приказа об освобождении господина де Бергова.

Известия эти мигом замутили добрые отношения между князем и гостями, потому что не только вновь прибывшие братья, но и Гуго де Данвельд и Зигфрид де Леве стали настойчиво требовать от князя, чтобы он раз навсегда удовлетворил справедливые требования ордена, освободил границу от хищника и разом покарал бы его за все вины. Особенно Гуго де Данвельд, у которого были свои старые счеты с Юрандом, воспоминание о которых томило его болью и стыдом, особенно он почти с угрозами требовал мести.

– Мы будем жаловаться великому магистру, – говорил он, – и если наши справедливые желанья не будут удовлетворены вами, то он сам сумеет удовлетворить их, хотя бы за этого разбойника встала вся Мазовия.

Но князь, от природы миролюбивый, разгневался и сказал:

– Какой же справедливости вы домогаетесь? Если бы Юранд первый напал на вас, сжег деревни, угнал стада и перебил людей, я бы, конечно, сам вызвал его на суд и покарал бы его. Но ведь ваши сами напали на него. Ваш староста дал кнехтов, а что же сделал Юранд? Он даже принял вызов и хотел только того, чтобы люди отошли в сторону. Как же я стану его за это наказывать или вызывать на суд? Вы задели страшного воина, которого все боятся, и добровольно накликали беду на свою голову; так чего же вы хотите? Уж не должен ли я ему приказать, чтобы он не защищался, когда вам понравится напасть на него?

– Нападал на него не орден, а его гости, посторонние рыцари, – ответил Гуго.

– Орден отвечает за своих гостей, а кроме того, с ними были кнехты из Любовской крепости.

– Что же, староста, значит, должен был послать своих гостей на убой? В ответ на эти слова князь обратился к Зигфриду и сказал:

– Смотрите, во что обращается в ваших устах справедливость. Неужели ваши увертки не гnevят Господа?

Но суровый Зигфрид ответил:

– Господин де Бергов должен быть отпущен из плена, ибо его предки занимали в ордене высшие должности и оказывали ему большие услуги.

– А смерть Майнегера должна быть отомщена, – прибавил Гуго де Данвельд.

Услышав это, князь откинул на обе стороны волосы и, встав со скамьи, со зловещим лицом направился к немцам; но вскоре он, очевидно, вспомнил, что они его гости.

Он еще раз пересилил себя, положил руку на плечо Зигфрида и сказал:

– Слушайте, староста, вы носите на плаще крест, так ответьте же мне по совести, клянясь этим крестом, прав был Юранд или не прав?

– Господин де Бергов должен быть освобожден из плена, – ответил Зигфрид де Леве.

Наступило молчание. Князь сказал:

– Господи, пошли мне терпения!

А Зигфрид резким, похожим на удары меча, голосом продолжал:

– Та обида, которая нанесена нам в лице наших гостей, является только новым поводом жаловаться. С тех пор, как существует орден, никогда, ни в Палестине, ни в Семиградии, ни в пребывавшей доселе в язычестве Литве, никто не причинил нам столько зла, как этот разбойник из Спыхова. Князь, мы требуем справедливости и наказания не за одну вину, а за тысячу, не за одно избиение, а за пятьдесят, не за то, что однажды была пролита кровь, а за целые годы таких поступков, за которые небесный огонь должен бы испепелить это безбожное гнездо злобы и жестокости. Чьи стоны взывают к Господу об отмщении? Наши! Чьи слезы? Наши! Тщетно приносили мы жалобы, тщетно требовали суда. Ни разу мы не были удовлетворены.

Услышав это, князь Януш покачал головой и ответил:

– Эх, в старые времена меченосцы не раз гостили в Спыхове, и Юранд не был вашим врагом, пока любимая жена его не умерла из-за вас. А сколько раз сами вы задевали его, желая погубить, как и в этот раз, за то, что он вызывал на бой и побеждал ваших рыцарей? Сколько раз вы подсылали к нему убийц, сколько раз стреляли в него в лесу из арбалетов? Правда, он вас преследовал, но лишь потому, что его мучила жажда мести, но разве вы или рыцари, живущие в ваших землях, не нападали на мирных обитателей Мазовии, не угоняли стад, не жгли деревень, не избивали мужчин, женщин и детей? А когда я жаловался великому магистру, он отвечал мне из Мальборга: "Обычные пограничные беспорядки. Оставьте меня в покое". И не вам бы жаловаться, не вам, которые захватили в плен меня самого, безоружного, во время мира, на моей собственной земле, и если бы не страх ваш перед гневом короля краковского, то, может быть, до сих пор я стонал бы в ваших подземельях. Так отплатили вы мне, который происходит из рода ваших благодетелей. Оставьте меня в покое; не вам говорить о справедливости.

Услышав это, меченосцы с досадой переглянулись, потому что им было неприятно и стыдно, что князь упомянул о нападении на Злоторюю при господине де Фурси; поэтому Гуго де Данвельд, чтобы положить конец этому разговору, сказал:

– С вами, князь, произошла ошибка, которую мы исправили не из страха перед краковским королем, но из чувства справедливости, а за пограничные стычки наш магистр отвечать не может, потому что сколько есть на земле государств, всюду на границах беспокойные люди позволяют себе лишнее.

– Вот ты сам это говоришь, а над Юрандом требуешь суда. Так чего же вы хотите?

– Правосудия и наказания.

Князь сжал костлявые свои кулаки и повторил:

– Господи, пошли мне терпения.

– Князь, вспомните и о том, – продолжал Данвельд, – что наши обижают только светских и не принадлежащих к немецкому племени людей, ваши же поднимают руку против немецкого ордена, чем оскорбляют самого Спасителя. Но каких же мук и наказаний не достойны оскорбители креста?

– Слушай, – сказал князь, – ты Бога не поминай, потому что Его не обманешь.

И, положив руки на плечи меченосца, он сильно встряхнул его; тот испугался и заговорил более миролюбиво:

– Если правда, что гости наши первые напали на Юранда и не отослали своих людей, то я не стану этого хвалить, но правда ли, что Юранд принял вызов?

Сказав это, он стал смотреть на господина де Фурси, украдкой подмигивая глазами, точно желая дать ему понять, чтобы он отрицал это; но тот, не желая этого делать, ответил:

– Он хотел, чтобы мы отослали людей и сразились с ним трое на трое.

– Вы в этом уверены?

– Клянусь честью! Я и де Бергов согласились, а Майнегер не захотел.

Тут князь перебил его:

– Староста из Щитно! Вы лучше других знаете, что Юранд не уклоняется от вызова.

Тут он обратился ко всем и сказал:

– Если кто-либо из вас хочет вызвать его на конную или пешую битву, я даю на то позволение. Если Юранд будет убит или взят в плен, господин де Бергов выйдет из темницы без выкупа. Большого от меня не требуйте, потому что и не добьетесь.

Но после этих слов наступило глубокое молчание. И Гуго де Данвельд, и Зигфрид де Леве, и брат Ротгер, и брат Готфрид, хоть и были людьми храбрыми, все же слишком хорошо знали страшного владыку Спыхова, чтобы кто-нибудь из них решился выйти с ним на решительный бой. Сделать это мог разве только человек нездешний, происходящий из отдаленных стран, вроде де Лорша или Фурси, но де Лорш не присутствовал при разговоре, а господин де Фурси был еще слишком охвачен ужасом.

– Я его раз видал, – проворчал он тихонько, – и не хочу видеть еще раз. А Зигфрид де Леве сказал:

– Монахам воспрещено драться на поединках, иначе как с особого разрешения магистра и великого маршала, но мы здесь ищем не разрешения драться, а того, чтобы де Бергов было освобожден из плена, а Юранд приговорен к смерти.

– В этой земле не вы устанавливаете законы.

– До сих пор мы терпеливо переносили тягостное соседство. Но магистр наш сумеет

отстоять справедливость.

– Пусть ваш магистр вместе с вами держится подальше от Мазовии.

– За магистром стоят немцы и римский император.

– А за мной – король польский, которому подвластно больше земель и народов.

– Разве вы, князь, хотите войны с орденом?

– Если бы я хотел войны, я бы не ждал вас, сидя в Мазовии, а шел бы к вам сам. Но и ты не грози мне, потому что я не боюсь.

– Что же я должен донести магистру?

– Ваш магистр ни о чем не спрашивал. Говори ему, что хочешь.

– В таком случае мы сами будем карать и мстить.

В ответ князь протянул руку и угрожающе погрозил пальцем возле самого лица меченосца.

– Берегись, – сказал он сдавленным от гнева голосом, – берегись! Я позволил тебе вызвать Юранда, но если ты с войском ордена вторгнешься в мою страну, я на тебя обрушусь, и ты очутишься здесь не гостем, а пленником.

По-видимому, терпение его было уже исчерпано: он изо всех сил ударил шапкой по столу и вышел из комнаты, хлопнув дверью. Меченосцы побледнели от бешенства, а господин де Фурси смотрел на них, как сумасшедший.

– Что ж теперь будет? – первым спросил брат Ротгер.

А Гуго де Данвельд чуть ли не с кулаками подскочил к господину де Фурси:

– Зачем ты сказал, что вы первые напали на Юранда?

– Потому что это правда.

– Надо было солгать.

– Я приехал сюда сражаться, а не лгать.

– Хорошо ты сражался, нечего сказать!

– А ты не бегал от Юранда в Щитно?

– Рах! – сказал де Леве. – Этот рыцарь – гость ордена.

– И все равно, что он сказал, – вмешался брат Годфрид. – Без суда Юранда не наказали бы, а на суде все дело всплыло бы наружу.

– Что теперь будет? – повторил брат Ротгер.

Наступило молчание. Потом заговорил суровый и злой Зигфрид де Леве.

– С этой кровожадной собакой надо раз навсегда покончить, – сказал он. – Де Бергов должен быть освобожден из плена. Стянем солдат из Щитно, из Инсбурга, из Любовы, возьмем холмскую шляхту и нападём на Юранда... Пора с ним покончить.

Но изворотливый Данвельд, умевший посмотреть на каждое дело со всех сторон, закинул руки за голову, нахмурился и, подумав, сказал:

– Без разрешения магистра нельзя...

– Если удастся, магистр нас похвалит, – сказал брат Годфрид.

– А если не удастся? Если князь двинет войско и ударит на нас?

– Между ним и орденом мир: не ударит.

– Ну вот! Мир-то мир, но ведь мы первые нарушим его. наших отрядов не хватит против всех Мазуров.

– Тогда за нас вступится магистр, и будет война.

Данвельд снова нахмурил брови и задумался.

– Нет, нет, – сказал он, помолчав. – Если дело удастся, магистр в душе будет рад... К князю будут отправлены послы, начнутся переговоры, и дело для нас пройдет безнаказанно. Но в случае поражения орден за нас не вступится и войны князю не объявит... Для этого нужен другой магистр... За князя – король польский, а с ним магистр ссориться не станет...

– А ведь все-таки Добжинскую землю мы захватили: значит, Кракова не боимся.

– Тут были хоть намеки на справедливость... Князь Опольский... Мы ее как будто взяли в залог, да и то...

Тут он осмотрелся кругом и, понизив голос, прибавил:

– Я слышал в Мальборге, что если бы стали грозить войной, то мы отдали бы ее обратно, если только нам возвратят залог...

– Ах, – сказал брат Ротгер, – если бы здесь с нами был Маркварт Зальцбах или Шомберг, который передошил Витольдовых шенят, уж они бы нашли управу на Юранда. Что такое Витольд? Наместник Ягелла, великий князь, а несмотря на это Шомбергу ничего не было... Передошил Витольдовых детей – и ничего ему... Воистину, мало между нами людей, которые во всем найдут выход...

Услышав это, Гуго де Данвельд облокотился на стол, подпер голову руками и надолго задумался. Вдруг глаза его просияли, он вытер, по своему обыкновению, мокрые, толстые губы рукой и сказал:

– Да будет благословенна та минута, когда вы, благочестивый брат, произнесли имя храброго брата Шомберга.

– Почему так? Разве вы что-нибудь придумали? – спросил Зигфрид де Лева.

– Говорите скорей, – воскликнули братья Ротгер и Годфрид.

– Слушайте, – сказал Гуго. – У Юранда здесь дочь, единственное дитя его, которое он бережет как зеницу ока.

– Еще бы! Я ее знаю. Любит ее и княгиня Анна Данута.

– Да. Так слушайте же: если бы вы похитили эту девчонку, Юранд отдал бы за нее не только Бергова, но и всех узников, и себя самого, и в придачу Спыхов.

– Клянусь кровью святого Бонифация, пролитой в Докуме, – вскричал брат Годфрид, – все было бы так, как вы говорите.

Потом все замолчали, как бы испуганные дерзостью и трудностью предприятия. Лишь через несколько времени брат Ротгер обратился к Зигфриду де Леве.

– Ум ваш и опытность, – сказал он, – равны вашему мужеству: что вы об этом думаете?

– Полагаю, что дело стоит обдумать.

– Дело в том, – продолжал Ротгер, – что девушка – приближенная княгини, да больше того: она ей все равно, что родная дочь. Подумайте, благочестивые братья, какой подымется вопль.

Гуго де Данвельд засмеялся.

– Сами вы говорили, – сказал он, – что Шомберг отравил или передудил Витольдовых шенят, и что ему за это было? Вопить они начинают из-за всякого пустяка, но если бы мы послали магистру закованного в цепи Юранда, то нас ждала бы скорее награда, нежели наказание.

– Да, – сказал де Леве, – время для нападения подходящее. Князь уезжает, Анна Данута остается здесь одна с придворными девушками. Однако нападение на двор князя в мирное время – дело не пустячное. Княжеский двор – не Спыхов. Это снова, как в Злоторые. Снова полетят жалобы во все королевства и папе на чинимые орденом насилия; снова станет грозить проклятый Ягелло, а магистр... да ведь вы его знаете: он за что угодно ухватится, только бы не воевать с Ягеллой... Да, крик подымется во всех землях Мазовии и Польши.

– А тем временем кости Юранда побелеют на виселице, – ответил брат Гуго. – Наконец, кто вам говорит, что ее надо украсть отсюда, из дворца, из княгининых рук?

– Да ведь не из Цеханова же, где кроме шляхты есть триста лучников.

– Нет. Но разве Юранд не может захворать и прислать за девчонкой людей? Тогда княгиня не запретит ей ехать, а если девочка дорогой пропадет, то кто сможет сказать вам или мне: "Это ты ее украл"?

– Ну да, – ответил раздосадованный де Леве, – сделайте так, чтобы Юранд захворал и вызвал девчонку...

На это Гуго победоносно улыбнулся и отвечал:

– Есть у меня золотых дел мастер. Он был выгнан из Мальборга за воровство, поселился в Щитне и может вырезать любую печать; есть у меня и люди, которые, будучи нашими подданными, происходят все-таки из мазурского народа... Неужели вы меня еще не понимаете?...

– Понимаю, – с восторгом вскричал брат Годфрид.

А Ротгер поднял руки кверху и сказал:

– Да вознаградит тебя Господь Бог, благочестивый брат, ибо ни Маркварт Зальцбах, ни Шомберг не нашли бы лучшего способа.

И он прищурил глаза, точно желая рассмотреть что-то, находящееся в отдалении, и сказал:

– Я вижу, как Юранд с веревкой на шее стоит у Гданских ворот в Мальборге и как наши кнехты бьют его ногами...

– А девчонка останется служительницей ордена, – прибавил Гуго.

Услышав это, де Леве перевел глаза на Данвельда, но тот снова провел рукой по губам и сказал:

– А теперь нам нужно как можно скорее спешить в Щитно.

VI

Однако перед отправлением в Щитно четыре брата-меченосца и де Фурси еще раз пришли проститься с князем и княгиней. Прощание это было не особенно дружеское, но все-таки князь, не желая, по старинному польскому обычаю, отпускать гостей из своего дома с пустыми руками, подарил каждому из братьев по прекрасному куньему меху и по гривне серебра; они приняли подарки с радостью, уверяя, что, как монахи, давшие обет нищенства, они не оставят этих денег себе, а раздадут их бедным, которым в то же время велят молиться за здоровье, славу и будущее спасение князя. Мазуры на эти уверения усмехались в усы, потому что жадность братьев ордена была им известна, а еще лучше известна лживость меченосцев. В Мазовии говорили, что как трус трусит, так меченосец лжет. Князь тоже только махнул рукой на такие выражения благодарности, а когда они ушли, сказал, что благодаря молитвам меченосцев он разве только станет все дальше отходить от рая.

Но еще до этого, при прощании с князем, в ту минуту, когда Зигфрид де Леве целовал у него руку, Гуго фон Данвельд подошел к Данусе, положил руку на ее голову и, лаская ее, сказал:

– Нам повелено платить добром за зло и любить даже врагов наших, поэтому сюда приедет сестра-монахиня и привезет вам, панна, целебный герцинский бальзам.

– Как мне благодарить вас, рыцарь? – спросила Дануся.

– Будьте доброжелательны к ордену и братьям.

Де Фурси заметил этот разговор, и так как его при этом поразила красота девушки, то по отъезде в Щитно он спросил:

– Что это за красавица, с которой вы говорили перед отъездом?

– Дочь Юранда, – отвечал меченосец.

Рыцарь де Фурси был поражен:

– Та, которую вы собираетесь похитить?

– Да. А когда мы ее похитим – Юранд наш.

– Видно, не все плохо, что происходит от Юранда. Стоит быть стражем такого пленника.

– Вы думаете, что с ней воевать было бы легче, чем с Юрандом?

– Это значит, что я думаю так же, как вы. Отец – враг ордена, а дочери вы говорили слова слаще меда и, кроме того, обещали ей бальзам.

Гуго де Данфельд, очевидно, почувствовал необходимость сказать в свое оправдание несколько слов.

– Я обещал ей бальзам, – сказал он, – для того молодого рыцаря, который помят туром и с которым, как вы знаете, она сговорена. Если, когда мы похитим девочку, поднимется крик, то мы скажем, что не только не хотели ей зла, но даже, по христианскому милосердию своему, посылали ей лекарства.

– Хорошо, – сказал де Леве. – Только послать надо надежного человека.

– Я пошлю одну благочестивую женщину, безраздельно преданную ордену. Я велю ей смотреть и слушать. Когда наши люди придут, как будто от Юранда, они найдут дело уже подготовленным.

– Таких людей трудно будет набрать.

– Нет. Народ у нас говорит на том же языке. В городе, да даже и в гарнизоне между кнехтами, есть люди, которые бежали из Мазовии, преследуемые законом; правда, это разбойники, воры, но они не знают, что такое страх, и готовы на все. Им я обещаю так: если справятся с делом – большие награды, если не справятся – петля.

– Да, а если они изменят?

– Не изменят, потому что каждый из них в Мазовии давно приговорен к казни. Надо только дать им хорошую одежду, чтобы их приняли за настоящих слуг Юранда, а главное – письмо с Юрандовой печатью.

– Надо предвидеть все, – сказал брат Ротгер, – может быть, Юранд после последней битвы захочет повидать князя, чтобы пожаловаться на нас и оправдать себя. Будучи в Цеханове, он заедет к дочери, в охотничий домик. И тогда может случиться, что наши люди, прибывшие за его дочь, наткнутся на самого Юранда.

– Люди, которых я выберу, шельмецы отъявленные. Они будут знать, что если наткнутся на Юранда, то пойдут на виселицу. Жизнь их будет зависеть от того, чтобы не встретиться с ним.

– Но все-таки может случиться, что их схватят.

– Тогда мы отречемся и от них, и от письма. Кто нам докажет, что это мы их послали? Наконец, если не будет похищения, то не будет и крика, а если нескольких висельников-мазуров четвертуют, то от этого для ордена большой беды не будет.

Брат Годфрид, младший из меченосцев, сказал:

– Я не понимаю ни вашей политики, ни вашей боязни, как бы не обнаружилось, что девчонка похищена по нашему приказанию. Ведь когда она будет у нас в руках, должны же мы послать кого-нибудь к Юранду и сказать ему: "Твоя дочь у нас, если хочешь, чтобы она получила свободу, отдай за нее де Бергова и самого себя..." Как же иначе?... Но тогда будет известно, что похитить девочку приказали мы.

– Верно, – сказал рыцарь де Фурси, которому не особенно по вкусу пришлось вся эта затея, – к чему скрывать то, что должно обнаружиться?

Но Гуго де Данфельд начал смеяться и, обратившись к брату Готфриду, спросил:

– Давно вы носите белый плащ?

– В первое воскресенье после Троицына дня исполнится шесть лет.

– Так вот, когда вы проносите его еще шесть лет, вы будете лучше понимать дела ордена. Юранд знает нас лучше, чем вы. Ему скажут так: "Твою дочь стережет брат Шомберг, а если ты хоть слово пикнешь – то вспомни-ка детей Витольда..."

– А потом?

– А потом де Бергов будет освобожден, а орден тоже будет освобожден от Юранда.

– Нет, – воскликнул брат Ротгер, – все так хорошо задумано, что Господь должен благословить наш замысел.

– Господь благословляет все поступки, имеющие в виду благо ордена, – сказал угрюмый Зигфрид де Леве.

И они ехали дальше молча, а на два или три выстрела из арбалета шли их слуги, расчищавшие путь, который стал неровен, так как ночью выпал обильный снег. На деревьях лежал толстый слой снега, день был сумрачный, но теплый, и от лошадей подымался пар. Из лесов к людским жилищам летели стаи ворон, наполнявшие воздух зловещим карканьем.

Рыцарь де Фурси немного отстал от меченосцев и ехал в глубокой задумчивости. Уже несколько лет гостил он у ордена, принимал участие в походах на Жмудь, где проявил большую храбрость; принимаемый всюду так, как только меченосцы умели принимать рыцарей из отдаленных стран, он очень к ним привязался и, не обладая собственным богатством, задумал вступить в их ряды. Пока же он то жил в Мальборге, то объезжал знакомых командоров, ища дорогой развлечений и приключений. Недавно прибыв в Любаву с богатым де Берговым и, наслушавшись о Юранде, он воспытал жадой померяться силами с человеком, которого окружал всеобщий ужас. Прибытие Майнегера, одерживавшего победы во всех боях, ускорило

поход. Комтур из Любавы дал для этого людей; но при этом он столько наговорил троим рыцарям не только о жестокости, но и о коварстве и вероломстве Юранда, что, когда тот пожелал, чтобы они отослали обратно солдат, они не захотели на это согласиться, боясь, что, когда они это сделают, он окружит их, перебьет или бросит в спыховские подземелья. Тогда Юранд, полагая, что им нужен не только рыцарский бой, но и грабеж, напал на них первый и нанес им страшное поражение. Де Фурси видел де Бергова, поваленного вместе с конем, видел Майнегера с обломком копья в животе, видел людей, тщетно взывавших о пощаде. Сам он еле сумел прорваться и несколько дней скитался по дорогам и лесам, где бы умер от голода или стал бы добычей дикого зверя, если бы случайно не добрался до Цеханова, в котором нашел братьев Готфрида и Ротгера. Из всего этого похода вынес он только чувство унижения, стыда, ненависти, жажду мести да сожаление о де Бергове, который был его близким другом. Поэтому он всей душой присоединился к жалобе меченосцев, когда они добивались наказания Юранда и освобождения несчастного товарища; когда же эта жалоба оказалась бесплодной – он сам в первую минуту готов был согласиться на все средства, которые бы вели к отмщению. Но теперь в нем вдруг заговорило сомнение. Прислушиваясь к разговорам меченосцев, в особенности к тому, что говорил Гуго де Данфельд, он несколько раз не мог удержаться от изумления. В течение нескольких лет узнав меченосцев ближе, он, конечно, уже видел, что они не таковы, какими представляют их себе в Германии и на Западе. Но в Мальборге он познакомился с несколькими истинными и суровыми рыцарями; они сами часто жаловались на падение нравов братии, на ее развращенность и отсутствие дисциплины, и де Фурси чувствовал, что они правы, но, будучи сам развратным и непослушным, не особенно осуждал эти пороки и в других, тем более что все рыцари ордена вознаграждали свои дурные качества храбростью. Ведь он видел под Вильной, как, сойдясь грудь с грудью с польскими рыцарями, они сражались; он видел их при штурме крепостей, с нечеловеческим упорством защищаемых польскими гарнизонами; он видел, как они погибали под ударами топоров и мечей, в общих схватках или на поединках. Они были неумолимо жестоки по отношению к Литве, но они были как львы и холили, озаренные славой, как солнцем. Но теперь рыцарю де Фурси показалось, что Гуго де Данфельд говорит такие вещи и придумывает такие способы, от которых у каждого рыцаря должна бы содрогнуться душа, а другие братья не только не восстают на него с гневом, но поддакивают каждому его слову. И его охватывало все большее недоумение, и наконец он глубоко задумался, пристало ли ему принимать участие в таких поступках.

Дело в том, что если бы все заключалось только в похищении девушки, а потом в обмене ее на Бергова, то он, может быть, и согласился бы на это, хотя его поразила и схватила за сердце красота Дануси. Если бы ему пришлось быть ее стражем, то он тоже не имел бы ничего против этого и даже не был уверен, вышла ли бы она из его рук такой, какой в них попала бы. Но меченосцам, по-видимому, нужно было другое. Они при помощи ее вместе с Берговым хотели получить и самого Юранда, пообещав ему, что выпустят ее, если он отдастся в их руки, а потом убить его, а вместе с ним, чтобы скрыть обман и злодеяние, убить, вероятно, и девушку. Ведь они уже грозили ей судьбой детей Витольда, в случае если бы Юранд посмел жаловаться. "Они не хотят сдержать слова ни в чем: они обоих обманут и обоих погубят, – сказал себе де Фурси, – а между тем они носят крест и должны беречь свою честь больше, чем другие". И душа его с каждой минутой все больше возмущалась такой низостью, но он решил еще раз проверить, насколько подозрения его справедливы; поэтому он снова подъехал к Данфельду и спросил:

– А если Юранд отдастся вам, вы отпустите девушку?

– Если мы ее отпустим, весь мир узнает, что мы захватили в плен их обоих, – отвечал Данфельд.

– Так что же вы с нею сделаете?

Данфельд наклонился к говорящему и улыбаясь показал гнилые свои зубы, чернеющие под толстыми губами:

– О чем вы спрашиваете? О том ли, что мы с ней сделаем до того, или о том, что после!

Но Фурси, зная уже все, что хотел знать, замолчал. Еще некоторое время он, казалось, боролся с собой, но потом слегка привстал на стременах и сказал достаточно громко для того, чтобы его слышали все четыре монаха:

– Благочестивый брат Ульрих фон Юнгинген, образец и украшение рыцарства, однажды сказал мне: "Еще между стариками ты найдешь в Маль-борге рыцарей, достойных креста, но те, которые живут в пограничных ко-мандориях, только позорят орден".

– Все мы грешны, но служим Господу Богу нашему, – отвечал Гуго.

– Где же ваша рыцарская честь? Не позорными поступками служат Господу, разве только если вы служите не Спасителю. Кто же ваш Бог? Так знайте же, что я не только не приму участия ни в чем, но и вам не позволю.

– Чего не позволите?

– Совершать подлость, предательство, позорный поступок.

– А как же вы можете нам запретить? В битве с Юрандом вы потеряли людей и обоз. Вам приходится жить только милостями ордена, и вы умрете с голоду, если мы не бросим вам куска хлеба. И еще: вы один, нас четверо, как же вы нам не позволите?

– Как не позволю? – повторил де Фурси. – Я могу возвратиться в замок и предупредить князя, а также могу разгласить ваши замыслы по всему миру.

Тут рыцари-монахи переглянулись друг с другом, и лица их мгновенно изменились. Особенно Гуго де Данфельд долго смотрел испытующим взглядом в глаза Зигфрида де Леве, а потом обратился к рыцарю де Фурси.

– Предки ваши, – сказал он, – служили ордену; вы также хотите вступить в него, но мы предателей не принимаем.

– Это я не хочу служить с предателями!

– Берегитесь! Не исполняйте своей угрозы. Знайте, что орден умеет карать не только монахов...

Но де Фурси, которого задели эти слова за живое, обнажил меч, левой рукой схватился за лезвие, правую же положил на рукоять и сказал:

– Клянусь этой рукоятью, имеющей форму креста, клянусь головой святого Дионисия, моего патрона, и рыцарской честью своей, что предостерегу мазовецкого князя и магистра ордена.

Гуго де Данфельд снова пытливый взглядом посмотрел на Зигфрида де Леве, а тот опустил веки, как бы давая знать, что на что-то согласен.

Тогда Данфельд каким-то необычайно глухим и измененным голосом произнес:

– Святой Дионисий мог унести отсеченную свою голову под мышкой, но если когда-нибудь упадет ваша голова...

– Вы мне угрожаете? – перебил де Фурси.

– Нет, убиваю, – отвечал Данфельд.

И он с такой силой ударил его ножом в бок, что острие вошло в тело по рукоятку. Де Фурси вскричал страшным голосом, попробовал правой рукой схватиться за меч, который держал в левой, но выронил его на землю, а в это время три других меченосца стали безжалостно наносить ему удары ножами в шею, в плечи, в живот, пока он не упал с коня.

Потом наступило молчание. Де Фурси, истекая кровью множества ран, бился на снегу и хватал его скрюченными от конвульсий пальцами. Из-под свинцового неба доносилось лишь карканье ворон, летящих из глухих пущ к человеческому жилью.

Потом начался торопливый разговор убийц.

– Люди ничего не видали? – задыхающимся голосом спросил Данфельд.

– Ничего. Они впереди, их и не видно, – отвечал Леве.

– Слушайте, будет повод к новой жалобе. Мы объявим, что мазовецкие рыцари напали на нас и убили товарища. Поднимем такой крик, что его услышат в самом Мальборге: будто князь подсылает убийц даже к гостям своим. Слушайте, надо говорить, что Януш не только не хотел выслушать наши жалобы на Юранда, но и велел убить жалобщика.

Между тем де Фурси в последней судороге перевернулся на спину и лежал неподвижно с кровавой пеной на губах и с ужасом в уже мертвых, широко раскрытых глазах. Брат Ротгер посмотрел на него и сказал:

– Смотрите, благочестивые братья, как Господь Бог карает хотя бы одно лишь намерение предать.

– То, что мы сделали, мы сделали для блага ордена, – отвечал Годфрид. – Слава тем...

Но он не кончил, потому что в этот самый миг позади них, на повороте покрытой снегом дороги, показался какой-то всадник, мчавшийся во весь опор. Увидев его, Гуго де Данфельд поспешно вскричал:

– Кто бы ни был этот человек, он должен погибнуть...

А де Леве, который хоть и был старшим из братьев, но обладал необычайно острым зрением, сказал:

– Я узнаю его: это тот слуга, который убил тура топором. Так и есть: это он.

– Спрячьте ножи, чтобы он не испугался, – сказал Данфельд. – Я снова ударю первым, а вы за мной.

Между тем чех подъехал и в десяти или двадцати шагах остановил коня. Он увидел труп в луже крови, коня без седока, и на лице его отразилось удивление, но длилось оно лишь мгновение. Через минуту он обратился к братьям, точно ничего не видел, и сказал:

– Бью вам челом, храбрые рыцари.

– Мы узнали тебя, – отвечал Данфельд, медленно приближаясь к нему. – У тебя к нам дело?

– Меня послал рыцарь Збышко из Богданца, за которым я ношу копье и который помят на охоте туром; поэтому он не мог сам обратиться к вам.

– Чего же хочет от нас твой господин?

– За то, что вы несправедливо, с ущербом для рыцарской его чести, обвиняли Юранда из Спыхова, господин мой велел сказать вам, что вы не поступали, как истинные рыцари, а лаяли, как собаки; а если кому не нравятся эти слова, того он вызывает на пешую или конную битву, до последнего издыхания; он выйдет на эту битву, где вы ему укажете, как только по милости Божьей болезнь покинет его.

– Скажи своему господину, что рыцари ордена во имя Спасителя терпеливо сносят клевету, но на поединок без особого разрешения магистра или великого маршала выходить не могут, но что просьбу о разрешении этом мы пошлем в Мальборг.

Чех снова взглянул на труп де Фурси, потому что он был послан главным образом к нему. Ведь Збышко уже знал, что рыцари ордена на поединки не выходят, но услышав, что между ними был рыцарь светский, его-то и захотел вызвать, полагая, что таким образом доставит удовольствие Юранду. Но теперь этот рыцарь лежал зарезанный, как вол, между четырьмя меченосцами.

Чех, правда, не понимал, что произошло, но так как с детства привык ко всем опасностям, то и здесь почуял какую-то опасность. Удивило его и то, что Данфельд, говоря с ним, подъезжал все ближе, а другие стали заезжать с боков, точно хотели незаметно окружить его. Поэтому он стал осторожен, особенно потому, что был обезоружен, забыв взять с собой кинжал или меч.

Между тем Данфельд подъехал к нему вплотную и продолжал:

– Я обещал для твоего господина целебный бальзам: плохо же он платит за услугу. Впрочем, это вещь обычная у поляков... Но так как он тяжело ранен и вскоре может предстать пред Господом, то скажи ему...

Тут он положил левую руку на плечо чеха.

– То скажи ему, что вот мой ответ...

И в тот же миг он сверкнул ножом у самого горла оруженосца; но не успел он ударить, как чех, уже давно следивший за его движениями, схватил его железными

своими руками за правую руку, вывернул ее так, что хрустнули суставы, и, только услышав отчаянный крик боли, тронул коня и помчался стрелой, прежде чем другие успели преградить ему дорогу.

Братья Годфрид и Ротгер стали его преследовать, но тотчас вернулись, пораженные страшным криком Данфельда. Де Леве придерживал его за плечи, а он, с бледным и посиневшим лицом, кричал так, что даже слуги, ехавшие с возами далеко впереди, сдержали лошадей.

– Что с вами? – спросили братья.

Но де Леве велел им как можно скорее скакать и привезти сюда телегу, так как Данфельд, по-видимому, не мог держаться в седле. Вскоре на лбу его проступил холодный пот, и он лишился чувств.

Когда телега была привезена, его уложили на соломе и направились к границе. Де Леве торопился, потому что после того, что произошло, нельзя было терять времени даже на осмотр Данфельда. Сев рядом с ним на телеге, он время от времени вытирал лицо его снегом, но не мог привести в чувство.

Только почти у самой границы Данфельд открыл глаза и как бы с удивлением стал озираться кругом.

– Как вы себя чувствуете? – спросил Леве.

– Не чувствую боли, но не чувствую и руки, – отвечал Данфельд.

– Она уже у вас онемела, потому и боль прошла. В теплой комнате снова вернется. А пока благодарите Бога хоть за временное облегчение.

Ротгер и Годфрид тотчас подъехали к телеге.

– Случилось несчастье, – сказал первый. – Что ж теперь будет?

– Мы скажем, – слабым голосом отвечал Данфельд, – что оруженосец убил де Фурси.

– Это их новое злодеяние – и виновник известен, – прибавил Ротгер.

VII

Между тем чех во весь опор помчался к лесному дворцу и, застав князя еще там, ему первому рассказал все, что случилось. К счастью, нашлись придворные, видевшие, что оруженосец уехал без оружия. Один из них даже крикнул ему вдогонку полшутя, чтобы он взял с собой что-нибудь, не то немцы его поколотят; но он, боясь, как бы рыцари не переехали тем временем за границу, вскочил на коня, как был, в одном только кожухе, и поскакал за ними. Показания эти рассеяли все подозрения князя относительно того, кто мог быть убийцей де Фурси, но наполнили его таким беспокойством и гневом, что в первую минуту он хотел послать за меченосцами погоню, чтобы отослать их в окопах к великому магистру ордена для наказания. Но вскоре он сам понял, что погоня уже не сможет настичь рыцарей раньше, чем они доберутся до границы, и сказал:

– Во всяком случае я pošлю письмо магистру, чтобы он знал, что они тут творят. Плохи стали дела ордена: прежде дисциплина была в нем жестокая, а теперь любой комтур делает что хочет. Попущение Божье, но за попусшением следует кара.

Он задумался, а помолчав, снова обратился к придворным:

– Я только одного никак не могу понять: зачем они убили гостя? Если бы не то, что слуга поехал без оружия, я подозревал бы его.

– Во-первых, – сказал ксендз Вышонок, – за что было оруженосцу убивать человека, которого он никогда не видел? А во-вторых, если бы у него даже было с собой оружие, то как мог он один напасть на пятерых, да еще окруженных вооруженной свитой?

– Верно, – сказал князь. – Должно быть, этот гость в чем-нибудь им воспротивился, а быть может, не хотел лгать так, как им было нужно; я уже здесь заметил, как они ему подмигивали, чтобы он сказал, будто Юранд напал первым.

А Мрокота из Моцажева сказал:

– Здоров, видно, этот малый, коли он этому псу Данфельду сломал руку.

– Он говорит, что слышал, как у немца кости хрустнули, – ответил князь, – да судя по тому, что он сделал в лесу, это возможно. Видно, и слуга, и господин – настоящие ребята. Если бы не Збышко, тур кинулся бы на лошадей. И лотарингский рыцарь, и он много сделали для спасения княгини...

– Верно, что настоящие ребята, – подтвердил ксендз Вышонок. – Вот и теперь еле дышит, а вступился-таки за Юранда и послал им вызов... Такого-то зятя и нужно Юранду.

– Что-то в Кракове Юранд не то говорил, но теперь, я думаю, что он не будет противиться, – сказал князь.

– Господь Бог в этом поможет, – сказала княгиня, которая, войдя в эту самую минуту, слышала конец разговора. – Теперь Юранд не может противиться, только бы Господь дал Збышке здоровья. Но и с нашей стороны ему должна быть дана награда.

– Лучшая для него награда будет Дануся, а я тоже думаю, что он ее получит, потому что если бабы возьмутся за какое-нибудь дело, так никакому Юранду с ними не справиться.

– А разве я не по справедливости взялась за это дело? – спросила княгиня. – Если бы Збышко был переменчив – тогда другое дело, но ведь вернее его и на свете нет. И девочка тоже. Она теперь ни на шаг от него не отходит: все его по лицу поглаживает, а он, хоть и болен, ей улыбается. Иной раз у меня у самой слезы из глаз текут. Я правду говорю... Такой любви стоит помочь, потому что сама Матерь Божья радуется, глядя на человеческое счастье...

– Была бы воля Божья, – сказал князь, – а счастье будет. Ведь и то правда: ему из-за этой девочки чуть голову не отрубили, а вот теперь его тур помял.

– Не говори, что из-за нее, – воскликнула княгиня, – ведь никто как Дануся спасла его в Кракове.

– Верно. Но если бы не она, он не бросился бы на Лихтенштейна, чтобы сорвать с его головы перья, да и ради де Лорша он бы не стал так охотно рисковать жизнью.

Что же касается награды – я уже сказал, что оба они должны ее получить, и в Цеханове я это обдумую.

– Збышке ничего бы так не хотелось, как рыцарского пояса и золотых шпор.

Князь ласково улыбнулся на эти слова и ответил:

– Так пускай же девочка отнесет их ему, а когда он оправится, мы последим, чтобы все было совершенно согласно обычаю. Пусть сейчас же несет: нежданная радость – самая лучшая.

Услышав это, княгиня в присутствии придворных обняла князя, потом несколько раз поцеловала у него руки, а он все улыбался и наконец сказал:

– Вот видите... Да, хорошая вещь пришла тебе в голову. Видно, Дух Святой и женщинам не отказал в частице разума. Позови же девочку.

– Дануся! Дануся! – закричала княгиня.

И через минуту в дверях соседней комнаты показалась Дануся, с покрасневшими от бессонницы глазами, с миской горячей каши, которую ксендз Вышонок обкладывал сломанные кости Збышки и которую старая служанка только что отдала ей.

– Поди-ка ко мне, сиротка, – сказал князь Януш. – Поставь миску и подойди.

И когда она с некоторой робостью подошла к нему, ибо князь всегда возбуждал в ней некоторый страх, он ласково прижал ее к себе и стал гладить ее лицо, говоря:

– Ну что – беда с тобой приключилась, а?

– Да, – отвечала Дануся.

И так как сердце ее было огорчено, а глаза на мокром месте, то она стала плакать, но тихонько, чтобы не рассердить князя; а он снова спросил:

– Чего же ты плачешь?

– Збышко болен, – отвечала Дануся, утирая глаза кулачками.

– Не бойся, ничего с ним не случится. Правда, отец Вышонок?

– По милости Божьей он ближе к свадьбе, чем к гробу, – ответил добрый ксендз Вышонок.

А князь сказал:

– погоди. Пока что я дам тебе для него лекарство, которое ему поможет, а то и совсем вылечит.

– От меченосцев бальзам прислали?! – воскликнула Дануся, отнимая руки от глаз.

– Тем бальзамом, который пришлют меченосцы, ты лучше помажь собаку, а не рыцаря, которого любишь. А я тебе дам кое-что другое.

Тут он обратился к придворным и сказал:

– Сбегайте кто-нибудь в мою комнату за шпорами, поясом. А через минуту, когда ему их принесли, он сказал Данусе:

– Бери и неси Збышке и скажи ему, что с этих пор он опоясан. Если умрет, то предстанет пред Богом, как *miles cinctus* [28], а если нет, то остальное мы завершим в Цеханове или в Варшаве.

Услышав это, Дануся прежде всего обняла колени князя, а потом схватила одной рукой знаки рыцарского достоинства, а другой – миску с кашей и побежала в комнату, где лежал Збышко. Княгиня, не желая лишиться зрелища их радости, пошла за нею.

Збышко был тяжело болен, но, увидев Данусю, обратил к ней побледневшее от болезни лицо и спросил:

– Милая, чех вернулся?

– Что там чех, – отвечала девушка, – я тебе приношу лучшую новость. Князь возвел тебя в рыцари и вот что присылает тебе со мной.

Сказав это, она положила возле него пояс и золотые шпоры. Бледные щеки Збышки вспыхнули от радости и удивления; он взглянул на Данусю, потом на рыцарские знаки, а потом закрыл глаза и стал повторять:

– Как же он мог возвести меня в рыцари?

В эту минуту вошла княгиня; он приподнялся на локтях и стал благодарить ее, прося прощения, что не может упасть к ногам ее; он тотчас же понял, что по ее ходатайству осенило его такое счастье. Но она велела ему лежать спокойно и собственноручно помогла Данусе снова уложить его на подушки. Между тем пришел князь, а с ним ксендз Вышонок, Мрокота и еще несколько придворных. Князь Януш издал еще сделав рукой знак, чтобы Збышко не двигался, а потом, сев возле ложа, заговорил так:

– Люди не должны удивляться, что за храбрые и благородные подвиги дается награда, ибо если бы добродетель оставалась незнагражденной, тогда бы и вина оставалась бы безнаказанной. И так как ты не щадил своей жизни и с ущербом для здоровья оберегал нас от тяжелого горя, то мы позволяем тебе опоясаться рыцарским поясом и отныне ходить в чести и славе.

– Милосердный государь, – отвечал Збышко, – я бы и десяти жизней не пожалел...

Но больше он не мог сказать ничего оттого, что был взволнован, и оттого, что княгиня положила ему руку на губы, потому что ксендз Вышонок не позволял ему разговаривать. А князь продолжал:

– Я думаю, что долг рыцаря тебе известен и ты будешь с честью носить эти знаки. Тебе предстоит служить Спасителю нашему и бороться с владыкой ада. Ты должен быть верен помазаннику земному, избегать неправой войны и защищать угнетаемую невинность, в чем да поможет тебе Господь.

– Аминь, – сказал ксендз Вышонок.

Тогда князь встал, перекрестил Збышку и, уходя, прибавил:

– А когда выздоровеешь, приезжай прямо в Цеханов, куда я вызову и Юранда.

VIII

Через три дня приехала обещанная женщина с герцинским бальзамом, а вместе с ней приехал из Щитно с письмом, подписанным братьями и снабженным печатью Данфельда, капитан лучников; в письме меченосцы призывали небо и землю в свидетели обид, которые были им нанесены в Мазовии, и, угрожая мстью Божьей, взывали о наказании за убийство "их возлюбленного друга и гостя". Данфельд присоединил к письму и личную свою жалобу, требуя в словах, одновременно смиренных и угрожающих, расплаты за тяжкое увечье, причиненное ему, и смертного приговора чеху. Князь на глазах у капитана разорвал письмо, швырнул его на пол и сказал:

– Магистр прислал этих злодеев-меченосцев для того, чтобы они вели со мной дружеские переговоры, а они меня разгневали. Скажи же им от моего имени, что они сами убили гостя и хотели убить оруженосца, о чем я напишу магистру, причем прибавлю, чтобы он выбирал других послов, если хочет, чтобы я, в случае войны его с королем польским, не стал ни на ту, ни на другую сторону.

– Милосердный государь, – отвечал капитан, – только ли такой ответ Должен я отнести благочестивым и могущественным братьям?

– Если этого не довольно, то скажи им еще, что я считаю их не рыцарями, а собачьими детьми.

На этом дело и кончилось. Капитан уехал, потому что и князь в тот же день уехал в Цеханов. Осталась только "сестра" с бальзамом, которого недоверчивый ксендз Вышонок все-таки не хотел употребить в дело, тем более что больной в прошедшую ночь хорошо уснул, а на следующее утро проснулся, правда, очень слабым, но уже без лихорадки. Как только князь уехал, сестра тотчас отправила обратно одного из своих слуг, как будто за новым лекарством, за "яйцом василиска", которое, как она говорила, обладало свойством возвращать силы даже умирающим, сама же она ходила по дворцу, смиренная, не владеющая одной рукой, одетая, правда, по-мирски, но в одежду, похожую на монашескую, с четками в руках и с тыквой на поясе, какие обычно носят пилигримы. Хорошо говоря по-польски, она с величайшей заботливостью расспрашивала слуг и о Збышке, и о Данусе, которой при случае подарила иерихонскую розу; на следующий день, когда Збышко спал, а девушка сидела в столовой, она подошла к ней и сказала:

– Благослови вас Господь, паненка. Сегодня ночью после молитвы мною снилось, что среди метели шли к вам двое рыцарей, но один дошел раньше и окутал вас белым плащом, а другой сказал: "Я вижу только снег, а ее нет" – и вернулся назад.

Дануся, которой хотелось спать, тотчас раскрыла любопытные глазки и спросила:

– А что это значит?

– Это значит, что вас получит тот, кто вас больше всех любит.

– Это Збышко, – ответила девушка.

– Не знаю, потому что лица его я не видела, видела только белый плащ, а потом

сейчас же проснулась, потому что Господь Бог еженощно посылает мне боль в ногах, а руку и совсем у меня отнял.

– А почему же вам не помог этот бальзам?

– Не поможет мне, панна, и бальзам, потому что это мне ниспослано за тяжкий грех мой, а если вы хотите знать, за какой, так я вам расскажу.

Дануся кивнула головой в знак того, что хочет знать, и сестра продолжала:

– Есть в ордене и послушницы, женщины, которые хоть и не приносят обета и даже могут быть замужними, но все же должны исполнять обязанности по отношению к ордену и слушаться приказаний братии. Та, которой предстоит такая милость и честь, получает от брата-рыцаря благочестивый поцелуй в знак того, что отныне должна служить ордену всеми своими поступками и словами. Ах, паненка! И мне тоже предстояло удостоиться этой великой милости, но я в греховности своей, вместо того чтобы принять ее с благодарностью, совершила тяжкий грех и навлекла на себя наказание.

– Что же такое вы сделали?

– Брат Данвельд пришел ко мне и дал мне монашеский поцелуй, а я, думая, что он делает это из какого-нибудь легкомыслия, подняла на него безбожную свою руку...

Тут она стала ударять себя в грудь и несколько раз повторила:

– Боже, милостив буди мне грешной.

– И что же случилось? – спросила Дануся.

– И тотчас отнялась у меня рука, и с той поры я калека. Молода я была и глупа, не знала всего, но все же наказание меня постигло. Ибо если даже женщине покажется, что брат хочет совершить что-либо дурное, она должна предоставить суд над ним Богу, а сама не смеет противиться, потому что кто станет противиться ордену или рыцарю его, того постигнет гнев Божий...

Дануся слушала эти слова с неприятным чувством и со страхом, а сестра стала вздыхать и продолжала жаловаться.

– Я и теперь еще не стара, – говорила она, – мне всего только тридцать лет, но Господь сразу отнял у меня и молодость, и красоту.

– Если бы не рука, вы бы еще не могли жаловаться, – отвечала Дануся. Наступило молчание. Вдруг сестра, словно что-то припомнив, сказала:

– А ведь мне снилось, что какой-то рыцарь обернул вас на снегу белым плащом. Может быть, это был меченосец? Ведь они тоже носят белые плащи.

– Не хочу я ни меченосцев, ни их плащей, – ответила девушка.

Но дальнейший разговор прервал ксендз Вышонок, который, войдя в комнату, кивнул Данусе головой и сказал:

– Благодарите же Бога и ступайте к Збышке. Он проснулся и просит есть. Ему стало

заметно лучше.

Так и было на самом деле. Збышко чувствовал себя лучше, и ксендз Вышонок был уже почти уверен, что он будет здоров, как вдруг неожиданное событие разрушило все расчеты и надежды. От Юранда прибыли посланные с письмом к княгине, содержащим самые дурные и страшные новости. В Спыхове сгорела часть Юрандова городка, а сам он при тушении пожара был ушиблен горящею балкой. Ксендз Калев, писавший письмо от его имени, сообщал, правда, что Юранд еще может выздороветь, но что искры и уголья так прижгли ему единственный остававшийся у него глаз, что ему грозит неизбежная слепота.

Поэтому Юранд приказывал дочери тотчас приехать в Спыхов, ибо он хочет еще раз увидеть ее, прежде чем мрак окончательно его окутает. Он говорил также, что с этих пор она должна остаться при нем, потому что если даже у нищих слепцов, выпрашивающих подаяния у добрых людей, есть по поводу, которые водят их за руку и указывают дорогу, то почему он должен быть лишен этого последнего утешения и оставлен умирать среди чужих? В письме выражалась смиренная благодарность княгине, воспитавшей девушку, как родная мать, а в конце Юранд обещал, что хоть слепым, а приедет еще раз в Варшаву, чтобы упасть к ногам княгини и просить ее о том, чтобы в будущем она не оставляла Данусю своими милостями.

Княгиня, когда отец Вышонок прочел ей это письмо, некоторое время не могла произнести ни слова. Она надеялась, что, когда Юранд, раз пять или шесть в году приезжавший к дочери, приедет на ближайшие праздники, тогда она собственными силами и при помощи князя Януша склонит его на сторону Збышки и добьется его согласия на скорую свадьбу. Между тем письмо это не только разрушало ее планы, но и в то же время лишало ее Дануси, которую она любила наравне с собственными детьми. Ей пришло в голову, что Юранд может сейчас же выдать девушку за кого-нибудь из соседей, чтобы прожить остаток дней среди своих. Нечего было и думать о том, чтобы Збышко ехал в Спыхов, потому что ребра его только что начинали срастаться, а кроме того, кто мог знать, как бы он был принят в Спыхове. Княгиня же знала, что Юранд в свое время решительно отказал ему в Данусе и ей самой сказал, что по каким-то тайным причинам никогда не согласится на их брак. И вот в тяжелом расстройстве велела она позвать к себе старшего из прибывших людей, чтобы расспросить его о спыховском несчастье и в то же время узнать что-нибудь о намерениях Юранда.

И она даже удивилась, когда на ее зов пришел человек совершенно незнакомый, а не старик Толима, носивший за Юрашгом щит и обычно приезжавший с ним вместе; но незнакомец ответил ей, что Толима опасно ранен в последней битве с немцами и борется в Спыхове со смертью, а Юранд, сраженный мучительной болезнью, просит как можно скорее вернуть ему дочь, потому что видит все хуже, а через несколько дней, пожалуй, и вовсе ослепнет. Посланный даже настоятельно просил, чтобы как только лошади отдохнут, можно было сейчас же увезти девушку, но так как был уже вечер, княгиня решительно воспротивилась этому, в особенности потому, что не хотела окончательно убивать Збышку и Данусю внезапной разлукой.

А Збышко уже знал обо всем и лежал, точно его ударили обухом по голове; когда же княгиня вошла к нему и ломая руки еще с порога воскликнула: "Нет выхода, ведь отец", — он, как эхо, повторил за ней: "Нет выхода", — и закрыл глаза, как человек, который надеется, что сейчас придет к нему смерть.

Но смерть не пришла, хотя в груди его все возрастало горе, а в голове носились

все более и более мрачные мысли, подобные тучам, которые, гонимые вихрем одна на другую, застилают солнце и гасят на свете всякую радость. Дело в том, что Збышко, как и княгиня, понимал, что если Дануся уедет в Спыхов, она для него почти потеряна. Тут все были к нему расположены; там Юранд, быть может, даже примет его, но выслушать не захочет, особенно если его связывает клятва или еще какая-нибудь причина, столь же важная, как обет, данный Богу. Впрочем, где ему ехать в Спыхов, если он болен и еле может пошевелинуться на постели. Несколько дней тому назад, когда по милости князя достались ему золотые шпоры и рыцарский пояс, он думал, что радость пересилит в нем болезнь, и от всей души молился, чтобы поскорее встать и сразиться с меченосцами; но теперь он опять потерял всякую надежду, потому что чувствовал, что если у его ложа не будет Дануси, то вместе с ней у него исчезнут и желание жить, и силы для борьбы со смертью. Вот настанет завтрашний день, потом послезавтрашний придет, наконец и сочельник, а кости его будут все так же болеть и так же будет он терять сознание, и не будет возле него ни той ясности, которая распространяется от Дануси по всей комнате, ни радости смотреть на нее. Что за радость, что за счастье было по нескольку раз в день спрашивать: "Ты меня любишь?" – и видеть потом, как она закрывает смеющиеся, стыдливые глаза рукой или наклоняется и говорит: "А то кого же?" Теперь останется только болезнь, да печаль, да тоска, а счастье уйдет и не вернется.

Слезы заблестели на глазах Збышки и потекли по щекам; потом он обратился к княгине и сказал:

– Милостивая повелительница, я так думаю, что больше уже не увижу Данусю никогда в жизни.

А княгиня, сама охваченная горем, ответила:

– Да и не удивительно будет, если ты умрешь с горя. Но Господь Бог милостив.

Но через несколько времени, чтобы хоть несколько ободрить его, она прибавила:

– От слова не станется, но если бы Юранд умер раньше тебя, то опека над Данусей перешла бы к князю и ко мне, а уж мы бы сейчас же выдали девочку за тебя.

– Когда он там умрет, – отвечал Збышко.

Но вдруг, видимо, какая-то новая мысль мелькнула у него в уме: он приподнялся, сел на постели и сказал изменившимся голосом:

– Милосердная государыня...

Но его перебила Дануся, которая вбежала со слезами и еще с порога стала восклицать:

– Так ты уже знаешь, Збышко? Ой, жалко мне отца, но жаль и тебя, бедняжка.

Но Збышко, когда она подошла к нему, обнял свою возлюбленную здоровой рукой и заговорил:

– Как же мне жить без тебя, девушка? Не затем ехал я сюда через леса и реки, не затем клялся я, служил тебе, чтобы тебя лишиться. Эх, не поможет печаль, не помогут слезы, не поможет и сама смерть, потому что хоть трава надо мной

вырастет, душа моя тебя не забудет, даже у Иисуса Христа во дворце, и у Бога Отца в покоях... И вот что: выхода нет, но должен быть выход, потому что иначе нельзя. Кости мои болят, но хоть ты упали княгине к ногам, потому что я не могу, и проси смилостивиться над нами.

Дануся, услышав это, тотчас же бросилась к ногам княгини и, обхватив их руками, спрятала свое личико в складках ее тяжелого платья, а княгиня посмотрела на Збышку полными жалости, но все же и удивленными глазами.

– В чем же я могу над вами смилостивиться? – спросила она. – Если я не пушу ребенка к больному отцу, то навлеку на себя гнев Божий.

Збышко, поднявшийся было на постели, снова упал на подушки и несколько времени не отвечал ничего, потому что у него перехватило дыхание. Но понемногу он стал приближать лежащие на груди руки одну к другой и, наконец, сложил их молитвенно.

– Отдохни, – сказала княгиня, – а потом скажи, что тебе нужно. А ты, Дануся, пусти мои колени.

– Пусти колени, но не вставай и проси вместе со мной, – проговорил Збышко.

Потом слабым, прерывающимся голосом продолжал:

– Юранд был против меня в Кракове, будет против и здесь. Но если бы ксендз Вышонок повенчал меня с Данусей, то пусть потом она едет в Спыхов: тогда уже никакая человеческая власть не отнимет ее у меня.

Слова эти были для княгини Анны так неожиданны, что она даже вскочила со скамьи, потом снова села и, как бы не понимая, как следует, в чем дело, сказала:

– Господи боже мой... ксендз Вышонок?...

– Милосердная госпожа... милосердная госпожа... – просил Збышко.

– Милосердная госпожа! – повторяла за ним Дануся, снова обнимая колени княгини.

– Да как же это можно без разрешения отца?

– Закон Божий сильнее, – отвечал Збышко.

– Побойся же ты Бога!

– Кто отец, если не князь?... Кто мать, если не вы, милосердная госпожа?... А Дануся воскликнула:

– Милосердная матушка!

– Правда, я ей была и есть все равно, что мать, – сказала княгиня, – и из моих же рук сам Юранд получил жену. Правда. И если бы повенчать вас, то все дело кончено. Может быть, Юранд и посердился бы, но ведь он тоже обязан повиноваться князю как своему господину. Кроме того, можно бы ему сначала не говорить, и только если он захочет выдать девочку за другого или постричь в монахини... А если он дал какую-нибудь клятву, то и вины с его стороны не будет. Против воли Божьей никто ничего не сделает... Господи! Может быть, в том и есть воля Божья?

– Иначе и быть не может, – вскричал Збышко. Но княгиня, еще охваченная волнением, сказала:

– Погодите, дайте мне опомниться. Если бы князь был здесь, я бы прямо пошла к нему и спросила: отдать Данусю или не отдавать?... Но без него я боюсь... У меня даже дух захватило, а тут и времени нет подумать, потому что девочке надо завтра ехать... Ох, Господи Иисусе Христе! Ехала бы она замужняя – все было бы хорошо. Только я не могу опомниться – страшно мне чего-то... А тебе не страшно, Дануся? Ответь же.

– Без этого я умру, – перебил ее Збышко.

А Дануся встала от колен княгини, и так как добрая госпожа не только приблизила ее к себе, но и ласкала, то она обняла ее за шею и стала целовать изо всех сил.

Но княгиня сказала:

– Без отца Вышонка я вам ничего не скажу. Беги же скорее за ним.

Дануся побежала за отцом Вышонком, а Збышко повернул свое бледное лицо к княгине и сказал:

– Что предназначил мне Господь Бог, то и будет, но за это утешение, милосердная госпожа, да наградит вас Господь.

– Подожди благодарить меня, – отвечала княгиня, – потому что еще неизвестно, что будет. И кроме того, ты должен мне поклясться своей честью, что, если свадьба состоится, ты не запретишь девочке сейчас же ехать к отцу, чтобы тебе и ей, упаси боже, не навлечь на себя его проклятия.

– Клянусь честью, – сказал Збышко.

– Так помни же. А Юранду девочка пусть сначала ничего не говорит. Лучше сразу не поражать его новостью. Мы пошлем за ним из Цеханова, чтобы он приехал с Данусей, и тогда я сама скажу ему, или же попрошу князя. Как увидит он, что ничего не поделаешь, так и согласится. Ведь ты не был ему противен?

– Нет, – сказал Збышко, – я не был ему противен, так что в душе он, пожалуй, даже рад будет, что Дануся за меня вышла. А если он клялся, то в том, что он не сдержал клятвы, его вины не будет.

Приход ксендза Вышонка и Дануси прервал дальнейший разговор. Княгиня сейчас же призвала ксендза на совещание и с увлечением стала рассказывать ему о намерениях Збышки, но он, едва услышав, о чем идет речь, перекрестился от изумления и сказал:

– Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа... Как же я могу это сделать? Ведь теперь пост.

– Боже мой! Правда! – вскричала княгиня.

И настало молчание, только расстроенные лица показывали, каким ударом были для всех слова ксендза Вышонка. Но он сказал, помолчав:

– Если бы было разрешение, я бы не противился, потому что мне вас жаль. О разрешении Юранда я не обязательно стал бы спрашивать, потому что раз милосердная госпожа позволяет и ручается за согласие князя, повелителя нашего, так ведь они же отец и мать всей Мазовии. Но без разрешения епископа – не могу. Эх, если бы был с нами епископ Якуб из Курдванова! Может быть, он не отказал бы дать разрешение, хоть это суровый ксендз, не такой, каков был его предшественник, епископ Мамфиолус, который на все говаривал: "Vene! Vene! [29]"

– Епископ Якуб из Курдванова очень любит и меня, и князя, – заметила княгиня.

– Потому-то я и говорю, что он не отказал бы в разрешении; на то есть причины... Девочка должна ехать, а этот юноша хворает и может умереть... Гм... *In articulo mortis*... [30] Но без разрешения никак нельзя...

– Я бы потом упросила епископа Якуба о разрешении, и хоть он будь бог весть какой строгий – он не откажет мне в этой милости... Ах, я ручаюсь, что не откажет...

На это ксендз Вышонок, который был человек добрый и мягкий, сказал:

– Слово помазанницы Божьей – великое слово... Боюсь я епископа, но это великое слово... Кроме того, юноша мог бы дать обет пожертвовать что-нибудь в плоцкий кафедральный собор... Не знаю... Во всяком случае – пока не придет разрешение, это останется грехом, и не чьим-нибудь, а моим... Гм... Правда, Господь Бог милосерд, и если кто согрешит не для своей корысти, а из сострадания к чужому горю, то Он прощает тем легче... Но грех будет... А если вдруг епископ заупрямится – кто мне тогда даст отпущение грехов?

– Епископ не заупрямится! – вскричала княгиня Анна.

А Збышко сказал:

– У Сандеруса, который со мной приехал, есть отпущение на все грехи.

Может быть, ксендз Вышонок и не вполне верил в индульгенции Сандеруса, но рад был ухватиться за что угодно, только бы прийти на помощь Збышке с Данусей, потому что он очень любил девушку, которую знал с раннего детства. Наконец он подумал, что в самом худшем случае его может постигнуть церковное покаяние, а потому обратился к княгине и сказал:

– Я ксендз, но я и слуга князя. Как же вы прикажете, милосердная госпожа?

– Я не хочу приказывать, а буду просить, – отвечала княгиня. – Но если у этого Сандеруса есть отпущения...

– У Сандеруса есть. Все дело в епископе. Строго он судит со своими канониками в Плоцке.

– Епископа вы не бойтесь. Он, я слыхала, запретил ксендзам носить мечи, арбалеты и делать прочие вольности.

Ксендз Вышонок поднял глаза и руки кверху:

– Так пусть же все будет по вашей воле.

При этих словах всеми сердцами овладела радость. Збышко снова сел на постели, а княгиня, Дануся и отец Вышонок сели рядом и стали обсуждать, как все сделать. Они решили сохранить все в тайне, чтобы ни одна живая душа об этом не знала; они также решили, что и Юранд не должен знать ничего, пока сама княгиня не объявит ему всего в Цеханове. Зато ксендз Вышонок должен был написать письмо от княгини к Юранду, чтобы тот сейчас же приезжал в Цеханов, где могут найтись для его увечий лучшие лекарства и где одиночество не так будет томить его. Наконец порешили, что Збышко и Дануся будут сейчас исповедаться, а венчание состоится ночью, когда все улягутся спать.

Збышке пришло в голову взять оруженосца чеха в свидетели брака, но он оставил это намерение, вспомнив, что получил чеха от Ягенки. На мгновение она возникла в его воспоминании как живая, и ему показалось, что он видит ее румяное лицо, заплаканные глаза и слышит умоляющий голос: "Не делай этого, не плати злом за добро и горем за любовь". И вдруг его охватила страшная жалость к ней, потому что он чувствовал, что ей будет нанесена тяжкая обида, от которой она не найдет утешения ни в згожелицком доме, ни в глубине лесов, ни в поле, ни в подарках аббата, ни в ухаживаниях Чтана и Вилька. И в душе он сказал ей: "Пошли тебе Господь, девушка, всего самого лучшего, но хоть и рад бы я за тебя в огонь и в воду, а ничего не могу поделывать". И в самом деле, убеждение, что это не в его власти, принесло ему облегчение и возвратило спокойствие, так что он сейчас же стал думать о Данусе и о свадьбе.

Но он не мог обойтись без помощи чеха и хотя решил умолчать перед ним о том, что должно было произойти, все же велел позвать его и сказал:

– Сегодня я буду исповедоваться и причащаться; поэтому одень меня как можно лучше, как если бы я собирался идти в королевские покои.

Чех немного испугался и посмотрел ему в лицо; поняв это, Збышко сказал:

– Не бойся; люди исповедуются не только перед смертью, а тем более что приближаются праздники, на которые ксендз Вышонок с княгиней уедут в Цеханов, и ксендза не будет ближе, чем в Прасныше.

– А вы, ваша милость, не поедете? – спросил оруженосец.

– Коли выздоровею, то поеду, но это все в руках Божьих.

Чех успокоился, побежал к корзинам и принес тот белый, отбитый у фризов кафтан, в который рыцарь обычно одевался при больших торжествах, а также красивый коврик, чтобы покрыть ноги и постель; потом, при помощи двух турок приподняв Збышку, он умыл его, причесал его длинные волосы, которые обвязал красной лентой, прислонил его спиной к красным подушкам и, радуясь делу своих рук, сказал:

– Кабы вы, ваша милость, могли плясать, так впору бы хоть и свадьбу справить.

– А все-таки пришлось бы обойтись без пляски, – с улыбкой ответил Збышко.

Между тем княгиня также обдумывала в своей комнате, как бы одеть Данусю, потому что для женщины это было дело важное, и она ни за что не позволила бы, чтобы ее любимая воспитанница шла под венец в будничном платье. Служанки, которым

сказали, что девушка тоже одевается в цвета невинности для исповеди, легко нашли в сундуке белое платье, но беда заключалась в убранстве головы. При мысли об этом княгиню охватила какая-то странная грусть, и она разжалобилась.

– Сиротка ты моя, – говорила она, – где я найду для тебя в этом лесу веночек из руты? Нет здесь ни цветка, ни листочка, разве только где-нибудь под снегом зеленеет мох.

И Дануся, стоя уже с распущенными волосами, тоже загрустила, потому что и ей хотелось венка; но вскоре она указала на гирлянды бессмертников, висящие по стенам комнаты, и сказала:

– Хоть бы из этого свить веночек, потому что другого мы ничего не найдем, а Збышко возьмет меня и в таком венке.

Княгиня сперва не хотела на это согласиться, боясь дурного предзнаменования, но так как в доме, куда приезжали только на охоту, не было никаких цветов, то решено было остановиться на бессмертниках. Между тем пришел ксендз Вышонок, который уже кончил исповедь Збышки, и увел исповедаться Данусю. Потом наступила глухая ночь. Слуги после ужина по приказанию княгини отправились спать. Посланные Юранда улеглись кто в людской, кто возле лошадей в стойлах. Вскоре огни в людских подернулись пеплом и погасли, и наконец в лесном домике настала совершенная тишина; только собаки время от времени лаяли на волков, поворачивали морды в сторону леса.

Однако у княгини, у отца Вышонка и у Збышки окна не переставали светиться, бросая красные отсветы на снег, покрывавший двор. Они сидели тихо, слушая биение собственных сердец, тревожные и охваченные торжественностью минуты, которая должна была сейчас настать. После полуночи княгиня взяла Данусю за руку и повела ее в комнату Збышки, где отец Вышонок уже ждал их со Святыми Дарами. В комнате ярко пылал камин, и при его резком, но не ровном свете Збышко увидел Данусю, немного бледную от бессонницы, белую, в венке из бессмертников, в тяжелом, ниспадавшем до самой земли платье. Веки ее были от волнения полузакрыты, руки опущены вдоль тела – и в таком виде она напоминала рисунок с цветного церковного окна; при виде ее Збышку охватило удивление: он подумал, что не земную девушку, а какого-то небесного духа собираются он взять в жены. И еще раз подумал он это, когда, сложив руки, она стала на колени перед причастием и, откинув голову назад, совершенно закрыла глаза. В тот миг она даже показалась ему умершей, и страх схватил его за сердце. Но это продолжалось недолго, потому что, услышав голос ксендза: "Ecce Agnus Dei" [31], он сам сосредоточился, и мысли его унеслись к Богу. В комнате слышен был теперь только торжественный голос ксендза Вышонка: "Domine, non sum dignus" [32] да потрескивание искр в камине, да упрямые, но унылые песни сверчков где-то в щелях его. За окнами поднялся ветер, прошумел в заснеженном лесу, но сейчас же утих.

Збышко и Дануся молчали, а ксендз Вышонок взял чашу и отнес ее в домовую часовенку. Вскоре он возвратился, но не один, а с рыцарем де Лоршем, и, видя удивление на лицах присутствующих, сперва приложил палец к губам, словно хотел предупредить какое-то неожиданное восклицание, а потом сказал:

– Я подумал, что будет лучше иметь двух свидетелей бракосочетания, а потому заранее предупредил этого рыцаря, который поклялся мне честью и ахенскими святынями хранить тайну до тех пор, пока будет нужно.

Рыцарь де Лорш преклонил колено сперва перед княгиней, потом перед Данусей, а затем встал и стоял молча, одетый в торжественную броню, по изгибам которой пробегали красные отсветы огня, стоял высокий, неподвижный, как бы пораженный восторгом, ибо и ему эта белая девушка в венке бессмертников показалась каким-то ангелом, виденным на окне готического собора.

Но ксендз уже поставил ее у постели Збышки и, набросив им на руки епитрахиль, начал обряд. По доброму лицу княгини катились слеза за слезой, но в душе она в эту минуту не чувствовала тревоги, потому что она думала, что поступает хорошо, соединяя этих двух прекрасных и невинных детей. Де Лорш во второй раз преклонил колени и, опираясь на рукоять меча, казался рыцарем, пред которым предстало видение; Збышко и Дануся по очереди повторяли слова ксендза: "Я... беру... тебя... себе", а этим тихим и сладостным словам снова вторили сверчки в щелях камина, да трещал в нем огонь. Когда обряд был окончен, Дануся упала к ногам княгини, которая благословила обоих, и, поручив их покровительству небесных сил, сказала:

– Радуйтесь теперь, потому что она уж твоя, а ты ее.

Тогда Збышко протянул свою здоровую руку Данусе, а она обняла его ручонками за шею, и некоторое время слышно было, как они повторяли друг другу, прижав губы к губам:

– Ты моя, Дануся...

– Ты мой, Збышко...

Но Збышко тотчас же ослабел, потому что волнения были ему не по силам, и, упав на подушки, стал тяжело дышать. Однако он не впал в забытие, не перестал улыбаться Данусе, которая вытирала его лицо, покрытое холодным потом, даже не перестал повторять: "Ты моя, Дануся", в ответ на что она каждый раз наклоняла белокурую свою голову. Зрелище это окончательно растрогало рыцаря де Лорша, и он объявил, что ни в одной стране не приходилось ему видеть сердец столь чувствительных, а потому он торжественно клянется, что готов сразиться в конном или пешем поединке с любым рыцарем, чернокнижником или драконом, который посмел бы чинить препятствия их счастью. И он в самом деле поклялся в этом тотчас же на крестообразной рукоятке мизерикордии, т. е. маленького меча, служившего рыцарям для добывания раненых. Княгиня и отец Вышонок призваны были в свидетели этой клятвы.

Но княгиня, не понимая свадьбы без какого-нибудь веселья, принесла вина – и они стали пить его. Ночные часы протекали один за другим. Збышко, поборов свою слабость, снова прижал к себе Данусю и сказал:

– Если Господь Бог отдал тебя мне, никто тебя у меня не отнимет, но мне жаль, что ты уезжаешь, моя ненаглядная.

– Мы с отцом приедем в Цеханов, – отвечала Дануся.

– Только бы на тебя хворь какая-нибудь не напала или еще что-нибудь. Спаси тебя Господи от несчастья... Ты должна ехать в Спыхов, я знаю. Господа Бога да милосердную госпожу надо благодарить за то, что ты уже моя: брака никакая человеческая сила не расторгнет.

Но так как венчание это совершилось ночью и так как сейчас же после него должна

была наступить разлука, то временами какая-то странная печаль охватывала не только Збышку, но и всех. Разговор обрывался. Время от времени огонь в камине ослабевал, и лица погружались во мрак. Тогда ксендз Вышонок бросал на уголья новые полена, а когда в трубе что-то жалобно застонало, как часто бывает от свежих дров, он говорил:

– Душа нераскаянная, чего ты хочешь?

Отвечали ему сверчки, а потом вспыхивающий ярче огонь, извлекавший из мрака бессонные лица присутствующих, отражавшийся в латах рыцаря де Лорша и озарявший белое платье и венок из бессмертников на голове Дануси.

Собаки на дворе снова стали лаять в сторону леса, таким лаем, точно чуяли волков.

И по мере того, как протекали ночные часы, все чаще воцарялось молчание, и наконец княгиня сказала:

– Боже мой! Так ли должно быть после свадьбы? Лучше бы идти спать, но уж если нам надо бодрствовать до утра, то сыграй нам еще раз, милая, в последний раз перед отъездом; сыграй мне и Збышке.

Дануся, которая чувствовала усталость и которую клонило ко сну, рада была хоть чем-нибудь развлечься; поэтому она сбегала за лютней и, вернувшись с ней, села у постели Збышки.

– Что играть? – спросила она.

– Что, – сказала княгиня, – что же, как не ту песню, которую ты пела в Тынце, когда Збышко увидел тебя в первый раз.

– Ах, помню и не забуду до смерти, – сказал Збышко. – Чуть, бывало, услышу где-нибудь это, так и потекут у меня из глаз слезы.

– Так я спю, – сказала Дануся.

И она заиграла на лютне, а потом, вскинув по обыкновению головку кверху, запела.

Но вдруг голос ее оборвался, губы задрожали, а из-под сомкнутых век слезы помимо ее воли потекли по щекам. Некоторое время она старалась не выпустить их из-под век, но не могла, и под конец откровенно расплакалась, точь-в-точь, как тогда, когда в последний раз пела эту песню для Збышки в краковской тюрьме.

– Дануся! Что с тобой, Дануся? – спросил Збышко.

– Что ты плачешь? Какая же это свадьба? – воскликнула княгиня. – Чего?

– Не знаю, – рыдая отвечала Дануся, – так мне грустно... так жаль... Збышку и вас...

Все взволновались и стали ее утешать, уверять, что отъезд этот ненадолго и что, наверно, еще к Рождеству они с Юрандом приедут в Цеханов. Збышко снова обнял ее рукой, прижал к груди и поцелуями утирал с ее глаз слезы. Но тяжелое чувство осталось в сердцах у всех, и в этом тяжелом чувстве пробежали у них ночные часы.

Вдруг на дворе раздался звук, такой пронзительный и внезапный, что все вздрогнули. Княгиня, вскочив со скамьи, воскликнула:

– Ох, боже мой! Да это заскрипел на колодце журавль. Лошадей поят.

А ксендз Вышонок посмотрел в окно, в котором стеклянные кусочки становились серыми, и проговорил:

– Ночь уже бледнеет и наступает день. Ave Maria, gratias plena... [33]

Потом он вышел из комнаты и, вернувшись через несколько времени, сказал:

– Светает, хотя день будет пасмурный. Это люди Юранда поят лошадей. Пора тебе в дорогу, бедняжка...

При этих словах и княгиня, и Дануся громко заплакали и обе вместе со Збышкой стали причитать, как причитают простые люди, когда им приходится расставаться, т. е. так, что было в этом причитании что-то похожее на обряд; вместе с тем это был не то плач, не то пение, выливающееся из простых душ по такой же естественной причине, как из глаз льются слезы.

Но Збышко в последний раз прижал Данусю к груди и держал ее долго, до тех пор, пока у него хватило дыхания и пока княгиня не оторвала ее от него, чтобы переодеть ее на дорогу.

Между тем рассвело совершенно. Все во дворце проснулись и стали приниматься за дела. К Збышке вошел чех, оруженосец, узнать о его здоровье и спросить, не будет ли приказаний.

– Придвинь постель к окну, – сказал ему рыцарь.

Чех с легкостью придвинул постель к окну, но удивился, когда Збышко велел ему отворить окно; однако он послушался этого приказания и только накрыл своего господина собственным кожухом, потому что на дворе было холодно, хоть и пасмурно, и шел мягкий, густой снег.

Збышко стал смотреть: на дворе, сквозь летящие из туч хлопья снега видны были сани, а вокруг них на взьерошенных и окутанных паром лошадях сидели люди Юранда. Все были вооружены, а у некоторых на кожухах были медные бляхи, в которых отражались бледные и унылые лучи дня. Лес совсем занесло снегом; плетней нельзя было разглядеть.

Дануся еще раз вбежала в комнату Збышки, уже закутанная в тулупчик и в лисью шубу; она еще раз обняла его за шею и еще раз сказала ему на прощанье:

– Хоть и уезжаю, а все-таки я твоя.

А он целовал ее руки, щеки и глаза, еле заметные из-под лисьего меха, и говорил:

– Храни тебя Господь! Спаси тебя Господь! Теперь ты моя, моя до смерти...

А когда ее снова оторвали от него, он поднялся и, сколько мог, приложил голову к окну и стал смотреть: и вот сквозь снежные хлопья, словно сквозь какое-то покрывало, он видел, как Дануся садилась в сани, как княгиня долго держала ее в

объятиях, как целовали ее придворные девушки и как ксендз Вышенок осенил ее на дороге крестным знаменем. Перед самым отъездом она еще раз обернулась к нему и протянула руки:

– Оставайся с богом, Збышко!

– Дай бог увидеть тебя в Цеханове...

Но снег шел такой частый, словно хотел все заглушить и все закрыть от взоров, и эти последние слова донеслись до них так глухо, что обоим показалось, что они окликают друг друга уже издалека.

IX

После обильных снегов наступили жестокие морозы и ясные, сухие дни. Днем леса искрились в лучах солнца, лед сковал реки и затянул болота. Настали светлые ночи, во время которых мороз усиливался до такой степени, что деревья в лесу с гулом трескались; птицы летели поближе к жилью; дороги стали опасны из-за волков, которые начали собираться стаями и нападать не только на отдельных людей, но и на целые деревни. Однако народ радовался в дымных хатах, у очагов, предвидя после морозной зимы урожайный год, и весело ждал праздников, которые вскоре должны были наступить. Лесной дворец князя опустел. Княгиня с двором и ксендзом Вышонком выехала в Цеханов. Збышко, уже значительно поправившийся, но еще не достаточно сильный, чтобы сесть на коня, остался во дворце со своими людьми, с Сандерусом, оруженосцем-чехом и с тамошними слугами, которыми заведовала почтенная шляхтянка, исполнявшая обязанности домоправительницы.

Но душа рыцаря рвалась к молодой жене. Правда, большим утешением была ему мысль, что Дануся уже принадлежит ему и что никакая человеческая власть не сможет отнять ее у него, но с другой стороны та же мысль увеличивала его тоску. По целым дням вздыхал он о той минуте, когда сможет покинуть дворец. Он обдумывал, что ему тогда делать, куда ехать и как умилостивить Юранда. Бывали у него минуты тяжелой тревоги, но вообще будущее представлялось ему счастливым. Любить Данусю и разбивать шлемы с павлиньими перьями – вот в чем должна была заключаться его жизнь. Часто хотелось ему поговорить об этом с чехом, которого он любил, но он заметил, что чех, всей душой преданный Ягенке, неохотно говорил о Данусе, а сам Збышко, связанный тайной, не мог ему рассказать всего, что произошло.

Однако здоровье его улучшалось с каждым днем. За неделю до Рождества сел он в первый раз на коня и хоть чувствовал, что не мог бы еще сделать того же в латах, но все же ободрился. Впрочем, хотя он и не рассчитывал, чтобы ему вскоре представилась надобность надеть панцирь и шлем, но надеялся, что вскоре у него хватит сил и на это. В комнате, чтобы убить время, пробовал он поднимать меч, и это удавалось ему неплохо; только топор оказался для него слишком тяжелым, но он полагал, что, взяв топором обеими руками, смог бы ударить как следует.

Наконец за два дня до сочельника он велел уложить воза, оседлать лошадей и объявил чеху, что они едут в Цеханов. Верный оруженосец немного опечалился, особенно потому, что на дворе был трескучий мороз, но Збышко сказал ему:

– Это не твоего ума дело, Гловач (так звал он его на польский лад). Нечего нам делать в этом дворце, а если я даже захвораю, так в Цеханове есть кому за мной ухаживать. Кроме того, поеду я не верхом, а в санях, по шею зарывшись в сено и под шкурами, и только под самым Цехановом пересяду на коня.

Так и случилось. Чех уже изучил своего молодого господина и знал, что нехорошо ему противиться, а еще хуже – не исполнить его приказа тотчас же; и вот через час они тронулись в путь. В минуту отъезда, Збышко, видя, как Сандерус усаживался в сани со своим сундуком, сказал ему:

– А ты что ко мне пристал, как репей к овечьей шерсти?... Ведь ты говорил, что хочешь ехать в Пруссию?

– Говорил, что хочу в Пруссию, – сказал Сандерус, – да как же мне туда идти одному по таким снегам? Не успеет первая звезда закатиться, как меня съедят волки, а тут мне тоже оставаться ни к чему. Лучше мне жить в городе, пробуждать в людях благочестие, одарять их святым товаром и спасать из сетей дьявольских, как поклялся я в Риме отцу всего христианства. А кроме того, страсть как я полюбил вашу милость и не оставлю вас, пока не поеду обратно в Рим, потому что, может статься, и услугу какую-нибудь смогу оказать вам.

– Он всегда готов за вас поест и выпить, – сказал на это чех, – и такую услугу окажет особенно охотно. Но если на нас в Праснышском лесу нападет целая туча волков, то мы бросим его им на съедение, потому что больше он ни на что не пригодится.

– А вы смотрите, как бы вам грешное слово к усам не примерзло, – ответил Сандерус, – такие сосульки только в адском огне тают.

– Бона, – сказал чех, проводя рукавицей по усам, которые едва начинали у него пробиваться, – сначала я попробую пива подогреть на привале, только тебе не дам.

– А в заповеди сказано: жаждущего напои. Новый грех!

– Ну так я тебе дам ведро воды, а пока на вот, что у меня есть под рукой. И сказав это, он набрал снегу, сколько мог ухватить обеими руками, и бросил Сандерусу в лицо; но тот уклонился и сказал:

– Нечего вам делать в Цеханове, потому что там уже есть ученый медвежонок, который снегом швыряется.

Так они препирались, хоть и любили друг друга. Однако Збышко не запретил ему ехать с собой, потому что странный человек этот забавлял его и, казалось, был действительно привязан к нему. И вот в ясное утро тронулись они из лесного домика, в такой сильный мороз, что пришлось покрыть лошадей. Вся окрестность лежала под глубоким снегом. Крыши еле видны были из-под него, а местами дым, казалось, выходил прямо из белых сугробов и подымался к небу прямой струей, розовея в лучах утра и расширяясь вверх, как перья на рыцарских шлемах.

Збышко ехал в санях, во-первых, чтобы сберечь силы, а во-вторых, из-за сильного мороза, от которого легче было схорониться в выложенных сеном и шкурами санях. Он велел Гловачу сесть рядом с собой и держать наготове арбалет, чтобы отгонять волков, а пока весело болтал с ним.

– В Прасныше, – сказал он, – мы только покормим лошадей, отогреемся и сейчас же поедем дальше.

– В Цеханов?

– Сперва в Цеханов, поклониться князю с княгиней и послушать обедню.

– А потом? – спросил Гловач.

Збышко улыбнулся и отвечал:

– Потом кто знает? Пожалуй, в Богданец.

Чех посмотрел на него с удивлением. В голове у него блеснула мысль, что, пожалуй, молодой господин его отказался от дочери Юранда; и это показалось ему тем более правдоподобным, что дочь Юранда уехала, а до ушей чеха дошло в лесном доме известие, что владелец Спыхова был против молодого рыцаря. Поэтому честный оруженосец обрадовался, потому что хоть он и любил Ягенку, но смотрел на нее, как на звезду небесную и готов был купить ее счастье хотя бы ценой собственной крови. Збышку он тоже полюбил и от всей души желал служить им обоим до смерти.

– Значит, вы, ваша милость, поселитесь на родной земле, – сказал он с радостью.

– Как же мне поселиться там, – отвечал Збышко, – если я вызвал этих меченосцев, а раньше еще Лихтенштейна. Де Лорш говорил, что магистр собирается пригласить короля погостить в Торунь; я пристану к королевской свите и думаю, что в Торуню пан Завиша из Гарбова или пан Повала из Тачева выпросит мне у государя разрешение подражаться с этими монахами. Должно быть, они выйдут с оруженосцами, так что придется подражаться и тебе.

– Еще бы! Иначе лучше мне самому монахом сделаться, – сказал чех.

Збышко взглянул на него, довольный такими словами.

– А не хорошо придется тому, кто подвернется тебе под руку... Господь Бог дал тебе страшную силу, но ты плохо поступил бы, если бы стал ею очень гордиться, потому что хорошему оруженосцу подобает смирение.

Чех кивнул головой в знак того, что не будет гордиться своей силой, но и не пожалеет ее для немцев, а Збышко продолжал улыбаться, только уже не оруженосцу, а собственным мыслям.

– Старый пан будет рад, когда мы вернемся, – сказал через несколько времени Гловач. – И в Згожелиих тоже будут рады.

Ягенка представилась глазам Збышки, точно она сидела в санях с ним рядом. Это бывало всегда: когда случайно он вспоминал о ней, то видел ее с необычайной отчетливостью...

"Нет, – сказал он себе, – не будет она рада, потому что если я вернусь в Богданец, то с Данусей, а она пусть идет за другого..." Тут мелькнули перед его глазами: Вильк из Бжозовой и молодой Чтан из Рогова, и вдруг стало ему неприятно при мысли, что девушка может достаться одному из них. "Нашла бы она кого-нибудь получше, – говорил себе Збышко, – ведь это же пьяницы и забияки, а она девушка хорошая". Подумал он и о том, что дяде, когда он узнает все, что случилось, будет очень неприятно, но он сейчас же утешился той мыслью, что Мацько всегда прежде всего заботился о роде и о богатстве, которое могло бы значительно возвысить род. Правда, Ягенка была ближе, земля ее граничила с ихней, но зато Юранд был богаче Зыха из Згожелии; поэтому легко было предвидеть, что Мацько не

будет сердиться за этот брак, тем более что ведь он знал о любви племянника и о том, как он обязан Данусе... Поворчит, а потом будет рад и будет любить Данусю как родную дочь.

И вдруг сердце Збышки наполнилось привязанностью и тоской по дяде, который был человек суровый, но берег его как зеницу ока: в боях он больше охранял его, чем себя, для него брал добычу, для него хлопотал о богатстве. Они были одиноки на свете. Родных у них не было, разве дальние, как аббат... И потому, когда иногда им случалось расставаться, один без другого не знал, что делать, в особенности старик, который для себя самого не желал уже ничего.

"Рад будет, рад, – повторял себе Збышко. – Я бы только одного хотел: чтобы Юранд принял меня так, как он примет".

И он пытался представить себе, что скажет и что станет делать Юранд, когда узнает о свадьбе. Мысль эта была немного тревожна, но не особенно, потому что на попятный уже нельзя. Ведь не пристало же Юранду вызвать его на поединок. А если бы он стал очень сердиться, то Збышко мог ответить ему так: "Перестаньте, покуда я вас прошу: ведь ваше право на Данусю человеческое, а мое божеское, и теперь она не ваша, а моя". Он когда-то слышал от одного клирика, сведущего в Писании, что женщина должна оставить отца и мать и идти за мужем, и потому чувствовал, что сила на его стороне. Он, однако, не думал, что между ним и Юрандом дело может дойти до вражды и злобы, потому что рассчитывал, что многое сделают мольбы Дануси, а также много, если не больше – заступничество князя, подданным которого был Юранд, и княгини, которую он любил как покровительницу своей дочери.

В Прасныше им советовали остаться на ночлег, предостерегая относительно волков, которые благодаря морозам соединились в такие огромные стаи, что нападали даже на людей, едущих целыми обозами. Но Збышко не хотел обращать на это внимания, потому что случилось так, что на постоялом дворе они встретили несколько мазовецких рыцарей со свитами, ехавших также в Цеханов к князю, и несколько вооруженных купцов из самого Цеханова, везших нагруженные товаром возы из Пруссии. При таком большом поезде опасности не предвиделось, и все перед наступлением ночи двинулись в путь, хотя под вечер вдруг налетел ветер, нагнал туч, и начался поземок. Ехали, держась близко друг к другу, но так медленно, что Збышко стал думать, что они не успеют к сочельнику. В некоторых местах приходилось разгребать сугробы, потому что лошади никак не могли пройти. По счастью, на лесной дороге нельзя было заблудиться. Однако были уже сумерки, когда они увидели вдали Цеханов.

Может быть, они даже ездили бы вокруг города среди вьюги, не подозревая, что находятся уже у цели, если бы не огни, горевшие на холме, на котором строился новый замок. Никто уже не знал хорошенько, зажигались ли эти огни в Рождественский сочельник ради гостей или по какому-нибудь старинному обычаю, но никто из спутников Збышки и не думал теперь об этом, потому что всем хотелось как можно скорее найти приют в городе.

Между тем метель все усиливалась. Резкий и морозный ветер нес неизмеримые снежные тучи, качая деревья, гудел, неистовствовал, взметал целые сугробы, поднимал их вверх, кружил, распылял, обрушивал на возы, на лошадей, хлестал путников по лицу, точно острым песком, задерживал в груди дыхание и слова. Звона бубенчиков, привязанных к дышлам, совсем не было слышно, но зато в вое и свисте ветра носились какие-то унылые звуки, похожие на вой волков, на отдаленное ржание лошадей и порой как бы полные страха людские крики о помощи. Измученные

лошади стали прижиматься боками друг к другу и шли все медленнее.

– Ну и метель! – сказал задыхаясь чех. – Счастье, господин, что мы возле города и что горят эти огни, а то бы нам пришлось плохо.

– Кто в поле, тому смерть, – ответил Збышко, – но вот уж я и огня не вижу.

– Снег такой, что и свет сквозь него не проходит. А может, раскидало Дрова и уголья.

На других возах тоже разговаривали купцы и рыцари, что кого метель поймают вдали от людского жилья, тот уже не услышит завтра колоколов. Но Збышко вдруг встревожился и сказал:

– Не дай бог, если Юранд в дороге!

Чех, хоть и занят был разглядыванием, не видать ли огня, услышав слова Збышки, повернул к нему голову и спросил:

– А пан из Спыхова должен был приехать?

– Да.

– С панной?

– А огни-то и в самом деле закрыло, – ответил Збышко.

Действительно, огонь погас, но зато на дороге, у самых саней, появилось несколько всадников.

– Куда лезете? – закричал осторожный чех, хватаясь за арбалет. – Кто вы?

– Люди князя. Посланы на помощь путникам.

– Слава Господу Богу нашему Иисусу Христу.

– Во веки веков.

– Ведите нас в город, – сказал Збышко.

– Никто у вас не отстал?

– Никто.

– Откуда едете?

– Из Прасныша.

– А больше путников не видели на дороге?

– Нет. Но, может быть, найдутся на других дорогах?

– На всех ищут. Поезжайте за нами. Вы съехали с дороги. Правее.

И все повернули коней. Несколько времени слышен был только шум ветра.

– Много гостей в старом замке? – спросил наконец Збышко.

Ближайший верховой, не расслышав, нагнулся к нему:

– Как вы говорите, господин?

– Я спрашиваю, много ли гостей у князя с княгиней?

– По-старому: хватит.

– А пана из Спыхова нет?

– Нет, но его ждут. Тоже люди поехали встречать.

– С факелами?

– Да разве ветер позволит с факелами?

Но больше они не могли разговаривать, потому что шум метели стал еще сильнее.

– Как есть чертова свадьба, – заметил чех.

Но Збышко велел ему замолчать и поганого имени не произносить.

– Разве не знаешь, – сказал он, – что в такие праздники сила дьявольская слабеет и дьяволы в проруби прячутся? Одного рыбаки под Сандомиром в неводе нашли: в зубах он щуку держал, да как дошел до него колокольный звон, так он и обомлел, а они его палками били до самого вечера. Верно, вьюга сильная, но это по воле Божьей: видно, хочет Господь, чтобы завтрашний день от этого был еще радостнее.

– Эх, были мы у самого города, а все-таки если бы не эти люди, ездили бы мы, пожалуй, и до полуночи, потому что с дороги мы уже сбились, – отвечал Гловач.

– Потому что огонь погас.

Между тем они на самом деле въехали в город. Снеговые сугробы лежали там на улицах такие огромные, что во многих местах почти закрывали окна; потому-то, блуждая за городом, Збышко и его спутники и не могли разглядеть огней. Но зато ветер здесь меньше давал себя чувствовать. На улицах было пусто: горожане сидели уже за ужином. Перед некоторыми домами, несмотря на метель, мальчишки с ясельками и с козой пели коляды. На площади также виднелись люди, обмотанные горохового соломой и представлявшие собой медведей, но вообще было пустынно. Купцы, сопутствовавшие Збышке и прочей шляхте, остались в городе, они же поехали дальше, к старому замку, в котором жил князь и стеклянные окна которого весело светились несмотря на метель.

Подъемный мост, перекинутый через ров, был спущен, потому что старые времена литовских нападений миновали, а меченосцы, предвидя войну с королем польским, сами искали дружбы мазовецкого князя. Один из людей князя затрубил в рог, и ворота тотчас были открыты. У ворот стояло десятка полтора лучников, но на стенах и башнях не было ни души, потому что князь позволил страже сойти с них. Навстречу гостям вышел старик Мрокота, приехавший два дня тому назад, и

приветствовал их от имени князя, затем он повел гостей в дом, где они могли переодеться, как подобает, к столу.

Збышко сейчас же стал расспрашивать его о Юранде из Спыхова; Мрокота ответил, что Юранда нет, но что его ждут, потому что он обещал приехать, а если бы заболел сильнее, то дал бы знать. Однако навстречу ему выслали верховых, потому что такой метели и старожилы не запомнят.

– Так, может быть, они скоро приедут?

– Должно быть, скоро. Княгиня велела поставить для них миски за общим столом.

Хотя Збышко все-таки немного побаивался Юранда, однако он обрадовался и сказал себе: "Чтобы он ни делал, главного он не переделает: приедет моя жена, ненаглядная моя Дануся". И повторяя это себе, он едва верил своему счастью. Потом он подумал, что, быть может, она уже во всем призналась Юранду, может быть, умилила и умолила его сейчас же отдать ее Збышке. "По правде сказать, что ж ему еще делать? Юранд человек умный и знает, что, если он даже станет ее удерживать, я все равно возьму ее, потому что мое право сильнее".

Между тем, переодеваясь, он разговаривал с Мрокотой, расспрашивая о здоровье князя, а особенно княгини, которую еще в бытность в Кракове полюбил как мать. И он обрадовался, узнав, что в замке все здоровы и веселы, хотя княгиня очень скучала по милой своей певунье. Теперь ей играет на лютне Ягенка, которую княгиня тоже любит, но не так.

– Какая Ягенка? – спросил с удивлением Збышко.

– Ягенка из Вельголяса, внучка старого пана из Вельголяса. Красивая девушка: лотарингский рыцарь в нее влюбился.

– Так де Лорш здесь?

– А где ему быть? Приехал сюда из лесного дворца и живет, потому что ему здесь хорошо. У нашего князя никогда в гостях недостатка нет.

– Я рад буду его видеть, потому что это рыцарь безупречный.

– Он тоже вас любит. Но пойдете, а то князь с княгиней сейчас сядут к столу.

И они пошли. В столовой зале пылали камин, за которыми смотрели слуги, зала была полна гостей и придворных. Князь вошел первый в обществе воеводы и нескольких приближенных. Збышко низко поклонился ему и поцеловал руку.

Князь поцеловал его в голову и, отведя немного в сторону, сказал:

– Я все знаю. Сначала я был недоволен, что вы сделали это без моего разрешения, но по правде сказать – некогда было, потому что я в то время был в Варшаве, где хотел провести и праздники. Уж известное дело: ежели женщина за что возьмется, так и не спорь, потому что ничего не добьешься. Княгиня вас любит как мать, а я всегда предпочитаю ей угодить, нежели с нею спорить, чтобы не заставить ее огорчаться и плакать.

Збышко еще раз низко поклонился князю.

– Дай бог сослужить за это службу вашей милости.

– Слава ему, что ты уже здоров. Расскажи же княгине, как благосклонно я тебя принял, она обрадуется. Боже мой, ее радость – моя радость. Юранду я тоже замолвлю за тебя слово и думаю, что он даст разрешение, потому что он тоже любит княгиню.

– Если бы он не захотел отдать Данусю – все равно мое право сильнее.

– Твое право сильнее – и он должен согласиться, но благословения вам может не дать. Насильно благословить его никто не заставит, а без родительского благословения нет и Божьего.

Услышав эти слова, Збышко опечалился, потому что до сих пор об этом не подумал. Но в эту минуту вошла княгиня с Ягенкой из Вельголяса и с другими девушками. Збышко поспешил поклониться ей, она же встретила его еще ласковее, чем князь, и сейчас же стала ему рассказывать об ожидаемом приезде Юранда. Вот и миска для них поставлена, и люди высланы, чтобы проводить их среди метели. С рождественским ужином больше уже нельзя ждать, потому что "государь" этого не любит, но они, вероятно, приедут раньше, чем ужин кончится.

– Что касается Юранда, – сказала княгиня, – то все будет по воле Божьей. Я или сегодня же скажу ему все, или завтра после обедни; князь тоже обещал поговорить от себя. Юранд бывает упрям, но не с теми, кого он любит и кому чем-нибудь обязан.

Тут она стала объяснять Збышке, как он должен вести себя с тестем, чтобы, упаси господи, не обидеть его и не разгневать. Вообще она надеялась, что все обойдется, но тот, кто знал бы жизнь лучше, чем Збышко, и был бы проницательнее его, заметил бы в словах ее некоторое беспокойство. Может быть, это было оттого, что пан из Спыхова вообще был не из сговорчивых, а может быть, княгиня начала беспокоиться тем, что их так долго нет. Метель становилась все свирепее, и все говорили, что кого настигнет она в открытом поле, тот может и погибнуть; но княгине приходило в голову и другое предположение: именно то, что Дануся уже призналась отцу, что связана со Збышкой браком, а тот, рассердясь, решил вовсе не ехать в Цеханов. Но она не хотела поверить эти мысли Збышке, да на это и не было времени, потому что слуги стали вносить кушанья и ставить их на стол. Все же Збышко успел еще раз стать перед ней на колени и спросить:

– А если они приедут, то как же будет, милосердная госпожа? Мрокота мне говорил, что Юранду отведена особая комната, где найдется сено и для его слуг. Но как же будет?...

Но княгиня засмеялась и, слегка ударив его перчаткой по лицу, сказала:

– Молчать! Это что еще? Ишь ты!

И она отошла к князю, перед которым уже поставлено было кресло, чтобы он мог сесть. Но перед этим один из слуг подал ему плоскую миску, полную нарезанного ломтиками сладкого хлеба и облаток, которыми князь должен был делиться с гостями, придворными и слугами. Другую такую же миску держал для княгини прекрасный подросток, сын каштеляна сохачевского. По другую сторону стола стоял ксендз Вышонок, которому предстояло благословить расставленный на душистом сене

ужин. Вдруг в дверях появился покрытый снегом человек и стал громко кричать:

– Милостивый господин!

– Чего? – сказал князь, недовольный, что прерывают обряд.

– На радзановской дороге совсем занесло каких-то путников. Нам нужны еще люди, чтобы их откопать.

Услышав это, все испугались; встревожился и князь и, обратившись к каштеляну сохачевскому, крикнул:

– Верховых с лопатами! Живо!

Потом он обратился к привезшему известие:

– Много людей засыпано?

– Мы не могли разобрать. Страсть как метет. Там лошади и сани. Много слуг.

– А не знаете, чьи?

– Люди говорят: Юранда из Спыхова.

Х

Збышко, услышав несчастную новость, даже не спрашивая у князя разрешения, бросился на конюшню и велел седлать лошадей. Чех, который, как благородного происхождения оруженосец, находился вместе с ним в зале, едва успел вернуться в комнаты и принести теплый на лисьем меху кафтан; но он и не пытался удерживать молодого господина, ибо, будучи человеком умным, понимал, что это было бы ни к чему, а промедление может оказаться губительным. Сев на второго коня, он уже в воротах схватил у привратника несколько факелов, и они тотчас тронулись в путь вместе с людьми князя, которых проворно снарядил старый каштелян. За воротами окружила их непроглядная мгла, но метель, казалось, уже стихала. Быть может, они заблудились бы, едва выехав из города, если бы не человек, который первым дал знать о том, что произошло; теперь он вел их уверенно и верно, потому что впереди его бежала собака, которой дорога была уже известна. В открытом поле ветер опять стал резко хлестать их по лицам, в особенности потому, что они ехали ему навстречу. Дорога была ухабистая, а местами так занесена снегом, что приходилось ехать медленно, потому что лошади проваливались по брюхо. Люди князя зажгли факелы и лучины и ехали среди дыма и пламени, в которые ветер дул с такой силой, точно хотел оторвать их от смолистого дерева и унести в поля и леса. Дорога была дальняя; они миновали ближайшие к Цеханову селения, потом Недзбож, а потом свернули к Радзанову. Но за Недзбожем буря стала на самом деле стихать. Порывы вихря стали слабее и не носили уже с собой целых облаков снега. Небо прояснилось. Еще несколько времени шел снег, но вскоре прекратился и он. Потом кое-где между разорванными тучами заблестали звезды. Лошади стали фыркать, ездоки вздохнули с облегчением. Звезд с каждой минутой становилось все больше, а мороз крепчал. Через несколько времени все окончательно стихло. Рыцарь де Лорш, ехавший рядом со Збышкой, стал утешать его, говоря, что, несомненно, Юранд в минуту опасности заботился больше всего о спасении дочери и что если даже всех откопают мертвыми, ее обязательно найдут живою, а быть может, и спящей под шкурами. Но Збышко мало его понимал, ему и некогда было слушать, потому что вскоре ехавший впереди проводник свернул с дороги.

Молодой рыцарь выехал вперед и стал спрашивать:

– Почему мы сворачиваем?

– Потому что их не на дороге занесло, а вон где. Видите этот ольшаник?

Сказав это, он указал рукой на темнеющие вдали заросли, которые можно было разглядеть на снеговой белой равнине, потому что тучи разбежались от щита месяца, и ночь стала светлой.

– Видно, сбились с дороги.

– Съехали с дороги и ездили по кругу возле реки. В метель такая вещь часто случается; ездили да ездили, пока лошади не остановились.

– Как же вы их нашли?

– Собака довела.

– А нет поблизости каких-нибудь хат?

– Есть, да по той стороне реки. Тут сейчас Вкра.

– Скорей! – крикнул Збышко.

Но приказать было легче, чем выполнить приказание, потому что несмотря на то, что мороз крепчал, на поле лежал еще незамерзший снег, рыхлый и глубокий, в который лошади проваливались до колен; поэтому приходилось подвигаться медленно. Вдруг до них донесся собачий лай, а впереди появился толстый корявый ствол вербы, над которым в лучах луны блестел венец безлистных ветвей.

– Они дальше, – сказал проводник, – у ольшаника; но, должно быть, и здесь есть что-нибудь.

– Под вербой сугроб. Посветите!

Несколько слуг князя слезли с лошадей и стали светить факелами; потом один из них воскликнул:

– Человек под снегом. Видна голова. Вот здесь.

– И лошадь! – крикнул другой.

– Откопать!

Лопаты начали погружаться в снег и раскидывать его во все стороны.

Вскоре увидели сидящего под деревом человека с опущенной на грудь головой и низко надвинутой на лицо шапкой. Одна рука держала поводья лошади, которая лежала рядом, зарывшись ноздрями в снег. Видимо, человек отъехал от спутников, может быть, для того, чтобы поскорее добраться до людского жилья и привести помощь, когда же лошадь его упала, он спрятался под вербу с противоположной ветру стороны и там замерз.

– Посвети! – крикнул Збышко.

Слуга поднес факел к лицу замерзшего, но черты его трудно было сразу разглядеть. Только когда другой слуга приподнял склоненную голову, изо всех грудей вырвалось одно восклицание:

– Пан из Спыхова.

Збышко велел двум слугам скорее взять его и нести в ближайшую хату, а сам, не теряя ни минуты, с оставшимися слугами и проводником бросился на помощь остальным. Дорогой он думал, что найдет там и Данусю, жену свою, может быть, мертвую, и изо всех сил гнал коня, который проваливался в снег по грудь. К счастью, было уже недалеко, не больше нескольких сот сажен. Из темноты послышались голоса: "Сюда!" Это кричали люди, оставшиеся возле засыпанных.

Збышко подъехал и соскочил с коня:

– За лопаты!

Двое саней были уже отрыты теми, которые остались на страже. Люди и лошади замерзли насмерть. Где находятся другие запряжки, это можно было узнать по снеговому холмикам, хотя не все сани были совершенно занесены. При некоторых видны были лошади, лежащие животами на сугробах, как бы порывающиеся бежать и замерзшие в минуту последних усилий. Перед одной парой стоял человек с копьём в руке, по пояс погруженный в снег, неподвижный, как столб; в другом месте слуги умерли возле лошадей, держа их под уздцы. Смерть, очевидно, настигла их в тот момент, когда они хотели вытаскивать лошадей из снега. Одна запряжка в самом конце поезда была совершенно не засыпана. Возница, сгорбившись, сидел на передке, приложив руки к ушам, а позади лежали двое людей; длинные снеговые гряды, идущие через их груди, соединялись с соседним сугробом и прикрывали их, как одеяла, а они, казалось, спят спокойно и мирно. Но другие погибли, из последних сил борясь с вьюгой; и застыли в позах, полных напряжения. Несколько саней было перевернуто, у некоторых сломаны дышла. Лопаты то и дело отрывали лошадиные спины, напряженные, как луки, морды, уткнувшиеся зубами в снег, людей, сидящих в санях и рядом с санями, но не нашлось ни одной женщины. Збышко работал лопатой, и со лба у него струился пот; иногда он светил трупам в лицо с бьющимся сердцем, боясь увидеть среди них любимое лицо... Все напрасно! Пламя озаряло только грозные, усатые лица спыховских воинов, но ни Дануси, ни какой-либо другой женщины нигде не было.

– Что же это? – с изумлением спрашивал себя молодой рыцарь.

И он подзывал работающих в отдалении людей, спрашивая, не нашли ли они чего; но те находили одних мужчин. Наконец работа была окончена. Слуги запрягли в сани собственных лошадей и, сев на козлы, тронулись с трупами к Недобору, чтобы там в теплом доме еще попытаться, нельзя ли вернуть к жизни кого-нибудь из замерзших. Збышко с чехом и двумя слугами остался. Ему пришло в голову, что, быть может, сани с Данусей отделились от поезда; быть может, Юранд, если, как можно было предполагать, в них запряжены были лучшие лошади, велел им ехать вперед, а быть может, оставил их где-нибудь по дороге в хате. Збышко сам не знал, что ему делать; во всяком случае он хотел осмотреть ближайшие сугробы и ольшаник, а потом вернуться обратно и искать на дороге.

Но в сугробах не нашли ничего. В ольшанике только несколько раз сверкнули перед ними светящиеся волчьи глаза, но нигде не напали они на след людей или лошадей. Поле между ольшаником и дорогой сверкало теперь в блеске луны, и на белой, унылой его поверхности, правда, виднелись кое-где более темные пятна, но это тоже были волки, при приближении людей поспешно убежавшие.

– Ваша милость, – сказал наконец чех, – напрасно мы здесь ездим и ищем, потому что панны из Спыхова не было.

– На дорогу! – отвечал Збышко.

– Не найдем и на дороге. Я смотрел хорошо, нет ли в санях каких-нибудь сундуков с женской одеждой. Не было ничего. Панна осталась в Спыхове.

Збышко поразила правильность этого рассуждения, и он ответил:

– Дай бог, чтобы было так, как ты говоришь. А чех еще глубже полез в свою голову за умом:

– Если бы она была где-нибудь в санях, старый пан не уехал бы от нее или же, уезжая, посадил бы ее на свою же лошадь, и мы нашли бы ее вместе с ним.

– Поедем еще раз туда, – встревоженным голосом сказал Збышко.

Ему пришло в голову, что, может быть, так и было, как говорит чех. А ну как искали недостаточно старательно? Ну как Юранд посадил на своего коня Данусю, а потом, когда лошадь пала, Дануся отошла от отца, чтобы найти для него какую-нибудь помощь. В таком случае она могла находиться где-нибудь поблизости, в снегу.

Но Гловач, как бы угадав эти мысли, повторил:

– В таком случае в санях нашлась бы одежда, потому что не могла же она ехать ко двору с тем только платьем, которое было на ней.

Несмотря на это верное замечание, они все-таки поехали к вербе, но ни под ней, ни далеко кругом не могли найти ничего. Люди князя уже забрали Юранда в Недзбож, и вокруг было совершенно пусто. Чех заметил также, что собака, бывшая с проводником и нашедшая Юранда, нашла бы и Данусю. Тогда Збышко ободрился, потому что был уверен, что Дануся осталась дома. Он мог даже объяснить себе, почему это так: очевидно, Дануся призналась во всем отцу, а тот, не согласившись на брак, нарочно оставил ее дома, а сам приехал, чтобы изложить дело князю и просить его помощи у епископа. При этой мысли Збышко не мог не почувствовать известного облегчения и даже радости, потому что понимал, что со смертью Юранда исчезли все препятствия. "Юранд не хотел, а Господь Бог хотел, – сказал себе молодой рыцарь, – и воля Божья всегда сильнее". Теперь ему оставалось только ехать в Спыхов и взять Данусю, как жену свою, а потом исполнить обет, который возле границы было легче исполнить, чем в отдаленном Богданце. "Воля Божья! Воля Божья!" – повторял он про себя. Но вдруг он устыдился этой поспешной радости, и, обращаясь к чеху, сказал:

– Конечно, мне жаль его, и я громко сознаюсь в этом.

– Люди сказывали, что немцы боялись его, как смерти, – ответил оруженосец.

Но, помолчав, спросил:

– Теперь мы вернемся в замок?

– Через Недзбож, – ответил Збышко.

Они въехали в Недзбож и вошли в дом, где принял их старый владелец Желех. Юранда они уже не нашли там, но Желех сообщил им хорошую новость.

– Терли его тут снегом чуть не до костей, – сказал он, – лили ему в рот вино, а потом парили в бане, где он и начал дышать.

– Жив? – радостно спросил Збышко, забывший при этом известии обо всех своих делах.

– Жив, но выживет ли, это один Бог ведает, потому что душа не любит с полпути возвращаться.

– А почему же его увезли?

– Потому что прислали от князя. Сколько было в доме перин, всеми его накрыли и повезли.

– А про дочь он ничего не говорил?

– Еле дышать стал, а говорить еще не мог.

– А другие?

– А другие уж у Господа Бога. Не пойдут, бедные, к обедне, разве только к той, которую сам Иисус Христос в небе служит.

– Ни один не ожил?

– Ни один! Идите же в комнату, чем в сенях разговаривать. А если хотите их видеть, так они в людской у огня лежат. Идите же в комнату.

Но они спешили и не хотели войти, хотя старик Желех тащил их, потому что любил поймать людей и с ними "покалякать". От Недзбожа до Цеханова надо было проехать еще порядочный кусок, а Збышко сгорал от нетерпения поскорее увидеть Юранда и что-нибудь от него узнать.

И они как можно скорее ехали по занесенной снегом дороге. Когда они приехали, было уже за полночь, и в часовне замка служба уже отошла. До слуха Збышки донеслось мычание волов и бляения коз – звуки, издаваемые по старинному обычаю благочестивыми людьми в воспоминание того, что Господь родился в хлеву. После богослужения к Збышке пришла княгиня с грустным лицом, полная страха, и стала расспрашивать:

– А Дануся?

– Нет ее! Не заговорил ли Юранд, ведь он, я слышал, жив?

– Иисусе милостивый... Это наказание Божье и горе нам. Юранд не заговорил и лежит как бревно.

– Не бойтесь, милосердная госпожа. Дануся осталась в Спыхове.

– Откуда ты знаешь?

– Потому что ни в одних санях – ни следа одежды. Ведь не повез бы он ее в одном тулупчике.

– Правда, ей-богу правда.

И тотчас глаза ее засияли радостью, и она воскликнула:

– Господи Иисусе, нынче родившийся! Видно, не гнев твой, а благословение над нами.

Но ее удивило прибытие Юранда без девочки, и она снова спросила:

– А зачем ему было ее оставлять?

Збышко изложил ей свои догадки. Они показались ей основательными, но не внушили особенных опасений.

– Теперь Юранд будет обязан нам жизнью, – сказала она, – а по правде сказать, и тебе, потому что и ты ездил его откапывать. Если он будет еще упрямиться, значит, в груди у него камень. В этом и предостережение Божье ему – не спорить с таинством. Как только он придет в себя и заговорит, я сейчас же скажу ему это.

– Надо, чтобы он сперва пришел в себя, потому что еще неизвестно, почему нет Дануси. А вдруг она больна...

– Не говори чего попало. И так мне грустно, что ее нет. Если бы она больна была, он бы от нее не уехал.

– Верно! – сказал Збышко.

И они пошли к Юранду. В комнате было жарко, как в бане, потому что в камине горели огромные сосновые колоды. Ксендз Вышонок бодрствовал возле больного, лежавшего на постели под медвежьими шкурами, с бледным лицом, с прилипшими от пота волосами и с закрытыми глазами. Рот его был открыт, и он дышал как бы с трудом, но так сильно, что даже шкуры, которыми он был накрыт, поднимались и опускались от этого дыхания.

– Ну как? – спросила княгиня.

– Я влил ему в рот кувшин разогретого вина, – ответил ксендз Вышонок, – и он стал потеть.

– Спит он или не спит?

– Пожалуй, не спит: очень уж тяжело дышит.

– А пробовали вы с ним говорить?

– Пробовал, но он ничего не отвечает, и я так думаю, что до рассвета он не заговорит.

– Будем ждать рассвета, – сказала княгиня.

Ксендз Вышонок стал настаивать, чтобы она пошла отдохнуть, но она не хотела его слушать. Ей всегда и во всем хотелось сравняться в христианских добродетелях, а потому и в уходе за больными, с покойной королевой Ядвигой и своими заслугами искупить душу отца; и потому она не пропускала ни одного случая, чтобы в стране, давно уже христианской, выказать себя более благочестивой, нежели другие, и тем заставить забыть, что она родилась в язычестве.

Кроме того, ее мучило желание узнать что-нибудь из уст Юранда о Данусе, потому что она не была за нее вполне спокойна. И вот, сев у его ложа, она стала молиться, перебирая четки, а потом задремала. Збышко, который был еще не совсем здоров, а кроме того, очень устал от ночной поездки, вскоре последовал ее примеру, и через час оба спали так крепко, что, быть может, проспали бы до утра, если бы на рассвете не разбудил их звук колокола в часовне замка.

Но звон этот разбудил и Юранда, который открыл глаза, сел вдруг на ложе и стал смотреть вокруг, мигая глазами.

– Слава богу... Как вы себя чувствуете? – сказала княгиня.

Но он, видимо, еще не пришел в себя и смотрел на нее, как бы не узнавая, а потом воскликнул:

– Скорее! Скорее! Раскидать сугроб.

– Господи боже мой! Да вы в Цеханове! – снова проговорила княгиня. А Юранд наморщил лоб, как человек, с трудом собирающийся с мыслями, и ответил:

– В Цеханове?... Дочь ждет и князь с княгиней... Дануся! Дануся...

И вдруг, закрыв глаза, он снова упал на подушки. Збышко и княгиня испугались, не умер ли он, но в эту самую минуту грудь его начала подыматься и опускаться, как у человека, охваченного крепким сном.

Отец Вышонок приложил палец к губам и сделал рукой знак не будить его, а потом прошептал:

– Может быть, он так проспит целый день.

– Да, но что он говорил? – спросила княгиня.

– Говорил, что дочь ждет его в Цеханове, – ответил Збышко.

– Еще не опомнился, – объяснил ксендз.

XI

Отец Вышонок даже боялся, как бы после второго пробуждения не охватил Юранда бред и не отнял у него надолго сознания. Но он обещал княгине и Збышке, что даст им знать, когда старый рыцарь заговорит, а после их ухода сам отправился

отдохнуть. И в самом деле, Юранд проснулся только на второй день праздника, перед самым полуднем, но зато был в полном сознании. В комнате в это время находились княгиня и Збышко, а потому Юранд, сев на ложе, взглянул на нее, узнал и проговорил:

– Милостивая госпожа... Боже мой, да я в Цеханове?

– И проспали праздник, – ответила княгиня.

– Меня снегом занесло. Кто меня спас?

– Вот этот рыцарь: Збышко из Богданца. Помните, в Кракове...

Юранд с минуту посмотрел на юношу здоровым своим глазом и сказал:

– Помню... А где Дануся?

– Да ведь ее с вами не было? – с беспокойством спросила княгиня.

– Как же ей было ехать со мной, когда я к ней ехал?

Збышко с княгиней переглянулись между собой, думая, что это еще устами Юранда говорить бред, потом княгиня сказала:

– Опомнитесь, ради бога! Не было ли с вами девочки?

– Девочки? Со мной? – спросил с удивлением Юранд.

– Люди ваши погибли, но ее между ними не нашли. Почему же вы ее оставили в Спыхове?

Но он, уже с тревогой в голосе, повторил еще раз:

– В Спыхове? Да ведь она у вас, милостивая госпожа, а не у меня!

– Да ведь вы же прислали за ней в лесной домик людей и письмо!

– Во имя Отца и Сына, – отвечал Юранд. – Я за ней вовсе не посылал. Княгиня вдруг побледнела.

– Что такое? – сказала она. – Вы уверены, что говорите в полном уме?

– Ради бога, где Дануся! – вскакивая, закричал Юранд.

Услышав это, отец Вышонок поспешно вышел из комнаты, а княгиня продолжала:

– Слушайте: прибыли вооруженные слуги и принесли от вас письмо в лесной дворец, чтобы Дануся ехала к вам. В письме было написано, что вас во время пожара ударила балка, что вы наполовину ослепли и что хотите видеть дочь... Они взяли Данусю и уехали...

– Горе! – воскликнул Юранд. – Как Бог свят – ни пожара не было в Спыхове никакого, ни я за Данусей не посылал.

В это время ксендз Вышонок вернулся с письмом и подал его Юранду, спрашивая:

– Это не ваш ксендз писал?

– Не знаю.

– А печать?

– Печать моя. А что написано в письме?

Отец Вышонок стал читать письмо. Юранд слушал, хватаясь за волосы, а потом сказал:

– Письмо подделано... печать тоже... Горе мне! Похитили мое дитя и погубят его...

– Кто?

– Меченосцы.

– Боже мой! Надо сказать князю. Пусть шлет к магистру послов! – вскричала княгиня. – Господи Иисусе Христе, спаси же и помоги...

И сказав это, она с криком выбежала из комнаты. Юранд соскочил с ложа и стал лихорадочно натягивать одежду на свою гигантскую спину. Збышко сидел, точно окаменев, но через минуту его стиснутые зубы стали зловеще скрежетать.

– Откуда вы знаете, что ее похитили меченосцы? – спросил ксендз Вышонок.

– Я в этом поклянусь страстями Господними.

– Постойте... Может быть, они приезжали в лесной дворец жаловаться на вас... Хотели вам мстить...

– И они ее похитили! – вскричал Збышко.

Сказав это, он побежал из комнаты, бросился на конюшню и велел запрягать сани, седлать лошадей, сам не зная, как следует, зачем он это делает. Он понимал только то, что надо спешить на помощь к Данусе, немедленно, в самую Пруссию, и там или вырвать ее из вражеских рук, или погибнуть.

Потом он вернулся в комнату сказать Юранду, что оружие и лошади сейчас будут готовы. Он был уверен, что и Юранд поедет с ним. В сердце его кипел гнев, но в то же время он не терял надежды, потому что ему казалось, что вдвоем с грозным рыцарем из Спыхова они смогут сделать все и что они могут напасть хотя бы на всех меченосцев сразу.

В комнате, кроме Юранда, отца Вышонка и княгини, он застал также князя и рыцаря де Лорша, а также Миколая из Длуголяса, которого князь, узнав о случившемся, призвал на совещание; делал он это во внимание к уму Миколая и к его знакомству с меченосцами, у которых тот пробыл много лет в плену.

– Надо действовать быстро, но так, чтобы не наделать ошибок и не погубить девушку, – сказал пан из Длуголяса. – Надо сейчас же жаловаться магистру, и если ваша милость даст мне к нему письмо, то я поеду.

– Письмо я дам, и вы с ним поедете, – сказал князь. – Мы не дадим ребенку погибнуть, клянусь Богом и святым крестом. Магистр боится войны с королем польским, и ему хочется войти в соглашение со мной и с моим братом Семком... Похитили ее, конечно, не по его приказу, и он велит отдать ее.

– А если по его приказу? – спросил ксендз Вышонок.

– Хоть он и меченосец, но в нем больше честности, чем в других, – отвечал князь, – и как я вам уже сказал, он теперь предпочел бы угодить мне, чем рассердить меня. Сила Ягеллы – не шутка... Эх, донимали они нас, пока могли, а теперь поняли, что если еще и мы, мазуры, поможем Ягелле, то будет плохо...

Но пан из Длуголяса стал говорить:

– Это верно. Меченосцы попусту ничего не делают; поэтому я думаю, что если они похитили девушку, то для того только, чтобы вырвать меч из рук Юранда и либо получить выкуп, либо обменять ее на кого-нибудь.

Тут он обратился к пану из Спыхова:

– Кто у вас теперь в плену?

– Де Бергов, – отвечал Юранд.

– Это кто-нибудь важный?

– Кажется, важный.

Де Лорш, услышав имя де Бергова, стал о нем расспрашивать и, узнав, в чем дело, сказал:

– Это родственник графа Гельдернского, великого благодетеля ордена; он происходит из рода, весьма заслуженного у меченосцев.

– Верно, – сказал пан из Длуголяса, переведя прочим его слова. – Де Берговы занимали высокие должности в ордене.

– А ведь Данфельд и де Леве все время на него напирали, – сказал князь. – Только и говорили о том, что де Бергов должен быть освобожден. Как Бог свят – они похитили девушку для того, чтобы получить де Бергова.

– После чего и отдадут ее, – сказал князь.

– Но лучше бы знать, где она, – сказал пан из Длуголяса. – Положим, магистр спросит: кому мне приказывать, чтобы ее отдали? А что мы ему ответим?

– Где она? – глухим голосом сказал Юранд. – Наверно, не держат они ее у границы, боясь, чтобы я ее не отбил, а увезли ее в какие-нибудь отдаленные привислинские или даже приморские области.

Но Збышко сказал:

– Мы найдем ее и отобьем.

Однако гнев, который князь долго сдерживал, прорвался наружу:

– Эти собаки украли ее из моего дворца и тем опозорили меня самого, а этого я им не прощу, пока жив. Довольно их предательств, довольно бесчинств. Лучше жить по соседству с дьяволами. Но теперь магистр должен покарать этих комтуров и вернуть девочку, а ко мне отправить послов, чтобы просить прощения. Иначе я соберу войско.

Он стукнул кулаком по столу и прибавил:

– Еще бы! За меня встанет брат в Плоцке, и Витольд, и король Ягелло. Довольно им потакать! Тут и святой потеряет терпение. С меня довольно!

Все примолкли, ожидая, пока утихнет в нем гнев; Анна Данута обрадовалась, что князь принимает так близко к сердцу дело Дануси, потому что знала, что он терпелив, но тверд, и если возьмется за что-нибудь, так уж не остановится, пока не добьется своего.

После этого заговорил ксендз Вышонок.

– Некогда была в ордене дисциплина, – сказал он, – и ни один комтур не мог без разрешения капитула и магистра предпринять ничего. Потому-то Господь и отдал в их руки такие обширные земли, что возвысил их почти над всеми земными государствами. Но теперь между ними нет ни послушания, ни правды, ни честности, ни веры. Ничего, только жадность да злоба, такая, словно они волки, а не люди. Как же им слушаться приказаний магистра или капитула, если они и Божьих велений не слушают? Каждый сидит в своем замке, точно удельный князь, и один другому помогают творить всякое зло. Мы пожалуемся магистру, а они отопрутся. Магистр велит им отдать девушку, а они не отдадут, а то скажут: "Нет ее у нас, потому что мы ее не похищали". Он велит им поклясться, они поклянутся. Что нам тогда делать?

– Что делать? – сказал пан из Длуголяса. – Пускай Юранд едет в Спыхов. Если они похитили ее ради выкупа или для того, чтобы обменять ее на де Бергова, то они должны дать знать и дадут знать не кому другому, как только Юранду.

– Похитили ее те, которые приезжали в лесной дворец, – сказал князь.

– Так магистр отдаст их под суд или велит им сразиться с Юрандом.

– Сразиться! – воскликнул Збышко. – Они должны сразиться со мной, потому что я прежде их вызвал.

Юранд отнял руки от лица и спросил:

– А кто был в лесном дворце?

– Был Данфельд, старик де Леве и еще два брата: Годфрид и Ротгер, – отвечал ксендз. – Они жаловались и хотели, чтобы князь велел им выпустить из неволи де Бергова. Но князь, узнав от де Фурси, что немцы первые напали на вас, выбранил их и отправил обратно ни с чем.

– Поезжайте в Спыхов, – сказал князь, – они туда явятся. До сих пор они не

сделали этого потому, что оруженосец Збышка вывихнул руку Данфельду, когда возил им вызов. Поезжайте в Спыхов, а как только они вступят с вами в переговоры, дайте мне знать. Они вернут вам дочь за де Бергова, но я после этого мстить не забуду, потому что они оскорбили и меня, похитив ее из моего дворца.

Тут гнев снова стал овладевать им, ибо меченосцы действительно исчерпали всякое его терпение, и, помолчав, он прибавил:

– Эх, дули они, дули на огонь, а все-таки в конце концов обожгут себе морды.

– Отопрутся, – повторил ксендз Вышонок.

– Если они объявят Юранду, что девушка у них, так уж не смогут отпираться, – с некоторой досадой ответил Миколай из Длуголяса. – Я верю, что они не держат ее возле границы и что, как справедливо думает Юранд, увезли ее в более отдаленный замок или к морю, но когда будет доказательство, что это они, так уж перед магистром они не отпрутся.

А Юранд стал повторять каким-то странным и вместе с тем страшным голосом:

– Данфельд, Леве, Готфрид и Ротгер...

Миколай из Длуголяса посоветовал еще раз послать в Пруссию опытных и бывалых людей, чтобы они разузнали в Щитно и в Инсборке, не там ли дочь Юранда, а если там ее нет, то куда ее увезли; после этого князь взял посох и ушел, чтобы дать должные распоряжения, а княгиня обратилась к Юранду, желая ободрить его ласковым словом.

– Ну как вы себя чувствуете? – спросила она.

Он некоторое время не отвечал, точно не слышал вопроса, а потом сказал:

– Точно мне кто старую рану разбередил.

– Надеемся на милосердие Божье: Дануся вернется, как только вы отдадите им Бергова.

– Я бы собственной крови не пожалел.

Княгиня подумала, не сказать ли ему сейчас о свадьбе, но, подумав немного, нашла, что лучше не прибавлять нового огорчения к несчастьям Юранда, и без того уже тяжелым, а кроме того, ее охватил какой-то страх. "Будут они со Збышкой искать ее, пусть Збышко и скажет при случае, – подумала она. – А теперь он совсем может лишиться рассудка". И она предпочла заговорить о чем-нибудь ином.

– Вы нас не вините, – сказала она. – Приехали люди в цветах вашего дома, с письмом, скрепленным вашей печатью, и в письме говорилось, что так как глаза ваши угасают, то вы хотите еще раз взглянуть на своего ребенка. Так как же было противиться и не исполнить отцовского приказания?

Юранд обнял ее ноги.

– Я никого не виню, милостивая госпожа.

– И знайте, что Бог вернет вам ее, ибо Он хранит ее. Он ниспошлет ей спасение, как ниспослал на последней охоте, когда свирепый тур на нас бросился, но Господь внушил Збышке защитить нас. Сам он чуть не поплатился жизнью и долго потом болел, но Данусю и меня защитил, и за это князь дал ему пояс и шпоры. Вот видите... Рука Господня хранит ее. Я думала, что она с вами приедет, что я увижу ее, голубушку, а между тем...

И голос ее задрожал, а из глаз потекли слезы; отчаяние, которое Юранд до сих пор сдерживал, вдруг прорвалось наружу, стремительное и страшное, как вихрь. Он схватил руками длинные свои волосы, а головой стал биться об стену, стена и повторяя хриплым голосом:

– Господи! Господи! Господи...

Но Збышко подбежал к нему и, изо всей силы схватив его за руки, закричал:

– Нам надо ехать! В Спыхов!

XII

– Чья это свита? – спросил вдруг Юранд, очнувшийся за Радзановом от задумчивости, как ото сна.

– Моя, – отвечал Збышко.

– А мои люди все погибли?

– Я видел их мертвых в Недзбоже.

– Нет моих старых товарищей...

Збышко ничего не ответил, и они продолжали путь молча, но быстро, чтобы как можно скорее быть в Спыхове, надеясь застать там каких-нибудь посланных от меченосцев. На их счастье, снова наступили морозы, и дороги были наезжены, так что они могли ехать скоро. Под вечер Юранд снова заговорил и стал расспрашивать о тех меченосцах, которые были в лесном дворце, а Збышко рассказал ему все: и об их жалобах, и об отъезде, и о смерти рыцаря де Фурси, и о поступке своего оруженосца, который так искалечил плечо Данфельда, и во время этого рассказа вспомнилась ему и поразила одна вещь: пребывание в лесном дворце той женщины, которая привезла от Данфельда целебный бальзам. И вот на остановке он стал расспрашивать о ней чеха и Сандеруса, но ни один из них толком не знал, что с ней случилось. Им казалось, что она или уехала вместе с людьми, прибывшими за Данусей, или сейчас же за ними следом. Збышко пришло теперь в голову, что она могла быть подослана для того, чтобы предостеречь этих людей, в случае, если бы Юранд сам находился во дворце. В этом случае они не выдавали бы себя за людей из Спыхова, и у них могло быть какое-нибудь другое письмо, которое они и отдали бы княгине вместо письма Юранда. Все это было обдуманно с дьявольской ловкостью, и молодой рыцарь, до сих пор знавший меченосцев только как воинов, подумал в первый раз, что одними кулаками с ними не справишься и что надо для этого обладать и головой. Мысль эта была ему неприятна, потому что его страшное горе и мука прежде всего превратились в жажду борьбы и крови. Даже спасение Дануси представлялось ему рядом сражений или поединков; между тем теперь он понял, что, пожалуй, надо будет посадить жажду мести и убийства на цепь, как медведя, и искать совсем новых путей к спасению и разысканию Дануси. Думая об этом, он жалел, что с ним нет Мацьysi. Ведь Мацько был так же умен, как и храбр. Однако он

со своей стороны решил послать в Щитно Сандеруса, чтобы тот разыскал эту женщину и постарался разузнать от нее, что случилось с Данусей. Он говорил себе, что если бы даже Сандерус захотел предать его, то и это не особенно повредит делу, а в противном случае это может оказать ему значительную пользу, потому что ремесло Сандеруса открывало ему доступ повсюду.

Однако он сперва хотел посоветоваться с Юрандом, но отложил это до Спыхова, тем более что подходила ночь, и ему казалось, что Юранд, сидя на высоком рыцарском седле, уснул от трудов, усталости и тяжелого горя. Но Юранд потому только ехал, опустив голову, что несчастье ее пригнуло. И очевидно, он все время размышлял об этом несчастье, и сердце его было исполнено ужасных опасений, потому что наконец он сказал:

– Лучше бы мне было замерзнуть под Недзбожем! Это ты меня откопал?

– Я, вместе с другими.

– А на той охоте ты спас мою дочь?

– А что же мне было делать?

– Ты и теперь мне поможешь?

В Збышке одновременно вспыхнула любовь к Данусе и ненависть к меченосцам, такая ненависть, что он даже приподнялся в седле и, точно с трудом, заговорил сквозь стиснутые зубы:

– Слушайте, что я скажу: хоть бы зубами пришлось мне грызть прусские замки, я разгрызу их, а ее добуду.

И опять наступило молчание. Мстительная и необузданная природа Юранда под влиянием слов Збышки тоже, видимо, отозвалась в нем, и он тоже стал скрежетать в темноте зубами и время от времени повторять имена:

– Данфельд, Леве, Ротгер и Готфрид.

И он думал, что если они захотят, чтобы он отдал им Бергова, то он отдаст; если велят приплатить – приплатит, хотя бы ему пришлось отдать весь Спыхов, но после этого – горе тем, кто поднял руку на его единственное дитя.

Всю ночь ни на минуту не смыкали они век. Под утро они еле узнали друг друга: так лица их изменились в одну эту ночь. Наконец, Юранда поразило это горе и эта ярость Збышки, и он сказал:

– Она накинула на тебя покрывало и спасла от смерти, это я знаю. Но ты, кроме того, любишь ее?

Збышко посмотрел ему прямо в глаза с лицом почти вызывающим и ответил:

– Она моя жена.

При этих словах Юранд остановил коня и стал смотреть на Збышку, моргая от изумления.

– Как ты говоришь? – спросил он.

– Говорю, что она моя жена, а я ее муж.

Рыцарь из Спыхова закрыл лицо рукавицей, словно ослеп от внезапной молнии, ничего не ответил и, выехав вперед, молча продолжал путь.

XIII

Но Збышко, едучи позади него, не мог долго выдержать и сказал себе: "Лучше пусть он разразится гневом, чем сердится про себя". И, подъехав вплотную к Юранду, он заговорил:

– Послушайте, как это было. Что Дануся сделала для меня в Кракове – это вы знаете, но не знаете, что в Богданце сватали мне Ягенку, дочь Зыха из Згожелиц. Дядя мой, Мацько, хотел этого; отец ее хотел; родственник наш, аббат, богач – тоже... Что тут долго разговаривать? Хорошая девка, и красавица, и приданое не плохое. Но этого не могло быть. Жалко мне было Ягенку, но еще больше жалко Данусю, и поехал я к ней в Мазовию, потому что прямо скажу вам: не мог я больше без нее жить. Вспомните, как вы сами любили, вспомните – и не станете удивляться.

Тут Збышко замолк, ожидая какого-нибудь слова из уст Юранда, но так как тот молчал, он снова заговорил:

– В лесном дворце послал мне Господь спасти княгиню и Данусю на охоте от тура. И княгиня тогда сразу сказала: "Теперь уж Юранд не будет противиться, потому что как же он может не отплатить за такой поступок?" Но я и тогда без вашего родительского разрешения не думал на ней жениться. Да и нельзя мне было, потому что свирепый зверь так помял меня, что я насилу жив был. Но потом, сами знаете, пришли за Данусей эти люди, чтобы везти ее в Спыхов, я еще с постели не вставал. Думал – больше уж никогда ее не увижу. Думал – возьмете вы ее в Спыхов и выдадите за кого-нибудь другого. Ведь в Кракове вы были против меня... Я уж думал – помру. Эх, боже ты мой, что это была за ночь! Одно горе. Я думал, что как уедет она от меня, так уж и солнце не взойдет. Поймите вы, что такое любовь и что такое горе...

И на минуту в голосе Збышки задрожали слезы, но сердце у него было мужественное, и он взял себя в руки и сказал:

– Люди приехали за ней под вечер и хотели сейчас же взять ее, но княгиня велела им ждать до утра. Тут и послал мне Господь мысль: поклониться княгине и просить у нее Данусю. Я думал, что если умру, так хоть это утешение у меня будет. Вспомните, что девочка собиралась ехать, а я оставался больной и близкий к смерти. А разрешения просить у вас было некогда. Князя в лесном дворце уже не было, и княгиня колебалась, потому что ей не с кем было посоветоваться. Но наконец сжалились они с ксендзом Вышонком надо мной – и ксендз Вышенок повенчал нас... Тут уж Божья власть, и право от Бога...

Но Юранд глухим голосом перебил его:

– И наказание от Бога...

– Почему наказание? – спросил Збышко. – Вы только подумайте: прислали за ней до свадьбы, и была бы свадьба, нет ли – ее все равно увезли бы.

Но Юранд снова ничего не ответил и ехал молча, уйдя в себя, мрачный, с таким каменным лицом, что Збышко, сперва почувствовавший облегчение, которое приходит всегда после раскрытия долго хранимой тайны, в конце концов все-таки испугался и с все возраставшей тревогой стал говорить себе, что старый рыцарь затаил гнев и что с этих пор они будут друг другу чуждыми и враждебными.

И нашла на него минута великого уныния. Никогда, с тех пор, как уехал он из Богданца, не было ему так плохо. Теперь ему казалось, что нет никакой надежды ни убедить Юранда, ни, что еще хуже, спасти Данусю, что все ни к чему и что в будущем на него будут обрушиваться только все большие несчастья. Но это уныние продолжалось недолго, а вернее – согласно с его натурой тотчас превратилось в гнев, в жажду борьбы и боя. "Не хочет согласия, – говорил он себе, думая о Юранде, – пусть будет ссора, пусть будет что ему угодно". И он готов был броситься на самого Юранда. Ему захотелось подраться с кем угодно и за что угодно, лишь бы что-нибудь сделать, лишь бы дать выход горю, расстройству и гневу, лишь бы найти хоть какое-нибудь облегчение.

Между тем они подъехали к корчме, стоявшей на перекрестке и называвшейся Светлик, где Юранд при возвращениях из княжеского дворца в Спыхов всегда давал отдых людям и лошадям. Невольно сделали это и теперь. Через минуту Юранд и Збышко очутились в отдельной комнате. Вдруг Юранд подошел к молодому рыцарю и, пристально смотря на него, спросил:

– Так ты для нее приехал сюда?

Тот отвечал почти сердито:

– А вы думаете – я отопрюсь?

И он стал смотреть Юранду прямо в глаза, готовый ответить на гнев гневом. Но в лице старого воина не было злобы: была только скорбь, почти безграничная.

– И дочь мою спас? – спросил он, помолчав. – И меня откопал?...

Збышко посмотрел на него с удивлением и с опасением, не помутилось ли у него в голове, потому что Юранд повторял те же вопросы, которые уже один раз задавал.

– Сядьте, – сказал Збышко, – сдается мне, вы еще слабы.

Но Юранд поднял руки, положил их Збышке на плечи – и вдруг изо всех сил прижал его к груди; Збышко же, оправившись от минутного изумления, тоже обнял его, и так стояли они долго, потому что общее горе приковывало их друг к другу.

Когда же они отпустили друг друга, Збышко еще обнял колени старого рыцаря, а потом, со слезами на глазах, стал целовать его руки.

– Вы не будете против меня? – спросил он.

А Юранд на это ответил:

– Я был против тебя, потому что в душе обещал ее Богу.

– Вы обещали ее Богу, а Бог мне. Воля Его.

– Воля Его, – повторил Юранд, – но теперь нам нужно и милосердие Его.

– Кому же и поможет Бог, как не отцу, который ищет дитя, и не мужу, который ищет жену? Злодеям Он поможет?

– А все-таки ведь похитили ее, – ответил Юранд.

– За это вы отдадите им де Бергова.

– Все отдам, чего захотят.

Но при мысли о меченосцах проснулась в нем старая ненависть и охватила его, как пламя, и он прибавил сквозь стиснутые зубы:

– И прибавлю того, чего они не хотят.

– Я в том же поклялся, – отвечал Збышко, – но теперь надо нам ехать в Спыхов.

И он стал торопить, чтобы скорее седлали лошадей. И как только лошади съели засыпанный им овес, а люди немного отогрелись в комнатах, они тронулись дальше, хотя уже спускались сумерки. Так как путь предстоял еще долгий, а к ночи собирался завернуть жестокий мороз, Юранд со Збышкой, еще не вполне оправившиеся, ехали в санях. Збышко рассказывал о дяде Мацьке, по которому в душе скучал, жалея, что его нет, потому что теперь одинаково могли пригодиться и храбрость его, и хитрость, которая против таких врагов еще нужнее, чем храбрость. Наконец он обратился к Юранду и спросил:

– А вы хитрый?... Вот я никак не могу...

– И я нет, – отвечал Юранд. – Не хитростью я с ними воевал, а рукой и мукой, которая во мне осталась.

– Я это понимаю, – сказал молодой рыцарь. – Потому понимаю, что люблю Данусю и потому что ее украли. Если бы, упаси Господи...

И он не договорил, потому что при одной мысли об этом почувствовал, что в груди у него не человеческое, а волчье сердце. Некоторое время ехали они в молчании по белой, залитой лунным светом дороге, а потом Юранд заговорил как бы сам с собой:

– Если бы у них была причина мстить мне – я бы ничего не сказал. Но Богом клянусь – не было у них этой причины... Я воевал с ними на поле битвы, когда наш король посылал меня к Витольду, но здесь жил, как подобает соседу... Бартош Наленч сорок рыцарей, которые шли к ним, схватил, сковал и запер в подземельях в Козьмине. Пришлось меченосцам уплатить ему за них полвоза денег. А я, коли попадался гость-немец, ехавший к меченосцам, так я еще принимал его, как рыцаря, и делал ему подарки. Иной раз и меченосцы приезжали ко мне по болотам. Тогда я не был им в тягость, а они мне сделали то, чего и теперь я не сделаю величайшему своему врагу...

И страшные воспоминания стали терзать его все сильнее, голос его на мгновение замер, и он заговорил почти со сгоном:

– Одна она была у меня, как овечка, как единое сердце в груди, а они ее, как

собаку, захлестнули веревкой, и у них на веревке она умерла... А теперь и дочь... Господи, Господи...

И опять воцарилось молчание. Збышко поднял к месяцу молодое лицо свое, на котором отражалось изумление, потом посмотрел на Юранда и спросил:

– Отец... Ведь им же лучше было бы добиваться человеческой любви, чем мести. Зачем они наносят столько обид всем народам и всем людям?

Юранд как бы с отчаянием развел руками и ответил глухим голосом:

– Не знаю...

Збышко некоторое время размышлял над собственным вопросом, но вскоре мысль его возвратилась к Юранду.

– Люди говорят, что вы хорошо отомстили им... – сказал он. Между тем Юранд подавил в себе муку, пришел в себя и заговорил:

– Потому что я им поклялся... И Богу поклялся, что если Он даст мне отомстить, то я отдам Ему дитя, которое у меня осталось... Потому-то я и был против тебя. А теперь не знаю: воля это была Его, или гнев Его возбудили вы своим поступком.

– Нет, – сказал Збышко. – Ведь я уже говорил вам, что, если бы даже не было свадьбы, эти собачьи дети все равно похитили бы ее. Бог принял ваше желание, но Данусю подарил мне, потому что не будь на то Его воля, мы бы ничего не смогли сделать.

– Каждый грех – против воли Божьей.

– Да, грех, а не таинство. А таинство – дело Божье.

– Потому-то тут ничего и не поделаешь.

– И слава богу, что ничего не поделаешь. И не жалуйтесь на это, потому что никто бы так не помог вам против этих разбойников, как я помогу. Вот увидите. За Данусю мы им отплатим своим чередом, но если жив еще хоть один из тех, которые погубили вашу покойницу, отдайте его мне – и увидите, что будет.

Но Юранд покачал головой.

– Нет, – угрюмо ответил он, – из них никого нет в живых... Некоторое время слышно было только фыркание лошадей да заглушённый топот копыт по гладкой дороге.

– Раз ночью, – продолжал Юранд, – услышал я какой-то голос, выходящий как бы из стены. Он мне сказал: "Довольно мстить", – но я не послушался, потому что это не был голос покойницы.

– А что это мог быть за голос? – спросил с беспокойством Збышко.

– Не знаю. В Спыхове часто слышны в стенах голоса, потому что много их погибло на цепях в подземельях.

– А что вам ксендз говорит?

– Ксендз освятил крепость и тоже говорил, чтобы я перестал мстить, но этого не могло быть. Слишком я стал им в тягость, и уж они сами хотели мстить мне... Так было и теперь. Майнегер и де Бергов первые меня вызвали.

– А брали вы когда-нибудь выкуп?

– Никогда. Из тех, кого я захватил в плен, де Бергов первый выйдет живым.

Разговор прекратился, потому что с широкой, большой дороги они свернули на более узкую, по которой ехали долго, так как она шла извилинами, а местами превращалась в лесную тропинку, занесенную снеговыми сугробами, через которые трудно было пробраться. Весной или летом, во время дождей, дорога эта должна была становиться почти непроходимой.

– Мы уже подъезжаем к Спыхову? – спросил Збышко.

– Да, – отвечал Юранд. – Надо еще довольно много проехать лесом, а потом начнутся болота, среди которых и стоит городок... За болотами есть луга и сухие поля, но к городку можно проехать только по гребле. Много раз хотели немцы добраться до меня, да не могли, и множество ихних костей гниет в лесах.

– Да, нелегко пробраться, – сказал Збышко. – А если меченосцы пошлют людей с письмами, то как же они проберутся?

– Они уж не раз посылали; есть у них люди, знающие дорогу.

– Дай нам бог застать их в Спыхове, – сказал Збышко.

Между тем желанию этому суждено было исполниться раньше, чем молодой рыцарь предполагал, потому что, выехав из лесу на открытую равнину, на которой среди болот находился Спыхов, они увидели впереди себя двух всадников и низкие сани, в которых сидели три темные фигуры.

Ночь была очень светлая, и на белой пелене снега все люди были видны отчетливо. При этом зрелище сердца Юранда и Збышки забились сильнее, ибо кто мог среди ночи ехать в Спыхов, как не послы меченосцев?

Збышко велел вознице ехать быстрее, и вскоре они так приблизились к едущим, что те услышали, и два всадника, охранявших, видимо, сани, обернулись к ним, сняли с плеч арбалеты и стали кричать:

– Wer da? [34]

– Немцы, – шепнул Збышке Юранд.

И, возвысив голос, сказал:

– Мое право спрашивать, твое – отвечать. Кто вы?

– Путники.

– Какие путники?

– Богомольцы.

– Откуда?

– Из Щитно.

– Они, – снова прошептал Юранд.

Между тем сани поравнялись друг с другом, и в то же время впереди появилось еще шесть всадников. Это была спыховская стража, днем и ночью сторожившая греблю, ведущую к городку. Около лошадей бежали страшные, огромные собаки, похожие на волков.

Стражники, узнав Юранда, стали приветствовать его, но в этом приветствии звучало и удивление, что владелец замка является так рано и неожиданно; но он целиком занят был послами и потому снова обратился к ним:

– Куда вы едете? – спросил он.

– В Спыхов.

– Чего вам там надо?

– Это мы можем сказать только самому пану.

У Юранда готово уже было сорваться с языка: "Я и есть пан из Спыхова", – но он удержался, понимая, что разговор не может происходить при людях. Спросив вместо этого, есть ли у них какие письма, и получив ответ, что им поручено переговорить устно, он велел ехать восток. Збышке тоже так не терпелось получить сведения о Данусе, что он не мог ни на что больше обращать внимания. Он только сердился, когда стража еще дважды преграждала им путь по гребле; его охватило нетерпение, когда спускали мост через ров, за которым по валу шел огромный частокол, и хотя раньше не раз хотелось ему посмотреть, каков на вид этот пользующийся такой страшной славой городок, при одном воспоминании о котором немцы крестились, все же теперь он ничего не видел, кроме послов меченосцев, от которых мог услышать, где Дануся и когда ей будет возвращена свобода. Он не предвидел, что через минуту ждет его тяжелое разочарование.

Кроме всадников, прибавленных для охраны, и возницы, посольство из Щитно состояло из двух лиц: одно из них была та самая женщина, которая в свое время привозила в лесной дворец целебный бальзам, а другое – молодой пилигрим. Женщины Збышко не узнал, потому что в лесном дворце ее не видел, пилигрим же сразу показался ему переодетым оруженосцем. Юранд тотчас провел обоих в угловую комнату и стал перед ними, огромный и почти страшный в блеске огня, падавшего на него из пылавшего камина.

– Где дочь? – спросил он.

Но они испугались, очутившись лицом к лицу с грозным воином. Пилигрим хоть лицо у него было дерзкое, трясся, как лист, да и у женщины дрожали ноги. Взгляд ее с лица Юранда перешел на Збышку, потом на блестящую лысую голову ксендза Калеба и снова обратился к Юранду, точно с вопросом, что делают здесь эти два человека.

– Господин, – сказала она наконец, – мы не знаем, о чем вы спрашиваете, но

присланы мы к вам по важному делу. Однако тот, кто послал нас, определенно велел, чтобы разговор с вами велся без свидетелей.

– У меня от них нет тайн, – сказал Юранд.

– Но у нас есть, благородный господин, – отвечала женщина, – и если вы прикажете им остаться, то мы не будем вас просить ни о чем, кроме того, чтобы вы позволили нам завтра уехать.

На лице не привыкшего к противоречию Юранда отразился гнев. Седые усы его зловеще зашевелились, но он подумал, что дело идет о Данусе, и поколебался. Впрочем, Збышко, которому прежде всего важно было, чтобы разговор произошел как можно скорее, и который был уверен, что Юранд ему его перескажет, объявил:

– Если так надо, то оставайтесь наедине.

И он ушел вместе с ксендзом Калемом; но как только он очутился в главной зале, увешанной щитами и оружием, отбитым Юрандом, как к нему подошел Гловач.

– Господин, – сказал он, – это та самая женщина.

– Какая женщина?

– От меченосцев, которая привозила герцинский бальзам. Я узнал ее сразу, Сандерус тоже. Видно, она приезжала на разведку и теперь, вероятно, знает, где паненка.

– Узнаем и мы, – сказал Збышко. – А этого пилигрима вы не знаете?

– Нет, – отвечал Сандерус. – Но не покупайте, господин, у него отпущений, потому что это не настоящий пилигрим. Если бы допросить его под пыткой, то можно бы от него узнать многое.

– Погоди, – сказал Збышко.

Между тем в угловой комнате, лишь только закрылась дверь за Збышкой и ксендзом Калемом, монахиня быстро подошла к Юранду и зашептала:

– Вашу дочь похитили разбойники.

– С крестами на плащах?

– Нет. Но Бог дал благочестивым братьям отбить ее, и теперь она у них.

– Где она, я спрашиваю.

– Под присмотром благочестивого брата Шомберга, – отвечала женщина, скрестив руки на груди и смиренно склоняясь.

Юранд, услышав страшное имя палача Витольдовых детей, побледнел как полотно; потом сел на скамью, закрыл глаза и стал рукой отирать холодный пот, оросивший его лоб.

Видя это, пилигрим, только что не могший побороть своего страха, подбоченился,

развалился на скамье, протянул вперед ноги и посмотрел на Юранда глазами, полными гордости и презрения.

Настало долгое молчание.

– Стеречь ее помогает брату Шомбергу брат Маркварт, – снова сказала женщина. – Они следят за ней зорко, и паненку никто не обидит.

– Что мне делать, чтобы мне ее отдали? – спросил Юранд.

– Смириться перед орденом, – гордо сказал пилигрим.

Услыхав это, Юранд встал, подошел к нему и, склонившись над ним, сказал сдавленным, страшным голосом:

– Молчать...

И пилигрим струсил снова... Он знал, что может грозить и может сказать что-нибудь такое, что удержит и сломит Юранда, но испугался, что, прежде чем он успеет сказать слово, с ним случится что-нибудь ужасное; и он замолчал, устремил точно окаменелые глаза на грозное лицо спыховского властелина и сидел неподвижно, только подбородок стал у него сильно дрожать.

А Юранд обратился к монахине:

– У вас есть письмо?

– Нет, господин. Письма у нас нет. То, что мы можем сказать, нам велено сказать на словах.

– Ну говорите.

И она повторила еще раз, точно желая, чтобы Юранд хорошенько запомнил:

– Брат Шомберг и брат Маркварт стерегут паненку, поэтому вы, господин, поборите свой гнев... Но с ней не случится ничего дурного, потому что хоть вы много лет жестоко обижаете орден, все же братья хотят отплатить вам добром за зло, если только вы удовлетворите их справедливые желания.

– Чего же они хотят?

– Они хотят, чтобы вы освободили рыцаря де Бергова.

Юранд глубоко вздохнул.

– Отдам им де Бергова, – сказал он.

– И других пленников, которых вы держите в Спыхове.

– Кроме слуг де Бергова и Мейнегера, есть два их оруженосца.

– Вы должны их освободить, господин, и вознаградить за заточение.

– Не дай мне бог торговаться из-за собственного ребенка.

– Этого-то и ждали от вас благочестивые братья, – сказала женщина, – но это еще не все, что мне приказано сказать. Вашу дочь, господин, похитили какие-то люди, вероятно, разбойники, и, вероятно, для того, чтобы взять с вас богатый выкуп... Бог дал братьям отбить ее – и они не хотят ничего, кроме того, чтобы вы отдали им их товарища и гостя. Но братья знают, и вы тоже знаете, господин, как ненавидят их в этой стране и как несправедливо истолковывают все их поступки, даже самые благочестивые. Поэтому братья уверены, что если бы здешние люди узнали, что дочь ваша у них, то сейчас же пошли бы разговоры, будто братья ее похитили, и таким образом за свою добродетель они получили бы только оскорбления и клевету... Да, злые и злоязычные здешние люди не раз уже вредили им, причем слава благочестивого ордена очень страдала; между тем об этой славе братья должны заботиться, и потому они ставят еще одно только условие: чтобы вы сами объявили князю этой страны и всему грозному рыцарству, – как это и есть на самом деле, – что не братья ордена меченосцев, а разбойники похитили вашу дочь и что вам пришлось выкупить ее у разбойников.

– Это верно, – сказал Юранд, – что разбойники похитили мое дитя и что мне приходится выкупать его у разбойников...

– И никому вы не должны говорить иначе, ибо если хоть один человек узнает, что вы вели переговоры с братьями, или если хоть одна жалоба будет послана магистру или капитулу, то могут встретиться большие затруднения...

На лице Юранда отразилась тревога. В первую минуту ему показалось довольно естественным, что комтуры хотят соблюсти тайну, боясь ответственности и дурной славы, но теперь в нем родилось подозрение, нет ли здесь и еще какой-нибудь причины; но так как он не мог дать себе в этом отчет, то его охватил такой страх, какой охватывает даже самых смелых людей, когда опасность грозит не им самим, а их близким или любимым.

Однако он решил узнать от монахини еще кое-что.

– Комтуры хотят соблюдения тайны, – сказал он, – но как же может быть сохранена тайна, если я в обмен за дочь отпущу де Бергова и других?

– Вы скажете, что взяли за Бергова выкуп, чтобы у вас было чем заплатить разбойникам.

– Люди не поверят, потому что я никогда не брал выкупа, – мрачно ответил Юранд.

– Потому что никогда дело не шло о вашей дочери, – шипящим голосом отвечала сестра.

И опять настало молчание, после чего пилигрим, за это время собравшийся с духом и решивший, что Юранд теперь больше владеет собой, сказал:

– Такова воля братьев Шомберга и Маркварта.

А монахиня продолжала:

– Вы скажете, что этот пилигрим, который приехал со мной, привез вам выкуп, а мы уедем отсюда с благородным рыцарем де Берговым и с прочими пленниками.

– Как? – сказал Юранд, морща брови. – Неужели вы думаете, что я выдам вам пленников прежде, чем вы вернете мне дочь?

– Тогда, господин, сделайте иначе. Вы можете сами поехать за дочерью в Щитно, куда братья вам привезут ее.

– Я? В Щитно?

– Ведь если разбойники снова похитят ее по дороге, то ваше подозрение и подозрение здешних людей снова падет на благочестивых рыцарей, и потому они предпочитают передать вам ее в собственные руки.

– А кто мне поручится, что я вернусь, если сам полезу в волчью пасть?

– Добродетель братьев, их справедливость и благочестие.

Юранд начал ходить по комнате. Он уже предчувствовал измену и боялся ее, но чувствовал в то же время, что меченосцы могут предложить ему условия, какие захотят, и что он перед ними бессилён.

Однако ему, по-видимому, пришло в голову какое-то средство, потому что он вдруг остановился перед пилигримом, пристально посмотрел на него, а потом обратился к монахине и сказал:

– Хорошо. Я поеду в Щитно. А вы и этот человек, на котором одежда пилигрима, останетесь здесь до моего возвращения, после которого уедете вместе с де Берговым и другими пленниками.

– Вы не хотите верить монахам, – сказал пилигрим, – так как же они станут вам верить, что, вернувшись, вы отпустите нас и де Бергова?

Лицо Юранда побледнело от негодования, и наступила страшная минута, когда, казалось, вот-вот он схватит пилигрима за грудь и швырнет на землю, но он подавил в себе гнев, глубоко вздохнул и снова заговорил медленно, с ударением:

– Кто бы ты ни был, не искушай моего терпения, чтобы оно не лопнуло. Но пилигрим обратился к сестре:

– Говорите, что вам приказано.

– Господин, – сказала она, – мы не осмелились бы не верить вашей клятве мечом и рыцарской честью, но и вам не пристало клясться перед людьми простого происхождения, а кроме того, нас прислали не за вашей клятвой.

– Зачем же вас прислали?

– Братья сказали нам, что вы, не говоря никому ни слова, должны с де Берговым и другими пленниками явиться в Щитно.

При этих словах плечи Юранда подались назад, а пальцы растопырились, как когти хищной птицы; наконец, приблизившись к женщине, он нагнулся, точно хотел говорить ей на ухо, и сказал:

– А не сказали вам, что я велю вам и де Бергову переломать в Спыхове кости?

– Дочь ваша во власти братьев и под надзором Шомберга и Маркварта, – с ударением ответила сестра.

– Под надзором разбойников, отравителей, палачей...

– Которые сумеют за нас отомстить и которые при отъезде сказали нам так: "Если он не исполнит всех наших приказаний, то лучше бы этой девочке умереть, как умерли дети Витольда". Выбирайте.

– И поймите, что вы во власти комтуров, – заметил пилигрим. – Они не хотят обижать вас, и староста из Щитно присылает вам через нас слово, что вы свободно выедете из его замка; но они хотят, чтобы вы за те обиды, которые им причинили, пришли поклониться плащу меченосцев и молить победителей о милосердии. Они хотят простить вам, но сначала хотят согнуть вашу гордую шею. Вы говорите всюду, что они предатели и клятвопреступники, и они хотят, чтобы вы доверили им самого себя. Они возвратят свободу вам и вашей дочери, но вы должны умолять об этом. Вы топтали их – и должны дать клятву, что рука ваша никогда не подыметься на белый плащ.

– Так хотят комтуры, – прибавила женщина, – а с ними Маркварт и Шомберг.

Настала минута смертельной тишины. Казалось только, что где-то между балками потолка какое-то заглушённое эхо как будто с ужасом повторяет: "Маркварт... Шомберг". Из-за окон доносились оклики Юрандовых лучников, стоящих на страже возле частокола, окружающего городок.

Пилигрим и монахиня долго смотрели то друг на друга, то на Юранда, который сидел, прислонившись к стене, недвижимый, с лицом, погруженным в тень, падающую на него от связки шкур, висящей возле окна. В голове у него осталась одна только мысль, что если он не сделает того, чего требуют меченосцы, то они задушат его дитя; если же он сделает это, то и в этом случае может не спасти ни себя, ни Данусю. И он не видел никакого выхода. Он чувствовал над собой безжалостную силу, подавлявшую его. Он уже видел железные руки меченосца на шее Дануси, ибо, зная этих людей, ни на миг не сомневался, что они убьют ее, заруют во рву, окружающем замок, а потом клятвенно отрекутся ото всего; и кто тогда сможет им доказать, что они ее похитили? Правда, посланные их находились в руках у Юранда, он мог отвезти их к князю, пытками добиться их сознания, но у меченосцев была Дануся, и они тоже могли не поспешить на пытки для нее. И одно время ему казалось, что дитя простирает к нему издала руки, моля о спасении... Если бы он хоть знал наверное, что она в Щитно. Он мог бы в эту же ночь направиться к границе, напасть на не ожидающих нападения немцев, взять замок, перерезать гарнизон и освободить дочь, но ее могло не быть и, вероятно, не было в Щитно. Еще с быстротой молнии мелькнуло у него в голове, что если бы он взял женщину и пилигрима и повез их прямо к великому магистру, то, быть может, магистр заставил бы их сознаться и велел бы отдать ему дочь; но молния эта сверкнула и тотчас погасла... Ведь эти люди могли сказать магистру, что приехали выкупить Бергова и что ничего не знают ни о какой девушке. Нет, этот путь не вел ни к чему... Но какой же путь вел? Он подумал, что, если поедет в Щитно, его закуют в цепи и бросят в подземелье, а Данусю даже и не выпустят, хотя бы для того, чтобы не обнаружилось, что они ее похитили. А между тем смерть витает над единственным его ребенком, над последней дорогой ему жизнью... И наконец мысли его начали путаться, а мука стала так велика, что переросла себя самое и перешла в оцепенение. Он сидел неподвижно, потому что тело его стало мертво, точно вытесано

из камня. Если бы в эту минуту он захотел встать, то не смог бы этого сделать.

Между тем послам надоело долгое ожидание; поэтому монахиня встала и сказала:

– Скоро будет светать; так позвольте нам уйти, господин, потому что мы нуждаемся в отдыхе.

– И в подкреплении после долгого пути, – прибавил пилигрим. После этого оба поклонились Юранду и ушли.

А он продолжал сидеть, точно охваченный сном или мертвый. Но через минуту дверь растворилась, и в ней появился Збышко, а за ним ксендз Калев.

– Что же посланные? Чего хотят? – спросил молодой рыцарь, подходя к Юранду.

Юранд вздрогнул, но сперва ничего не ответил и только стал часто моргать, как человек, пробудившийся от крепкого сна.

– Не больны ли вы, господин? – спросил ксендз Калев, который, лучше зная Юранда, заметил, что с ним происходит что-то странное.

– Нет, – отвечал Юранд.

– А Дануся? – продолжал допытываться Збышко. – Где она и что они вам сказали? С чем они приехали?

– С вы-ку-пом, – с расстановкой ответил Юранд.

– С выкупом за Бергова?

– За Бергова...

– Как за Бергова? Да что с вами?

– Ничего...

Но в голосе его было что-то такое необычайное и как бы беспомощное, что обоих их охватила внезапная тревога, особенно потому, что Юранд говорил о выкупе, а не об обмене Бергова на Данусю.

– Скажите же, бога ради! – воскликнул Збышко. – Где Дануся?

– Ее нет у ме-че-но-сцев... нет, – сонным голосом отвечал Юранд.

И вдруг, как мертвец, упал со скамьи на пол.

XIV

На следующий день в полдень посланцы виделись с Юрандом, а немного спустя уехали, взяв с собой де Бергова, двух оруженосцев и прочих пленников. Потом Юранд призвал отца Калеба, которому продиктовал письмо к князю с уведомлением, что рыцари ордена Дануси не похищали, но что ему удалось открыть, где она, и он надеется через несколько дней получить ее обратно. То же самое повторил он и Збышке, который со вчерашней ночи сходил с ума от удивления и тревоги. Но старый рыцарь не хотел отвечать ни на какие его расспросы, зато немедленно потребовал,

чтобы Збышко терпеливо ждал и пока что не предпринимал ничего для освобождения Дануси, потому что это вовсе не нужно. Под вечер он снова заперся с ксендзом Калемом, которому сперва велел написать завещание, а потом исповедался; после принятия причастия он призвал к себе Збышку и старого, вечно молчащего Толиму, который сопровождал его во всех походах и битвах, а в мирное время управлял Спыховом.

– Вот это, – сказал он, обращаясь к старому вояке и возвышая голос, точно говорил человеку, который плохо слышит, – муж моей дочери; он повенчался с ней при княжеском дворе, на что получил мое согласие. Он будет здесь господином после моей смерти, т. е. получит в собственность городок, земли, леса, луга, людей и всякое добро, находящееся в Спыхове...

Услышав это, Толима стал поворачивать свою квадратную голову то в сторону Збышки, то в сторону Юранда; однако он не сказал ничего, потому что почти никогда ничего не говорил, только склонился перед Збышкой и слегка обнял руками его колени.

Между тем Юранд продолжал:

– Эту волю мою записал ксендз Калем, а под писанием находится восковая моя печать: ты должен будешь подтвердить, что слышал это от меня и что я приказал всем здесь слушаться этого молодого рыцаря так же, как и меня. Добычу и деньги, которые хранятся в кладовых, ты ему покажешь и будешь ему верно служить на войне и во время мира до самой смерти. Слышал?

Толима поднял руки к ушам и кивнул головой, а потом по знаку Юранда поклонился и вышел; Юранд же обратился к Збышке и сказал с ударением:

– Тем, что есть в кладовых, можно соблазнить величайшую жадность и выкупить не одного, а сто пленников. Помни это.

Но Збышко спросил:

– А почему вы уже сдаете мне Спыхов?

– Я тебе сдаю больше, чем Спыхов: дитя свое.

– И час смерти неведом, – сказал ксендз Калем.

– Воистину неведом, – как бы с грустью повторил Юранд. – Вот недавно занесло меня снегом, и хоть спас меня Бог, все-таки нет уже во мне прежней силы...

– Ей-богу, – воскликнул Збышко, – что-то в вас изменилось со вчерашнего дня и вы больше говорите о смерти, чем о Данусе. Ей-богу!

– Вернется Дануся, вернется, – ответил Юранд. – Ее Господь хранит. Но когда вернется... Слушай... Вези ты ее в Богданец, а Спыхов поручи Толиме... Он человек верный, а здесь плохое соседство... Там ее веревкой не захлестнут... там безопаснее...

– Эх! – вскричал Збышко. – Да вы уже словно с того света говорите. Что же это такое?

– Потому что я уже наполовину был на том свете, а теперь мне все кажется, что

какая-то хворь сидит во мне. И все дело в дочери... потому что она у меня одна... Да и ты, хоть я знаю, что ты ее любишь.

Тут он замолчал и, вынув из ножен короткий меч, так называемую мизерикордию, повернул его рукоятью к Збышке:

– Поклянись же мне еще раз на этом крестике, что ты никогда не обидишь ее и будешь любить неизменно..

У Збышки вдруг даже слезы на глазах навернулись; в одно мгновение бросился он на колени и, приложив палец к рукояти, воскликнул:

– Клянусь страстями Господними, что не обижу ее и буду любить неизменно.

– Аминь, – сказал ксендз Калеп.

Тогда Юранд спрятал мизерикордию в ножны и раскрыл Збышке объятия.

– Тогда и ты мне сын...

Потом они расстались, потому что была уже поздняя ночь, а они уже несколько дней не спали как следует. Однако Збышко на следующий день встал с рассветом, потому что вчера действительно испугался, не захворал ли Юранд, и теперь хотел узнать, как старый рыцарь провел ночь.

У двери Юрандовой комнаты наткнулся он на Толиму, выходившего оттуда.

– Ну как пан? Здоров? – спросил Збышко.

Толима низко поклонился, приложил ладонь к уху и спросил:

– Что прикажете, ваша милость?

– Я спрашиваю: как себя чувствует пан? – громче повторил Збышко.

– Пан уехал.

– Куда?

– Не знаю. В латах...

XV

Рассвет уже начал белым светом озарять деревья, кусты и меловые глыбы, там и сям раскиданные по полю, когда наемный проводник, шедший рядом с лошадью Юранда, остановился и сказал:

– Позвольте мне отдохнуть, господин рыцарь, а то я совсем задохнулся. Оттепель и туман, но теперь уже недалеко...

– Ты доведешь меня до большой дороги, а потом вернешься назад, – отвечал Юранд.

– Большая дорога будет вправо за леском, а с холма вы увидите замок.

Сказав это, мужик стал похлопывать себя руками по бедрам, потому что озяб от

утренней сырости, а потом присел на камень, оттого что устал от этого еще больше.

– А ты не знаешь, комтур в замке? – спросил Юранд.

– А где же ему быть, коли он болен?

– Что же с ним?

– Люди говорят, что его польские рыцари побили, – отвечал старый мужик...

И в голосе его звучало как бы некоторое удовольствие. Он был подданным меченосцев, но его мазурское сердце радовалось победе польских рыцарей. И, помолчав, он прибавил:

– Эх, сильны наши паны, но с поляками им трудно приходится.

Но он сейчас же быстро взглянул на рыцаря и, как бы желая убедиться, что за нечаянно вырвавшиеся слова его не ожидает ничто, сказал:

– Вы, господин, по-нашему говорите, а вы не немец?

– Нет, – отвечал Юранд. – Но веди дальше.

Мужик встал и снова пошел рядом с лошастью. По дороге он время от времени засовывал руку в штаны, доставал пригоршню немолотого жита и высыпал его себе в рот, а утолив таким образом первый голод, стал объяснять, почему ест сырое зерно, хотя Юранд, слишком занятый своим горем и своими мыслями, этого даже не заметил.

– Славу богу и за это, – говорил мужик. – Трудно жить под властью наших немецких панов. Такие подати на помол наложили, что бедному человеку приходится сырое зерно есть, как скотине. А у кого в хате найдут жернова, того мужика замучат, все добро отберут... Да что говорить, детей и баб в покое не оставят... Не боятся они ни Бога, ни ксендзов: вельборгского настоятеля, который их в этом укорял, в цепи заковали. Ой, тяжело жить под властью немца!.. Что успеешь истолочь зерна между двумя камнями, столько и соберешь муки да спрячешь ее на воскресенье, а в пятницу есть приходится, как птице. Да слава богу и за то, потому что к весне и того не будет... Рыбу ловить нельзя... зверя стрелять тоже... Не то, что в Мазовии.

Так жаловался мужик, разговаривая наполовину сам с собой, наполовину с Юрандом; между тем они миновали пустошь, покрытую занесенными снегом меловыми глыбами, и вошли в лес, который в утреннем свете казался седым и от которого веяло сырым, неприятным холодом. Рассвело уже совершенно; если бы не это, Юранду было бы трудно проехать по лесной тропинке, идущей немного в гору и такой узкой, что местами его огромный боевой конь насилу мог пройти между стволами. Но лесок вскоре кончился, и они очутились на вершине белого холмика, по которому шла большая дорога.

– Вот и дорога, – сказал мужик, – теперь вы, господин, доберетесь одни.

– Доберусь, – сказал Юранд. – Возвращайся, брат, домой.

И, сунув руку в кожаный мешок, привязанный к передней части седла, он достал

оттуда серебряную монету и подал ее проводнику. Мужик, привыкший больше к побоям, чем к подачкам из рук местных рыцарей-меченосцев, почти не хотел верить глазам и, схватив монету, припал головой к стремени Юранда и обнял его колени.

– Ой, Господи Боже мой! Пресвятая Богородица! – воскликнул он. – Пошли вам Господь, ваша милость.

– Оставайся с Богом.

– Да хранит вас Господь! Щитно – вот оно.

Сказав это, он еще раз наклонился к стремени и исчез. Юранд остался на холме один и в указанном ему мужиком направлении стал смотреть на серую, сырую завесу мглы, застилавшую перед ним окрестности. За этой мглой скрывался тот злоедейский замок, к которому толкали его насилие и горе. Вот уже близко, близко. А там, что должно случиться, то случится... При этой мысли в сердце Юранда наряду с беспокойством за Данусю, наряду с готовностью выкупить ее из вражеских рук, хотя бы ценой собственной крови, родилось новое, необычайно горькое и неведомое ему дотоле чувство смирения. Вот он, Юранд, при воспоминании о котором дрожали комтуры, ехал по их приказанию с повинной. Он, столько их победивший и растоптавший, чувствовал теперь себя побежденным и растоптанным. Правда, они победили его не на поле битвы, не храбростью и не рыцарской силой, но все-таки он чувствовал себя побежденным. И это было для него так необычайно, что ему казалось, будто весь мир вывернулся наизнанку. Он ехал смириться перед меченосцами, он, который, если бы дело не шло о Данусе, предпочел бы один померяться со всеми силами ордена! Разве не случалось, что один рыцарь, которому предстояло выбирать между бесславием и смертью, бросался на целое войско? А он чувствовал, что на его долю может выпасть и бесславие, и при мысли об этом сердце его выло от боли, как воеет волк, почувствовав в своем теле стрелу.

Но это был человек, у которого не только тело, но и душа была из железа. Умел он сломить других – умел и себя.

– Я не сделаю ни шагу вперед, – сказал он себе, – пока не поборю этого гнева, которым могу погубить, а не спасти свое дитя.

И он как бы вступил врукопашную со своим гордым сердцем, со своей яростью и жадной боя. Тот, кто видал бы его на этом холме, стоящего в латах, недвижимого, на огромном коне, сказал бы, что это какой-то великан, вылитый из железа, и не понял бы, что этот недвижимый рыцарь переживает сейчас труднейшую борьбу из всех, какие ему случалось переживать. Но он боролся с собой до тех пор, пока не поборол себя и пока не почувствовал, что его воля его не предаст.

Между тем мгла редела и хотя еще не совсем рассеялась, все же под конец в ней что-то стало темнеть. Юранд понял, что это стены щитновского замка. При виде этого он еще не тронулся с места, но стал молиться, так истово и горячо, как молится человек, для которого осталось на свете только милосердие Божье...

И когда наконец он тронул коня, он почувствовал, что в сердце его начинает закрадываться какая-то надежда. Теперь он готов был вынести все, что могло ему встретиться. Припомнился ему святой Георгий, потомок знатнейшего каппадокийского рода, вынесший разные позорные пытки и не только не утративший чести, но сидящий ныне одесную Бога и именуемый патроном всех рыцарей. Юранд не раз слышал рассказы о его приключениях от пилигримов, прибывавших из дальних стран, и

воспоминанием об этих подвигах старался теперь ободрить себя.

И надежда все пробуждалась в нем. Правда, меченосцы славились своей мстительностью, и потому он не сомневался, что они отомстят ему за все беды, какие он причинил им, за позор, который падал на них после каждой встречи, и за страх, в котором они жили столько лет.

Но не это ободряло его. Он думал, что Данусю похитили только для того, чтобы захватить его, а когда они его захватят – зачем им тогда она? Да. Его обязательно закут в цепи и, не желая держать поблизости от Мазовии, отправляют в какой-нибудь отдаленный замок, где, может быть, до конца жизни придется ему стонать в подземелье, но Данусю они предпочтут отпустить. Хотя бы даже обнаружилось, что они захватили его предательски и мучат, ни великий магистр, ни капитул не поставят им этого в вину, потому что ведь он, Юранд, был действительно в тягость меченосцам и пролил больше ихней крови, чем какой бы то ни было другой рыцарь. Зато, может быть, тот же великий магистр покарает их за похищение невинной девушки, к тому же воспитанницы князя, дружбы которого он искал ввиду грозящей ему войны с королем польским.

И надежда все возрастала в нем. Минутами ему казалось почти несомненным, что Дануся вернется в Спыхов, под могущественное покровительство Збышки... "Он парень настоящий, – думал Юранд, – он никому не даст ее в обиду". И он почти растроганно стал вспоминать все, что знал о Збышке: бил немцев под Вильной, дрался с ними на поединках, разбил фризов, которых они с дядей вызвали, напал на Лихтенштейна, защитил его дочь от тура и вызвал тех четырех меченосцев, которым, должно быть, не даст поблажки. Тут Юранд поднял глаза к небу и сказал:

– Я поручаю ее Тебе, Господи, а Ты ее Збышке.

И стало ему как-то легче, потому что он думал, что если Господь даровал ее юноше, то ведь не позволит же Он немцам смеяться над Собой, вырвет ее из их рук, хотя бы все немцы ее удерживали. Но потом он снова стал думать о Збышке: "Да, он не только здоровый парень, но и благородный, как золото. Он будет ее беречь, будет ее любить – и пошли, Господи Иисусе, дочери моей всяких благ... Думается мне, что со Збышкой не пожалеет она ни о княжеском дворце, ни об отцовской любви..." При этой мысли веки Юранда вдруг увлажнились, и в сердце его родилась страшная тоска. Все-таки хотелось ему хоть раз еще увидеть дочь и умереть в Спыхове, возле своих, а не в темных подземельях меченосцев. Но на все воля Божья... Щитно было уже видно. Стены все явственнее рисовались в тумане, близок уже был час жертвы, и Юранд стал еще подкреплять себя, говоря так:

– Да, воля Божья. Но закат жизни моей близок. Несколькими годами больше, несколькими годами меньше – выйдет все равно. Эх, хорошо бы еще посмотреть на детей, но если правду говорить – пожил я довольно. Что должен был испытать – испытал, за что должен был отомстить – отомстил. А теперь что? Я теперь ближе к могиле, чем к жизни, и если надо пострадать, значит, надо. Дануська со Збышкой, как бы им ни было хорошо, не забудут меня. Часто будут вспоминать и говорить: "Где-то он? Жив ли еще, или уж прибрал его Господь?..." Станут спрашивать и, быть может, узнают. Падки меченосцы на месть, но и на выкуп падки. Збышко не поскупится, чтобы хоть кости выкупить. А уж обедню наверняка отслужат не раз. Хорошие у них у обоих сердца и любящие, за что пошли им, Господи, и Ты, Пресвятая Богородица.

Дорога становилась не только все шире, но и люднее. К городу тащились воза с

дровами и соломой. Гуртовщики гнали скот. С озер везли на санях мороженую рыбу. В одном месте четыре лучника вели на цепи мужика, очевидно – на суд за какую-то провинность, потому что руки у мужика были связаны сзади, а на ногах надеты кандалы, которые, цепляясь за снег, еле позволяли ему двигаться. Из тяжело дышащих его ноздрей и изо рта вырывалось дыхание в виде клубов пара, а лучники, подгоняя его, пели. Увидев Юранда, они стали с любопытством посматривать на него, дивясь, очевидно, размерам всадника и коня, но при виде золотых шпор и рыцарского пояса опустили арбалеты к земле в знак приветствия и уважения. В местечке было еще оживленнее и шумнее, но рыцарю в латах поспешно уступали дорогу; он проехал по главной улице и свернул к замку, который, казалось, спал еще, окутанный туманом.

Но не все вокруг спало; по крайней мере, не спали вороны, целые стаи которых носились над холмом, по которому шла дорога в замок. Юранд, подъехав ближе, понял причину этого птичьего веча. У самой дороги, ведущей к воротам замка, стояла большая виселица, а на ней висели трупы четырех Мазуров мужиков, принадлежавших меченосцам. Не было ни малейшего ветра, и трупы, смотревшие, казалось, на собственные ноги, не шевелились, разве только тогда, когда черные птицы, толкая друг друга, садились им на плечи и на головы и начинали клевать веревки и опущенные головы. Некоторые из повешенных висели, по-видимому, уже давно, потому что черепа их были совершенно голы, а ноги невероятно вытянулись. При приближении Юранда стая с шумом взвилась кверху, но тотчас описала в воздухе круг и стала спускаться на перекладины виселицы. Юранд, перекрестившись, проехал мимо, приблизился к валу и, остановившись там, где над воротами высился подъемный мост, затрубил в рог.

Потом он протрубил еще раз, потом еще раз – и стал ждать. На стенах не было ни души, и из-за ворот не доносилось ни звука. Но через минуту вделанное в ворота тяжелое железное окно с лязгом приподнялось, и в нем показалась бородатая голова немецкого кнехта.

– Wer da? – спросил грубый голос.

– Юранд из Спыхова, – отвечал рыцарь.

Окно снова захлопнулось, и настало глухое молчание. Время шло. За воротами не слышно было никакого движения, и только со стороны виселицы доносилось карканье ворон.

Юранд простоял еще долго, потом поднял рог и затрубил снова.

Но ответила ему снова тишина.

Тогда он понял, что его держат перед воротами из гордости, которая у меченосцев по отношению к побежденному безгранична: его держат, чтобы унижить, как нищего. И он угадал, что так придется ему ждать, быть может, до вечера, а то и дольше. И в первую минуту закипела в нем кровь: мгновенно охватило его желание сойти с коня, поднять один из камней, лежащих перед валом, и бросить его в ворота. Так в другом случае сделал бы и он, и всякий другой мазовецкий или польский рыцарь, и пусть бы потом выходили из-за ворот с ним сражаться. Но, вспомнив, зачем он приехал, он опомнился и сдержал себя.

– Разве я не принес себя в жертву ради дочери? – сказал он себе. И он ждал.

Тем временем между зубцами стен что-то зачернело. Показались меховые шапки и даже железные шлемы, из-под которых смотрели на рыцаря любопытные глаза. С каждой минутой их становилось все больше, потому что этот грозный Юранд, в одиночестве ожидающий у ворот, был для солдат немаловажным зрелищем. Раньше кто видел его перед собой, тот видел смерть, а теперь можно было смотреть на него безопасно. Головы подымались все выше, и наконец все ближайšie к воротам зубцы покрылись кнехтами. Юранд подумал, что, вероятно, и начальники смотрят на него из-за оконных решеток, и поднял глаза на стоящую у ворот башню, но там окна проделаны были в толстых стенах, и смотреть через них можно было разве только вдаль. Зато на стенах люди, сперва смотревшие на него молча, стали переговариваться. То тот, то другой повторял его имя, то там, то здесь слышался смех, хриплые голоса покрякивали на него, как на волка, все громче, все заносчивее, и наконец, так как, очевидно, никто внутри не препятствовал, в стоящего рыцаря начали швырять снегом.

Он невольно тронул коня вперед, и на время снежные комья перестали на него лететь, крики затихли, и даже некоторые головы исчезли за стенами. Должно быть, воистину грозно было имя Юранда. Но даже самым трусливым тотчас пришло в голову, что от страшного мазура их отделяют ров и стена; поэтому грубые солдаты снова стали швырять в него не только комьями снега, но даже льдом, щебнем и камнями, которые со звоном отскакивали от лат и от покрывавшего лошадь железа.

– Я принес себя в жертву ради дочери, – повторял себе Юранд.

И он ждал. Настал полдень, стены опустели, потому что кнехтов позвали обедать. Немногие из них, которые должны были исполнять обязанности стражи, ели на стенах, а после обеда снова принялись забавляться метанием в голодного рыцаря объедков. Они стали подтрунивать друг над другом, спрашивая, кто отважится сойти вниз и дать ему по шее кулаком или древком дротика. Другие, вернувшись от обеда, кричали ему, что если ему надоело ждать, то он может повеситься, потому что на виселице есть свободный крюк с готовой веревкой. И среди таких издевательств, среди криков, хохота и проклятий проходили часы. Короткий зимний день постепенно склонялся к вечеру, а мост все висел в воздухе, и ворота оставались запертыми.

Но под вечер поднялся ветер, развеял туман, очистил небо и открыл закат. Снег стал голубым, потом фиолетовым. Мороза не было, но ночь обещала быть ясной. Люди снова ушли со стен, кроме стражи; вороны слетели с виселицы к лесам. Наконец небо потемнело, и наступила полная тишина.

"На ночь ворот не откроют", – подумал Юранд.

И на минуту пришло ему в голову вернуться в город, но он сейчас же оставил эту мысль. "Они хотят, чтобы я стоял, – сказал он себе. – Если я поверну и поеду, они, конечно, не пустят меня домой, а окружают, схватят, а потом скажут, что ничего не должны мне, потому что силой захватили меня..."

Невероятная, с изумлением отмечаемая всеми современными хрониками выносливость польских рыцарей к холоду, голоду и неудобствам порою давала им возможность совершать подвиги, на которые не способны были гораздо более изнеженные люди Запада. Юранд же обладал этой выносливостью еще в большей мере, нежели другие; и хотя голод давно уже мучил его, а вечерний мороз проникал сквозь покрытый железом кожух, все же он решил ждать, хотя бы ему предстояло умереть перед этими воротами.

Но вдруг, еще раньше, чем воцарилась совершенно тьма, он услышал за спиной скрип шагов по снегу.

Он оглянулся: со стороны города к нему приближалось шесть человек, вооруженных копьями и алебардами, а в середине между ними шел седьмой, опиравшийся на меч.

"Может быть, им откроют ворота, и я въеду с ними, – подумал Юранд. – Хватать меня силой они не станут, не станут и убивать, потому что их слишком мало; но все-таки, если они на меня нападут, это будет значить, что они ни в чем не хотят сдержать слова – и тогда горе им".

Подумав это, он поднял стальной топор, висящий возле седла, такой тяжелый, что он был тяжел даже для обеих рук обыкновенного человека, и направил коня навстречу приближавшимся людям.

Но они не думали на него нападать. Напротив, кнехты тотчас воткнули в снег древка копий и алебард, а так как ночь была еще не совсем темная, Юранд заметил, что оружие слегка дрожит в их руках. Седьмой, казавшийся их начальником, поспешно протянул вперед левую руку и, обратив ладонь пальцами кверху, спросил:

– Вы рыцарь Юранд из Спыхова?

– Я...

– Хотите ли выслушать, с чем я прислан!

– Слушаю.

– Сильный и могущественный комтур фон Данфельд приказывает сказать вам, господин, что пока вы не сойдете с коня, ворота не будут для вас открыты.

Юранд с минуту сидел неподвижно, потом слез с коня, к которому в тот же миг подскочил один из копьеносцев.

– Оружие тоже должно быть отдано нам, – снова заговорил человек с мечом.

Властелин Спыхова колебался. А что, если они нападут на него безоружного и затравят, как зверя? Что, если схватят его и бросят в подземелье? Но потом он подумал, что если бы должно было быть так, то их все-таки прислали бы больше. Если бы они должны были броситься на него, то сразу лат они не пробьют, а тогда он может вырвать оружие у первого попавшегося и перебить всех, прежде чем подоспеет к ним подмога. Ведь они же знали его.

"И если бы они хотели пролить мою кровь, – подумал он, – то ведь для того я сюда и приехал".

Подумав так, он сперва бросил топор, потом меч, потом мизерикордию – и стал ждать. Они схватили все это, потом человек, говоривший с ним, отойдя на несколько шагов, остановился и заговорил вызывающим, громким голосом:

– За все обиды, нанесенные тобой ордену, ты, по приказанию комтура, должен надеть вот этот мешок, который я тебе оставляю, привязать веревкой к шее ножны меча и смиренно ждать у ворот, пока милость комтура не откроет их перед тобой.

И вскоре Юранд остался один в темноте и молчании. На снегу перед ним чернел мешок и веревка, он же стоял долго, чувствуя, как в душе у него что-то ломается, что-то умирает и что через минуту он уже не будет рыцарем, не будет Юрандом из Спыхова, а будет нищим, рабом, безымянным, бесславным.

И прошло еще много времени, прежде чем он подошел к мешку и проговорил:

– Как же я могу поступить иначе? Ты, Господи, знаешь: если я не сделаю всего, что они приказывают, они задушат невинное дитя. И ты знаешь, что для спасения своей жизни я бы этого не сделал. Горек позор... горек... Но и тебя оскорбляли перед смертью. Ну, во имя Отца и Сына...

И он нагнулся, надел на себя мешок, в котором были прорезаны отверстия для головы и рук, а потом повесил на шею ножны меча – и потащился к воротам.

Он не нашел их отпертыми, но теперь ему было уже все равно, откроют ли их ему раньше или позже. Замок погружался в молчание ночи, только стража время от времени перекликалась на выступах стен. В стоящей у ворот башне светило вверх одно окошечко; прочие были темны.

Ночные часы текли один за другим, на небо поднялся серп месяца, озаривший мрачные стены замка. Настала такая тишина, что Юранд мог слышать биение своего сердца. Но он совсем онемел и окаменел, точно из него вынули душу, и не отдавал уже себе отчета ни в чем. Осталась у него только одна мысль, что он перестал быть рыцарем, Юрандом из Спыхова, но кто он теперь – этого он не знал... Иногда ему мерещилось, что среди ночи, от повешенных, которых он видел утром, тихо идет к нему по снегу смерть...

Внезапно он вздрогнул и проснулся совсем:

– О, Господи, Иисусе милостивый! Что же это?

Из высокого окошечка стоящей у ворот башни донеслись еле слышные звуки лютни. Юранд, едучи в Щитно, был уверен, что Дануси нет в замке, но этот звук лютни среди ночной тишины мгновенно взволновал его сердце. Ему показалось, что он знает эти звуки и что это играет не кто иной, как она, его дорогое, возлюбленное дитя... И он упал на колени, молитвенно сложил руки и, дрожа, как в лихорадке, стал слушать...

Вдруг полудетский и как будто бесконечно грустный голос запел.

Юранд хотел откликнуться, выкрикнуть дорогое имя, но слова застряли у него в горле, точно их сжал железный обруч. Внезапный порыв горя, слез, отчаяния овладел его сердцем, и он упал лицом в снег и стал про себя взывать к небесам, как бы произнося благодарственную молитву:

– О, Господи Иисусе, ведь я еще раз слышу дочь свою. О, Иисусе...

И рыдания стали сотрясать его гигантское тело. А сверху грустный голос пел дальше, среди невозмутимой ночной тишины.

Рано утром толстый, бородатый немецкий кнехт стал бить ногой по бедру лежащего у ворот рыцаря.

– Подымайся, пес... Ворота отперты, и комтур приказывает тебе предстать перед ним.

Юранд как бы очнулся ото сна. Он не схватил кнехта за горло, не раздавил его в железных своих руках; лицо у него было тихое и почти смиренное; он встал и, не говоря ни слова, пошел за солдатом в ворота.

Только что он прошел их, как за спиной у него послышался лязг цепей, и подъемный мост стал подниматься вверх, а в самих воротах упала тяжелая железная решетка...

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Юранд, очутившись во дворе замка, не знал сначала, куда идти, потому что кнехт, проводивший его в ворота, отошел от него и направился к конюшням. Правда, у палисадника, то в одиночку, то кучками, стояли солдаты, но лица их были так вызывающи, а взгляды так насмешливы, что рыцарю легко было отгадать, что они не покажут ему дороги, а если и ответят на вопрос, то разве только грубостью или оскорблением.

Некоторые смеялись, показывая на него пальцами; другие снова стали кидать в него снегом, точно так же, как накануне. Но он, заметив дверь побольше других, с высеченным над нею распятием, направился туда, полагая, что если комтур и старшина находятся в другой части замка или в других помещениях, то кто-нибудь вернет его с ложного пути.

Так и случилось. В ту минуту, когда Юранд приблизился к этой двери, обе половинки ее внезапно распахнулись, и перед ним очутился юноша с обритой головой, как носят духовные лица, но одетый в светское платье, и спросил:

– Вы Юранд из Спыхова?

– Я.

– Благочестивый комтур велел мне проводить вас. Идите за мной.

И он повел его через большие сени к лестнице. Однако перед лестницей он остановился и, окинув Юранда взглядом, снова спросил:

– А при вас нет никакого оружия? Мне велено обыскать вас.

Юранд поднял вверх обе руки так, чтобы провожатый мог хорошенько осмотреть всего его, и ответил:

– Вчера я все отдал.

Тогда провожатый понизил голос и сказал почти шепотом:

– В таком случае берегитесь проявлять гнев, потому что вы здесь бессильны: вы во власти комтура.

– Но и во власти Бога, – отвечал Юранд.

Сказав это, он внимательнее посмотрел на проводника, заметил в лице его что-то вроде жалости и сострадания и сказал:

– В глазах твоих отражается благородство, паж. Ответишь ли ты мне правду на то, о чем я спрошу тебя?

– Спешите, господин, – сказал провожатый.

– Отдадут за меня моего ребенка?

Юноша с удивлением поднял брови:

– Значит, ваш ребенок здесь?

– Дочь.

– Та девушка, которая сидит в башне у ворот?

– Да... Обещали отпустить ее, если я отдамся в их власть.

Провожатый сделал рукой жест, означавший, что он ничего не знает, но на лице его отразились тревога и сомнение.

А Юранд спросил еще:

– Правда ли, что ее стерегут Шомберг и Маркварт?

– Этих братьев в замке нет. Однако возьмите ее, господин, раньше, чем староста Данфельд выздоровеет.

Услышав это, Юранд задрожал, но продолжать вопросы было уже некогда, потому что они поднялись в верхнюю залу, где Юранд должен был предстать пред лицом щитновского старосты. Паж, отворив дверь, снова отступил назад к лестнице.

Рыцарь из Спыхова вошел и очутился в обширном покое, очень мрачном, потому что вставленные в окна стеклянные пластинки, оправленные в олово, пропускали немного света, да и день был зимний, пасмурный. Правда, в другом конце комнаты в камине пылал огонь, но плохо высушенные бревна давали мало пламени. Лишь через несколько времени, когда глаза Юранда освоились с полумраком, он заметил в глубине стол и сидящих за ним рыцарей, а дальше, за плечами их, целую толпу вооруженных оруженосцев и кнехтов, тоже вооруженных; среди них придворный шут держал на цепи ручного медведя.

Юранд когда-то бился с Данфельдом, потом два раза видел его в качестве посла, прибывавшего ко двору мазовецкого князя, но с тех пор прошло несколько лет; однако, несмотря на полумрак, он сразу узнал его и по тучности, и по лицу, и по тому наконец, что тот сидел за столом посередине, в большом кресле, с рукой, обвернутой лубками и положенной на поручень. Справа от него сидел старик Зигфрид де Леве из Инсбурга, неумолимый враг польского племени вообще, а Юранда из Спыхова в частности; слева – младшие братья. Годфрид и Ротгер. Данфельд нарочно пригласил их, чтобы они посмотрели на его торжество над грозным врагом, а кстатид натешились плодами предательства, которое они сообща придумали и исполнению которого помогли. И вот теперь сидели они удобно, в мягких одеждах из темного сукна, с короткими мечами на бедрах, радостные, самоуверенные, и смотрели на Юранда с гордостью и с таким неизмеримым презрением, какое всегда было у них присасено для слабых и побежденных.

Долго длилось молчание, потому что они жаждали насытиться зрелищем человека, которого раньше попросту боялись и который теперь стоял перед ними с опущенной на грудь головой, в холщовом покаянном мешке, с обмотанной вокруг шеи веревкой, на которой висели ножны меча.

По-видимому, они также хотели, чтобы как можно больше народу видело его унижение, потому что через боковые двери, ведущие в другие комнаты, мог входить всякий желающий, и зала чуть ли не наполовину была наполнена вооруженными рыцарями. Все с невероятным любопытством смотрели на Юранда, громко разговаривая и делая на его счет замечания. Но, смотря на них, он только укреплялся в своих надеждах, потому что размышлял так: "Если бы Данфельд не хотел исполнить то, что обещал, он не призывал бы стольких свидетелей".

Между тем Данфельд сделал рукой знак и прекратил разговоры, а потом дал знак одному из оруженосцев подойти к Юранду и, схватив его за обвязанную вокруг шеи веревку, подтащить на несколько шагов ближе к столу.

Тут Данфельд победоносно и торжествующе посмотрел на присутствующих и сказал:

– Смотрите, как могущество ордена побеждает злобу и гордость.

– Дай бог, чтобы всегда так было, – отвечали присутствующие.

Опять наступило молчание; потом Данфельд обратился к пленнику:

– Ты кусал орден, как бешеный пес, и Бог сделал так, что ты, как пес, стоишь перед нами, с веревкой на шее, ожидая милости и сожаления.

– Не сравнивай меня со псом, комтур, – отвечал Юранд, – потому что этим бесчестишь тех, кто со мной сражался и пал от моей руки.

При этих словах среди вооруженных немцев пронесся ропот: неизвестно было, рассердила ли их смелость ответа, или поразила его справедливость. Но комтур был недоволен таким оборотом разговора и потому сказал:

– Смотрите, он еще и тут плюет нам в глаза упорством и гордостью.

А Юранд поднял руки вверх, как человек, призывающий в свидетели небо, и, качая головой, отвечал:

– Видит Бог, что гордость моя осталась за воротами этого замка. Бог видит и рассудит, не опозорили ли вы и себя, позоря мой рыцарский сан. Рыцарская честь одна для всех, и всякий, кто опоясан, должен ее уважать.

Данфельд нахмурил брови, но в эту минуту шут стал позвякивать цепью, на которой держал медведя, и кричать:

– Проповедь! Проповедь! Приехал из Мазовии проповедник! Слушайте! Проповедь...

Потом обратился к Данфельду.

– Господин, – сказал он, – граф Розенгейм, когда звонарь слишком рано колокольным звоном разбудил его перед проповедью, велел ему съесть всю привязанную к колоколу веревку. Есть и у этого проповедника веревка на шее:

прикажете ему съесть ее, прежде чем он кончит свою проповедь.

И сказав это, он стал смотреть на комтура с некоторой тревогой, потому что не был уверен, засмеется ли тот или велит выпороть его за несвоевременное вмешательство. Но рыцари ордена, мягкие, покладистые и даже смиренные, когда не чувствовали на своей стороне силы, по отношению к побежденным не знали никакой меры; поэтому Данфельд не только кивнул шуту головой в знак того, что разрешает ему издеваться, но и сам проявил такую неслыханную грубость, что на лицах нескольких молодых оруженосцев отразилось изумление.

– Не жалуйся, что ты опозорен, – сказал он, – потому что даже если бы я сделал тебя псарем, так и то лучше быть псарем в ордене, чем рыцарем в вашей стране.

А осмелевший шут стал кричать:

– Принеси гребень, вычеси медведя, а он за это тебе расчешет лапой вихры.

При этих словах кое-где послышался смех, а кто-то прокричал из-за спин:

– Летом будешь косить тростник на озере.

– И раков ловить на пададь, – прокричал другой. А третий прибавил:

– А теперь начинай-ка сгонять ворон с висельников. Работы у тебя здесь хватит.

Так издевались они над некогда страшным для них Юрандом. Постепенно всеми присутствующими овладела веселость. Некоторые, выйдя из-за стола, стали подходить к пленнику, рассматривать его вблизи и говорить: "Так вот он, кабан из Спыхова, у которого наш комтур повышиб клыки; небось у него полна пасть пены; рад бы кого-нибудь ударить, да не может". Данфельд и другие рыцари ордена, хотевшие сперва придать допросу хотя бы подобие торжественного суда, видя, что дело обернулось иначе, тоже поднялись со скамей и смешались с теми, которые окружили Юранда.

Старый Зигфрид из Инсбурга был недоволен этим, но сам комтур сказал ему: "Не хмурьтесь, будет еще потеха получше этой". И они тоже стали разглядывать Юранда, потому что это был редкий случай: ведь кто из рыцарей или кнехтов видел его так близко, тот обычно закрывал после этого глаза навсегда. И потому некоторые говорили: "Здоров. Можно бы обмотать его гороховой соломой и водить по ярмаркам". А некоторые стали громко требовать пива, чтобы этот день стал еще веселее.

И вскоре зазвенели полные кувшины, а темная зала наполнилась запахом текущей из-под крышек пены. Развеселившийся комтур сказал: "Вот и хорошо. Пусть не думает, что его позор – важная вещь". И рыцари снова подходили к Юранду и, толкая его в подбородок, говорили: "Хочется тебе выпить, мазурское рыло?" Некоторые, наливая пива на руку, плескали ему в глаза, а он стоял среди них, оглушенный, осмеянный, и наконец направился к старому Зигфриду. Чувствуя, видимо, что уже не сможет долго выносить этого, стал он кричать так громко, чтобы заглушить господствующий в зале шум:

– Ради Господа Бога и спасения душ ваших, отдайте мне дочь, как вы обещали.

И он хотел схватить руку старого комтура, но тот быстро отошел от него и сказал:

– Прочь, раб! Чего тебе надо?

– Я выпустил из плена Бергова и пришел сам, потому что вы обещали, что за это отдадите мне дочь, которая здесь находится.

– Кто тебе обещал? – спросил Данфельд.

– Во имя чести и веры ты, комтур.

– У тебя нет свидетелей, но свидетели не нужны, когда дело идет о чести и слове.

– О твоей чести! О чести ордена! – вскричал Юранд.

– Тогда твоя дочь будет тебе отдана, – отвечал Данфельд.

Потом он обратился к окружающим и сказал:

– Все, что он встретил здесь, – невинная забава по сравнению с его поступками и злодеяниями. Но так как мы обещали вернуть ему дочь, если он явится к нам и смирится пред нами, то знайте, что слово меченосца должно быть ненарушимо, как слово Божье, и что той девушке, которую мы отбили у разбойников, мы даруем теперь свободу, а после надлежащего покаяния за грехи, совершенные против ордена, позволим и ему возвратиться домой.

Некоторых удивила эта речь, потому что, зная Данфельда и его старинные счеты с Юрандом, они не ожидали от него такого благородства. И вот старый Зигфрид, а вместе с ним Ротгер и брат Годфрид стали смотреть на Данфельда, подняв брови от удивления и морща лбы; но тот притворился, что не видит этих вопросительных взглядов, и сказал:

– Дочь твою мы отошлем под стражей, ты же останешься здесь, пока наша стража не возвратится благополучно назад и пока ты не заплатишь выкуп.

Юранд сам был несколько удивлен, ибо уже потерял надежду, чтобы жертва его могла на что-нибудь пригодиться даже Данусе; поэтому он посмотрел на Данфельда почти с благодарностью и ответил:

– Пошли тебе Бог за это, комтур.

– Узнай, каковы рыцари Иисуса Христа, – сказал Данфельд.

Юранд ответил на это:

– Воистину, от него всякое милосердие. Но так как я давно не видал своей дочери, позволь мне увидеть и благословить ее.

– Да, но не иначе, как в присутствии нас всех, чтобы были свидетели нашей верности слову и нашему милосердию.

Сказав это, он велел слугам привести Данусю, а сам подошел к фон Леве и Ротгеру, которые, окружив его, поспешно и оживленно заговорили.

– Я не протестую, хотя у тебя было не такое намерение, – сказал старый Зигфрид.

А горячий, знаменитый своей храбростью и жестокостью Ротгер сказал:

– Как? Ты отпустишь не только девчонку, но и этого адского пса, чтобы он снова начал кусаться?

– Он еще и не так станет кусать тебя! – вскричал Годфрид.

– Ничего... он заплатит выкуп, – небрежно ответил Данфельд.

– Хотя бы он отдал все свое имущество, он в один год награбит вдвое больше.

– Относительно девчонки я не спорю, – повторил Зигфрид, – но от этого волка еще не раз заплачут орденские овечки.

– А наше слово? – спросил, улыбаясь, Данфельд.

– Ты говорил иначе... Данфельд пожал плечами.

– Мало вам было потехи? – спросил он. – Вы хотите еще?

Прочие снова окружили Юранда и Данфельда, сознавая славу, которая благодаря благородному поступку окружала всех рыцарей ордена, стали перед ним похваляться.

– Ну что, верзила, – сказал капитан замковых лучников, – не так поступили бы твои братья, язычники, с нашим христианским рыцарем?

– Ты кровь нашу пил!

– А мы тебе платим за камень хлебом..

Но Юранд уже не обращал внимания ни на гордость, ни на презрение, звучавшие в их словах: сердце его было переполнено и веки влажны. Он думал, что вот через минуту увидит Данусю и что увидит ее воистину по их милости; поэтому он смотрел на говорящих почти с сокрушением и наконец ответил:

– Правда, правда. Был я вам в тягость, но никогда не был предателем.

Вдруг в противоположном конце залы раздалось несколько голосов: "Ведут девчонку", – и тотчас во всей зале воцарилось молчание. Солдаты расступились; никто из них не видал до сих пор дочери Юранда, а большинство, вследствие таинственности, которой Данфельд окружал свои поступки, не знало даже ничего о ее пребывании в замке; но знавшие успели уже шепнуть прочим о чудесной ее красоте. И потому все глаза с необычайным любопытством обратились к дверям, из которых она должна была появиться.

Между тем впереди показался оруженосец, за ним известная всем монахиня, та самая, которая ездила в лесной дворец, а за ней вошла девушка, в белом платье, с распущенными волосами, перевязанными на лбу лентой.

И вдруг по всему залу, как гром, прокатился хохот. Юранд, который в первую минуту кинулся к дочери, вдруг попятился назад и стоял бледный, как полотно, с изумлением глядя на остроконечную голову, синие губы и безумные глаза девочки, которую отдавали ему вместо Дануси.

– Это не моя дочь, – сказал он тревожно.

– Не твоя дочь? – вскричал Данфельд. – Клянусь святым Либорием Падерборнским! Значит, или мы отбили не твою дочь, или какой-нибудь волшебник изменил ее, потому что другой нет в Щитно.

Старый Зигфрид, Ротгер и Годфрид обменялись быстрыми взглядами, полными величайшего восторга перед умом Данфельда, но ни один из них не успел произнести ни слова, потому что Юранд стал восклицать страшным голосом:

– Есть! Есть в Щитно! Я слышал, как она пела, я слышал голос моего ребенка!

В ответ на эти слова Данфельд спокойно обратился к присутствующим и сказал с расстановкой:

– Беру всех вас, стоящих здесь, в свидетели, а в особенности тебя, Зигфрид из Инсбурга, и вас, благочестивые братья Ротгер и Годфрид, что согласно данному слову и обещанию возвращаю эту девушку, о которой побежденные нами разбойники говорили, что она – дочь Юранда из Спыхова. Если же это не она – в том не наша вина, а воля Господа Бога нашего. Он таким образом пожелал передать Юранда в наши руки.

Зигфрид и два младших брата наклонили головы в знак того, что слышат и в случае нужды будут свидетелями. Потом они снова обменялись быстрыми взглядами, потому что это было больше, чем то, на что сами они могли надеяться: захватить Юранда, не отдать ему дочери – и все-таки наружно сдержать обещание... Кто другой смог бы сделать это?

Но Юранд бросился на колени и стал заклинать Данфельда всеми реликвиями Мальборга, а потом прахом его родителей, чтобы тот отдал ему его настоящую дочь и не поступал, как мошенник и предатель, нарушающий клятвы и обещания. В голосе его было столько отчаяния и правдивости, что некоторые стали догадываться о хитрости, а другим приходило в голову, что, быть может, и в самом деле какой-нибудь чародей изменил наружность девушки.

– Бог видит твою измену, – воскликнул Юранд. – Ради язв Спасителя, ради смертного часа твоего молю – отдай мне дочь.

И, встав с колен, он согнувшись направился к Данфельду, как бы намереваясь обнять его ноги, а глаза его сверкали почти безумием, и в голосе его звучало то горе, то тревога, то отчаяние, то угроза. Данфельд слыша, как в присутствии всех его укоряют в предательстве и мошенничестве, начал фыркать; потом гнев, как огонь, пробежал по его лицу, и чтобы окончательно растоптать несчастного, он тоже приблизился к нему и, наклонившись к самому его уху, сквозь стиснутые зубы шепнул:

– Если я и отдам ее – то с моим приплодом...

Но в эту самую минуту Юранд взревел, как бык; обе руки его схватили Данфельда и подняли вверх. По зале пронесся отчаянный крик: "Пощади!" – и тело комтура с такой силой ударилось о каменный пол, что мозг из расколотого черепа обрызгал стоящих поблизости Зигфрида и Ротгера.

Юранд подбежал к стене, у которой стояло оружие, и, схватив большой Двуручный меч, как ураган, бросился на окаменевших от ужаса немцев.

Это были люди, привыкшие к битвам, к резне и крови, но и у них сердца так упали, что даже когда прошел столбняк, они стали отступать и рассыпаться во все стороны, как стадо овец рассыпается перед волком, убивающим одним ударом клыков. Зала огласилась криками ужаса, топотом человеческих ног, звоном опрокинутых кувшинов, воем слуг, ревом медведя, который, вырвавшись из рук шута, стал карабкаться на высокое окно, и отчаянными криками об оружии, о щитах, мечах и арбалетах. Наконец сверкнуло оружие, и несколько десятков лезвий направилось на Юранда; но он, не обращая внимания ни на что, полуобезумев, сам кинулся на них, и началась битва, дикая, неслыханная, более похожая на резню, чем на сражение вооруженных людей. Молодой и горячий брат Годфрид первый преградил Юранду дорогу, но тот быстрым, как молния, взмахом меча снес ему голову вместе с рукой и плечом; потом от руки Юранда пал капитан лучников и эконом замка фон Брахт, потом англичанин Хьюг, который, хоть и не совсем понимал, в чем тут дело, в душе жалел все-таки Юранда и обнажил оружие только после убийства Данфельда. Прочие, видя страшную силу и ярость воина, сбились в кучу, чтобы дать ему соединенный отпор, но это привело к еще большей напасти, потому что Юранд с торчащими дыбом волосами, с обезумевшим взором, весь залитый кровью, разъяренный, забывший все, ломал, рвал и рассекал страшными взмахами меча эту тесную толпу, валя людей на залитый кровью пол, как буря валит кусты и деревья. И вновь наступила страшная паника, во время которой казалось, что этот ужасный мазур один перережет и перебьет всех и что как визгливая свора собак не может без помощи охотника справиться со свирепым кабаном, так и эти вооруженные немцы до такой степени не могут сравниться с его силой и яростью, что борьба с ним есть для них только смерть и погибель.

– Рассыпаться! Окружить его! Сзади ударить! – закричал старый Зигфрид де Лева.

И немцы рассыпались по зале, как рассыпается по полю воробьиная стая, когда сверху на них кидается кривоносый ястреб; но они не могли его окружить, потому что в неистовстве своем он, вместо того чтобы искать места, где бы защищаться, стал гоняться за ними вдоль стен и кого догонял, тот умирал, как пораженный громом. Унижения, отчаяние, обманутая надежда – все превратилось в жажду крови и, казалось, удесятерило его страшную природную силу. Мечом, для того чтобы поднять который сильнейшим из меченосцев требовалось две руки, владел он, как пером, одной рукой. Он не искал жизни, не искал спасения, не искал даже победы – он искал мести и как огонь или как река, которая, прорвав плотину, уничтожает все, что препятствует ее бурному натиску, так и он, страшный, слепой разрушитель, ломал, разбрасывал, топтал, убивал, угашал человеческие жизни.

Они не могли нанести ему удар сзади, потому что сначала не могли его догнать, а потом простые солдаты боялись приблизиться к нему даже сзади, понимая, что если он обернется, то уже никакая человеческая сила не избавит их от смерти. Некоторых охватил совершенный ужас, так как они думали, что обыкновенный человек не мог бы натворить столько ужасов и что им приходится иметь дело с существом, которому помогают какие-то нечеловеческие силы.

Но старый Зигфрид, а с ним брат Ротгер бросились на галерею, шедшую над большими окнами залы, и стали звать других спрятаться там же; те поспешно делали это и уже толкали друг друга на узкой лестнице, желая как можно скорее взобраться наверх и оттуда стрелять в силача, с которым всякая борьба врукопашную оказывалась немыслимой. Наконец последний захлопнул за собой ведущую на хоры

дверь, и Юранд остался внизу один. С галереи слышались крики радости и триумфа, и тотчас в рыцаря полетели тяжелые дубовые скамьи и железные кольца для факелов. Что-то ударило его по голове, над самыми бровями, и лицо его обагрилось кровью. В то же время распахнулись большие входные двери, и вызванные через верхние двери кнехты гурьбой ввалились в залу, вооруженные копьями, алебардами, топорами, арбалетами, кольями, веревками и всяким другим оружием, какое только смогли захватить второпях.

Обезумевший Юранд отер левой рукой кровь с лица, чтобы она не заливала ему глаз, напряг все силы – и бросился на толпу. В зале снова раздались стоны, лязг железа, скрежет зубов и отчаянные голоса избиваемых людей.

II

Вечером в той же самой зале за столом сидели старик Зигфрид де Леве, временно принявший после смерти Данфельда начальство над Щитно, а рядом с ним брат Ротгер, рыцарь де Бергов, бывший пленник Юранда, и двое благородных юношей, которые вскоре должны были надеть белые плащи ордена меченосцев. Зимний ветер выл за окнами, потрясая их свинцовые переплеты, колебал пламя факелов, горящих на железных подставках, и время от времени выбрасывал из камина в залу клубы дыма. Между братьями, хотя они собрались на совет, царило молчание, потому что все ждали слова Зигфрида, а он, облокотившись на стол и сплетя пальцы на седой, опущенной голове, сидел мрачный, с покрытым тенью лицом и с печальными мыслями в голове.

– О чем мы должны совещаться? – спросил наконец брат Ротгер.

Зигфрид поднял голову, взглянул на говорящего и, очнувшись от задумчивости, сказал:

– О нашем несчастье, о том, что скажут магистр и капитул, и о том, чтобы из наших поступков не проистекли неприятности для ордена.

И он опять замолк, но вскоре оглянулся кругом, и ноздри его вздрогнули:

– Здесь еще пахнет кровью...

– Нет, комтур, – отвечал Ротгер, – я велел вымыть пол и покурить серой. Это пахнет серой.

Зигфрид странным взглядом обвел присутствующих и проговорил:

– Помилуй, Господи, душу брата Данфельда и брата Годфрида.

Они поняли, что он призывает милосердие Божье к этим душам и что призывает его потому, что при упоминании о сере вспомнился ему ад; и у всех по телу пробежала дрожь, и все хором ответили:

– Аминь. Аминь. Аминь.

И снова несколько времени слышно было только вой ветра да дребезжание оконных стекол.

– Где тела комтура и брата Годфрида? – спросил старик.

– В часовне: ксендзы поют над ними литии.

– Они уже в гробах?

– В гробах, но у комтура голова закрыта, потому что и череп, и лицо размозжены.

– А где другие трупы? Где раненые?

– Трупы положили на снег, чтобы окоченели, пока успеют сделать гроба, а раненые в госпитале.

Зигфрид опять положил руки на голову:

– И это сделал один человек... Господи, спаси орден, когда придет время великой войны с этим волчьим племенем.

Тогда Ротгер поднял глаза вверх, как бы что-то припоминая, и проговорил:

– Я слышал под Вильной, как войт самбийский говорил своему брату, магистру: "Если ты не предпримешь войны и не истребишь их так, чтобы и имени их не осталось, тогда горе нам и нашему народу".

– Дай Бог такую войну. Дай Бог с ними встретиться, – сказал один из юношей.

Зигфрид долго смотрел на него, точно хотел сказать: "Сегодня ты мог встретиться с одним из них", – но видя маленькую и юную фигуру будущего рыцаря, а может быть, вспомнив, что и сам, несмотря на прославленную свою храбрость, не захотел идти на верную гибель, раздумал делать выговор и спросил:

– Кто из вас видел Юранда?

– Я, – отвечал де Бергов.

– Он жив?

– Жив, лежит в той же сети, которой мы его опутали. Когда он пришел в себя, кнехты хотели добить его, но капеллан не позволил.

– Добивать нельзя. Он человек важный в своей стране, крик поднялся бы отчаянный, – отвечал старик. – Также невозможно будет скрыть то, что произошло, потому что было слишком много свидетелей.

– Что же мы должны говорить и что делать? – спросил Ротгер.

Зигфрид задумался и наконец сказал так:

– Вы, благородный граф де Бергов, поезжайте в Мальборг к магистру. Вы томились в неволе у Юранда, вы – гость ордена, и вам, как гостю, который вовсе не обязан говорить в пользу ордена, скорее поверят. Поэтому говорите, что видели, как Данфельд, отбив у пограничных разбойников какую-то девушку и думая, что это дочь Юранда, дал знать об этом Юранду, который прибыл в Щитно и... что случилось затем, вы знаете сами...

– Простите, благочестивый комтур, – сказал де Бергов. – Тяжел был мне спыховский

плен, и как гость ваш, я бы охотно всегда свидетельствовал в вашу пользу, но для успокоения моей совести скажите мне: не было ли в Щитно настоящей дочери Юранда, и не предательство ли Данфельда довело до безумия ее страшного отца?

Зигфрид де Леве некоторое время колебался ответить; в нем была заложена глубокая ненависть к польскому народу, была заложена жестокость, превышавшая даже жестокость Данфельда, и жадность, когда дело шло о выгодах ордена, но не был он склонен к низким вывертам. Кроме того, величайшим горем его жизни было то, что в последнее время, благодаря распущенности и бесчинствам, дела ордена слагались так, что увертки сделались одним из главнейших и неотвратимых средств для существования ордена. И вот вопрос де Бергова затронул в нем это самое болезненное место души, и лишь после долгого молчания он ответил:

– Данфельд предстал пред Господом, и Господь его судит, а вы, граф, говорите, что вам угодно, если вас спросят о ваших догадках; если же спросят только о том, что вы видели собственными глазами, то говорите, что прежде чем мы опутали взбесившегося Юранда сетью, вы видели на этом полу девять трупов, не считая раненых, и между убитыми трупы Данфельда, брата Годфрида, фон Брахта и Хьюга, а также двоих благородных юношей... Пошли им, Господи, вечный покой, аминь.

– Аминь. Аминь, – повторили будущие рыцари.

– И скажите также, – прибавил Зигфрид, – что Данфельд хотел унять врага ордена, но никто здесь меча против Юранда не обнажал.

– Я скажу только то, что видел своими глазами, – отвечал де Бергов.

– К полуночи будьте в часовне, куда и мы придем помолиться за души умерших, – сказал Зигфрид.

И он протянул де Бергову руку, одновременно в знак признательности и прощения, так как для дальнейшего совещания хотел остаться наедине с братом Ротгером, которого и берег как зеницу ока, как только отец может любить единственного сына. В ордене относительно этой любви делались даже различные предположения, но никто ничего не знал хорошенько, кроме того, что рыцарь, которого Ротгер выдавал за своего отца, жил еще в небольшом своем замке в Германии и никогда от своего сына не отрекался.

После ухода Бергова Зигфрид отослал также и двух юношей, под тем предлогом, что они должны присмотреть за тем, как делаются гробы для убитых Юрандом кнехтов; когда же двери за ними закрылись, он быстро обратился к Ротгеру и сказал:

– Слушай, что я тебе скажу: есть только один способ, чтобы ни одна душа человеческая никогда не узнала, что настоящая дочь Юранда была у нас.

– Сделать это будет нетрудно, – отвечал Ротгер, – потому что о том, что она здесь, не знал никто, кроме Данфельда, Годфрида, нас двоих, да той монахини, которая за ней присматривает. Людей, которые привезли ее из лесного дворца, Данфельд велел напоить и повесить. Среди солдат некоторые кое о чем догадывались, но тех сбита с толку та девочка, и они теперь сами не знают, произошла ли с нашей стороны ошибка, или же какой-то волшебник действительно изменил дочь Юранда.

– Это хорошо, – сказал Зигфрид.

– А я, благородный комтур, думал, что так как Данфельд умер, то не свалить ли всю вину на него...

– И признаться перед всем миром, что мы во время мира и во время переговоров с мазовецким князем похитили от его двора воспитанницу княгини и ее любимую придворную? Нет, этого быть не может... При дворе нас видели вместе с Данфельдом, и великий госпиталит, родственник его, знает, что мы всегда все делали сообща... Если мы обвиним Данфельда, он станет мстить за его память...

– Подумаем, – сказал Ротгер.

– Подумаем и найдем хороший выход, потому что иначе – горе нам. Если отдать дочь Юранда, то она сама скажет, что мы не отбивали ее у разбойников и что похитившие ее люди отвезли ее прямо в Щитно.

– Да.

– Беспокоит меня не только ответственность. Князь пожалуется королю польскому, и их послы не замедлят разгласить при всех дворах о чинимых нами насилиях, о наших предательствах, о наших злодеяниях. Сколько вреда может проистечь из этого для ордена! Сам магистр, если бы только он знал правду, должен бы приказать спрятать эту девочку.

– А разве даже в том случае, если она пропадет, не будут обвинять нас? – спросил Ротгер.

– Нет. Брат Данфельд был человек предусмотрительный. Разве ты не помнишь, что он поставил Юранду условие: не только явиться в Щитно одному, но и написать предварительно князю, что едет выкупать дочь у разбойников и что знает, что у нас ее нет.

– Да, но как же в таком случае мы объясним то, что произошло в Щитно?

– Мы скажем, что, зная, что Юранд ищет дочь, и отбив у разбойников какую-то девушку, которая не могла сказать, кто она, мы дали об этом знать Юранду, полагая, что, может быть, это его дочь; он же, приехав сюда, при виде этой девушки впал в неистовство и, одержимый злым духом, пролил столько невинной крови, что даже многие битвы обходятся дешевле.

– Воистину, – отвечал Ротгер, – устами вашими глаголет мудрость и опытность, присущие вашему возрасту. Дурные поступки Данфельда, даже если бы мы свалили вину на него, во всяком случае были бы зачтены на счет ордена, то есть насчет всех нас, капитула и самого магистра. Кроме того, и таким образом обнаружится наша невинность, а вся вина падет на Юранда, на польскую злобу и на их сношения с адскими силами.

– И пусть тогда нас судит кто хочет: папа ли, император ли римский.

– Да.

Настало молчание, потом брат Ротгер спросил:

– Так что же мы сделаем с дочерью Юранда?

– Давай подумаем.

– Отдайте ее мне.

Зигфрид посмотрел на него и ответил:

– Нет. Слушай, молодой брат. Когда дело касается ордена, не давайте поблажек ни мужчине, ни женщине, но не давайте их и себе. Данфельда коснулась рука Господня, потому что он не только хотел отомстить за обиды, нанесенные ордену, но и угодить своим собственным низменным страстям.

– Вы плохо обо мне судите, – сказал Ротгер.

– Не распускайте себя, – перебил его Зигфрид, – потому что расслабятся в ордене тела и души, и колено этого упрямого народа когда-нибудь сдавит грудь вашу так, что вы уже не подниметесь.

И в третий раз положил он угрюмую голову на руки, но говорил, видно, только со своей совестью и думал лишь о себе самом, потому что после некоторого молчания сказал:

– Много и на моей совести лежит человеческой крови, много горя, много слез... И я, когда дело касалось ордена и когда я видел, что одной силой ничего не добьюсь, не задумываясь, искал иных путей; но когда я предстану пред Господом Богом, которого чту и люблю, я скажу Ему: "Это сделал я ради ордена, а для себя выбрал только страдание".

И он сжал руками виски, а голову и глаза поднял кверху и воскликнул:

– Отрекитесь от страстей и пороков, закалите тела и сердца ваши, ибо вижу в воздухе белые орлиные крылья и орлиные когти, красные от крови меченосцев...

Дальнейшие слова его были прерваны таким порывом ветра, что одно окно вверху над галереей распахнулось с грохотом, и вся зала наполнилась воем и свистом вьюги и хлопьями снега.

– Во имя Отца и Сына. Недобрая ночь, – сказал старый меченосец.

– Ночь нечистых сил, – отвечал Ротгер.

– А есть ксендзы возле тела Данфельда?

– Есть.

– Господи, прости прегрешения его.

И оба замолкли; потом Ротгер позвал слуг, велел им закрыть окно и зажечь факелы, а когда они удалились, снова спросил:

– Что вы сделаете с дочерью Юранда? Возьмете ее отсюда в Инсбург?

– Возьму ее в Инсбург и сделаю с ней то, чего потребует благо ордена.

– А что я должен делать?

– Есть ли у тебя в душе смелость?

– Что же я такое сделал, что вы спрашиваете у меня об этом?

– Я не сомневаюсь, потому что знаю тебя, и за твою смелость люблю тебя больше, чем кого бы то ни было на свете. В таком случае поезжай ко двору мазовецкого князя и расскажи ему все, что здесь произошло, так, как мы порешили рассказывать.

– Могу ли я идти на верную гибель?

– Если твоя гибель послужит к славе ордена, то ты обязан. Но нет. Гибель тебя не ждет. Они не причиняют вреда гостям: разве только, если кто-нибудь захочет вызвать тебя на поединок, как сделал тот молодой рыцарь, который вызвал нас всех... Он, а может быть кто-нибудь другой, но ведь это не страшно...

– Дай бог, чтобы так, но меня могут схватить и бросить в подземелье.

– Этого они не сделают. Помни, что существует письмо Юранда к князю, а кроме того, ты поедешь с жалобой на Юранда. Ты расскажешь, что сделал он в Щитно, и они должны поверить тебе... Итак, мы первые дали ему знать, что есть какая-то девушка, первые пригласили его приехать и посмотреть ее, а он приехал, лишился ума, убил комтура и перебил солдат. Так ты будешь говорить, а что ж они могут сказать тебе на это? Конечно, весть о смерти Дан-фельда распространится по всей Мазовии. Тогда все жалобы будут брошены. Конечно, они будут искать дочь Юранда, но раз сам Юранд написал, что она не у нас, то и не на нас падет подозрение. Нужно вооружиться храбростью и заткнуть им глотки, потому что во всяком случае они подумают, что, если бы мы были виноваты, никто из нас не осмелился бы приехать.

– Верно. Тотчас же после похорон Данфельда я отправлюсь.

– Да благословит тебя Господь, сынок. Если мы сделаем все, как следует, тебя не только не задержат, но и сами должны будут отречься от Юранда, чтобы мы не могли сказать: вот как они с нами поступают.

– И так надо говорить при всех дворах.

– Великий госпиталит последит за этим и ради блага ордена, и как родственник Данфельда.

– Да, но если этот спыховский дьявол останется жив и получит свободу... Зигфрид мрачно посмотрел куда-то вдаль, а потом медленно и с расстановкой ответил:

– Если даже он получит свободу, то все-таки никогда не произнесет ни слова жалобы на орден.

И он стал еще учить Ротгера, что тот должен говорить и чего добиваться при мазовецком дворе.

III

Однако известие о событии в Щитно пришло в Варшаву раньше прибытия брата Ротгера

и вызвало там удивление и тревогу. Ни сам князь, ни кто-либо из придворных не могли понять, что произошло. Незадолго перед тем, когда Миколай из Длуголяса должен был ехать в Мальборг с княжеским письмом, в котором тот горько жаловался на похищение пограничными комтурами Дануси и почти с угрозами требовал немедленного ее возвращения, пришло письмо от спыховского рыцаря; в письме заключалось известие, что дочь его захвачена не меченосцами, а обыкновенными пограничными разбойниками, и что вскоре она будет за выкуп освобождена. Вследствие этого посол не поехал, потому что никому даже в голову не пришло, что меченосцы потребовали такого письма от Юранда под угрозой смерти его ребенка. И так трудно было понять, что произошло, потому что пограничные бродяги, как из подданных князя, так и из подданных ордена, нападали друг на друга летом, а не зимой, когда снег выдавал их следы. Нападали они обычно на купцов или решались на грабежи, хватая в деревушках людей и угоняя их стада; но чтобы они осмелились задеть самого князя и украсть его воспитанницу, к тому же дочь могущественного и возбуждающего всюду страх рыцаря, – это казалось просто невероятным. Но на это, как и на другие сомнения ответом было письмо Юранда с его собственной печатью, привезенное на этот раз человеком, о котором было известно, что он из Спыхова; ввиду этого всякие подозрения делались невозможными; князь только впал в гнев, в каком его давно не видывали, и приказал преследовать разбойников по всей границе своего княжества, предложив в то же время плочкому князю сделать то же самое и так же не скупиться на наказания для дерзких похитителей.

Как раз в это время пришло известие о том, что произошло в Щитно.

Переходя из уст в уста, известие это пришло преувеличенное в десять раз. Рассказывали, что Юранд, прибыв в замок с пятью слугами, ворвался в открытые ворота и произвел там такую резню, что из гарнизона мало кто остался в живых, что пришлось посылать за помощью в ближайшие замки, созывать рыцарей и вооруженные отряды пехотинцев, которые только после двух дней осады смогли снова ворваться в замок и там усмирить Юранда и его товарищей. Говорили также, что войска эти теперь перейдут границу и что большая война начнется теперь неизбежно. Князь, знавший, как много для великого магистра значит, чтобы в случае войны с королем польским силы обоих мазовецких княжеств остались в стороне, не верил этим слухам, потому что для него не было тайной, что если бы меченосцы начали войну с ним или с Земовитом плочким, то никакая человеческая сила не удержит поляков, а этой-то войны и боялся магистр. Он знал, что такая война должна наступить, но хотел оттянуть ее, во-первых, потому, что был миролюбив, а во-вторых, потому, что для того, чтобы померяться силами с Ягеллой, надо было приготовить такое войско, какого до сих пор орден никогда не выставял, и в то же время обеспечить себе помощь князей и рыцарей не только в Германии, но и на всем Западе.

Поэтому князь не боялся войны, но хотел знать, что случилось, что ему думать о происшествии в Щитно, об исчезновении Дануси и обо всех слухах, которые приходили с границы; поэтому, хоть он и не выносил меченосцев, он все же обрадовался, когда однажды вечером капитан лучников доложил ему, что приехал рыцарь из ордена и просит его выслушать.

Но князь принял его надменно, и хотя сразу узнал, что это один из братьев, бывших в лесном дворце, все же сделал вид, что не помнит его, и спросил, кто он, откуда и что привело его в Варшаву.

– Я брат Ротгер, – отвечал меченосец, – и недавно имел честь склониться к коленам вашей княжеской милости.

– Почему же, будучи меченосцем, ты не носишь знаков ордена? Рыцарь стал объяснять, что белого плаща он не надел только потому, что если бы сделал это, то непременно был бы взят в плен или убит мазовецкими рыцарями: везде, во всем мире, во всех королевствах и княжествах крест на плаще охраняет, вызывает в людях расположение и гостеприимство, и только в одном княжестве Мазовецком крест обрекает человека на верную гибель. Но князь гневно перебил его.

– Не крест, – сказал он, – ибо крест целуем и мы, а ваша подлость... А если вас где-нибудь принимают лучше, так это лишь потому, что меньше вас знают.

И видя, что рыцарь весьма обижен этими словами, князь спросил:

– Ты был в Щитно и знаешь, что там произошло?

– Я был в Щитно и знаю, что там произошло, – отвечал Ротгер, – и прибыл сюда не как чей-либо посол, а только потому, что благочестивый и мудрый комтур из Инсбурга сказал мне: магистр наш любит благочестивого князя и надеется на его справедливость; поэтому я поспешу в Мальборг, а ты поезжай в Мазовию и изложи нашу жалобу, наш позор, наше горе. Конечно, не похвалит справедливый князь нарушителя мира и злого обидчика, пролившего столько христианской крови, что кажется, будто он слуга дьявола, а не Христа.

И Ротгер стал рассказывать все, что случилось в Щитно: как Юранд, ими самими приглашенный посмотреть, не его ли дочь – отбитая у разбойников девушка, – вместо того, чтобы отплатить благодарностью, пришел в ярость; как он убил Данфельда, брата Годфрида, англичанина Хьюга, фон Брахта и двоих благородных оруженосцев, не говоря уже о кнехтах, как они, памятуя заповеди Господни и не желая убивать, принуждены были сетью поймать страшного воина, который тогда поднял оружие на самого себя и ранил себя ужасно; как наконец не только в замке, но и в городе нашлись люди, которые ночью, во время вьюги, слышали после битвы страшный хохот и голоса, взывавшие в воздухе: "Юранд наш, оскорбитель креста, проливающий невинную кровь. Наш Юранд".

Весь рассказ, а особенно последние слова меченосца произвели большое впечатление на присутствующих. Их прямо-таки охватил страх, не призвал ли Юранд на помощь нечистую силу, и воцарилось глухое молчание. Но княгиня, присутствовавшая на приеме Ротгера и из любви к Данусе таившая в сердце неутолимую скорбь по ней, обратилась к меченосцу с неожиданным вопросом.

– Вы говорите, рыцарь, – сказала она, – что, отбив девочку у разбойников, вы думали, что это дочь Юранда, и потому вызвали его в Щитно?

– Да, милостивая госпожа, – отвечал Ротгер.

– А как же вы могли это думать, если в лесном дворце видели при мне настоящую дочь его?

Брат Ротгер смутился, потому что не был подготовлен к этому вопросу. Князь встал и вперил строгий взор в меченосца, а Миколай из Длуголяса, Мрокота из Моцажева, Ясько из Ягельницы и другие мазовецкие рыцари тотчас подскочили к монаху и стали наперебой спрашивать грозными голосами:

– Как же вы могли это думать? Говори, немец! Как это могло быть? Брат Ротгер

овладел собой и сказал:

– Мы, монахи, не поднимаем взоров на женщин. В лесном дворце при милосердной княгине было много придворных девушек, но которая из них была дочь Юранда, этого никто из нас не знал.

– Данфельд знал, – отвечал Миколай из Длуголяса. – Он говорил с ней даже на охоте.

– Данфельд предстал пред Господом, – возразил Ротгер, – и я скажу о нем только то, что на гробе его на другой день найдены были расцветшие розы, которых, так как дело было зимой, не могла положить человеческая рука.

Опять настало молчание.

– Откуда вы знали о похищении дочери Юранда? – спросил князь.

– Сама нечестивость и дерзость этого поступка сделала его известным и здесь, и у нас. И потому, узнав об этом, мы отслужили благодарственный молебен за то, что из лесного дворца была похищена просто придворная девушка, а не кто-либо из родных детей ваших.

– Но все-таки мне странно, что вы могли идиотку счесть дочерью Юранда.

Брат Ротгер ответил на это:

– Данфельд говорил так: "Дьявол часто обманывает своих слуг: может быть, он подменил дочь Юранда".

– Но ведь разбойники, как простые люди, не могли подделать письмо Калеба и печати Юранда. Кто же мог сделать это?

– Злой дух.

И снова никто не мог найти ответа.

А Ротгер стал пристально смотреть в глаза князю и сказал:

– Воистину, вопросы эти впиваются в мою грудь, как мечи, ибо в них таится осуждение и подозрение. Но уповая на справедливость Бога и на силу правды, спрашиваю вашу княжескую милость: обвинял ли сам Юранд в этом поступке, а если обвинял, то почему, прежде чем мы вызвали его в Щитно, он по всей пограничной местности разыскивал разбойников, чтобы выкупить у них свою дочь?

– Верно... – сказал князь. – Можно что-нибудь скрыть от людей, но от Бога не скроешь. В первую минуту он обвинял вас, но потом... потом он думал иначе.

– Вот как свет правды побеждает мрак, – сказал Ротгер.

И он обвел залу торжествующим взглядом, потому что подумал, что в головах меченосцев больше изворотливости и ума, чем в головах поляков, и что этот народ всегда будет добычей и поживой ордена, как муха бывает добычей и пищей паука.

И, бросив недавнюю мягкость, он подошел к князю и заговорил громко и

настоятельно:

– Вознагради нас, государь, за наши потери, за наши обиды, за наши слезы и нашу кровь. Этот слуга сатаны был твоим подданным, и потому во имя Бога, чьей милостью господствуют короли и князья, во имя справедливости и креста, вознагради нас за наши обиды и кровь.

Но князь посмотрел на него с изумлением.

– Клянусь Богом, – сказал он, – чего же ты хочешь? Если Юранд в порыве безумия пролил вашу кровь, то неужели я должен отвечать за безумцев?

– Государь, он был твоим подданным, – сказал меченосец, – в твоём княжестве находятся его земли, его деревни и его замок, в котором томил он в плену слуг ордена, пусть же хотя бы это имущество, пусть хотя бы эти земли и этот безбожный замок станут отныне собственностью ордена. Поистине, это не будет большою платой за благородную кровь, им пролитую. Она не воскресит умерших, но, быть может, хоть сколько-нибудь успокоит гнев Божий и загладит позор, который в противном случае падет на все твоё княжество. О, государь! Орден всюду владеет землями и замками, которые даровали им милость и благочестие христианских государей, и только здесь нет ни пяди земли, находящейся в обладании ордена. Пусть же нанесённая нам обида, взывающая к Богу о мщении, будет вознаграждена хоть так, чтобы мы могли сказать, что и здесь живут люди, у которых в сердцах есть страх Божий.

Услыхав это, князь удивился ещё больше и лишь после долгого молчания ответил:

– Боже мой... Да по чьей же милости, как не по милости моих предков, сидит здесь ваш орден? Неужели вам мало земель и городов, которые некогда принадлежали нам и нашему народу и которые ныне принадлежат вам? Да ведь ещё жива дочь Юранда, потому что никто не извещал вас о её смерти, а вы уже хотите отнять у сироты её приданое и сиротским добром вознаградить себя за обиду?

– Государь, ты признаешь обиду, – сказал Ротгер. – Вознагради же за нее так, как повелевают тебе твоя княжеская совесть и твоя справедливая душа.

И снова он рад был в душе, потому что думал: "Теперь они не только не будут жаловаться, но ещё будут думать, как бы самим умыть руки и выкрутиться из этой истории. Никто уже ни в чём не упрекнет нас, и слава наша будет, как белый плащ ордена, незапятнанна".

Вдруг неожиданно раздался голос старого Миколая из Длуголяса:

– Вас обвиняют в жадности – и бог знает, может быть, справедливо, потому что и в этом деле вы больше заботитесь о выгодах, чем о чести ордена.

– Верно, – хором ответили мазовецкие рыцари.

А меченосец сделал несколько шагов вперед, гордо закинул голову и, смерив их надменным взглядом, ответил:

– Я прибыл сюда не как посол, а лишь как свидетель случившегося и как рыцарь ордена, честь которого готов отстаивать до последнего своего дыхания... Кто отныне осмелится, несмотря на то, что говорил сам Юранд, попрекать орден участием в

похищении этой девушки, пусть поднимет этот рыцарский залог и поручит себя суду Божьему.

Сказав это, он бросил перед ними рыцарскую перчатку, которая упала на пол; рыцари стояли в глухом молчании, потому что хоть и многие подняли бы ее охотно, все-таки боялись они суда Божьего. Ни от кого не было тайной, что Юранд определенно объявил, что не рыцари ордена похитили у него дочь, и потому каждый думал, что справедливость на стороне Ротгера, а следовательно, на его стороне будет и победа.

Но тот осмелел еще больше и спросил, подбоченившись:

– Найдется ли здесь такой, кто поднял бы эту перчатку?

Вдруг один рыцарь, появления которого перед тем никто не заметил и который с некоторого времени слушал разговор, стоя в дверях, вышел на середину, поднял перчатку и проговорил:

– Найдется. Это я.

И сказав это, он бросил свою перчатку прямо в лицо Ротгера, а потом заговорил голосом, который среди общего молчания пронесся по зале, как гром:

– Перед Богом, перед высокочтимым князем и перед всем благородным рыцарством этой страны говорю тебе, меченосец, что ты, как пес, лаешь на справедливость и истину, и вызываю тебя на бой конный или пеший, на копьях, на топорах, на коротких или длинных мечах – и не на рабство, а до последнего издыхания – на смерть.

В зале можно было слышать полет мухи. Все взоры обратились на Ротгера и на бросающего вызов рыцаря, которого никто не узнал, потому что на голове у него был шлем, правда, без забрала, но с железной сеткой, которая спускалась ниже ушей и совершенно закрывала всю голову и верхнюю часть лица, а на нижнюю бросала густую тень. Меченосец был удивлен не менее других. Смущение, бледность и бешеный гнев мелькнули в его лице, как молния в ночном небе. Он схватил рукой лосиную перчатку, которая, скользя по его лицу, зацепилась и повисла на шипе поручи, и спросил:

– Кто ты, призывающий справедливость Божью?

Тот отстегнул пряжку у подбородка, снял шлем, из-под которого появилась белокурая молодая голова, и сказал:

– Збышко из Богданца, муж дочери Юранда.

Все удивились, и Ротгер вместе с прочими, потому что никто из них, кроме князя, княгини, отца Вышонка и де Лорша не знал о свадьбе Дануси, а меченосцы были уверены, что, кроме отца, у дочери Юранда нет прямого защитника; но в эту минуту рыцарь де Лорш вышел вперед и сказал:

– Я рыцарской честью своей свидетельствую, что слова его истинны; если же кто осмелится сомневаться – то вот моя перчатка.

Ротгер, не знавший, что такое страх и сердце которого кипело в эту минуту, может

быть, поднял бы и эту перчатку, но, вспомнив, что бросивший ее – могущественный вельможа и, кроме того, родственник графа Гельдернского, удержался; сделал он это еще и потому, что сам князь встал и сказал, нахмутив брови:

– Этой перчатки нельзя поднимать, потому что и я подтверждаю, что этот рыцарь сказал правду.

Услыхав это, меченосец поклонился и сказал Збышке:

– Если ты согласен, то в пешем бою, на отмеренном месте и на топорах.

– Я первый вызвал тебя, – отвечал Збышко.

– Боже, даруй победу правому! – воскликнули мазовецкие рыцари.

IV

За Збышку тревожился весь двор, как рыцари, так и женщины, потому что все любили его, а между тем, судя по письму Юранда, никто не сомневался, что правда на стороне меченосца. С другой стороны, было известно, что Ротгер – один из славнейших братьев в ордене. Оруженосец ван Крист рассказывал, быть может умышленно, мазовецким шляхтичам, что господин его, прежде чем стать монахом-рыцарем, однажды сидел за почетным столом меченосцев, а к столу этому допускались только знаменитые по всему свету рыцари, такие, которые совершили поход в Святую землю или побеждали великанов, драконов или могущественных волшебников. Слушая такие рассказы ван Криста и его хвастливые уверения, что господин его не раз бился, держа в одной руке мизерикордию, а в другой – топор или меч, иногда даже с целыми пятью противниками, мазуры беспокоились, а некоторые говорили: "Эх, кабы здесь был Юранд, он справился бы и с двумя: от него ни один немец не уходил, но мальчику плохо будет. Тот и старше, и сильнее, и опытнее". Поэтому многие жалели, что не подняли перчатки, говоря, что, если бы не письмо Юранда, они непременно сделали бы это... "Но страшно суда Божьего..." По этому случаю и для взаимного удовольствия назывались имена мазовецких и вообще польских рыцарей, которые, как на придворных турнирах, так и в поединках, одерживали многочисленные победы над западными рыцарями, особенно же Завиша из Гарбова, с которым не мог сравниться ни один христианский рыцарь. Но были и такие, которые относительно Збышки питали добрые надежды. "Он – не калека какой-нибудь, – говорили они, – и как мы слыхали, однажды уже порядком поколотил немцев на утопанной земле". Но в особенности всех ободрил поступок Збышкова оруженосца, чеха Главы: накануне поединка, слушая рассказы ван Криста о неслыханных победах Ротгера и будучи человеком вспыльчивым, он схватил этого ван Криста за бороду, запрокинул ему голову и сказал: "Если тебе не стыдно врать перед людьми, то посмотри вверх, ведь тебя и Бог слышит". И он держал его в этом положении столько времени, сколько нужно, чтобы сказать "Отче наш"; ван Крист, получив наконец свободу, стал расспрашивать о его роде и, узнав, что тот происходит от владетельных предков, вызвал его тоже на бой на топорах.

Мазуры были довольны этим поступком, и некоторые стали говорить: "Такие не станут хромать на поединке, и если только правда и Бог на их стороне, не уйти меченосцам целыми". Но Ротгер до такой степени сумел пустить всем пыль в глаза, что многие беспокоились о том, на чьей стороне правда, и сам князь разделял это беспокойство.

И вот вечером накануне поединка он призвал Збышку на разговор, который велся в присутствии одной княгини, и спросил:

– Ты уверен, что Бог будет на твоей стороне? Откуда ты знаешь, что они похитили Данусю? Разве Юранд говорил это тебе? Вот видишь, письмо Юранда: рука ксендза Калеба, а печать Юранда; в этом письме он пишет, будто знает, что это не меченосцы. Что он тебе говорил?

– Говорил, что это не меченосцы.

– Как же в таком случае ты можешь рисковать жизнью и выходить на суд Божий?

Збышко замолчал, только челюсть у него дрожала, а из глаз катились слезы.

– Я ничего не знаю, милосердный государь, – сказал он. – Уехали мы отсюда вместе с Юрандом, и по дороге я признался ему, что мы поженились. Он стал говорить, что это могло разгневать Господа, но когда я сказал ему, что такова была воля Божья, он успокоился и простил. Всю дорогу он говорил, что Данусю похитил не кто другой, как меченосцы, а потом я и сам не знаю, что случилось... В Спыхов приехала та самая женщина, которая привозила для меня какие-то лекарства в лесной дворец, а с ней еще один посланный. Они заперлись с Юрандом и совещались. Что они говорили, я тоже не знаю, только после этого разговора собственные слуги не могли узнать Юранда, потому что он был похож на мертвеца. Он нам сказал: "Это не меченосцы", но, бог знает почему, отпустил на волю де Бергова и всех пленников, а сам уехал, не взяв ни оруженосца, ни слуги... Он говорил, что едет к разбойникам, выкупать Данусю, а мне велел ждать. Ну вот я и ждал. Вдруг приходит из Щитно весть, что Юранд перебил немцев и сам убит. О, милосердный государь! Не мог я уже усидеть в Спыхове, чуть с ума не сошел. Посадил я людей на коней, чтобы отомстить за смерть Юранда, как вдруг ксендз Калев мне говорит: "Крепости тебе не взять, войны не начинай. Приезжай к князю, может быть, там знают что-нибудь о Данусе". Я и поехал, и попал как раз, когда этот пес брехал о нанесенной меченосцам обиде и о безумстве Юранда... Я, государь, поднял его перчатку, потому что уже раньше вызвал его, хотя не знаю ничего, кроме того, что они лжецы, без совести, без чести, без веры. Поглядите, милосердный князь. Ведь это же они зарезали де Фурси, а хотели взвалить это преступление на моего оруженосца. Богом клянусь, они зарезали его, как вола, а потом пришли к тебе, государь, требовать мести и удовлетворения. Кто же в таком случае поклянется, что они не нагали и прежде, Юранду, и теперь, тебе самому?... Я не знаю, не знаю, где Дануся, но вызвал его, потому что, если даже придется мне лишиться жизни, я предпочитаю смерть, нежели жизнь без возлюбленной, которая мне дороже всего на свете.

Сказав это, он в волнении сорвал с головы сетку, и волосы рассыпались по его плечам; он вцепился в них и стал громко рыдать. Княгиня Анна Данута, сама до глубины души потрясенная потерей Дануси, сочувствуя ему, положила руку на его голову и сказала:

– Господь да поможет, утешит и благословит тебя.

V

Князь не воспротивился поединку, да и не в состоянии был, по тогдашним обычаям, этого сделать. Он только потребовал, чтобы Ротгер написал письмо магистру и Зигфриду де Леве, что сам бросил первый перчатку мазовецким рыцарям, вследствие чего и выходит на бой с мужем дочери Юранда, который, впрочем, уже раньше вызвал его. Меченосец пояснил при этом великому магистру, что если выходит на бой без разрешения, то лишь потому, что дело идет о чести ордена, об отвращении гнусных

подозрений, которые могли бы опозорить орден и которые он, Ротгер, всегда готов искупить собственной кровью. Письмо это тотчас было послано к границе с одним из слуг рыцаря, а затем должно было отправиться в Мальборг почтой, которую меченосцы, на много лет раньше других государств, изобрели и завели в своих владениях.

Между тем на дворе замка утоптали снег и посыпали его пеплом, чтобы ноги не скользили по гладкой поверхности. Во всем замке царило необычайное оживление. Волнение до такой степени охватило рыцарей и придворных девушек, что в ночь, предшествовавшую битве, никто не спал. Люди говорили, что конный поединок на копьях или даже на мечах часто кончается только ранами, но пеший бой, особенно на страшных топорах, всегда бывает смертельным. Все сердца были на стороне Збышки, но чем больше кто был расположен к нему или к Данусе, с тем большей тревогой вспоминал он рассказы о славе и ловкости меченосца. Многие женщины провели ночь в часовне, где, исповедавшись у ксендза Вышонка, каялся Збышко. И смотря на его почти детское лицо, они говорили друг другу: "Ведь это же еще ребенок... Можно ли подставлять его голову под немецкий топор?" И тем истовее молились они о ниспослании ему помощи. Но когда на рассвете он встал и прошел по часовне, чтобы надеть в своей комнате оружие, сердца их снова наполнились надеждой, потому что лицо у Збышки, действительно, было детское, но тело необычайно рослое и сильное, так что он показался им здоровым мужчиной, который справится с самым сильным противником.

Поединок должен был произойти на дворе замка, окруженном галереей.

Когда совсем рассвело, князь и княгиня с детьми пришли туда и сели между столбами, в том месте, откуда лучше всего виден был весь двор. Возле них заняли места высшие придворные, благородные дамы и рыцари. Все закоулки галереи наполнились людьми; челядь разместилась за валом, сделанным из сметенного снега; некоторые взобрались на выступы окон и даже на крышу. Там простые люди говорили между собой: "Дай Бог нашему не оплошать".

День был холодный, сырой, но светлый; в воздухе носились стаи галок, гнездившихся на крышах и на верхушках башен; спугнутые необычным движением, они с громким шумом крыльев носились над замком. Несмотря на мороз, люди потели от волнения, а когда раздался первый сигнал трубы, обозначающий появление противников, все сердца застучали как молоты.

Они же вышли с противоположных концов площадки и остановились на краю. Тогда каждый из зрителей затаил в груди дыхание, каждый подумал, что вот скоро две души полетят на суд Господа и два трупа останутся на снегу; губы и щеки женщин побледнели и посинели при мысли этой, а глаза мужчин, как на радугу, были устремлены на противников, ибо каждому хотелось по одной только фигуре и по оружию их отгадать, на чьей стороне будет победа.

На меченосце был голубой, покрытый эмалью, панцирь, такие же набедренники и такой же шлем с поднятым забралом и с великолепным пучком павлиньих перьев на гребне. Грудь, бока и спину Збышки покрывала богатая миланская броня, которую он когда-то отбил у фризов. На голове у него был шлем, открытый и без перьев, на ногах кожаные сапоги. На левых руках у обоих были щиты с гербами: у меченосца сверху была изображена шашечница, а снизу три льва, стоящие на задних лапах, у Збышки – "тупая подкова". В правой руке держали они по страшному широкому топору, насажденному на дубовые, почерневшие топорища, превосходящие длиной руку взрослого мужчины. При них находились оруженосцы: Глава, которого Збышко звал

Гловачем, и ван Крист, оба в черных железных латах, оба также с топорами и щитами; в гербе у ван Криста был куст дрока, а герб чеха был похож на Помяна, с той только разницей, что вместо топора в бычачьей голове торчал короткий меч, до половины вонзенный в глаз. Труба прозвучала в другой раз, а после третьего, согласно уговору, противники должны были наступать друг на друга. Теперь разделяла их лишь небольшая усыпанная серым пеплом площадка, а над площадкой этой, точно зловещая птица, витала смерть. Но прежде чем подан был третий знак, Ротгер подошел к столбам, между которыми сидели князь и княгиня, поднял закованную в сталь голову и произнес таким громким голосом, что его услышали во всех концах галереи:

– Призываю в свидетели Бога, тебя, благородный государь, и все рыцарство этой земли, что я неповинен в той крови, которая будет пролита.

В ответ на эти слова снова всех охватил страх, что меченосец так уверен в себе и в своей победе. Но Збышко, душа у которого была простая, обратился к своему чеху и проговорил:

– Противна мне эта похвальба меченосца, потому что она больше годилась бы после моей смерти, чем пока я жив. Но у этого хвастуна на лбу павлиньи перья, а я обещал сперва достать три таких пучка, а потом – столько, сколько на руках пальцев. Послал Бог.

– Господин... – спросил Глава, нагибаясь и беря горсть пеплу со снегом, чтобы топорище не скользило в руках, – может быть, даст бог, я скоро справлюсь с этим прусским красавцем; можно ли мне будет тогда, если не напасть на меченосца, то, по крайней мере, просунуть топорище ему между ног и повалить его на землю?

– Упаси тебя Бог! – вскричал Збышко поспешно. – Ты покроешь позором и меня, и себя.

Вдруг в третий раз прозвучала труба. Услышав ее, оруженосцы проворно и яростно бросились друг на друга, рыцари же медленнее и спокойнее двинулись навстречу друг другу, как повелевало им их звание и достоинство.

Мало кто обращал внимание на оруженосцев, но те из опытных воинов и слуг, которые на них смотрели, сразу поняли, что на стороне Главы огромное преимущество. Топор тяжелее ходил в руке немца, и в то же время движения его щита были медленнее. Из-под щита виднелись его ноги, более длинные, но и более слабые и менее упругие, чем здоровые, обтянутые тесной одеждой ноги чеха. Глава нападал так запальчиво, что ван Крист чуть ли не с первой минуты принужден был отступить. Все сразу поняли, что один из этих противников налетел на другого, как буря, что он наступает, подходит, разит, как гром, другой же, предчувствуя смерть, только защищается, чтобы как можно больше отсрочить страшную минуту. Так и было в действительности. Хвастун этот, выходящий на бой только тогда, когда иначе поступить было нельзя, понял, что заносчивые и неосторожные слова привели его к бою со страшным силачом, которого ему следовало избегать, как верной гибели; и потому теперь, когда он почувствовал, что каждый из этих ударов мог бы свалить вола, сердце его окончательно упало. Он почти забыл, что мало отражать удары щитом, но что надо наносить их самому. Он видел над собой сверкающий топор и думал, что каждый из его взмахов – последний. Подставляя щит, он невольно зажмурился, боясь и не зная, откроет ли их еще раз. Изредка сам он наносил удары, но не надеясь, что достанет противника, и только все выше подымал щит над головой, чтобы еще и еще защитить ее.

Наконец он стал уставать, а чех рубил все сильнее. Как от большой сосны под ударами мужика летят огромные щепки, так под ударами чеха стали отламываться и падать железные пластинки с лат немецкого оруженосца. Верхний край его щита погнулся и растрескался, правый наплечник вместе с перерезанным и уже окровавленным ремнем упал на землю. У ван Криста на голове стали дыбом волосы, и его охватил смертельный ужас. Он еще раза два изо всех сил ударил по щиту чеха, но, наконец видя, что против страшной силы противника ему нет спасения и что спасти его может только какое-нибудь сверхъестественное усилие, он вдруг всей тяжестью своего тела и оружия бросился чеху под ноги.

Оба упали на землю и боролись, катаясь по снегу. Но чех вскоре очутился сверху, еще несколько времени старался сдержать отчаянные движения противника, но, наконец, придавил коленом железную сетку, покрывавшую его живот, и вынул из-за пояса короткую трехгранную мизерикордию.

– Пощади! – тихо прошептал ван Крист, смотря в глаза чеха.

Но тот вместо ответа лег на него, чтобы легче было достать рукой до его шеи, и, перерезав ремень, придерживавший шлем, дважды ударил несчастного по горлу, направляя острие вниз, к середине груди.

Тогда глаза ван Криста провалились в глубь черепа, руки и ноги затрепетали по снегу, точно желая счистить с него пепел, но через минуту он вытянулся, и уже лежал неподвижно, вытянув вперед покрытые красной пеной губы и истекая кровью.

А чех встал, вытер о платье немца мизерикордию, потом поднял топор и, опершись на него, стал смотреть на тяжелый и упорный бой своего рыцаря с братом Ротгером.

Западные рыцари уже привыкли к удобствам и роскоши, в то время как малопольские, великопольские и мазовецкие дворяне вели еще жизнь суровую и тяжелую; поэтому даже в чужих и нерасположенных к ним людях они возбуждали удивление крепостью тел и выносливостью. Оказалось и теперь, что Збышко превосходит меченосца силой рук и ног не менее, чем его оруженосец превосходил ван Криста; но оказалось также, что по молодости лет он уступает Ротгеру в рыцарской опытности.

Збышке в известной степени благоприятствовало то, что он выбрал бой на топорах; фехтование этим оружием было невозможно. В бою на коротких или длинных мечах, при котором надо знать все удары и выпады и уметь отражать их, на стороне немца был бы значительный перевес. Но и теперь как сам Збышко, так и зрители по движениям его щита поняли, что перед ними – опытный и страшный боец, видимо, не в первый раз выступающий на такой поединок. При каждом ударе Збышки Ротгер подставлял щит и в момент удара слегка отступал назад, отчего размах, даже самый сильный, ослабевал и не мог ни разрубить, ни помять гладкой поверхности лат. Меченосец то отступал, то наступал, делая это спокойно, но так быстро, что едва можно было уловить глазами его движения. Князь испугался за Збышку, а лица мужчин омрачились, потому что им показалось, что немец как бы нарочно играет с противником. Иногда он даже не подставлял щита, но в то мгновение, когда Збышко ударял, делал пол-оборота в сторону, и острие топора рассекало пустое пространство. Это было всего страшнее, потому что Збышко мог при этом потерять равновесие и упасть, и тогда его гибель была бы неотвратимой. Видя это, чех, стоящий над зарезанным ван Кристом, тоже тревожился и говорил себе: "Клянусь Богом! Если господин упадет, я ударю немца обухом между лопатками, чтобы он тоже кувыркнулся".

Но Збышко не падал, потому что, обладая необычайной силой в ногах и широко расставляя их, он мог на каждой удерживать всю тяжесть тела и размаха.

Ротгер тотчас же заметил это, и зрители ошибались, думая, что он свысока смотрит на противника. Напротив, после первых же ударов, когда, несмотря на все умение управлять щитом, рука меченосца почти онемела под ним, он понял, что с этим мальчиком ему придется тяжело потрудиться, и что если не удастся свалить его по счастливой случайности, то борьба будет долгая и опасная. Он рассчитывал, что, ударив по пустому пространству, Збышко упадет на снег, но так как этого не случилось, он уже начинал попросту тревожиться. Он видел под стальным забралом сжатые губы противника и сверкающие порой глаза и говорил себе, что запальчивость должна погубить Збышку, что он забудется, потеряет голову и в своем ослеплении будет больше заботиться о нанесении ударов, чем о защите. Но он ошибся и в этом. Збышко не умел увертываться от ударов, но не забыл о щите, и, поднимая топор, не открывал себя больше, чем следовало. Видимо, внимание его удвоилось, а постигнув опытность и ловкость противника, он не только не забылся, но, напротив, сосредоточился, стал осторожнее, и в ударах его была какая-то обдуманность, которая может быть только следствием не горячего, а холодного упорства.

Ротгер, который видел немало войн и немало дрался как в строю, так и в поединках, по опыту знал, что бывают люди, точно хищные птицы, созданные для битв и особенно одаренные природой: они как бы угадывают все то, до чего другие доходят целыми годами опыта. И Ротгер сейчас же понял, что имеет дело с одним из таких людей. С первых же ударов он понял, что в этом юноше есть что-то такое же, что есть и в ястребе, который видит в противнике только свою добычу и ни о чем не думает, кроме того, как бы схватить его когтями. Несмотря на свою силу, он также заметил, что ею не может сравниться со Збышкой и что если устанет прежде, чем нанесет решительный удар, то бой с этим страшным, хоть и менее опытным мальчиком может стать для него гибельным. Подумав это, он решил драться с наименьшей затратой сил, прижал к себе щит, не особенно наступал, не особенно увертывался, ограничил свои движения, приберег все силы души и руки для решительного удара и ждал подходящей минуты.

Жестокая борьба затягивалась дольше, чем бывает обыкновенно. На галерее воцарилась мертвая тишина. Лишь время от времени слышались то звонкие, то глухие удары лезвий и обухов о щиты. И князю с княгиней, и рыцарям, и придворным девушкам были привычны подобные зрелища, но все же какое-то чувство, похожее на ужас, точно клещами, стиснуло сердца всех. Все понимали, что дело тут не в том, чтобы выказать силу, ловкость и смелость, а в том, чтобы дать выход ярости, отчаянию, неумолимой ненависти и жажде мести. С одной стороны, страшные обиды, любовь и бесконечная скорбь, с другой — честь всего ордена и глубокая ненависть — вот что в этом поединке предстояло рассудить Богу.

Между тем бледное зимнее утро прояснилось, рассеялась серая завеса мглы, и луч солнца озарил голубой панцирь меченосца и серебристую миланскую броню Збышки. В часовне прозвонили к утренней службе, и вместе со звоном колоколов стаи галок опять сорвались с крыши замка, хлопая крыльями и пронзительно каркая, точно радуясь при виде крови и трупа, недвижно лежащего на снегу. Ротгер во время боя два раза бросил на него взгляд и вдруг почувствовал себя ужасно одиноким. Все глаза, смотревшие на него, были глазами врагов. Все молитвы, все добрые пожелания, все молчаливые обеты, приносимые женщинами, были на стороне Збышки. Кроме того, хотя меченосец был совершенно уверен, что оруженосец Збышки не

бросится на него сзади и не нанесет ему предательского удара, все-таки присутствие и близость этой грозной фигуры внушали ему такую невольную тревогу, какая охватывает людей при виде волка, медведя или буйвола, от которых их не отделяет решетка. И он тем более не мог побороть этого чувства, что чех, желая следить за ходом боя, менял места, заходя то сбоку сражающихся, то сзади, то спереди; при этом чех наклонял голову и зловеще смотрел на Ротгера сквозь отверстия в железном забрале шлема и время от времени слегка, как будто невольно, приподымая окровавленную мизерикордию.

Наконец меченосца начала охватывать усталость. Время от времени он наносил по два отрывистых, но страшных удара, направляя их на правое плечо Збышко, но, наконец, тот с такой силой отразил их щитом, что топориче в руке Ротгера замоталось, а сам он вынужден был сделать движение назад, чтобы не упасть. И с этого мгновения он отступал все время. Подходили к концу не только его силы, но и хладнокровие, и терпение. При виде этого из груди зрителей вырвалось несколько восклицаний, похожих на выражение радости, и эти крики возбудили в нем злобу и отчаяние. Удары топоров стали все чаще. Пот лился по лицам обоих противников, а сквозь стиснутые зубы вырывалось из груди хриплое дыхание. Зрители перестали соблюдать спокойствие, и каждую минуту слышались то мужские, то женские восклицания: "Бей его!.. Суд Божий! Помогай тебе Бог!" Князь несколько раз сделал рукой знак, чтобы унять эти крики, но не мог удержать их. Шум становился все громче, потому что на галерее стали плакать дети, и наконец возле самой княгини какой-то молодой, рыдающий женский голос воскликнул:

– За Данусю, Збышко, за Данусю!

Но Збышко и сам знал, что дело идет о Данусе. Он был уверен, что меченосец приложил руку к ее похищению, и, сражаясь с ним, Збышко сражался за нее. Но как человек молодой и жаждущий битв, в минуту поединка он думал только о поединке. Крик этот внезапно напомнил ему о потере Дануси и о ее несчастье. Любовь, горе и жажда мести налились огнем его жилы. Сердце его завывало от пробужденного горя, и его охватила воинственная ярость. Меченосец уже не мог отражать его страшных, подобных буре, ударов и не успевал следить за ними. Збышко с такой нечеловеческой силой ударил щитом в его щит, что рука меченосца внезапно онемела и бессильно поникла. Он в страхе и ужасе попятился и откатнулся назад, но в этот миг перед глазами его сверкнул топор, и острие, как молния, упало на правое плечо его.

До слуха зрителей донесся только душу раздирающий крик: "Иисусе!.." – а потом Ротгер отступил еще на шаг и упал навзничь.

На галерее все тотчас загудело и зашевелилось, как на пасеке, на которой пригретые солнцем пчелы начинают двигаться и жужжать. Рыцари целыми толпами бежали по лестницам, челядь перескакивала через снеговой вал, чтобы посмотреть ближе на трупы. Всюду раздавались восклицания: "Суд Божий! Есть у Юранда наследник! Слава ему! Вот так воин!" Другие кричали: "Смотрите и удивляйтесь! Сам Юранд не ударил бы лучше!" Вокруг трупа Ротгера образовалась целая толпа любопытных, а он лежал на спине, с бледным, как снег, лицом, с широко раскрытым ртом и с окровавленным плечом, так страшно рассеченным от шеи до самого паха, что оно держалось только на нескольких связках. Некоторые говорили: "Вот был жив и гордо ходил по земле, а теперь и пальцем не шевельнет". Говоря так, они удивлялись его росту, потому что много места он занимал на арене и после смерти казался еще больше; другие же – пучку павлиньих перьев, красиво переливавшихся на снегу; третьи – латам, стоившим цены целой деревни. Но чех Глава уже подошел

с двумя слугами Збышки, чтобы снять их с трупа, и любопытные окружили Збышку, прославляя его и превознося до небес, потому что им казалось, и совершенно справедливо, что слава его озарит все польское и мазовецкое рыцарство. Между тем, чтобы облегчить его, у него отобрали щит и топор, а Мрокота из Моцажева отстегнул ему шлем и покрыл потные волосы шапкой из красного сукна. Збышко стоял как бы в ошеломлении, тяжело дыша, с еще не погасшим огнем в глазах, с грозным и бледным от усталости лицом, весь дрожащий от волнения. Его взяли под руки и повели к князю и княгине, которые ждали его в жарко натопленной комнате, у камина. Там Збышко преклонил перед ними колена, а когда отец Вышонок благословил его и прочитал молитву за умерших, князь обнял молодого рыцаря и сказал:

– Всевышний рассудил вас и управлял рукой твоей, за что да будет благословенно имя Его. Аминь.

И, обратившись к рыцарю де Лоршу и прочим, он прибавил:

– Тебя, чужеземный рыцарь, и вас всех, стоящих здесь, беру в свидетели того, о чем свидетельствую и сам, что они сразились согласно закону и обычаю, и что суд Божий здесь совершился по-рыцарски и по-божьи, как совершается он везде.

Местные воины откликнулись на это согласным хором, а когда рыцарю де Лоршу были переведены слова князя, он встал и заявил, что не только свидетельствует, что все совершилось по-рыцарски и по-божьи, но даже, если кто-нибудь в Мальборге или при другом дворе осмелится в том сомневаться, он, де Лорш, тотчас вызовет его на арену, на поединок конный или пеший, если бы даже это был не обыкновенный рыцарь, но великан и чернокнижник, магической силой превышающий самого Мерлина.

Между тем княгиня Анна Данута, когда Збышко преклонил перед ней колена, сказала, наклоняясь к нему:

– Что ж ты не радуешься? Радуйся и благодари Господа, потому что если Господь по милосердию своему охранил тебя от этой напасти, то он и впоследствии не оставит тебя и приведет к счастью.

Но Збышко ответил:

– Как же мне радоваться, милосердная госпожа? Бог дал мне победу над меченосцем, но Дануси как не было, так и нет, и я теперь к ней не ближе, чем был до этого.

– Злейшие недруги, Данфельд, Годфрид и Ротгер, умерли, – отвечала княгиня, – а о Зигфриде говорят, что он справедливее их, хоть и жесток. Славь же милосердие Божье и за это. К тому же рыцарь де Лорш говорил, что если меченосец будет убит, то он сам поедет в Мальборг и будет просить у великого магистра о Данусе. Великого магистра они не посмеют послушаться.

– Пошли Бог здоровья рыцарю де Лоршу, – сказал Збышко, – я тоже поеду с ним в Мальборг.

Но княгиня испугалась этих слов, словно Збышко сказал, что безоружный поедет к волкам, которые собирались зимой стадами в огромных лесах Мазовии.

– Зачем? – вскричала она. – На верную гибель? Сейчас же после поединка не помогут тебе ни де Лорш, ни письма, которые писал Ротгер перед боем. Ты не спасешь никого, а себя погубишь.

Но он встал, сложил руки крестом и сказал:

– Клянусь Богом, что поеду в Мальборг и хоть бы даже за море. Клянусь Иисусом Христом, что буду искать ее до последнего издыхания и не перестану искать, пока не погибну. Легче мне бить немцев и сражаться в латах, чем сироте изнывать в неволе. Легче! Легче!

И он говорил это, как, впрочем, всегда говорил, когда вспоминал Дану-сю, с таким волнением, с таким горем, что порою слова вырывались у него так, словно кто-то хватал его за горло. Княгиня поняла, что напрасно было бы его отговаривать и что тот, кто хотел бы его удержать, должен был бы, по крайней мере, заковать его и бросить в подземелье.

Но Збышко не мог уехать тотчас же. Тогдашний рыцарь мог не обращать внимания ни на какие препятствия, но не мог нарушить рыцарского обычая, который повелевал, чтобы победитель провел на месте боя целый день, до полуночи следующего дня: делалось это как для того, чтобы показать, что он стал господином арены, так и для того, чтобы выказать готовность к следующему поединку, в случае если бы кто-нибудь из родственников или друзей побежденного захотел вызвать его. Обычай этот соблюдали даже целые отряды войска, теряя иногда выгоду, которую могли принести быстрые действия после победы. Збышко даже не пытался высвободиться из-под неумолимого закона, и, слегка подкрепившись, а затем надев латы, до самой полуночи простоял во дворе замка, под мрачным зимним небом, поджидая врага, который не мог прибыть ниоткуда.

Только в полночь, когда герольды при звуках труб окончательно возвестили его победу, Миколай из Длуголяса позвал его к князю на ужин и вместе с тем на совещание.

VI

На совещании князь заговорил первый и сказал так:

– Беда, что у нас нет против комтуров ни письма, ни какого-нибудь свидетеля. Хоть подозрения наши, кажется, справедливы, и я сам думаю, что дочь Юранда похитили они, а не кто-нибудь другой, да что из этого? Они отрекутся. А когда великий магистр потребует какого-нибудь доказательства, что мы ему покажем? Да еще письмо Юранда говорит в их же пользу.

Тут он обратился к Збышке:

– Ты говоришь, что они выманили от него угрозой это письмо? Возможно, и даже вероятно, что это так, потому что, если бы правда была на их стороне, Бог бы не помог тебе против Ротгера. Но если они насильно заставили написать одно письмо, то могли заставить написать и два. Может быть, и у них есть письмо Юранда, подтверждающее, что они неповинны в похищении несчастной девушки. В таком случае они покажут это письмо магистру, и что тогда будет?

– Ведь сами же они признали, милосердный государь, что отбили Данусю у разбойников и что она у них.

– Это я знаю. Но теперь они говорят, что ошиблись и что это другая девушка, и лучшее доказательство этого – то, что сам Юранд ее не признал.

– Не признал, потому что ему показали другую, чем и привели его в ярость!

– Вероятно, это так и было, но они могут сказать, что это только наши догадки.

– Их ложь – как лес, – сказал Миколай из Длуголяса. – С краю еще кое-что видно, но чем дальше вглубь, тем он чаще: человек плутает и совсем сбивается с дороги.

Потом он повторил свои слова по-немецки рыцарю де Лоршу, который сказал:

– Сам великий магистр лучше их; а брат его, хоть и заносчив, но понимает рыцарскую честь.

– Это так, – отвечал Миколай. – Магистр человек с душой. Не может он обуздать комтуров и капитула и ничего не в силах сделать с тем, что весь орден держится на угнетении людей, но этим он не доволен. Поезжайте, поезжайте, рыцарь де Лорш, и расскажите ему, что здесь произошло. Они чужих больше стыдятся, чем нас, чтобы те не рассказывали при иностранных дворах об их предательствах и подлостях. Когда же магистр потребует от вас доказательств, скажите ему так: "Знать правду – дело Бога, а дело людей – искать ее; поэтому, государь, если хочешь доказательств, то поищи их: вели обыскать замки, позволь нам искать, потому что это глупость и сказка, будто сироту похитили лесные разбойники".

– Глупость и сказки, – повторил де Лорш.

– Разбойники не подняли бы руки на княжеский дворец и на дочь Юранда. А если бы они даже похитили ее, то только ради выкупа и сами дали бы знать, что она у них.

– Все это я знаю, – сказал лотарингский рыцарь, – и де Бергова я тоже разыщу. Мы из одной страны, и хотя я не знаю его, говорят, что и он родня графа Гельдернского. Он был в Щитно и пусть расскажет магистру, что видел.

Збышко кое-что понял из этих слов, а чего не понял, то перевел ему Миколай; поэтому он обнял рыцаря де Лорша и прижал его к груди с такой силой, что рыцарь даже застонал.

А князь сказал Збышке:

– А ты непременно хочешь тоже ехать?

– Непременно, милосердный государь! Что же мне еще делать? Я хотел брать приступом Щитно, хотя бы мне пришлось зубами грызть стену; но как же мне без разрешения начинать войну?

– Кто самовольно начнет войну – тот погибнет под мечом палача, – сказал князь.

– Конечно, закон есть закон, – отвечал Збышко. – Потом хотел я вызвать по очереди всех, кто был в Щитно, да люди сказывали, что Юранд перерезал их там, как волов, и я не знал, кто жив, а кто убит!.. Но клянусь Господом Богом, что я не оставлю Юранда до последнего издыхания!

– Это ты благородно говоришь! Ты мне нравишься, – сказал Миколай из Длуголяса. – А что ты не поскакал один в Щитно, это доказывает, что у тебя есть голова, потому что и дураку ясно, что они не держат там ни Юранда, ни его дочери, а обязательно увезли их в какой-нибудь другой замок. В награду за то, что ты

приехал сюда, Господь послал тебе Ротгера.

– Да, – сказал князь, – Ротгер сказывал, что из тех четверых жив один Зигфрид, а прочих Господь уже покарал твоей рукой и рукой Юранда. Что же касается Зигфрида, то он не такой негодяй, как те, но сердцем, пожалуй, еще жесточе! Плохо, что Юранд и Дануся в его руках, и надо их поскорее высвободить! Но чтобы и с тобой не случилось что-нибудь дурное, я дам тебе письмо к магистру. Однако же слушай хорошенько и понимай, что едешь ты не как посол, а только как гонец, магистру же я пишу вот что: раз они в свое время посягнули на нашу особу, на потомка их благодетелей, то и возможно, что они похитили дочь Юранда, в особенности потому, что злы на него. Поэтому я прошу магистра, чтобы он приказал старательно искать ее, а если хочет жить со мной в дружбе, то чтобы тотчас отдал ее тебе.

Збышко, услышав это, бросился к ногам князя и, обхватив его колени руками, сказал:

– А Юранд, милосердный государь? А Юранд? Заступитесь и за него. Если раны его смертельны, то пусть хоть умрет он в своих владениях и возле детей.

– Есть тут и о Юранде, – ласково сказал князь. – Магистр должен выслать двух судей. Я тоже вышлю двоих, и они сообща рассмотрят поступки комтуров и Юранда согласно законам рыцарской чести. Кроме того, эти судьи выберут еще одного, чтобы он был среди них главным. И как они все порешат, так и будет.

На этом совещание кончилось. Збышко простился с князем, потому что должен был тотчас отправляться в путь. Но перед тем, как разойтись, опытный и знающий меченосцев Миколай из Длуголяса отвел Збышку в сторону и спросил:

– А этого чеха, оруженосца, ты возьмешь с собой к немцам?

– Конечно, он меня не оставит! А что?

– То, что мне его жаль. Человек он хороший, а между тем смекни-ка, что я тебе скажу: ты из Мальборга вернешься невредимым, кроме разве того случая, что станешь там драться и наскочишь на сильнеешего. Но уж он-то погибнет наверняка.

– А почему?

– Потому что эти собачьи дети обвиняли его в убийстве де Фурси. Они, конечно, писали о его смерти магистру и наверное написали, что кровь эту пролил чех. Этого ему в Мальборге не простят. Его ждет суд и месть, потому что как же ты убедишь магистра в его невинности? Да еще он же и Данфельду сломал руку, а Данфельд был родственник великого госпиталита. Жаль мне его, и повторяю тебе, что если он поедет, то только на верную смерть!

– На смерть он не поедет, потому что я оставлю его в Спыхове!

Но случилось иначе, потому что явились причины, по которым чех не остался в Спыхове. Збышко и де Лорш на другой же день со своими слугами тронулись в путь. Де Лорш, которого ксендз Вышонок разрешил от обета, данного Ульрике де Эльнер, ехал счастливый и весь ушедший в воспоминания о красоте Ягенки из Длуголяса и потому молчал; Збышко же, не будучи в состоянии говорить с ним о Данусе, между прочим, потому, что они не особенно-то понимали друг друга, разговаривал с Главой, не знавшим до сих пор ничего о предполагаемой поездке в страну

меченосцев.

– Мы едем в Мальборг, – сказал Збышко, – а когда я вернусь – это одному Богу ведомо!.. Может быть, скоро, может быть – весной, может быть – через год, а может быть, и совсем не вернусь. Понимаешь?

– Понимаю. Ваша милость едете, вероятно, и для того, чтобы сразиться с тамошними рыцарями. И слава богу, потому что ведь у каждого рыцаря есть оруженосец.

– Нет, – отвечал Збышко. – Еду я туда не для того, чтобы вызывать их, и сделаю это только в том случае, если придется во что бы то ни стало; а ты вовсе не поедешь, а останешься дома, в Спыхове.

Услышав это, чех сперва очень огорчился и стал жаловаться на свою участь, а потом принялся просить молодого рыцаря, чтобы тот не оставлял его.

– Я поклялся, что не покину вас: поклялся крестом и честью. И если с вашей милостью что-нибудь случится, как я тогда покажусь на глаза своей госпоже в Згожелицах? Я поклялся ей, господин, жальтесь же надо мной, чтобы я не покрыл себя позором в ее глазах.

– А разве ты не поклялся, что будешь повиноваться мне? – спросил Збышко.

– Как же не поклялся? Я во всем клялся, только не в том, что оставлю вас. Если вы отгоните меня, я поеду за вами следом, чтобы в случае нужды быть поблизости.

– Я тебя не гоню и не буду гнать, – отвечал Збышко, – но для меня было бы рабством, если бы я не мог послать тебя куда-нибудь в дальнюю дорогу или отделаться от тебя хоть на один день. Ведь не будешь же ты вечно стоять надо мной, как палач? А что касается боя, то как же ты мне поможешь? Я не говорю про войну, потому что на войне дерутся в строю, все вместе, но ведь на поединке не будешь же ты драться вместо меня? Если бы Ротгер был сильнее меня, то не его оружие лежало бы на нашем возу, а мое – на его. Кроме того, знай, что мне там с тобой будет хуже и что ты можешь подвергнуть меня опасности.

– Как, ваша милость?

И Збышко стал ему рассказывать то, что слышал от Миколая из Длуголяса: о том, что комтуры, не будучи в состоянии признаться в убийстве де Фурси, обвинили во всем его и будут ему мстить.

– Если же тебя схватят, – сказал он под конец, – то ведь не отдам же я тебя им на растерзание, как собакам, а потому могу и сам погибнуть.

Чех омрачился, услышав эти слова, потому что чуял в них правду; однако он еще раз попытался повернуть дело в свою пользу.

– Да ведь тех, которые меня видели, уже нет на свете, потому что одних, говорят, перебил старый пан из Спыхова, а Ротгера – ваша милость.

– Тебя видели слуги, ехавшие за ними, а кроме того, жив старый меченосец, который теперь, должно быть, находится в Мальборге; а если даже он еще не там, так приедет, потому что, бог даст, магистр его вызовет.

На это уж нечего было отвечать, и они молча доехали до самого Спыхова. Там они застали все в полной боевой готовности, потому что старик Толима думал, что либо меченосцы нападут на замок, либо Збышко, вернувшись, поведет их на выручку старому пану. Стража расставлена была всюду, и на проходах по болоту, и в самом замке. Мужики были вооружены, а так как война была им не в диковину, то они ждали немцев с радостью, предвидя знатную добычу. В замке Збышко и де Лорша встретил ксендз Калев; сейчас же после ужина он показал Збышке пергамент с печатью Юранда: на этом пергаменте он собственноручно записал последнюю волю спыховского рыцаря.

– Он это мне диктовал, – сказал ксендз, – в ту ночь, когда уехал из Спыхова. Вернуться-то он не рассчитывал.

– А почему же вы ничего не говорили?

– Я ничего не говорил потому, что он в тайной исповеди признался мне, что хочет сделать. Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего!..

– Не молитесь за его душу! Он еще жив! Я знаю это со слов меченосца Ротгера, с которым сражался при дворе князя. Между нами был суд Божий, и я убил его!

– Тем более Юранд не возвратится!.. Разве только Господь Бог спасет его!..

– Я еду вот с этим рыцарем, чтобы вырвать его из их рук.

– Видно, не знаешь ты ихних рук, а я-то их знаю, потому что прежде, чем Юранд приютил меня в Спыхове, я пятнадцать лет был ксендзом в их стране. Один Бог может спасти Юранда.

– И он же может помочь нам.

– Аминь!

Ксендз Калев развернул документ и стал читать его. Юранд завещал все свои земли и все имущество Данусе и ее потомству, а в случае бездетной смерти Дануси – ее мужу, Збышке из Богданца. В конце исполнение своей воли он поручал покровительству князя: "Чтобы в случае, если что-либо несогласно с законом, князь по своей милости признал законным". Конец этот прибавлен был потому, что ксендз Калев был силен только в каноническом праве, а сам Юранд, вечно занятый войнами, знал только рыцарские обычаи. Прочтя Збышке документ, ксендз прочел его старшим воинам спыховского гарнизона, которые тотчас признали молодого рыцаря своим господином и поклялись ему повиноваться.

Они думали, что Збышко тотчас же поведет их на помощь старому пану, и радовались, потому что в грудях их бились сердца суровые, охочие до войны и привязанные к Юранду. Поэтому их охватила глубокая печаль, когда они узнали, что останутся дома и что пан лишь с небольшой свитой отправится в Мальборг, да еще не воевать, а жаловаться. Огорчение их разделял чех Гловач, хотя, с другой стороны, он был рад столь значительному увеличению Збышкова богатства.

– Эх, – сказал он, – вот кто был бы рад – старый пан из Богданца. Сумел бы он тут похозяйничать. Что такое Богданец в сравнении с такими землями?!

Но Збышку в эту минуту вдруг охватила тоска по старику; тоска эта часто

охватывала его, особенно в затруднительных и тяжелых обстоятельствах жизни, и, обратившись к оруженосцу, он сказал, недолго думая:

– Что тебе сидеть здесь понапрасну? Поезжай в Богданец и вези письмо.

– Если не ехать мне с вашей милостью, так уж лучше я поеду туда, – отвечал обрадованный оруженосец.

– Позови-ка ко мне ксендза Калеба. Пусть толком опишет все, что здесь происходило, а дяде письмо прочитает ксендз из Кшесни, а то и аббат, коли он в Згожелицах.

Но сказав это, он приложил руку к губам, на которых едва пробивались усы, и прибавил, говоря как бы с самим собой:

– Да... Аббат...

И тотчас перед его глазами мелькнула Ягенка, голубоглазая, темнокудрая, стройная, как лань, и со слезами на глазах. Его охватила тревога, и некоторое время он тер рукой лоб, а потом сказал:

– Конечно, девушка, будет тебе горько, но не хуже, чем мне.

Между тем пришел ксендз Калек, сейчас же усевшийся писать письмо. Збышко подробно диктовал ему обо всем, что случилось с той минуты, когда он прибыл в лесной дворец. Он ничего не утаил, потому что знал, что старый Мацько, хорошенько разобравшись во всем этом, в конце концов будет доволен. В самом деле, Богданца нельзя и сравнивать со Спыховом, который был обширен и богат, а Збышко знал, что такие дела всегда чрезвычайно занимали Мацьку.

Когда, после долгих трудов, письмо было написано и скреплено печатью, Збышко снова позвал оруженосца и вручил ему послание, говоря:

– Может быть и то, что ты вернешься сюда с дядей, чему я был бы очень рад.

Но у чеха лицо было тоже как бы смущенное; он мямлил, переступал с ноги на ногу и не отходил, пока молодой рыцарь не обратился к нему:

– Если у тебя есть еще что-нибудь сказать, говори.

– Я хотел бы, ваша милость... – отвечал чех, – я хотел бы... да... спросить, как мне людям рассказывать?

– Каким людям?

– Ну если не в Богданце, то у соседей... Ведь все, конечно, захотят знать...

В ответ на эти слова Збышко, решивший ничего не скрывать, посмотрел на него и ответил:

– Ты не о людях думаешь, а о Ягенке из Згожелиц.

Чех вспыхнул, потом слегка побледнел и ответил:

– О ней, господин.

– А почему ты знаешь, не вышла ли она там за Чтана из Рогова или за Вилька из Бжозовой?

– Она не вышла ни за кого, – уверенно отвечал оруженосец.

– Аббат мог велеть ей.

– Аббат сам ее слушается, а не она его.

– Так чего ж тебе нужно? Говори ей правду, так же, как и всем.

Чех поклонился и ушел, несколько рассерженный.

"Дай бог, – говорил он про себя, думая о Збышке, – чтобы она тебя забыла. Дай ей бог кого-нибудь еще лучше, чем ты. Но если она тебя не забыла, я ей скажу, что ты женат, но жены у тебя нет, и что, бог даст, ты овдоеешь раньше, чем получишь жену".

Но оруженосец уже был привязан к Збышке, жаль ему было и Дануси, но Ягенку любил он больше всего на свете, и с тех пор, как в Цеханове, перед боем, узнал он о женитьбе Збышки, душа у него была полна боли и горечи.

"Даст бог, овдоеешь", – повторил он.

Но потом другие, видимо, более приятные мысли стали приходить ему в голову, и, идя к лошадям, он уже говорил:

"Слава богу, что хоть в ноги ей поклонюсь".

Между тем Збышко торопился в путь, потому что его мучило нетерпение; поскольку ему не приходилось заниматься другими делами, он терпел прямо-таки мучения, непрестанно думая о Данусе и Юранде. Но надо было остаться в Спыхове, хотя бы на одну ночь, хотя бы ради рыцаря де Лорша и ради приготовлений, которых требовал столь дальний путь. Наконец, и сам он свыше всяких мер утомлен был поединком, бессонной ночью, дорогой и горем. И когда настала ночь, он бросился на жесткое ложе Юранда в надежде, что его посетит хотя бы недолгий сон. Но не успел он заснуть, как Сандерус постучался к нему и, поклонившись, проговорил:

– Господин, вы спасли меня от смерти, и было мне с вами так хорошо, как давно уже не бывало. Господь послал вам теперь большие земли; теперь вы еще богаче, чем прежде, да и сокровищница спыховская не пуста. Дайте мне, господин, немножечко денег, а я поеду в Пруссию, стану ходить из замка в замок, и хоть я там не особенно в безопасности, все же, может быть, окажу вам услугу.

Збышко, который в первую минуту хотел вышвырнуть его из комнаты, задумался над этими словами и, помолчав, достал из стоящего возле постели Дорожного мешка довольно большой кошелек; потом бросил его Сандерусу и сказал:

– На, ступай. Если ты негодяй – обманешь меня, если же честный человек – послужишь.

– Обману, господин, как последний негодяй, – сказал Сандерус, – только не вас, а

услугу, как честный человек, вам.

VII

Зигфрид де Леве как раз собирался выехать в Мальборг, когда внезапно почтовый слуга привез ему письмо от Ротгера, заключающее в себе известия о том, что происходит при мазовецком дворе.

Известия эти задели старого меченосца за живое. Прежде всего из письма было видно, что Ротгер прекрасно изложил князю Янушу историю Юранда. Зигфрид усмехнулся, читая о том, как Ротгер в довершение всего высказал желание, чтобы князь в возмещение нанесенных ордену обид отдал Спыхов во владение меченосцев. Зато вторая часть письма содержала известия неожиданные и не столь приятные. Ротгер сообщал, что в подтверждение непричастности ордена к похищению дочери Юранда он бросил мазовецким рыцарям перчатку, вызывая каждого, кто в том усомнится, на суд Божий, то есть на поединок в присутствии всего двора. "Никто не поднял ее, – писал Ротгер, – потому что все знали, что за нас говорит письмо самого Юранда, и боялись справедливости Божьей; но вдруг появился юноша, которого мы видали в лесном дворце, и поднял перчатку. По сей причине не удивляйтесь, благочестивый и мудрый брат, если я опоздаю назад, потому что я должен выйти на поединок, который сам предложил. А так как сделал я это во имя славы ордена, то и питаю надежду, что ни великий магистр, ни вы, которого я чту и люблю сыновней любовью, не поставите мне этого в вину. Противник мой – сущий мальчик, а для меня бой, как вы знаете, не новость; поэтому я легко пролью эту кровь во славу ордена, особенно же с помощью Господа Иисуса Христа, который, верно, больше печется о тех, кто носит крест его, нежели о каком-то Юранде или о несчастной девчонке из мазовецкого племени".

Больше всего Зигфрида изумило известие, что дочь Юранда была замужняя. При мысли, что в Спыхове снова может поселиться грозный и мстительный враг, даже старого комтура охватил некоторый страх. "Конечно, – говорил он себе, – он будет мстить, особенно же если разыщет жену и если она ему скажет, что это мы похитили ее из лесного дворца. К тому же сейчас же обнаружилось бы и то, что Юранда мы призвали только для того, чтобы погубить его и что никто не собирался отдавать ему дочь". Тут Зигфриду пришло в голову, что ведь все-таки, вследствие писем князя, великий магистр, вероятно, велит произвести в Щитно обыск, хотя бы для того, чтобы оправдаться перед тем же князем. Ведь магистру и капитулу было чрезвычайно важно, чтобы в случае войны с королем мазовецкие князья остались в стороне. Рыцари мазовецкие были многочисленны и храбры; нельзя было с ними не считаться; мир с ними обеспечивал безопасность орденских границ на огромном протяжении и позволял меченосцам лучше сосредоточить свои силы в другом месте. В Мальборге не раз говорили об этом при Зигфриде, не раз тешили себя надеждой, что после победы над королем найдется со временем какой-нибудь предлог и для войны против Мазовии, и тогда уже никакая сила не вырвет этой области из рук меченосцев. Это был большой и верный расчет, а потому столь же верно было и то, что магистр примет все меры, чтобы не разгневать князя Януша; государь этот, женатый на дочери Кейстута, был менее сговорчив, чем Земовит плоцкий, жена которого, неизвестно почему, была безгранично предана ордену.

И вот, думая так, старый Зигфрид, который при всей своей готовности ко всяческим преступлениям, предательству и жестокостям, любил орден и дорожил его славой, начал сводить счеты со своей совестью: "Не лучше ли будет выпустить Юранда и его дочь? Предательство и низость падут на имя Данфельда, но ведь он мертв. Даже в том случае, если магистр строго накажет меня и Ротгера, потому что ведь все-таки мы были соучастниками Данфельдовых поступков, то не лучше ли это будет для

ордена?" Но тут, при мысли о Юранде, его мстительное и жестокое сердце начинало кипеть.

Выпустить его, этого утеснителя и палача слуг ордена, победителя в стольких сражениях, причину таких бедствий и позора, победителя, а потом и убийцу Данфельда, победителя де Бергова, убийцу Майнегера, убийцу Годфрида и Хьюга, человека, который в самом Щитно пролил больше немецкой крови, чем ее проливается во время многих сражений... "Не могу, не могу", – повторял про себя Зигфрид, и при одной этой мысли хищные пальцы его судорожно сжимались, а старая, иссохшая грудь с трудом дышала. Но что все-таки, если это будет полезно ордену и обережет его славу? Что, если наказание, которое в этом случае постигнет еще живущих участников преступления, склонит сурового князя Януша на сторону ордена и облегчит заключение с ним договора, а то и союза?... "Они вспыльчивы, – думал комтур, – но стоит оказать им хоть малейшую услугу, как они тотчас забывают обиды. Ведь и сам князь был взят в плен в собственной своей стране, однако ведь он не мстил..." И Зигфрид, переживая мучительную внутреннюю борьбу, стал ходить по зале; но вдруг ему показалось, что какой-то голос свыше сказал ему: "Встань и жди возвращения Ротгера". Да. Надо было ждать. Ротгер, конечно, убьет этого мальчика, а потом надо будет либо скрыть Юранда и его дочь, либо отдать их. В первом случае князь, конечно, о них не забудет, но, не будучи уверен в том, кто похитил девушку, будет искать ее, будет писать письма магистру, не жалуясь, а только расспрашивая, и все дело чрезвычайно затянется. В другом же случае радость по поводу возвращения дочери Юранда будет больше, чем желание мстить за нее. "А кроме того, ведь мы же всегда можем сказать, что нашли ее после истории с Юрандом". Эта мысль окончательно успокоила Зигфрида. Что же касается самого Юранда, то они с Ротгером давно уже обдумали, как сделать, чтобы он не мог мстить в том случае, если его придется выпустить. Теперь, при мысли об этой выдумке, жестокая душа Зигфрида радовалась. Радовался он и при мысли о суде Божьем, который должен был состояться в Цехановском замке. Относительно исхода смертного боя его не тревожило никакое беспокойство. Он вспоминал об одном турнире в Кролевце, когда Ротгер победил двух знаменитых рыцарей, которые у себя на родине почитались непобедимыми. Вспомнил он и о бое под Вильной с одним польским рыцарем, придворным Спытка из Мелыптына. Ротгер убил его. И лицо Зигфрида прояснилось, а сердце наполнилось гордостью, потому что Ротгера (уже и тогда знаменитого воина) он первый водил на бой с Литвой и учил его способам, какими лучше всего бороться с этим племенем. А теперь "сынок" еще раз прольет ненавистную польскую кровь и вернется покрытый славой. Ведь это же суд Божий: таким образом и орден будет очищен от всяких подозрений... "Суд Божий..." На мгновение старое его сердце сжалось от какого-то чувства, похожего на тревогу. Ротгеру предстоит выйти на смертный бой в защиту невинности ордена, а ведь они виноваты: другими словами, он будет сражаться в защиту лжи... А вдруг случится несчастье? Но вскоре Зигфриду снова показалось, что это невозможно. Ротгер не может быть побежден.

Успокоившись таким образом, старый меченосец стал думать еще и о том, не лучше ли пока что отослать Данусю в какой-нибудь отдаленный замок, который ни в каком случае не мог бы подвергнуться нападению Мазуров. Но после краткого размышления он отказался и от этой мысли. Обдумать нападение и стать во главе войска мог бы только муж дочери Юранда, а ведь он погибнет от руки Ротгера... Потом начнутся со стороны князя и княгини расспросы, письма, жалобы, но именно благодаря этому дело запутается и затемнится, не говоря уже о том, что оно затянется чуть ли не до бесконечности. "Раньше, чем они чего-нибудь добьются, – сказал себе Зигфрид, – я умру, а быть может, и дочка Юранда состарится в плену у меченосцев". Однако он отдал приказ, чтобы в замке все было готово к обороне, а также и к

выступлению, потому что не знал как следует, чем кончится его совещание с Ротгером, и решил ждать.

Между тем со дня, в который Ротгер обещал возвратиться, прошло дня два, потом три, четыре, а перед воротами Щитно не появлялся никто. Только на пятый день, почти уже в сумерки, перед башенкой привратника раздался звук рога. Зигфрид, только что кончивший вечернюю молитву, тотчас выслал слугу узнать, кто приехал.

Через минуту слуга вернулся с изменившимся лицом, но перемены этой Зигфрид заметить не мог, потому что огонь горел в глубоком камине и мало освещал комнату.

– Приехали? – спросил старый рыцарь.

– Да, – отвечал слуга.

Но в голосе его было что-то встревожившее Зигфрида, и тот спросил:

– А брат Ротгер?

– Брата Ротгера привезли.

Зигфрид встал с кресла. Он долго держался рукой за поручень, точно боялся упасть и наконец произнес глухим голосом:

– Дай мне плащ.

Слуга набросил ему на плечи плащ, а он, видимо, уже овладел собой, потому что сам накрыл голову капюшоном и вышел из комнаты.

Вскоре он очутился во дворе замка, где было уже совсем темно, и медленно по скрипучему снегу направился к обозу, который, миновав ворота, остановился недалеко от них. Там уже стояла довольно большая толпа народа и горело несколько факелов, которые успели принести солдаты. При виде старого рыцаря кнехты расступились. При свете факелов видны были встревоженные лица, и тихие голоса шептали во мраке:

– Брат Ротгер...

– Брат Ротгер убит...

Зигфрид подошел к саням, в которых на соломе лежало покрытое плащом тело, и приподнял край плаща.

– Дайте огня, – сказал он, снимая капюшон.

Один из кнехтов поднес факел, и при блеске его старый рыцарь увидел голову Ротгера и бледное, как снег, замерзшее лицо, обрамленное темной материей, которую завязали у мертвого под подбородком, очевидно, с той целью, чтобы рот не оставался открытым. Все лицо было как бы стянуто и потому так изменилось, что можно было сказать, что это кто-то другой, а не Ротгер. Глаза были закрыты веками, кругом глаз и на висках виднелись синеватые пятна. На щеках блесла иней.

Комтур долго смотрел на труп среди всеобщего молчания. Окружающие смотрели на него, ибо было известно, что он заменял умершему отцу и любил его. Но у него ни единой слезы не выкатилось из глаз; только лицо его было еще строже, чем всегда, и в лице этом – какой-то застывший покой.

– Так вот каким вернули его мне, – сказал он наконец. И сейчас же обратился к эконому замка:

– Пускай до наступления полуночи сколотят гроб и поставят тело в часовне.

– Остался один гроб из тех, которые делались для убитых Юрандом, – отвечал эконом. – Я только велю обить его сукном.

– И прикрыть его плащом, – сказал Зигфрид, покрывая лицо Ротгера. – Не таким, как этот, а плащом ордена.

И, помолчав, прибавил:

– А крышку не закрывать.

Люди подошли к саням; Зигфрид снова надвинул капюшон на голову, но, видимо, уходя, вспомнил еще о чем-то и спросил:

– Где ван Крист?

– Тоже убит, – отвечал один из слуг, – но его пришлось похоронить в Цеханове, потому что он начал разлагаться.

– Хорошо.

И сказав это, он медленно отошел; вернувшись в комнату, он сел в то же кресло, в котором застала его эта весть, и сидел с каменным лицом, неподвижно, так долго, что слуга начал беспокоиться и все чаще просовывать голову в дверь. Час проходил за часом, в замке стихало обычное движение, только из часовни доносились глухие, неясные удары молотка, а потом уже ничто не смущало тишины, кроме окриков часовых.

И была уже почти полночь, когда старый рыцарь как бы очнулся от сна и позвал слугу.

– Где брат Ротгер? – спросил он.

Но мальчик, взволнованный тишиной, всеми последними событиями и бессонными ночами, видимо, не понял его, потому что взглянул на Зигфрида с тревогой и дрожащим голосом отвечал:

– Не знаю, господин...

Старик улыбнулся горькой улыбкой и ласково сказал:

– Я тебя, дитя, спрашиваю: он уже в часовне?

– Да, господин.

– Хорошо. Скажи же Дидериху, чтобы он пришел сюда со светильником и чтобы ждал моего возвращения. Пусть также возьмет горшок с угольями. Что, огни в часовне уже зажжены?

– Вокруг гроба горят свечи. Зигфрид накинул плащ и ушел.

Придя в часовню, он еще в дверях посмотрел, нет ли в ней кого, потом старательно запер двери, подошел к гробу, отодвинул две свечи из шести, стоявших возле него в больших медных подсвечниках, и опустился на колени.

Губы его совершенно не двигались, и он не молился. Он только долго смотрел в застывшее, но еще прекрасное лицо Ротгера, точно хотел различить в нем следы жизни.

Потом, среди царившей в часовне тишины, стал говорить тихим голосом:

– Сыночек! Сыночек!

И замолчал. Казалось, что ждал ответа.

Потом, протянув руки, он засунул исхудавшие, похожие на когти, пальцы под плащ, покрывавший грудь Ротгера, и стал ее ощупывать. Он шарил всюду, посередине и с боков, пониже ребер и возле ключиц, и, наконец, нащупал сквозь сукно рану, шедшую от правого плеча до самого паха, погрузил в нее пальцы, провел ими по всей ране и снова заговорил голосом, в котором, казалось, дрожала жалоба:

– О... какой безжалостный удар... А ты говорил, что он почти ребенок... Все плечо... все плечо... Сколько раз подымал ты эту руку против язычников в защиту ордена! А теперь ее отрубил у тебя польский топор... И вот конец тебе. Вот и предел. Не благословил тебя он, потому что, быть может, ему и нет дела до нашего ордена. Оставил он и меня, хотя служил ему много лет.

Он замолк, губы его задрожали, и снова в часовне настало глухое молчание.

– Сыночек! Сыночек!

В голосе Зигфрида звучала теперь мольба, и в то же время он говорил теперь еще тише, как люди, которые спрашивают о какой-то важной и страшной тайне:

– Если ты здесь, если слышишь меня, дай знак: шевельни рукой или открой на мгновение глаза, ибо сердце мое изнывает в старой груди... Дай знак, я ведь так любил тебя. Говори...

И, наклонившись над гробом, он устремил ястребиные глаза свои на закрытые веки Ротгера и стал ждать.

– Да как же можешь ты говорить? – сказал он наконец. – От тебя веет холодом и тлением. Но если ты молчишь, так я скажу тебе кое-что, а душа твоя пусть прилетит сюда, к горящим свечам, и слушает.

Сказав это, он еще ближе наклонился к лицу трупа.

– Помнишь, как капеллан не дал нам добить Юранда и как мы поклялись ему не делать этого? Хорошо, я сдержу клятву, но порадуя тебя, где бы ты ни был.

Сказав это, он отошел от гроба, поставил на место подсвечники, которые перед тем отодвинул, накрыл все тело и лицо трупа плащом и вышел из часовни.

У дверей его комнаты спал слуга, а внутри, по приказу Зигфрида, ждал его Дидерих.

Это был маленький, коренастый человек, на кривых ногах и с квадратным лицом, часть которого закрывал черный с зубчатыми краями капюшон, падавший на плечи. На нем был кожух из невыделанной буйволово́й кожи, на бедрах такой же пояс, за которым засунута была связка ключей и торчал короткий нож. В правой руке он держал железный фонарь, а в левой – медный котелок и факел.

– Ты готов? – спросил Зигфрид.

Дидерих молча поклонился.

– Я приказал, чтобы у тебя в котелке были угли.

Маленький человечек снова ничего не ответил, только указал на пылающие в камине поленья, взял стоящий возле камина совок и стал выгребать в котелок уголья, потом зажег фонарь и стоял в ожидании.

– А теперь слушай, пес, – сказал Зигфрид, – когда-то ты проговорился о том, что велел тебе сделать комтур Данфельд, и комтур велел отрезать тебе язык. Но так как ты можешь показать капеллану все, что захочешь, пальцами, то предупреждаю тебя, что если ты хоть одним движением намекнешь ему о том, что ты сделаешь по моему приказу, я велю тебя повесить.

Дидерих снова молча поклонился; только лицо его зловеще подернулось от страшного воспоминания, потому что язык у него был вырван по совершенно другой причине, нежели говорил Зигфрид.

– Теперь ступай вперед и веди меня в подземелье к Юранду.

Палач схватил огромной рукой своей ручку котелка, поднял фонарь, и они вышли. Они прошли мимо спящего слуги и направились не к главным дверям, а за лестницу, где тянулся узкий коридор, шедший вдоль всего здания и кончавшийся тяжелой дверью, скрытой в углублении стены. Дидерих отворил ее, и они снова очутились под открытым небом, на небольшом дворике, со всех сторон окруженном каменными амбарами, в которых на случай осады хранились запасы зерна. Под одним из этих амбаров, с правой стороны, находились подземелья для пленников. Там не было никакой стражи, потому что, если бы даже пленник сумел выбраться из подземелья, он очутился бы на дворике, единственный выход из которого был через эту дверь.

– Подожди, – сказал Зигфрид.

И, опершись рукой о стену, он остановился, потому что почувствовал, что тяжело дышать, точно грудь его заключена в слишком тесный панцирь. На самом же деле то, что ему пришлось пережить, превосходило его стариковские силы. Он почувствовал, что лицо его под капюшоном покрывается каплями пота, и решил немного отдохнуть.

После сумрачного дня настала необычайно ясная ночь. На небе горела луна, и весь дворик был залит ярким светом, в котором снег отливал зеленоватым блеском.

Зигфрид жадно втягивал в легкие свежий и немного морозный воздух. Но в тот же миг ему вспомнилось, что в такую же светлую ночь Ротгер уезжал в Цеханов, откуда вернулся трупом.

– А теперь ты лежишь в часовне, – тихонько пробормотал он.

А Дидерих, думая, что комтур обращается к нему, поднял фонарь и осветил его лицо, страшно бледное, почти как у трупа, но в то же время похожее на лицо старого ястреба.

– Веди, – сказал Зигфрид.

Желтый круг света от фонаря снова забегал по снегу, и они пошли дальше. В толстой стене амбара было углубление, в котором несколько ступенек вело к большой железной двери. Дидерих отпер ее и стал спускаться по лестнице в глубину черной пропасти, высоко поднимая фонарь, чтобы осветить Дорогу комтуру. В конце лестницы был коридор, а в нем справа и слева необычайно низкие двери от камер, в которых были заключены узники.

– К Юранду, – сказал Зигфрид.

Через минуту скрипнули петли, и они вошли. Но в яме было совершенно темно, и Зигфрид, плохо видя при слабом свете фонаря, велел зажечь факел; вскоре в ярком свете его огня он увидел лежащего на соломе Юранда. У пленника были на ногах оковы, а на руках довольно длинная цепь, позволявшая ему подносить пищу ко рту. Одет он был в тот самый мешок, в котором предстал перед комтурами, но теперь мешок был покрыт темными следами крови: в тот день, когда конец битве был положен только тогда, когда обезумевшего от боли и ярости рыцаря удалось опутать сеть, кнехты хотели добить его и алебардами нанесли ему несколько ран. Добить его помешал капеллан щитненского замка, удары оказались не смертельными, но Юранд потерял столько крови, что его отнесли в темницу еле живого. Все в замке думали, что он с часу на час должен умереть, но огромная сила его организма превозмогла смерть, и он был жив, хотя раны его не были перевязаны, а сам он был брошен в ужасное подземелье, где в оттепель капало со стен, а во время морозов они покрывались толстым слоем инея и кристаллами льда.

И вот он лежал на соломе, в оковах, но такой огромный, что лежа казался каким-то обломком скалы, обтесанным наподобие человеческой фигуры. Зигфрид велел осветить его лицо и некоторое время молча всматривался в него, а потом обратился к Дидериху и сказал:

– Видишь, у него только один глаз, выжги его ему.

В голосе его звучала какая-то слабость, дряхлость, но именно оттого страшное приказание казалось еще страшнее. Факел слегка задрожал в руке палача, однако он наклонил его, и вскоре на глаз Юранда стали капать крупные, пылающие капли смолы, через минуту покрывшие весь глаз, от самой брови до скулы.

Лицо Юранда скорчилось, седые усы поднялись кверху и открыли стиснутые зубы, но он не сказал ни слова, и не то от изнеможения, не то из врожденного упорства не издал даже стона.

А Зигфрид сказал:

– Тебе обещано, что ты выйдешь на волю, и ты выйдешь, но не в состоянии будешь жаловаться на орден, потому что язык, которым ты против него кощунствовал, будет у тебя отнят.

И он снова дал знак Дидериху, но тот издал странный гортанный звук и знаками показал, что ему нужно иметь обе руки свободными, а кроме того, чтобы комтур посветил ему.

Тогда старик взял факел и стал держать его в вытянутой, дрожащей руке; однако, когда Дидерих придавил коленями грудь Юранда, Зигфрид отвернулся и стал смотреть на покрытую инеем стену.

Раздался короткий звон цепей, потом послышалось тяжелое дыхание человеческих грудей, потом глубокий стон, и наконец настала тишина.

Потом снова раздался голос Зигфрида:

– Юранд, наказание, которое ты понес, и так должно было тебя постигнуть, но, кроме того, я обещал Ротгеру, которого убил муж твоей дочери, что положу ему в гроб твою правую руку.

Дидерих, который, услышав эти слова, уже приблизился, опять наклонился к Юранду.

Через несколько времени старый комтур и Дидерих опять очутились на залитом лунным светом дворике. Пройдя коридор, Зигфрид взял из рук палача фонарь и какой-то темный предмет, завернутый в материю, и громко сказал сам себе:

– Теперь в часовню, а потом на башню.

Дидерих быстро взглянул на него, но комтур велел ему идти спать, а сам, покачивая фонарем, направился в ту сторону, где светились окна часовни. Дорогой он думал о том, что произошло. Он ощущал какую-то уверенность, что и ему самому приходит конец и что это его последние действия на земле; но его душа, душа меченосца, по природе более жестокая, чем лживая, так привыкла уже к изворотам, заметанию следов и прикрыванию преступлений ордена, что и теперь он невольно думал, что ведь можно бы было позор и ответственность, сопряженные с истязаниями Юранда, снять как с самого себя, так и с ордена. Ведь Дидерих нем, он ничего не расскажет, а если он и умеет объясняться с капелланом, так хотя бы из страха ничего не откроет ему. Так что же? Кто докажет, что Юранд не получил всех этих ран во время свалки? Он легко мог потерять язык от удара копьем, пришедшегося прямо в рот; меч или топор мог легко отсечь ему правую руку; глаз у него был только один, так что же удивительного в том, что его у него вышибли, когда он в ярости бросился один на весь гарнизон Щитно? Ах, Юранд! Последняя в жизни радость на мгновение заставила сердце меченосца забиться сильнее. Да, если Юранд останется жив, он должен быть отпущен на волю. Тут Зигфрид вспомнил, как когда-то они совещались об этом с Ротгером и как молодой брат, смеясь, говорил: "Пускай тогда идет, куда глаза глядят, а если не сможет попасть в Спыхов, так пускай порасспросит насчет дороги". Ибо то, что случилось, было у них уже отчасти решено. Но теперь, когда Зигфрид снова вошел в часовню, и, став на колени перед гробом, положил к ногам Ротгера окровавленную руку Юранда, последняя радость, минуту тому назад трепетавшая в нем, отразилась в его лице тоже в последний раз.

– Видишь, – сказал он, – я сделал больше, чем мы решили: король Иоганн

Люксембургский, хоть и был слеп, все же вышел на бой и погиб со славой, а Юранд уже не выйдет и подохнет как пес под забором.

Тут снова дыхание у него оборвалось, как в то время, когда он шел к Юранду, а на голове он ощутил тяжесть словно от железного шлема, но это длилось всего одно мгновение. Он глубоко вздохнул и сказал:

– Эх, пора и мне. Был у меня один ты, а теперь нет никого. Но рели мне суждено жить еще, то клянусь тебе, сыночек, что либо сам погибну, либо положу на твою гробницу и ту руку, которая тебя погубила. Убийца твой еще жив...

Тут зубы его стиснулись, по телу пробежала такая судорога, что слова оборвались, и, лишь спустя несколько времени, он снова заговорил прерывающимся голосом:

– Да... жив еще твой убийца, но я настигну его... а прежде, чем настигну, причиню ему мучение, худшее, чем сама смерть...

И он замолчал.

Через минуту он встал и, приблизившись к гробу, спокойно сказал:

– Прощай... В последний раз посмотрю тебе в лицо и, быть может, пойму, рад ли ты моему обету. В последний раз...

И он открыл лицо Ротгера, но вдруг отпрянул назад.

– Ты смеешься... – сказал он. – Но ты страшно смеешься...

Труп под плащом оттаял; может быть, это произошло и от теплоты свечей, но так или иначе – тело начало разлагаться с необычайной быстротой, и лицо молодого комтура сделалось действительно страшно! Чудовищно распухшие и почерневшие уши были отвратительны, а синие, вздувшиеся губы, казалось, искривились улыбкой.

Зигфрид как можно скорее закрыл эту ужасную человеческую маску.

Потом взял фонарь и вышел.

Дорогой в третий раз оборвалось у него дыхание, и, вернувшись к себе, он бросился на свое жесткое монашеское ложе и некоторое время лежал без движения. Он думал, что уснет, но вдруг его охватило странное чувство. Ему показалось, что сон уже никогда не придет к нему, а вместо того, если он останется в этой комнате, немедленно придет смерть.

Зигфрид не боялся ее. Охваченный невероятной усталостью и потеряв надежду на сон, он видел в ней какой-то бесконечный отдых, но не хотел покориться ей в эту ночь и, сев на ложе, стал говорить:

– Дай мне срок до завтра...

Но вдруг явственно услышал какой-то голос, шепчущий ему на ухо:

– Уходи из этой комнаты. Завтра будет уже поздно, и ты не исполнишь того, что обещал; уходи из этой комнаты.

Комтур, с трудом поднявшись, вышел. На угловых башнях стен перекликались часовые. Перед часовней на снег из окон лился желтый свет. Посреди двора, у колодца, играли две черных собаки, трепля какой-то лоскут; впрочем, на дворе было пустынно и тихо.

– Так непременно в эту же ночь? – проговорил Зигфрид. – Я устал свыше меры, но иду... Все спят; может быть, Юранд, изнуренный пыткой, тоже спит, только я не усну. Иду, иду, потому что в комнате смерть, а я тебе поклялся... Но потом пусть придет смерть, если не придет сон. Ты там смеешься, а у меня не хватает силы. Смеешься – значит, рад. Но видишь, пальцы мои одеревенели, сила ушла из рук, и одному мне с этим не справиться... Это сделает монахиня, которая спит с ней...

Говоря так, он тяжелыми шагами шел к стоящей у ворот башне. Тем временем собаки, игравшие у колодца, подбежали к нему и стали ласкаться. В одной из них Зигфрид узнал волкодава, бывшего таким неотлучным товарищем Дидериха, что говорили, будто он служит ему по ночам вместо подушки.

Собака, узнав комтура, тихонько залаяла, потом повернулась к воротам и направилась к ним, точно угадывая мысль человека.

Через минуту Зигфрид очутился перед узкой дверью башни, на ночь запиравшейся снаружи. Отодвинув засовы, он ощупью нашел перила лестницы, начинавшиеся сейчас же за дверью, и стал подниматься вверх. Забыв по рассеянности фонарь, он шел ощупью, осторожно ступая и ища ногами ступени.

Вдруг через несколько шагов он остановился, потому что немного выше, но очень близко, услышал нечто, похожее на храп человека или зверя.

– Кто там?

Ответа не было, только храп стал тише.

Зигфрид был человеком бесстрашным; он не боялся смерти, но и его храбрость и умение владеть собой в эту страшную ночь уже исчерпались. В голове у него мелькнула мысль, что путь ему преграждает Ротгер, и волосы у него стали дыбом, а лоб покрылся холодным потом.

И он отступил почти к самому выходу.

– Кто там? – спросил он сдавленным голосом.

Но в этот миг что-то с такой страшной силой ударило его в грудь, что старик без чувств упал навзничь за раскрытую дверь, не издав ни звука.

Настала тишина. Потом из башни скользнула какая-то темная фигура, она украдкой стала пробираться к конюшням, стоявшим на левой стороне двора, возле цейхгауза. Большой волкодав Дидериха молча побежал за ней. Другая собака тоже бросилась за ними и исчезла во мраке двора, но вскоре вернулась с опущенной к земле головой; она медленно бежала обратно и как бы обнюхивала следы ушедших. Так подбежала она к лежащему без чувств Зигфриду, внимательно обнюхала его и наконец, сев у его головы, подняла морду и завывала.

Вой раздавался долго, наполняя эту страшную ночь новой скорбью и ужасом. Наконец заскрипели двери, скрытые в нише больших ворот, и на дворе появился привратник с

алебардой.

– Чтоб ему сдохнуть, этому псу, – сказал он. – Вот я научу тебя, как выть по ночам.

И, нацелившись концом алебарды, он хотел пихнуть ею животное, но в тот же миг увидел, что кто-то лежит у раскрытой дверцы башни.

– Господи Иисусе Христе, что такое?

Нагнув голову, он посмотрел в лицо лежащего человека и принялся кричать:

– Эй, кто там?... Сюда! На помощь...

Потом подбежал к воротам и принялся изо всех сил дергать за веревку колокола.

VIII

Хотя Гловачу хотелось поскорее добраться до Згожелиц, он, однако, не мог ехать так скоро, как хотел бы, потому что дороги очень испортились. После суровой зимы, после трескучих морозов и таких снегов, что под ними исчезали целые деревни, настала сильная оттепель. Февраль (Лютый), вопреки своему названию, оказался несколько не лютым. Сперва стояли густые, непроницаемые туманы, потом шли дожди, почти проливные, от которых на глазах таяли белые сугробы, а в перерывах между дождями бушевали такие вихри, какие обычно бывают в марте: порывистые, внезапные, то сгонявшие, то разгонявшие тяжелые облака по небу, а на земле завывавшие в зарослях, гудевшие в лесах и пожиравшие снега, под которыми еще недавно дремали ветви и сучья в тихом зимнем сне.

И тотчас леса почернели. В лугах забурлила широко разлившаяся вода, реки и ручьи вздулись. Рады были такому обилию мокрой стихии одни рыбаки, все же другие люди, сидя точно на привязи, томились в домах и хатах. Во многих местах из деревни в деревню можно было пробраться только на лодках. Правда, всюду были гребли и дороги, но теперь гребли размякли, и в низких местах бревна ушли в слякоть, и проезд по ним стал опасен, а иногда и совсем невозможен. Особенно трудно было пробираться чеху по озерной Великой Польше, где каждую весну разливы бывали больше, чем в иных областях государства, а потому и дорога, особенно для едущих на лошадях, становилась тяжелее.

И потому ему часто приходилось останавливаться и ждать целыми неделями, то в городах, то в деревнях у помещиков, которые, впрочем, согласно обычаю, принимали его и его слуг гостеприимно, охотно слушая рассказы о меченосцах и платя за известия хлебом и солью. Весна уже окончательно установилась и прошла добрая половина марта, когда Гловач очутился вблизи Згожелиц и Богданца.

Сердце его билось при мысли о том, что скоро он увидит свою госпожу, потому что хоть он и знал, что никогда не получит ее, как не получит и небесной звезды, однако чтил и любил ее всей душой. Но он решил прежде заехать к Мацьке, во-первых, потому, что к нему был послан, а во-вторых, потому, что вел людей, которые должны были остаться в Богданце. Збышко, убив Ротгера, взял себе его свиту, состоявшую, по обычаю меченосцев, из десяти слуг и такого же числа лошадей. Двое слуг отвезли тело убитого в Щитно, а оставшихся, зная, как жадно старик Мацько ищет крестьян, Збышко отправил с Гловачем в подарок дяде.

Чех, заехав в Богданец, не застал Мацьки дома: ему сказали, что тот пошел с

собаками и арбалетом в лес; но Мацько вернулся еще засветло и, узнав, что приехало к нему много людей, пошел скорее, чтобы поздороваться и предложить им гостеприимство. Он сперва не узнал Гловача, когда же тот назвал ему себя, Мацько в первую минуту страшно испугался и, бросив арбалет и шапку на землю, воскликнул:

– Боже мой! Убили его? Говори скорей все, что знаешь.

– Он не убит, – отвечал чех, – он в добром здоровье.

Услыхав это, Мацько слегка сконфузился и засопел, а потом глубоко, с облегчением вздохнул.

– Слава Господу Богу Иисусу Христу, – сказал он. – Где же он?

– Поехал в Мальборг, а меня прислал сюда с вестями.

– А зачем он в Мальборг?

– За женой.

– Господи боже мой! За какой женой?

– За дочерью Юранда. Тут на целую ночь хватить рассказывать, но позвольте мне, господин, отдохнуть, а то я с дороги устал ужасно, с полуночи ехал не останавливаясь.

Мацько на время перестал расспрашивать, главное, однако, по той причине, что от изумления он лишился языка. Придя немного в себя, он позвал слугу, чтобы тот подкинул дров в камин и принес чеху поесть, а сам стал ходить по комнате, размахивая руками и говоря сам с собой:

– Ушам своим не верю.. Дочь Юранда.. Збышко женат...

– И женат, и не женат, – сказал чех.

И только теперь он стал медленно рассказывать, что и как было, а Мацько жадно слушал, прерывая его время от времени расспросами, потому что в рассказе чеха не все было ясно. Например, Гловач не знал, как следует, когда Збышко женился, потому что не было никакой свадьбы; однако он утверждал, что венчание состоялось, что произошло оно благодаря самой княгине Анне Дануте, а стало известно людям только по приезде меченосца Ротгера, с которым Збышко, выйдя на суд Божий, сразился в присутствии всего мазовецкого двора.

– А! Сразился? – с неудержимым любопытством, сверкнув глазами, закричал Мацько.

– И что же?

– Он рассек немца пополам, да и мне помог Господь управиться с оруженосцем.

Мацько снова начал сопеть – на этот раз от удовольствия.

– Ну, – сказал он, – воин он не на шутку. Последний из Градов, но ей-богу же не самый плохой. Еще бы. А тогда, с фризами?... Ведь совсем был подросток...

Тут он раза два внимательно посмотрел на чеха и снова заговорил:

– Но и ты мне нравишься. И видно – не врешь. Вруна я издали чую. Оруженосец – это не важно, ведь ты и сам говоришь, что дела с ним было не много, но вот что ты тому собачьему сыну руку сломал, а перед тем тура повалил, это здорово.

Потом он вдруг спросил:

– А добыча? Тоже хорошая?

– Взяли мы латы, лошадей и десять слуг, из которых восемь молодой пан присылает вам.

– А что же он с двумя сделал.

– Отправил с телом.

– Что ж, не мог князь своих слуг отправить? Уж те не вернуться.

Чех улыбнулся на эту жадность, которая, впрочем, часто обнаруживалась в Мацьке.

– Теперь молодому пану уже нечего обращать внимания на такие вещи, – сказал он. – Спыхов – большое богатство.

– Большое, а то как же. Да только еще не его.

– А то чье же? Мацько даже встал.

– Говори же! Где Юранд?

– Юранд у меченосцев в тюрьме, того и гляди умрет. Бог знает, выживет ли, а если выживет, так вернется ли; а если и выживет, и вернется, так и то все равно: ксендз Калев читал его завещание и объявил всем, что наследник – молодой пан.

На Мацьку эти известия произвели, по-видимому, большое впечатление: они были одновременно так благоприятны и так неблагоприятны, что он не мог разобраться в них и не мог привести в порядок чувства, поочередно овладевавшие им. Известие о том, что Збышко женился, в первую минуту больно укололо его, потому что он любил Ягенку, как родной отец, и всеми силами желал соединить Збышку с ней. Но, с другой стороны, он уже привык считать это невозможным, а кроме того, в приданое за дочерью Юранда шло то, чего не могло пойти за Ягенкой: и любовь князя, и во много раз большие богатства. Мысленно Мацько уже видел Збышку княжеским комесом, господином Богданца и Спыхова, а в будущем и каштеляном. Это было не невозможно, потому что в те времена говорили про захудалого шляхтича так: "Было у него двенадцать сыновей, шестеро пало в боях, а шестеро сделались каштелянами". И народ, и отдельные семьи стояли на дороге к благополучию. Большое состояние могло только помочь Збышке на этой дороге, и потому жадности и родовой гордости Мацьки было чему радоваться. Однако довольно было у старика и поводов беспокоиться. Сам он когда-то ездил спасать Збышку к меченосцам и привез из этого путешествия железный наконечник стрелы под ребром, а вот теперь в Мальборг поехал Збышко, точно в волчью пасть. Что он найдет там: жену или смерть? "Там на него ласково смотреть не будут, – подумал Мацько, – ведь он только что убил их важного рыцаря, а раньше напал на Лихтенштейна, они же, собачьи дети, мстить любят". При этой мысли старый рыцарь сильно обеспокоился. Пришло ему в голову и

то, что дело не обойдется без драки Збышки с каким-нибудь немцем – ведь он "парень проворный". Но главное беспокойство было еще не в этом. Больше всего боялся Мацько, как бы его не посадили в темницу. "Они взяли в плен старого Юранда и его дочь, в свое время не побоялись взять самого князя в Злоторые, почему же они станут давать поблажку Збышке?"

Тут в голову ему пришел вопрос: что будет, если мальчик, даже избегнув рук меченосцев, так и не найдет жены вовсе? Сперва Мацько утешился мыслью, что в наследство после нее Збышко получит Спыхов, но радость эта была непродолжительна. Старика очень заботило богатство, но не менее заботил род, дети Збышки. "Если Дануся канет, как камень в воду, и никто не будет знать, жива она или умерла, то Збышко не сможет жениться на другой, и тогда Градов из Богданца не станет на свете. Эх, с Ягенкой было бы по-другому... Мочидолов тоже ворона крыльями либо пес хвостом не накроют, а такая девка каждый бы год рожала без промаху, как яблоня в саду". И вот грусть Мацьки стала больше, чем радость по поводу нового богатства, и от этой грусти, от беспокойства принялся он снова расспрашивать чеха, как было дело с этой свадьбой и когда было.

Чех на это ответил:

– Я уже вам говорил, благородный господин, что когда было – не знаю, а о чем догадываюсь – в том не побожусь.

– О чем же ты догадываешься?

– Я от молодого пана не отходил и спал с ним в одной комнате, когда он был болен. Только раз вечером велел он мне уйти, а потом я видел, как к пану вошли: сама княгиня, с ней панна Данута, рыцарь де Лорш и ксендз Вышонок. Я даже удивлялся, потому что у панны на голове был веночек, но подумал, что пана будут причащать... Может быть, тогда это и произошло... Я помню, как пан велел мне одеть его, как на свадьбу, но я тоже думал, что это ради причастия.

– А потом как же? Они остались одни?

– Э, не остались они одни, а если бы и остались, так пан тогда и есть не мог своими силами. А уж за панной приехали люди, как будто от Юранда, и под утро она уехала...

– И с тех пор Збышко ее не видал?

– Никто ее не видал. Наступило молчание.

– Что же ты думаешь? – спросил наконец Мацько. – Отдадут ее меченосцы или не отдадут?

Чех покачал головой, а потом безнадежно махнул рукой.

– По-моему, – медленно проговорил он, – она уже погибла навеки.

– Почему? – почти со страхом спросил Мацько.

– Потому что была бы надежда, если бы они говорили, что она у них. Можно было бы жаловаться, или заплатить выкуп, или силой отбить ее. Но они говорят так: "Была у нас какая-то девушка, отнятая у разбойников, и мы дали знать Юранду, но он ее

не признал, а за нашу доброту перебил у нас столько народу, что и настоящая битва не обходится дороже".

– Значит, Юранду показывали какую-то девушку?

– Говорят – показывали. Одному Богу ведомо. Может быть, это неправда, а может быть, они ему показали, да не ту. Одно только верно, что он людей перебил и что они готовы поклясться, что никогда не похищали его дочери. И это очень трудное дело. Если даже магистр прикажет, так и то они ответят ему, что ее у них нет. Кто их уличит? Тем более что придворные в Цеханове говорили о письме Юранда: в письме сказано, что она не у меченосцев.

– А может быть, и правда, что не у меченосцев?

– Эх, ваша милость... Уж если бы ее украли разбойники, так верно не для чего другого, как ради выкупа. Кроме того, разбойники не сумели бы ни написать письма, ни подделать печать пана из Спыхова, ни прислать хорошей охраны для панны.

– Верно. Да на что она меченосцам?

– А мечь Юранду? Они мечь предпочитают меду и вину, а что у них есть причины мстить, так это верно. Пан из Спыхова был для них грозой, а то, что он сделал под конец, окончательно вывело их из себя... Мой господин тоже, я слышал, поднял когда-то руку на Лихтенштейна, убил Ротгера... Мне Господь Бог помог руку сломать тому собачьему сыну... Эх, было их, окаянных, четверо, а теперь, извольте видеть, один жив, да и то стар... У нас тоже зубы есть, ваша милость!

Снова настало молчание.

– Ты хороший оруженосец, – сказал наконец Мацько. – А как ты думаешь: что они с нею сделают?

– Князь Витольд – могущественный князь; говорят, сам император немецкий в пояс ему кланяется, а что учинили они с его детьми. Мало у них замков? Мало подземелий? Мало веревок чтобы сделать петлю для шеи?

– Господи боже мой! – вскричал Мацько.

– Дай бог, чтобы они молодого пана не схоронили, хотя он поехал с княжеским письмом и с рыцарем де Лоршем, который человек благородного происхождения и в родстве с государями. Эх, не хотелось мне сюда ехать, потому что там скорее представился бы случай подраться. Я слышал, как раз мой господин говорил старому пану из Спыхова: "Вы, говорит, хитрый или нет? Я вот хитростью не добьюсь ничего, а с ними надо быть хитрым. Ох, говорит, вот дядя Мацько – тот бы здесь пригодился". Потому он меня и послал. Но дочери Юранда и вы, господин, не разыщите, потому что она, пожалуй, уже на том свете, а против смерти никакая хитрость не поможет...

Мацько задумался и только после долгого раздумья сказал:

– Ну так ничего и не сделаешь. Против смерти хитрость не поможет. Но если бы я туда поехал и узнал бы хоть то, что девушку убили, Спыхов и так достался бы Збышке, а сам он мог бы вернуться сюда и жениться на другой...

Тут Мацько перевел дух, точно сбросил с сердца какую-то тяжесть, а Гловач робким, тихим голосом спросил:

– На панне из Згожелиц?

– Ну да, – отвечал Мацько. – Тем более что она сирота, а Чтан из Рогова и Вильк из Бжозовой все пуще на нее наседают...

Но чех вскочил на ноги:

– Панна осиротела? Рыцарь Зых?

– Разве ты ничего не знаешь?

– Боже ты мой! Что случилось?

– Да, верно, как же тебе знать, коли ты прямо сюда приехал, а говорили мы только про Збышку. Осиротела она. По правде сказать, Зых из Згожелиц никогда дома не сидел, разве только когда у него были гости. А то ему сейчас же там становилось скучно. Раз написал ему аббат, что едет в гости к князю освецимскому Пшемку и зовет его с собой. А Зых тому и рад – ведь он с князем знаком был и не раз с ним гулял. Ну, приезжает, значит, Зых ко мне и говорит: "Я еду в Освецим, а оттуда в Глевицы, а вы тут посмотрите за Згожелицами". Меня сразу словно что подтолкнуло, я ему и говорю: "Не ездите, берегите имение и Ягенку, потому что я знаю, что Чтан с Вильком что-то неладное затевают". А надо тебе знать, что аббат из злобы на Збышку хотел выдать девку либо за Чтана, либо за Вилька, но потом, узнав их получше, однажды поколотил обоих посохом и прогнал из Згожелиц. Оно бы и хорошо, да не очень, потому что оба они страсть как обозлились. Теперь-то стало маленько потише, потому что они друг с другом подрались и оба лежат, а тогда просто минуты спокойной не было. Все на меня осталось, и охрана, и опека. А теперь Збышко хочет, чтобы я ехал... Что тут с Ягенкой будет – не знаю, а пока dokonчу тебе про Зыха. Не послушал он меня и поехал. Ну и гуляли они там, веселились. Из Глевиц поехали к отцу князя Пшемка, к старику Носаку, которому Цешин принадлежит. И тут Ясько, князь ратиборский, из ненависти к князю Пшемку, подослал на них разбойников под предводительством чеха Хшана. Князь Пшемку был убит, а с ним и Зых згожелипкий, попала ему стрела в плечо. Аббата оглушили железным цепом, так что он до сих пор головой трясет, ничего не понимает и языка, пожалуй, на весь век лишился. Ну, Хшана старый князь Носак купил у цампахского пана и так замучил его, что и старики о таких пытках не слыхивали; но этим ни горя своего не уменьшил, ни Зыха не воскресил, ни Ягенку не утешил. Вот оно, ихнее веселье... Шесть недель тому назад привезли Зыха сюда и похоронили.

– Такой силач... – с огорчением сказал чех. – Под Болеславцем я уж не мальчик был, а он в одну минуту со мной справился и в плен меня взял. Да это был такой плен, что я бы его и на волю не променял... Хороший, благородный пан... Пошли ему, Господи, царство небесное. Эх, жаль, жаль! А больше всего жаль бедной панны.

– Верно, что бедная. Другая и матери так не любит, как она любила отца. А кроме того, опасно ей жить в Згожелицах. После похорон, еще снегом не занесло Зыховой могилы, а уж Чтан с Вильком на згожелицкий дом напали. По счастью, узнали об этом заранее мои люди; бросился я с ребятами на помощь. Ну, бог дал, мы их хорошенько поколотили. После драки обняла девка мои ноги: "Коли не суждено было мне, говорит, стать Збышковой, так не буду ничьей, только спасите меня от этих

разбойников, потому что, говорит, я лучше помру, чем за кого-нибудь из них выйду". Ну, скажу я тебе, ты бы теперь Згожелиц не узнал, потому что я из них чуть не крепость сделал. Потом они еще раза два подступали, да ничего не могли поделаться. Теперь на время все стихло, потому что, как я уже тебе говорил, они друг с другом подрались, так что ни тот, ни другой ни рукой, ни ногой шевельнуть не могут...

Гловач не ответил на это ничего, но, слушая про Вилька и Чтана, стал как скрежетать зубами, словно кто открывал и закрывал скрипучие двери; потом стал похлопывать себя по коленам могучими своими руками, которые у него, видимо, так и зачесались. Наконец у него с трудом вырвалось только одно слово:

– Проклятые...

Но в этот миг в сенях раздались какие-то голоса, дверь распахнулась, и в комнату бегом ворвалась Ягенка, а с ней старший из ее братьев, четырнадцатилетний Ясько, похожий на нее как две капли воды.

Узнав от згожелицких крестьян, видевших на дороге каких-то путников, что какие-то люди под предводительством чеха Главы поехали в Богданец, она испугалась так же, как и Мацько; когда же ей, кроме того, сказали, что Збышки между этими людьми не было, она была почти уверена, что случилось несчастье, и тотчас прискакала в Богданец, чтобы узнать правду.

– Ради бога, что случилось? – закричала она, еще стоя на пороге.

– А что могло случиться? – отвечал Мацько. – Збышко жив и здоров. Чех бросился к своей госпоже и, став перед ней на колени, стал целовать края ее платья, но она этого совсем не заметила, потому что, услышав слова старого рыцаря, повернула голову от огня в тень и только через несколько времени, словно вспомнив, что надо поздороваться, сказала:

– Слава Господу Богу нашему Иисусу Христу.

– Во веки веков, – отвечал Мацько.

А она, быстро взглянув на чеха, стоящего на коленях, наклонилась к нему:

– Я рада тебе, Глава, от всей души, но почему же ты оставил своего господина?

– Он отослал меня, милосердная панна.

– Что ж он тебе приказал?

– Приказал ехать в Богданец.

– В Богданец? А еще что?

– Послал за советом и... с поклоном...

– В Богданец – и больше ничего? Ну хорошо. А сам он где?

– К меченосцам поехал, в Мальборг.

На лице Ягенки снова отразилось беспокойство.

– Жизнь, что ли, ему не мила? Зачем же?

– Искать, милосердная панна, того, чего не найдет.

– Верно, что не найдет, – заметил Мацько. – Как гвоздя не вобьешь без молотка, так и волю человеческую не исполнишь без воли Божьей.

– О чем вы говорите? – спросила Ягенка.

Но Мацько на ее вопрос ответил таким вопросом:

– А говорил тебе Збышко о дочери Юранда? Я слышал, что говорил?

Ягенка в первую минуту не ответила ничего и только потом, подавив вздох, ответила:

– Говорил. А что ему мешало говорить?

– Вот и хорошо. Так мне легче рассказывать, – сказал старик.

И он стал ей рассказывать, что слышал от чеха, сам удивляясь, что порой рассказ у него идет как-то несвязно и тяжело. Но так как он действительно был человек хитрый, а ему нужно было на всякий случай не "спугнуть" Ягенку, то он особенно настаивал на том, во что, впрочем, и сам верил, что Збышко в действительности никогда не был мужем Дануси и что она пропала навсегда.

Чех время от времени ему поддакивал, то кивая головой, то повторяя: "Богом клянусь, так и было" или: "Вот, вот, не иначе". Между тем девушка слушала, опустив ресницы и ни о чем больше не спрашивая, такая тихая, что молчание ее наконец обеспокоило Мацьку.

– Ну, что ж ты? – спросил он, окончив рассказ.

Она не ответила ничего, только две слезы заблестели у нее под опущенными ресницами и покатались по щекам.

Потом она подошла к Мацьке и, поцеловав у него руку, сказала:

– Слава Господу Богу...

– Во веки веков, – отвечал старик. – Что же ты так спешишь домой? Остайся с нами.

Но она не захотела остаться, говоря, что дома не выдала провизии к ужину, а Мацько, хотя и знал, что в Згожелицах есть старая шляхтянка Сецехо-ва, которая могла заменить Ягенку, не стал удерживать ее слишком настойчиво, понимая, что никому не хочется плакать при людях и что человек похож на рыбу, которая, почувствовав в своем теле острие остроги, старается скрыться как можно глубже.

И он только погладил девушку по голове, а потом вместе с чехом проводил ее на двор. Но чех вывел из конюшни лошадь, сел на нее и поехал за панной.

Мацько, вернувшись в комнату, вздохнул и, качая головой, стал бормотать:

– Дурак этот Збышко, это как есть...

И стало старику грустно. Подумал он, что если бы Збышко тотчас по возвращении женился на ней, то, быть может, теперь была бы уже и радость... А то что? Только напомнишь о нем, а уж у ней слезы из глаз текут, а парень скитается по свету и будет до тех пор стучать лбом в мальборгские стены, покуда его не разобьет; а дома пусто, только оружие висит на стенах без дела. Не нужен доход от хозяйства, ни к чему все хлопоты, ни к чему и Спыхов с Богданцем, коли некому будет их оставить.

Тут в душе Мацьки стал закипать гнев.

– Погоди, бродяга, – сказал он вслух, – не поеду я к тебе, а ты делай, что хочешь.

Но в тот же миг, как назло, охватила его страшная тоска по Збышке. "Ну, не поеду, – думал он, – а разве дома-то усужу? Наказание Божье... Чтобы мне никогда уже больше не увидеть этого шельмеца? Этого никак не может быть. Опять он там одного собачьего сына расколосил и добычу взял... Другой поседеет прежде, чем пояс получит, а уж его там сам князь опоясал... И правильно, потому что много хороших парней между шляхтичами, но такого второго, должно быть, нет".

И окончательно расчувствовавшись, он сперва стал поглядывать на латы, мечи и топоры, почерневшие от дыма, и как бы обдумывал про себя, что взять, что оставить; потом вышел из комнаты, во-первых, потому, что не мог усидеть в ней, а во-вторых, для того, чтобы велеть смазать колеса у телег и дать лошадям двойное количество корма.

На дворе, где уже становилось темно, вспомнил он о Ягенке, которая только что села здесь на коня, и снова вдруг загрустил.

– Ехать так ехать, – сказал он себе, – но кто здесь будет защищать девушку от Чтана и Вилька? Чтоб им пусто было...

Между тем Ягенка ехала с маленьким Яськой по лесной дороге, направляясь к Згожелицам, а чех молча тащился за ними, с сердцем, переполненным любовью и горем. Он видел слезы девушки, смотрел теперь на ее темную фигуру, еле заметную в лесном сумраке, и угадывал ее грусть и горе. И казалось ему, что вот-вот из сумрачной чаши протянутся за ней хищные руки Вилька и Чтана, и при этой мысли его охватывала дикая жажда боя. Жажда эта порой становилась такой неодолимой, что его охватывало желание взять топор или меч и рубить хоть сосны, растущие возле дороги. Он чувствовал, что если бы хорошенько дал волю рукам, то это его облегчило бы. В конце концов, он был бы рад хотя бы пустить коня вскачь, но те впереди ехали медленно, почти не разговаривая, потому что даже маленький Ясик, обыкновенно болтливый, теперь после нескольких попыток заметил, что сестра не хочет разговаривать, и тоже погрузился в молчание.

Но когда они были уже вблизи Згожелиц, горе в сердце чеха пересилило гнев на Чтана и Вилька. "Я не жалел бы и собственной крови, – сказал он себе, – чтобы утешить тебя, но что я, злосчастный, сделаю? Что скажу тебе? Разве только, что велел он тебе поклониться, и дай бог, чтобы это могло тебя утешить".

Подумав так, он подъехал ближе к Ягенке:

– Милосердная панна...

– Ты едешь с нами? – спросила девушка, как бы просыпаясь от сна. – Ну что скажешь?

– Я забыл, что пан велел мне сказать вам. В Спыхове, когда я уезжал, он позвал меня и сказал так: "Поклонись в ноги панне из Згожелиц, потому что плохо ли будет ей, хорошо ли, я никогда ее не забуду, а за то, говорит, что она сделала для меня и для дяди, да вознаградит ее Господь Бог и да сохранит ее в добром здравии".

– Пошли Господь и ему за доброе слово, – отвечала Ягенка.

Потом каким-то до того странным голосом, что сердце чеха растаяло окончательно, она прибавила:

– И тебе, Глава...

Разговор на время оборвался, но оруженосец был доволен своим поведением и тем, что сказал панне, потому что в душе говорил себе: "По крайней мере, она не подумает, что ей отплатили неблагодарностью". И вот он стал в честной голове своей выискивать, что бы еще сказать ей, и вскоре снова заговорил:

– Панна...

– Что?...

– Я... того... хотел вам сказать, как и старому пану из Богданца уже говорил, что та уже пропала навеки и что он ее никогда не отыщет, если даже сам магистр станет ему помогать.

– Это его жена, – отвечала Ягенка.

Чех покрутил головой:

– Как бы не так, жена...

На это Ягенка не ответила уже ничего, но дома, после ужина, когда Ясько и младшие братья ушли спать, она велела принести жбан меда и, обращаясь к чеху, спросила:

– Ты, может быть, хочешь спать? А то я немного поговорила бы...

Чех, хоть он и устал с дороги, готов был говорить хоть до утра, и они стали разговаривать; скорее – он снова подробно рассказал все приключения Збышки, Юранда, Дануси и его самого.

IX

Мацько готовился в путь, а Ягенка не показывалась в Богданце два дня, потому что провела их, совещаясь с чехом. Встретил ее старый рыцарь только на третий день, в воскресенье, по дороге в костел. Она с братом Яськой и с большим отрядом вооруженных слуг ехала в Кшесню, потому что не была уверена, что Чтан и Вильк

еще лежат и что они не учинят ей какой-нибудь напасти.

– Я хотела после обедни заехать в Богданец, – сказала она, поздоровавшись с Мацькой, – потому что у меня к вам важное дело, но мы можем поговорить о нем и сейчас.

Сказав это, она выехала вперед, видимо, не желая, чтобы слуги слышали разговор, а когда Мацько подъехал к ней, спросила:

– Значит, вы наверняка едете?

– Бог даст, завтра, не позже.

– В Мальборг?

– Может быть, в Мальборг, а может быть нет. Куда придется.

– Так послушайте теперь и меня. Я долго думала, что мне надо делать, а теперь хочу попросить у вас совета. Прежде, когда папенька был жив, а аббат здоров, все было иначе. А теперь я останусь без всякой защиты и либо буду сидеть в Згожелицах за частоколом, как в тюрьме, либо мне здесь не миновать беды от них. Сами скажите, разве это не так?

– Эх, – сказал Мацько, – думал об этом и я.

– И что же надумали?

– Ничего не надумал, но должен сказать только то, что ведь мы живем в Польше и что у нас за насилие над девушкой полагается по закону ужасное наказание.

– Это хорошо, но за границу удрать нетрудно. Я знаю, что и Силезия – польская страна, а ведь там все князья друг с другом ссорятся и друг на друга нападают. Кабы не это, был бы милый мой папенька жив. Налезли уже туда немцы, и все они мутят и бесчинствуют, и если кто хочет скрыться у них, тот скроется. Конечно, легко бы я ни Чтану, ни Вильку не досталась, но меня беспокоят и братья. Не будет меня здесь – все будет мирно, а если я останусь в Згожелицах, то бог весть, что случится. Пойдут несчастья, драки, а Яське уже четырнадцать лет, и никакая сила его не удержит, не то, что моя. В последний раз, когда вы пришли к нам на помощь, он так и рвался вперед, а когда Чтан швырнул в толпу булавой, так чуть ему голову не проломил. Ох, Ясько уже говорил слугам, что обоих их вызовет на поединок на утопанной земле. Я вам говорю, не будет ни одного дня спокойного, потому что и с младшими может случиться какая-нибудь беда.

– Верно! Собачьи они дети, и Чтан, и Вильк, – поспешно согласился Мацько, – но все-таки на детей руки они не поднимут. Тьфу! Такую вещь разве только меченосец сделает.

– На детей руки они не поднимут, но в драке или, чего упаси Господи, во время пожара, все может случиться. Что тут толковать! Старая Сецехова любит моих братьев как родных детей; значит, уход за ними будет, и без меня им безопаснее, чем со мной.

– Может быть, – отвечал Мацько. Потом посмотрел на девушку:

– Так чего же ты хочешь?

А она отвечала, понизив голос:

– Возьмите меня с собой.

В ответ на эти слова Мацько, хотя ему уже нетрудно было догадаться, чем кончится разговор, все-таки крепко задумался, потом остановил коня и воскликнул:

– Побойся ты Бога, Ягенка!

А она опустила голову и ответила как бы с робостью и в то же время с печалью:

– Что до меня, я лучше буду говорить откровенно, чем скрывать. И Глава, и вы говорите, что Збышко никогда уже не найдет ту, а чех думает еще того хуже. Бог свидетель, я не желаю ей никакого зла. Да хранит и защищает ее, несчастную, Мать Божья. Милее она была Збышке, чем я, ну, и ничего тут не поделаешь. Такая моя судьба. Но пока Збышко ее не отыщет или если, как вы думаете, он ее не найдет никогда, то... то...

– То что? – спросил Мацько, видя, что девушка все больше и больше смущается.

– То я не хочу выходить ни за Чтана, ни за Вилька, ни за кого бы то ни было.

Мацько вздохнул с облегчением.

– Я думал, ты уж его забыла, – сказал он.

А она еще грустнее ответила:

– Эх, где там!..

– Так чего же ты хочешь? Как же я возьму тебя к меченосцам?

– Необязательно к меченосцам. Теперь я хотела бы поехать к аббату, который лежит в Серадзи больной. Там возле него нет ни единой доброй души, потому что шпильманы небось больше глядят на бутылку, чем на него, а ведь он мой крестный и благодетель. Да если бы он даже здоров был, так и тогда я искала бы у него покровительства, потому что люди его боятся.

– Я спорить не буду, – сказал Мацько, который в сущности рад был решению Ягенки: хорошо зная меченосцев, он был глубоко уверен, что Дануся из ихних рук живая не выйдет. – Но я тебе только то скажу, что в дороге с девкой страсть как много хлопот.

– Может быть, с другими, да не со мной. Не сражалась я до сих пор никогда, но не в диковину мне из арбалета стрелять и переносить труды на охоте. Коли надо, так надо, этого вы не бойтесь. Возьму я одежду Яськи, на голову сетку надену, привяжу кинжал и поеду. Ясько, хоть и моложе меня, а ни на волос не меньше, а лицом так на меня похож, что, бывало, когда мы рядились на Масленице, так и папенька покойник не мог сказать, где он, а где я... Вот увидите, что не узнает меня ни аббат, ни кто другой...

– Ни Збышко?

– Если я его увижу...

Мацько с минуту подумал, потом вдруг улыбнулся и сказал:

– А ведь Вильк из Бжозовой и Чтан из Рогова взбесятся.

– А пусть себе взбесятся. Хуже то, что они, пожалуй, за нами поедут.

– Ну, этого ты не бойся. Стар я, но лучше мне под руку не подвертываться. Да и всем Градам... Ведь уж они Збышку-то испробовали...

Так разговаривая, доехали они до Кшесни. В костеле был и старый Вильк из Бжозовой, время от времени бросавший мрачные взгляды на Мацьку, но тот не обращал на это внимания. И он с легким сердцем после обедни поехал с Ягенкой домой. Но когда на перекрестке они простились друг с другом и когда Мацько один очутился в Богданце, в голову ему стали приходиться не столь веселые мысли. Он понимал, что в случае отъезда Ягенки, действительно, ничто не угрожает ни Згожелицам, ни ее родным. "За девкой бы лезли, – говорил он себе, – это другое дело, а на сирот и на их добро руки не подымут, потому что покроют себя страшным позором, и всякий пойдет тогда против них, как против настоящих волков. Но Богданец останется на милость Божью... Границы нарушат, стада захватят, крестьян переманят... Бог даст, вернусь – тогда отобью, на суд вызову, потому что за нас не один кулак, а и закон... Только когда я вернусь и вернусь ли?... Страсть, как они на меня обозлились, что я их к девке не подпускаю, а когда она уедет со мной, еще того пуще засвирепеют". И стало ему грустно, потому что он уже расхозяйничался в Богданце как следует, а теперь был уверен, что, когда вернется, снова застанет запущение и разруху.

"Ну, надо же что-нибудь сделать", – подумал он.

А после обеда велел оседлать коня, сел на него и поехал прямо в Бжозовую.

Приехал он туда уже в сумерки. Старый Вильк сидел в передней комнате за жбаном меда, а молодой, избитый Чтаном, лежал на покрытой шкурами скамье и тоже пил. Мацько неожиданно вошел в комнату и остановился на пороге, с суровым лицом, высокий, худой, без панциря, но с крепким кинжалом на боку; они тотчас узнали его, потому что на лицо падал свет огня, и в первую минуту и отец, и сын стремительно вскочили на ноги, подбежали к стенам и схватились за оружие, какое попало под руку.

Но старый воин, как свои пять пальцев знающий людей и обычаи, нисколько не смутился, не прикоснулся рукой к кинжалу, только уперся рукой в бок и спокойным голосом, в котором слегка дрожала насмешка, сказал:

– Как? Таково-то шляхетское гостеприимство в Бжозовой?

От этих слов у них разом опустились руки, старик со звоном выронил на землю меч, молодой – копьё, и они стали, вытянув головы к Мацьке, с лицами еще злыми, но уже удивленными, сконфуженными.

Мацько же усмехнулся и сказал:

– Слава Господу Богу Иисусу Христу.

- Во веки веков.
- И святому Георгию.
- Мы ему служим.
- Приехал я по-соседски, по-хорошему.
- И мы по-хорошему встречаем тебя. Особа гостя священна.

Тут старый Вильк подбежал к Мацьке, а за стариком и молодой, и оба они стали жать ему руку, а потом усадили к столу, на почетное место. Мигом подбросили в камин дров, накрыли на стол, поставили полные миски еды, кувшины с пивом, жбан меду, и все стали есть и пить. Молодой Вильк время от времени бросал на Мацьку пристальные взгляды, в которых уважение к гостю силилось победить ненависть к человеку, но угощал его так старательно, что даже побледнел от усталости, потому что был ранен и не имел в себе обычной силы. И отца, и сына мучило любопытство, зачем приехал Мацько, но ни один ни о чем его не расспрашивал, ожидая, когда тот сам заговорит.

Мацько же, как человек, знающий обычаи, хвалил кушанья, напитки и гостеприимство, и тогда, когда хорошо насытился, он степенно осмотрелся и произнес:

- Случается иногда людям ссориться, а то как и подраться, но соседский мир – всего выше.
- Нет ничего выше мира, – так же степенно отвечал старый Вильк.
- Но бывает и так, – сказал снова Мацько, – что когда человеку надо ехать в далекий путь, то, если бы даже он и жил с кем-нибудь не в ладах, все-таки жалко ему расстаться с недругом и не хочется уезжать не простившись.
- Пошли вам Господь за прямое слово.
- Не одно слово, но и поступок, потому что ведь я приехал.
- Рады мы вам от всей души. Приезжайте хоть каждый день.
- Дай бог и мне вас принять в Богданце, как пристало людям, знающим рыцарскую честь, да мне скоро надобно уезжать.
- Что ж, на войну или в какой святой город?
- Лучше бы что-нибудь в этом роде, но мое дело плохо, потому что еду я к меченосцам.
- К меченосцам? – одновременно воскликнули отец с сыном.
- Да, – отвечал Мацько. – А кто, не будучи их другом, к ним едет, тому лучше примириться с Господом и с людьми, чтобы не лишиться не только жизни, но и вечного спасения.

– Просто диво! – сказал старый Вильк. – Не видал я еще такого человека, который бы с ними столкнулся и не был бы обижен.

– Так же, как и все наше королевство, – прибавил Мацько. – Ни Литва до крещения, ни татары не были ему больше в тягость, чем эти чертовы монахи.

– Сушая правда, да ведь знаете: копилось и копилось, пока не накопилось, а теперь бы пора уже и покончить с этим, вот что.

Сказав это, старик слегка поплевал на ладони, а молодой сказал:

– Иначе и быть не может.

– И будет, да только когда? Это не нашего ума дело, а королевского. Может быть – скоро, может быть – не скоро... Это один Бог знает, а пока что – надо мне к ним ехать...

– Не с выкупом ли за Збышку?

Когда отец упомянул о Збышке, лицо молодого Вилька мгновенно побледнело от ненависти и стало зловещим. Но Мацько спокойно ответил:

– Может быть, и с выкупом, да не за Збышку.

Слова эти еще более усилили любопытство обоих владельцев Бжозовой, и старик, не в силах будучи вытерпеть дольше, сказал:

– Воля ваша – говорить или не говорить, зачем едете.

– Скажу, скажу, – кивая головой, отвечал Мацько. – Но сперва я вам скажу еще кое-что. Вот видите ли, после моего отъезда Богданец останется на милость Божью... Прежде, когда мы со Збышкой воевали с князем Витольдом, за деревенькой нашей присматривал аббат, ну и Зых из Згожелиц немного, а теперь не будет этого. Страсть, как горько бывает подумать, что хлопотал и трудился попусту... А ведь знаете, как бывает: людей у меня сманят, границы запашут, из стад тоже каждый урвет, что сможет, и если даже даст Бог счастливо вернуться, так опять мы вернемся на пустое место... Тут один выход, одно спасение: хороший сосед. Вот я и приехал просить вас по-соседски, чтобы взяли вы Богданец под свое покровительство и не дали бы меня в обиду...

Услышав эту просьбу, старый Вильк взглянул на молодого, а молодой на старого и оба весьма изумились. Наступило молчание, потому что сначала никто не мог найти ответа. А Мацько поднес к губам чарку меда, выпил ее, а потом продолжал, так спокойно и доверчиво, словно оба хозяина с давних пор были его лучшими друзьями:

– Ну, я вам скажу по совести, от кого я здесь пуще всего жду бед. Ни от кого другого, как от Чтана из Рогова. С вашей стороны, если бы мы даже расстались во вражде, я бы не боялся, по той причине, что вы рыцари, которые всегда станут прямо перед врагом, но за спиной его мстить бесчестно не станут. Э, с вами совсем другое дело... Кто рыцарь, тот рыцарь... Но Чтан человек простой, а от простого человека всего можно ожидать, тем более что, как вы сами знаете, он страшно на меня зол за то, что я его не подпускаю к Ягенке, Зыховой дочери.

– Которую для племянника бережете, – вскричал молодой Вильк.

Мацько посмотрел на него и некоторое время держал его под холодным своим взглядом, потом обратился к старику и сказал спокойно:

– Знаете, мой племянник женился на одной мазурской девушке и хорошее взял приданое.

Снова настало молчание, еще более глубокое; отец и сын некоторое время смотрели на Мацьку с раскрытыми ртами, но наконец старший проговорил:

– А? Как так? А ведь говорили... Да ну!..

Мацько же, как бы не обращая внимания на вопрос, продолжал:

– Потому-то и надо мне ехать и потому я прошу вас: заглядывайте вы кое-когда в Богданец и не давайте его в обиду, особенно же охраните меня от нападения Чтана как благородные и хорошие соседи.

Между тем молодой Вильк, у которого ум был довольно проворный, быстро смекнул, что раз Збышко женился, то лучше быть с Мацькой в дружбе, потому что и Ягенка питала к нему доверие и во всем готова была следовать его советам. Перед глазами молодого забияки открылись совсем новые горизонты. "Надо не ссориться с Мацькой, надо еще ему понравиться", – сказал он себе. И хотя он был немного пьян, однако проворно протянул под столом руку, схватил отца за колено, крепко сжал его, как бы давая знак, чтобы тот не сказал чего-нибудь неподходящего, а сам произнес:

– Вы Чтана не бойтесь. Ого, пусть-ка попробует! Правда, поколотил он меня маленько, да и я зато так исхлестал ему бородатую морду, что его родная мать не узнает. Не бойтесь ничего. Поезжайте спокойно. Ни единой вороны у вас в Богданце не пропадет.

– Ну, вижу я, вы благородные люди. Клянетесь?

– Клянемся, – вскричали оба.

– Рыцарской честью?

– Рыцарской честью.

– И крестом?

– И крестом, и Господом Богом.

Мацько с довольным видом улыбнулся, а потом сказал:

– Ну, этого я от вас и ожидал. А коли так, я еще кое-что скажу... Зых, как вы знаете, поручил мне опеку над детьми. Потому-то я и мешал и Чтану, и тебе, молодой человек, когда вы силой хотели вторгнуться в Згожелицы. А теперь, когда я буду в Мальборге, а то и бог весть где, какая это будет опека... Правда, сирот бережет Господь, и тому, кто захочет обидеть их, не только отрубят голову топором, но и объявят негодяем. Однако грустно мне, что я уезжаю. Страсть, как грустно. Обещайте же мне, что и сирот Зыховых не только сами не обидите, но и другим обидеть их не дадите.

– Клянемся, клянемся.

– Рыцарской честью и крестом?

– Рыцарской честью и крестом.

– Бог слышал. Аминь, – закончил Мацько.

И вздохнул с облегчением, потому что знал, что такую клятву они сдержат, хотя бы каждый из них от гнева и злости искусал себе руки.

И он начал сейчас же прощаться, но они удержали его почти насильно. Пришлось ему пить и считаться родством со старым Вильком, а молодой, обычно, по пьяному делу, старавшийся затеять ссору, на этот раз только грозил Чтану, а за Мацькой ухаживал так старательно, точно завтра же должен был получить от него Ягенку. Однако к полуночи он лишился чувств от напряжения, а когда его привели в себя, уснул непробудным сном. Старик вскоре последовал примеру сына, и Мацько оставил их обоих у стола крепко спящими.

Однако сам он, будучи необычайно вынослив, не был пьян, а только слегка взволнован и потому, возвращаясь домой, почти с радостью думал о том, что сделал.

– Ну, – говорил он себе, – и Богданец, и Згожелицы в безопасности. Взбесятся они из-за отъезда Ягенки, а стеречь и мое, и ее добро будут, потому что должны. Господь Бог дал человеку ум... Где нельзя кулаком – надо разумом... Коли вернусь – без того не обойдется, чтобы старик меня не вызвал на поединок, да это не беда... Только бы мне Бог дал так же поддеть меченосцев... Да с ними труднее... Наш, хоть и между ними случаются собачьи дети, все-таки если поклянется крестом и рыцарской честью, так клятву сдержит, а для них клятва то же, что плевок на пол. Но, может быть, укрепит меня Матерь Господа нашего, и я на что-нибудь пригожусь Збышке, как теперь пригодился Зыховым детям и Богданцу...

Тут пришло ему в голову, что, по правде сказать, девушка могла бы и не ехать, потому что два Вилька будут ее беречь, как зеницу ока. Но через минуту он эту мысль отбросил: "Вильки будут ее стеречь, но, благодаря этому, тем сильнее будет наседать Чтан. Бог знает, кто кого одолеет, а уж наверное произойдут драки и нападения, в которых могут пострадать и Згожелицы, и Зыховы сироты, а может быть, и сама девушка. Вилькам легче будет стеречь один Богданец, а для девушки во всяком случае лучше быть подальше от этих забияк и в то же время поближе к богатому аббату".

Мацько не верил в то, чтобы Дануся могла выйти живой из рук меченосцев, и потому он еще не лишился надежды, что, когда со временем Збышко вернется вдовцом, он обязательно поймет, что быть ему мужем Ягенки – на то есть воля Божья.

– Эх, господи боже мой! – говорил он себе. – Вот кабы он, имея Спыхов, женился потом на Ягенке с Мочидолами и с тем, что ей оставит аббат, не пожалел бы я воску на свечи.

В таких размышлениях дорога из Бжозовой показалась ему недлинной, однакож в Богданец он прибыл уже поздней ночью и удивился, увидев, что окна ярко освещены. Слуги тоже не спали: лишь только он въехал во двор, к нему подбежал конюший.

– Гости какие-нибудь или что? – спросил Мацько, слезая с лошади.

– Панич из Згожелиц с чехом, – отвечал конюший.

Мацьку удивил этот приезд.. Ягенка обещала приехать завтра на рассвете, и они должны были тотчас отправляться в дорогу. Почему же приехал Ясько да еще так поздно? Старый рыцарь подумал, что могло что-нибудь случиться в Згожелицах, и с некоторой тревогой в душе вошел в дом.

В комнате, в большом из глины камине, заменявшем в доме обычные очаги, ярко и весело горели сухие сосновые ветви, а над столом в светлых подставках горели два факела, при свете которых Мацько увидел Яську, чеха Главу и еще одного молодого слугу, с лицом румяным, как яблоко.

– Как поживаешь, Ясько? А что же Ягенка? – спросил старый шляхтич.

– Ягенка велела сказать вам, – сказал мальчик, целуя у него руку, – что раздумала и предпочитает остаться дома.

– Побойся Бога! Что такое? Как? Что это ей пришло в голову? Но мальчик вскинул на него голубые глазки и стал смеяться.

– Чего ж ты квакаешь?

Но в эту минуту чех и другой слуга тоже разразились веселым смехом.

– Вот видите? – вскричал мнимый мальчик. – Кто же меня узнает, если и вы не узнали?!

Тут только Мацько внимательнее присмотрелся к стройной фигуре и воскликнул:

– Во имя Отца и Сына. Просто святки. А ты здесь зачем, малыш?

– Как зачем?... Кому в дорогу, тому пора...

– Да ведь ты завтра утром должна была приехать?

– Ну да. Завтра утром, чтобы все видели. Завтра в Згожелицах подумают, что я у вас в гостях, и не поймут ничего до послезавтра. Сецехова и Ясько знают, но Ясько рыцарской честью поклялся, что скажет только тогда, когда начнут беспокоиться. А ведь вы меня не узнали, а?

Теперь и Мацько начал смеяться.

– Ну-ка, дай еще на себя посмотреть... Эх, отличный ты парень...

И он стал грозить ей пальцем, смеясь, но смотрел на нее с большим восторгом, потому что такого мальчика никогда еще не видал. На голове у нее была красная шелковая сеточка, на плечах зеленый суконный кафтан, штаны на бедрах широкие, а ниже обтянутые; у них одна половина была того же Цвета, как сеточка, а другая с продольными полосами. С драгоценным кинжалом на боку, с улыбающимся и сияющим, как заря, лицом, она была так прекрасна, что от нее нельзя было оторвать глаз.

– Боже ты мой! – говорил развеселившийся Мацько. – Не то чудесная панночка, не

то цветочек, не то что-то еще.

Потом он обратился к другому мальчику и спросил:

– А этот?... Небось тоже какой-нибудь оборотень?

– Да ведь это Сецехова, – отвечала Ягенка. – Нехорошо мне было бы одной между вами, вот я и взяла с собой Анульку: вдвоем веселей, и помощь есть и услуга. Ее тоже никто не узнает.

– Вот тебе на! Мало было одной, будут две.

– Не смейтесь.

– А знаешь ты, баловница, откуда я? Из Бжозовой.

– Боже мой! Да что вы говорите?

– Правду, как правда и то, что Вильки будут оберегать от Чтана и Богданец, и Згожелицы. Ну, вызвать врагов и подраться с ними легко, но из врагов сделать стражей своего же добра, это не всякий сумеет.

Тут Мацько начал рассказывать о своей поездке к Вилькам, как он к ним втерся в доверие и как поддел их, а она слушала с большим удивлением; когда же он наконец замолчал, она сказала:

– Насчет хитрости Господь Бог для вас не поскупился, и я думаю, что всегда все будет так, как вы хотите.

Но Мацько в ответ на эти слова как бы с грустью стал качать головой.

– Эх, девушка, кабы все всегда так бывало, как я хочу, так ты бы давно уже была в Богданце хозяйкой.

В ответ на это Ягенка долго смотрела на него голубыми глазами, а потом подошла и поцеловала у него руку.

– За что? – спросил старик.

– Так... Я только говорю: спокойной ночи, потому что уж поздно, а завтра перед рассветом нам надо трогаться в путь.

И она ушла вместе с дочерью Сецеха, а Мацько провел чеха в заднюю комнату, где, улегшись на шкурах зубров, оба они заснули крепким сном.

Х

Несмотря на то что после разграбления, пожара и резни, которые учинили в 1331 году в Серадзи меченосцы, Казимир Великий снова отстроил разрушенный до основания город, он не был особенно хорош и не мог сравниться с другими городами королевства. Но Ягенка, жизнь которой до сих пор протекала между Згожелицами и Богданцем, не могла опомниться от изумления и восторга при виде стен, башен, ратуши, а особенно костелов, о которых деревянный костел в Кшесне не давал ни малейшего представления. В первую минуту она до такой степени потеряла обычно присущую ей смелость, что не могла говорить громко и лишь шепотом расспрашивала

Мацьку обо всех этих чудесах, которые ослепляли ее глаза; когда же старый рыцарь стал уверять ее, что Серадзи так же далеко до Кракова, как головешке до солнца, она не хотела верить собственным ушам, потому что ей казалось прямо-таки невозможным, чтобы на свете мог существовать другой столь же великолепный город.

В монастыре принял их тот же дряхлый приор, который с детства помнил резню, учиненную меченосцами, и который когда-то принимал Збышку. Известия об аббате доставили Мацьке и Ягенке много огорчения и тревоги. Аббат долго жил в монастыре, но две недели тому назад уехал к своему другу, епископу плоцкому. Он все время был болен, утром и днем был в сознании, но по вечерам впадал в забытие, потом вскакивал, приказывал надевать на него панцирь и вызывал на бой князя Яна из Ратибора. Клирикам приходилось силой удерживать его на ложе, что не обходилось без больших затруднений и даже опасностей. Только две недели тому назад он окончательно пришел в себя и, несмотря на то что ослабел еще больше, велел немедленно везти себя в Плоцк.

– Он говорил, что никому так не верит, как епископу плоцкому, – закончил приор, – и что из его рук хочет принять причастие, а кроме того, оставить у епископа свое завещание. Мы были против этого путешествия, потому что он был очень слаб и мы боялись, что ему и мили живым не проехать. Но с ним не легко спорить, так что шпильманы наложили в телегу соломы и повезли его. Дай бог, чтобы все обошлось благополучно.

– Если бы он умер где-нибудь вблизи от Серадзи, так ведь вы бы слышали об этом, – ответил Мацько.

– Слышали бы, – сказал старичок, – а потому думаем, что он не умер и, по крайней мере, до Ленчицы Богу душу не отдал, но что могло дальше случиться, того не знаем. Если поедете за ним следом, то по дороге узнаете.

Мацько огорчился этими известиями и пошел советоваться с Ягенкой, которая уже узнала через чеха, куда уехал аббат.

– Что делать? – спросил он. – Куда ты денешься?

– Поезжайте в Плоцк, а я с вами, – коротко отвечала та.

– В Плоцк, – тоненьким голосом повторила за ней дочка Сецеха.

– Ишь, как они толкуют. Что ж, до Плоцка рукой подать, что ли?

– А как же нам одним возвращаться? Если бы я не собиралась с вами ехать дальше, я бы и вовсе не ездила. Или вы не думаете, что Вильки теперь еще пуце обозлились?

– Вильки защитят тебя от Чтана.

– Я так же боюсь их защиты, как нападения Чтана, да и то вижу, что вы спорите, только чтоб поспорить, а не по совести.

Мацько, действительно, в душе не был против. Он даже предпочитал, чтобы Ягенка ехала с ним, чем чтобы она возвращалась; поэтому, услышав ее слова, он усмехнулся и сказал:

– От юбки отделалась, так уж хочет умом обзавестись.

– Ум – он в голове.

– Да Плоцк мне не по дороге.

– Чех говорил, что по дороге, а в Мальборг – так даже и ближе.

– Так вы уж с чехом советовались?

– Конечно, да он еще вот что сказал: если, говорит, молодой пан попал в Мальборге в какую-нибудь беду, то через княгиню Александру можно добиться многого, потому что она родственница короля, а кроме того, будучи особенной приятельницей меченосцев, пользуется у них большим уважением.

– Верно, ей-богу! – вскричал Мацько. – Все это знают, и если бы она захотела дать письмо к магистру, мы бы безопасно ездили по всем землям меченосцев. Любят они ее, потому что и она их любит... Хороший совет, и человек он не глупый, этот чех.

– Еще какой не глупый, – восторженно вскричала дочка Сецеха, поднимая вверх голубые глазки.

– А ты чего здесь?

Девочка страшно смутилась и, опустив длинные ресницы, покраснела, как роза.

Однако же Мацько видел, что нет другого исхода, как взять обеих девушек с собой в дальнейший путь, а так как в душе ему самому этого хотелось, то на другой день, простившись со старичком приором, они пустились в путь. Вследствие таяния снегов и разлива рек ехали они медленно и с большими затруднениями, нежели перед тем. По дороге они расспрашивали об аббате и попали во многие поместья, ко многим священникам и в корчмы, где аббат останавливался на ночлег. Ехать по его следам было легко, потому что он раздавал щедрую милостыню, платил за обеды, жертвовал на колокола, помогал бедным церквям, а потому много нищих, много клириков да и немало священников вспоминали его с признательностью. Вообще говорили, что он "как ангел", и молились за его здоровье. Однако кое-где приходилось выслушивать опасения, что ему уже ближе к вечному блаженству, чем к временному здоровью. В некоторых местах, по причине слабости, останавливался он на два, а то и на три дня. И потому Мацьке казалось возможным, что они его догонят.

Но он ошибся в расчете, потому что их задержали разлившиеся воды Нера и Бзуры. Не доехав до Ленчицы, они вынуждены были провести четыре дня в пустой корчме, из которой хозяин выселился, видимо, боясь половодья. Дорога, ведущая от корчмы к городу, была вымощена стволами деревьев, но теперь вся ушла в жидкую грязь. Слуга Мацьки, Вит, родом будучи из этих мест, слышал что-то о дороге через лес, но не хотел взять на себя ответственность проводника, потому что знал и то, что в ленчицких болотах гнездятся нечистые силы, а в особенности могущественный Бурта, который любит заводить людей в бездонные трясины, а потом спасает только в том случае, если ему за это продают душу. О самой корчме тоже была худая слава, и хотя в те времена путешественники возили с собой всякую живность, то есть могли не бояться голода, все же пребывание в таком месте заставляло тревожиться даже старика Мацьку.

По ночам на крыше постоянного двора происходила какая-то возня, а иногда кто-то постукивал в двери. Ягенка и Сецеховна, спавшие за перегородкой рядом с большой комнатой, тоже слышали в темноте как бы шуршанье маленьких ног по потолку и даже по стенам. Это их особенно не пугало, потому что обе в Згожелицах привыкли к домовым, которых старый Зых в свое время приказывал кормить и которые, по всеобщему тогдашнему мнению, не были враждебны к тем, кто для них не жалел каких-нибудь остатков еды. Но однажды ночью в ближайшей роще раздался глухой и зловещий рев, а на другое утро были обнаружены следы огромных копыт. Это мог быть зубр или тур, но Вит утверждал, что и у Боруты, хотя он ходит в человеческом образе, вместо ног копыта; сапоги же, в которых он показывается людям, он на болотах снимает, потому что бережет их. Мацько, услышав, что можно расположить его к себе выпивкой, целый день раздумывал, не будет ли греха, если он сделает злого духа своим приятелем, и даже советовался об этом с Ягенкой.

– Повесил бы я на ночь на плетне полный воловий мех вина либо меду, – сказал он, – и если его ночью кто-нибудь выпьет, мы, по крайней мере, знали бы, что кто-то поблизости кружит.

– Только бы крестную силу этим не обидеть, – отвечала девушка, – нам нужно благословение Господне, чтобы мы могли счастливо помочь Збышке.

– Вот и я того же боюсь, да думаю, что мед – это ведь не душа. Души-то я не отдам, а что значит Господу один мех меда?

И он прибавил, понизив голос:

– Если шляхтич угостит шляхтича, хоть какого ни на есть разбойника, в том беда не велика, а люди говорят, что он шляхтич.

– Кто? – спросила Ягенка.

– Не хочу я нечистого имени называть.

Однако Мацько в тот же вечер собственными руками повесил на плетень большой воловий мех, в каких обычно возилось вино, и на другой день оказалось, что мех выпит до дна.

Правда, чех, когда об этом рассказывали, как-то странно улыбался, но никто на это не обращал внимания, а Мацько в душе был рад, надеясь, что, когда придется переправляться через болота, путь им не преградят какие-нибудь неожиданные препятствия и случайности:

– Разве только, если неправду говорят, что у него есть кое-какая добропорядочность.

Однако прежде всего надо было узнать, нет ли какого-нибудь прохода через леса. Это могло быть так, потому что там, где почва была укреплена корнями деревьев и кустарников, земля не так легко размякала от дождей. Во всяком случае, Вит, как местный житель, мог скорее исполнить это, но он при одном упоминании об этом начал кричать: "Убейте меня, господин, а я не пойду". Напрасно уверяли его, что днем нечистая сила бессильна. Мацько хотел идти сам, но кончилось тем, что Глава, парень решительный и любивший перед людьми, а особенно перед девушками, щегольнуть смелостью, засунул за пояс топор, взял в руки дубину и отправился.

Пошел он перед рассветом, и надеялись, что около полудня он возвратится, но так как его не было, то стали беспокоиться. Напрасно слуги прислушивались и после полудня, не слышать ли чего со стороны леса. Вит только рукой махал: "Не вернется. А если и вернется, так горе нам, потому что Бог знает, не придет ли он с волчьей мордой и не станет ли оборотнем". Слушая это, все боялись. Мацько был сам не свой, Ягенка, поворачиваясь к лесу, крестилась, Анулька же, дочь Сецеха, тщетно искала то и дело на своих одетых в штаны коленях фартука, и не находя ничего, чем бы могла прикрыть глаза, прикрывала их пальцами, которые тотчас делались мокрыми от слез, катившихся одна за другой.

Однако во время вечернего доения, когда солнце уже заходило, чех вернулся, и не один, а с каким-то человеком, которого он гнал перед собой на веревке. Все тотчас бросились к нему навстречу с криками радости, но замолкли при виде этого человека, который был мал ростом, косолап, весь оброс волосами, черен и одет в волчьи шкуры.

– Во имя Отца и Сына. Что это за чудовище ты привел? – воскликнул Мацько, немного придя в себя.

– Мне какое дело? – отвечал оруженосец. – Говорит, что он человек, смолокур, а правда ли это – не знаю.

– Ох, не человек это, не человек, – заметил Вит.

Но Мацько велел ему молчать, а потом стал внимательно всматриваться в пленника и вдруг сказал:

– Перекрестись. Живо перекрестись...

– Слава Господу Богу Иисусу Христу! – воскликнул пленник и, поскорее перекрестившись, глубоко вздохнул, более доверчиво посмотрел на собравшихся и повторил:

– Слава Господу Богу Иисусу Христу. А уж я и не знал, в христианских я руках или чертовых. Ох, Иисусе Христе...

– Не бойся. Ты у христиан. Кто же ты?

– Смолокур, господин. Нас семь семей, живем мы в шалашах, с бабами и детьми.

– Далеко ли отсюда?

– Десять стаен, а то и меньше.

– По какой же дороге вы в город ходите?

– У нас своя дорога, за Чертовым оврагом.

– За чертовым? Перекрестись-ка еще раз.

– Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, аминь.

– Ну хорошо. А воз по этой дороге проедет?

– Теперь вязко всюду, хотя там не так, как на большой дороге, потому что по оврагу ветер дует и грязь сушит. Только до шалашей трудна дорога, да и к шалашам проведет, кто лес знает.

– За скоец проводишь? Да хоть и за два.

Смолокур охотно согласился, выпросив еще полкаравая хлеба, потому что они в лесу хоть с голода не помирали, а все-таки давно хлеба не ели. Решено было, что поедут завтра утром, потому что под вечер "нехорошо". О Бо-руте смолокур говорил, что иногда он страсть как "гуляет" в лесу, но простых людей не обижает. Боясь потерять Ленчицкое свое княжество, он старательно прогоняет всех других дьяволов, плохо только встретиться с ним ночью, особенно когда выпьешь. А днем да трезвому бояться нечего.

– А все-таки ты боялся? – спросил Мацько.

– Да меня этот рыцарь вдруг схватил с такой силой, что я думал – не человек.

Ягенка стала смеяться, что они все считали смолокура "нечистым", а смолокур – их. Смеялась с ней и Ануля Сецеховна, так что Мацько даже сказал:

– Еще у тебя глаза не обсохли от слез по Главе, а уж ты зубы скалишь? Глава взглянул на ее розовое лицо и, видя, что ресницы у нее еще мокры, спросил:

– Это вы обо мне плакали?

– Да нет же, – ответила девушка, – боялась – и больше ничего.

– Вы ведь шляхтянка, а шляхтянке стыдно бояться. Госпожа ваша не такая трусиха. Что же могло здесь с вами случиться дурное, днем, да еще на людях?

– Со мной ничего, а с вами.

– А ведь вы говорите, что не обо мне плакали?

– И не о вас.

– Так почему же?

– Со страху.

– А теперь не боитесь? – Нет.

– А почему?

– Потому что вы вернулись.

Чех посмотрел на нее с благодарностью, улыбнулся и сказал:

– Ну так можно до завтра толковать. Страсть, какая вы хитрая.

Но ее можно было скорее заподозрить в чем угодно, только не в хитрости, и Глава, сам парень смысленый, отлично понимал это. Понимал он и то, что девушка с каждым

днем сильнее льнет к нему. Сам он любил Ягенку, но так, как подданный любит дочь короля, с величайшей покорностью и благоговением и без всякой надежды. Между тем дорога сблизила его с Сецеховной. Во время переходов старик Мацько обычно ехал с Ягенкой, а он с Анулей; но так как он был парень здоровенный, а кровь у него была горячая, как кипятки, то когда во время дороги он посматривал на ее светлые глазки, на белокурые пряди волос, которые не хотели держаться под сеточкой, на всю ее стройную и красивую фигуру, он приходил в восторг. И он не мог удержаться от того, чтобы не поглядывать на нее все чаще, думая при этом, что, вероятно, если бы дьявол превратился в такого мальчугана, то легко соблазнил бы его. Это был очаровательный мальчуган, в то же время такой послушный, что так и смотрел в глаза, и веселый, как воробей на крыше. Иногда в голову чеху приходили странные мысли, и однажды, когда они с Анулей немного отстали и ехали возле вьючных лошадей, он вдруг обернулся к ней и сказал:

– Знаете? Я возле вас еду, как волк возле ягненка.

Белые зубки ее сверкнули улыбкой.

– А вы хотели бы меня съесть? – спросила она.

– Еще бы, с косточками.

И он посмотрел на нее таким взглядом, что она вся вспыхнула, а потом между ними воцарилось молчание, и только сердца бились сильно: у него от любви, у нее от какого-то сладкого страха.

Но только в тот вечер, когда он увидел ее мокрые глазки, сердце чеха растаяло окончательно. Она показалась ему доброй, какой-то близкой, родной, но так как сам он был рыцарски благороден, то и не поддавался тщеславию, не возгордился при виде этих сладостных слез, но стал с ней более робким и внимательным. Обычная развязность в речах покинула его, и если за ужином он еще пошучивал над робостью девушки, но уже по-другому, и при этом прислуживал ей, как оруженосец рыцаря обязан прислуживать шляхтянке. Старик Мацько, хотя голова его главным образом занята была завтрашней переправой и дальнейшим путем, заметил это, но только похвалил его за хорошие манеры, которым, как он говорил, Глава должен был научиться, находясь со Збышкой при мазовецком дворе.

Потом, обращаясь к Ягенке, он прибавил:

– Эх, Збышко... Тот и у короля в гостях сумеет себя вести.

Но после этого ужина, когда все разошлись спать, Глава, поцеловав у Ягенки руку, поднес к губам также и руку Сецеховны, а потом сказал:

– Вы не только за меня не бойтесь, но и сами со мной не бойтесь ничего, потому что я вас никому в обиду не дам.

Потом мужчины улеглись в передней комнате, а Ягенка с Анулей за перегородкой, на одной, но зато широкой и хорошо постланной скамье. Обе они как-то не могли заснуть, а в особенности Сецеховна все время вертелась с боку на бок, так что через несколько времени Ягенка подвинула к ней голову и стала шептать:

– Ануля?...

– Что?

– Мне что-то кажется, что тебе очень нравится этот чех... Или это не так?

Но вопрос остался без ответа, и Ягенка стала шептать опять:

– Ведь я же это понимаю... Скажи...

Сецеховна не ответила и на этот раз, только прижалась губами к щеке своей госпожи и стала ее целовать.

А девичья грудь Ягенки стала все чаще вздыматься от вздохов.

– Ох, понимаю я, понимаю, – прошептала она так тихо, что Ануля едва уловила ее слова.

XI

После мгливой, мягкой ночи настал день ветреный, временами ясный, временами же пасмурный благодаря тучам. Носимые ветром, они стадами ходили по небу. Мацько приказал трогаться в путь на рассвете. Смолокур, согласившийся вести их до Буд, утверждал, что лошади пройдут всюду, но телеги местами придется разбирать и переносить по частям, так же, как и лубки с одеждой и запасами еды. Все это не могло пройти без усталости и трудов, но закаленные и привыкшие к труду люди предпочитали самый тяжелый труд отвратительному отдыху в пустой корчме и потому охотно пустились в дорогу. Даже трусливый Вит, ободренный словами и присутствием смолокура, не выказывал страха.

Тотчас же за корчмой вступили они в высокий, древний бор, в котором, умело ведя лошадей, можно было даже не разбирать телег и пробираться между стволами. Ветер по временам прекращался, по временам же налетал с неслыханной силой, точно гигантскими крыльями бил по стволам сосен, гнул их, раскачивал, точно крылья мельницы, ломал их; бор гнулся под этим неистовым дыханием и даже в промежутках между одним порывом и другим не переставал гудеть и греметь, точно сердясь на это нападение и эту мощь. Время от времени тучи совсем застилали свет; так и секло дождем, смешанным со снежной крупой, и становилось до того темно, что казалось, наступает вечер. Тогда Вит снова терял присутствие духа и кричал, что это "нечистая сила рассердилась и мешает ехать", но никто его не слушал; даже робкая Ануля не принимала слов его близко к сердцу, в особенности потому, что чех был так близко, что она могла стремянем касаться его стремени; он же смотрел вперед так уверенно, точно хотел вызвать на поединок самого дьявола.

За высокоствольным лесом начался более молодой, а потом пошли заросли, через которые нельзя было пробраться. Тут пришлось им разобрать телеги, но они сделали это ловко и в одно мгновение ока. Колеса, дышла и передки сильные слуги перетаскивали на плечах, так же как сундуки и запасы пищи. Эта плохая дорога тянулась довольно долго, но все-таки к ночи они очутились в Будах, где смолокуры приняли их гостеприимно и уверили, что Чертовым оврагом, вернее вдоль него, можно добраться до города. Люди эти, сжившиеся с лесом, редко видали хлеб и муку, но не голодали, потому что всякой дичи и рыбы, которой так и кишели болота, было у них вдоволь. Они охотно угощали ими гостей, с жадностью протягивая руки к пирогам. Были между ними и женщины, и дети, все черные от смоляного дыма, был и старик между ними, лет за сто, помнивший резню, происшедшую в Ленчице в 1331 году, и разрушение города меченосцами. Мацько, чех и две девушки, хотя и слышали почти такой же рассказ серадзского приора, с

любопытством слушали и этого деда, который, сидя перед костром и поправляя его, казалось, в то же время выгребал из-под пепла страшные воспоминания своей молодости. Да, в Ленчице, как и в Серадзи, не щадили даже костелов и ксендзов, а кровь стариков, женщин и детей струилась по ножам победителей. Меченосцы, вечно меченосцы! Мысли Мацьки и Ягенки непрестанно уносились к Збышке, который находился как бы в самой пасти волка, среди враждебного племени, не знающего ни жалости, ни законов гостеприимства. Сердце Сецеховны тоже млело, потому что она не была уверена, что в погоне за аббатом и им самим не придется ехать к этим ужасным людям...

Но потом старик стал рассказывать о битве под Пловцами, которой закончился набег меченосцев и в которой он сам участвовал с железным цепом в руках, в рядах пехоты, выставленной крестьянской гминой. В этой битве погиб чуть ли не весь род Градов, и потому Мацько хорошо знал все ее подробности, но и теперь, как нечто новое, слушал он рассказ о страшном разгроме немцев, когда они, как нива под дуновением ветра, легли под мечами польских рыцарей и войск короля Локотка.

– Помню, помню... – говорил дед. – Напали они на эту землю, сожгли замки и крепости, детей в колыбелях резали... Да пришла беда и на них. Эх, славная была битва! Еще бы, как закрою глаза, так и вижу то поле...

И он закрыл глаза и умолк, только слегка поправляя угли в костре, пока Ягенка, с нетерпением ожидавшая продолжения рассказа, не спросила:

– Как же это было?

– Как было? – переспросил дед. – Поле я помню, точно сейчас смотрю на него: были там заросли, справа мельница да клочок ржаного поля... Но после битвы не видно было ни зарослей, ни мельницы, ни ржи, всюду одно железо, мечи, топоры, копья да разбитые латы, одни на других, точно кто взял да и накрыл ими всю землю-матушку... Никогда я не видал столько побитого народа и столько человеческой крови...

Снова подкрепилось от этого воспоминания сердце Мацьки, и он сказал:

– Верно. Милостив Господь Бог. Охватили они тогда все королевство, как пламя, как мор. Не только Серадзь и Ленчицу, а и много других городов разрушили. И что же? Страсть, как живуч наш народ, и сила в нем неодолимая, неиссякаемая. Хоть и схватишь ты его, собачий сын меченосец, за горло, а задушить его не сумеешь, он же сам тебе зубы выколочит... Вы только поглядите: король Казимир и Серадзь, и Ленчицу так хорошо отстроил, что они лучше, чем были, и сеймы в них по-прежнему собираются, а меченосцы... как избili их под Пловцами, так и лежат они там, и гниют... Дай бог всегда такой конец.

Старый мужик, слушая эти слова, стал сперва кивать головой знак согласия, но под конец сказал:

– То-то, что не лежат и не гниют. После битвы велел король нам, пехотинцам, рыть канавы, окрестные мужики пришли помогать в этой работе. Лопаты так и загрохотали. Потом положили мы немцев в канавы и хорошенько засыпали, чтобы от них не пошла какая зараза, да только они там не остались.

– Как не остались? Что же с ними случилось?

– Я этого не видал, только скажу, что люди потом говорили. Настала после битвы

метель жестокая и длилась она двенадцать недель, но только по ночам. Днем солнышко светило, как следует, а по ночам ветер чуть волос с головы не сдирал. Черти целыми тучами носились в метели, все с вилами, как налетит черт – так вилами в землю, вытащит меченосца да и тащит в пекло. Народ в Пловцах такой шум слышал, что казалось, будто собаки целыми стаями воют, да только того не могли понять, немцы ли это выли от страха и горя, или черти от радости. И тянулось это до тех пор, пока ксендзы канав не освятили и пока земля к новому году не замерзла так, что и вилы ее не брали.

Тут он замолчал, а потом прибавил:

– Но дай бог, господин рыцарь, такого конца, как вы говорили, потому что хоть я до этого и не доживу, но такие парнишки, как вот эти двое, доживут и не будут видеть того, на что смотрели мои глаза.

Сказав это, он стал пристально смотреть то на Ягенку, то на Сецеховну, дивясь их красивым лицам и качая головой.

– Точно мак во ржи, – сказал он, – таких я еще не видывал.

Так проговорили они часть ночи, а потом легли спать в шалашах, на мху, мягком, как пух, покрытом теплыми шкурами; когда же крепкий сон подкрепил их члены, на следующее утро, когда уже совсем рассвело, все тронулись в путь. Дорога вдоль оврага, правда, не была особенно легкой, не была и тяжелой, так что еще до заката солнца они увидели Ленчицкий замок. Город был заново отстроен на пепелище, частью из красного кирпича, частью даже из камня. Стены у него были высокие, вооруженные башнями, а костелы еще великолепнее серадзских. У доминиканцев они с легкостью получили сведения относительно аббата. Он был там, говорил, что ему лучше, радовался надежде, что совсем выздоровеет, и несколько дней тому назад тронулся в дальнейший путь. Мацьке уже не особенно важно было догнать его на дороге, потому что он уже решил везти девушек до самого Плоцка, куда и так отвез бы их аббат, но так как Мацько спешил к Збышке, то он обеспокоился другой вестью: уже после отъезда аббата реки так разлились, что ехать дальше было решительно невозможно. Доминиканцы, видя рыцаря с большой свитой, едущего, по его словам, к князю Земовиту, приняли и угощали их гостеприимно, и даже снабдили Мацьку на дорогу деревянной дощечкой, на которой написана была по-латыни молитва архангелу Рафаилу, патрону путешественников.

Вынужденное пребывание в Ленчице длилось две недели, причем один из оруженосцев старосты замка открыл, что слуги проезжего рыцаря – девушки, и сразу отчаянно влюбился в Ягенку. Чех хотел тотчас же вызвать его на утопанную землю, но так как это было накануне отъезда, то Мацько отказал ему в разрешении.

Когда они тронулись в дальнейший путь к Плоцку, ветер немного осушил дороги, потому что хотя дожди шли часто, все-таки они, как обычно бывает весной, были непродолжительны. Были они теплые и сильные, потому что весна уже окончательно наступила. На полях по бороздам сверкали светлые полосы воды, с пашен доносился в дуновениях ветра сильный запах мокрой земли. Болота покрылись травой, в лесах зацвели подснежники, в чаще весело пели птицы. Сердца путников были охвачены новой бодростью и надеждой, особенно потому, что ехать им было хорошо, и потому, что через шестнадцать дней пути они остановились у ворот Плоцка.

Но приехали они ночью, когда ворота города были уже заперты, и им пришлось ночевать у ткача перед стенами. Девушки, легши спать поздно, заснули после

усталости и неудобств, сопряженных с длинным путешествием, как убитые. Мацько, которого не могла одолеть никакая усталость, не хотел будить их, но сам, как только ворота были отперты, пошел в город, легко разыскал собор и дом епископа, в котором первой новостью, какую он услышал, было известие, что аббат умер неделю тому назад.

Он умер неделю тому назад, но, по тогдашним обычаям, шесть дней длились похоронные обряды, само же погребение должно было состояться только сегодня, а после погребения – поминки и обед в память усопшего.

От великого огорчения Мацько даже не стал осматривать город, который он, впрочем, немного знал с тех пор, когда ездил с письмом княгини Александры к магистру; он как можно скорее вернулся в дом ткача, говоря себе по дороге:

– Ну помер – и вечный ему покой. Ничего с этим не поделаешь, но что я теперь стану делать с этими девками?

И он стал думать, не лучше ли оставить их у княгини Александры, или у княгини Анны Дануты, или, может быть, отвезти в Спыхов. Дело в том, что во время пути ему не раз приходило в голову, что если бы оказалось, что Дануся умерла, то не мешало бы Ягенке быть поблизости от Збышки. Он не сомневался, что Збышко будет долго грустить по той девушке, которую полюбил больше всего на свете, но не сомневался и в том, что такая девушка, как Ягенка, находясь тут же, под боком, сделает свое дело. Поэтому, и притом будучи глубоко уверен, что Дануся пропала, он не раз думал, что в случае смерти аббата не следует никуда отсылать Ягенку. Но так как он был несколько охоч до мирских благ, то беспокоило его и наследство, оставшееся после аббата. Правда, аббат сердился на них и грозился, что ничего им не оставит, но что если перед смертью взяло его раскаяние? Что он завещал что-то Ягенке, это было несомненно, потому что об этом он не раз говорил в Згожелицах, так что через Ягенку это и так могло не миновать Збышку. И вот минутами охватывало Мацьку желание остаться в Плоцке, разузнать, что и как, и заняться этим делом, но он тотчас заглушал в себе эти мысли.

"Я буду здесь, – думал он, – хлопотать о богатстве, а мальчуган мой, быть может, стирает там, из какого-нибудь подземелья меченосцев, ко мне руки и ждет от меня помощи".

Действительно, был один выход: оставить Ягенку под опекой княгини и епископа с просьбой, чтобы они не давали ее в обиду, если аббат ей что-нибудь оставит. Но выход этот не вполне понравился Мацьке. "У девушки, – говорил он себе, – и так есть хорошее приданое, а если она и после аббата получит наследство, так женится на ней какой-нибудь мазур, вот и все".

И старый рыцарь испугался этой мысли, потому что подумал, что в таком случае и Дануся, и Ягенка могут пройти мимо рук Збышки, а этого он не хотел ни за что на свете.

– Какую ему Бог судил, та пусть и будет, но хоть одна должна быть обязательно.

В конце концов, он решил прежде всего спасти Збышку, а Ягенку, если придется с ней расстаться, оставить либо в Спыхове, либо у княгини Дануты, а не здесь, в Плоцке, где двор был гораздо великолепнее и где было вдоволь красивых рыцарей.

Обремененный этими мыслями, он быстро шел к дому ткача, чтобы известить Ягенку о

смерти аббата, но в душе давал себе слово, что сразу ей этого не скажет, потому что внезапная и печальная новость может повредить здоровью девушки. Придя домой, он застал уже обеих одетыми, даже прифрантившимися и веселыми, как сороки; поэтому он сел на лавку, позвал работников ткача, велел подать себе миску теплого пива, потом нахмурил и без того суровое лицо и сказал:

– Слышишь, как звонят в городе? Угадай же, отчего звонят, потому что нынче ведь не воскресенье, а утреню ты проспала. Хочешь видеть аббата?

– Конечно, хочу, – сказала Ягенка.

– Ну так ты так же его увидишь, как свои уши.

– Неужели он еще куда-нибудь уехал?

– То-то, что уехал. Да разве не слышишь ты, как звонят?

– Умер? – вскричала Ягенка.

– Молись за его душу.

Ягенка и Сецеховна тотчас же стали на колени и звонкими, как колокольчики, голосами стали читать молитву за умерших. Потом слезы градом покатались по лицу Ягенки, потому что она очень любила аббата, который хоть и был резок с людьми, но никого не обижал, делал много добра, а ее, крестницу свою, любил как родную дочь. Мацько, вспомнив, что это был родственник его и Збышки, тоже растрогался и заплакал было, и только когда часть огорчения вышла у него со слезами, взял чеха и обеих девушек в костел, на погребение.

Похороны были пышные. Впереди процессии шел сам епископ Якуб из Курдванова, присутствовали все ксендзы и монахи, живущие в Плоцке, звонили во все колокола, говорились речи, которых никто, кроме духовенства, не понимал, потому что произносились они по-латыни, а потом и духовенство, и все светские особы вернулись к епископу на обед.

Пошел и Мацько, взяв с собой двух пажей своих, потому что, как родственник покойника и знакомый епископа, имел на то полное право. Епископ с своей стороны принял его, как родственника покойного, благосклонно и внимательно, но как только поздоровался, сейчас же сказал:

– Вам, Градам из Богданца, завещаны какие-то леса, а то, что остается и что не пойдет в пользу монастырей и аббатства, должно принадлежать его крестнице, некоей Ягенке из Згожелиц.

Мацько, на многое не рассчитывавший, рад был и лесам, епископ же не заметил, что один из слуг старого рыцаря при упоминании о Ягенке из Згожелиц поднял к небу похожие на увлажненные васильки глаза и сказал:

– Пошли ему Господь, но мне бы больше хотелось, чтобы он был жив.

Мацько обернулся и сердито сказал:

– Молчать, а то совсем осрамишься.

Но вдруг он замолк, в глазах его мелькнуло изумление, потом лицо его стало злым, похожим на волчью морду, потому что на некотором расстоянии от себя он увидел возле дверей, в которые входила княгиня Александра, почтительно изогнувшегося в придворном поклоне Куно Лихтенштейна, того самого, из-за которого чуть не погиб в Кракове Збышко.

Ягенка никогда в жизни не видела Мацьки таким, лицо его исказилось, из-под усов его сверкнули зубы, он мгновенно повернул пояс и направился к ненавистному меченосцу.

Но на половине дороги он остановился и широкой ладонью провел по волосам. Он вовремя вспомнил, что при плоцком дворе Лихтенштейн может находиться только в качестве гостя или, что вероятнее, в качестве посла, и что если бы он, ничего не спрашивая, напал на него, то поступил бы точно так же, как Збышко на дороге из Тынца.

Поэтому, будучи умнее и опытнее, чем Збышко, он поборол себя, снова перевернул пояс, сделал спокойное лицо, подождал, а потом, когда княгиня, поздоровавшись с Лихтенштейном, стала разговаривать с епископом Якубом из Курдванова, подошел к ней; низко поклонившись, он ей напомнил, кто он, и сказал, что почитает ее своей благодетельницей за то письмо, которым она его когда-то снабдила.

Княгиня еле помнила его лицо, но легко вспомнила и письмо, и все происшествие. Ей также было известно, что произошло при соседнем мазовецком дворе: она слышала о Юранде, о похищении его дочери, о женитьбе Збышки и о его поединке с Ротгером. Все это чрезвычайно занимало ее, как какая-нибудь рыцарская повесть или одна из тех песен, какие распевались в Германии менестрелями, а в Мазовии – рибальтами. Правда, меченосцы не были ей так ненавистны, как жене Януша, Анне Дануте, особенно потому, что, желая склонить ее на свою сторону, они наперебой старались выказать ей уважение, льстили ей и осыпали щедрыми дарами, но в этом деле сердце ее было на стороне влюбленных. Она готова была помочь им, а кроме того, ей доставляло удовольствие, что перед ней стоит человек, который может самым подробным образом рассказать ей про все события.

А Мацько, который заранее решил во что бы то ни стало добиться покровительства и помощи у влиятельной княгини, видя, с каким вниманием она слушает, охотно рассказывал ей о несчастной судьбе Збышки и Дануси и растрогал ее почти до слез, тем более что и сам он лучше кого бы то ни было чувствовал несчастье племянника и всей душой скорбел о том.

– Я в жизни своей не слыхала ничего более трогательного, – сказала наконец княгиня. – Особенно жалко их потому, что он уже женился на этой девушке, уже она была его, а никакого счастья он не изведal. Так вы думаете, что это меченосцы? У нас говорили о разбойниках, которые обманули меченосцев, отдав им другую девушку. Говорили также о письме Юранда...

– Это дело разрешено уже не человеческим судом, а Божьим. Говорят, великий был рыцарь этот Ротгер, а пал от руки мальчика.

– Ну это такой мальчик, – с улыбкой сказала княгиня, – что лучше ему поперек дороги не становиться. Вам нанесена обида, верно, и вы справедливо жалуетсяь, но ведь из тех четверых трое уже умерли, да и старик, который остался, тоже, как я слыхала, еле избежал смерти.

– А Дануся? А Юранд? – отвечал Мацько. – Где они? Богу одному ведомо, не случилось ли чего и со Збышкой, он поехал в Мальборг.

– Я знаю, но меченосцы совсем не такие негодяи, как вы думаете. В Мальборге, возле магистра и его брата Ульриха, настоящего рыцаря, с вашим племянником ничего худого случиться не могло; да вероятно, у него были письма от князя Януша. Разве только, если он там вызвал какого-нибудь рыцаря и был побежден, потому что в Мальборге всегда много знаменитейших рыцарей из всех стран.

– Ну этого я не особенно боюсь, – сказал старый рыцарь. – Только бы не заперли его в подземелье, только бы не убили предательски, да было бы у него в руках какое ни на есть оружишко, тогда уж я не очень боюсь. Раз только нашелся человек сильнее его, тот повалил его на турнире: князь мазовецкий, Генрик, который был здесь епископом и влюбился в красавицу Рингаллу. А кроме того, он наверняка вызвал бы только одного человека, которого и я поклялся вызвать и который находится здесь.

Сказав это, он указал глазами на Лихтенштейна, разговаривавшего с воеводой плоцким.

Но княгиня насупила брови и строгим, холодным тоном, каким говорила всегда, когда ее охватывал гнев, сказала:

– Клялись вы или не клялись, помните, что он у нас в гостях; кто хочет быть нашим гостем, должен вести себя смирно.

– Знаю, милосердная госпожа, – отвечал Мацько. – Ведь я уже повернул было пояс и пошел к нему навстречу, но сдержал себя, подумав, что, может быть, он здесь в качестве посла.

– Да, и в качестве посла. Человек же он у себя на родине значительный, сам магистр спрашивает у него советов и вряд ли ему в чем-либо откажет. Может быть, Господь Бог так сделал, что не было его в Мальборге, когда был там ваш племянник, потому что Лихтенштейн, говорят, хоть и из хорошего рода, но зол и мстителен. Он узнал вас?

– Не особенно мог узнать, потому что мало меня видал. На Тынецкой дороге мы были в шлемах, а потом я только раз был у него по делу Збышки, но вечером, потому что откладывать нельзя было, да еще раз видались мы на суде. С тех пор я изменился, и борода у меня заметно поседела. Я заметил, что и теперь он смотрел на меня, но только потому, что я долго разговариваю с вами, потом он спокойно отвел глаза в другую сторону. Збышку он бы узнал, а меня забыл, про клятву же мою, может быть, и не слышал, потому что ему надо думать о тех, кто лучше.

– Как это лучше.

– Да его поклялись вызвать и Завиша из Гарбова, и Повала из Тачева, и Мартин из Вроцимовиц, и Пашко Злодей, и Лис из Тарговиска. Каждый из них, милосердная госпожа, с десятью такими справится. Лучше было ему не родиться, чем один такой меч чувствовать над головой. А я не только не напомню ему о вызове, но даже постараюсь войти с ним в добрые отношения.

– Что так?

Лицо Мацьки стало хитрым, похожим на голову старой лисицы.

– Чтобы он дал мне какое-нибудь письмо, с которым я безопасно мог бы ездить по землям меченосцев и в случае надобности помочь Збышке.

– Разве это согласно с рыцарской честью? – спросила с улыбкой княгиня.

– Согласно, – уверенно отвечал Мацько. – Если бы я, к примеру, в бою напал на него сзади и не крикнул бы, чтобы он обернулся, тогда, конечно, я покрыл бы себя позором, но в мирное время умом поддеть врага, этого не осудит ни один истинный рыцарь.

– Так я вас познакомлю, – отвечала княгиня.

И сделав знак Лихтенштейну, она познакомила с ним Мацьку, подумав, что если даже Лихтенштейн узнает его, то и так не произойдет ничего особенного.

Но Лихтенштейн не узнал старика, потому что действительно на Тынецкой дороге видел его в шлеме, а потом разговаривал с ним только раз, да и то вечером, когда Мацько приходил просить, чтобы он простил Збышке вину.

Хотя он поклонился довольно гордо, но, увидев за рыцарем двух красивых, богато одетых пажей, подумал, что не у всякого могут быть такие. Лицо его несколько прояснилось, хотя он не перестал с важностью выпячивать губы, что делал всегда, когда имел дело не с владетельной особой.

Княгиня же сказала, указывая на Мацьку:

– Этот рыцарь едет в Мальборг, и я сама поручаю его милости великого магистра, но он, прослышав об уважении, каким вы пользуетесь в ордене, хотел бы иметь письмо и от вас.

Сказав это, она отошла к епископу, а Лихтенштейн устремил на Мацьку свои холодные, стальные глаза и спросил:

– Какая же причина побуждает вас посетить нашу благочестивую и скромную столицу?

– Благородная и благочестивая причина, – отвечал Мацько, поднимая глаза кверху.

– Если бы было иначе, милостивая княгиня за меня не ручалась бы. Но кроме выполнения благочестивых обетов, я хотел бы также познакомиться с вашим магистром, который насаждает на земле мир и считается славнейшим рыцарем на земле.

– За кого ручается милостивая княгиня, госпожа наша и благодетельница, тому не придется жаловаться на скромное наше гостеприимство; но что касается магистра, то вам трудно будет его увидеть, потому что уже с месяц тому назад он уехал в Гданск, а оттуда собирался в Кролевец и на границу, потому что сей миролюбивый муж принужден все-таки защищать владения ордена от разбойничьих набегов Витольда.

Услышав это, Мацько так заметно огорчился, что Лихтенштейн, от глаз которого не могло скрыться ничто, сказал:

– Вижу, что вам так же хотелось бы видеть магистра, как и исполнить обеты.

– Хотелось бы, хотелось бы! – быстро ответил Мацько. – Так, значит, уж неизбежна война с Витольдом из-за Жмуди?

– Он сам ее начал, вопреки своим клятвам, помогая бунтовщикам.

Наступило краткое молчание.

– Ну, пошли Господи столько удачи ордену, сколько он этого заслуживает! – сказал наконец Мацько. – Если не могу увидеть магистра, то хоть обеты выполню.

Но несмотря на эти слова, он сам не знал, что ему теперь делать, и с глубокой печалью в душе задавал себе вопрос:

– Где мне теперь искать Збышку и где я найду его?

Легко было предвидеть, что если магистр покинул Мальборг и отправился на войну, то нечего искать в Мальборге и Збышку. Во всяком случае – надо получить о нем более подробные сведения. Старик Мацько очень расстроился, но так как он умел скоро находить выход, то и решил не терять времени и на другой же день утром ехать дальше. Получить письмо от Лихтенштейна, с помощью княгини Александры, к которой комтур питал безграничное доверие, удалось легко. Мацько получил письма к бродницкому старосте и к великому госпиталиту в Мальборге, но за это подарил Лихтенштейну серебряный кубок вроцлавской чеканки; такие кубки рыцари обыкновенно ставили на ночь с вином возле своего ложа, чтобы в случае бессонницы у них было под рукой и лекарство от нее, и развлечение. Щедрость Мацьки несколько удивила чеха, который знал, что старый рыцарь не особенно любит осыпать дарами кого бы то ни было, в особенности же немцев. Но Мацько сказал:

– Я сделал это потому, что дал клятву и должен с ним драться, но я не мог бы наступить на горло человеку, оказавшему мне услугу. Не в нашем обычае убивать благодетелей!..

– А все-таки хорошего кубка жаль! – отвечал чех.

Но Мацько на это возразил:

– Не бойся, я ничего не делаю без смысла. Если Господь Бог приведет меня победить немца, так я и кубок получу обратно, и еще вместе с ним много всяких хороших вещей.

Потом, призвав и Ягенку, стали они совещаться, что делать дальше. Мацьке приходило в голову оставить и ее, и Сецеховну в Плоцке под покровительством княгини Александры, особенно ввиду завещания аббата, которое хранилось у епископа. Но девушка воспротивилась этому со всей силой своей непоколебимой воли. Правда, ехать без нее было бы легче, потому что на ночлегах не нужно было бы искать отдельных комнат, ни думать о предотвращении опасностей и о других вещах такого же рода. Но ведь не для того уехали они из Згожелиц, чтобы сидеть в Плоцке. Раз завещание у епископа, оно не пропадет, что же касается девушек, то если бы выяснилось, что им необходимо остаться где-нибудь по дороге, то лучше им остаться у княгини Анны, чем у Александры, потому что при том дворе не так любят меченосцев и больше любят Збышку. Правда, Мацько сказал на это, что ум – дело не женское и что не пристало девушке "судить да рядить" так, словно у нее и на самом деле есть Ум, но все-таки он не особенно противился, а вскоре и совсем

уступил, когда Ягенка, отведя его в сторону, со слезами на глазах заговорила:

– Вот что... Бог видит, что каждое утро и каждый вечер я молю Его за эту Данусю и за счастье Збышки. Господь Бог все это хорошо знает. Но и Глава, и вы говорите, что она уже погибла и что живой ей из рук меченосцев не уйти... Если так, то я...

Тут она немного смутилась, слезы медленно покатались по щекам ее, и она шепотом договорила:

– То я хочу быть поближе к Збышке!..

Мацьку тронули эти слова и слезы, но он ответил:

– Если та погибнет, Збышко с горя и не поглядит на тебя!..

– Я и не хочу, чтобы он на меня глядел, а только хочу быть возле него!

– Ведь ты же знаешь, что я хотел бы того же, чего и ты; но в первом порыве горя он же может обидеть тебя!..

– Ну и пусть обижает, – отвечала она с грустной улыбкой. – Но этого он не сделает, потому что не будет знать, что это я.

– Он тебя узнает.

– Нет, не узнает. Ведь и вы не узнали. Вы скажете ему, что это не я, а Ясько, а ведь Ясько совсем похож на меня лицом. Вы скажете, что он вырос – и все тут, а Збышке и в голову не придет, что это не Ясько!..

Мацько подумал еще, но в конце концов уступил, и они стали говорить о дороге. Собирались выехать завтра. Мацько решил направиться во владения меченосцев, добраться до Бродницы, и если бы магистр, вопреки предположениям Лихтенштейна, оказался еще в Мальборге, ехать в Мальборг, а в противном случае направиться вдоль границы к Спыхову, расспрашивая дорогой о молодом польском рыцаре и его свите. Старый рыцарь надеялся даже на то, что он скорее получит сведения о Збышке в Спыхове или при дворе князя Януша варшавского, нежели где-нибудь в другом месте.

И на другой день они поехали. Весна уже окончательно вступила в свои права, и разливы рек, особенно Скры и Дрвенцы, настолько препятствовали путешественникам, что только на десятый день после отъезда из Плоцка они переехали через границу и очутились в Броднице. Городок был чистенький и приличный, но тотчас по приезде можно было увидеть суровость немецкого владычества, потому что огромная каменная виселица [35], построенная за городом, по дороге в Горченицу, украшена была телами повешенных, из которых одна была женщина. На сторожевой башне и на замке развевались флаги с изображением красной руки на белом поле. Однако путники не застали в городе самого комтура, потому что он с частью гарнизона во главе местного дворянства отправился в Мальборг. Объяснения эти дал Мацьку старый меченосец, слепой на оба глаза, бывший когда-то комтуром Бродницы, а после того, привязавшись к замку и городу, доживал в нем остатки дней. Когда капеллан прочитал ему письмо Лихтенштейна, он принял Мацьку гостеприимно, а так как, живя среди поляков, он хорошо говорил по-польски, то Мацько легко было с ним разговаривать. Случилось также, что за шесть недель до того он ездил в Мальборг, куда его, как опытного рыцаря, вызвали на военный совет, и потому он знал, что

делается в столице. Спрошенный о молодом польском рыцаре, он сказал, что имени не помнит, но слышал об одном, который сперва вызывал изумление тем, что, несмотря на юные годы, прибыл в качестве уже опоясанного рыцаря, а потом счастливо сражался на турнире, устроенном великим магистром в честь чужеземных гостей перед отправлением в поход. Понемногу старик даже припомнил, что этого рыцаря полюбил и взял под свое покровительство могущественный и благородный брат магистра, Ульрих фон Юнгинген, и что дал ему письма, с которыми юноша уехал, кажется, на восток. Мацько весьма обрадовался этим известиям, потому что почти не сомневался, что этот молодой рыцарь был Збышко. Великий госпиталит или другие оставшиеся в Мальборге рыцари ордена могли, пожалуй, дать еще более точные указания, но никак не могли точно определить, где находится Збышко. Поэтому Мацько не было необходимости сию же минуту ехать в Мальборг. Впрочем, сам он лучше всех знал, где надо искать Збышку, потому что нетрудно было догадаться, что он кружил возле Щитно, или же, если не нашел Дануси там, занимается поисками в более отдаленных восточных замках и областях.

Поэтому, не теряя времени, поехали они на восток, к Щитно. Ехали быстро, потому что частые города и местечки соединены были между собой дорогами, которые меченосцы, а вернее живущие в городах купцы, содержали в исправности, почти так же хорошо, как содержались польские дороги, создавшиеся под хозяйственной и твердой рукой короля Казимира. К тому же и погода настала чудесная. Ночи были звездные, дни светлые, а в полдень дул теплый, сухой ветерок, вливавший в грудь здоровье и бодрость. На полях зазеленели хлеба, луга покрылись цветами, а сосновые леса начинали распространять запах смолы. За всю дорогу до Видзбарка, а оттуда до Дялдова и дальше, до самого Недзбожа, путники не видали на небе ни облачка. Только в Недзбоже, ночью, прошел ливень с грозой, первый за эту весну; но она длилась недолго, и на следующий день утро опять было ясное, розовое, золотое и до того светлое, что куда ни глянь – все сверкало алмазами и жемчугами, и весь край, казалось, улыбался небу и радовался жизни.

В такое-то утро свернули от Недзбожа к Щитно. Мазовецкая граница была недалеко, и они легко могли направиться к Спыхову. Была даже минута, когда Мацько хотел это сделать, но, взвесив все, предпочел пробраться прямо к страшному гнезду меченосцев, где так мрачно разрешилась часть судьбы Збышки. Поэтому, взяв крестьянина-проводника, он велел ему вести обоз в Щитно, хотя проводник и не был непременно нужен, потому что от Недзбожа шла прямая дорога, на которой белыми камнями были отмечены немецкие мили.

Проводник ехал на несколько десятков шагов впереди, за ним ехали верхом Мацько и Ягенка, потом, довольно далеко от них, чех с красавицей Сецеховной, а потом шли воза, окруженные вооруженными слугами. Было раннее утро. Розовая краска не сошла еще с восточного края неба, хотя солнце уже сияло, превращая в опалы капли росы на траве и деревьях.

– Не боишься ты ехать в Щитно? – спросил Мацько.

– Не боюсь, – отвечала Ягенка. – Господь Бог бережет меня, потому что я сирота.

– Ну там ни во что не верят. Этот Данфельд, которого Юранд убил вместе с Годфридом, был хуже всякой собаки. Так говорил чех. Вторым после Годфрида был Ротгер, который пал от Збышкова топора, но и этот старик окаянный, он душу дьяволу продал!.. Люди ничего толком не знают, но я так Думаю, что если Дануся погибла, то от его руки. Говорят, с ним тоже что-то случилось, но княгиня в Плоцке сказала мне, что он вывернулся. С ним-то нам и придется иметь дело в

Щитно. Хорошо, что у нас есть письмо от Лихтенштейна, потому что его, кажется, эти собачьи дети боятся больше, чем самого магистра... Он, говорят, очень важный и мстительный... Малейшей вины не простит... Без этого письма не ехали бы мы так спокойно в Щитно.

– А как зовут этого старика?

– Зигфрид де Леве.

– Бог даст, мы с ним справимся.

– Бог даст!..

Тут Мацько засмеялся и, помолчав, снова заговорил:

– Говорит мне в Плойке княгиня: "Жалуетесь вы на них, жалуетесь, как барашки на волков, а между тем, говорит, из этих волков троих уже в живых нет, потому что невинные барашки их задушили". По правде сказать, это так и есть...

– А Дануся? А ее отец?

– То же и я княгине сказал. Но в душе я рад, что, оказывается, и нас обижать небезопасно. Знаем-таки мы, как взять топориче в руки да размахнуться, как следует. А что касается Дануси и Юранда, так это правда. Я думаю так же, как и чех, что их уже нет на свете, но в сущности никто хорошо ничего не знает... Юранда мне тоже жаль, потому что и при жизни намучился он из-за этой девушки, а если умер, то тяжелой смертью.

– Как кто при мне о нем заговорит, так я сейчас же об отце вспоминаю, которого тоже уже на свете нет, – отвечала Ягенка.

Говоря это, она подняла увлажнившиеся глазки к небу. А Мацько покачал головой и сказал:

– Он теперь у Господа Бога и, конечно, получил вечное блаженство, потому что лучше его, пожалуй, не было человека во всем нашем королевстве!..

– Ох, не было, не было, – вздохнула Ягенка.

Но дальнейшую их беседу прервал проводник, который внезапно остановил лошадь, потом поворотил ее, галопом подъехал к Мацьке и закричал каким-то странным, испуганным голосом:

– Боже мой! Смотрите, господин рыцарь, кто-то идет к нам навстречу с холма.

– Кто? Где? – вскричал Мацько.

– Да вон там!.. Великан, что ли, какой?

Мацько с Ягенкой сдержали лошадей, посмотрели в указанном проводником направлении и, действительно, увидели в отдалении, на холме, какую-то фигуру, размеры которой, казалось, значительно превышали обычные человеческие размеры.

– Он верно говорит: детина здоровый, – проворчал Мацько.

Потом он нахмурился, сплюнул на сторону и сказал:

– Чур меня!

– Отчего вы чураетесь? – спросила Ягенка.

– Оттого что я вспомнил, как в точно такое же утро мы со Збышкой на дороге из Тынца увидели точно такого же словно бы великана. Тогда говорили, что это Вальгер Удалой... А оказалось, что это был Повала из Тачева, и ничего худого из этого не вышло. Чур нас!

– Это не рыцарь, потому что идет пешком, – сказала Ягенка, напрягая зрение. – И я даже вижу, что он без оружия, только посох держит в левой руке...

– И ощупывает им дорогу, точно ночью, – прибавил Мацько.

– И еле идет! Слепой он, что ли?

– Так и есть, слепой!

Они поехали вперед и через несколько времени остановились перед стариком, который, необычайно медленно спускаясь с пригорка, ощупывал дорогу посохом.

Это был старик, действительно, огромного роста, хотя вблизи он перестал им казаться великаном. Оказалось также, что он был совершенно слеп. Вместо глаз были у него две красные впадины. Кроме того, у него не было правой руки, вместо которой висел узел из грязной тряпки. Серые волосы спускались у него до самых плеч, а борода доходила до пояса.

– Нет у несчастного ни поводыря, ни собаки, сам ощупью дорогу ищет, – сказала Ягенка, – не можем же мы оставить его без всякой помощи. Не знаю, поймет ли он меня, но я заговорю с ним по-польски.

Сказав это, она проворно спрыгнула с лошади и, остановившись перед нищим, стала искать денег в кожаном кошельке, висящем у нее на поясе.

Между тем нищий, услышав перед собой конский топот и голоса людей, протянул вперед посох и поднял голову, как делают слепые.

– Слава Господу Богу нашему! – сказала девушка. – Понимаете, дедушка, по-христиански?

Он, услышав ее приятный, молодой голос, вздрогнул, по лицу его пробежал какой-то странный отблеск, как бы волнения и грусти, он закрыл веками свои пустые глазные впадины и вдруг, бросив посох, упал перед ней на колени и поднял руки вверх.

– Встаньте! Я и так помогу вам! Что с вами? – спросила с удивлением Ягенка.

Но он не ответил ничего, только две слезы покатались по его щекам, а изо рта вырвался звук, похожий на стон:

– А!.. А!..

– Боже ты мой! Да вы немой, что ли?

– А!.. А!..

Произнеся этот звук, он поднял руку, сперва перекрестился, а потом стал водить ею по губам.

Ягенка, не поняв его, взглянула на Мацьку, который сказал:

– Что-то он тебе так показывает, словно ему язык отрезали!

– Отрезали вам язык? – спросила девушка.

– А! А! А! А! – несколько раз повторил нищий, кивая головой.

Потом он указал пальцами на глаза, потом выставил вперед обрубок правой руки, а левой сделал движение, похожее на удар меча. Теперь и Ягенка и Мацько поняли его.

– Кто это сделал с вами? – спросила Ягенка.

Нищий снова несколько раз сделал в воздухе знак креста.

– Меченосцы! – воскликнул Мацько. Старик утвердительно кивнул головой.

Настало молчание. Мацько и Ягенка с тревогой переглядывались, потому что перед ними было явное доказательство той безжалостности и жестокости, какими отличались рыцари ордена.

– Строгий суд, – сказал наконец Мацько. – Тяжело его наказали, и бог знает, справедливо ли! Этого мы не узнаем. Хоть бы знать, куда его отвести, потому что это, должно быть, человек здешний. По-нашему он понимает, потому что простой народ здесь тот же, что и в Мазовии.

– Ведь вы понимаете, что мы говорим? – спросила Ягенка.

Нищий кивнул головой.

– А вы здешний?

– Нет, – ответил жестами старик.

– Так, может быть, из Мазовии?

– Да.

– Вы подданный князя Януша?

– Да.

– А что же вы делали у меченосцев?

Старик не мог ответить, но на лице его тотчас отразилось такое страдание, что жалостливое сердце Ягенки вздрогнуло, и даже Мацько, хотя немного могло

растрогать его, сказал:

– Небось избидели его собачьи дети, может быть, и без вины с его стороны. Ягенка сунула в руку нищего несколько мелких монет.

– Слушайте, – сказала она. – Мы вас не оставим. Вы поедете с нами в Мазовию, и в каждой деревне мы будем вас спрашивать, не ваша ли это. Может быть, как-нибудь догадаемся. А теперь встаньте, потому что ведь мы не святые.

Но он не встал, а напротив, нагнулся и обнял ее ноги, точно поручая себя ее покровительству и благодаря, но и при этом в лице его промелькнуло что-то, похожее на удивление и разочарование. Может быть, судя по голосу, он думал, что стоит перед девушкой, а между тем рука его почувствовала кожаные сапоги, какие носили в дороге рыцари и пажы.

А Ягенка сказала:

– Так и будет. Сейчас подойдут наши воза, вы отдохнете и подкрепитесь. Но в Мазовию вы не сразу поедете, потому что нам надо прежде заехать в Щитно.

При этих словах старик вскочил. Ужас и удивление отразились на его лице. Он раскинул руки, словно желая преградить путь, а из уст его стали вырываться дикие, полные ужаса звуки.

– Что с вами? – воскликнула испуганная Ягенка.

Но чех, подъехавший с Сецеховной и внимательно всматривавшийся в нищего, вдруг с изменившимся лицом обратился к Мацьке и каким-то странным голосом проговорил:

– Боже мой! Позвольте мне, господин, поговорить с ним, потому что вы и не знаете, кто это может быть.

Потом, не спрашивая разрешения, он подбежал к нищему, положил руку ему на плечо и стал спрашивать:

– Вы из Щитно идете?

Старик, как бы пораженный звуком его голоса, успокоился и кивнул головой.

– А не искали вы там своего ребенка?

Глухой стон был единственным ответом на этот вопрос.

Тогда Глава слегка побледнел, еще с минуту всматривался своим рысьим взглядом в лицо старика, а потом медленно и раздельно проговорил:

– Так вы Юранд из Спыхова?

– Юранд! – закричал Мацько.

Но Юранд в эту минуту покачнулся и упал без чувств. Пережитые страдания и усталость с дороги свалили его с ног. Вот уже десятый день шел он ощупью, палкой ища дорогу, голодая, мучаясь и не понимая, куда идет. Не имея возможности спрашивать о дороге, днем руководствовался он только теплотой солнечных лучей, а

ночи проводил в канавах у дороги. Когда ему случалось проходить по деревне или когда он встречал идущих навстречу людей, он стопами и движениями руки выпрашивал подаяния. Но редко помогала ему милосердная рука, потому что везде принимали его за преступника, которого постигла кара закона и правосудия. Уже два дня питался он древесной корой или листьями и начал даже сомневаться, что когда-нибудь попадет в Мазовию, как тут внезапно окружили его добрые сердца своих людей, родные голоса, из которых один напомнил ему сладостный голос дочери. Когда же в конце концов было произнесено его имя, волнение его перешло всякие границы, сердце его сжалось, мысли вихрем закружились в голове, и он упал бы лицом в дорожную пыль, если бы его не поддержали сильные руки чеха.

Мацько соскочил с лошади, потом оба они взяли его, понесли к обозу и уложили на устланной соломой телеге. Там Ягенка и Сецеховна, приведя его в чувство, накормили его и напоили вином, причем Ягенка, видя, что он не может удержать кубка, сама подавала ему. Потом он заснул крепким сном, от которого проснулся только через три дня.

Между тем путники стали наскоро совещаться.

– Я скажу коротко, – проговорил Ягенка, – теперь надо ехать не в Щитно, а в Спыхов, чтобы оставить его в безопасном месте, у своих людей, и чтобы за ним был уход.

– Ишь ты, как решаешь, – возразил Мацько. – В Спыхов надо его отослать, но мы необязательно должны ехать все туда, потому что его может отвезти один воз.

– Я ничего не решаю, а только думаю, что от него можно бы узнать очень многое о Збышке и о Данусе.

– А как ты станешь с ним говорить, коли у него языка нет?

– А кто же, как не он, показал вам, что нет? Вот видите, мы и без разговора все узнали, что нам было нужно, а что же будет, когда мы привыкнем к его жестам? Спросите-ка его, например, приезжал Збышко из Мальборга в Щитно или нет. Он или кивнет головой, или покачает. То же самое и о других вещах.

– Верно, – воскликнул чех.

– Не спорю и я, что правда, – сказал Мацько, – у меня тоже была эта мысль, только я сперва думаю, а потом говорю.

Сказав это, он приказал обозу свернуть к мазовецкой границе. Во время пути Ягенка то и дело подъезжала к возу, на котором лежал Юранд, боясь, как бы он не умер во сне.

– Не узнал я его, – сказал Мацько, – да и неудивительно. Человек был – что твой тур. Говорили о нем мазуры, что он один из всех их мог бы подраться с самим Завишей, а теперь словно скелет.

– Ходили слухи, – сказал чех, – что его пытали, да иные и верить не хотели, что христиане могут так поступать с рыцарем, у которого патрон – тот же святой Георгий.

– Слава богу, что Збышко хоть отчасти отомстил за него. Но посмотрите только,

какая разница между нами и ими. Правда, из четырех собачьих детей трое уже погибли, но погибли в бою, и никто ни одному из них языка в плену не отрезал и глаз не выковырял.

– Бог их накажет, – сказала Ягенка.

Мацько обратился к чеху:

– А как же ты его узнал?

– Сначала я тоже его не узнал, хотя видел его позже, чем вы, господин. Но у меня что-то мелькнуло в голове, и чем больше я присматривался, тем больше мелькало... Ни бороды у него не было, ни седых волос, сильный был человек, как же было узнать его в таком состоянии? Но когда панна сказала, что мы едем в Щитно, а он завыл, тут у меня и открылись глаза.

Мацько задумался.

– Из Спыхова надо бы отвезти его к князю, который, конечно, не может оставить без всякого внимания такой обиды, нанесенной человеку значительному.

– Отрекуются они, господин, они украли у него ребенка предательски и отреклись, а о рыцаре из Спыхова скажут, что он и руки, и глаза, и языка лишился в битве.

– Верно, – сказал Мацько. – Ведь они когда-то самого князя забрали в плен. Не может он с ними воевать, потому что не сладит; разве только, если ему наш король поможет. Говорят да говорят люди о большой войне, а тут даже и маленькой нет.

– А с князем Витольдом?

– Слава богу, что хоть этот их ни во что не ставит... Эх, князь Витольд! Вот это князь! И хитростью они его не одолеют, потому что он один хитрее, чем они все вместе. Бывало, прижмут его подлецы так, что конец ему приходит, меч над головой висит, а он змеей выскользнет и сейчас же их ужалит... Берегись его, когда он тебя бьет, но еще больше берегись, когда ласкает.

– Со всеми он такой?

– Нет, не со всеми, а только с меченосцами. С другими он добрый и благородный князь.

Тут Мацько задумался, словно желая получше вспомнить Витольда.

– Совсем другой человек, чем здешние князья, – сказал он наконец. – Надо было Збышке к нему отправиться, потому что под его начальством и благодаря ему всего больше можно причинить вреда меченосцам.

И помолчав, он прибавил:

– Кто знает? Может быть, мы еще оба там очутимся.

И они снова заговорили о Юранде, о его несчастной судьбе и о невыразимых обидах, понесенных им от меченосцев: сперва без всякой причины убили они его любимую жену, а потом, платя мстостью за мстостью, похитили дочь, а самого замучили такими

ужасными пытками, что лучших не придумали бы и татары. Мацько и чех скрежетали зубами при мысли о том, что даже и в даровании Юранду свободы было новое заранее придуманное мучительство. Старый рыцарь в душе давал себе слово, что постарается хорошенько разузнать, как все это было, а потом отплатить с лихвой.

В таких разговорах и мыслях прошла у них дорога до самого Спыхова. После ясного дня наступила тихая, звездная ночь; поэтому они нигде не останавливались на ночлег, только три раза хорошенько накормили лошадей, еще в темноте переехали границу и под утро очутились на спыховской земле. Старик Толима, видимо, управлял там всем с непоколебимой твердостью, потому что едва они вступили в лес, как навстречу им выехало двое вооруженных слуг, которые, впрочем, видя, что это вовсе не какое-нибудь войско, а всего лишь незначительный обоз, не только пропустили их без расспросов, но и проводили по недоступным для чужих людей болотам и топям.

В крепостце гостей встретили Толима и ксендз Калев. Известие о том, что какие-то добрые люди привезли пана, с быстротой молнии распространилось среди гарнизона. Только когда солдаты увидели, каким вышел он из рук меченосцев, среди их разразилась такая буря угроз и бешенства, что если бы в подземельях Спыхова находился еще хоть один меченосец, никакая человеческая сила не смогла бы спасти его от страшной смерти.

Конные солдаты и так хотели тотчас садиться на коней, скакать к границе, схватить сколько удастся немцев и бросить их головы к ногам пана, но их унял Мацько, который знал, что немцы сидят в местечках и замках, а поселяне – люди той же крови, как и спыховцы, только живут под чуждым игом. Но ни шум этот, ни крики, ни скрип колодезных журавлей не разбудили Юранда, которого на медвежьей шкуре перенесли с телеги в его комнату и положили на ложе. С ним остался ксендз Калев, старинный друг его, любивший Юранда как родного; ксендз стал молиться, чтобы Спаситель мира вернул несчастному Юранду и глаза, и язык, и руку.

Утомленные дорогой путники, позавтракав, тоже пошли отдохнуть. Мацько проснулся уже после полудня и велел слуге привести к нему Толиму.

Зная от чеха, что Юранд перед отъездом велел всем слушаться Збышки и что он устами ксендза завещал молодому рыцарю Спыхов, Мацько тоном начальника сказал старику:

– Я – дядя вашего молодого пана, и пока он не вернется, распорядиться здесь буду я.

Толима наклонил свою седую голову, слегка похожую на голову волка, и, приложив руку к уху, спросил:

– Так вы, господин, благородный рыцарь из Богданца?

– Да, – отвечал Мацько. – Откуда вы обо мне знаете?

– Потому что вас сюда ждал и о вас спрашивал молодой пан Збышко.

Услышав это, Мацько вскочил на ноги и, забывая о своем достоинстве, закричал:

– Збышко в Спыхове?

- Был, господин, два дня тому назад уехал.
- Боже ты мой! Откуда он прибыл и куда уехал?
- Прибыл из Мальборга, по дороге был в Щитно, а куда уехал – не сказал.
- Не сказал?
- Может быть, сказал ксендзу Калебу.
- Ах, боже ты мой, мы, значит, разминулись, – сказал Мацько, хлопая себя по бедрам.

Толима же и другую руку приложил к уху:

- Как вы говорите, господин?
- Где ксендз Калев?
- У старого пана, сидит у его постели.
- Позовите его... Или нет... Я сам к нему пойду.
- Я позову его, – сказал старик.

И он вышел. Но прежде чем он привел ксендза, вошла Ягенка.

- Поди-ка сюда. Знаешь, что случилось? Два дня тому назад здесь был Збышко.

Мгновенно лицо ее изменилось, ноги, одетые в полосатые узкие штаны, видимо, задрожали.

- Был и уехал? – спросила она с бьющимся сердцем. – Куда?
- Два дня тому назад, а куда – может быть, ксендз знает.
- Надо нам за ним ехать, – решительным голосом сказала Ягенка.

Через минуту вошел ксендз Калев; думая, что Мацько зовет его, чтобы спросить о Юранде, он сказал, предупреждая вопрос:

- Спит еще.
- Я слышал, что Збышко был здесь! – вскричал Мацько.
- Был. Два дня тому назад уехал.
- Куда?
- Он и сам не знал... Искать... Поехал к жмудской границе, где теперь война...
- Бога ради, отче, скажите, что вы о нем знаете.
- Я знаю только то, что от него слышал. Был он в Мальборге и нашел там

могущественное покровительство у брата магистра, первого рыцаря между меченосцами. По его приказанию Збышке было разрешено производить розыски во всех замках.

– Юранда и Данусю искать?

– Да, но Юранда он не искал, потому что ему сказали, что того уже нет в живых.

– Рассказывайте по порядку.

– Сейчас, только отдохну и соберусь с мыслями, потому что я возвращаюсь из иного мира.

– Как это из иного мира?

– Из того мира, куда на коне не проникнешь, но молитвой проникнешь... и от стоп Господа Бога Иисуса Христа, у которых просил я Бога сжалиться над Юрандом.

– Вы чуда просили? А есть у вас власть на это? – с большим любопытством спросил Мацько.

– Власти и силы у меня нет, но они есть у Спасителя, который, если захочет, вернет Юранду и глаза, и язык, и руку...

– Если захочет, так и вернет, – отвечал Мацько. – А все-таки не о пустяках вы просили.

Ксендз Калев ничего не ответил, а может быть, и не расслышал, потому что глаза у него были, как у безумного, и действительно, было видно, что перед этим он был целиком погружен в молитву.

Он закрыл лицо руками и некоторое время сидел молча. Наконец вздрогнул, протер руками глаза и сказал:

– Теперь спрашивайте.

– Каким образом Збышко склонил на свою сторону войта самбинского?

– Он больше не войт самбинский...

– Ну, дело не в этом... Вы соображайте, о чем я спрашиваю, и отвечайте, что знаете.

– Он понравился ему на турнире. Ульрих любит состязаться на турнирах, сразился он и со Збышкой, потому что в Мальборге было много гостей рыцарей, и магистр устроил состязания. У седла Ульриха лопнула подпруга, и Збышко легко мог сшибить его с коня, но вместо того, увидев это, бросил копье на землю и поддержал падающего.

– А? Вот видишь? – вскричал Мацько, обращаясь к Ягенке. – За это Ульрих и полюбил его? ж

– За это и полюбил. Не хотел уже драться с ним ни на острых, ни на тупых копьях и полюбил его. Збышко рассказал ему свое горе, а тот, как человек, ревностно

относящийся к рыцарской чести, вскипел страшным гневом и отвел Збышку к брату своему, великому магистру, жаловаться. Господь Бог дарует ему за это вечное спасение, ибо немного между ними людей, любящих справедливость. Говорил мне также Збышко, что ему во многом помог рыцарь де Лорш, потому что его там чтут за высокое происхождение и богатство, а он во всем свидетельствовал в пользу Збышки.

– Что же вышло из жалобы и этих показаний?

– Вышло то, что великий магистр строго приказал шитненскому комтуру немедленно прислать в Мальборг всех пленников и пленниц, какие есть в Щитно, не исключая самого Юранда. Относительно Юранда комтур ответил, что тот умер от ран и похоронен в Щитно, возле костела. Прочих пленников он отослал; между ними была и девушка – дурочка, но нашей Дануси не было.

– Я знаю от оруженосца Главы, – сказал Мацько, – что и Ротгер, убитый Збышкой, тоже говорил при дворе князя Януша о такой девушке. Он говорил, что ее считали дочерью Юранда, а когда княгиня ему ответила, что ведь они знали и видели настоящую дочь Юранда, он сказал: "Это правда, но я думал, что ее испортили".

– То же самое написал комтур магистру: будто эту девушку они не держали в темнице, а оберегали, так как отняли ее у разбойников, которые божились, что это дочь Юранда.

– И магистр поверил?

– Он сам не знал, верить ему или не верить, но Ульрих вскипел еще большим гневом и заставил брата послать со Збышкой в Щитно орденского вельможу. Так и случилось. Приехав в Щитно, они уже не застали старого комтура, потому что он поехал к восточным замкам, на войну с Витольдом; застали только его помощника, который приказал открыть все пещеры и подземелья. Искали, искали – и ничего не нашли. Допрашивали людей. Один сказал Збышке, что от капеллана можно бы узнать очень многое, потому что капеллан понимает немного палача. Но палача взял с собой старый комтур, а капеллан уехал в Кролевец на какой-то духовный съезд... Они там часто съезжаются и шлют папе жалобы на меченосцев, потому что и ксендзам несчастным тяжело жить под их властью...

– Одно только мне странно: что они не нашли Юранда, – заметил Мацько.

– Потому что его, видно, старый комтур выпустил раньше. В том, что он его выпустил, было больше злобы, чем если бы он ему попросту горло перерезал. Хотелось им, чтобы он выстрадал перед смертью больше, чем может вынести человек в его состоянии. Слепой, немой и безрукий, господи боже мой... Ни домой не добраться, ни о дороге спросить, ни куска хлеба вымолить... Они думали, что он умрет где-нибудь под забором с голоду, либо где-нибудь в реке утонет... Что они ему оставили? Ничего. Только память о том, кем он был, да сознание горя. А ведь это хуже всех пыток... Может быть, он сидел где-нибудь у костела или возле дороги, а Збышко проехал мимо и не узнал его. Может быть, он слышал голос Збышки, но не мог окликнуть его. Эх, не могу от слез удержаться... Чудо сотворил Господь, что вы его встретили, а потому думаю, что сотворит он и еще большее чудо, хотя молят его о том недостойные и грешные уста мои...

– А что еще говорил Збышко? Куда он поехал? – спросил Мацько.

– Он сказал так: "Я знаю, что Дануся была в Щитно, но они ее либо уморили, либо куда-нибудь увезли. Это, говорит, сделал старик де Леве, и да накажет меня Бог, если я успокоюсь прежде, чем настигну его".

– Вот он что говорил? Значит, он, вероятно, поехал на восток, но теперь там война.

– Он знал, что война, и потому направился к князю Витольду. Говорил, что через князя Витольда скорее добьется чего-нибудь от меченосцев, чем через самого короля.

– К князю Витольду? – вскричал Мацько, вскакивая.

И он обратился к Ягенке:

– Видишь, что такое ум? Я разве не говорил того же? Предсказывал я, что придется нам идти к Витольду...

– Збышко надеялся, – заметил ксендз Калев, – что Витольд вторгнется в Пруссию и станет брать приступом тамошние замки.

– Если у него будет время, так обязательно станет, – отвечал Мацько. – Ну, слава богу, мы знаем, по крайней мере, где искать Збышку.

– Значит, нам теперь надо ехать, – сказала Ягенка.

– Постой! – воскликнул Мацько. – Не пристало пажам давать советы.

Сказав это, он многозначительно взглянул на нее, как бы напоминая ей, что она – паж, а она опомнилась и замолчала. Мацько же с минуту подумал и сказал:

– Уж теперь-то мы найдем Збышку, потому что он, наверное, нигде не находится, как возле князя; но надо бы знать, предстоит ли ему искать еще чего-нибудь, кроме павлиньих перьев, достать которые он поклялся.

– А как же это узнать? – спросил ксендз Калев.

– Если бы я знал, что этот щитненский ксендз вернулся уже со съезда, то хотел бы его повидать, – отвечал Мацько. – У меня есть письма от Лихтенштейна, и я могу безопасно ехать в Щитно.

– Капеллан давно уже должен был вернуться, – сказал ксендз Калев.

– Это хорошо. Остальное поручите мне... Я возьму с собой Главу, двух слуг с боевыми конями на всякий случай и поеду.

– А потом к Збышке? – спросила Ягенка.

– А потом к Збышке, но теперь ты останешься здесь и будешь ждать, пока я вернусь в Спыхов. Я так думаю, что больше трех либо четырех дней там не пробуду. Кости у меня крепкие, и труды мне не в диковинку. Но при этом я прошу вас, отче Калев, дать мне письмо к щитненскому капеллану... Он скорее поверит мне, если я покажу ему ваше письмо... Все-таки ксендз ксендзу всегда больше верит...

– Люди о тамошнем ксендзе хорошо говорят, – сказал отец Калев. – И если кто что знает, так это он.

К вечеру он приготовил письмо, а на другой день не успело еще взойти солнце, как уже старого Мацьки не было в Спыхове.

XII

Юранд проснулся от долгого сна в присутствии ксендза Калеба и, забыв во сне, что с ним произошло, и не зная, где он находится, начал ощупывать ложе и стену, возле которой оно стояло. Но ксендз Калев заключил его в объятия и, плача от волнения, заговорил:

– Это я! Ты в Спыхове! Брат Юранд! Бог сподобил тебя, чтоб ты... среди своих... Тебя привезли благочестивые люди... Брат Юранд! Брат!..

И, прижав его к груди, он стал целовать его в лоб, его пустые глазные впадины и снова целовал, а Юранд сначала был совершенно ошеломлен и, казалось, ничего не понимал, но наконец провел левою рукой по лбу и по голове, как будто хотел отогнать и рассеять тяжелые облака сна и ошеломления.

– Ты слышишь меня и понимаешь? – спросил ксендз Калев.

Юранд движением головы показал, что понимает, потом потянулся рукой за серебряным распятием, которое в свое время отбил у одного знатного немецкого рыцаря, снял его со стены, приложил к устам и отдал ксендзу Калебу.

Тот сказал:

– Я понимаю тебя, брат. Бог остается с тобой и как он вывел тебя из плена, так может возвратить и все, что ты потерял.

Юранд показал рукой вверх, в знак того, что только там получит утраченное им, и слезы опять потекли из его глазных впадин, и выражение неизмеримой боли отразилось на его измученном лице.

Ксендз Калев, заметив это движение, понял, что Дануси уже нет в живых, опустился на колена возле ложа Юранда и сказал:

– Пошли ей, Господи, Царство Небесное!

Слепой приподнялся, сел на постели и начал махать рукой, как бы в знак отрицания, но никак не мог объяснить с ксендзом Калевом, тем более что в ту же минуту в комнату вошел старик Толима, а за ним городской гарнизон и пограничная стража, старейшие обыватели Спыхова, лесники и рыбаки, потому что весть о возвращении господина распространилась уже по всему Спыхову. Одни обнимали его колени, целовали руки и заливались слезами при виде калеки и старика, который ничем не напоминал прежнего грозного Юранда, истребителя меченосцев и победителя во всех битвах, но других, в особенности тех, которые ходили с ним в бой, охватывал вихрь гнева и заставлял их лица бледнеть от бешенства. Спустя минуту они начали сбиваться в кучу, толкать друг друга локтями, наконец из кучи выступил спыховский кузнец, некто Сухаж; он подошел к Юранду, упал к его ногам и сказал:

– Господин, когда вас привезли, мы хотели тотчас же двинуться на Щитно, но

рыцарь, который привез вас, запретил нам это. А уж вы позвольте нам, потому что мы не можем остаться без мести. Пусть будет так, как и раньше бывало. Нас не срамили задаром и не будут срамить... Мы ходили на них под вашим начальством, а теперь пойдем с Толимой, а то и без него. Мы во что бы то ни стало должны взять Щитно и пролить их собачью кровь – и да поможет нам Бог!

– Да поможет нам Бог! – повторили несколько голосов.

– На Щитно!

– Нам нужно крови!

И сразу огонь охватил пылкие мазурские сердца. Лбы стали хмуриться, глаза засверкали, кое-где раздался скрежет зубов. Но вскоре крики и скрежет смолкли, и взоры всех обратились к Юранду.

А у того сперва щеки разгорелись тоже, как будто в нем взыграла прежняя злоба и прежняя боевая отвага. Он поднялся и снова начал шарить рукой по стене. Спыховцам показалось, что он ищет меч, но его пальцы нащупали крест, который ксендз Калев повесил на старое место.

Тогда Юранд во второй раз снял его со стены, и лицо его побледнело; он повернулся к своим людям и, поднимая кверху пустые глазные впадины, протянул вперед распятие.

Наступило молчание. На дворе уже смеркалось. В открытые окна врывалось щебетание птиц, которые располагались на ночь под крышами и на липах, растущих на дворе. Последние красные лучи солнца падали на высоко поднятый крест и на белые волосы Юранда.

Кузнец Сухаж посмотрел на Юранда, обернулся к товарищам, посмотрел еще раз, наконец перекрестился и на цыпочках вышел из комнаты. За ним также тихо вышли все остальные и лишь на дворе начали перешептываться друг с другом:

– Ну, что ж?

– Не пойдем, что ли?

– Не позволил!

– Он оставляет отмщение Богу. Видно, что и душа в нем переменялась. Так и было на самом деле.

Между тем в комнате Юранда остались только ксендз Калев, старик Толима, а с ними Ягенка и Сеиховна, которые, завидев целую толпу вооруженных людей, тоже пришли посмотреть, в чем дело.

Ягенка, более смелая и самоуверенная, чем Сеиховна, подошла к Юранду.

– Да поможет вам Бог, рыцарь Юранд, – сказала она. – Это мы привезли вас сюда из Пруссии.

А у него лицо просветлело при звуке ее молодого голоса. Очевидно, он вспомнил все, что произошло на щитненской дороге, потому что стал благодарить, кивая

головой и прикладывая руку к сердцу. А Ягенка начала рассказывать, как они встретили его, как его узнал чех Глава, оруженосец рыцаря Збышки, и как, наконец, они привезли его в Спыхов. И о себе она рассказала, что вместе с товарищами носит шлем и меч за рыцарем Мацькой из Богданца, Збышковым дядей, который, отыскивая племянника, поехал в Щитно, но через три или четыре дня свернул к Спыхову.

Юранд при упоминании о Щитно, правда, не впал в такую тревогу, как в первый раз, на дороге, но на лице его все-таки отразилось беспокойство. Ягенка тотчас поспешила успокоить его, сказав, что рыцарь Мацько настолько же ловок, насколько и храбр, и что никому не поддастся, а кроме того, у него есть письмо от Лихтенштейна, и с этим письмом он всюду может проехать безопасно. Слова эти успокоили Юранда. Видно было, что он хочет расспросить и о многих других вещах, но, не в силах будучи сделать это, терзается душой. Сообразительная Ягенка тотчас же поняла это и сказала:

– Если мы чаще будем говорить друг с другом, то до всего договоримся.

На это он опять улыбнулся, протянул руку, случайно положил ей на голову и долго держал, как будто благословлял ее. Он, действительно, многим был обязан ей, но, кроме того, ему, видимо, приходилось по сердцу и эта молодость, и это щебетанье, напоминающее птичий щебет.

И с той поры, когда он не молился, – а молился он почти весь день, – или не был погружен в сон, он всегда искал ее около себя, а если ее не было, тосковал по ней и всяческими способами давал понять ксендзу Калебу и Толиме, что ему желательно было бы присутствие прекрасного мальчика.

И она приходила, ибо ее доброе сердце искренне жалело его, а кроме того, в его обществе легче было ожидать приезда Мацьки, пребывание которого в Щитно что-то уж очень затянулось.

Он должен был возвратиться через три дня, а между тем уже прошел и четвертый, и пятый. На шестой день под вечер встревоженная девушка собиралась было просить Толиму отправить людей на разведку, как вдруг со сторожевого дуба дали знать, что кто-то приближается к Спыхову.

Немного погодя по подъемному мосту застучали копыта, и на двор въехал оруженосец Глава с другим слугой. Ягенка, которая еще раньше сошла сверху и ждала на дворе, бросилась к чеху, прежде чем он успел слезть с коня.

– Где Мацько? – спросила она с тревожно бьющимся сердцем.

– Поехал к князю Витольду, а вам приказал оставаться здесь, – ответил оруженосец.

XIII

Ягенка, узнав, что, по приказанию Мацьки, она должна остаться в Спыхове, сначала от удивления, горя и гнева не могла выговорить ни слова и только широко открытыми глазами глядела на чеха, который, хорошо понимая, какую неприятную новость приносит ей, сказал:

– Я хотел бы отдать вам отчет в том, что мы слышали в Щитно. Новостей много и важных.

– О Збышке есть?

– Нет, все щитненские... понимаете?

– Понимаю! Пусть слуга расседлает коней, а вы идите за мной. И, отдав слуге приказание, повела с собой чеха наверх.

– Отчего Мацько оставил нас? Почему мы должны оставаться в Спыхове и почему вы вернулись? – проговорила она одним духом.

– Я возвратился потому, что мне приказал рыцарь Мацько, – ответил Глава. – Мне и самому хотелось на войну, да приказано – значит, приказано. Рыцарь Мацько сказал мне так: "Ты вернешься назад, будешь охранять згожелицкую панну и ждать от меня известий. Может быть, – говорит, – тебе придется провожать ее в Згожелицы, потому что одной ей ехать нельзя".

– Боже мой, что такое случилось? Нашлась, что ли, дочь Юранда? Или Мацько поехал не к Збышке, а за Збышкой? Ты видел ее, говорил с ней? Отчего же ты не привез ее сюда и где она теперь?

Растерявшийся от этой уймы вопросов, чех обнял ноги девушки и сказал:

– Да не прогневается ваша милость, что и на все это не отвечу сразу, а то нет никакой возможности; я буду отвечать по очереди на каждый вопрос, если мне не будут мешать.

– Хорошо! Отыскалась она или нет?

– Нет, но окончательно подтвердилось, что она была в Щитно и ее увезли куда-то к восточным замкам.

– А мы почему должны сидеть в Спыхове?

– А если она найдется?... Оно пожалуй что... Тогда правда, что незачем... Ягенка замолкла, только щеки ее вспыхнули.

А чех сказал:

– Я думал и теперь еще думаю, что из этих собачьих когтей мы не вырвем ее живой, но все в руках Божьих. Нужно рассказать все по порядку. Приехали мы в Щитно, ну, хорошо. Рыцарь Мацько показал подвойту письмо Лихтенштейна, а подвойт, – он когда-то в молодости носил за ним меч, – у нас на глазах поцеловал печать письма, а нас принял радушно и ни в чем не заподозрил. Будь у нас людей побольше, можно было бы и крепость взять, так он нам доверял. С ксендзом видеться нам никто не препятствовал и мы беседовали с ним целые две ночи и узнали странные вещи, которые ксендз знал от палача.

– Да ведь палач немой!

– Немой, но умеет ксендзу все показывать знаками, а ксендз его так понимает, как будто с ним говорит обыкновенным языком. Странные вещи, и виден в них перст Божий. Этот палач отрубил у Юранда руку, вырвал язык и выжег глаз. Он таков, если дело касается мужчины, что не содрогнется ни перед какой пыткой, и если ему

прикажут рвать человека зубами, то он станет рвать. Но ни на одну женщину он руки не подымет, какими муками ему ни угрожай. А таков он по той причине, что у него когда-то была единственная дочь, которую он ужасно любил и которую меченосцы...

Глава запнулся и не знал, как говорить ему дальше. Ягенка заметила это и сказала:

– Ну что вы мне там толкуете о дочери палача?

– Потому что это относится к делу, – отвечал чех. – Когда наш молодой пан зарубил рыцаря Ротгера, старый комтур, Зигфрид, чуть не взбесился. В Щитно говорили, что Ротгер был его сын, но ксендз отвергал это, хотя и подтвердил, что никогда отец не любил сына больше. И вот он ради мести запродавал дьяволу душу; палач это видел. С убитым он разговаривал, как я с вами, а мертвец в гробу то смеялся, то скрежетал зубами, то облизывался черным языком от радости, что комтур обещал ему голову пана Збышки. Но пана Збышки он тогда не мог достать и пока приказал мучить Юранда, а потом его язык и руку положить в гроб Ротгера, который тотчас же начал жрать ее сырым...

– Страшно слушать... Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь! – сказала Ягенка.

И, встав с места, она подбросила щепок в камин, потому что уже совершенно смеркалось.

– Как же! – продолжал Глава. – Не знаю, как будет на Страшном суде, потому что Юранду должно быть возвращено все, что ему принадлежало. Но это не человеческого ума дело. Палач тогда все это видел. И вот, накормив упыря человеческим мясом, старый комтур пошел приносить ему в жертву Юрандову дочь, потому что упырь, должно быть, шепнул ему, что хотел бы запить еду невинной кровью... Но палач, который, как я говорил, сделает все, только не может видеть мучений женщины, еще раньше спрятался на лестнице... Ксендз говорил, что палач не в полном разуме, все равно, как бы какая-нибудь скотина, но разницу между мужчиной и женщиной понимает, и если нужно – устроит так, что в хитрости с ним никто не сравняется. И вот уселся он на лестнице и ждет; приходит комтур... Заслышал он сопенье палача, увидел его горящие глаза и испугался, – представилось ему, что это дьявол. А он комтура кулаком! Думал, что насквозь пробьет его и ничего от него не останется, но все-таки не убил. Комтур лишился чувств и захворал со страху, а когда выздоровел, то боялся покушаться на дочь Юранда.

– Но все-таки ее увез?

– Увезти-то увез, но вместе с ней и палача взял. Он не знал, что это палач защитил дочь Юранда, ему мерещилась какая-то чудесная сила, не то злая, не то добрая. Но во всяком случае он не хотел оставлять палача в Щитно. Не то он боялся его свидетельства, не то еще чего-то... Правда, палач немой, но если б начался суд, то он мог бы сказать при помощи ксендза то, что сказал... И в конце концов ксендз сказал рыцарю Мацько вот что: "Старик Зигфрид не убьет дочь Юранда, потому что боится, а если б и приказал кому-нибудь другому, то Дидерих, пока жив, не даст ее в обиду, тем более что один раз уже спас ее.

– А ксендз знал, куда ее отвезли?

– Как следует он не знал, но слышал, что что-то говорили о Рагнете. Этот замок

лежит недалеко от литовской или жмудской границы.

– А что Мацько на это?

– Пан Мацько выслушав это, сказал мне на другой день: "Если так, то, может быть, мы и найдем ее, а мне изо всех сил нужно спешить к Збышке, чтоб я его не поманили Данусей и не подцепили, как подцепили Юранда. Пусть только скажут, что ее отдадут ему, если он сам приедет; он приедет, а тогда старик Зигфрид так отомстит ему за Ротгера, как еще глаз человеческий не видывал".

– Верно! Верно! – с тревогой воскликнула Ягенка. – Если поэтому он так спешил, то, значит, хорошо.

Но, спустя минуту, она опять обратилась к Главе:

– В одном только он ошибся, что прислал вас сюда. Чего нас оберегать здесь, в Спыхове? Нас уберезет и старик Толима, а там вы были бы нужны Збышке, вы такой сильный и ловкий.

– А кто вас, панна, в случае надобности, отвез бы в Згожелицы?

– В случае надобности вы могли бы приехать раньше них. Они должны будут прислать с кем-нибудь известия, пришлют с вами, а вы отвезете нас в Згожелицы.

Чех поцеловал у нее руку и спросил взволнованным голосом:

– А на это время вы останетесь здесь?

– Сироту Бог бережет. Мы останемся здесь.

– А не скучно вам будет здесь? Что вы будете здесь делать?

– Просить Господа Бога, чтобы он возвратил Збышке счастье, а вас всех сохранил в добром здравии.

И сказав это, она расплакалась. Оруженосец снова склонился к ее коленам.

– Вы, – сказал он, – словно ангел небесный.

XIV

Она отерла слезы, взяла с собой оруженосца и пошла к Юранду сообщить ему эти вести. Застала она его в большой комнате с ксендзом Калобом, с Сецеховной, со стариком Толимой и с ручной волчицей, лежащей у его ног. Местный дьячок, который вместе с тем был и рибальтом, под звуки лютни пел песню о какой-то старой битве Юранда с "нечестивыми меченосцами", а слушатели внимали ему в задумчивости и с грустью. В комнате было светло от лунного света. После дня, почти знойного, вечер наступил тихий и очень теплый. Окна были открыты, и в лунном блеске были видны летающие жуки, которые роились в липах, растущих на дворе. В камине тем не менее тлело несколько головней, у которых слуга разогревал мед, смешанный с подкрепляющим вином и пахучими травами.

Рибальт, вернее дьячок и слуга ксендза Калеба, только что начал новую песню "О счастливой стычке": "Едет Юранд, едет, конь под ним гнедой..." – как в комнату вошла Ягенка и сказала:

– Слава Господу Богу Иисусу Христу!

– Во веки веков! – отвечал ксендз Калев.

Юранд сидел на скамье, опершись локтями на поручни, но, заслышав голос Ягенки, тотчас же повернулся к ней и приветственно закивал седой головой.

– Приехал из Щитно оруженосец Збышки, – заговорила девушка, – и привез известия от ксендза. Мацько уже не приедет, он отправился к князю Витольду.

– Как не вернется? – спросил отец Калев.

И она начала рассказывать все, что слышала от чеха. О Зигфриде, как мстил он за смерть Ротгера, о Данусе, как старый комтур хотел ее отнести Ротгеру, чтобы тот выпил ее невинную кровь, и о том, как ее внезапно защитил палач. Не утаила и того, что Мацько теперь надеется вместе со Збышкой отыскать Данусю, отбить ее и привезти в Спыхов, для чего собственно он и поехал к Збышке, а им приказал остаться здесь.

В конце рассказа голос ее задрожал, как бы от грусти или горя, а когда она кончила, в комнате воцарилось молчание. Только в липах раздавались песни соловьев, которые, казалось, через открытые окна врываются в комнату и заливали ее, как крупные и частые капли дождя. Все обратили внимание на Юранда, а он с закрытыми глазами и закинутою назад головой не подавал ни малейшего признака жизни.

– Слышите? – спросил его наконец ксендз Калев.

Юранд еще больше закинул голову, поднял левую руку кверху и показал пальцем на небо.

Лунный блеск падал прямо на его лицо, на белые волосы, на выжженные глаза, и на этом лице отражалось такое страдание и вместе с тем такая неизмеримая покорность воле Божьей, что всем показалось, будто они видят лишь душу, освобожденную от телесных уз, – душу, которая, раз и навсегда разлучившись с земной жизнью, ничего уже не ждет от нее и ни на что не рассчитывает.

И снова наступило молчание, и снова слышны были только соловьиные голоса, наполнявшие собой двор и комнату.

Ягенку вдруг охватила страшная жалость и словно детская любовь к этому несчастному старику, и, следуя первому побуждению, она подбежала к нему, схватила его руку и прижала к губам.

– И я сирота! – вырвалось из ее переполненного сердца. – И вовсе не мальчик, я Ягенка из Згожелиц. Мацько взял меня, чтобы уберечь от злых людей, но теперь я останусь с вами, пока Бог не возвратит вам Данусю.

Юранд не выказал даже удивления, как будто и раньше знал, что она женщина, он только прижал ее к своей груди, а она все целуя его руку, продолжала прерывистым и рыдающим голосом:

– Я останусь с вами, а Дануся вернется... А уж потом я поеду в Згожели-цы... сирот

Бог бережет! И отца моего немцы убили, а ваша дочка жива и вернется к вам. Пошли это, Господи Всесильный, пошли, Пречистая Мать, милосердная...

Ксендз Калев вдруг опустился на колени и отозвался торжественным голосом:

– Кирие, элейсон!

– Христе, элейсон! – ответили ему в один голос чех и Толима.

Все стали на колени, все поняли, что это – молебен, которое совершается не только у ложа умирающего, но и для избавления кого-нибудь от смертельной опасности. И Юранд опустился на колени, и все хором заговорили:

– Кирие, элейсон! Христе, элейсон!.. Отче Небесный, помилуй нас!..

Людские голоса и молитвенные возгласы: "Помилуй нас!" – сливались со щелканьем соловьев.

Но вдруг прирученная волчица поднялась с медвежьей шкуры, лежавшей у скамьи Юранда, приблизилась к открытому окну, поставила лапы на подоконник и, задрвав сверху свою треугольную голову, завывала тихо и жалобно.

Хотя чех обожал Ягенку и хотя сердце его все более и более льнуло к красавице Сецеховне, но все же молодая и храбрая душа прежде всего рвалась на войну. Правда, он вернулся в Спыхов по приказу Мацьки и, кроме того, находил некоторое утешение в том, что будет покровителем обеих девушек, тем не менее, когда Ягенка сказала, что им в Спыхове ничто не угрожает и что его обязанность – находиться возле Збышки, чех с удовольствием согласился с этим. Мацько не был его господином и он мог легко оправдаться перед ним, что не остался в Спыхове по воле своей повелительницы, которая приказала ему идти к пану Збышке.

А Ягенка сделала это в расчете на то, что оруженосец с такой силой и ловкостью всегда может пригодиться Збышке и избавить его не от одной беды. Он доказал это еще во время княжеской охоты, когда тур чуть не убил Збышку. Тем более он мог быть полезен на войне, в особенности на такой, какая кипела на жмудской границе. Гловач так торопился на поле битвы, что лишь только возвратился от Юранда вместе с Ягенкой, как обнял ее ноги и сказал:

– Значит, позвольте мне теперь же поклониться вашей милости и попросить на дорогу доброе слово.

– Как? – спросила Ягенка. – Ты сегодня же хочешь ехать?

– Завтра, до рассвета, только чтобы лошади отдохнули за ночь. Отсюда до Жмуди далеко!

– Тогда поезжай, потому что тебе легче будет догнать рыцаря Мацьку.

– Тяжело будет догнать. Старый рыцарь крепок и опередил меня на несколько дней. Притом он поедет по Пруссии, чтобы сократить себе дорогу, а я должен ехать через леса. У него есть письма Лихтенштейна и он будет показывать их по дороге, а я могу показывать разве только вот это и этим прочищать себе дорогу.

Сказав это, он положил руку на рукоять кинжала, а Ягенка, видя это, воскликнула:

– Будь осторожней! Коли едешь, так нужно, чтобы ты и доехал, а не застрял в каком-нибудь орденском подземелье. Но и в лесах нужно быть осторожным, там живут разные божки, которым поклонялся тамошний народ, прежде чем перешел в христианство. Я помню, как рыцарь Мацько и Збыш-ко рассказывали об этом в Згожелицах.

– Я помню, да не боюсь, потому что это дрянь, а не божки, и силы у них никакой нет. Я справлюсь и с ними, и с немцами, которых встречу по дороге, лишь бы война хорошенько разгорелась.

– А разве она не разгорелась? Ну, говори, что слышно о ней у немцев. Сметливый оруженосец нахмурил брови, подумал с минуту, а потом сказал:

– И разгорелась, и не разгорелась. Мы подробно расспрашивали обо всем, особенно рыцарь Мацько, он хитер и всякого немца сумеет объехать. Как будто спрашивает совсем о другом, прикидывается приятелем, себя ни в чем не выдает, а ударит в самую точку и изо всякого вытащит правду, как рыбу крючком. Если ваша милость захочет терпеливо слушать, то я вот что скажу: князь Витольд, несколько лет тому назад собираясь идти на татар и желая сохранить спокойствие на своей немецкой границе, уступил немцам Жмудь. Была великая дружба и согласие. Он позволял им воздвигать замки, да и сам помогал им. Они с магистром съезжались на одном острове, пили, ели и уверяли друг друга в любви. Немцам не воспрещалось даже охотиться в его лесах, а когда бедняки жмудины восставали против орденского владычества, то князь Витольд помогал немцам и посылал им войска... Роптали по всей Литве, что он идет против собственной крови. Все это нам рассказывал шитненский подвойт и хвалил орденское правление в Жмуди за то, что немцы посылали жмудинам ксендзов, которые должны были их крестить, и хлеб во время голода. Посылать-то они посылали, потому что так приказал великий магистр, а у него больше, чем у кого-либо из меченосцев, страха Божьего, зато увозили жмудинских детей в Пруссию, а женщин бесчестили на глазах у мужей и братьев, а кто сопротивлялся, того вешали... Оттого, панна, и война началась.

– А князь Витольд?

– Князь Витольд долго закрывал глаза на немецкие неистовства и любил меченосцев. Немного времени прошло с тех пор, как его жена ездила в гости в Пруссию, в самый Мальборг. Там ее принимали, как самое польскую королеву. И недавно это было, недавно. Меченосцы осыпали ее дарами, а сколько турниров было, пиров и разных чудес в каждом городе, того и не пересчитаешь. Люди думали, что между меченосцами и князем Витольдом воцарится вечная любовь, но внезапно сердце его изменилось...

– Судя по тому, что говорили покойник отец и Мацько, сердце его часто меняется.

– К хорошим людям – нет, а к меченосцам часто, потому что и сами они никогда не держат слова. Теперь они требовали, чтобы он выдал им беглецов, а князь ответил им, что людей низкого происхождения выдаст, а свободных и не подумает, потому что они имеют право жить, где хотят. И начали они ворчать друг на друга, и жалобы свои выкладывать, и грозить друг другу. Услыхали это жмудины – да на немцев! Гарнизоны перерезали, крепости разрушили, а теперь и в самую Пруссию вторгаются, потому что князь Витольд не только их не удерживает, а потешается над затруднением немцев и потихоньку шлет помощь жмудинам.

– Понимаю, – сказала Ягенка. – Но если он помогает им потихоньку, то войны еще нет.

– Есть со жмудинами, а на деле и с самим Витольдом. Немцы отовсюду идут охранять пограничные замки и рады бы предпринять большой поход на Жмудь, но должны долго ждать, до самой зимы, потому что это страна болотистая и рыцарям воевать в ней невозможно. Где жмудин пройдет, там немец увязнет, поэтому зима – немцам приятельница. Но с наступлением морозов вся орденская сила двинется вперед, а на помощь жмудинам выйдет князь Витольд, и выйдет с разрешения польского короля, потому что тот – верховный государь и самого великого князя, и всей Литвы.

– Так, может быть, и с королем будет война?

– И у нас, и у немцев люди говорят, что будет. Меченосцы уже выпрашивают помощи у всех дворов, и на голове у них шапка горит, как у вора, потому что королевская сила – это не шутка, а польское рыцарство, чуть кто напомнит о меченосце, плюет себе на ладони.

Ягенка на это вздохнула и сказала:

– Всегда веселее мужчине на свете, чем женщине. Например, ты поедешь на войну, как поехал Збышко и Мацько, а мы останемся здесь в Спыхове.

– Паненка, как же иначе может быть? Вы останетесь, но в полной безопасности. Немцам и до сих пор страшно имя Юранда. Я сам видел это в Щитно. Когда они узнали, что он в Спыхове, то сейчас же перетрусили.

– Мы знаем, что они не придут сюда, им помешают и болото, и старик Толима, но тяжело будет сидеть здесь без вестей.

– Чуть что случится, я дам знать. Я знаю, что еще перед нашим отъездом в Щитно отсюда собирались ехать на войну двое парней, и Толима воспретить им этого не может, потому что они из ленкавицкой шляхты. Теперь они поедут вместе со мной, и в случае чего я тотчас же пошлю к вам с вестями.

– Пошли тебе Бог за это. Я знала, что ты всегда найдешься, но за твое сердце и расположение ко мне до смерти буду благодарна тебе.

На это чех преклонил колени и сказал:

– Не обиду я узнал от вас, а только одно благодеяние. Рыцарь Зых взял меня в плен под Болеславцем мальчишкой и без выкупа дал мне свободу, но служба у вас была для меня милее свободы. Дай мне Бог пролить за вас кровь, моя госпожа!

– Да руководит тобою Бог и да приведет он тебя обратно! – ответила Ягенка и протянула ему руку.

Но он предпочел склониться к ее ногам и целовать их, чтобы выказать свое почтение, а потом, не вставая с колен, заговорил несмело и покорно:

– Я человек простой, но дворянин и верный слуга ваш... Дайте мне что-нибудь в дорогу на память. Не отказывайте мне в этом! Уже наступает время военной страды, а святой Георгий свидетель, что я буду находиться там впереди, а не позади.

– О чем ты меня просишь? – спросила несколько удивленная Ягенка.

– Повяжите меня на дорогу какой-нибудь лентой, потому что, если придется мне пасть, то легче будет умирать с вашей перевязью.

И он снова склонился к ее ногам и умолял, сложив руки, глядя в ее глаза, но на лице Ягенки отразилось чувство замешательства, и она ответила с порывом невольной досады:

– Ах, милый мой! Не проси у меня этого, моя перевязь ни на что тебе не пригодится. Пускай тебя перевяжет тот, кто сам счастлив, вот это тебе принесет счастье! А во мне, по правде сказать, что такое? Ничего, только одна грусть! А передо мной – ничего, только одно несчастье! Ох, не принесу я счастья ни тебе, ни кому другому, потому что чего у меня нет, того я и дать не могу. Так мне теперь, Глава, плохо на свете, что, что...

Тут она вдруг замолкла, чувствуя, что если скажет еще хоть слово, то разрыдается, слезы и так, словно туча, затуманивали ее глаза. Чех был очень взволнован, он понял, что ей плохо возвращаться в Згожелицы и жить в соседстве свирепых соперников – Чтана и Вилька, и плохо также оставаться в Спыхове, куда рано или поздно мог приехать Збышко с Данусей. Глава отлично понимал все, что делается в сердце девушки, но так как не видел никакого средства против ее несчастья, то лишь снова обнял ее ноги и проговорил:

– Эх, умереть бы за вас! Умереть!

А она сказала:

– Встань. А на войну пусть тебя Сецеховна опояшет или даст что-нибудь на память. Она всегда рада видеть тебя.

Ягенка крикнула, и Сецеховна тотчас вышла из соседней комнаты, потому что подслушивала у дверей, а не показывалась только из робости, хотя в ней кипело желание проститься с прекрасным оруженосцем. Она вошла смущенная, испуганная, с бьющимся сердцем, с заплаканными и сонными глазами и, опустив веки, остановилась перед чехом, не в силах будучи произнести ни слова, похожая на цветок яблони.

Глава, кроме глубокой привязанности, питал к Ягенке глубочайшее уважение, но не смел коснуться ее ни одной греховной мыслью, зато часто мечтал о Сецеховне и, чувствуя, как кровь клокочет в его жилах, не мог устоять перед ее очарованием. Теперь она еще сильнее уязвила его сердце своей красотой, а в особенности своим смущением и слезами, сквозь которые проглядывала любовь, как сквозь ясную воду ручья проглядывает золотое дно.

И обратившись к ней, он сказал:

– Знаете что? Я еду на войну, может быть, и погибну. Вам не жаль меня?

– Жаль! – тонким голоском отвечала девушка.

И залилась слезами, потому что они всегда у нее были наготове. Чех растрогался окончательно и стал целовать ее руки, подавляя в себе, в присутствии Ягенки, желание приступить к еще более горячим поцелуям.

– Опояшь его или дай что-нибудь на память, чтобы он бился под твоим знаком, – сказала Ягенка.

Но Сецеховне нелегко было дать что-нибудь, потому что она была одета в мужскую одежду подростка. Она начала искать: ни ленты, ни какого-нибудь пояска! А так как женские уборы лежали еще не разобранными в лубках, то Сецеховна впала в немалое затруднение, из которого ее вновь вывела Ягенка, посоветовав отдать сетку, которую та носила на голове.

– Слава богу! Пусть будет сетка! – воскликнул несколько развеселившийся Глава. – Я повешу ее на шлем, и несчастна будет мать того немца, который потянется за нею!

Сецеховна поднесла обе руки к голове, и через минуту светлые пряди волос рассыпались по ее плечам. Глава в первый раз видел ее такой простоволосой и прекрасной и изменился в лице. Его щеки сначала вспыхнули, а потом побледнели; он взял сетку, поцеловал ее, спрятал за пазуху, еще раз обнял колена Ягенки, а потом, сильнее, чем это было нужно, колена Сецеховны, проговорил: "Пусть будет так!" – и вышел из комнаты.

Хотя был утомлен и не успел еще отдохнуть, он спать не лег. Целую ночь пил он с двумя молодыми ленкавицкими шляхтичами, которые должны были ехать с ним на Жмудь. Тем не менее он не напился и при первом луче рассвета был уже на дворе, где его ждали готовые к дороге лошади.

В стене над сараем, где стояли возы, одно из окон, затянутое пузырем, приотворилось, и сквозь щель выглянули во двор синие глаза. Чех заметил их, хотел было идти к окну, чтобы показать сетку, прикрепленную к шлему, и проститься еще раз, но ему помешали ксендз Калев и старик Торма, которые вышли, чтобы дать ему несколько советов на дорогу.

– Поезжай ко двору князя Януша, – сказал ксендз Калев, – может быть, и рыцарь Мацько там. Во всяком случае ты получишь верные сведения, потому что в знакомых у тебя там нет недостатка. Дороги оттуда на Литву всем известны, да и легче найти проводника через пушу. Если ты наверное хочешь доехать до пана Збышки, то дорога тебе лежит не на Жмудь, – там ты встретишь прусскую заставу, – а через Литву. Имей в виду, что и жмудины могут убить тебя, прежде чем ты крикнешь, кто ты. Не то будет, если ты явишься со стороны князя Витольда. Как бы то ни было, да благословит Бог тебя и обоих твоих товарищей. Дай Бог, чтобы вы возвратились в добром здравии и привезли бы Данусю, а я за это после каждой вечерни буду лежать крестом до первой звезды.

– Благодарю вас, отче, за благословение, – отвечал Глава. – Нелегко живую вырвать жертву из дьявольских рук, но все будет по воле Господа Иисуса, и надеяться лучше, чем отчаиваться.

– Конечно, лучше, потому-то я и не теряю надежды. Да... не теряю, хотя сердце мое тревожно... Хуже всего то, что сам Юранд, как только произнесешь ее имя, тотчас же показывает пальцем на небо, как будто уже видел ее там.

– Как же он мог ее видеть там, если он потерял глаза?

Ксендз заговорил, обращаясь наполовину к чеху, наполовину к самому себе:

– Бывает так, что угасают у человека земные очи, и он видит то, чего другие увидеть не могут. Бывает, бывает так. Но ведь и то невозможно, чтоб Господь допустил обидеть такого агнца. Чем она провинилась перед меченосцами? Ничем! Она была невинна, как лилия Божья, к людям ласкова, а щebetала как полевая пташка! Бог любит детей и сострадает человеческой муке... Если даже убили ее, он может воскресить!.. – Поезжай же в добром здравии и да хранит рука Божья и вас всех, и ее!

Сказав это, ксендз возвратился в часовню, чтобы служить раннюю обедню, а чех сел на коня, еще раз поклонился в сторону закрытого окна и поехал, потому что на дворе совсем уже рассвело.

XV

Князь Януш и княгиня с частью двора выехали в Черск на весеннюю ловлю рыбы, потому что чрезвычайно любили это зрелище и считали его первым своим развлечением. Однако чех узнал от Миколая из Длуголяса много важных вещей, в одинаковой мере касавшихся частных дел и войны. Прежде всего он узнал, что рыцарь Мацько, видимо, оставил намерение ехать на Жмудь прямо через "прусскую заставу", потому что за несколько дней до того был в Варшаве, где застал еще и князя и княгиню. Относительно войны старый Миколай подтвердил все те слухи, которые Глава слышал в Щитно.

Вся Жмудь восстала против немцев как один человек, а князь Витольд не только не помогал уже ордену против несчастных жмудинов, но, не объявляя еще ему войны и сбивая с толку переговорами, всячески помогал Жмуди деньгами, людьми, лошадьми и провиантом.

Между тем как он, так и меченосцы посылали послов к папе, к императору и к прочим христианским государям, обвиняя друг друга в вероломстве и предательстве. Со стороны великого князя с этими письмами поехал умный Миколай из Женева, умевший распутывать нитки, запутанные хитростями меченосцев, обстоятельно обнаруживая при этом беспредельные обиды, чинимые литовским и жмудским областям.

В то время как на виленском сейме еще более укрепилась связь между Литвой и Польшей, сердца меченосцев упали, потому что легко было предвидеть, что Ягелло, как верховный владыка всех земель, состоявших под управлением князя Витольда, станет, в случае войны, на его сторону. Граф Иоганн Сайн, комтур грудзиондзский, и граф Шварцбург гданский по приказанию магистра отправились к королю с вопросом, чего следует от него ожидать. Король ничего не сказал им, хотя они привезли ему дары: охотничьих кречетов и драгоценную утварь. Тогда они пригрозили войной, но не искренне, потому что отлично знали, что магистр и капитул ордена в душе боятся страшной силы Ягеллы и предпочитают отвести от себя день гнева и горя.

И вот, как паутина, рвались все переговоры, особенно же с Витольдом. Вечером, в день приезда Главы, в варшавский замок пришли свежие вести. Приехал Бронич из Цясноти, придворный князя Януша; он был ранее послан за сведениями на Литву, с ним прибыли два влиятельных литовских князя с письмами от Витольда и от Жмуди. Известия были грозные. Орден готовился к войне. Укреплялись замки, молотился порох, тесались каменные ядра, к границам стягивались кнехты и рыцари, а небольшие отряды конницы и пехоты уже вторгались в пределы Литвы и Жмуди со стороны Рагнеты, от Готтесвердера и прочих пограничных замков. Уже в лесной чаще, в полях и по деревням раздавались военные возгласы, а по вечерам над темным морем лесов сияли зарева пожаров. Витольд наконец принял Жмудь под

открытое свое покровительство, послал своих управителей, а вождем вооруженного народа поставил известного своей храбростью Скирвойллу. Тот ворвался в Пруссию, стал жечь, разрушать и уничтожать. Сам князь придвинул войска к Жмуди, некоторые замки вооружил, другие, как, например, Ковну, разрушил, чтобы они не стали опорой меченосцев, и ни для кого уже не было тайной, что, когда настанет зима и мороз скует болота и топи, а то так и раньше, если лето будет сухое, начнется большая война, которая охватит все литовские, жмудские и прусские земли; известно было и то, что если король придет на помощь Витольду, то должен наступить такой день, когда немецкая волна или зальет вторую половину мира, или будет отбита и отступит на много веков в прежние свои русла.

Но это еще должно было наступить не сразу. Тем временем по всему миру раздавался вопль и призыв к справедливости. В Кракове и Праге читалось письмо несчастного народа, читалось оно и при папском дворе, и в других западных государствах. К князю Янушу это откровенное письмо привезли те Два боярина, которые прибыли с Броничем из Цясноти. И не один мазур невольно ощупывал на боку кинжал и подумывал, не пойти ли хоть по своей Доброй воле под Витольдовы знамена. Было известно, что великий князь был всегда рад закаленной польской шляхте, столь же лютой в бою, как литовские и жмудские бояре, но лучше обученной и вооруженной. Некоторых толкала туда старинная вражда к недругам ляхского племени, а некоторых влекло сострадание. "Слушайте! Слушайте! – восклицали, обращаясь к королям, князьям и всем народам, жмудины. – Были мы свободным и благородным по крови народом, а орден хочет обратить нас в рабов. Не души наши нужны ему, а богатство и земли. Уже такова нищета наша, что нам остается либо побираться, либо разбойничать. Как могут они омыwać нас водой крещения, если у самих у них руки не чисты? Мы хотим крещения, но не кровью и мечом, и хотим веры, но лишь такой, какой учат благородные государи Витольд и Ягелло. Слушайте нас и спасайте, ибо мы погибаем. Орден хочет крестить нас, чтобы легче было поработить; не ксендзов посылает он к нам, а палачей. Уже отняли они у нас наши улы, наши стада, все плоды земли нашей; уже нельзя нам ни ловить рыбу, ни бить зверей в пущах. Молим вас, слушайте, ибо вот уже согнули наши некогда свободные спины для ночных работ при замках. Детей наших отняли, как заложников, а жен и дочерей бесчестят на глазах мужей и отцов. Скорее нам должно стонать, нежели говорить. Родные жилища наши сожжены огнем, паны уведены в Пруссию, великие мужи Коркут, Вассыгин, Свольк и Сонгайло убиты. Как волки, пьют они нашу кровь. О, послушайте! Ведь мы же люди, а не звери, и мы взываем к святому отцу, чтобы он повелел польским епископам крестить нас, ибо всей душой желаем крещения, но крещения водой милости, а не живой кровью уничтожения".

Так или почти так жаловались жмудины, и когда их жалобы были услышаны и при мазовецком дворе, несколько рыцарей и дворян тотчас решили идти к ним на помощь, понимая, что князя Януша нечего и спрашивать о разрешении, хотя бы уже и потому, что княгиня – родная сестра Витольда. И вот у всех закипели гневом сердца, когда от Бронича и бояр узнали, что много благородных жмудских юношей, находясь в Пруссии в качестве заложников и не в силах будучи вынести оскорблений и зверств, чинимых над ними меченосцами, лишили себя жизни.

А Глава был рад этому подъему среди польских рыцарей, ибо думал, что чем больше народу уйдет из Польши к князю Ритольду, тем сильнее разгорится война и тем вернее можно будет причинить зло меченосцам. Радовало его и то, что он увидит Збышку, к которому успел привязаться, и старика Мацьку, о котором он думал, что стоит на него посмотреть за работой; хотелось ему увидеть и новые земли, неизвестные города, невиданных до сих пор рыцарей и солдат, наконец, самого князя Витольда, слава которого широко распространялась по всему тогдашнему миру.

И потому он решил ехать прямо и скоро, нигде не задерживаясь дольше, чем нужно было для того, чтобы дать отдых лошадям. Бояре, прибывшие с Броничем из Цясноти, и другие литвины, находившиеся при дворе княгини, знающие все дороги и проходы, должны были вести его и рыцарей-добровольцев от остановки до остановки, от города к городу и дальше, через глухие, необозримые лесные пространства, которыми была покрыта большая часть Мазовии, Литвы и Жмуди.

XVI

В лесах, на расстоянии мили к востоку от Ковны, разрушенной самим Витольдом, стояли главные силы Скирвойллы, в случае нужды с быстротой молнии переносясь с места на место, совершая быстрые набеге то на прусскую границу, то на замки и крепостцы, еще находящиеся в руках меченосцев, и разжигая по всей стране пламя войны. Там-то и нашел верный оруженосец Збышку, а с ним и Мацьку, приехавшего всего за два дня до этого. Поздоровавшись со Збышкой, чех проспал целую ночь, как убитый, и только на другой день вечером пошел здороваться со старым рыцарем, который, будучи утомлен и зол, принял его сердито и спросил, почему он не остался в Спыхове, как ему было приказано. Мацько несколько смягчился лишь тогда, когда Глава, улучив подходящую минуту, когда в палатке не было Збышки, стал оправдываться приказанием Ягенки.

Кроме того, он сказал, что помимо приказания и помимо желания быть на войне его в эти места привело желание, в случае чего, тотчас отправить в Спыхов гонца. "Панна, – говорил Глава, – у которой душа ангельская, сама, вопреки собственному благу, молится за дочь Юранда. Но всему должен быть конец. Если дочери Юранда нет в живых, то пошли ей, Господи, царство небесное, ибо она была невинна, как агнец, но если она отыщется, то надо как можно скорее уведомить панну, чтобы она сейчас же уезжала из Спы-хова, чтобы ей не пришлось уезжать по возвращении дочери Юранда, точно ее выгоняют, со стыдом и позором".

Мацьке неприятно было слушать это, и он время от времени повторял: "Это не твое дело". Но Глава, решив говорить откровенно, ничуть этим не смущался и под конец сказал:

– Лучше было панне остаться в Згожелицах, и ни к чему вся эта поездка. Уверяли мы ее, бедную, что дочери Юранда уже нет в живых, а на деле может оказаться иначе.

– Да кто же, как не ты, говорил, что ее нет в живых? – гневно спросил Мацько. – Надо было держать язык за зубами. А я взял ее потому, что она боялась Чтана и Вилька.

– Это был только предлог, – отвечал оруженосец. – Она спокойно могла сидеть в Згожелицах, потому что они друг другу не давали бы дороги туда. Но вы, господин, боялись, как бы, в случае смерти Юрандовой дочери, не ушла из рук пана Збышка и Ягенка, и потому-то ее взяли с собой.

– Что это ты так обнаглел? Или ты уже опоясанный рыцарь, а не слуга?

– Я слуга, но слуга панны, поэтому слежу за тем, чтобы ей не было никакого стыда.

Мацько угрюмо задумался, потому что был недоволен собой. Несколько раз уже упрекал он себя в том, что взял Ягенку из Згожелиц, потому что чувствовал, что в

таким подсовывании Ягенки Збышке заключалось для нее некоторое унижение, а в случае, если бы Дануся отыскалась, больше, чем унижение. Он чувствовал, что в дерзких словах чеха заключается правда, потому что хотя он взял Ягенку для того, чтобы отвезти ее к аббату, но он мог все-таки, узнав о смерти аббата, оставить ее в Плоцке; а между тем он привез ее в самый Спыхов, чтобы она, в случае чего, находилась поблизости от Збышки.

– Да ведь это мне в голову не приходило, – сказал он все-таки, желая сбить с толку и себя и чеха, – ведь она сама настояла на том, чтобы ехать.

– Да, настояла, потому что мы ее уверили, что той на свете нет и что братьям безопаснее быть без нее, чем при ней, вот она и поехала.

– Это ты уверил! – вскричал Мацько.

– Я, и моя вина. Но теперь все должно выясниться. Надо, господин, что-нибудь устроить. Иначе – лучше нам помереть.

– Что тут устроишь? – с досадой сказал Мацько. – С таким войском, на такой войне... Если будет что-нибудь получше, так только в июле, потому что для немцев есть две военные поры: зимой и в сухое лето, а теперь так только: тлеет, а не горит. Князь Витольд, говорят, в Краков поехал королю рассказать обо всем и просить у него разрешения и помощи.

– Но ведь поблизости есть орденские замки. Взять бы хоть два из них, и, может быть, тогда мы отыщем дочь Юранда или хоть узнаем о ее смерти.

– А то и ничего.

– Ведь Зигфрид увез ее в эти места. Это нам говорили и в Щитно, и всюду, да и сами мы думали так.

– А видел ты это войско? Выйди же из палатки да посмотри. У некоторых одни палки, а у некоторых медные мечи, оставшиеся от прадедов.

– Ну? Зато я слышал, что они ребята в бою лихие.

– Да не им с голыми животами замки брать, особенно орденские. Дальнейший их разговор прервал приход Збышки и Скирвойллы, вождя

жмудинов. Это был человек маленького роста, но сильный и широкоплечий. Грудь у него была такая выпуклая, что похожа была почти на горб, а руки несоразмерно длинные, достигающие почти до колен. Вообще он напоминал Зиндрама из Машковиц, славного рыцаря, которого Мацько и Збышко когда-то видели в Кракове: у него была такая же огромная голова и такие же кривые ноги. Говорили, что он хорошо понимает войну. Вся жизнь его прошла в ратном поле, в сражениях с татарами, с которыми много лет дрался он на Руси, и с немцами, которых ненавидел, как заразу. Во время этих войн научился он говорить по-русски, а потом, при дворе Витольда, немного по-польски; по-немецки он знал (или во всяком случае произносил) только три слова: огонь, кровь и смерть. Его огромная голова всегда была полна военных планов и хитростей, которых меченосцы не умели ни предвидеть, ни предотвращать; поэтому в пограничных областях его боялись.

– Мы говорили о походе, – с необычайным оживлением сказал Мацьке Збышко, – и

пришли сюда, чтобы вы также сказали свое слово опытного человека...

Мацько усадил Скирвойлло на сосновый обрубок, потом велел слугам принести меду в братине, из которой рыцари стали черпать чарками и пить; только когда они хорошенько подкрепились, Мацько спросил:

– Вы нападение затеяли, так, что ли?

– Хотим немцев из замков повикурить...

– Из каких?

– Из Рагнеты или из Новой Ковны.

– Из Рагнеты, – сказал Збышко. – Четыре дня тому назад мы были под Новой Ковной, и нас побили.

– То-то и есть, – сказал Скирвойлло.

– Как побили?

– Здорово.

– Постойте, – сказал Мацько. – Я здешних мест не знаю. Где Новая Ковна и где Рагнета?

– Отсюда до Старой Ковны меньше мили, – отвечал Збышко. – А от Старой до Новой тоже миля. Замок стоит на острове. Намедни хотели мы к нему переправиться, но нас побили при переправе. Преследовали нас полдня; наконец, мы спрятались в этих лесах, и войско так рассыпалось, что некоторые только нынче к утру объявились.

– А Рагнета?

Скирвойлло протянул свою длинную, как сук, руку к северу и сказал:

– Далеко, далеко...

– Именно потому, что далеко, – возразил Збышко. – Там кругом спокойно, потому что всех людей, которые были по эту сторону границы, стянули к нам. Там теперь немцы не ждут никакого нападения, и значит, мы нападём на неподготовленных.

– Он правильно говорит, – сказал Скирвойлло.

А Мацько спросил:

– Вы думаете, что можно будет и замок взять?

На это Скирвойлло отрицательно покачал головой, а Збышко ответил:

– Замок сильный, значит, взять его можно только случайно. Но землю вокруг него мы опустошим, деревни и города сожжем, запасы уничтожим, а главное – захватим пленников, среди которых могут оказаться люди значительные, а их меченосцы охотно выкупают или выменивают...

Тут он обратился к Скирвойлле:

– Сами вы, князь, признали, что я правильно говорю, а теперь подумайте вот о чем: Новая Ковна на острове. Ни деревень мы там не разнесем, ни стад не захватим, ни пленников не наловим. А кроме того, ведь нас только что побили. Э, пойдете-ка лучше туда, где теперь нас не ждут.

– Кто побеждает, тот всего меньше ждет нападения, – проворчал Скирвойлло.

Но тут заговорил Мацько; он стал поддерживать мнение Збышки, потому что понял, что юноша больше надеется разузнать что-нибудь под Рагнетой, чем под Старой Ковной, и что под Рагнетой легче всего будет схватить какого-нибудь знатного пленника, который мог бы послужить для обмена. Кроме того, он полагал, что лучше идти дальше и напасть неожиданно на менее охраняемую область, чем нападать на остров, защищенный самой природой, а кроме того, охраняемый сильным замком и хорошим гарнизоном.

Как человек опытный в военных делах, он говорил ясно и приводил такие сильные доводы, что мог убедить каждого. Збышко и Скирвойлло также слушали его внимательно. Скирвойлло время от времени шевелил поднятыми бровями, как бы в знак согласия, а иногда ворчал: "Правильно", – потом втянул огромную свою голову в широкие плечи, так что казался совсем горбатым, и глубоко задумался.

Но спустя несколько времени он встал и, ничего не говоря, стал креститься.

– Так как же будет, князь? – спросил его Мацько. – Куда пойдём?

Он кратко ответил:

– Под Новую Ковну. И вышел из палатки.

Мацько и чех некоторое время с удивлением смотрели на Збышку; потом старый рыцарь ударил его руками по коленям и воскликнул:

– Тьфу... Что за дубина... Слушает, слушает, а потом опять за свое. Напрасно с ним глотку дерешь...

– Я слышал, что он такой, – отвечал Збышко, – а по правде сказать, и весь народ здешний упрям, как мало кто. Выслушает он чужое мнение, а сам в одно ухо впустит – из другого выпустит.

– Так зачем же он спрашивает?

– Затем, что мы опоясанные рыцари, и затем, чтобы все взвесить со всех сторон. Но он не дурак.

– Под Новой Ковной нас, пожалуй, тоже совсем не ждут, – заметил чех, – именно потому что только что вас побили. В этом он был прав.

– Пойдем посмотрим людей, которыми я предводительствую, – сказал Збышко, которому душно было в палатке, – надо им сказать, чтобы были готовы.

И они вышли. На дворе наступила уже глубокая ночь, облачная и темная, озаряемая только кострами, у которых сидели жмудины.

XVII

Для Мацьки и Збышки, которые, служа некогда у Витольда, досыта насмотрелись на литовских и жмудских воинов, вид лагеря не представлял ничего нового; но чех смотрел на них с любопытством, рассчитывая в уме, чего можно ждать от таких людей в бою, и сравнивая их с польскими и немецкими рыцарями. Лагерь стоял в низине, окруженный лесом и болотами, и был совершенно защищен от нападения, потому что никакое другое войско не смогло бы пробраться по этим предательским топям. Самая низина, в которой стояли шалаши, была также вязка и болотиста, но воины, наломав еловых и сосновых ветвей, засыпали топь так, что отдыхали как бы на самом сухом месте. Для князя Скирвойллы наскоро сколотили что-то вроде "нумы", то есть литовской хаты из земли и неотесанных бревен, для более значительных людей было сделано из ветвей несколько десятков шалашей, простые же воины сидели возле костров, под открытым небом, защищаемые от перемены погоды и дождей только кожухами да шкурами, которые носили они на голом теле. В лагере еще никто не спал, потому что люди, которым после недавнего поражения нечего было делать, спали днем. Некоторые сидели или лежали возле ярких костров, в которые подбрасывались можжевеловые ветви и хворост, другие разгребали уже погасшие и подернувшиеся пеплом груды, от которых распространялся запах печеной репы, обычного кушанья литвинов, и жареного мяса. Между кострами виднелись кучи оружия, разложенного поблизости так, чтобы, в случае нужды, каждый мог легко схватить свое.

Глава с любопытством присматривался к копьям с узкими и длинными наконечниками, выкованными из закаленного железа; к кистеням из молодых дубков, в которые были вбиты кремни или гвозди, к коротким бердышам, похожим на польские топоры; ими пользовалась конница; здесь же были и длинные бердыши, которыми сражались пехотинцы. Попадались между ними и медные, оставшиеся от старых времен, когда железо было еще мало распространено в этих пустынных местах. Некоторые мечи тоже были из меди, но большинство – из хорошей, привезенной из Новгорода, стали. Чех брал в руки копья, мечи, бердыши, смолистые, обожженные на огне луки и при свете луны пробовал их. Лошадей у костров было немного, потому что стада паслись поодаль, в лесах и на лугах, под охраной бдительных конюхов; но так как главные бояре хотели иметь своих коней всегда готовыми, то и было их в лагере несколько десятков, рабы кормили их из рук. Главу удивляли мохнатые туловища этих коней, необычайно маленьких, с широкими шеями и вообще таких странных, что западные рыцари считали их какими-то совершенно особенными лесными животными, больше похожими на единорогов, чем на настоящих лошадей.

– Тут ни к чему большие боевые кони, – говорил опытный Мацько, вспоминая свою прежнюю службу у Витольда, – большой живо увязнет в болоте, а здешний везде проберется почти так же, как человек.

– Но в поле здешние не сравнятся с большими немецкими, – отвечал чех.

– Конечно, не сравнятся. Зато ни одному немцу не уйти от жмудина и самому его не догнать, потому что эти лошади так же быстры, как татарские, а то и быстрее.

– А все-таки мне это странно: видел я татар пленных, которых рыцарь Зых привел в Згожелицы; все были мужики небольшие; такого любая лошадь подымет, а ведь здешний народ рослый.

И действительно, народ был крепкий. При свете огня были видны под шкурами и кожухами широкие груди и крепкие плечи. Все были сухи, но костисты и высоки;

вообще же ростом эти люди превышали обитателей прочих литовских областей, потому что жили на лучшей и более плодородной земле, в которой голод, время от времени мучивший Литву, реже давал себя знать. Зато дикостью они превосходили даже литвинов. В Вильне был двор великого князя, в Вильну съезжались князья с востока и с запада, прибывали посольства, наезжали заграничные купцы, и благодаря всему этому житель города и его окрестностей мало-помалу привыкал к чужеземным порядкам; сюда же чужеземец являлся только в образе меченосца, несущего в глухие лесные селения огонь, неволю и крещение кровью; поэтому все здесь было грубее, суровее и более похоже на старые времена, и более враждебно всему новому: здесь были старые обычаи, старый способ воевать, да и язычество было здесь упорнее оттого, что почитать крест учил не добрый возвеститель Благой Вести, милосердный, как апостол, а вооруженный немецкий монах с душой палача.

Скирвойлло и главнейшие князья с боярами были уже христианами, ибо последовали примеру Ягеллы и Витольда. Прочие, даже самые простые и дикие солдаты имели в груди глухое предчувствие, что подходит смерть и конец прежнему миру, прежней их вере. И они готовы были склонить головы перед крестом, только бы этого креста не приносили к ним ненавистные немецкие руки. "Мы просим крещения, – взывали они ко всем государям и народам, – но вспомните, что мы люди, а не звери, которых можно дарить, покупать и продавать". Между тем в то время, как старая вера угасала, как гаснет костер, в который никто не подбрасывает дров, а от новой сердца отвращались именно потому, что ее насаждала грубая немецкая сила, в душах этих людей рождалась тревога, беспокойство, сожаление о прошлом и глубокая грусть.

Чех, с детства сросшийся с веселым солдатским говором, с песнями и шумной музыкой, первый раз в жизни видел такой тихий и мрачный лагерь. Еле-еле, кое-где, подальше от "нумы" Скирвойллы, у костров слышались звуки свирели или дудки или слова тихой песни, которую пел "буртеникас". Воины слушали, опустив головы и уставившись взором на уголья. Некоторые сидели на корточках возле огня, опершись локтями на колени и спрятав лицо в ладонях, сидели, покрытые шкурами, похожие на хищных лесных зверей. Но когда они поднимали головы на проходящих рыцарей, блеск огня озарял добрые лица и голубые глаза, совсем не злые, не хищные, а скорее смотрящие так, как смотрят грустные и обиженные дети. На краю лагеря лежали на мху раненые, которых удалось унести из последней битвы. Колдуны, так называемые "лабдарисы" и "сейтоны", бормотали над ними заклинания и перевязывали их раны, прикладывая к ним целебные травы; раненые лежали, терпеливо перенося боль и страдания.

Из глубины леса, со стороны полян и лесов, доносилось посвистывание конюхов, когда поднимался время от времени ветер, застилавший дымом весь лагерь и наполнявший темный бор шумом. Между тем ночь шла, костры начали слабеть и гаснуть, и настала еще большая тишина, усиливавшая впечатление грусти и подавленности.

Збышко отдал приказ людям, которыми начальствовал и с которыми мог легко говорить, потому что между ними было несколько полочан; потом он обратился к своему оруженосцу и сказал;

– Ну ты насмотрелся вдоволь, а теперь пора возвращаться в палатку.

– Насмотреться-то я насмотрелся, – отвечал оруженосец, – да не особенно рад тому, что видел: сразу видно, что это побежденные.

– Два раза побежденные: четыре дня тому назад при замке и наместни у переправы. А

теперь Скирвойлле хочется туда идти в третий раз, чтобы быть в третий раз побежденным.

– Как же он не понимает, что с таким войском против немцев он не устоит? Мне это уже говорил рыцарь Мацько, а теперь я и сам думаю, что эти ребята плохи в бою.

– И ошибаешься, потому что это народ храбрый, как мало кто на свете. Только они дерутся беспорядочной толпой, а немцы в строю. Если удастся прорвать строй, то чаще жмудин бьет немца, чем немец жмудина. Но те это знают и так жмутся друг к другу, что стеной стоят.

– А уж замки брать с ними – это небось и думать нечего, – сказал чех.

– Да ведь никаких приспособлений для этого нет, – отвечал Збышко. – Орудия есть только у князя Витольда, и пока он к нам не подойдет, нам никакого замка не ухватить, разве только случайно или изменой.

Так разговаривая, дошли они до палатки, перед которой пылал большой разложенный слугами костер, в котором коптилось мясо. В палатке было холодно и сыро, и потому оба рыцаря, а с ними и Глава, легли на шкурах возле костра.

Потом, поевши, пробовали они уснуть, но не могли. Мацько ворочался с боку на бок и, наконец, увидев, что Збышко сидит перед огнем, обхватив колени руками, спросил:

– Слушай, почему ты советовал идти так далеко, к Рагнете, а не поблизости, к Готтесвердеру? Какой у тебя в этом расчет?

– Да что-то мне кажется, что Дануся в Рагнете, и что там не так осторожны, как здесь.

– Не было у нас времени потолковать, потому что я был утомлен, а ты людей собирал по лесу после поражения. А теперь говори, как обстоят дела: собираешься ли ты вечно искать эту девушку?

– Да ведь это не какая-нибудь девушка, а моя жена, – отвечал Збышко. Настало молчание, потому что Мацько хорошо понимал, что возразить

на это нечего. Если бы Дануся до сих пор была панной, дочерью Юранда из Спыхова, старый рыцарь обязательно стал бы уговаривать племянника забыть про нее, но после совершения таинства поиски становились его прямою обязанностью, и Мацько даже не предлагал бы такого вопроса, если бы не то, что, не присутствовав ни на обручении, ни на свадьбе, он всегда невольно считал Данусю девушкой.

– Конечно, – сказал он, помолчав. – Но о чем за эти два дня у меня было время спросить, то я спросил, и ты мне сказал, что ничего не знаешь.

– Потому что я ничего и не знаю, кроме того, что, видно, прогневался на меня Господь.

Вдруг Глава приподнялся с медвежьей шкуры, сел и, насторожившись, стал внимательно и с любопытством прислушиваться. А Мацько сказал:

– Покуда сон не сморит тебя, говори, что ты видел, что делал и чего добился в

Мальборге?

Збышко отстригнул волосы. Давно не подстригавшиеся спереди, они падали ему на брови. С минуту он посидел молча, а потом заговорил:

– Дал бы Бог, чтобы я мог столько знать о моей Данусе, сколько знаю о Мальборге. Вы спрашиваете, что я там видел? Видел я страшную силу меченосцев, поддерживаемую всеми королями и всеми народами, и не знаю, может ли кто-нибудь на свете с этой силой сравняться. Видел замок, какого, пожалуй, нет у самого императора римского. Видел неисчерпаемые сокровища, видел оружие, видел целый муравейник вооруженных монахов, рыцарей и кнехтов, и реликвии, словно у святого отца в Риме, – и говорю вам, что душа у меня замерла, потому что я подумал: где уж там идти против них и кому идти? Кто их одолеет? Кто против них устоит? Кого не сломит их сила?

– Нас, чтоб им подохнуть! – вскричал Глава, не в силах будучи выдержать. Мацьке странными показались такие слова Збышки, и хотя ему хотелось

узнать все приключения юноши, но он перебил его и сказал:

– А забыл ты о Вильне? А разве мало встречались мы щитом к щиту, лицом к лицу? А забыл ты, как туго им приходилось с нами и как они жаловались на нашу злость, будто нельзя у нас коня взмылить либо копья переломать, а надо либо другого убить, либо самому погибнуть? Ведь были там и гости, которые нас вызывали, и все ушли с позором. Что же ты так размяк?

– Я не размяк, потому что в Мальборге дрался. Но вы всей ихней силы не знаете.

Но старик рассердился:

– А ты знаешь всю польскую силу? Видел ты все войска вместе? Не видел. А их сила на предательстве да на обидах основана, потому что у них и пяди земли нет, которая была бы ихняя. Приняли их наши князья, как нищего в дом принимают, и одарили их, а они, окрепнувши, искусали кормившую их руку, как подлые и бешеные собаки. Землю захватили, города изменой взяли – вот и сила их. Но если даже все короли мира придут к ним на помощь, настанет все-таки день суда и мести.

– Если вы мне велели рассказывать, что я видел, а теперь сердитесь, то я лучше замолчу, – сказал Збышко.

А Мацько некоторое время сердито пыхтел, но вскоре успокоился и сказал:

– Это всегда так бывает. Стоит в лесу ель, точно неприступная башня. Думаешь: во веки веков стоять будет, а ударишь по ней хорошенько обухом – и услышишь, что внутри пустота. И сыплется из нее труха. То же и сила меченосцев. Но я тебе велел рассказывать, что ты там делал и чего добился. Дрался ты там, говоришь?

– Дрался. Гордо и неприязненно меня там сначала встретили, потому что им было уже известно, что я дрался с Ротгером. Может быть, случилось бы со мной что-нибудь худое, но приехал я с письмом от князя, а кроме того, рыцарь де Лорш, которого они чтут, охранял меня от их злобы. Но потом начались пиры и состязания, в которых Господь меня благословил. Ведь вы уже слышали, что меня полюбил Ульрик, брат магистра; он дал мне приказ, написанный самим магистром, чтобы мне выдали Данусю.

– Говорили нам люди, – сказал Мацько, – что у него подпруга лопнула, а ты, видя это, не захотел на него нападать.

– Да, я поднял копье кверху, и с тех пор он меня полюбил. Эх, боже мой! Крепкие письма мне дали: с ними я мог ездить из замка в замок и искать. Уж я думал: конец моей беде и моему горю, а теперь вот сижу здесь, в дикой стране, без всякой помощи, в огорчении и расстройстве, и все мне хуже, с каждым днем я больше тоскую...

Тут он на миг замолк, потом изо всех сил бросил в костер полено, так что из пылающих головешек посыпались искры, и проговорил:

– Потому что если она, бедняжка, стонет где-нибудь тут, поблизости, в замке, и думает, что я про нее забыл, то лучше бы мне сейчас же умереть...

И видимо, столько в нем скопилось нетерпения и горя, что он снова стал бросать поленья в огонь, точно охваченный внезапным порывом боли; а Мацько и Глава весьма удивились, потому что они и не предполагали, что он так любит Данусю.

– Возьми себя в руки! – воскликнул Мацько. – Как же дальше было? Неужели комтуры не хотели слушать приказания магистра.

– Возьмите себя в руки, господин, – сказал чех. – Господь вас утешит, может быть, даже скоро.

А у Збышки на глазах блеснули слезы, но он слегка успокоился и сказал:

– Отпирали передо мной замки и тюрьмы. Я всюду был и искал. Но вот началась эта война, и в Гердавах сказал мне войт фон Гейдек, что военные законы другие и что пропуска, выданные в мирное время, теперь ничего не значат. Я тотчас вызвал его на бой, но он не вышел, а меня велел выгнать из замка.

– А в других замках?

– Везде то же самое. В Кролевце комтур, начальник гердавского войта, не хотел даже прочесть письмо магистра, говоря, что война есть война, и велел мне убираться, куда цел. Спрашивал я и в других местах – и всюду то же самое.

– Так я теперь понимаю, – сказал старый рыцарь. – Видя, что ничего не добьешься, ты предпочел отправиться сюда, где хоть то может случиться, что отомстишь.

– Да, – отвечал Збышко. – Я думал также, что мы, может быть, захватим пленников и возьмем несколько замков, но они не умеют брать замков.

– Ну, придет сам князь Витольд – все пойдет по-другому.

– Дай бог!

– Придет. Я слышал при мазовецком дворе, что он придет, а может быть, вместе с ним и король со всеми польскими силами.

Но дальнейший их разговор прервал приход Скирвойллы, который внезапно появился из мрака и сказал:

– Мы выступаем.

Услышав это, рыцари быстро вскочили на ноги, а Скирвойлло приблизил к их лицам огромную свою голову и сказал, понизив голос:

– Есть новости: к Новой Ковне идут подкрепления. Два рыцаря ведут кнехтов, скот и припасы. Преградим им путь.

– Значит, мы перейдем за Неман? – спросил Збышко.

– Да. Я знаю брод.

– А в замке знают о подкреплении?

– Знают и выйдут им навстречу, но на этих ударите вы.

И он стал объяснять им, где они должны засесть, чтобы неожиданно ударить на тех, которые выйдут из замка. Ему нужно было одновременно завязать два сражения и отомстить за последние поражения, что могло удасться тем легче, что тотчас после победы неприятель чувствовал себя совершенно вне опасности. Поэтому Скирвойлло указал им место и час, когда они должны были туда подоспеть, а прочее поручил их храбрости и благоразумию. Они же обрадовались, потому что тотчас поняли, что с ними говорит воин опытный и ловкий. Окончив, он велел им идти за собой и возвратился к своей "нуме", в которой уже ждали его князь и бояре. Там он повторил приказания, отдал новые и, наконец, приложив к губам дудку, вырезанную из волчьей кости, издал громкий и пронзительный свист, который был слышен во всех концах лагеря.

При этом звуке все вокруг погасших костров закипело; там и сям начали вырваться искры, потом сверкнули огоньки, которые росли и усиливались с каждой минутой, и при свете их виднелись дикие фигуры воинов, с оружием в руках собирающихся возле костров. Бор задрожал и проснулся. Через минуту из глубины его стали доноситься окрики конюхов, гнавших стада к лагерю.

XVIII

Утром подошли они к Невяже и переправились, кто верхом, кто держась за хвост лошади, кто на пучке ветвей. Дело пошло так скоро, что даже Маць-ко, Збышко, Глава и добровольцы-мазуры удивлялись ловкости этого народа и только теперь поняли, почему ни болота, ни леса, ни реки не могли удержать литовских набегов. Выйдя из воды, ни один человек не снял с себя одежды, не сбросил кожуха; все обсыхали, подставляя спины солнцу, так что даже пар шел от них, и после краткого отдыха поспешно двинулись к северу. Поздним вечером добрались до Немана. Здесь переправа была не так легка, потому что река была большая, к тому же весенняя вода еще не сошла. Брод, о котором знал Скирвойлло, местами превратился в глубокое место, так что лошадям приходилось проплывать большие пространства. Совсем возле Збышки и чеха двоих унес поток; напрасно пытались они спасти унесенных: из-за темноты и волнения они скоро потеряли их из виду, а те не смели звать на помощь, потому что полководец заранее отдал приказ, чтобы переправа происходила в совершенном молчании. Однако все остальные благополучно добрались до противоположного берега, на котором без огня просидели до утра.

Как только начался рассвет, все войско разделилось на два отряда. С одним из них Скирвойлло пошел в глубь страны навстречу рыцарям, ведущим подкрепление в

Готтесвердер, а другой Збышко повел к острову, чтобы преградить путь солдатам, которые хотели выйти из замка навстречу этим рыцарям. Небо было ясно и безоблачно, но внизу лес, луга и кустарники затянуты были густым белым туманом, совершенно скрывавшим даль. Обстоятельство это благоприятствовало Збышке и его людям, так как немцы, идущие из замка, не могли их заметить и вовремя избежать битвы. Молодой рыцарь был рад этому чрезвычайно и говорил едущему рядом с ним Мацьке:

– Мы в таком тумане скорее столкнемся, чем увидим друг друга; дай только бог, чтобы он не поредел хотя до полудня.

Сказав это, он поскакал вперед, чтобы отдать приказания едущим впереди сотникам, но внезапно вернулся и сказал:

– Вскоре мы выедем на дорогу, идущую от переправы на остров в глубь страны. Там мы ляжем в зарослях и станем их поджидать.

– Откуда ты знаешь о дороге? – спросил Мацько.

– От здешних крестьян. Между моими людьми их есть десятка полтора. Они нас везде водят.

– А далеко ли ты заляжешь от замка и острова?

– В одной миле.

– Это хорошо, потому что если бы ближе, то они могли бы выслать из замка на помощь кнехтов, а так не только не успеют, а и крика не услышат.

– Конечно, я уж об этом подумал.

– Об одном ты подумал, подумай же и о другом: если это верные люди, вышли из них двух или трех вперед, чтобы тот, кто первый заметит немцев, тотчас дал нам знать, что они идут.

– Э, я уж и это сделал.

– Тогда я тебе еще кое-что скажу. Вели сотне или двум сотням людей сейчас же, как только начнется бой, не вмешиваться в него, а ехать в сторону и преградить путь от острова.

– Это самое важное! – отвечал Збышко. – Но и такой приказ отдан. Попадут немцы в капкан.

Услышав это, Мацько ласково посмотрел на племянника, потому что был рад, что Збышко, несмотря на молодые годы, так хорошо понимал войну; поэтому он улыбнулся и проворчал:

– Наша кровь!

Но оруженосец Глава в душе был рад еще больше, чем Мацько, потому что для него не было большей радости, чем битва.

– Не знаю, – сказал он, – как будут драться наши люди, но идут тихо, хорошо, и

видно, что так и рвутся в бой. Если этот Скирвойлло хорошо все обмозговал, то ни один немец не уйдет живым.

– Даст бог, мало их выскользнет, – отвечал Збышко. – Но я велел как можно больше брать в плен, а если попадетсЯ между ними рыцарь или меченосец, то уж ни в каком случае не убивать.

– А почему, господин? – спросил оруженосец.

Збышко ответил:

– Смотрите и вы, чтобы так было. Рыцарь, если он из гостей, то таскается по городам, по замкам, много людей видит и много новостей слышит, а если он меченосец, так еще больше. А я приехал сюда затем, чтобы взять в плен кого-нибудь познатнее и произвести обмен. Только этот путь мне и остался... если еще остался.

Сказав это, он дал шпоры коню и снова выехал вперед отряда, чтобы отдать последние распоряжения и в то же время уйти от грустных мыслей, которым уже не было и времени, потому что место, избранное для засады, было недалеко.

– Почему этот молодой пан уверен, что его жена еще жива и находится в этих местах? – спросил чех.

– Потому что, если Зигфрид сразу не убил ее в Щитно в первом порыве ярости, – отвечал Мацько, – то справедливо можно предполагать, что она еще жива. А если бы он ее убил, то щитненский ксендз не рассказывал бы нам таких вещей, которые, впрочем, слышал и Збышко. Самому жестокому человеку тяжело поднять руку на беззащитную женщину. Что же и говорить о невинном ребенке...

– Тяжело, да не меченосцу. А дети князя Витольда?

– Правда, что сердца у них волчьи, но правда и то, что в Щитно он ее не убил, а так как сам поехал в эту сторону, то, быть может, и ее спрятал в каком-нибудь замке.

– Эх, кабы удалось взять этот остров и замок.

– Ты только взгляни на этих людей, – сказал Мацько.

– Верно, верно! Но есть у меня одна мысль, которую я скажу молодому пану.

– Да хоть бы у тебя их было десять – копьями стен не разрушишь. Сказав это, Мацько указал на ряд копий, которыми была вооружена

большая часть воинов, а потом спросил:

– Видал ты когда-нибудь такое войско?

Чех, действительно, никогда ни видал ничего подобного. Перед ними ехала густая толпа воинов, ехала беспорядочно, потому что в лесу, среди зарослей, трудно было сохранить строй. Впрочем, пешие были перемешаны с конными и, чтобы поспевать за лошадьми, держались за гривы, седла и хвосты. Плечи воинов были покрыты шкурами волков, рысей и медведей, на головах торчали то кабаньи клыки, то олени рога,

то косматые уши, и если бы не торчащее кверху оружие, не смолистые луки и колчаны со стрелами за плечами, смотрящим сзади могло бы показаться, особенно в тумане, что это целые стада диких лесных зверей вышли из глубины бора и куда-то бредут, гонимые жаждой крови или голодом. Было в этом что-то страшное, а порою такое необычайное, что казалось – это и есть тот "гомон", во время которого, по народному поверью, срываются с мест и идут куда глаза глядят не только все звери, но даже каменья и кусты.

И при виде этого зрелища один из князьков из Ленкавицы, прибывших с чехом, перекрестился, подошел к нему и сказал:

– Во имя Отца и Сына! Да мы со стаей волков идем, а не с людьми.

А Глава, хотя сам впервые видел подобное войско, отвечал, как человек опытный, который все испытал и ничему не удивляется:

– Волки стаей ходят зимой, но кровь меченосцев вкусна и весной!

А ведь и в самом деле была весна – май. Орешник, которым порос бор, покрыт был яркой зеленью. Из пушистых и мягких мхов, по которым ноги воинов ступали бесшумно, подымались белые и голубые незабудки, листья ягод и зубчатые папоротники. Промоченные обильными дождями деревья пахли сырой корой, а от земли подымался крепкий запах опавшей листвы, хвои и гнили. Солнце играло радугой в повисших среди листьев каплях, а вверху радостно кричали птицы.

Шли они все скорее, потому что Збышко торопил. Вскоре он снова приехал в конец отряда, где находился Мацько с чехом и мазурами-добровольцами. Надежда на хорошую битву, видимо, значительно оживила его, и на лице у него не было обычного выражения грусти, а глаза горели по-старому.

– Ну! Ну! – вскричал он. – Теперь нам надо идти впереди, а не сзади. И повел их к голове отряда.

– Слушайте, – сказал он им, – может быть, мы наткнемся на немцев неожиданно, но если они что-нибудь смекнут и успеют построиться, то мы, конечно, ударим на них первые, потому что латы на нас крепче и мечи лучше.

– Так будет! – сказал Мацько.

И все крепче сели в седлах, точно вот-вот должны были нападать. Кое-кто набрал в грудь воздуху и пробовал, легко ли выходит кинжал из ножен.

Збышко еще раз повторил им, что если между пешими кнехтами окажутся рыцари или меченосцы с белыми плащами поверх лат, то чтобы их не убивать, а только брать в плен; потом он снова подкакал к проводникам и вскоре остановил отряд.

Они подошли к дороге, которая шла в глубь страны от пристани, лежащей против острова. Правда, это еще не была настоящая большая дорога, а скорее тропа, недавно проложенная через леса и выровненная лишь настолько, чтобы войска и воза могли пройти по ней. С обеих сторон высился лес, а по краям дороги были свалены вырубленные сосны. Орешник местами был так густ, что совсем скрывал глубину леса. Кроме того, Збышко выбрал место на повороте, чтобы едущие, не увидев ничего издали, не успели ни отступить вовремя, ни построиться в боевой порядок. Збышко занял обе стороны дороги и велел ждать неприятеля.

Сжившиеся с лесом и с лесной войной жмудины так ловко припали за кусты орешника и кучки молодых елок, точно земля поглотила их. Никто не произнес ни слова, ни одна лошадь не фыркнула. Время от времени мимо притаившихся людей пробежал то крупный, то мелкий лесной зверь – и только почти столкнувшись с ними, с ужасом кидался в сторону. Время от времени налетал порыв ветра и наполнял лес торжественным и величественным шумом; иногда же ветер стихал, и тогда слышно было только отдаленное кукование кукушек да близкий стук дятлов.

Жмудины с радостью слушали эти звуки, потому что в особенности дятел служил им хорошей приметой. А лес этот полон был дятлами, стук их доносился со всех сторон, сильный, частый, похожий на человеческую работу.

Но время проходило, а между тем ничего не было слышно, кроме лесного шума да птичьих голосов. Туман, лежавший внизу, поредел, солнце приметно поднялось и стало греть, а они все лежали. Глава, которому наскучило ожидание и молчание, наклонился к уху Збышки и стал шептать:

– Господин!.. Если, бог даст, ни один из этих собачьих детей жив не уйдет, разве не могли бы мы ночью подступить к замку, переправиться и взять его, захватив врасплох?

– А ты думаешь, там люди не стерегут, и у них нет пароля?

– Стерегут, и пароль у них есть, – прошептал чех в ответ, – но пленники под ножом скажут пароль, а то и сами крикнут им по-немецки. Только бы на остров пробраться, а уж замок...

Тут он замолчал, потому что Збышко внезапно положил ему ладонь на рот: с дороги донеслось карканье ворона.

– Тише! – сказал он. – Это знак.

И в самом деле, немного погодя на дороге показался жмудин, сидящий на маленькой, мохнатой лошади, копыта которой были обмотаны бараньей шкурой так, чтобы они не издавали топота и не оставляли следов на грязи.

Едучи, он зорко смотрел по обеим сторонам и вдруг, услышав из чащи ответ на карканье, юркнул в лес, а через минуту был уже возле Збышки.

– Идут!.. – сказал он.

XIX

Збышко стал поспешно расспрашивать, как они идут, сколько конницы, сколько пеших кнехтов, далеко ли они еще находятся. Из ответов жмудина он узнал, что в отряде не более ста пятидесяти воинов, из них пятьдесят конных, под начальством не меченосца, а светского рыцаря, что идут они в строю, ведя за собой пустые возы, а на них запас колес, что впереди отряда, на расстоянии двух выстрелов из лука, идет стража, состоящая из восьми человек; эта стража часто съезжает с дороги и осматривает лес и заросли; наконец отряд находится в четверти мили отсюда.

Збышко не очень был доволен, что они идут в строю. Он знал по опыту, как трудно бывает в таких случаях разорвать линию немцев и как такой отряд умеет защищаться, отступая, и наносить удары, подобно вепрю, на которого напали

собаки. Зато его обрадовало известие, что они находятся не далее как в четверти мили; из этого он заключил, что отряд, который он выслал, уже находится в тылу у немцев и в случае их поражения не пропустит ни единой живой души. Что же касается стражи, идущей впереди отряда, то он не особенно насчет ее беспокоился, потому что, рассчитывая, что так будет, заранее отдал своим жмудинам приказ или пропустить эту стражу спокойно, или, если люди из нее захотят обследовать глубину леса, потихоньку переловить их всех до одного.

Но последнее приказание оказалось излишним. Отряд приблизился. Спрятанные у дороги жмудины отлично видели этих кнехтов; остановившись на повороте, они стали разговаривать друг с другом. Их начальник, крепкий рыжебородый немец, знаком приказав им молчать, стал прислушиваться. Некоторое время было заметно, что он колеблется, не свернуть ли в лес; но наконец, слыша только стук дятлов, он, очевидно, подумал, что птицы не трудились бы так спокойно, если бы в лесу был кто-нибудь спрятан; поэтому он махнул рукой и повел отряд дальше.

Збышко переждал, пока они скрылись за следующим поворотом, а потом во главе более тяжело вооруженных приблизился к самой дороге. Здесь был Мацько, был чех, два князька из Ленкавицы, три молодых рыцаря из-под Цеханова и десятка полтора хорошо вооруженных жмудских бояр. Далее скрываться не было уже особой нужды; поэтому у Збышки было намерение сейчас же, как только появятся немцы, выехать на середину дороги, налететь на них и прорвать строй. Если бы это удалось и если бы общая битва превратилась в ряд отдельных схваток, он мог быть уверен, что жмудины справятся с немцами.

И снова наступила тишина, нарушаемая лишь обычным лесным шумом. Но вскоре до ушей воинов донеслись с восточной стороны дороги человеческие голоса. Сперва глухие и довольно отдаленные, они становились все ближе и явственнее.

Збышко в ту же минуту вывел свой отряд на середину дороги и выстроил его клином. Сам он стал во главе, а непосредственно за ним находились Мацько и чех. В следующем ряду стали три человека, в следующем четыре. Все были хорошо вооружены. Правда, у них не было крепких рыцарских копий, потому что в лесных походах эти копия становились большим препятствием, зато в руках у них были короткие и более легкие копия, служившие для нападения, и мечи и топоры – для дальнейшего боя.

Глава чутко прислушивался, а потом шепнул Мацьке:

– Никак поют окаянные?

– Но мне странно то, что там лес перед нами смыкается, а их до сих пор не видно, – отвечал Мацько.

В ответ на это Збышко, считавший, что долгие скрываться и даже говорить шепотом нечего, обернулся назад и сказал:

– Дорога идет вдоль ручья и потому часто извивается. Мы увидим их неожиданно, но тем лучше.

– А ведь весело поют, – повторил чех.

И в самом деле, немцы пели совсем не духовную песню, что легко было понять по самому мотиву. Прислушавшись, можно было различить, что поет не больше, как

десятка полтора людей, и только одно слово повторяют все, и это слово, как гром, проносится по лесу.

И так шли они к смерти, веселые и полные мужества.

– Сейчас мы уже их увидим, – сказал Мацько.

При этом лицо его вдруг помрачнело, приняло какое-то волчье выражение, потому что душа у него была жестокая и упрямая, а кроме того, он до сих пор еще не отплатил за выстрел из арбалета, полученный тогда, когда для спасения Збышки с письмом сестры Витольда он ездил к магистру.

И сердце его начинало кипеть, и жажда мести облила его, как кипяток.

"Нехорошо будет тому, кто с ним первый сцепится", – подумал Глава, бросив взгляд на старого рыцаря.

Между тем дуновение ветра принесло восклицание, которое все повторяли хором: "Tandaradei! Tandaradei!" – и тотчас чех услышал слова знакомой песни:

Bi den rcsen, er wol mac,
Tandaradei!

Merken wa mir'z houlet lac...[36]

Вдруг песня оборвалась, потому что по обеим сторонам дороги раздалось карканье, такое громкое и раскатистое, точно в этом лесу происходил совет воронов. Однако немцев удивило, откуда могло их взяться так много и почему все звуки идут с земли, а не с верхушек деревьев. Первый ряд кнехтов появился на повороте и остановился как вкопанный при виде неизвестных, преградивших путь всадников.

А Збышко в этот самый миг нагнулся в седле, пришпорил коня и помчался на них:

– Вперед!

За ним кинулись остальные. С обеих сторон леса поднялся страшный крик жмудских воинов. Около двухсот шагов отделяло людей Збышки от немцев, которые в мгновение ока наклонили по направлению всадников целый лес копий; между тем задние ряды с такой же быстротой повернулись лицом к обеим сторонам леса, чтобы защищаться от нападения с боков. Польские рыцари удивились бы такой ловкости, если бы у них было время удивляться и если бы кони не уносили их во всю прыть к блестящим выставленным вперед копьям.

К счастью для Збышки, немецкая конница находилась в тылу отряда, у возов. Правда, она тотчас поскакала к своей пехоте, но не могла ни проехать через нее, ни объехать ее с боков, а потому и не могла защитить ее от первого натиска. Кроме того, ее самое окружила туча жмудинов, которые стали высыпать из лесу, как ядовитый рой ос, гнездо которых потревожил неосторожный прохожий. В это время Збышко со своими людьми налетел на пехоту.

И налетел без всякого результата. Немцы, воткнув задние концы тяжелых копий и бердышей в землю, держали их так ровно и крепко, что легкие мерини жмудинов не могли проломить эту стену. Конь Мацьки, раненный бердышом в голень, взвился на дыбы, а потом зарылся ноздрями в землю. Минуту над старым рыцарем висела смерть, но он, опытный во всяких боях и случайностях, вынул ноги из стремян, ухватился могучей рукой за острие немецкого копья – и оно вместо того, чтобы погрузиться в

его грудь, послужило ему же опорой: он вскочил, отскочил к лошадям и, обнажив меч, стал наступать на копыта и бердыши, как хищный крик упрямо нападает на стаю долгоносых журавлей.

Збышко, когда его конь, удержанный на скаку, почти сел на задние ноги, оперся на копыта и сломал его, а потому тоже взялся за меч. Чех, который всего больше верил в топор, швырнул его в толпу немцев и на миг остался безоружным. Один из князьков Ленкавицы погиб; другого при виде этого охватило бешенство: он завыл волком и, гоня окровавленного коня, опрометью помчался в середину отряда. Бояре-жмудины колотили бердышами по копытам и дротикам, из-за которых выглядели лица кнехтов, как бы пораженные и в то же время ошеломленные упорством врага. Но строй не был прорван. Жмудины, ударившие с боков, тоже сразу отскочили от немцев, как от ежа. Правда, они тотчас же вернулись с еще большим напором, но ничего не могли сделать.

Некоторые в мгновение ока вскарабкались на придорожные сосны и стали стрелять из луков в середину кнехтов, предводитель которых, заметив это, отдал приказ отступить к коннице. Немецкие арбалетчики тоже стали отстреливаться, и время от времени какой-нибудь укрывшийся за ветвями жмудин, как созревшая шишка, падал на землю и умирая рвал руками лесной мох или метался, как вынутая из воды рыба. Окруженные со всех сторон, немцы, правда, не могли рассчитывать на победу, но, видя пользу своего сопротивления, думали, что хоть горсть их, быть может, сможет вырваться и добраться обратно до реки.

Ни одному из них не пришло в голову сдаться, потому что сами они не щадили пленников и знали, что не могут рассчитывать на милосердие доведенного до отчаяния и взбунтовавшегося народа. И они молча отступали, стоя друг возле друга, плечо к плечу, то поднимая, то опуская копыта и бердыши, коля, рубя и стреляя из арбалетов, насколько это позволяла суматоха битвы, и постепенно приближаясь к своей коннице, которая не на жизнь, а на смерть боролась с другими кучками неприятелей.

Вдруг случилось нечто неожиданное, решившее судьбу упрямого боя. Тот князек из Ленкавицы, которого после смерти брата охватило безумие, не слезая с коня, наклонился и поднял тело с земли, желая, очевидно, уберечь его от копыт и ног и временно положить его где-нибудь в спокойном месте, чтобы легче было найти труп после боя. Но в тот же миг новая волна ярости прихлынула к его голове и совершенно лишила сознания; вместо того чтобы съехать с дороги, он бросился на кнехтов и швырнул труп на острия, которые, вонзившись в его грудь, живот и бедра, наклонились под этой тяжестью, прежде чем кнехты успели их высвободить; в это время безумец ринулся на ряды, опрокидывая людей, как буря.

Во мгновения ока десятки рук протянулись к нему, десятки копий пронзили бока коня, но прежде чем ряды выровнялись и сомкнулись, в них ворвался один из жмудинских бояр, находившийся ближе всех, за ним Збышко, за ним чех, и страшное замешательство с каждым мигом стало усиливаться. Другие бояре также схватили тела убитых и стали бросать их на копыта; с боков наскочили жмудины. Весь до сих пор сомкнутый ряд поколебался, качнулся, как дом, в котором рушатся стены, и расщепился, как дерево, в которое вгоняют клин, и наконец рассыпался.

Битва в одно мгновение превратилась в резню. Длинные немецкие бердыши и копыта в рукопашной схватке сделались непригодными. Зато палицы конных гремели по головам и спинам. Лошади врывались в толпу людей, опрокидывая и топчя несчастных кнехтов. Всадникам легко было наносить удары сверху, и они наносили их без

отдыха. С боков дороги высыпали все новые толпы диких воинов в волчьих шкурах и с волчьей жадой крови в груди. Вой их заглушал умоляющие голоса и стоны умирающих. Победенные бросали оружие; некоторые пытались скрыться в лесу; некоторые, притворяясь убитыми, падали на землю; некоторые стояли прямо, с бледными лицами и закрытыми глазами; некоторые молились; один, очевидно, сошедший с ума от ужаса, стал играть на дудке, причем улыбался, поднимая глаза к небу, пока жмудинская палица не раздробила ему череп. Бор перестал шуметь, точно испугался смерти.

Наконец горсть орденских кнехтов растаяла. Лишь время от времени в чаще раздавался отголосок короткой борьбы или пронзительный крик отчаяния. Збышко и Мацько, а за ними все всадники помчались на конницу.

Построенная кругом, она еще защищалась, ибо так всегда защищались немцы, когда неприятель окружал их превосходящими силами. Всадники, сидя на хороших лошадях и в лучших латах, нежели те, которые были на пехоте, сражались храбро и с достойным удивления упорством. Между ними не было ни одного белого плаща: почти вся конница состояла из среднего и мелкого прусского дворянства, которое должно было ходить на войну по приказанию ордена. Лошади их по большей части также были покрыты латами, и у всех были железные крышки для головы со стальным рогом посередине. Начальствовал над ними высокий стройный рыцарь в темно-синем панцире и в таком же шлеме с опущенным забралом.

Из глубины леса лился на них дождь стрел, но наконечники их безрезультатно отскакивали от панцирей и закаленных нараменников. Толпа пеших и конных жмудинов окружала их, стоя невдалеке, но они защищались, Рубя и коля длинными мечами с таким упорством, что перед копытами их лошадей лежал целый венок трупов. Первые ряды нападающих хотели отступить, но сзади на них напирали, и они не могли этого сделать. Кругом образовалась давка и замешательство. Глаза слепли от мелькания копий и блеска мечей. Лошади начали визжать, кусаться и бить ногами. Тут подскочили жмудинские бояре, подскочил Збышко, с ним чех и мазуры. Под их могучими ударами кольцо всадников начало колебаться, как бор под ветром, а они, как дровосеки, врубающиеся в лесную чащу, медленно подвигались вперед, напрягая все силы и обливаясь потом.

Но Мацько велел собирать на поле битвы длинные немецкие бердыши и, вооружив ими около тридцати диких воинов, стал пробираться к немцам. Добравшись до них, он крикнул: "Лошадей по ногам". И тотчас обнаружилось страшные последствия этого приказания. Немецкие рыцари не могли достать мечами его людей, а между тем бердыши начали крушить лошадиные колени. Понял тогда синий рыцарь, что битве подходит конец и что остается только или пробиться через нападающих, отрезавших им отступление, или погибнуть.

Он выбрал первое – и во мгновение ока по его приказанию все рыцари повернулись в ту сторону, откуда пришли. Жмудины тотчас надели на них сзади, но немцы, закинув щиты за спину, а спереди и с боков отбиваясь, разорвали окружающее их кольцо людей и, как ураган, помчались к востоку. Дорогу им преградил тот отряд, который был оставлен Збышкой в запасе, но, смятый тяжестью несущихся всадников и коней, мгновенно весь пал, как ржаное поле под ветром. Дорога к замку была свободна, но спасение далеко и неверно, потому что жмудинские кони были быстрее немецких. Синий рыцарь понял это отлично.

"Горе, – сказал он себе, – никто из них не спасется, если я собственной кровью не куплю их спасение".

И подумав это, он стал кричать ближайшим, чтобы они придержали коней, а сам описал круг и, не обращая внимания на то, слышал ли кто-нибудь его крик, обратился лицом к неприятелям.

Збышко скакал впереди, и немец ударил его по закрывающему лицо козырьку шлема, но не разбил его и лица не поразил. Тогда Збышко, вместо того чтобы ответить ударом на удар, охватил рыцаря руками, сцепился с ним и, желая во что бы то ни стало взять рыцаря живьем, пытался стащить его с седла. Но стремя у него лопнуло от слишком сильного напора, и оба они упали на землю. Некоторое время они барахтались, борясь руками и ногами, но вскоре необычайно сильный юноша поборол противника и, придавив ему живот коленями, держал под собой, как волк держит пса, который осмелился в чаще преградить ему путь.

И делал он это без всякой надобности, потому что немец лишился чувств. Между тем подбежали Мацько и чех; заметив их, Збышко стал кричать:

– Скорее! Вяжите! Это какой-то важный рыцарь, опоясанный.

Чех спрыгнул с лошади, но видя, что рыцарь лежит без чувств, не стал его связывать, а, напротив, снял с него латы, отстегнул нараменник, снял пояс с висящей на нем мизерикордией, перерезал ремни, поддерживающие шлем, и наконец добрался до крючков, которыми было заперто забрало.

Но лишь только взглянул он в лицо рыцаря, как вскочил и воскликнул:

– Господин, господин, посмотрите-ка!

– Де Лорш! – вскричал Збышко.

А де Лорш лежал с бледным, покрытым потом лицом и с закрытыми глазами, без движения, похожий на труп.

XX

Збышко велел положить его на один из отбитых возов, нагруженных новыми колесами и осями для того отряда, который шел на помощь замку. Сам он пересел на другого коня, и они вместе с Мацькой поехали в погоню за убегающими немцами. Погоня эта не была особенно трудной, потому что немецкие лошади не годились для бегства, особенно по сильно размякшей от дождей лесной дороге. Особенно Мацько, сидя на быстрой и легкой кобыле убитого князька из Ленкавицы, вскоре обогнал почти всех жмудинов и тотчас настиг первого всадника. Правда, по рыцарскому обычаю он закричал ему, чтобы тот или добровольно отдался в плен, или же повернулся назад для боя, но когда тот, притворяясь глухим, бросил даже щит, чтобы облегчить коню скачку, и, нагнувшись, вонзил в бока его шпоры, старый рыцарь нанес ему страшный удар широким топором между лопатками и сбил с коня.

И Мацько так мстил убегающим за предательский выстрел, когда-то в него попавший, что они уже убегали от него, как стадо оленей, с невыносимым страхом в сердцах, а в душе желая не боя и не защиты, а лишь возможности убежать от страшного воина. Несколько немцев заехало в бор, но один из них упал возле ручья, и жмудины его задушили веревками. Целые толпы бросились в чащу за остальными; там началась дикая охота, полная криков, воплей и восклицаний. Долго раздавались эти звуки в глубине леса, пока все немцы не были переловлены. Тогда старый рыцарь из Богданца, а с ним Збышко и чех, вернулся на поле первоначальной битвы, где

лежали перебитые пехотинцы-кнехты. Трупы их были уже обобраны до нага, а некоторые ужасно растерзаны руками мстительных жмудинов. Победа была полная, и люди пьянели от радости. После последнего поражения, нанесенного Скирвойлле у самого Готтесвердера, сердца жмудинов начала было уже охватывать злоба, особенно потому, что обещанные Витольдом подкрепления не приходили так скоро, как их ожидали; но теперь надежда ожила, и боевой дух начинал разгораться снова, точно огонь, когда подкинешь на уголья новых дров.

Слишком много было убито и жмудинов, и немцев, чтобы хоронить их, но Збышко велел вырыть копьями могилы для двух князьков из Ленкавицы, которым по преимуществу битва обязана была счастливым исходом, и похоронить их под соснами, на коре которых он мечом вырезал кресты. Потом, приказав чеху стеречь рыцаря де Лорша, который все еще не приходил в себя, Збышко велел трубить поход и поспешно направился по той же лесной дороге к Скирвойлле, чтобы на всякий случай явиться к нему на помощь.

Но после длинного перехода он наткнулся на пустое уже поле битвы, покрытое, как и предыдущее, трупами жмудинов и немцев. Збышко сразу понял, что грозный Скирвойлло, должно быть, тоже одержал большую победу, потому что, если бы он был разбит, они бы встретили едущих к замку немцев. Но победа, должно быть, была кровавая, потому что далее, уже за самым полем битвы, валялось еще много тел убитых. Опытный Мацько заключил из этого, что часть немцев сумела даже уйти от разгрома.

Трудно было угадать, преследовал их Скирвойлло или нет, потому что следы были не глубоки и стерты одни другими. Однако Мацько понял, что битва произошла довольно давно, может быть, даже раньше, чем битва Збышки, потому что трупы почернели и вздулись, а некоторых уже обглодали волки, при приближении воинов убегавшие в лес.

Поэтому Збышко решил не ждать Скирвойлло и вернуться на прежнее безопасное место, где был расположен лагерь. Прибыв туда поздней ночью, он уже застал там вождя жмудинов, пришедшего несколько раньше. Обычно мрачное лицо его озарялось на этот раз зловещей радостью. Он сейчас же начал расспрашивать о битве, а узнав о победе, сказал голосом, похожим на воронье карканье:

– Я и за тебя рад, и за себя. Подкрепления придут не скоро, а если великий князь подоспеет, то будет доволен, потому что замок будет наш.

– Взял ты кого-нибудь в плен? – спросил Збышко.

– Одна плотва, ни одной щуки. Было штуки две, да ушли. Зубастые щуки. Нарезали людей и ушли.

– А мне Господь одного послал, – сказал юноша. – Могущественный рыцарь и славный, хоть и не монах, а гость.

Страшный жмудин взял себя руками за шею, а потом правой рукой сделал движение, как бы показывая веревку, идущую кверху от шеи.

– Вот ему что, – сказал он. – Как и другим... да.

Но Збышко наморщил брови:

– Не будет ему ничего, потому что это мой пленник и мой друг. Князь Януш вместе посвятил нас в рыцари, и я тебе не позволю его пальцем тронуть.

– Не позволишь?

– Не позволю.

И хмуря брови, они стали смотреть друг другу в глаза. Казалось, вот-вот в обоих вспыхнет гнев, но Збышко, не желая ссориться со старым вождем, которого ценил и уважал, а кроме того, будучи взволнован всеми событиями дня, внезапно обнял его за шею, прижал к груди и воскликнул:

– Неужели ты хочешь отнять у меня его, а с ним и последнюю надежду? За что ты меня обижаешь?

Скирвойлло не защищался от объятий, но, наконец высвободив голову, стал исподлобья смотреть на Збышку и сопеть.

– Ну, – сказал он, помолчав немного, – завтра велю моих пленников повесить, но если тебе кто-нибудь из них нужен, дарю тебе. – Потом они еще раз обнялись и разошлись в добром согласии, к великому удовольствию Мацьки, который сказал:

– Видно, злобой от него ничего не добьешься, а с добротой можно его мять, как воск.

– Такой уж народ, – отвечал Збышко. – Только немцы об этом не знают.

И сказав это, он велел привести к костру рыцаря де Лорша, который спал в шалаше. Через минуту чех привел его, безоружного, без шлема, в одном кожаном кафтане, на котором виднелись втиснутые следы от панциря, и в красной шапочке. Де Лорш уже знал от оруженосца, чей он пленник, но именно потому пришел холодный, гордый, с лицом, на котором при свете луны можно было прочесть упрямство и презрение.

– Слава богу, – сказал ему Збышко, – что он отдал тебя в мои руки, потому что с моей стороны тебе ничто не угрожает.

И Збышко дружески протянул ему руку, но де Лорш даже не пошевелился.

– Я не подаю руки рыцарям, опозорившим рыцарскую честь, сражаясь с сарацинами против христиан.

Один из присутствующих Мазуров перевел его слова, значение которых Збышко, впрочем, понял и так.

И в первую минуту кровь у него закипела, как кипятки.

– Глупец! – вскричал он, невольно хватаясь за рукоять мизерикордии.

Де Лорш поднял голову.

– Убей меня, – сказал он, – я знаю, что вы не щадите пленников.

– А вы их щадите? – вскричал мазур, не в силах будучи спокойно вынести эти слова. – Разве не повесили вы на берегу острова всех, кого захватили в прошлой

битве? Потому-то и Скирвойлло вешает ваших.

– Мы это сделали, – отвечал де Лорш, – но это были язычники.

Но в ответе его слышался как бы некоторый стыд, и нетрудно было угадать, что в душе он не одобрял такого поступка.

Между тем Збышко овладел собой и сказал со спокойной важностью:

– Де Лорш, из одних рук получили мы пояса и шпоры; ты знаешь меня и знаешь, что рыцарская честь мне дороже жизни и счастья. Поэтому слушай, что я скажу тебе, призывая в свидетели святого Георгия: многие из них давно уже приняли крещение, а те, которые еще не христиане, простирают руки ко кресту, как к спасению, но знаешь ли ты, кто препятствует им, кто не допускает их до спасения и не дает креститься?

Мазур тотчас перевел слова Збышки, и де Лорш вопросительно посмотрел в лицо юноши. А тот сказал:

– Немцы.

– Не может быть, – вскричал рыцарь из Гельдерна.

– Клянусь копьем и шпорами святого Георгия. Ибо если бы здесь господствовал крест, они лишились бы предлога для нападений, для господства над этой землей и для истребления этого несчастного народа. Ведь ты же узнал их, де Лорш, и лучше других знаешь, справедливы ли их поступки.

– Но я думал, что они искупают свои грехи, борясь с язычниками и склоняя их пред крестом.

– Крестят они их мечом и кровью, а не водой спасения. Прочти только вот это, и ты тотчас узнаешь, не ты ли сам служишь угнетателям, хищникам и дьяволам против христианской веры и любви.

Сказав это, он подал ему письмо жмудинов к королям и князьям, а де Лорш взял письмо и при свете огня стал пробегать его глазами.

И пробегал быстро, ибо не чуждо было ему трудное искусство чтения; потом он весьма смутился и сказал так:

– Неужели все это правда?

– Клянусь тебе Богом, который всех лучше видит, что я служу здесь не только своему делу, но и справедливости.

Де Лорш на время замолк, а потом сказал:

– Я твой пленник.

– Дай руку, – отвечал Збышко. – Ты мой брат, а не пленник.

И они подали друг другу правые руки и сели вместе за ужин, который чех велел приготовить слугам. За ужином де Лорш с неменьшим удивлением узнал, что,

несмотря на письма, Збышко не разыскал Дануси и что комтуры перестали признавать силу пропусков ввиду начавшейся войны.

– Так я теперь понимаю, почему ты здесь, – сказал он Збышке, – и благодарю Бога, что он отдал меня тебе в плен, потому что думаю, что за меня рыцари ордена отдадут кого хочешь, потому что иначе на Западе поднялся бы крик: ведь я из могущественного рода...

Тут он вдруг ударил себя рукой по бедру и воскликнул:

– Клянусь всеми реликвиями Аквизграна. Ведь во главе подкрепления, шедшего в Готтесвердер, стояли Арнольд фон Баден и Зигфрид фон Леве. Мы это знаем из писем, пришедших в замок. Не взяли ли их в плен?

– Нет, – сказал Збышко, вскакивая с места. – Ни одного рыцаря. Но клянусь Богом, ты говоришь мне великую новость. Клянусь Богом! Есть еще пленники. Я от них узнаю, прежде чем их повесят, не было ли при Зигфриде какой-нибудь женщины.

И он стал скликать слуг, чтобы они посветили ему лучинами, а потом побежал в ту сторону, где находились захваченные Скирвойллой пленники. Де Лорш, Мацько и чех побежали с ним.

– Слушай, – говорил ему по дороге гельдернский рыцарь. – Если ты отпустишь меня на честное слово, я сам буду искать по всей Пруссии, а когда найду ее, то вернусь к тебе, и тогда ты обменишь меня на нее.

– Если только она жива. Если только жива, – отвечал Збышко.

Но в это время они подбежали к пленникам Скирвойллы. Одни из них лежали на спине, другие стояли у стволов, крепко привязанные к ним лыками. Лучины ярко освещали голову Збышки, и все глаза несчастных обратились к нему.

Вдруг из глубины чей-то громкий, полный ужаса, голос закричал:

– Господин мой и заступник! Спаси меня!

Збышко вырвал из рук слуги пару зажженных щеп, подбежал с ними к дереву, из-под которого доносился голос, и, подняв лучины кверху, воскликнул:

– Сандерус!

– Сандерус! – с изумлением повторил чех.

Тот, будучи не в силах пошевелить связанными руками, вытянул шею и снова начал кричать:

– Сжальтесь... Я знаю, где дочь Юранда... Спасите меня...

XXI

Слуги тотчас развязали его, но члены у него одеревенели, и он упал на землю; когда же его подняли, он стал поминутно лишаться чувств, потому что был сильно избит. Напрасно по приказанию Збышки отвели его к огню, дали есть и пить, напрасно натерли салом, а потом накрыли теплыми шкурами: Сандерус не мог прийти в себя, а потом погрузился в такой глубокий сон, что только на другой день в

полдень чех смог разбудить его.

Збышко, которого нетерпение жгло, как огонь, тотчас пришел к нему. Однако сначала он не мог ничего добиться, потому что не то от страха после ужасных происшествий, не то от волнения, обычно охватывающего слабые души, когда минет грозившая им опасность, Сандерус начал так плакать, что тщетно пытался отвечать на предлагаемые ему вопросы. Рывания сдавливали его горло, а из глаз катились такие обильные слезы, точно с ними вместе хотела вытечь из него жизнь.

Наконец, пересилив себя и подкрепясь кобыльим молоком, которое литвины научились пить у татар, он стал жаловаться, что "эти дьяволы" избили его копьями, что у него отняли лошадь, на которой он вез реликвии исключительной силы и ценности, и, наконец, что когда его привязывали к дереву, муравьи так искусали ему ноги и все тело, что, наверное, его ожидает смерть, если не сегодня, так завтра.

Но Збышку в конце концов охватил гнев; он вскочил и сказал:

– Отвечай, паршивец, о чем я тебя спрашиваю, а то с тобой случится что-нибудь еще хуже.

– Есть тут поблизости муравейник с красными муравьями, – заметил чех. – Прикажите, господин, положить его на этот муравейник: он живо заговорит.

Глава говорил это не серьезно и даже улыбался, потому что в душе был расположен к Сандерусу, но тот испугался и стал кричать:

– Сжальтесь, сжальтесь! Дайте мне еще этого языческого напитка, и я расскажу все, что видел и чего не видел.

– Если ты соврешь хоть слово, я тебе воткну клин в глотку, – отвечал чех.

Но он во второй раз поднес ко рту Сандеруса кувшин с кобыльим молоком; тот схватил кувшин, жадно припал к нему губами, как ребенок к груди матери, и стал пить, то открывая, то закрывая глаза. Наконец, высосав кварты две, а то и больше, он отряхнулся, поставил кувшин себе на колени и, как бы придавая себе значения, сказал:

– Пакость...

А потом обратился к Збышке:

– А теперь спрашивай, спаситель.

– Была ли моя жена в том отряде, с которым ты шел?

На лице Сандеруса отразилось некоторое удивление. Он, правда, слышал, что Дануся – жена Збышки, но слышал и то, что свадьба была тайная и что Данусю тотчас похитили; поэтому он всегда думал о ней только как о дочери Юранда.

Однако он поспешил ответить:

– Да, воевода. Была. Но Зигфрид де Леве и Арнольд фон Баден прорвались через неприятелей.

– Ты видел ее? – с бьющимся сердцем спросил юноша.

– Лица ее, господин, я не видел, но видел между двумя лошадьми плетеную корзину, со всех сторон закрытую; в корзине кого-то везли, а стерегла ее та самая монахиня ордена, которая приезжала от Данфельда в лесной дворец. И слышал я унылое пение...

Збышко даже побледнел от волнения, присел на пень и некоторое время не знал, о чем еще спрашивать. Мацько и чех были тоже чрезвычайно взволнованы, потому что услышали важную и большую новость. Быть может, чех подумал при этом о любимой своей госпоже, которая осталась в Спыхове и для которой это известие было как бы приговором, осуждающим на несчастье.

Настало молчание.

Наконец хитрый Мацько, который Сандеруса не знал и еле-еле слышал о нем раньше, подозрительно взглянул на него и спросил:

– А ты кто такой? И что ты делал у меченосцев?

– Кто я, благородный рыцарь, – отвечал бродяга, – пусть на это тебе ответят вот этот храбрый князь (тут он указал на Збышку) и вот этот мужественный чешский граф: они знают меня давно.

Тут, видимо, кумыс начал на него действовать: он оживился и, обращаясь к Збышке, стал говорить громким голосом, в котором не было уже ни следа недавнего бессилия:

– Господин, вы дважды спасли мне жизнь. Без вас съели бы меня волки или постигла бы кара епископов, которые, введенные в заблуждение моими недругами (о, как низок сей мир!), отдали приказание преследовать меня за продажу реликвий, подлинность которых они заподозрили. Но ты, господин, приютил меня. Благодаря тебе ни волки меня не съели, ни погоня меня не настигла, потому что меня принимали за одного из твоих людей. Никогда не было мне у тебя отказа ни в еде, ни в питье, лучшем, чем это кобылье молоко, которое мне противно, но которого я выпью еще, чтобы доказать, что убогий, благочестивый пилигрим не отступает ни перед каким умерщвлением плоти.

– Говори, скоморох, что знаешь, и не дурачься, – закричал Мацько.

Но Сандерус во второй раз поднес кувшин ко рту, опорожнил его весь и, как бы не слыша слов Мацьки, обратился к Збышке:

– И за это я полюбил тебя, господин. Святые, говорит Священное Писание, грешили по девять раз в час: случается иногда согрешить и Сандерусу, но Сандерус никогда не был и не будет неблагодарным. Поэтому, когда случилось с тобой несчастье – помнишь, господин, что я сказал тебе: я пойду из замка в замок и, проповедуя по дороге, буду искать ту, которую ты потерял. Кого я не спрашивал? Где я не был? Долго рассказывать... Довольно того, что нашел. И с той минуты – не так репейник прицепляется к лошадиной попоне, как я прицепился к старику Зигфриду. Я сделался его слугой и непрестанно ходил за ним из замка в замок, из комтурии в комтурию, из города в город, до самой последней битвы.

Между тем Збышко поборол волнение и сказал:

– Я тебе благодарен, и награда от тебя не уйдет. Но теперь отвечай, о чем я тебя спрошу: можешь ли ты поклясться мне спасением души, что она жива?

– Клянусь спасением души, – величественно отвечал Сандерус.

– Почему Зигфрид уехал из Щитно?

– Не знаю, господин, но догадываюсь: он никогда не был старостой в Щитно и покинул его, может быть, потому, что боялся распоряжения магистра, который написал ему, чтобы он отдал пленницу княгине. А может быть, он убегал от этого письма, потому что душа его томилась от горя и жажды отомстить за Ротгера. Теперь говорят, что это был его сын. Не знаю, как уж там это было, но он прямо с ума сошел от ярости – и уж пока жив, до тех пор дочери Юранда из рук не выпустит.

– Все это мне странным кажется, – вдруг перебил его Мацько, – потому что, если бы этот старый пес был так зол на весь род Юранда, он бы убил Данусю.

– Он и хотел это сделать, – возразил Сандерус, – но что-то такое случилось с ним, что он даже тяжело заболел и чуть Богу душу не отдал. Люди его между собой об этом много шептались. Некоторые говорят, будто, идя ночью на башню, чтобы убить молодую панну, он встретил злого духа, а другие говорят, будто, напротив, ангела. Как бы то ни было, его нашли на снегу перед башней, совсем без чувств. Еще и теперь, когда он об этом вспоминает, у него волосы на голове дыбом становятся, а потому он и не смеет поднять на нее руку и другим приказывать боится. Возит он с собой немного, прежнего щитненского палача, но неизвестно, зачем, потому что и тот так же боится, как и все.

Слова эти произвели большое впечатление. Збышко, Мацько и чех подошли к Сандерусу, который перекрестился и продолжал так:

– Плохо ей там, у них. Не раз слышал я и сам видел такие вещи, от которых мороз пробегает по коже. Я уже говорил вашим милостям, что у старого комтура что-то испортилось в голове. Да как же и могло быть иначе, коли к нему духи с того света приходят. Чуть он уснет, как возле него что-то начинает так сопеть, точно у кого-то дух спирает. А это – Данфельд, которого убил страшный пан из Спыхова. Вот Зигфрид и говорит ему: "Зачем ты? Ведь панихиды тебе ни к чему, так зачем же приходишь?" А тот только зубами скрежещет и снова сопит. Но еще чаще приходит Ротгер, после которого тоже слышится в комнате запах серы, и с ним комтур еще больше говорит: "Не могу, – говорит, – не могу. Когда сам приду, тогда – да, а теперь не могу". Слышал я также, как он его спрашивал: "Разве тебя это облегчит, сынок?" И так постоянно. Бывает и так, что он по два, по три дня никому слова не говорит, а в лице у него мука страшная видна. Корзину ту зорко стережет и он сам, и та монахиня, так что молодую госпожу никто никогда не может увидеть.

– Не мучат ее? – глухим голосом спросил Збышко.

– По чистой совести скажу вашей милости, что побоев и криков я не слышал, но жалобное пение слышал, а иногда словно птичка какая попискивает...

– Горе! – воскликнул Збышко, стиснув зубы. Но Мацько прервал дальнейшие расспросы.

– Довольно, – сказал он. – Рассказывай теперь о битве. Как же они ушли и что с ними случилось?

– Я все видел, – отвечал Сандерус, – и расскажу правильно. Дрались сначала жестоко, но когда узнали, что их окружили со всех сторон, стали думать, как бы прорваться. Рыцарь Арнольд, настоящий великан, первый разорвал кольцо и проложил себе дорогу. За ним проскакал и старый комтур с несколькими слугами и с корзиной, которая была привязана между двумя лошадьми.

– Значит, погони за ними не было? Как же случилось, что их не догнали?

– Погоня была, да не могла ничего сделать, потому что как только она подъезжала, рыцарь Арнольд оборачивался и дрался со всеми. Упаси Господи всякого от встречи с ним, потому что это человек такой страшной силы, что ему нипочем и с сотней людей подраться. Три раза он так оборачивался и три раза останавливал погоню. Люди, бывшие с ним, погибли все до одного. Сам он, кажется, был ранен, и лошадь у него была ранена, но он спасся сам и дал время старому комтуру убежать от опасности.

Мацько, слушая этот рассказ, подумал, что Сандерус говорит правду, потому что вспомнил, что, начиная от того места, где дрался Скирвойлло, дорога в обратную сторону на большом протяжении была покрыта трупами жмудинов, так ужасно изрубленных, точно их перебила рука великана.

– Но все-таки как же ты все это мог видеть? – спросил он Сандеруса.

– Я это видел, – ответил бродяга, – потому что схватился за хвост одной из тех лошадей, к которым была привязана корзина, и убегал вместе с ними, пока не получил удара копытом в живот. Тут я потерял сознание и потому попал в руки ваших милостей.

– Да, так могло случиться, – сказал Глава, – но ты смотри, не соврал ли чего, а то плохо тебе будет.

– До сих пор след есть, – отвечал Сандерус. – Если кто хочет, может его посмотреть; но все-таки лучше верить на слово, нежели погубить свою душу неверием.

– Если даже ты иногда и говоришь нечаянно правду, все равно будешь выть за торговлю именем Божьим.

И они стали перебраниваться, как делали это и раньше, но дальнейший разговор прервал Збышко:

– Ты шел теми местами, так что знаешь их. Какие же там есть поблизости замки и где, как ты думаешь, могли укрыться Зигфрид и Арнольд?

– Замков там поблизости никаких нет, потому что там один лес, через который недавно прорублена та дорога. Деревень и поселений тоже нет, потому что какие были – те сами немцы сожгли, потому что как только началась эта война, тамошний народ, который того же племени, что и здешний, тоже восстал против власти меченосцев. Я думаю, господин, что Зигфрид и Арнольд прячутся теперь в лесу и либо захотят вернуться туда, откуда пришли, либо станут тайком пробираться к той крепости, куда ехали мы перед этой несчастной битвой.

– Должно быть, так и есть, – сказал Збышко.

И он глубоко задумался. По его сдвинутым бровям и сосредоточенному лицу легко было догадаться, как напряженно он думает, но это продолжалось недолго. Через минуту он поднял голову и сказал:

– Глава, пусть лошади и слуги будут готовы, потому что мы скоро едем.

Оруженосец, который никогда не имел обыкновения спрашивать о причине приказаний, встал и, не сказав ни слова, побежал к лошадям; зато Мацько вытаращил на племянника глаза и с удивлением спросил:

– Збышко... Ты куда? А?... Что такое?... Но тот ответил тоже вопросом:

– А что же вы думаете? Разве я не обязан?

Старый рыцарь умолк. Удивление понемногу угасало на его лице; он раза два покачал головой, потом глубоко вздохнул и сказал, как бы самому себе:

– Да... Конечно... Ничего не поделаешь.

И он тоже пошел к лошадям, а Збышко вернулся к рыцарю де Лоршу и при помощи говорящего по-немецки мазура сказал ему:

– Я не могу требовать от тебя, чтобы ты помогал мне против людей, с которыми ты служил под одним знаменем, поэтому ты свободен и поезжай, куда хочешь.

– Я не могу тебе теперь помогать мечом, это было бы против рыцарской чести, но на свободу я не согласен тоже. Я остаюсь твоим пленником на честное слово и по первому зову явлюсь, куда ты прикажешь. А ты, в случае чего, помни, что за меня орден выменяет любого пленника, потому что я происхожу из рода не только высокого, но и оказавшего меченосцам услуги.

И они стали прощаться, положив по обычаю руки друг другу на плечи и целуя один другому щеки, причем де Лорш сказал:

– Я поеду в Мальборг или к мазовецкому двору, чтобы ты знал, что найдешь меня, если не там, то здесь. Посланец твой пусть скажет мне только два слова: Лотарингия – Гельдерн.

– Хорошо, – отвечал Збышко. – Я пойду к Скирвойлле, чтобы он дал тебе знак, который чтут жмудины.

И он отправился к Скирвойлле. Старый вождь дал знак и не делал никаких препятствий отъезду рыцаря, потому что знал, в чем тут дело, любил Збышку, был ему благодарен за последнюю битву, а кроме того, не имел никакого права задерживать рыцаря, который принадлежал к иному государству и пришел только по собственной воле. Поэтому, благодаря за услугу, которую Збышко ему оказал, Скирвойлло снабдил его припасами, которые весьма могли пригодиться в опустошенной стране, а при прощании выразил желание встретиться в жизни еще когда-нибудь и еще раз подраться в каком-нибудь большом и решительном бою с меченосцами.

Збышко спешил, потому что его трясла лихорадка. Но придя к обозу, он застал все готовым, а между людьми и дядю Мацьку, сидящего уже на коне, в кольчуге и с шлемом на голове. И подойдя к нему, он сказал:

– Так и вы идете за мной?

– А что же мне делать? – спросил Мацько несколько сердитым голосом. На это Збышко не ответил ничего, только поцеловал закованную в железо правую руку дяди, потом сел на коня, и они тронулись в путь.

Сандерус ехал с ними. Дорогу до самого места битвы знали они хорошо, но дальше Сандерус должен был исполнять роль проводника. Рассчитывали они и на то, что если встретят где-нибудь в лесах местных мужиков, то те, из ненависти к своим господам, меченосцам, помогут им поймать старого комтура и того самого Арнольда фон Садена, о сверхчеловеческой силе и храбрости которого так много рассказывал Сандерус.

XXII

До места битвы, на котором Скирвойлло перебил немцев, дорога была легка, потому что известна. Добрались они до этого места скоро, но поспешно проехали мимо по причине невыносимого смрада, который распространяли непогребенные тела. Проезжая, спугнули они стаю волков, огромные стаи ворон, грачей и галок, а потом стали искать на дороге следов. Правда, перед тем по этой дороге прошел целый отряд, но опытный Мацько без труда нашел на взрытой земле отпечатки огромных копыт, идущие в обратном направлении, и так начал объяснять менее опытной в военных делах молодежи:

– Счастье, что после битвы не было дождя. Вы только смотрите: конь Арнольда, как носящий на себе необычайно большого человека, тоже должен был быть огромным; легко сообразить и то, что, скача галопом во время бегства, он сильнее ударял землю, нежели медленно идя в ту сторону, и выбил ямы более глубокие. Каждый, у кого есть глаза, пусть смотрит, как на сырых местах видны подковы. Даст бог, выследим собачьих детей, только бы они раньше не укрылись где-нибудь за стенами.

– Сандерус говорил, – отвечал Збышко, – что здесь нет поблизости замков; так оно и есть, потому что меченосцы недавно заняли эту страну и не успели еще настроить их. Где им спрятаться? Мужики, которые тут жили, все в войске Скирвойллы, потому что это тот же народ, что и жмудины... Деревни, как говорил Сандерус, сами немцы сожгли, а бабы с детьми спрятаны в глубине лесов. Ежели лошадей не жалеть, так мы их догоним.

– Лошадей надо жалеть, потому что если бы нам и удалось это, то потом все наше спасение в них, – сказал Мацько.

– Рыцарь Арнольд, – вставил Сандерус, – во время битвы получил удар кистенем по спине. Он не обращал на это внимания, сражался и убивал, но потом спина у него должна была разболеться, потому что всегда так бывает: сперва ничего, а потом болит. Поэтому они не могут ехать особенно скоро, а пожалуй, придется и отдохнуть.

– А людей, ты говоришь, с ними никаких нет? – спросил Мацько.

– Есть двое, которые между седлами везут корзину, а кроме того, рыцарь Арнольд и старый комтур. Было довольно много еще, но тех жмудины догнали и перебили.

– Надо сделать так, – сказал Збышко, – чтобы наши перевязали тех людей, которые стерегут корзину, вы, дядя, нападете на старого Зигфрида, а я на Арнольда.

– Ну, – отвечал Мацько, – с Зигфридом-то я справлюсь, потому что сила у меня, слава Господу Богу, есть. Но ты особенно на себя не надейся, потому что тот, видимо, великан.

– Ну, увидим, – ответил Збышко.

– Ты крепок, этого я отрицать не стану, но ведь есть люди и посильнее тебя. Или ты забыл о тех наших рыцарях, которых мы видели в Кракове? А справился бы с паном Повалой из Тачева? А с паном Пашкой Злодеем из Бискупиц? А с Завишей Черным? А? Не важничай слишком и помни, о чем идет дело.

– Ротгер тоже был не калека, – проворчал Збышко.

– А мне найдется работа? – спросил чех.

Но он не получил ответа, потому что мысли Мацьки заняты были совсем Другим.

– Если Господь нас благословит, – сказал он, – тогда нам бы только добраться до мазовецких лесов. Там уж мы будем в безопасности, и все кончится раз навсегда.

Но через минуту он вздохнул, подумав, должно быть, что и тогда еще не все кончится, потому что надо будет сделать что-нибудь с несчастной Ягенкой.

– Эх, – проворчал он, – неисповедимы пути Господни. Часто я думаю, почему это тебе не суждено было спокойно жениться, а мне спокойно жить с вами... Ведь чаще всего так бывает, и из всей шляхты в нашем королевстве одни мы таскаемся вот по разным странам и ямам, вместо того чтобы сидеть дома да хозяйничать, как Бог велел.

– Да, верно это, да на все воля Божья, – отвечал Збышко.

И они некоторое время ехали в молчании; потом старый рыцарь снова обратился к племяннику:

– Доверяешь ты этому бродяге? Что это за человек?

– Человек это легкий и, может быть, негодяй, но меня он любит, и предательства с его стороны я не боюсь.

– Если так, пусть он едет вперед, потому что если он на них наткнется, то их не спугнет. Он им скажет, что убежал из плена, и они этому легко поверят. Так будет лучше, потому что если они увидят нас издали, то или успеют куда-нибудь спрятаться, или приготовятся к защите.

– Ночью он один вперед не поедет, потому что трус, – отвечал Збышко. – Но днем так, конечно, будет лучше. Я скажу ему, чтобы он три раза в день останавливался и ждал нас; если же мы не найдем его на остановке, то это будет знак, что он уже с ними, и тогда, поехав по его следам, мы неожиданно нападём на них.

– А он их не предупредит?

– Нет. Он больше желает добра мне, чем им. Кроме того, я скажу ему, что, напад на них, мы свяжем и его, чтобы ему потом не пришлось бояться их мести. Пусть делает вид, что совсем нас не знает...

– Так думаешь оставить их живыми?

– А то как же? – несколько озабоченно отвечал Збышко. – Видите ли, если бы это было в Мазовии или где-нибудь у нас, мы бы их вызвали, как я вызвал Ротгера, или подрались бы на смерть, но здесь, в их стране, этого быть не может... Тут все дело в Данусе и в быстроте... Надо все сделать быстро и тихо, чтобы не накликать на себя беды, а потом, как вы сказали, во всю прыть скакать к мазовепким лесам. Напад же на них неожиданно, мы, может быть, застанем их без лат, а то и без мечей. Как же их тогда убивать? Я боюсь бесчестия. Оба мы теперь опоясаны, они тоже...

– Конечно, – сказал Мацько. – Но дело может дойти до драки.

Но Збышко нахмурил брови, и на лице его отразилось жестокое упорство, видимо, врожденное у всех мужчин из Богданца, потому что в этот миг он стал похож на Мацьку, особенно взглядом, точно был его родным сыном.

– Чего бы я еще хотел, – сказал он глухим голосом, – это бросить пса Зигфрида к ногам Юранда. Дай бог, чтобы было так.

– Да, да, дай бог, – повторил Мацько.

Так разговаривая, проехали они большой кусок дороги; спустилась ночь, светлая, но безлунная. Надо было остановиться, дать отдохнуть лошадям, а людей подкрепить едой и сном. Однако перед отдыхом Збышко предупредил Сандеру са, что завтра он должен ехать один вперед, на что тот охотно согласился, выговорив себе только право бежать к ним обратно в случае опасности со стороны зверей или людей. Просил он также, чтобы ему было позволено останавливаться не три, а четыре раза, потому что в одиночестве охватывает его всегда какая-то тревога, даже в благочестивых землях, а что же и говорить о таком диком и отвратительном лесе, как тот, в котором они теперь находятся.

Все расположились на ночлег и подкрепились едой; потом улеглись на шкурах у небольшого костра, разведенного за пригорком, в стороне от дороги. Слуги по очереди сторожили лошадей, которые, устав от езды, дремали, положив головы друг другу на шею. Но едва первый луч зари посеребрил деревья, как Збышко вскочил, разбудил остальных, и на рассвете они тронулись в дальнейший путь. Следы огромных копыт Арнольдова коня снова без труда были найдены, потому что засохли в низкой, обычно болотистой почве и затвердели от сухости. Сандерус выехал вперед и скрылся из их глаз, но на середине между восходом солнца и полуднем они снова нашли его на привале. Он сказал им, что не видал ни живой души, кроме большого тура, от которого не убежал, потому что зверь сам сошел с дороги. Зато в полдень, когда в первый раз стали есть, Сандерус объявил, что видел мужика-бортника и не остановил только потому, что боялся, что в глубине леса могут оказаться еще мужики. Пробовал он его расспрашивать, но они не понимали друг друга.

Во время дальнейшего пути Збышко стал беспокоиться. Что будет, если они приедут в местность более высокую и сухую, где на твердой дороге исчезнут видимые до сих

пор следы? Кроме того, если преследование будет длиться слишком долго и приведет их в более населенную местность, где жители издавна привыкли повиноваться меченосцам, то нападение и отнятие Дануси сделается почти невозможным, потому что, если даже Зигфрида и Арнольда не скроют стены какого-нибудь замка или укрепления, местное население, вероятно, примет их сторону.

Но, к счастью, опасения эти оказались напрасными, потому что на следующем привале они не нашли в условленное время Сандеруса, но вместо него увидели на сосне, стоящей у самой дороги, большой знак, вырезанный в виде креста, сделанный, очевидно, недавно. Тогда они переглянулись между собой, и лица их стали серьезны, а сердца забились чаще. Мацько и Збышко тотчас спрыгнули с седел, чтобы осмотреть следы на земле, и искали их внимательно, но недолго, потому что они сами бросались в глаза.

Сандерус, видимо, съехал с дороги в лес, идя за отпечатками больших копыт, не такими глубокими, как на дороге, но довольно ясными, потому что почва здесь была торфянистая, и тяжелая лошадь на каждом шагу втаптывала шипами подков хвою; от шипов же оставались ямки, черные по краям.

От зорких глаз Збышки не укрылись и другие отпечатки, поэтому он сел на лошадь, Мацько тоже, и они стали совещаться тихими голосами, точно враг находился поблизости.

Чех советовал тотчас идти пешком, но они не хотели этого делать, потому что не знали, как далеко придется ехать лесом. Однако пешие слуги должны были идти вперед и в случае чего дать знать, чтобы они были готовы.

И они тотчас въехали в лес. Второй знак на дереве подтвердил им, что они не потеряли следов Сандеруса. И вскоре они заметили, что находятся на небольшой дороге, во всяком случае на лесной тропинке, по которой, видимо, не раз проходили люди. Тогда они были уже уверены, что найдут какое-нибудь лесное жилье, а в нем тех, кого ищут.

Солнце уже несколько склонилось и сияло золотом между деревьями. Лес был тихий, потому что звери и птицы уже отдыхали. Лишь кое-где среди горящих на солнце ветвей мелькали белки, совсем красные от вечерних лучей. Збышко, Мацько, чех и слуги ехали гуськом друг за другом. Зная, что пешие слуги находятся значительно впереди и что они вовремя предупредят, старый рыцарь говорил тем временем племяннику, не особенно понижая голос:

– Сочтем-ка по солнышку. От последнего привала до места, в котором был знак, проехали мы большущий кусок. На краковских часах было бы часа три... Значит, Сандерус давно уже с ними и успел рассказать свои приключения. Только бы не изменил.

– Не изменит, – отвечал Збышко.

– И только бы ему поверили, – закончил Мацько, – потому что если они не поверят, ему будет плохо.

– А почему бы им не поверить? Разве они о нас знают? А ведь его они знают. Пленным часто удается бежать.

– Тут для меня дело в том, что если он сказал им, что бежал из плена, то они

могут испугаться погони за ним и сейчас же тронутся дальше.

– Нет. Он сумеет наврать. Да и они понимают, что погоня так далеко не пойдет.

На время они замолчали, но вскоре Мацьке показалось, что Збышко что-то шепчет ему; тогда он обернулся и спросил:

– Что ты говоришь?

Но Збышко смотрел вверх и шептал не Мацьке, а поручая покровительству Божьему Данусю и свое смелое предприятие.

Мацько тоже начал креститься, но едва сделал это в первый раз, как вдруг один из посланных вперед слуг внезапно выскользнул к ним навстречу из ореховой чащи.

– Смолокурня, – сказал он, – они здесь.

– Стой, – прошептал Збышко и в тот же миг соскочил с коня.

За ним соскочили Мацько, чех и слуги, из которых трое получили приказание остаться с лошадьми, быть наготове и смотреть, чтобы, упаси Господи, какая-нибудь не заржала.

Пяти остальным Мацько сказал:

– Там будут два солдата и Сандерус: вы их сейчас же свяжете, а если кто из них окажется с оружием и станет защищаться, тогда его убить.

И они сейчас же пошли. Збышко по дороге прошептал дяде:

– Вам – старый Зигфрид, а мне Арнольд.

– Только берегись, – отвечал старик.

И подмигнул чеху, давая тому понять, чтобы тот в каждую минуту был готов помочь молодому пану.

Тот кивнул головой в знак согласия, потом набрал воздуха в легкие и попробовал, легко ли выходит меч из ножен.

Но Збышко заметил это и сказал:

– Нет. Тебе я приказываю тотчас бежать к корзине и ни на шаг не отступать от нее во время битвы.

Шли они быстро и бесшумно, все время пробираясь в зарослях орешника; но вскоре заросль вдруг прекращалась и открывала маленькую полянку, на которой видно было смолокурни и две землянки, или "нумы", в которых, вероятно, жили смолокуры, пока их отсюда не прогнала война. Заходящее солнце ярким светом озаряло лужайку, смолокурни и обе стоящие далеко друг от друга землянки. Перед одной из них на колоде сидели два рыцаря, перед другой – широкоплечий, рыжий солдат и Сандерус. Оба они заняты были чисткой панцирей, а у ног Сандеруса, кроме того, лежали два меча, которые, видимо, он собирался чистить потом.

– Смотри, – сказал Мацько, изо всех сил сжимая руку Збышки, чтобы удержать его еще на мгновение. – Он нарочно взял у них мечи и панцири. Ладно. Этот с седой бородой, должно быть...

– Вперед, – внезапно закричал Збышко.

И они, как вихрь, выскочили на поляну. Те тоже выскочили, но прежде чем успели добежать до Сандеруса, грозный Мацько схватил старого Зигфрида за грудь, перегнул назад и мгновенно очутился на нем. Збышко и Арнольд сцепились, как два ястреба, обхватили друг друга и стали бороться. Широкоплечий немец, до сих пор сидевший возле Сандеруса, схватился было за меч, но не успел им размахнуться, как его ударил слуга Мацьки, Вит, обухом по рыжей голове и уложил на месте. Потом, согласно приказанию старого пана, слуги бросились вязать Сандеруса, но тот, хоть и знал, что это условлено, стал выть от страха, как теленок, которому хотят перерезать горло.

Но хотя Збышко был так силен, что, сжав ветку дерева, выжимал из нее сок, он почувствовал, что попал как будто не в человеческие, а в медвежьи лапы. Почувствовал он даже и то, что, если бы не панцирь, который был на нем, огромный немец переломал бы ему ребра, а может быть, и спинной хребет. Правда, юноша слегка приподнял его, но тот приподнял Збышку еще выше, напряг все силы и хотел ударить оземь, так, чтобы уж Збышко не поднялся.

Но Збышко сжал его так же сильно; глаза немца налились кровью; тогда Збышко просунул ему ногу между колен, ударил и повалил на землю.

Они упали оба, юноша очутился снизу, но в тот же миг внимательный ко всему Мацько бросил полумертвого Зигфрида на руки слуг, а сам бросился к лежащим, во мгновение ока скрутил поясом ноги Арнольда, потом встал, сел на него, как на убитого кабана, и приставил к его горлу острое мизерикордии.

Тот страшным голосом закричал, и руки его беспомощно опустились, потом он стал стонать, не столько от укола, сколько от того, что вдруг почувствовал мучительную, невыразимую боль в спине, по которой ударили его палицей еще во время битвы со Скирвойллой.

Мацько обеими руками ухватил его за воротник и стащил со Збышки, а Збышко поднялся с земли и сел, потом хотел встать и не мог, а потому сел снова и некоторое время сидел неподвижно. Лицо его было бледно и потно, глаза налились кровью, а губы посинели: он смотрел куда-то вдаль, как бы не совсем в своем уме.

– Что с тобой? – с беспокойством спросил Мацько.

– Ничего, я только очень устал. Помогите мне стать на ноги.

Мацько взял его под мышки и сразу поднял.

– Стоять можешь?

– Могу.

– Болит что-нибудь?

– Ничего. Только воздуху не хватает.

Между тем чех, очевидно, заметив, что там уже все кончено, появился перед землянкой, держа за шиворот монахию. При виде этого Збышко забыл об усталости, силы к нему мгновенно вернулись, и точно никогда не боролся со страшным Арнольдом, кинулся он в землянку.

– Дануся! Дануся!

Но на этот зов никто не ответил.

– Дануся! Дануся! – повторил Збышко.

И замолчал. В комнате было темно, и в первую минуту он не мог ничего разглядеть. Зато из-за камней, сложенных для очага, донеслось до него учащенное и громкое дыхание, как бы дыхание притаившегося зверька.

– Дануся! Боже мой! Это я, Дануся.

И вдруг он увидел во мраке ее глаза, широко раскрытые, испуганные, безумные.

Он бросился к ней и схватил ее в объятия, но она не узнала его совершенно и, вырываясь из его рук, стала повторять задыхающимся шепотом:

– Боюсь, боюсь, боюсь...

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I

Не помогали ни добрые слова, ни ласки, ни мольбы: Дануся никого не узнавала и не приходила в себя. Единственным чувством, которое охватывало все ее существо, был ужас, подобный тому трепетному ужасу, какой испытывают пойманные птицы. Когда ей принесли еды, она не хотела есть при людях, хотя по жадным взглядам, которые кидала она на пищу, виден был голод, быть может уже давнишний. Оставшись одна, она кинулась на еду с жадностью дикого зверька, но лишь только Збышко вошел в комнату, она в ту же минуту отбежала в угол и спряталась за вязанкой хвороста. Тщетно Збышко раскрывал объятия, тщетно простирал руки, тщетно молил ее, подавляя в себе слезы. Она не хотела выйти из этого убежища даже тогда, когда в комнате зажгли огонь и когда при свете его она могла хорошо разглядеть лицо Збышки. Казалось, память покинула ее вместе с разумом. Зато он смотрел на нее и на ее исхудалое лицо с застывшим выражением ужаса; он смотрел на ввалившиеся глаза, на лохмотья одежды, в которую она была одета, и сердце его выло от боли и ярости при мысли, в каких она была руках и как с ней обращались. Наконец его охватил такой порыв гнева, что, схватив меч, он кинулся с ним к Зигфриду и неминуемо убил бы его, если бы Мацько не схватил племянника за руку.

Тогда они стали бороться друг с другом почти как враги, но юноша был так ослаблен предыдущим боем с великаном Арнольдом, что старый рыцарь осилил его и, схватив за руку, закричал:

– Взбесился ты, что ли?

– Пустите, – отвечал Збышко, скрежеща зубами, – не то я с ума сойду.

– Сходи. Не пушу. Лучше ты себе голову расшиби об стену, чем покрыть позором себя и весь род.

И, словно железными клещами сжимая руку Збышки, старик грозно заговорил:

– Опомнись. Месть от тебя не уйдет, а между тем ты – опоясанный рыцарь. Как? Ты станешь бить связанного пленника? Позор. Ты скажешь, что королям и князьям не раз приходилось убивать пленников? Да, только не у нас. И что им проходит даром, то тебе не пройдет. У них королевства, города, замки, а у тебя что есть? Рыцарская честь. Тот же человек, который им слова сказать не посмеет, тебе в глаза наплюет. Опомнись ты, бога ради.

Наступило молчание.

– Пустите, – мрачно повторил Збышко, – не трону его.

– Пойдем к огню, посоветуемся.

И Мацько повел его за руку к очагу, в который слуги накидали сосновых ветвей. Сев, Мацько немного подумал, а потом сказал:

– Вспомни и то, что этого старого пса ты обещал Юранду. Он и будет ему мстить и за свои, и за Данусины муки. Он оплатит ему, не бойся. И это ты должен для Юранда сделать. На то у него есть право. И чего тебе нельзя делать, то Юранду можно будет, потому что пленника захватил он не сам, а получил его от тебя в подарок. Он без всякого для себя позора может хоть кожу с него содрать, понимаешь?

– Понимаю, – отвечал Збышко. – Это вы правильно говорите.

– Ну, видно, ум к тебе возвращается. А если дьявол станет опять тебя искушать, помни также и то, что ты поклялся вызвать Лихтенштейна и других меченосцев, а если зарежешь безоружного пленника и если слухи об этом через слуг распространятся, то ни один рыцарь не выйдет с тобой на поединок и будет прав. Спаси, Господи! И так несчастий вдоволь, пусть же хоть позора не будет. Лучше поговорим о том, что теперь надо делать и как нам поступить.

– Советуйте, – сказал юноша.

– Я посоветую так: эту змею, которая находилась при Данусе, можно бы убить, но так как не пристало рыцарям мараться в бабьей крови, мы отдадим ее князю Янушу. Затевала она свое предательство еще в лесном дворце, при князе и княгине: пусть же и судит ее мазовецкий суд, и если не присудит ее к смерти, так оскорбит правосудие Божье. Пока не встретим мы какой-нибудь другой женщины, которая стала бы за Данусей ухаживать, до тех пор она нужна, а потом можно привязать ее к конскому хвосту. А теперь надо нам как можно скорее пробраться в мазовецкие леса.

– Да не теперь, потому что ночь. Может быть, Господь пошлет – и Дануся завтра немного придет в себя.

– Пусть и лошади отдохнут хорошенько. На рассвете поедем.

Дальнейший разговор их прервал голос Арнольда фон Бадена, который, лежа поодаль на спине, привязанный к собственному мечу, стал что-то кричать по-немецки. Старик Мацько встал и пошел к нему, но не мог толком понять его речи и стал

искать чеха.

Но Глава не мог прийти тотчас же, потому что занят был другим делом. Во время разговора Мацьки со Збышкой он пошел к монахини и, положив ей руку на плечо, встряхнул ее хорошенько, а потом сказал:

– Слушай, сука. Ты пойдешь в избу и постелешь для госпожи ложе из шкур, но сначала наденешь на нее свою одежду, а сама оденешься в эти лохмотья, в которых заставляла ходить ее..

И, тоже не в силах побороть внезапно охвативший его гнев, он тряс ее так сильно, что у нее глаза на лоб вылезли. Пожалуй, он свернул бы ей шею, если бы ему не казалось, что она еще пригодится, поэтому он наконец выпустил ее, сказав:

– А потом мы выберем для тебя сук.

Она в ужасе обхватила его колени, но когда он вместо ответа отшвырнул ее ногой, она кинулась в хату, упала к ногам Дануси и стала кричать:

– Защити меня. Не выдавай меня.

Но Дануся только прикрыла глаза, и из уст ее вырвался обычный, прерывистый шепот:

– Боюсь, боюсь, боюсь.

И она совсем лишилась чувств, потому что этим всегда кончалось каждое приближение монахини к ней. Она позволила раздеть себя и одеть в новые одежды. Монахиня, сделав постель, уложила Данусю, а сама села у очага, боясь выйти из комнаты.

Но вскоре вошел чех. Обращаясь сперва к Данусе, он проговорил:

– Госпожа, вы находитесь среди друзей, а потому, во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, спите спокойно.

И он перекрестил ее, а потом, не возвышая голоса, чтобы не испугать ее, обратился к монахини:

– Ты лежишь связанная за порогом, но если поднимешь крик, я сейчас же сверну тебе шею. Вставай и иди.

И выведя ее из комнаты, он связал ее, как обещал, а потом отправился к Збышке.

– Я велел одеть госпожу в ту одежду, которая была на этой ящерице, – сказал он.

– Ложе сделано, и госпожа спит. Лучше всего больше не ходить туда, господин, чтобы она не испугалась. Бог даст, поспав, она завтра придет в себя, а вы тоже подумайте теперь о еде и отдыхе.

– Я лягу на пороге, – отвечал Збышко.

– В таком случае я оттащу эту суку к трупу с рыжими вихрами; но теперь вы должны поесть, потому что вам предстоит путь не малый, и труды – тоже.

Сказав это, он пошел за едой, которою запаслись они на дорогу в лагере жмудинов; но только что он поставил еду перед Збышкой, как Мацько позвал его к Арнольду.

– Смекни-ка хорошенько, что надо этому бродяге, – сказал он, – я хоть и знаю кое-какие слова, а никак не могу его понять.

– Я, господин, снесу его к очагу: там и разговоритесь, – отвечал чех.

И сняв с себя пояс, он просунул его под мышки Арнольду, а потом взвалил великана на плечи. Он сильно согнулся под его тяжестью, но, будучи человеком здоровым, донес рыцаря до очага и бросил, как вязанку, около Збышки.

– Снимите с меня веревки, – сказал меченосец.

– Это могло бы быть, – отвечал через чеха старик Мацько, – если бы ты поклялся рыцарской честью вести себя, как подобает пленнику. Я и без того велю вынуть у тебя меч из-под колен и развязать руки, чтобы ты мог сесть возле нас. Но на ногах веревок я не развяжу, пока не поговорим.

И он сделал знак чеху. Тот разрезал веревки на руках немца, а потом помог ему сесть. Арнольд гордо взглянул на Мацьку, на Збышку и спросил:

– Кто вы такие?

– А ты как смеешь спрашивать? Тебе какое дело? Сам отвечай, кто ты.

– Мне такое дело, что рыцарской честью я могу поклясться только перед рыцарями.

– Ну, так смотри.

И Мацько, откинув одежду, показал на бедрах рыцарский пояс. Меченосец очень удивился и лишь после некоторого молчания сказал:

– Как же это? И вы разбойничаете в лесу? И помогаете язычникам против христиан?

– Лжешь, – вскричал Мацько.

И, таким образом, пошел разговор, враждебный, злобный, местами похожий на брань. Однако, когда Мацько с негодованием вскричал, что сам орден препятствует крещению Литвы и когда привел все доказательства, Арнольд снова удивился и замолчал, потому что правда была так ясна, что нельзя было ее ненавидеть или против нее возражать. Особенно поразили немца слова, которые произнес Мацько, осеняя себя крестным знамением:

– Кто знает, кому вы в действительности служите, если не все, то некоторые...

Слова эти поразили его потому, что и в самом ордене некоторых комтуров шепотом обвиняли в служении сатане. Процесс против них за это не возбуждали, чтобы не навлечь позора на всех рыцарей ордена, но Арнольд хорошо знал, что о таких вещах рыцари перешептывались и что такие слухи ходили. Кроме того, Мацько, зная по рассказам Сандеруса о странном поведении Зигфрида, окончательно встревожил простодушного великана.

– А тот же самый Зигфрид, с которым ты шел на войну, – сказал старик, – разве он

служит Господу Богу и Иисусу Христу? Разве ты никогда не слышал, как он разговаривает со злыми духами, как шепчется с ними и то смеется, то скрежещет зубами?

– Это так, – проворчал Арнольд.

Но Збышко, к сердцу которого новой волной прихлынули горе и гнев, внезапно воскликнул:

– И ты толкуешь о рыцарской чести? Позор тебе, потому что ты помогал палачу и колдуну. Позор тебе, потому что ты спокойно смотрел на страдания женщины, дочери рыцаря, а может, и сам ее мучил.

Арнольд вытаращил глаза и, крестясь от изумления, сказал:

– Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа... Как?... Это безумная девушка, в голове которой сидит двадцать семь дьяволов?...

– Горе, горе! – хриплым голосом перебил его Збышко.

И, схватившись за рукоять мизерикордии, он снова стал дикими взглядами поглядывать в сторону лежащего поодаль в темноте Зигфрида.

Мацько спокойно положил руку ему на плечо и надавил изо всех сил, чтобы заставить его опомниться, а сам, обратившись к Арнольду, сказал:

– Эта женщина – дочь Юранда из Спыхова и жена этого молодого рыцаря. Понимаешь ли теперь, почему мы вас преследовали и почему ты стал нашим пленником?

– Боже мой! – сказал Арнольд. – Почему? Каким образом? Ведь она сумасшедшая...

– Это оттого, что меченосцы похитили ее, как невинную овечку, и мучениями довели до такого состояния.

При словах "невинная овечка" Збышко поднес кулак ко рту и впился в него зубами, а из глаз его покатились крупные слезы непреодолимой муки. Арнольд сидел в задумчивости, а чех в нескольких словах рассказал ему о предательстве Данфельда, о похищении Дануси, пытке Юранда и поединке с Ротгером. Когда он кончил, наступило молчание, нарушаемое только шумом леса да потрескиванием искр в очаге.

Так сидели они несколько минут. Наконец Арнольд поднял голову и сказал:

– Не только рыцарской честью, но и крестом Господним клянусь вам, что женщины этой я почти не видел, не знал, кто она, и к мучениям ее никогда и ни в чем руки своей не прикладывал.

– Так поклянись же еще, что добровольно пойдешь за нами и не попытаешься бежать, а я тогда велю совсем развязать тебя, – сказал Мацько.

– Пусть будет и так, как ты говоришь, клянусь. Куда вы меня поведете?

– В Мазовию, к Юранду из Спыхова.

Говоря это, Мацько сам перерезал веревку на его ногах, потом указал на еду.

Збышко через несколько времени встал и пошел спать на пороге хаты; монахини там он уже не нашел, потому что слуги увели ее к лошадям. Легши на шкуру, принесенную ему Главой, Збышко решил бодрствовать и ждать, не принесет ли рассвет какой-нибудь счастливой перемены в здоровье Дануси.

А чех вернулся к очагу, потому что душу его томило нечто, о чем он хотел поговорить со старым рыцарем из Богданца. Он застал Мацьку тоже погруженного в раздумье и не обращающего внимания на храп Арнольда, который, съев невероятное количество вареной репы и мяса, уснул от изнеможения, как убитый.

– А вы не отдохнете, господин? – спросил оруженосец.

– Сон бежит от век моих, – отвечал Мацько. – Пошли, Господи, хорошее утро...

И, сказав это, он посмотрел на звезды.

– Скоро светать будет, а я все думаю, как что будет.

– Мне тоже не до сна: у меня в голове паненка из Згожелиц.

– А ведь и то правда: новая беда. Ведь она в Спыхове.

– То-то и есть, что в Спыхове. Увезли мы ее из Згожелиц бог весть зачем.

– Она сама хотела ехать к аббату, а как не стало его – что же мне было делать? – с досадой ответил Мацько, не любивший об этом говорить, потому что в душе чувствовал за собой вину.

– Да, но что же теперь будет?

– Что? Отвезу ее назад домой, и пусть все будет как Богу угодно. Но, помолчав, он прибавил:

– Да будет воля Господня. Только бы хоть Дануся-то была здорова, по крайней мере, известно было бы, что делать... А так – шут его ведает. Ну как не выздоровеет? И не умрет... Пусть бы уж послал Господь какой-нибудь конец: либо так, либо эдак.

Но чех думал в этот момент о Ягенке.

– Видите ли, ваша милость, – сказал он, – паненка, когда я уезжал из Спыхова и прощался с ней, сказала мне так: "В случае чего, приезжайте сюда раньше Збышки и Мацьки: пусть они с вами пришлют о себе известие, а вы отвезете меня в Згожелицы.

– Эх, – отвечал Мацько. – Это верно, что как-то нескладно было бы ей оставаться в Спыхове, когда приедет Дануся. Жаль мне сиротки, по совести жаль, да коли не было воли Божьей, так уж тут ничего не поделаешь. Только как же это устроить? Постой... Ты говоришь, что она велела тебе возвращаться раньше нас с известием, а потом отвезти ее в Згожелицы?

– Велела, я вам все слова ее повторил.

– Так вот что: ты, пожалуй, поезжай вперед нас. Надо бы и старика Юранда

известить, что дочка его нашлась, чтобы внезапная радость его не убила. Ей-богу, лучше ничего и сделать нельзя. Возвращайся! Скажи, что мы Данусю отбили и что скоро с ней приедем, а сам возьми ту несчастную и вези ее домой.

Тут старый рыцарь вздохнул, потому что ему искренне жаль было и Ягенки, и тех намерений, которые он лелеял в душе. Помолчав, он снова спросил:

– Я знаю, что ты парень проворный и сильный, но сумеешь ли ты оберечь ее от обиды или несчастья? Ведь в дороге легко может случиться и то, и другое.

– Сумею, хотя бы пришлось голову сложить. Возьму нескольких хороших слуг которых для меня пан из Спыхова не пожалеет, и благополучно свезу ее хоть на край света.

– Ну очень-то на себя не надейся. Помни, что на месте, в самых Згожелицах – и то надо зорко следить за Вильками из Бжозовой и за Чтаном из Рогова... Правда, я пустяки говорю, потому что за ними надо было следить, пока у нас другое в голове было. Теперь уж нет никакой надежды – и чему быть, того не миновать.

– Я, во всяком случае, оберегу паненку и от тех рыцарей, потому что жена пана Збышка еле дышит, несчастная... Может быть, и помрет.

– Верно, ей-богу, верно, еле дышит, несчастная... Может быть, и помрет. Тут надо на Бога положиться, а теперь давай думать только о згожелицкой паненке.

– По справедливости, – сказал Мацько, – надо бы мне самому отвезти ее домой. Да трудное это дело. Не могу я сейчас оставить Збышку по разным важным причинам. Ты видел, как он скрежетал зубами и как рвался к старому комтуру, чтобы его убить, как щенка. А если случится, как ты говоришь, и эта девчонка помрет дорогой, так уж и не знаю, смогу ли я его удержать. Но если меня не будет, ничто его не остановит, и вечный позор падет на него и на весь род – чего не дай господи. Аминь.

Чех на это ответил:

– Ну есть простой способ. Дайте мне его, окаянного, а уж я его не потеряю и в Спыхове перед Юрандом из мешка вытрясу.

– Ну дай тебе бог здоровья! Славная у тебя голова, – с радостью вскричал Мацько.
– Очень просто. Очень просто. Бери его и делай с ним, что хочешь, только доставь живьем в Спыхов.

– Так дайте мне и эту суку щитновскую. Если она не будет меня по дороге обманывать, – довезу ее, а если будет – на сук.

– Тогда, может быть, Дануся скорее перестанет бояться и скорее придет в себя, коли возле нее не будет этих людей. Но если ты возьмешь монахиню, то как же она обойдется без женской помощи?

– Не может быть, чтобы в лесу вы не встретили каких-нибудь здешних жителей, либо беглых крестьян с бабами. Возьмите первую попавшуюся – и уж любая будет лучше этой. А пока хватит ухода самого пана Збышки.

– Ты что-то нынче умней, чем всегда. Верно и это. Может быть, она скорее опомнится, все время видя возле себя Збышку. Он может быть для нее словно отец с

матерью. Хорошо. А когда ты поедешь?

– Я и рассвета не стану ждать, но пока что прилягу отдохнуть. Кажется, еще и полночи нет.

– Да.

– Слава богу, что мы кое-что надумали, а то мне страсть как на душе тяжело было.

И сказав это, чех растянулся у погасающего очага, накрылся лохматой шкурой и тотчас заснул. Но небо еще нисколько не посветлело и стояла глубокая ночь, когда он проснулся, вылез из-под шкуры, поглядел на звезды и, расправив немного одеревеневшие члены, разбудил Мацьку.

– Пора мне собираться, – сказал он.

– А куда? – еще не вполне проснувшись, спросил Мацько и стал протирать глаза.

– В Спыхов.

– Да, верно... Кто это тут так храпит? Мертвого разбудить может.

– Рыцарь Арнольд. Подкину ветвей в очаг и пойду к слугам.

И он ушел, но вскоре поспешными шагами вернулся и стал издали тихим голосом звать:

– Господин, есть новость – и плохая.

– Что случилось? – вскакивая, вскричал Мацько.

– Монахиня убежала. Слуги взяли ее к лошадям и развязали ей ноги, чтоб им провалиться. А когда они заснули, она выскользнула между них, как змея, и убежала. Идемте, господин.

Обеспокоенный Мацько поспешно пошел за Главой к лошадям, но возле них застали они только одного слугу. Прочие разбежались на поиски за монахиней. Мацько молча стал грозить им вслед кулаком, а потом вернулся к огню, потому что больше делать было нечего.

Вскоре пришел Збышко. Он сторожил хату и не мог заснуть, а услышав шаги, захотел узнать, что случилось. Мацько рассказал ему, что они с чехом придумали, а потом сообщил о бегстве монахини.

– Беда невелика, – сказал он, – потому что она либо подохнет в лесу с голода, либо ее поймут мужики, которые ее вздуют, если раньше того не отыщут ее волки. Жаль только, что минуло ее наказание, которое она понесла бы в Спыхове.

Збышко тоже жалел, что ее минула кара, но в общем принял известие спокойно. Он также не противился отъезду чеха с Зигфридом – все, что не относилось непосредственно к Данусе, было ему безразлично. И он тотчас же стал говорить о ней:

– Завтра посажу ее с собой на коня – и так поедем.

– Ну как она, спит?

– Иногда немножко стонет, да не знаю, во сне или наяву, а входить не хочу, чтобы она не испугалась.

Дальнейшую их беседу перебил чех, который, увидев Збышку, воскликнул:

– А, так и ваша милость на ногах? Ну так мне пора. Лошади готовы, а старый черт привязан к седлу. Скоро станет светать, ночи-то теперь короткие. Оставайтесь с богом, ваша милость.

– Поезжай с богом. Будь здоров.

Но Глава еще раз отвел Мацьку в сторону и сказал:

– Хотел я вас просить... в случае, если что случится... знаете, господин... если какое несчастье или что... гоните тогда сейчас же слугу прямо в Спыхов. Если же мы оттуда уже уедем, пусть догоняет.

– Хорошо, – сказал Мацько. – Я тоже забыл тебе сказать, чтобы ты Ягенку вез в Плоцк, – понимаешь? Ступай там к епископу и скажи ему, кто она, скажи, что аббатава крестница, в пользу которой у епископа есть завещание, а потом попроси беречь ее, потому что и об этом сказано в завещании.

– А если епископ велит нам остаться в Плоцке?

– Слушайся его во всем и сделай так, как он посоветует.

– Так и будет, господин. С Богом.

– С Богом.

II

Рыцарь Арнольд, узнав на следующее утро о бегстве монахини, тихонько улыбнулся, но сказал то же самое, что и Мацько: либо ее съедят волки, либо убьют литвины. И это было очень правдоподобно, потому что местное население, литовского происхождения, ненавидело орден и все, что имело к нему отношение. Крестьяне частью убежали к Скирвойлле, частью взбунтовались и, перебив кое-где немцев, вместе с семьями и пожитками скрылись в недоступных лесных глубинах. Монахиню не нашли и на другой день, потому что искали не особенно усердно: Мацько и Збышко, занятые другим, не отдали достаточно строгих приказаний. Они торопились ехать в Мазовию и хотели тронуться в путь тотчас после восхода солнца, но Дануся под утро заснула так крепко, что Збышко не позволил ее будить. Он слышал, как она стонала ночью, понял, что она не спала, и теперь возлагал большие надежды на этот сон. Дважды он прокрадывался в хату и дважды при свете, проникавшем в щели, видел ее сомкнутые глаза, открытый рот и яркий румянец на щеках, какой бывает у крепко спящих детей. Сердце его тогда таяло от нежности и он говорил: "Дай тебе Бог отдохнуть и выздороветь, цветик мой дорогой". А потом прибавлял: "Кончились твои горести, кончились слезы, и, даст бог, счастье твое разольется рекой". Его прямая и добрая душа возносилась к Богу, и он спрашивал самого себя, чем бы отблагодарить его, чем бы расплатиться, что какому костелу пожертвовать, деньгами ли, скотом, воском или еще чем-нибудь? Он и сейчас даже принес бы обет и точно определил бы, что жертвует, но решил подождать. Еще неизвестно, в каком

положении проснется Дануся, вернется ли к ней сознание: он не был уверен, будет ли за что благодарить.

Мацько, хотя и понимал, что полная безопасность их ждет только во владениях князя Януша, однако также придерживался мнения, что Данусю не следует лишать отдыха, и только приказал слугам быть наготове.

Но когда прошел полдень, а Дануся все еще спала, то Збышко, то и дело заглядывавший в дверь хаты, наконец вошел внутрь и сел на обрубок дерева, который монахиня принесла накануне.

Он сел и всматривался в Данусю, но она не открывала глаз. Наконец губы ее дрогнули, и она прошептала, как будто видя сквозь закрытые ресницы:

– Збышко!..

Он тотчас подбежал к ней, опустился на колени, схватил ее исхудалую руку и, целуя, заговорил прерывающимся голосом:

– Слава богу, Дануся! Ты узнала меня!

Его голос окончательно пробудил Данусю. Она села на постели и уже с открытыми глазами повторила:

– Збышко!..

И она заморгала, а потом как бы с удивлением осмотрелась вокруг.

– Уж ты не в плену! – сказал Збышко. – Я отбил тебя, и мы едем в Спыхов!

Но она высвободила руки из его рук и сказала:

– Это все от того, что отец не благословил нас! Где княгиня?

– Проснись же, милая. Княгиня далеко, а мы отбили тебя у немцев.

В ответ она, словно не слыша этих слов и припоминая что-то, сказала:

– Отняли лютню у меня и разбили об стену!

– Боже ты мой! – вскричал Збышко.

И только теперь он заметил ее безумные, блестящие глаза и румянец, пылающий на щеках. В ту же минуту в его голове мелькнула мысль, что, может быть, она тяжело больна и два раза произнесла его имя только потому, что он мерещился ей в бреду.

Сердце его дрогнуло от ужаса, а на лбу выступил холодный пот.

– Дануся, – сказал он, – видишь ли ты меня и понимаешь ли?

Она отвечала голосом, в котором звучала мольба:

– Пить!.. Воды!..

– Иисусе милостивый!

И Збышко выбежал из хаты. У дверей он чуть не сбил с ног Мацьку, который шел узнать, как дело, и, бросив ему только одно слово: "Воды!" – побежал к ручью, который протекал невдалеке среди зарослей и мхов.

Минуту спустя он возвратился с полным кувшином и подал его Данусе, которая начала жадно пить. Мацько еще раньше вошел в хату и, посмотрев на больную, нахмурился.

– Она в бреду? – спросил он.

– Да! – простонал Збышко.

– Понимает, что ты говоришь? – Нет.

Старый рыцарь нахмурился еще больше и почесал в затылке.

– Что ж делать?

– Не знаю.

– Выход один, – начал было Мацько.

Но Дануся перебила его. Кончив пить, она устремила на него свои широко раскрытые глаза и сказала:

– Я перед вами ни в чем не виновата. Пожалейте меня!

– Я жалею тебя, дитя, и все делаю, желая тебе добра, – с волнением отвечал старый рыцарь.

И он обратился к Збышке:

– Слушай! Нечего ее оставлять здесь. Как ее ветер обдует, а солнышко пригреет, так ей, может быть, легче сделается. Не теряй головы, сажай ее в те носилки, из которых ее вынули, или в седло – и в путь. Понимаешь?

Сказав это, он вышел отдать последние распоряжения, но едва выглянул наружу, как вдруг остановился, словно вкопанный.

Сильный пеший отряд, вооруженный копьями и бердышами, словно стеной, окружал хату и полянку.

"Немцы!" – подумал Мацько.

И его душу охватил ужас, но не прошло и мгновенья, как он схватился за рукоятку меча, стиснул зубы и стал на место, точно дикий зверь, внезапно окруженный собаками и готовившийся к отчаянной защите.

В это время к нему приблизился великан Арнольд с каким-то другим рыцарем и сказал:

– Быстро вертится колесо фортуны. Я был вашим пленником, а теперь вы мои.

И он надменно посмотрел на старого рыцаря, как будто на низшее существо. Арнольд не был ни злым, ни жестоким человеком, но у него был порок, свойственный всем меченосцам: мягкие, даже уступчивые в несчастье, они никогда не умели сдержаться и не высказать своего презрения к побежденным и безграничной гордости, лишь только чувствовали за собой большую силу.

– Вы мои пленники! – важно повторил он.

Старый рыцарь угрюмо оглянулся вокруг. В его груди билось не только неробкое, но даже чересчур дерзкое сердце. Если бы он теперь был при оружии, на боевом коне, если бы около него был Збышко и если бы в руках у них были мечи, топоры или те страшные палицы, которыми так ловко владела тогдашняя шляхта, то, может быть, он попробовал бы пробиться сквозь окружающую его стену копий и бердышей. Но Мацько стоял перед Арнольдом один, пеший, без панциря, и, заметив, что его люди уже побросали оружие, как опытный и знакомый с войной человек понял, что положение безвыходное.

Он медленно вынул мизерикордию из ножен и бросил ее к ногам рыцаря, стоящего рядом с Арнольдом. Незнакомый рыцарь с неменьшей гордостью, но вместе с тем и с благоволением заговорил на хорошем польском языке:

– Ваше имя? Если вы дадите мне слово, я не прикажу вязать вас, потому что вы по-человечески обошлись с моим братом.

– Даю слово, – отвечал Мацько.

Потом он объяснил, кто он таков, спросил, можно ли ему войти в хату и предостеречь племянника, "чтобы тот не наделал каких-нибудь глупостей", и, получив разрешение, скрылся за дверями хаты. Спустя несколько минут он появился вновь с мизерикордией в руках.

– У моего племянника не было даже меча при себе, – сказал Мацько. – Он просит, нельзя ли ему остаться возле жены до тех пор, пока не настанет время пуститься в путь.

– Пусть остается, – сказал брат Арнольда, – я пошлю ему есть и пить, потому что в дорогу мы тронемся не сейчас. Люди наши утомлены, да и нам самим нужно подкрепиться и отдохнуть. Просим вас, рыцарь, присоединиться к нашей компании.

Они повернулись и пошли к тому самому костру, у которого Мацько провел прошлую ночь, но по гордости ли, или по незнанию приличий, пошли вперед, оставляя Мацьку позади. Но тот, как человек бывалый, понимающий, как в каком случае нужно поступать, спросил:

– Вы, рыцарь, меня приглашаете как гостя или как пленника? Брат Арнольда смутился, задержал шаги и сказал:

– Пройдите вперед.

Старый рыцарь прошел вперед, но, не желая уязвлять самолюбие человека, от которого во многом зависел, сказал:

– Видно, что вы не только знаете разные языки, но и знаете придворный обычай.

Арнольд, поняв только некоторые слова, спросил:

– Вольфганг, в чем дело и что он говорит?

– Он говорит дело, – ответил Вольфганг, видимо, польщенный словами Мацьки.

Они сели у костра, к которому слуги принесли пищу и питье.

Однако урок, который Мацько дал немцам, не пропал даром: Вольфганг стал предлагать еду ему первому. Из разговора во время еды старый рыцарь узнал, каким образом попались они в западню. Вольфганг, брат Арнольда, вел немецкую пехоту в Готтесвердер против взбунтовавшихся жмудинов. Однако эта пехота, из отдаленной комтурии, не могла поспеть за конницей, Арнольду же не было надобности ждать ее, так как он знал, что по дороге встретит другие пешие отряды из городов и замков, лежащих ближе к литовской границе. Поэтому младший брат, Вольфганг, отстал на несколько дней и находился на дороге, вблизи от смолокурни, как раз в тот момент, когда монахиня, убежав ночью, дала ему знать о том, что произошло с его старшим братом. Арнольд, слушая этот рассказ, который был повторен ему по-немецки, с удовольствием улыбнулся и, наконец, объявил, что сам рассчитывал на такой случай.

Но хитрый Мацько, который в любом положении старался найти какой-нибудь выход, подумал, что хорошо бы склонить этих немцев на свою сторону. Поэтому, помолчав, он сказал:

– Все-таки тяжело попасть в плен, хоть я и благодарю Бога, что он отдал меня не в чьи-нибудь руки, а в ваши, потому что вы истинные рыцари, строго блюдущие законы чести.

В ответ на эти слова Вольфганг прищурил глаза и кивнул головой, правда Довольно надменно, но с видимым удовлетворением. А старый рыцарь продолжал:

– И язык наш вы знаете. Видно, дал вам Господь ум на все!

– Речь вашу я знаю, потому что в Члуховой народ говорит по-польски, а мы с братом уже семь лет служим у тамошнего комтура.

– А со временем займете и место его. Иначе быть не может!.. Но все-таки брат ваш не говорит по-нашему.

– Он понимает немного, но не говорит. Брат сильнее меня, хоть и я не калека, да зато голова у него хуже.

– Э, глупым и он мне не кажется, – сказал Мацько.

– Вольфганг, что он говорит? – снова спросил Арнольд.

– Хвалит тебя, – отвечал Вольфганг.

– Воистину хвалю, – прибавил Мацько, – потому что он настоящий рыцарь, а это главное. И по совести скажу вам, что хотел его сегодня совсем отпустить на слово: пускай едет, куда хочет, только чтобы через год явился. Так ведь и должно быть между опоясанными рыцарями.

И он стал внимательно смотреть в лицо Вольфгангу, но тот нахмурился и сказал:

– Пожалуй, и я отпустил бы вас на слово, кабы не то, что собакам-язычникам против нас помогали.

– Неправда, – ответил Мацько.

И опять начался точно такой же резкий спор, как вчера с Арнольдом. Однако старому рыцарю, хоть он и прав был, приходилось труднее, потому что Вольфганг действительно был умнее старшего брата. Как бы то ни было, следствием этого спора была та выгода, что и младший узнал обо всех щитновских злодеяниях, клятвопреступничестве и предательстве и вместе с тем о судьбе несчастной Дануси. На все это, на все подлости, которые раскрывал перед его глазами Мацько, ему нечего было ответить. Он должен был признать, что месть была справедлива и что польские рыцари имели право так поступать, как они поступали. И наконец он сказал:

– Клянусь прахом святого Либерия. Жалеть Данфельда я не стану. Говорили о нем, что он занимается черной магией, но сила и справедливость Господа сильнее черной магии. Что касается Зигфрида – не знаю, служил ли и он дьяволу, но догонять его не стану, потому что, во-первых, конницы у меня нет, а во-вторых, если, как вы говорите, он мучил эту девушку, так пусть и отправляется в ад.

Тут он потянулся и прибавил:

– Господи, помоги мне и в смертный час.

– А как же будет с этой несчастной мученицей? – спросил Мацько. – Неужели вы не позволите увезти ее домой? Неужели ей умирать в ваших подземельях! вспомните о гневе Божьем...

– До женщины мне нет дела, – сухо отвечал Вольфганг. – Пусть один из вас отвезет ее к отцу, только с условием – потом явиться. Но второго я не отпущу.

– Ну а если бы я поклялся честью и копьем святого Георгия?

Вольфганг слегка стал колебаться, потому что это была страшная клятва, но в этот миг Арнольд в третий раз спросил:

– Что он говорит?

И узнав, о чем идет речь, стал горячо и глубоко противиться отпуску обоих рыцарей на слово. Тут у него был свой расчет: он был побежден в большой битве Скирвойллой, а в маленькой схватке – этими рыцарями. Как солдат, он знает, что пехота его брата должна теперь возвращаться в Мальборг, потому что если бы она захотела идти дальше, к Готтесвердеру, то после уничтожения передовых отрядов она шла бы прямо как на убой. И поэтому он знал, что ему придется предстать перед магистром и маршалом, и понимал, что ему будет не так стыдно, если сможет показать хоть одного значительного пленника. Рыцарь, которого живьем приводят к магистру, значит больше, чем рассказ о том, что двоих рыцарей где-то удалось взять в плен.

И Мацько, слушая хриплые возгласы и гневный голос Арнольда, сразу понял, что

следует брать то, что дают, потому что больше ничего не добьешься. И он сказал, обращаясь к Вольфгангу:

– В таком случае прошу вас, рыцарь, еще об одном: я уверен, что мой племянник сам поймет, что ему следует остаться при жене, а мне при вас. Но на всякий случай позвольте объявить ему, что здесь не о чем толковать: такова ваша воля.

– Хорошо, это мне все равно, – отвечал Вольфганг. – Но поговорите о выкупе, который должен привезти ваш племянник за себя и за вас, потому что от этого все зависит.

– О выкупе? – спросил Мацько, который предпочел бы отложить этот разговор на другое время. – Да разве у нас впереди мало времени? Когда имеешь дело с опоясанным рыцарем, слово значит то же, что и деньги, а относительно цены можно положиться на совесть. Вот мы под Готтесвердером взяли в плен знатного рыцаря вашего, некоего де Лорша, и племянник мой (это он его захватил) отпустил его на слово, совсем не условливаясь о цене.

– Вы взяли в плен рыцаря де Лорша? – быстро спросил Вольфганг. – Я его знаю. Это могущественный рыцарь. Но почему же я не встретил его на дороге?

– Потому что он, видно, туда не поехал, а поехал в Готтесвердер или в Рагнете, – ответил Мацько.

– Это рыцарь могущественный и из славного рода, – повторил Вольфганг. – Хороший выкуп вы получите. Но хорошо, что вы об этом вспомнили, потому что теперь я и вас дешево не отпущу.

Мацько прикусил ус, но гордо поднял голову:

– Мы и без того знаем, чего стоим.

– Тем лучше, – сказал младший фон Баден. Но сейчас же прибавил:

– Тем лучше не для нас, потому что мы смиренные монахи, давшие обет нищенства, но для ордена, который использует ваши деньги во славу Божью.

Мацько не ответил на это ничего, только так посмотрел на Вольфганга, точно хотел сказать: "Говори это кому-нибудь другому". И вскоре стали они торговаться. Для старого рыцаря это было тяжелое и мучительное дело, потому что, с одной стороны, он был очень чувствителен ко всякому убытку, а с другой – понимал, что не пристало ему слишком низко ценить себя и Збышку. И вот он юлил, как пескарь, тем более что Вольфганг, очень великодушный и приятный на словах, оказался необычайно жадным и твердым, как камень. Единственным утешением для Мацьки была мысль, что за все это заплатит де Лорш, но все-таки ему жаль было погибшей надежды на выгоду; на выкуп за Зигфрида он не рассчитывал, потому что думал, что Юранд, как и Збышко, ни за какие деньги не откажется от его головы.

После долгих споров он согласился на сколько-то гривен и назначил срок; при этом он выторговал, сколько лошадей и сколько слуг может взять Збышко, а потом пошел сказать ему об этом, причем, боясь, видимо, как бы немцу не Пришла в голову какая-нибудь другая мысль, посоветовал ему ехать сейчас же.

– Такова жизнь рыцарская, – говорил он, вздыхая, – вчера ты за вихор держал, а

нынче держат тебя. Да, тяжело. Даст бог, опять наша возьмет. Но теперь времени не теряй. Если поедешь скоро, то догонишь Главу, и вам вдвоем будет безопасней, а ведь как только выберешься из лесов и очутишься в Мазовии – тут уж у любого шляхтича найдешь и гостеприимство, и помощь, и уход. У нас в этом и чужим не отказывают, а уж о своих и говорить нечего. Для этой несчастной, может быть, тоже в этом заключается спасение.

Так говоря, он смотрел на Данусю, которая в полусне дышала тяжело и громко. Прозрачные руки ее, лежащие на темной медвежьей шкуре, лихорадочно вздрагивали.

Мацько перекрестился и сказал:

– Ну бери ее и поезжай. Не дай бог, чтобы вышло по-моему, но сдастся мне, что она того и гляди Господу душу отдаст.

– Молчите! – с отчаянием вскричал Збышко.

– На все воля Божья. Я велю подвести тебе сюда лошадь, а ты поезжай. И выйдя из комнаты, он приготовил все к отъезду. Турки, подаренные

Завишей, подвели лошадей с корзиной, выложенной внутри мхом и шкурами, а мальчик Вит верхового коня Збышки. Вскоре Збышко вышел из хаты, неся на руках Данусю. В этом было что-то до такой степени трогательное, что оба брата фон Бадена, которых любопытство привело к хате, увидев полудетскую еще фигуру Дануси, лицо ее, поистине похожее на лицо святых девственниц на церковных образах, и ее слабость такую, что, не в силах будучи поднять головы, она положила ее на плечо молодого рыцаря, стали с удивлением посматривать друг на друга и в глубине души возмущаться теми, кто был причиной ее несчастья. "Правда, палаческое, а не рыцарское сердце было у Зигфрида, – прошептал брату Вольфганг, – а эту змею, хотя благодаря ей ты освобожден из плена, а велю выдрать розгами". Тронуло их также и то, что Збышко несет Данусю на руках, как мать ребенка, и они поняли его любовь, потому что и у них обоих в жилах текла еще молодая кровь.

Збышко же несколько времени не знал, посадить ли больную впереди себя на седло и держать дорогой возле своей груди или же положить ее в корзину... Наконец он решил на последнее, полагая, что ей удобнее будет ехать лежа. Потом, подойдя к дяде, он склонился, чтобы поцеловать у него руку, но Мацько, который берег его, как зеницу ока, хоть и не хотел выказывать перед немцами своего волнения, не мог удержаться и крепко обнял его, прижавшись губами к его пышным золотистым волосам.

– Храни тебя Бог, – сказал он. – А про старика все-таки помни, потому что неволя – тяжелая вещь, что ни говори.

– Не забуду, – отвечал Збышко.

– Да утешит тебя Пресвятая Богородица.

– Пошли вам Господь и за это... и за все.

Через минуту Збышко сидел уже на коне, но Мацько вспомнил, видимо, еще что-то, подбежал к племяннику, и, положив руку ему на колено, он сказал:

– Слушай. Если догонишь Главу, насчет Зигфрида попомни: не покрой позором себя

самого и моих седых волос. Юранд – отлично, но не ты. Поклянись мне в этом мечом и честью.

– Пока вы не вернетесь, я и Юранда удержу, чтоб он не мстил за вас Зигфриду, – отвечал Збышко.

– Так вот как ты меня любишь?

А юноша грустно улыбнулся:

– Ведь вы знаете...

– Ну, в путь. Поезжай и будь здоров.

Лошади тронулись, и вскоре лесная чаща закрыла их. Мацьку вдруг стало ужасно грустно и скучно; душа его изо всех сил рвалась вслед этому любимому юноше, единственной надежде всего их рода. Но старик согнал грусть с лица, потому что был человеком твердым и владеющим собой.

– Слава богу, что не он в плену, а я...

И он обратился к немцам:

– А вы, рыцарь, когда едете и куда?

– Когда нам захочется, – отвечал Вольфганг. – А поедем мы в Мальборо где вам, рыцарь, придется прежде всего предстать пред магистром.

"Эх, пожалуй, они еще мне там голову отрубят за то, что я помогал жмудинам", – сказал себе Мацько.

Однако его успокаивала та мысль, что заложником у них рыцарь де Лорш и что сами братья фон Бадены будут защищать его, хотя бы ради того, чтобы от них не ушел выкуп.

"Потому что, – говорил он себе, – в таком случае, конечно, Збышке не будет нужды ни самому являться, ни тратить денег".

И эта мысль принесла ему некоторое облегчение.

III

Збышко не мог догнать своего оруженосца, потому что тот ехал день и ночь, отдыхая лишь столько, сколько было необходимо во что бы то ни стало, чтобы не пали лошади, которые, кормясь одной травой, были слабы и не могли делать таких переходов, как в странах, где легче было достать овес. Самого себя Глава не жалел, а на преклонные годы и слабость Зигфрида не обращал внимания. Старый меченосец страдал жестоко, тем более что железный Мацько во время схватки изрядно помял ему бока. Но всего более мучили его комары, роившиеся в сырых лесах; руки у него были связаны, ноги прикручены к брюху коня, и он не мог отгонять насекомых. Правда, оруженосец не причинял ему никаких особенных страданий, но и не жалел его и освобождал правую руку Зигфрида только во время еды, на привалах.

– Ешь, волчья морда, чтобы я мог доставить тебя живого спыховскому пану.

С такими словами он его угощал. Правда, в начале пути Зигфриду пришла в голову мысль уморить себя голодом, но когда он услышал предупреждение, что ему будут разжимать зубы ножом и насильно совать пищу в рот, он предпочел уступить, чтобы не допустить унижения своего монашеского Достоинства и рыцарской чести.

Чеху же хотелось во что бы то ни стало прибыть в Спыхов раньше своего господина, чтобы уберечь возлюбленную свою Ягенку от стыда. Будучи простым, но смышленным и не лишенным рыцарских чувств шляхтичем, он отлично понимал, что для Ягенки было бы слишком обидно и унижительно, если бы она очутилась в Спыхове одновременно с Данусей. "Можно будет в Плойке сказать епископу, – думал он, – что старому пану из Богданца, как опекуну, пришлось волей-неволей брать ее с собой; потом же, как только распространится молва, что кроме Згожелиц она получила наследство еще и после аббата, так и воеводский сын может на ней жениться". Эта мысль услаждала ему труды походов, потому что он терзался, думая, что счастливая весть, которую он везет в Спыхов, будет для его госпожи тяжелым приговором.

И часто представлялась его воображению румяная, как яблочко, Сецеховна. Тогда, поскольку позволяли дороги, он вонзал коню в бока шпоры – так спешил поскорее в Спыхов.

Ехали по плохим дорогам, скорее – без всяких дорог, все время прямо. Чех знал только то, что, едуци к югу и лишь слегка уклоняясь к западу, он должен выехать в Мазовию, а тогда уже все будет хорошо. Днем он ехал по солнцу, а ночью по звездам. Лесу, казалось, не было ни границ, ни конца. Дни и ночи их проходили в ночном сумраке. Иногда Глава думал, что не провезти молодому рыцарю Данусю живой через эти страшные пустыни, где не было никакой дичи, где по ночам приходилось стеречь лошадей от волков и медведей, а днем уступать дорогу стадам зубров и туров, где страшные кабаны точили кривые клыки о корни сосен и где всякому, кому не удавалось подстрелить из арбалета или пронзить копьем оленя, по целым дням нечего было есть.

"Как же, – думал Глава, – он будет здесь ехать с такой измученной девушкой, которая еле дышит?"

То и дело приходилось им объезжать широкие трясины и глубокие овраги, на дне которых шумели вздувшиеся от весенних дождей потоки. Немало и озер было в лесах; на этих озерах при закате солнца видели они целые стада лосей и оленей, плавающих в розовой гладкой воде. Иногда замечали они дымки, свидетельствующие о присутствии людей. Несколько раз Глава приближался к таким лесным селениям, но оттуда навстречу выбегали толпой дикие люди, в шурах, надетых на голое тело, вооруженные кистенями и луками и так злобно смотрящие из-под колтуноватых волос, что приходилось как можно скорее пользоваться изумлением, в которое повергал их вид рыцарей, и поспешно уезжать.

Однако два раза свистели вслед чеху копыта и слышался окрик: "Викили" (немцы). Но он предпочитал убегать, нежели объяснять, кто он. Наконец после нескольких дней езды он стал предполагать, что, может быть, уже переехал границу, но спросить было некого. Только от жителей одной деревушки, говоривших по-польски, узнал он, что очутился наконец в мазовецкой земле.

Там дорога шла уже легче, хотя вся восточная Мазовия еще шумела одним сплошным лесом. Не кончилось и безлюдье, но там, где попадалось жилье, обитатели были не так враждебны, может быть, потому, что чех говорил на понятном им языке. Беда

только была с невероятным любопытством этих людей, которые окружали всадников и забрасывали их вопросами, а узнав, что они везут пленника-меченосца, говорили:

– Подарите же его нам, господин, уж мы с ним разделаемся.

И они просили так упорно, что чеху часто приходилось сердиться или объяснять им, что пленник принадлежит князю. Тогда они оставляли его в покое. Впоследствии, в населенной стране, дело тоже не особенно легко шло со шляхтой и владетельными князьками. Там кипела ненависть к меченосцам, потому что везде живо помнили предательство и обиду, нанесенную князю, когда во время полного мира меченосцы схватили его под Злоторьей и держали у себя как пленника. Правда, эти уже не хотели "разделяться" с Зигфридом, но то один, то другой упрямый шляхтич говорил:

– Развяжите его: я дам ему оружие и вызову на поединок.

Таким чех обстоятельно объяснял, что первое право мстить принадлежит несчастному пану из Спыхова и что нельзя лишать его этого права.

В населенных местах уже были кое-какие дороги и лошадей всюду кормили овсом или ячменем. Чех ехал скоро, нигде не останавливаясь, и за десять дней до праздника Божьего тела очутился в виду Спыхова.

Приехал он вечером, как тогда, когда Мацько прислал его из Щитно с уведомлением о своем отъезде на Жмудь, и точно так же, как в тот раз, увидев его из окна, выбежала к нему навстречу Ягенка, а он упал к ногам ее, некоторое время не в силах будучи произнести ни слова. Но она подняла его и потащила как можно скорее вверх, не желая спрашивать при людях.

– Какие вести? – спросила она, дрожа от нетерпения и еле переводя дыхание. – Живы они? Живы?

– Живы. Здоровы.

– А она отыскалась?

– Да. Отбили ее.

– Слава богу.

Но, несмотря на эти слова, лицо ее словно застыло, потому что разом все ее надежды рассыпались прахом.

Все-таки силы ее не оставили, и она не упала в обморок, а потом овладела собой вполне и опять стала спрашивать:

– Когда же они будут здесь?

– Через несколько дней. Это трудный путь, да еще с больной.

– Так она больна?

– Измучили ее. У нее от мучений в голове помешалось.

– Иисусе милостивый.

Наступило короткое молчание, только побледневшие губы Ягенки шевелились как бы в молитве.

– И она не пришла в себя при Збышке? – снова спросила она.

– Может быть, и пришла, да я не знаю, потому что сейчас же уехал, чтобы сообщить вам, госпожа, эту новость, прежде чем они придут сюда.

– Пошли тебе Бог за это. Рассказывай: как это было?

Чех в кратких словах стал рассказывать, как они отбили Данусю и взяли в плен великана Арнольда с Зигфридом. Сообщил он также, что Зигфрида привез с собой, потому что молодой рыцарь хотел подарить его Юранду, чтобы тот мог отомстить.

– Надо мне теперь идти к Юранду, – сказала Ягенка, когда он кончил. И она вышла; но Глава недолго оставался один, потому что из соседней

комнатки выбежала к нему Сецеховна, а он, потому ли, что не совсем был в памяти от усталости, потому ли, что стосковался по ней и сразу забылся при виде ее, довольно того, что он обнял ее, прижал к груди и стал целовать ее глаза, щеки, губы, словно давно уже сказал ей все, что следует сказать девушке перед таким поступком.

И быть может, он уже действительно сказал это ей в душе во время пути, потому что целовал и целовал без конца, и прижимал ее к себе с такой силой, что у нее стеснялось дыхание; она не защищалась, сперва от удивления, потом от слабости такой, что, если бы держали ее не такие сильные руки, она упала бы на пол. К счастью, все это тянулось не слишком долго, потому что на лестнице послышались шаги и через минуту в комнату поспешно вошел ксендз Калев.

Они отскочили друг от друга, а ксендз Калев снова стали забрасывать Главу вопросами, на которые тот, еле дыша, отвечал с трудом.

Ксендз думал, что это он от усталости. Услышав подтверждение известия, что Дануся найдена и отбита, а мучитель ее привезен в Спыхов, он бросился на колени, чтобы возблагодарить Господа. За это время кровь в жилах Главы немного успокоилась, и когда ксендз встал, оруженосец мог уже спокойно повторить ему, как они нашли и отбили Данусю.

– Не для того Господь спас ее, – сказал ксендз, выслушав все, – чтобы оставить разум и душу ее во тьме и во власти нечистой силы. Юранд возложит на нее святые свои руки и одной молитвой вернет ей разум и здоровье.

– Рыцарь Юранд? – с удивлением спросил чех. – Неужели он обладает такой силой? Неужели он стал святым при жизни?

– Перед Господом он уже святой, а когда умрет, у людей будет в небесах одним покровителем-мучеником больше.

– Но вы сказали, отче, что он возложит руки на голову дочери. Разве у него отросла правая рука? Я знаю, что вы просили об этом Господа...

– Я сказал "руки", как всегда говорится, – отвечал ксендз, – но при милосердии Божьем хватит и одной руки.

– Вестимо, – ответил Глава.

Но в голосе у него звучала некоторая досада, потому что он думал, что увидит явное чудо. Дальнейший разговор был прерван приходом Ягенки.

– Я сказала ему, – проговорила она, – об этой новости осторожно, чтобы внезапная радость не убила его. Он сейчас же упал на землю и стал молиться.

– Он и без того по целым ночам молится, а уж сегодня, верно, до утра не встанет, – сказал ксендз Калев.

Так и случилось. Несколько раз заглядывали к нему – и каждый раз заставляли лежащим, но не во сне, а в молитве, такой горячей, что он доходил до полного самозабвения. Только на следующий день, уже много времени спустя после ранней обедни, когда Ягенка снова заглянула к нему, он знаками дал понять, что хочет видеть Главу и пленника. Тотчас из подземелья привели Зигфрида, со связанными крестом на груди руками, и все вместе с Толимой отправились к старику.

В первую минуту чех не мог хорошо разглядеть его, потому что затянутые пузырем окна пропускали мало света, а день был хмурый вследствие туч, затянувших все небо и предвещавших ненастье. Но когда зоркие глаза его привыкли к сумраку, Глава едва узнал Юранда, так он исхудал и отошал. Огромный человек превратился в огромный скелет. Лицо его было так бело, что не особенно отличалось от молочно-белых волос и бороды, а когда Юранд, облокотившись на поручень кресла, закрыл веками свои пустые глазницы, он показался ему просто трупом.

Возле кресла стоял стол, а на нем распятие, кувшин с водой и каравай черного хлеба с воткнутой в него мизерикордией – страшным ножом, который употребляли рыцари для добивания раненых. Иной пищи, кроме хлеба и воды, Юранд давно не употреблял. Одеждой служила ему толстая власяница, опоясанная веревкой. Власяницу носил он на голом теле. Так после возвращения из щитненского плена жил некогда могущественный и страшный рыцарь из Спыхова.

Услышав, что вошли люди, он отстранил ногой ручную волчицу, согревавшую его босые ноги, и откинулся назад. В этот-то миг он и показался Главе мертвецом. Наступила минута ожидания; все думали, что он сделает какой-нибудь знак, чтобы кто-нибудь заговорил, но он сидел неподвижно, белый, спокойный, с полуоткрытым ртом, как будто и в самом деле был погружен в вечный сон смерти.

– Глава пришел, – сказала наконец ласковым голосом Ягенка, – хотите вы его выслушать?

Он кивнул головой в знак согласия, и чех в третий раз начал свой рассказ. Он кратко описал битву, происшедшую с немцами под Готтесвердером, рассказал о драке с Арнольдом фон Баденом и о том, как была отбита Дануся, но, не желая прибавлять горечи к хорошей вести и будить в старике новую тревогу, он утаил, что ум Дануси помутился во время долгих дней ужасного плена.

Вместо этого, пылая ненавистью к меченосцам и желая, чтобы Зигфрид был наказан как можно безжалостнее, он нарочно не утаил того, что они нашли ее перепуганной, исхудалой, больной, так что видно было, что с ней обходились жестоко и что если

бы она дольше оставалась в этих страшных руках, то увяла бы и угасла, как вянет и гибнет растоптанный ногами цветок. Этому мрачному рассказу сопутствовал не менее мрачный сумрак надвигающейся грозы. Медные громады туч все страшнее клубились над Спыховом.

Юранд слушал рассказ, ни разу не вздрогнув и не пошевелившись, так что присутствующим могло показаться, что он погружен в сон. Но он слышал и понимал все, потому что когда Глава стал говорить о несчастьях Дануси, в его пустых глазных впадинах появились две крупные слезы и потекли по щекам. Из всех земных чувств оставалось у него еще только одно: любовь к своему ребенку.

Потом его синие губы стали шевелиться: он шептал молитву. На дворе раздались первые, еще отдаленные раскаты грома, а молнии стали время от времени освещать окна. Он молился долго, и снова слезы закапали на его седую бороду. Наконец он перестал молиться, и воцарилось долгое молчание; оно длилось слишком долго и наконец стало тяготить присутствующих: они не знали, что им делать.

Наконец старик Толима, правая рука Юранда, товарищ его во всех боях и главный страж Спыхова, сказал:

– Перед вами, господин, стоит этот чернокожничек, этот вампир-меченосец, который мучил вас и вашу дочь, дайте знак, что мне с ним сделать и как его покарать?

При этих словах по лицу Юранда пробежали внезапные светлые лучи, и он кивнул головой, чтобы пленника подвели к нему.

Двое слуг мгновенно схватили Зигфрида за плечи и подвели к старцу, а тот протянул руку, провел сначала ладонью по лицу Зигфрида, словно хотел припомнить или в последний раз запечатлеть в памяти его черты; потом он опустил руку на грудь меченосца, нащупал скрещенные на груди руки, коснулся веревок и, снова закрыв глаза, закинул голову назад.

Присутствующие думали, что он размышляет. Но что бы ни делал он в эту минуту – это длилось недолго, вскоре он очнулся и протянул руку в сторону хлеба, в котором торчала золотая мизерикордия.

Тогда Ягенка, чех и даже старик Толима затаили в груди дыхание. Кара была сто раз заслужена, месть была справедлива, но при мысли о том, что этот полуживой старик будет на ощупь резать связанного пленника, сердца у них дрогнули.

Но Юранд, взяв нож за лезвие, протянул указательный палец к концу острия, чтобы знать, к чему прикасается, и стал резать веревки на плечах меченосца.

Всех охватило удивление: они поняли желание Юранда, и не хотели верить глазам своим. Это было для них уж слишком. Первым стал шептать что-то Глава, за ним Толима, потом слуги. Только ксендз Калев дрожащим от непреодолимых слез голосом спросил:

– Брат Юранд, что вы хотите делать? Уж не хотите ли даровать пленнику свободу?

– Да, – отвечал Юранд кивком головы.

– Вы хотите, чтоб он ушел без мести и кары?

– Да.

Ропот гнева и возмущения усилился еще больше, но ксендз Калев, не желая, чтобы пропал даром столь неслыханный подвиг милосердия, обернулся к ропщущим и воскликнул:

– Кто смеет противиться святым? На колени! И, став на колени сам, он стал читать молитву:

– Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет царствие Твое...

И он прочел "Отче наш" до конца. При словах "...и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должникам нашим" глаза его невольно обратились к Юранду, лицо которого действительно светилось каким-то неземным светом.

И зрелище это, в соединении со словами молитвы, тронуло сердца всех присутствующих; даже старик Толима, с душой, зачерстневшей в непрестанных боях, перекрестился, обнял колени Юранда и сказал:

– Господин, если воля ваша должна исполниться, то надо проводить пленника до границы.

– Да, – кивнул головой Юранд.

Молнии все чаще освещали окна: гроза приближалась.

IV

Два ездока среди вихря и проливного дождя спешили к спыховской границе: Зигфрид и Толима. Последний сопровождал немца из опасения, как бы дорогой не убили его крестьяне или спыховская челядь, пылавшая против него страшной ненавистью и жадной мести. Зигфрид ехал безоружный, но и не связанный. Гроза, гонимая ветром, была уже над ними. Порой, когда раздавался внезапный удар грома, лошади приседали на задние ноги. Они ехали в глубоком молчании, по дну узкого оврага, иногда так близко друг к другу, что стремя касалось стремени. Толима, привыкший за многие годы сторожить пленников, и теперь время от времени внимательно поглядывал на Зигфрида, точно заботился, чтобы тот не убежал; и каждый раз по телу его невольно пробегала дрожь, потому что ему казалось, что глаза меченосца светятся во мраке, как глаза злого духа или упыря. Ему даже приходило в голову перекрестить меченосца, но при мысли, что тот, осененный крестом, может завывать нечеловеческим голосом и, приняв ужасный образ, защелкать зубами, Толиму охватывал еще больший страх. Старый вояка, умевший один налетать на целую толпу немцев, как ястреб на стаю куропаток, боялся нечистой силы и не хотел иметь с нею дело. Ему хотелось бы просто указать немцу дальнейший путь и вернуться назад, да стыдно было перед самим собой, и он проводил Зигфрида до самой границы.

Там, когда они добрались до опушки спыховского леса, дождь прекратился, и тучи засветились каким-то странным желтым светом. Стало светлее, и глаза Зигфрида потеряли свой необычный блеск. Но тогда напало на Толиму другое искушение. "Велели мне, – говорил он себе, – проводить этого бешеного пса до границы. Вот я его и проводил. Но неужели же ему суждено уехать без мести и кары, этому мучителю моего господина и его дочери? Не было ли бы хорошим и угодным Господу поступком убить его? А что, если я его вызову? Правда, у него нет оружия, но ведь всего в одной миле отсюда, в Варцимовском поместье, дадут ему какой-нибудь

меч – и я смогу с ним драться. Бог даст – повалю его, а потом дорежу, как полагается, а голову зарю в навоз". Так говорил себе Толима и уже, с аппетитом поглядывая на немца, стал шевелить ноздрями, точно слышал запах свежей крови. И ему приходилось выдерживать тяжелую борьбу с этим желанием, приходилось осилить самого себя; наконец, подумав, что Юранд не только до границы даровал пленнику жизнь и свободу и что в противном случае святой поступок господина пропал бы даром и уменьшилась бы за него награда Юранду на небесах, он наконец овладел собой, остановил коня и сказал:

– Вот наша граница. Тут недалеко и до вашей. Поезжай же, и если совесть тебя не замучит и гром Божий не поразит, то от людей тебе не грозит ничто.

И, сказав это, он поворотил коня, а Зигфрид поехал вперед, с каким-то дико окаменевшим лицом, не произнеся ни слова и как будто не слыша, что кто-то говорил с ним.

И он ехал дальше, уже по более широкой дороге, как бы погруженный в сон.

Краток был перерыв в грозе, и недолго длилось прояснение погоды. Снова стемнело так, что, казалось, спустился вечерний мрак, и тучи спустились низко, почти касаясь леса. Сверху спускался зловещий сумрак и как бы нетерпеливое шипение и ворчание громов, которые сдерживал еще ангел бури. Но молнии уже поминутно ослепительным блеском освещали грозное небо и испуганную землю, и тогда видна была широкая дорога, идущая между двух черных стен леса, а на ней одинокого всадника. Зигфрид ехал наполовину без памяти, терзаемый лихорадкой. Отчаяние, грызущее его душу со времени смерти Ротгера, злодеяния, совершенные ради мести, угрызения совести, страшные видения – все это уже давно до такой степени помутило разум его, что он с величайшими усилиями боролся против безумия, а минутами даже ему уступал. Но трудный путь под железной рукой чеха, ночь, проведенная в спыховском подземелье, неуверенность в своей судьбе и, наконец, этот неслыханный, почти нечеловеческий подвиг милосердия и сострадания, поразивший его, – все это издергало Зигфрида окончательно. Иногда мысли его застывали, и он окончательно терял представление о том, что с ним происходит, но потом снова лихорадка будила его и в то же время пробуждала в нем какое-то глухое ощущение горя, отчаяния, гибели, ощущение того, что все уже минуло, погасло, кончилось, что наступил какой-то предел, что вокруг него ночь, пустота и какая-то страшная бездна, наполненная ужасом, и к этой бездне он все-таки должен идти.

– Иди, иди, – прошептал вдруг над его ухом какой-то голос.

Он обернулся – и увидел смерть. Сама в образе скелета, сидя на скелете коня, ехала она рядом, белая, позвякивающая костями.

– Это ты? – спросил меченосец.

– Это я. Иди, иди.

Но в тот же миг он заметил, что с другого бока у него тоже есть спутник: совсем рядом с ним ехало какое-то существо, телом похожее на человека, но с лицом нечеловеческим: у него была звериная морда с торчащими ушами, длинная, покрытая черной шерстью.

– Кто ты? – спросил Зигфрид.

Тот вместо ответа показал ему зубы и глухо заворчал. Зигфрид сомкнул глаза, но тотчас услышал еще более громкий стук костей и голос, говорящий ему в самое ухо:

– Пора! Пора! Спешите! Идите!

И он ответил:

– Иду...

Но ответ этот прозвучал так, словно его произнес кто-то другой.

Потом, как бы понуждаемый какой-то непреодолимой внутренней силой, он слез с коня и снял с него высокое рыцарское седло, а потом уздечку. Спутники его, тоже сойдя с коней, не отступали от него ни на мгновение – и отвели с середины дороги на край леса. Там черный упырь наклонил для него сук и помог привязать к нему ремень уздечки.

– Спешите, – прошептала смерть.

– Спешите, – прошумели какие-то голоса в вершинах деревьев.

Зигфрид, точно во сне, продел конец ремня в пряжку, сделал петлю и, став на седло, которое перед тем положил возле дерева, накинул петлю себе на шею.

– Оттолкните седло... Готово! А!

Отброшенное ногой седло покатило на несколько шагов – и тело несчастного меченосца тяжело повисло.

Одно мгновение ему казалось, что он слышит какое-то хриплое, сдавленное рычание и что этот отвратительный упырь кинулся на него, стал раскачивать, а зубами впился ему в грудь, чтобы укусить в самое сердце. Но потом угасающие его глаза увидели еще нечто: смерть расплылась в какое-то бледное облако, которое медленно стало приближаться к нему, потом обняло, окружило и наконец закрыло все страшной, непроницаемой завесой.

В этот миг гроза разбушевалась с невероятной яростью. Молния ударила в середину дороги с таким грохотом, точно земля поколебалась в своих основах. Весь лес наклонился под вихрем. Шум, свист, вой, скрип стволов и треск ломаемых ветвей наполнили глубину его. Волны дождя, гонимые ветром, заслонили окрестность, и лишь во время кратких кровавых молний можно было видеть дико качающийся над дорогой труп Зигфрида.

* * *

На другое утро по той же дороге ехала довольно большая кучка всадников. Впереди ехала Ягенка с Сепеховой и чехом, за ними шли возы, окруженные четырьмя слугами с арбалетами и мечами. Возле каждого возницы тоже лежали копье и топор, не считая окованных железом вил и другого оружия, нужного в дороге. Все это было нужно как для обороны от диких зверей, так и от разбойничьих шаек, которые вечно шныряли возле орденской границы и на которых горько жаловался великому магистру Ягелло и письменно и на съездах в Ратенжке.

Но с крепкими людьми и хорошим оружием можно было их не бояться, и потому все

ехали уверенные в себе и без всякого страха. После вчерашней грозы настал чудесный день, свежий, тихий и такой ясный, что там, где не было тени, глаза путников шурились от слишком сильного блеска. Ни один листок на деревьях не шевелился и с каждого свешивались крупные капли дождя, отливавшие радугой в лучах солнца. Среди сосновых игл, казалось, сверкали брильянты. От ливня образовались на дороге маленькие ручейки, которые с веселым журчанием текли к более низменным местам, образуя порою маленькие озера. Все вокруг было мокро, но улыбалось в утреннем свете. В такие утра радость охватывает и человеческие сердца, и потому возницы и слуги тихонько напевали, удивляясь молчанию, которое господствовало среди едущих впереди.

Они же молчали, потому что душу Ягенки томила тяжелая тоска. В жизни ее что-то кончилось, что-то сломалось, и девушка, хоть и не очень умевшая размышлять и обстоятельно уяснять себе, что в ней происходит, чувствовала, что все, чем она до сих пор жила, увяло и погибло, что развеялась в ней всякая надежда, как развеивается над полянами утренний туман, что от всего придется отказаться, все бросить, обо всем забыть и начать как бы совершенно новую жизнь. Она думала, что если даже жизнь эта, по воле Божьей, не будет совсем плохой, то все же может быть только грустной и уж во всяком случае не такой хорошей, как могла быть та, которая только что кончилась.

И непомерная грусть сжимала ее сердце при воспоминании об этой раз навсегда прекратившейся жизни, и на глаза набегали потоки слез. Но она не хотела плакать, потому что и без того чувствовала, в придачу к той тяжести, которая томила ее душу, еще и стыд. Лучше бы ей было не уезжать из Згожелиц, только бы не возвращаться теперь из Спыхова. Потому что она не могла скрыть от самой себя, что приехала сюда не только потому, что не знала, как быть после смерти аббата, и не только потому, что хотела отнять у Чтана и Вилька повод к нападению на Згожелицы. Нет. Знал об этом и Мацько, который тоже не по этим причинам брал ее с собой, знает, конечно, и Збышко. При этой мысли щеки ее вспыхнули и горечь наполнила сердце. "Не была я достаточно горда, – говорила она себе, – и вот теперь получила то, чего добивалась". И к ее горю, к неуверенности в завтрашнем дне, к мучительной тоске и к безграничному сожалению о минувшем прибавилось чувство унижения.

Но тяжелые мысли ее прервал какой-то человек, поспешно шедший навстречу. Чех, зорко следивший за всем, поехал к нему навстречу и по арбалету, лежащему на плече человека, по мешку из барсучьей шкуры и по перьям сойки на шапке узнал в нем лесника.

– Эй, ты кто? Стой! – крикнул он, однако, для верности.

Человек поспешно приблизился и с подвижным лицом, какое всегда бывает у людей, которые хотят сообщить что-нибудь необычайное, закричал:

– Впереди человек висит над дорогой.

Чех обеспокоился, не дело ли это разбойничьих рук, и стал поспешно спрашивать:

– Далеко отсюда?

– На расстоянии выстрела из арбалета. У самой дороги.

– А рядом никого нет?

– Никого. Я только волка спугнул, который его обнюхивал. Упоминание о волке успокоило чеха, потому что это доказывало, что поблизости нет никакой засады.

Между тем Ягенка сказала:

– Погляди, что там такое.

Глава поскакал вперед, но вскоре вернулся еще поспешнее.

– Это Зигфрид висит, – закричал он, осаживая коня перед Ягенкой.

– Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Зигфрид? Меченосец?

– Меченосец. Повесился на уздечке.

– Сам?

– Сам, видно, потому что рядом лежит седло. Если бы это разбойники сделали, они бы его просто убили, а седло взяли бы, потому что оно хорошее.

– Как же мы поедем?

– Не надо ехать туда. Не надо, – вскричала робкая Ануля Сецеховна. – Того и гляди пристанет к нам что-нибудь.

Ягенка тоже немного испугалась, потому что верила, что возле трупа самоубийцы целыми толпами собираются нечистые духи, но Глава, смелый и не боящийся ничего, сказал:

– Ну вот. Я был возле него и даже потрогал его копьем, а вот черта на шее у себя не чувствую.

– Не кощунствуй, – вскричала Ягенка.

– Я не кощунствую, – возразил чех, – а только уповаю на милость Божью. Но если вы боитесь, мы можем объехать лесом.

Сецеховна стала просить объехать, но Ягенка, подумав с минуту, сказала:

– Не годится не похоронить умершего. Это дело христианское, завещанное Иисусом Христом, а ведь это человек.

– Да, только меченосец, висельник и палач. Им займутся вороны и волки.

– Не болтай, что попало. За грехи его Бог судить будет, а мы сделаем свое дело. И не пристанет к нам никакая нечистая сила, если мы набожно исполним повеление Божье.

– Ну так пусть будет по-вашему, – отвечал чех.

И он отдал слугам соответствующий приказ; они повиновались с неохотой и отвращением. Однако, боясь Главы, взяли, за отсутствием лопат, вилы и топоры для рытья ямы и пошли. Чех тоже отправился с ними, чтобы подать пример, и,

перекрестившись, собственноручно перерезал ремень, на котором висел труп.

Лицо Зигфрида уже посинело на воздухе, и он был довольно страшен, потому что глаза его были открыты и полны ужаса, рот тоже открыт, как бы в попытке набрать в грудь хоть немного воздуха. И вот поспешно вырыли тут же, поблизости, яму и рукоятками вил столкнули в нее тело лицом вниз; потом, засыпав его, стали искать камней, потому что существовал древний обычай покрывать ими самоубийц, которые в противном случае вставляли по ночам из могил и вредили путникам.

Камней было достаточно и на дороге, и среди лесных мхов, поэтому вскоре над меченосцем выросла высокая могила, а потом Глава вырезал топором на стволе сосны крест, это сделал он не для Зигфрида, а чтобы злые духи не собирались в этом месте, и вернулся к своим спутникам.

– Душа в пекле, а тело уж в земле, – сказал он Ягенке. – Теперь можем ехать.

И они тронулись в путь. Однако Ягенка, проезжая мимо, сорвала сосновую веточку и бросила ее на камни, а по примеру госпожи то же сделали все другие, потому что обычай предписывал и это.

Все долго ехали в задумчивости, размышляя об этом страшном рыцаре-монахе, о постигшем его наказании, и наконец Ягенка сказала:

– Суд Божий никого не минет. Нельзя за него даже молитву прочесть, потому что ему нет прощения.

– И так, видно, добрая у вас душа, коли велели похоронить его, – ответил чех.

А потом с некоторой неуверенностью стал говорить:

– Сказывают люди... положим, может быть, и не люди, а чародеи да чернокнижники, будто веревка или ремень, на котором висел удавленник, приносит во всем счастье; да не взял я с Зигфрида ремня, потому что для вас жду счастья не от чернокнижников, а от Господа Бога.

Ягенка сначала не ответила ничего, но потом, несколько раз вздохнув, сказала, как бы самой себе:

– Эх, мое счастье позади, а не впереди.

V

Только через девять дней после отъезда Ягенки подъехал Збышко к границе Спыхова, но Дануся была уже так близка к смерти, что он совсем потерял надежду живую привезти ее к отцу. На другой же день, когда она стала отвечать невпопад, он заметил, что не только разум ее помутился, но и тело охвачено какой-то болезнью, бороться с которой уж нет сил этому измученному страданиями, неволей, тюрьмой и вечным страхом ребенку. Быть может, отголоски ожесточенного боя, происшедшего между Мацькой, Збышкой и немцами, переполнили чашу ее ужаса, и именно в тот миг началась эта болезнь. Как бы то ни было, горячка не оставляла ее с того времени до самого конца дороги. До известной степени это было даже хорошо, так как через страшные леса, среди невероятных препятствий Збышко вез ее, точно мертвую, она была без памяти и ничего не сознавала. Когда они проехали леса, когда вступили в "христианскую" землю, населенную крестьянами и шляхтой, опасности и препятствия кончились. Люди, узнавая, что везут польского ребенка, отнятого у меченосцев, да

еще дочь славного Юранда, о котором столько песен пелось в городках, поместьях и хатах, старались превзойти друг друга в услугах и помощи. Доставлялись запасы и лошади. Все двери были открыты. Збышке уже не было надобности везти Данусю в корзине между лошадьми: сильные парни несли ее на плечах из деревни в деревню, так заботливо и осторожно, точно это была какая-нибудь реликвия. Женщины окружали ее величайшей заботливостью. Мужчины, слушая рассказы о ее несчастьях, скрежетали зубами, и многие из них тотчас надевали железные нагрудники, хватали мечи, топоры или копья и ехали дальше со Збышкой, чтобы отомстить "с лихвой", потому что отомстить обидой за обиду казалось разгневанным людям недостаточным.

Но Збышко не думал в эти минуты о мести: все его мысли заняты были Данусей. Он жил между проблесками надежды, когда больной на минуту становилось лучше, и глухим отчаянием, когда состояние ее ухудшалось. А в этом отношении он уже не мог себя обманывать. Не раз в начале пути проносилась в его голове нелепая мысль, что, может быть, где-то там, по бездорожью, которым они ехали, едет следом за ними смерть и только выжидает Удобной минуты, чтобы броситься на Данусю и высосать из нее остаток жизни. Видение это или, скорее, ощущение, среди темных ночей бывало так явственно, что не раз охватывало его отчаянное желание обернуться назад, вызвать смерть на бой, как вызывают рыцарей, и сразиться с ней до последнего издыхания. Но в конце дороги было еще хуже, потому что он чувствовал смерть не сзади, а тут же, между всадниками, правда, невидимую, но до того близкую, что холодное дыхание ее обвевало их. И он уже понимал, что против этого врага бесполезна храбрость, бесполезна сильная рука, бесполезно оружие, что надо самое дорогое существо отдать этому врагу в добычу без боя.

И это чувство было самое страшное, потому что с ним было соединено горе, неодолимое, как вихрь, бездонное, как море. Как же было душе Збышки не стонать, не разрываться на части от горя, когда, глядя на свою возлюбленную, он говорил ей, как бы с невольным упреком: "Для того ли я любил тебя, для того ли нашел и отбил, чтобы завтра засыпать землей и не видеть уже никогда?" И говоря так, он смотрел на ее пылающие в лихорадке щеки, на ее мутные, бессмысленные глаза и спрашивал снова: "Покинешь меня, не жаль тебе? Лучше тебе без меня, чем со мной?" И тогда он думал, что, кажется, сам он тоже сходит с ума, горло его сжималось от слез, порывистых, но застывших; какая-то злоба вскипала в нем против этой безжалостной силы, слепой и холодной, которая обрушилась на невинное дитя. Если бы страшный меченосец находился тогда поблизости, он растерзал бы его как дикий зверь.

Добравшись до лесного дворца, Збышко хотел остановиться, но весной там было пусто. От сторожей он узнал, что князь с княгиней отправились в Плоцк к брату Земовиту; поэтому он отказался от намерения ехать в Варшаву, где придворный лекарь мог дать помощь. Приходилось ехать в Спыхов, что было ужасно, потому что ему казалось, что все кончается и он привезет Юранду только труп.

Но как раз за несколько часов до Спыхова на сердце его снова пал светлый луч надежды. Щеки Дануси стали бледнеть, глаза сделались не такими мутными, дыхание не так громко и часто. Збышко заметил это сейчас же и вскоре приказал сделать последнюю остановку, чтобы она могла отдохнуть спокойнее. Они находились приблизительно в миле от Спыхова, вдали от людских жилищ, на узкой дороге между полем и лугом. Но стоящая поблизости дикая груша давала защиту от солнца, и Збышко остановился под ее ветвями. Слуги, сойдя с коней, расседлали их, чтобы им удобнее было щипать траву. Две женщины, нанятые для ухода за Данусей, и парни, которые несли ее, усталые от дороги и жары, улеглись в тени и заснули; только Збышко сторожил носилки и, сев на корнях груши, не спускал глаз с больной.

А она лежала среди полуденной тишины спокойно, с закрытыми веками. Однако Збышке казалось, что она не спит. И в самом деле, когда на другом конце широкого луга косивший сено крестьянин остановился и стал звенеть по косе точилом, Дануся слегка вздрогнула и на мгновение открыла веки, но тотчас их опустила; грудь ее поднялась от глубокого вздоха, а изо рта вылетел еле слышный шепот:

– Цветы пахнут...

Это были первые не горячечные и не бессознательные слова, которые проговорила она с самого начала пути, потому что и в самом деле дуновение ветра доносило с пригретого солнцем луга сильный запах, в котором слышалось сено, мед и разные пахучие травы. И при мысли, что к больной возвращается сознание, сердце Збышко задрожало от радости. В первом порыве радости он хотел броситься к ее ногам, но, боясь испугать ее, сдержался, стал на колени возле носилок и, наклонившись над ней, стал тихо звать:

– Дануся! Дануся!

И она опять открыла глаза, она некоторое время смотрела на него, потом лицо ее озарила улыбка, и точно так же, как тогда, в хате смолокуров, но уже гораздо сознательнее, она произнесла его имя:

– Збышко...

И она попыталась протянуть к нему руки, но от большой слабости не могла этого сделать; зато он обнял ее с сердцем, до того переполненным, точно благодарил ее за какую-то неизмеримую милость.

– Ты очнулась, – говорил он. – О, слава богу... Слава богу...

Потом голоса у него не стало – и некоторое время они смотрели друг на друга молча. Тишину поля нарушал только благоуханный шелест ветра, налетевшего со стороны луга; ветер шелестел в листьях груши, а вокруг слышался треск кузнечиков в траве да далекое пение косца.

Дануся смотрела вокруг все сознательнее и не переставала улыбаться, совсем как дитя, которое во сне видит ангела. Однако постепенно в глазах ее стало отражаться как бы некоторое удивление:

– Где я? – спросила она.

Тогда из уст его вырвался целый рой кратких, прерываемых радостью ответов:

– Ты со мной. Под Спыховом. Мы едем к отцу. Кончена твоя неволя. О, милая Дануся... О, Дануся! Я искал тебя и отбил. Ты уже не по власти немцев. Не бойся. Сейчас будет Спыхов. Ты была больна, но Господь Бог сжалился. Сколько горя, сколько слез. Дануся... Теперь уже все хорошо... Перед тобой счастье – и ничего больше. О, как долго я искал тебя... Сколько мест изъездил... О, боже мой...

И он глубоко вздохнул, почти со стоном, точно сбрасывал с груди остатки тяжести...

Дануся лежала спокойно, что-то припоминая, и наконец спросила:

– Так ты не забыл меня?

И две слезы, навернувшись на глазах ее, скатились на подушку.

– Чтоб я забыл тебя?! – вскричал Збышко.

И в этом сдавленном крике было больше силы, чем в величайших клятвах и уверениях, потому что он всегда любил ее всей душой, а с тех пор, как он нашел ее, она стала ему дороже всего в мире.

Но между тем опять настала тишина; мужик вдали перестал петь и несколько раз ударил точилом в косу.

Губы Дануси снова зашевелились, но таким тихим шепотом, что Збышко не мог расслышать и, наклонившись, спросил:

– Милая, что ты говоришь? А она повторила:

– Цветы пахнут...

– Мы возле луга, – отвечал Збышко, – но сейчас поедem дальше... К отцу твоему, который тоже спасен из плена. И ты будешь моей до самой смерти. Слышишь ты меня? Понимаешь?

Вдруг он вздрогнул от внезапной тревоги, так как заметил, что лицо ее становится все бледнее и на нем выступают частые, крупные капли пота.

– Что с тобой? – спросил он с ужасом.

И почувствовал, как волосы становятся у него дыбом на голове, а по телу пробегает мороз.

– Что с тобой? Ответь, – повторил он.

– Темно, – прошептала Дануся.

– Темно? Солнышко светит, а тебе темно? – спросил он, задыхаясь. – Ты только что говорила, как следует. Ради бога, скажи хоть слово.

Она еще раз пошевелила губами, но не могла уже даже шептать. Збышко понял только то, что она произносит его имя и зовет его. После этого исхудавшее тело ее стало дрожать. Это длилось недолго. Не к чему было себя обманывать: она умирала.

А Збышко в ужасе и отчаянии стал умолять ее, точно просьбы могли что-то сделать:

– Дануся... О, боже мой... погоди хоть до Спыхова, погоди, погоди. О, боже мой, боже мой, боже мой!

В это время проснулись женщины и прибежали слуги, которые находились поодаль, возле лошадей, на лугу. Но с первого взгляда поняв, что происходит, они стали на колени и начали громко молиться.

Ветер прекратился, перестали шелестеть листья на груше, и среди полной тишины раздавались только слова молитвы.

Перед самым концом молитвы Дануся еще раз открыла глаза, как бы желая в последний раз взглянуть на Збышко и на залитый солнцем мир, а потом уснула вечным сном.

Женщины закрыли ей глаза, а потом пошли на луг за цветами. Слуги отправились следом за ними, и так ходили они, озаренные солнцем, среди густой травы, похожие на полевых духов, то и дело нагибаясь и плача, ибо в сердцах у них было горе и жалость. Збышко стоял на коленях в тени, возле носилок, положил голову на колени Дануси, не двигаясь и не произнося ни слова, сам точно мертвый, а они окружили то ближе, то дальше, срывая золотой курослеп и колокольчики и белую, пахнущую медом кашку. В сырых ложбинах нашли они даже полевые лилии, а на меже – можжевельник. Наконец, когда руки их были уже полны, они грустным хороводом окружили носилки и стали их украшать. Они почти совсем покрыли цветами и травами прах умершей, не закрывая только лица, которое среди колокольчиков и лилий белело тихое, успокоенное непробудным сном, ясное, как у ангела.

До Спыхова не было даже и мили; поэтому через несколько времени, когда скорбь и горе их нашли облегчение в слезах, они подняли носилки и направились к лесу, с которого начиналась уже земля Юранда.

Слуги сзади вели лошадей. Сам Збышко нес носилки у изголовья, а женщины, отягощенные свисающими гирляндами трав и цветов, пели, идя впереди, священные песни; и так медленно шли и шли они между зеленым лугом и ровным черным полем, стоявшим под паром.

На синем небе не было ни облачка, и вся окрестность грелась в золотом солнечном блеске.

VI

Наконец пришли они с телом девушки в спыховские леса, на границе которых день и ночь стояли на страже вооруженные люди Юранда. Один из них побегал с извещением к старому Толиме и к ксендзу Калебу, другие повели процессию сначала по извилистой и еле заметной лесной дороге, потом по более широкой, до того места, где лес кончался и начинались сырые луга и вязкие, полные болотных птиц, топи, за которыми, на сухой возвышенности, лежала спыховская крепостца. Они сразу поняли, что скорбная весть достигла уже Спыхова, потому что едва вышли они из лесного сумрака на освещенную равнину, как до слуха их донесся звук колоколов спыховской часовни. Вскоре увидели они идущую навстречу толпу народа, в которой были мужчины и женщины. Когда толпа эта приблизилась на расстояние двух или трех выстрелов из лука, можно было уже различить лица. Впереди шел сам Юранд, поддерживаемый Толимой и ошупывающий дорогу посохом. Его легко было узнать по громадному росту, по красным ямам на месте глаз и по белым, падающим до самых плеч, волосам. Рядом с ним, с крестом и в белом стихаре, шел ксендз Калев. За ними несли знамя Юранда, возле которого шли вооруженные спыховские воины, а за ними замужние женщины с платками на головах и простоволосые девушки. За толпой ехала телега, на которую должны были положить тело.

Збышко, увидев Юранда, велел поставить носилки на землю, затем, подойдя к старику, стал восклицать голосом горя и отчаяния:

– Я искал ее, пока не нашел, но она предпочла быть у Бога, а не в Спыхове.

И горе сломило его окончательно, и, упав на грудь Юранда, он обнял его за шею и

стал стонать:

– О, Господи, Господи, Господи...

При виде этого вскипели сердца вооруженной спыховской челяди, и воины стали ударять копьями о щиты, не зная, как иначе выразить свое горе и жажду мщения. Женщины подняли вой и, голоса одна другой громче, стали подносить передники к глазам, а то и совсем покрывали ими головы, громко крича: "Ой, горе, горе! Тебе радость, а нам слезы. Смерть скосила тебя, ой, ой..." А некоторые, закидывая назад головы и закрывая глаза, кричали: "Разве плохо было тебе, цветочек, здесь, с нами? Плохо? Отец остался в великом горе, а ты уже ходишь в божьих хоромах... Ой, ой!" Третьи, наконец, упрекали умершую в том, что она не пожалела отцовского и мужнина сиротства и слез их. И эти вопли были почти что пением, ибо не умел тот народ иначе выразить свое горе.

Юранд, высвободясь из объятий Збышки, протянул перед собой посох в знак того, что хочет идти к Данусю. Тогда Толима и Збышко взяли его под руки и подвели к носилкам, а он опустился на колени перед телом, провел рукой по лицу покойницы, потом еще раз, уже до сложенных крестом рук, и несколько раз наклонил голову, точно хотел сказать, что это она, его Данусю, а не кто иной, и что он узнает своего ребенка. Потом он обнял ее одной рукой, а другую, с отрубленной кистью, поднял вверх. Присутствующие поняли и эту немую жалобу, обращенную к Богу, более красноречивую, чем все слова скорби. Збышко, лицо которого после минутного волнения снова окаменело, стоял на коленях с другой стороны, молча, похожий на каменное изваяние, а вокруг стало так тихо, что слышен был треск кузнечиков и жужжание каждой пролетающей мухи. Наконец ксендз Калев окропил святой водой Данусю, Збышку, Юранда и запел "Requiem aeternam" [37]. Окончив песнь, он долго молился вслух, и людям казалось, будто они слышат голос пророка, который молит Господа, чтобы мука невинного ребенка была той каплей, которая переполняет чашу несправедливости, и чтобы настал день суда, кары, гнева и ужаса.

Потом тронулись к Спыхову; но Данусю не положили на телегу, а несли ее впереди, на украшенных зеленью носилках. Колокол, казалось, не переставая, взывал к ним и звал к себе, а они с пением шли по широкой равнине золотой вечерней зарей, точно умершая девушка в самом деле вела их к вечному свету и сиянию. Был уже вечер, и стада возвращались с полей, когда они достигли Спыхова. Часовня, в которой положили тело, озарена была факелами и зажженными свечами. По приказанию ксендза Калеба семь девушек до самого рассвета по очереди читали молитвы над телом. И до рассвета же Збышко не отходил от Дануси и сам во время ранней обедни положил ее в гроб, который проворные плотники в одну ночь вытесали из дубового ствола, вставив в крышку над головой оконце из золотого янтаря.

Юранда при этом не было, ибо странные вещи происходили с ним. Едва вернувшись домой, лишился он ног, а когда его положили на ложе, потерял способность двигаться, а также сознание того, где он и что с ним происходит. Тщетно ксендз Калев обращался к нему со словами, тщетно спрашивал, что с ним; Юранд не слышал, не понимал и только, лежа на спине, с лицом просветленным и счастливым, поднимал веки пустых глаз и улыбался, а иногда шевелил губами, точно говорил с кем-то. Ксендз и Толима понимали что он говорит со спасенной дочерью и ей улыбается. Понимали они и то, что он уже умирает и духовным взором видит вечное свое счастье, но в этом они ошиблись, потому что он, бесчувственный и глухой ко всему, улыбался так несколько недель. Збышко, уехавший наконец с выкупом за Мацько, оставил его еще в живых.

VII

После похорон Дануси Збышко не болел, но жил как бы в оцепенении. Сначала, в первые дни, ему не было так худо: он ходил, разговаривал об умершей жене, навещал Юранда и сидел возле него. Он рассказал ксендзу о пленении Мацьки, и они решили отправить в Пруссию и в Мальборг Толиму, чтобы тот разузнал, где находится Мацько, и выкупил его, заплатив вместе с тем и за Збышку столько гривен, сколько было условлено с Арнольдом фон Баденом и его братом. В спыховских подземельях не было недостатка в серебре, которое Юранд в свое время частью нажил, частью добыл на войне, и ксендз полагал, что меченосцы, как только получают деньги, легко отпустят старого рыцаря и не потребуют, чтобы молодой являлся отдельно.

– Поезжай в Плоцк, – сказал Толиме на прощанье ксендз, – и возьми от тамошнего князя пропуск. Иначе первый попавшийся комтур оберет тебя, а самого посадит в тюрьму.

– Ну, их-то я знаю, – ответил старик Толима. – Они умеют обирать даже тех, которые приезжают с княжескими грамотами.

И он уехал. Но вскоре ксендз Калев пожалел, что не отправил самого Збышку. Правда, он предполагал, что в первые минуты горя юноша не сумеет один как следует справиться с делом или, быть может, вскипит злобой против меченосцев и подвергнет себя опасности. Знал ксендз и то, что трудно будет Збышке сейчас же уехать от дорогой могилы, с живым еще чувством горя, после недавней утраты и тотчас же после такого страшного и горестного путешествия, которое совершил он откуда-то из-под Готтесвердера до Спыхова. Но потом он стал сожалеть, что принял все это в расчет, потому что Збышке день ото дня становилось хуже. До самой смерти Дануси жил он в страшном напряжении, когда все силы его были приподняты: ездил чуть не на край света, сражался, отбивал жену, пробирался через дикие леса – и вдруг все это кончилось, точно кто мечом отсек, и осталось только сознание, что все это было ни к чему, что все труды были напрасны, и что хоть они миновали, но вместе с ними миновала часть жизни, исчезла надежда, счастье, погибла любовь, и не осталось ничего. Каждый живет завтрашним днем, каждый что-то затевает, что-то лелеет в будущем, а для Збышки завтрашний день стал безразличен, что же касается прошлого, то у него было такое же чувство, как у Ягенки, когда, уезжая из Спыхова, она говорила: "Счастье мое позади, а не впереди". Но сверх того в душе Збышки это чувство тоски, пустоты и несчастья выросло на почве страшных мучений и все обострявшегося сожаления о Данусе. Это сожаление наполняло его всего, господствовало в нем и в то же время все крепло, так что в конце концов в сердце Збышко не оставалось уже места ни для чего иного. Об этой тоске он только и думал, и лелеял ее в себе, и жил только ею одной, бесчувственный ко всему остальному, замкнувшийся в самом себе, все время как будто в полусне, не сознающий того, что происходит вокруг. Все его самообладание, его былая живость и деятельность превратились в безразличие. В его взгляде и движениях была теперь какая-то стариковская тяжесть. Целыми днями и ночами просиживал он или в подземелье, у гроба Дануси, или на скамье возле дома, греясь в полуденные часы под лучами солнца. Иногда он забывался настолько, что не отвечал на вопросы. Ксендз Калев, любивший его, стал побаиваться, как бы эта мука не проела его, как ржавчина проедает железо, и с грустью думал, что, пожалуй, лучше бы было отправить Збышку хотя бы к меченосцам с выкупом. "Надо, – говорил он местному дьячку, с которым, за отсутствием кого-либо другого, беседовал о своих заботах, – надо, чтобы какая-нибудь случайность встряхнула его, как ветер дерево, потому что иначе он, того и гляди, совсем высохнет". И дьячок поспешно соглашался с ним, говоря для сравнения, что, когда человек

подавится костью, лучше всего бывает дать ему хорошенько по шее.

Однако никакая случайность не появлялась, но зато через несколько недель неожиданно приехал рыцарь де Лорш. Вид его потряс Збышку, потому что припомнил поход на Жмудь и освобождение Дануси. Сам де Лорш нисколько не боялся бередить эти болезненные воспоминания. Напротив, узнав о несчастье Збышко, он вместе с ним пошел помолиться у гроба Дануси, непрестанно о ней говорил, а потом, будучи и менестрелем, сложил о ней песню, которую пел под аккомпанемент лютни ночью, у решетки подземелья, так трогательно и уныло, что Збышко, не понимавший слов, от одного напева разрыдался и плакал до самого рассвета.

Потом, сломленный этими слезами, горем и утомлением, он погрузился в долгий сон, а когда проснулся, видно, горе значительно утекло со слезами, потому что он стал живее, чем в предыдущие дни, и смотрел веселее на окружающее. Он очень обрадовался рыцарю де Лоршу и стал благодарить его за приезд, а потом расспрашивать, откуда тот узнал о его несчастье.

Де Лорш при помощи ксендза Калеба, служившего переводчиком, отвечал ему, что о смерти Дануси узнал только в Любаве, от старого Толимы, которого видел в числе пленников у тамошнего комтура, но что он и без того ехал в Спыхов, чтобы отдаться в плен Збышке.

Известие о том, что Толима взят в плен, произвело большое впечатление и на Збышку, и на ксендза. Они поняли, что выкуп пропал, потому что на свете не было ничего труднее, чем вырвать из глотки меченосца однажды попавшие к нему деньги. Поэтому надо было ехать со вторым выкупом.

– Горе! – воскликнул Збышко. – Значит, бедный дядя ждет там и думает, что я забыл о нем. Надо теперь во весь дух спешить к нему.

И он обратился к де Лоршу:

– Ты знаешь, что случилось? Знаешь, что он в руках меченосцев?

– Знаю, – отвечал де Лорш, – потому что я видел его в Мальборге и потому сам приехал сюда.

Между тем ксендз Калеб стал жаловаться.

– Плохо мы поступили, – сказал он, – да никому в голову не пришло... Кроме того, я больше надеялся на ум Толимы. Зачем же он не поехал в Плоцк и без всякой грамоты отправился к этим разбойникам?...

В ответ на эти слова рыцарь де Лорш пожал плечами:

– Что им эти грамоты? Разве сам князь плоцкий, как и ваш здешний, мало от них терпит обид? У границы вечные битвы и набеги, да и ваши спуску не дают. А каждый не то что комтур – каждый войт делает, что хочет, что же касается жадности, так они словно перещеголять хотят друг друга...

– Тем более Толима должен был ехать в Плоцк.

– Он так и хотел поступить, но его ночью на границе схватили на ночлеге. Они бы и убили его, если бы он не сказал, что везет деньги в Любаву ком-туру. Тем он и

спасся, но теперь комтур представит свидетелей, что он сам говорил это.

– А что же с дядей Мацькой? Как он? Здоров? Не собираются там его убить? – спрашивал Збышко.

– Здоров, – отвечал де Лорш. – Там злы на "короля" Витольда и на тех, кто помогает жмудинам, очень. И наверное, они убили бы старого рыцаря, если бы не то, что им жаль выкупа. По той же причине братья фон Бадены защищают его, а кроме того, капитул озабочен моей участью: если они мной пожертвуют, против них возмутятся рыцари и во Фландрии, и в Гельдерне, и в Бургундии... Ведь вы знаете, что я родственник графа Гельдернского?

– А почему же дело идет о твоей жизни? – с удивлением перебил Збышко.

– Да ведь я же взят тобой в плен. Я сказал в Мальборге так: "Если вы убьете старого рыцаря из Богданца, то молодой убьет меня..."

– Не убью! Ей-богу!

– Знаю, что не убьешь, но они этого боятся, и потому Мацько у них в безопасности. Они говорили мне, что и ты в плену, потому что братья фон Бадены отпустили тебя только на честное слово рыцаря, а потому ты не обязан являться. Но я ответил им, что, когда ты брал меня в плен, ты был свободен. И вот – я твой. А пока я в твоих руках, они ничего не сделают ни тебе, ни Мацьке. Ты выкуп фон Баденам отдай, но за меня требуй вдвое, даже втрое больше. Они должны заплатить. Я не потому так говорю, что думаю, будто я больше вас стою, но чтобы наказать их жадность, которая мне отвратительна. Когда-то у меня о них было совсем иное представление, но теперь опротивели мне и они, и пребывание у них. Пойду в Святую землю, искать приключений там, потому что им служить больше не хочу.

– Или останьтесь у нас, рыцарь, – сказал ксендз Калев. – Да, я думаю, что так и будет, потому что мне кажется – они за вас выкупа не дадут.

– Если они не заплатят, я сам заплачу, – отвечал де Лорш. – Я приехал сюда с большой свитой, и телеги у меня полны, а того, что на них – хватит...

Ксендз Калев перевел Збышке эти слова, к которым Мацько, наверное, не остался бы бесчувственным, но Збышко, как человек молодой и мало думающий о богатстве, ответил:

– Честью клянусь – не будет так, как ты говоришь. Ты был мне брат и друг, и никакого выкупа я от тебя не возьму.

И они обнялись, чувствуя, что между ними создалась новая связь. Но де Лорш усмехнулся и сказал:

– Хорошо. Пусть только немцы об этом не знают, иначе они станут запугивать вас судьбой Маиьки. И видите ли, они должны заплатить, потому что будут бояться, что в противном случае я разглашу по всем дворам и между рыцарями, что они охотно приглашают рыцарей в гости, но что, когда кто-нибудь из гостей попадает в плен, о нем забывают. А ордену гости теперь очень нужны, потому что он боится Витольда, а еще больше поляков и их короля.

– В таком случае, пусть будет так, – сказал Збышко, – ты останешься здесь или где хочешь в Мазовии, а я поеду в Мальборг за дядей и буду прикидываться, что страшно тебя ненавижу.

– Клянусь святым Георгием! Сделай так, – отвечал де Лорш. – Но сперва выслушай, что я тебе скажу. В Мальборге говорят, что в Плоцк должен приехать польский король и встретиться с великим магистром в самом Плойке или где-нибудь на границе. Меченосцы этого очень хотят, потому что хотят понять, будет ли король помотать Витольду, если тот открыто объявит им войну из-за Жмуди. О, они хитры, как змеи, но этот Витольд еще хитрее. Орден его тоже боится, потому что никогда неизвестно, что он затевает и что сделает. "Отдал нам Жмудь, – говорят в ордене, – но из-за нее всегда словно меч держит над нашими головами. Слово скажет – и восстание готово". Так и есть. Надо мне когда-нибудь собраться к его двору. Быть может, случится подраться там на арене, а кроме того, я слышал, что и женщины тамошние бывают порой прекрасны, как ангелы.

– Вы, рыцарь, говорили о приезде польского короля в Плоцк? – перебил его ксендз Калев.

– Да. Пусть Збышко присоединится к королевскому двору. Вы знаете, что когда нужно – никто не умеет быть смиреннее меченосцев. Пусть Збышко присоединится к свите короля и домогается своего, пусть как можно громче кричит о беззаконии. Его по-другому будут слушать в присутствии короля и краковских рыцарей, которые славятся по всему миру и суждения которых распространяются среди рыцарства.

– Умный совет, клянусь Богом! – воскликнул ксендз.

– Да, – подтвердил де Лорш, – а возможность есть. Я слышал в Мальборге, что будут пиршества, будут турниры, что заграничные гости во что бы то ни стало хотят сразиться с королевскими рыцарями. Боже мой, ведь даже рыцарь Хуан из Арагонии должен приехать, величайший из христианских рыцарей. А вы не знали? Ведь он, говорят, из Арагонии прислал перчатку вашему Завише, чтобы не говорили при дворах, что есть в мире другой, равный ему.

Однако приезд рыцаря де Лорша, и его вид, и весь разговор так пробудили Збышку от его болезненной тоски, в которую он до этого был погружен, что он с любопытством слушал привезенные вести. О Хуане из Арагонии он знал, потому что в те времена каждый рыцарь обязан был знать имена славнейших воинов, а слава арагонских рыцарей, в особенности же этого Хуана, обежала весь мир. Ни один рыцарь никогда не устоял против него на арене, а мавры, как воробьи, разлетались при одном только виде его лат, и всюду господствовало убеждение, что он – первый рыцарь во всем христианстве.

И при вести о нем откликнулась в Збышке боевая рыцарская душа, и он с большим любопытством стал расспрашивать:

– Так он вызвал Завишу Черного?

– Говорят, уж год прошел, как прибыла перчатка и как Завиша послал свою.

– Так значит – Хуан из Арагонии наверное приедет.

– Наверное ли – неизвестно, но говорят. Меченосцы давно послали ему приглашение.

– Дай бог увидеть такие вещи.

– Дай бог, – сказал де Лорш. – И если даже Завиша будет побежден, что легко может случиться, великая слава для него, что его вызвал сам Хуан из Арагонии... Даже для всего народа вашего слава.

– Вот посмотрим, – сказал Збышко. – Я говорю только: дай бог увидеть.

– Согласен.

Однако желанию их не суждено было на сей раз исполниться, так как старинные хроники говорят, что поединок Завиши со знаменитым Хуаном Арагонским произошел только несколько лет спустя в Перпиньяне, где в присутствии императора Сигизмунда, папы Бенедикта XIII, короля Арагонского и множества князей и кардиналов Завиша Черный первым ударом копья повалил с коня своего противника и одержал над ним славную победу. Но пока что и Збышко, и де Лорш радовались, думая, что если бы даже Хуан из Арагонии не мог явиться теперь, то и без того увидят они славные рыцарские подвиги, потому что в Польше не было недостатка в борцах, мало чем уступающих Завише, а среди гостей, приезжающих к меченосцам, всегда можно было найти лучших французских, английских, бургундских и итальянских рыцарей, всегда готовых к бою.

– Слушай, – сказал Збышко де Лоршу, – скучаю я по дяде, и хочется мне поскорее его выкупить. Поэтому завтра же перед рассветом я отправлюсь в Плоцк. Но зачем тебе здесь оставаться? Сделаем вид, что ты у меня в плену: поезжай со мной – и увидишь короля и двор.

– Об этом-то я и хотел просить тебя, – отвечал де Лорш, – потому что давно хотел видеть ваших рыцарей, а кроме того, слыхал, что дамы королевского двора более подобны ангелам, нежели обительницам юдоли земной.

– Ты только что сказал это о дворе Витольда, – заметил Збышко.

VIII

Збышко в душе укорял себя за то, что в горе своем позабыл о дяде, а так как он и без того привык быстро приводить в исполнение свои намерения, то на другой же день они с рыцарем де Лоршем отправились в Плоцк. Дороги, лежащие близ границы, даже во времена полнейшего мира не бывали спокойны вследствие разбойников, многочисленные шайки которых поддерживали и оберегали меченосцев, в чем резко обвинял их король Ягелло. Несмотря на жалобы, доходившие до самого Рима, несмотря на угрозы и суровые расправы, соседние комтуры позволяли кнехтам присоединяться к разбойникам; правда, комтуры отрекались от тех, которые имели несчастье попасть в польские руки, но тем, которые возвращались с добычей и пленниками, они давали убежище не только в принадлежащих ордену деревнях, но и в замках.

В эти разбойничьи руки часто попадали путники и пограничные жители, а в особенности дети богатых людей, которых похищали ради получения выкупа. Но два молодых рыцаря, с большими свитами, состоящими, кроме возниц, из нескольких десятков пеших и конных слуг, не боялись нападений и без приключений добрались до Плоцка, где тотчас по приезде ждала их приятная неожиданность.

На постоялом дворе нашли они Толиму, прибывшего за день до них. Случилось так, что староста меченосцев из Любавы, услышав, что посланный в тот момент, когда на

него напали недалеко от Бродницы, успел припрятать часть выкупа, отослал его в этот замок, поручив комтуру выудить у старика признание, где спрятаны деньги. Толима воспользовался случаем и бежал; когда же рыцари стали удивляться, что это ему удалось так легко, он объяснил им все таким образом:

– Все из-за ихней жадности. Бродницкий комтур не захотел приставить ко мне большой стражи, потому что не хотел, чтобы кругом стало известно о деньгах. Может быть, они сговорились с любавским старостой поделиться, и боялись, что в случае распространения слухов придется большую часть отослать в Мальборг, а то и все отдать этим фон Баденам. И вот он приставил ко мне только двоих людей: одного благонадежного кнехта, который должен был вместе со мной плыть по Дрвенце, и какого-то писаря.. А так как им нужно было, чтобы никто нас не видел, то было это под вечер. А граница, как вы сами знаете, находится поблизости. Дали мне дубовое весло... ну – и слава богу: вот я и в Плойке.

– Понимаю. А те не вернулись! – воскликнул Збышко.

В ответ на эти слова хмурое лицо Толима озарилось улыбкой.

– Ведь Дрвенца впадает в Вислу, – сказал он. – Как же им было вернуться против течения? Разве только в Торуни найдут их меченосцы.

И, помолчав, он обернулся к Збышке, прибавив:

– Часть денег любавский комтур у меня отнял, но спрятанные при нападении я отыскал и теперь отдал их, господин, вашему оруженосцу спрятать, потому что он живет в замке у князя, и там им безопаснее, чем у меня на постоялом дворе.

– Так мой оруженосец здесь, в Плоцке? А что он здесь делает? – с удивлением спросил Збышко.

– Привезя Зигфрида, он уехал с той панной, которая была в Спыхове, а теперь состоит при здешней княгине. Так он вчера говорил.

Но Збышко, который, будучи подавлен смертью Дануси, ни о чем в Спыхове не спрашивал и ничего не знал, только теперь припомнил, что чех был отправлен вперед с Зигфридом, и при этом воспоминании сердце его сжалось от горя и жажды мести.

– Правда, – сказал он. – А где же этот мучитель? Что с ним случилось?

– Разве ксендз Калев не говорил вам? Зигфрид повесился, и вы, господин, проезжали мимо его могилы.

Наступило молчание.

– Оруженосец говорил, – сказал наконец Толима, – что собирается к вам и что сделал бы это уже давно, но должен был оберегать панну, которая здесь по возвращении из Спыхова хворала.

И словно от сна, пробудившись от горестных воспоминаний, Збышко снова спросил:

– Какую панну?

– Да вот эту самую, – отвечал старик, – сестру вашу или родственницу, которая приезжала с рыцарем Мацькой в Спыхов, одетая мальчиком, и по дороге нашла нашего пана, идущего ощупью. Если бы не она, не узнали бы нашего пана ни рыцарь Мацько, ни ваш оруженосец. А наш пан потом очень любил ее, потому что она за ним ухаживала, как дочь, и потому, что кроме ксендза Калеба, она одна могла понимать его.

Тогда молодой рыцарь широко раскрыл глаза от удивления:

– Ксендз Калев не говорил мне ни о какой панне, и никакой родственницы у меня нет...

– Не говорил потому, что вы, господин, все забыли от горя и ни о чем не хотели знать.

– А как же зовут эту панну?

– Зовут ее Ягенка.

Збышко показалось, что он видит сон. Мысль о том, что Ягенка из далеких Згожелиц могла приехать в Спыхов, не умещалась в его голове. И зачем? Почему? Правда, для него не было тайной, что девушка любила его и льнула к нему в Згожелицах, но ведь он же сказал ей, что женат... Поэтому он никак не мог допустить, чтобы старик Мацько взял ее в Спыхов с той целью, чтобы выдать ее за него. Впрочем, ни Мацько, ни чех не сказали ему о ней ни слова... Все это показалось ему чрезвычайно странным и совершенно непонятным, и он снова стал забрасывать Толиму вопросами, как человек, не верящий собственным ушам и желающий, чтобы ему еще раз повторили невероятное известие.

Однако Толима не мог сказать ему ничего, кроме уже сказанного; зато он отправился в замок искать оруженосца и вскоре, еще до захода солнца, вернулся с ним. Чех приветствовал молодого пана с радостью, но и с грустью, потому что уже знал обо всем, что произошло в Спыхове. Збышко тоже был рад ему от всего сердца, чувствуя, что это человек дружественный и верный, один из тех людей, какие особенно дороги в несчастье. И вот Збышко растрогался и взволновался, рассказывая ему о смерти Дануси; он поделился с оруженосцем своим горем, скорбью, слезами, точно брат с братом. Все это продолжалось долго, особенно потому, что под конец рыцарь де Лорш повторил им ту грустную песню, которую сложил об умершей; де Лорш пел ее, играя на цитре, возле открытого окна, поднимая глаза и лицо к звездам.

Наконец, когда им стало уже значительно легче, стали они говорить о делах, которые ждали их в Плоцке.

– Я заехал сюда по дороге в Мальборг, – сказал Збышко, – ведь ты знаешь, что дядя Мацько в плену? Вот я и еду с выкупом за него.

– Знаю, – отвечал чех. – Вы хорошо сделали, господин. Я хотел сам ехать в Спыхов, чтобы посоветовать вам заглянуть в Плоцк; король в Ратенжке ведет переговоры с великим магистром, а при короле легче добиться своего, потому что при нем меченосцы не так заносчивы и притворяются добрыми христианами.

– А Толима говорил, что ты хотел ехать ко мне, но тебя удержало нездоровье Ягенки. Я слышал, что дядя Мацько привез ее в эти места и что она была даже в

Спыхове... Я очень был удивлен. Но скажи, по каким таким причинам дядя Мацько взял ее из Згожелиц?

– Причин было много. Рыцарь Мацько боялся, что если он оставит ее без всякого присмотра, то рыцари Чтан и Вильк станут нападать на Згожелицы, причем могла выйти обида и младшим детям. А без нее безопаснее, потому что сами знаете, как водится в Польше: иной раз шляхтич, коли нельзя иначе, берет девушку силой, а уж на малых детей никто руки не подымет, потому что за это карает и меч палача, и позор, который еще того хуже. Однако была и другая причина: аббат умер и сделал панну наследницей всех своих имений; опекуном же назначен здешний епископ. Потому-то рыцарь Мацько и привез панну в Плоцк.

– Но ведь он и в Спыхов ее брал?

– Брал, на время отъезда епископа и княжеского двора, потому что не с кем было ее оставить. И счастье, что взял. Если бы не панна, проехали бы мы со старым паном мимо рыцаря Юранда, как мимо неведомого нищего. Только после того, как она над ним сжалась, мы узнали, кто этот нищий. Все это Господь Бог сделал благодаря милосердному ее сердцу.

И чех стал рассказывать, как потом Юранд не мог без нее обходиться, как любил ее и благословлял, а Збышко, хоть и знал уже это от Толимы, слушал его рассказ с волнением и с благодарностью к Ягенке.

– Пошли ей Господь здоровья, – сказал он наконец. – Мне только странно, что вы ничего мне о ней не говорили.

Чех немного смутился и, желая выиграть время, чтобы обдумать ответ, спросил:

– Где господин?

– Да там, на Жмуди, у Скирвойллы.

– Мы не говорили? Как? Мне кажется, что мы говорили, да у вас не тем была голова занята.

– Вы говорили, что Юранд вернулся, а о Ягенке ничего.

– Э, да неужели вы забыли? А впрочем – бог знает. Может быть, рыцарь Мацько думал, что я сказал, а я – что он. Не к чему было, господин, и говорить-то вам что бы то ни было. Оно и неудивительно. А теперь я другое скажу: счастье, что паненка здесь, потому что она и рыцарю Мацьку пригодится.

– Что же она может сделать?

– Пусть она только слово скажет здешней княгине, которая страх как любит ее. А ведь меченосцы княгине ни в чем не отказывают, во-первых, потому, что она родственница короля, а во-вторых, потому, что она друг ордена. Теперь, как вы, может быть, слышали, князь Скиргелл (тоже родной брат короля) восстал против князя Витольда и бежал к меченосцам, которые хотят помочь ему и посадить на престол Витольда. Король очень любит княгиню и охотно, говорят, ее слушает, поэтому меченосцы хотят, чтобы она склонила короля на сторону Скиргелла, против Витольда. Понимают проклятые, что стоит им только избавиться от Витольда – и все будет для них хорошо. Поэтому послы меченосцев с утра до вечера кладут поклоны

перед княгиней и стараются угадать каждое ее желание.

– Ягенка очень любит дядю Мацьку и наверное за него похлопочет, – сказал Збышко.

– Конечно, иначе и быть не может. Но пойдите, господин, в замок и скажите ей, как и что надо говорить.

– Мы с рыцарем де Лоршем и так собирались идти в замок, – отвечал Збышко. – За этим я сюда и приехал. Надо нам только завить волосы и хорошенько одеться.

И помолчав, он прибавил:

– Хотел я с горя остричь волосы, да раздумал.

– Оно и лучше, – сказал чех.

И он пошел звать слуг, а вернувшись с ними, пока два рыцари переодевались к вечернему пиру в замке, снова начал рассказ о том, что происходит при королевском и княжеском дворах.

– Меченосцы, – говорил он, – как могут, подкапываются под князя Витольда, потому, что пока он жив и владеет под покровительством короля обширной страной, им нельзя быть спокойными. По-настоящему они его одного только и боятся. Ох, подкапываются они под него, подкапываются, как кроты. Они уже восстановили против него здешнего князя и княгиню, а говорят, будто и того добились, что даже князь Януш им недоволен из-за Визны.

– А князь Януш и княгиня Анна тоже тут? – спросил Збышко. – Много знакомых найдется, потому что ведь я и в Плоцке не первый раз.

– Еще бы, – отвечал оруженосец, – и князь, и княгиня здесь. Немало у них дел с меченосцами, которые хотят жаловаться магистру на свои обиды в присутствии короля.

– А что король? Он на чьей стороне? Разве он не сердит на меченосцев и не грозит им мечом?

– Король меченосцев не любит, и говорят, что он давно уже угрожает им войной... Что же касается князя Витольда, то король любит его еще больше, чем родного своего брата, Скиргелла: тот буян и пьяница... И потому состоящие при короле рыцари говорят, что король против Витольда не пойдет и не обещает меченосцам не помогать ему. И это возможно, потому что уже несколько дней здешняя княгиня, Александра, очень ласкова с королем и ходит какая-то озабоченная...

– Завита Черный здесь?

– Его нет, но и на тех, которые здесь, наглядеться нельзя. Так что, если дело до чего-нибудь дойдет – эх, боже ты мой, полетят с меченосцев перышки!..

– Я их жалеть не стану.

Немного спустя, одевшись в лучшие одежды, все отправились в замок. Ужин должен был в этот вечер происходить не у самого короля, а у городского старосты Андрея из Ясенца; обширная усадьба его лежала внутри городских стен, у Большой башни.

По случаю прекрасной, даже слишком теплой ночи староста, боясь, как бы гостям в комнатах не было душно, велел поставить столы на дворе, где среди каменных плит росли рябины и тисы. Горящие смоляные бочки освещали их ярким желтым светом, но еще ярче освещал месяц, горевший на безоблачном небе, среди роя звезд, точно серебряный щит рыцаря. Коронованные гости еще не прибыли, но множество местных рыцарей, духовенства и придворных, как королевских, так и княжеских, находилось уже там. Збышко знал многих из них, особенно из состоящих при дворе князя Януша; из старых своих краковских знакомых увидел он Кшона из Козьих Голов, Лиса из Тарговиска, Мартина из Вроцимовиц, Домарата из Кобылян, Сташку из Харбимовиц и, наконец, и Повалу из Тачева; видя его, Збышко особенно обрадовался, потому что помнил, сколько благожелательности выказал по отношению к нему в былые времена этот славный рыцарь из Кракова.

Однако он не мог сразу подойти ни к одному из них, потому что местные мазовецкие рыцари окружали каждого из них тесным кольцом, расспрашивая о Кракове, о дворе, о забавах, о разных военных делах и в то же время рассматривая их богатые одежды, то, как у них были завиты волосы, прекрасные локоны которых для крепости были склеены белком. Краковские рыцари должны были служить для всех образцом светскости и умения себя держать.

Однако Повала из Тачева узнал Збышку и, отстранив Мазуров, приблизился к нему.

– Узнал я тебя, молодой человек, – сказал он, пожимая руку Збышки. – Ну, как поживаешь и каким образом здесь очутился? Боже ты мой! Я вижу – уж у тебя пояс и шпоры! Другие до седых волос этого ждут, а ты, видно, хорошо служишь святому Георгию.

– Пошли вам Господь, благородный рыцарь, – отвечал Збышко. – Если бы мне удалось свалить с коня самого сильного немца, я бы не так был рад, как теперь, когда вижу вас в добром здравье.

– Я тоже рад! А родитель твой где?

– Не родитель, а дядя. Он в плену у меченосцев, и я еду его выкупать.

– Ну а девушка, которая накинула на тебя покрывало?

Збышко не ответил ничего, только поднял к небу глаза, мгновенно наполнившиеся слезами; видя это, рыцарь из Тачева сказал:

– Юдоль слез!.. Да!.. Но пойдём-ка на скамью под рябину, расскажи мне свои грустные приключения.

И они пошли в угол двора. Там Збышко, сев рядом с Повалой, стал ему рассказывать о несчастье, постигшем Юранда, о похищении Дануси, о том, как ее искал, и о том, как она умерла, после того как была отнята у меченосцев. Повала слушал внимательно, и поочередно то изумление, то гнев, то ужас, то жалость отражались на его лице. Наконец, когда Збышко кончил, он сказал:

– Я расскажу это королю, нашему господину. Он и так собирается говорить с магистром о маленьком Яське из Креткова и домогаться строгого наказания тех, кто его похитил. А похитили его потому, что он богат, и они хотят получить выкуп. Им нипочем и на ребенка руку поднять.

Тут он немного подумал и продолжал, как бы разговаривая сам с собой:

– Ненасытное племя, хуже татар и турок. В душе они боятся и короля, и нас, но от грабежей и убийств удержаться не могут. Нападают на деревни, режут крестьян, топят рыбаков, воруют детей, точно волки. Что бы было, если бы они не боялись... Магистр посылает к иностранным дворам жалобы на короля, а в глаза ему льстит, потому что лучше, чем другие, знает нашу силу. Но, в конце концов, чаша переполнится...

И он снова на время затих, а потом положил руку на плечо Збышке.

– Я скажу королю, – повторил он, – а в нем давно уже кипит гнев, как кипяток в горшке, и будь уверен, что страшная кара не минет виновников твоего горя.

– Из них, господин, никого уже нет в живых, – отвечал Збышко.

Повала взглянул на него с дружеской благожелательностью:

– Ну пошли тебе Господь. Ты, видно, спуску не даешь. Одному только Лихтенштейну ты еще не отплатил, потому что, я знаю, еще не мог. Мы тоже поклялись в Кракове с ним расправиться, но для этого нужна война, которая, даст бог, скоро будет; он без разрешения магистра драться не может, а магистру его ум нужен. Благодаря этому уму его и посылают постоянно к разным дворам. Значит, магистр не легко даст ему разрешение.

– Сначала мне надо выкупить дядю.

– Верно!.. А кроме того, я спрашивал о Лихтенштейне. Здесь его нет, и в Ратенжке не будет, потому что он послан к английскому королю за лучниками. А о дяде не беспокойся. Если король или здешняя княгиня скажут хоть слово, магистр не позволит торговаться из-за выкупа.

– Тем более что у меня есть знатный пленник, рыцарь де Лорш, человек могущественный и у меченосцев известный. Он рад бы поклониться вам, господин, и познакомиться с вами, потому что никто так не чтит славных рыцарей, как он.

Сказав это, Збышко кивнул головой де Лоршу, стоявшему поблизости, и тот, уже расспросив, с кем говорит Збышко, быстро подошел к ним, потому что действительно весь загорелся желанием познакомиться с таким знаменитым рыцарем, как Повала.

Поэтому, когда Збышко знакомил их, вежливый фландриец поклонился как можно изысканнее и сказал:

– Рыцарь, для меня могла бы быть еще только одна честь, большая, нежели честь пожать вашу руку: это – сразиться с вами на состязании или в бою.

В ответ на эти слова могучий рыцарь из Тачева улыбнулся, потому что рядом с маленьким и тщедушным рыцарем де Лоршем он казался горой, и сказал:

– А я рад, что мы встретимся только при бокалах вина и, даст бог, никогда не будем встречаться иначе.

Де Лорш немного смутился, но потом как бы с некоторой робостью проговорил:

– Однако если бы вы, благородный рыцарь, стали утверждать, что панна Агнеса из Длуголяса не есть прекраснейшая и добродетельнейшая дама в мире, то... для меня было бы большой честью протестовать и...

Тут он замолк и стал смотреть в глаза Повале с уважением, пожалуй, даже с восторгом, но пристально и внимательно.

Но тот, потому ли, что знал, что может раздавить его между двумя пальцами, как орех, потому ли, что душа у него была добрая и веселая, – как бы то ни было, – громко рассмеялся и сказал:

– Э, в свое время и я дал обет верности княгине бургундской, только тогда она была на десять лет старше меня; поэтому если бы вы, рыцарь, стали утверждать, что моя княгиня не старше вашей панны Агнесы, то пришлось бы нам сей же час садиться на коней!..

Услышав это, де Лорш некоторое время с удивлением смотрел на рыцаря из Тачева, но потом лицо его задрожало, и он разразился простодушным смехом.

А Повала наклонился, обхватил его за бедра одной рукой, поднял с земли и начал раскачивать с такой легкостью, точно рыцарь де Лорш был грудным младенцем.

– Рах! Рах! – сказал он. – Так говорит епископ Кропило... Вы мне понравились, рыцарь, и клянусь Богом – мы не станем драться ни из-за каких дам!

Потом, обняв его, он поставил де Лорша на землю, потому что как раз в этот миг у входа во двор грянули трубы и вошел князь Земовит плоцкий с женой.

– Здешние князь с княгиней приходят раньше короля и князя Януша, – сказал Збышко Повала, – потому что хоть этот ужин дает староста, но все-таки в Плоцке они хозяева. Пойдем со мной к княгине, потому что ведь ты ее знаешь еще по Кракову, где она ходатайствовала за тебя перед королем.

И взяв Збышку за руку, Повала повел его по двору. За князем и княгиней шли придворные кавалеры и дамы; все по случаю присутствия короля очень богато и торжественно одетые; весь двор запестрел ими, как цветами. Збышко, подходя с Повалой, издали присматривался к лицам, не увидит ли среди них знакомых, и вдруг даже остановился от изумления.

Сейчас же позади княгини увидел он знакомую фигуру и знакомое лицо, но такое спокойное, прекрасное и благородное, что подумал, не обманывает ли его зрение.

– Неужели это Ягенка? Или, быть может, это дочь плоцкого князя?

Но это был Ягенка, дочь Зыха из Згожелиц; в тот миг, когда их глаза встретились, она улыбнулась ему, одновременно дружески и с жалостью, а потом слегка побледнела, и, закрыв глаза, стояла в золотой повязке на черных волосах, во всем блеске своей красоты, высокая и прекрасная, похожая не только на княжну, но и на настоящую дочь короля.

IX

Збышко преклонил колени перед плоцкой княгиней и предложил ей свои услуги, но она в первую минуту не узнала его, потому что давно не видала. Наконец, когда он сказал ей, как его зовут, она проговорила:

– В самом деле. А я думала, что это кто-нибудь из придворных короля. Збышко из Богданца. Как же! Гостил тут у нас ваш дядя, старый рыцарь из Богданца, и я помню, как у меня и у моих девушек градом катились слезы, когда он нам о вас рассказывал. Нашли вы вашу жену? Где она теперь?

– Умерла, милосердная госпожа...

– О, боже мой! Не говорите, а то я не удержусь от слез. Одно утешение, что, вероятно, она в раю, а вы еще молоды. Боже мой! Слабое существо каждая женщина! Но в небе за все есть награда, и там вы ее найдете. А старый рыцарь из Богданца здесь, с вами?

– Его нет, он в плену у меченосцев, и я еду его выкупать.

– Значит, и ему не посчастливилось. А он казался человеком умным и знающим всякие обычаи. Но когда вы его выкупите, приезжайте к нам. Мы охотно вас примем, потому что я искренне говорю, что ему ума, а вам приятности не занимать.

– Мы сделаем это, милосердная госпожа, тем более что я и теперь нарочно приехал сюда, чтобы просить вас замолвить словечко за дядю.

– Хорошо! Придите завтра перед отъездом на охоту, у меня будет время...

Дальнейшие ее слова снова прервали звуки труб и литавров, возвещавших прибытие князя и княгини мазовецких. Збышко с княгиней плочкой стоял у самого входа; княгиня Анна Данута заметила его тотчас и сразу подошла к нему, не обращая внимания на поклоны хозяина-старосты.

При виде ее сердце юноши снова облилось кровью; он стал перед ней на колени и, обняв ее ноги руками, молчал; она же нагнулась к нему и, взяв его голову руками, роняла слезу за слезой на его белокурую голову, как мать, плачущая над несчастьем сына.

И к великому удивлению придворных и гостей она плакала так долго, все время повторяя: "О, Господи, Господи, Иисусе милостивый..." – а потом подняла Збышку с колен и сказала:

– Я плачу по ней, по моей Данусе, и плачу над тобой... Бог сделал так, что ни к чему были твои труды и ни к чему теперь наши слезы! Но ты расскажи мне о ней и о ее смерти, потому что если я буду даже до полуночи слушать об этом, мне все будет мало.

И она отвела его в сторону, как перед тем отводил рыцарь из Тачева. Те из гостей, которые не знали Збышки, стали расспрашивать о его приключениях, и таким образом некоторое время все разговаривали только о нем, о Данусе и Юранде. Расспрашивали также послы меченосцев. Фридрих фон Венден, комтур торунский, высланный навстречу королю, и Иоганн фон Шенфельд, комтур из Остероды. Последний, немец, но родом из Силезии, хорошо говоривший по-польски, с легкостью разузнал, в чем дело и, выслушав ответ из уст Яська из Забежа, придворного князя Януша, сказал:

– Данфельд и де Леве были в подозрении у самого магистра, что они занимаются черной магией.

Но тут он спохватился, что рассказы о таких вещах могут бросить такую же тень на весь орден, какая некогда пала на тамплиеров, и поспешно прибавил:

– Так, по крайней мере, говорили сплетники, но это была неправда, потому что людей, занимающихся черной магией, между нами нет.

Стоявший поблизости рыцарь из Тачева вставил:

– Кому не по вкусу было крещение Литвы, тем и крест может быть противен.

– Мы носим крест на плащах, – с гордостью возразил Шенфельд.

– А надо его носить в сердцах, – отвечал Повала.

Между тем трубы заиграли еще громче, и вошел король, а вместе с ним архиепископ гнезненский, епископ краковский, епископ плоцкий, каштелян краковский и несколько прочих сановников и придворных, между которыми был и Зиндрам из Машковиц, и молодой князь Ямонт, приближенный государя. Король мало изменился с того времени, когда Збышко его видел. На щеках его был все тот же яркий румянец, по сторонам у него висели все так же длинные волосы, которые он поминутно закладывал за уши, глаза его все так же тревожно сверкали. Только казалось Збышке, что теперь в нем больше спокойствия и величия, точно он уже более уверенно чувствовал себя на этом троне, который после смерти королевы хотел было сначала покинуть, не зная, сможет ли на нем удержаться, и он как бы стал более уверен в своей громадной власти и силе. Оба мазовецких князя стали по бокам государя, спереди его приветствовали низкими поклонами немцы-послы, а вокруг разместились сановники и важнейшие придворные. Стены, окружающие двор, дрожали от непрерывающихся кликов, от звуков труб и грома литавр.

Когда наконец наступила тишина, посол меченосцев фон Венден стал что-то говорить о делах ордена, но король, по нескольким словам понявший, к чему клонится речь, нетерпеливо махнул рукой и произнес своим грубым, громким голосом:

– Уж молчал бы ты. Мы пришли сюда для удовольствия, и нам приятнее будет видеть кушанья и напитки, чем твои грамоты.

Но при этом он ласково улыбнулся, не желая, чтобы меченосец подумал, что он отвечает ему с гневом, и прибавил:

– О делах будет время говорить с магистром в Ратенжке. И обратился к князю Земовиту:

– А завтра в лес, на охоту, а?

Вопрос этот был в то же время заявлением, что в этот вечер король не хочет говорить ни о чем, кроме охоты, которую любил всей душой и ради которой он охотно приезжал в Мазовию, потому что Малая и Великая Польша были не так лесисты, а в некоторых местах до того населены, что лесов уже совсем не хватало.

И вот все лица повеселели, потому что было известно, что король при разговорах об охоте бывает весел и безгранично милостив. Князь Земовит сейчас же начал рассказывать, куда они поедут и на какого зверя будут охотиться, а князь Януш послал одного придворного, чтобы тот привел из города двух его телохранителей,

которые выводили зубров за рога из зарослей и ломали кости медведям: он хотел показать их королю.

Збышко очень хотел пойти и поклониться государю, но не мог до него добраться. Только издали князь Ямонт, запомнивший, видно, ловкий ответ, который в свое время молодой рыцарь дал ему в Кракове, дружески кивнул ему головой, делая в то же время глазами знак, чтобы Збышко при первой возможности подошел к нему. Но в этот миг чья-то рука коснулась плеча молодого рыцаря, и ласковый, грустный голос совсем рядом проговорил:

– Збышко...

Юноша обернулся и увидел перед собой Ягенку. Занятый сперва беседой с княгиней Александрой, женой Земовита, а потом с княгиней Анной Данутой, он до сих пор не мог подойти к девушке; поэтому она сама, пользуясь суматохой, вызванной прибытием короля, подошла к Збышке.

– Збышко, – повторила она, – да утешит тебя Господь Бог и Пречистая Дева.

– Пошли вам Господь, – отвечал рыцарь.

И он с благодарностью взглянул в ее синие глаза, которые в этот миг подернулись как бы росой. Потом они стояли друг перед другом в молчании, потому что хотя она и подошла к нему, как добрая и опечаленная сестра, все же в блеске своей красоты и в богатой придворной одежде она показалась Збышке настолько непохожей на прежнюю Ягенку, что в первую минуту он не смел даже говорить ей ты, как бывало в Згожелицах и в Богданце. Она же думала, что после слов, которые сказала ему, ей больше сказать нечего.

И на лицах их отразилось смущение. Но в этот миг на дворе началось движение: король садился за ужин. Княгиня Анна Данута снова подошла к Збышке и сказала:

– Грустен будет для нас обоих этот пир, но все-таки ты служи мне, как служил раньше.

И молодому рыцарю пришлось отойти от Ягенки, а когда гости уселись, он стал позади княгини, чтобы менять ей блюда и наливать воды и вина. Прислуживая, он невольно время от времени взглядывал на Ягенку, которая, как придворная княгини плочкой, сидела с ней рядом, и так же невольно вынужден был удивляться красоте девушки. Ягенка значительно выросла, но изменил ее не столько рост, сколько серьезность, степенность, которых до того не было в ней и следа. Прежде, когда в тулупчике и с листьями в распущенных волосах носилась она на коне по лесам, ее можно было принять за красавицу-крестьянку; теперь же с первого взгляда в ней видна была девушка знатного рода и высокой крови: такое спокойствие разливалось по ее лицу. Збышко заметил также, что исчезла ее прежняя веселость, но этому он удивлялся меньше, потому что знал о смерти Зыха. Зато больше всего удивляло его какое-то достоинство ее, и сначала ему казалось, что этому причина – ее одежда. И он поочередно смотрел то на золотую повязку, которая обхватывала ее белоснежный лоб и черные волосы, двумя косами спадавшие на плечи, то на голубое, обтянутое, обрамленное пурпурной полосой платье, под которым явственно вырисовывалась ее стройная фигура, и говорил себе: "В самом деле, настоящая княжна". Но потом он понял, что не только платье производит в ней перемену, и что если бы даже она надела теперь простой кожух, то и тогда он не мог бы уже так просто с ней обращаться и быть таким смелым с ней, как был прежде.

Потом он заметил, что разные молодые и даже пожилые рыцари смотрят на нее пристально и жадно, а однажды, меняя перед княгиней блюдо, увидел, с каким восторгом смотрит на Ягенку де Лорш. И при виде этого Збышко почувствовал гнев против него. Не избежал фландрский рыцарь и внимания княгини Анны Дануты, которая, узнав его, вдруг сказала:

– Аде Лорш, наверно, опять в кого-нибудь влюблен: так весь и сияет. Потом она слегка наклонилась над столом и, посмотрев в сторону Ягенки, сказала:

– Правда, что перед этим факелом меркнут все свечи.

Збышку влекло к Ягенке, потому что она казалась ему любящей и любимой сестрой, и он чувствовал, что ему не найти никого, кто бы лучше сочувствовал его горю; но в этот вечер он больше не мог поговорить с ней, во-первых, потому, что занят был службой, а во-вторых, потому, что во все время пира гуслиры пели песни или же трубы гремели так громко, что даже сидящие рядом еле могли расслышать друг друга. Кроме того, обе княгини, а с ними все прочие женщины встали из-за стола раньше, чем король, князя и рыцари, имевшие обыкновение до поздней ночи тешиться за бокалами. Ягенке, несшей подушку, на которой сидела княгиня, никак нельзя было задержаться, и она тоже ушла, только улыбнувшись на прощанье Збышке и кивнув ему головой.

Только уже под утро молодой рыцарь, де Лорш и два их оруженосца возвращались на постоянный двор. Некоторое время они шли погруженные в раздумье, но когда уже были недалеко от дома, де Лорш стал что-то говорить своему оруженосцу, помору, хорошо говорившему по-польски. Тот обратился к Збышке:

– Господин мой хочет кое о чем спросить вашу милость.

– Хорошо, – отвечал Збышко.

Те еще немного поговорили между собой, а потом помор, слегка улыбаясь в усы, сказал:

– Господин мой хотел бы спросить: наверное ли панна, с которой вы разговаривали перед ужином, обыкновенная смертная? Или, быть может, это ангел или святая?

– Скажи твоему господину, – не без досады отвечал Збышко, – что когда-то он уже спрашивал у меня совершенно то же самое и что мне даже странно это слушать. Еще бы: в Спыхове он мне говорил, что собирается ко двору князя Витольда ради красоты литвинок, потом по той же причине хотел ехать в Плоцк, в Плоцке сегодня хотел вызвать Повалу из Тачева во имя Агнесы из Длуголяса, а теперь метит еще в одну. Неужели таково его постоянство и такова рыцарская верность?

Рыцарь де Лорш выслушал этот ответ из уст своего помора, глубоко вздохнул, посмотрел с минуту в бледнеющее ночное небо и так ответил на упреки Збышки:

– Ты прав. Ни постоянства, ни верности. Я человек грешный и недостойн носить рыцарские шпоры. Что касается панны Агнесы из Длуголяса, правда, я клялся, и бог даст, сдержу клятву, но заметь, как я тебя растрогаю, когда расскажу, как ужасно поступила она со мной в Черском замке.

Тут он снова вздохнул, опять поглядел на небо, в восточной стороне которого

появлялась уже полоска света, и, переждав, пока помор переведет его предыдущие слова, продолжал:

– Она сказала мне, что у нее есть враг, один чернокнижник, живущий в башне среди лесов; он каждый год высылает против нее дракона, а тот каждую весну ходит к стенам Черского замка и смотрит, не удастся ли схватить ее. Когда она это сказала, я тотчас заявил, что сражусь с драконом. Ах, заметь, что я расскажу дальше. Когда я вышел на указанное место, я увидел страшное чудовище, неподвижно меня ожидающее, и радость охватила мою душу, потому что я думал, что либо погибну, либо спасу девицу из мерзостной пасти и обрету бессмертную славу. Но когда я с копьем бросился на чудовище, что, ты думаешь, я увидел? Огромный мешок соломы на деревянных подпорках, с веревочным хвостом. И обрел я не славу, а насмешки, и пришлось мне потом вызвать целых двух мазовецких рыцарей, от которых я получил тяжелые повреждения. Так поступила со мной та, которую я чтит выше всех и которую одну хотел любить.

Помор, переводя слова рыцаря, прикусывал язык, чтобы не расхохотаться, да и Збышко, наверное, рассмеялся бы в некоторых местах, но так как горе изгнало из него всякую веселость, то он серьезно ответил:

– Может быть, она сделала это только по глупости, а не из злобы.

– Я тоже простил ее, – отвечал де Лорш, – и лучшее доказательство тому – что я хотел сразиться с рыцарем из Тачева за ее красоту и добродетель.

– Не делай этого, – еще серьезнее сказал Збышко.

– Я знаю, что это смерть, но предпочту умереть, нежели жить в вечной скорби и горести...

– У пана Повалы уже такие вещи из головы вылетели. Пойдем лучше завтра к нему, и завяжи с ним хорошие отношения...

– Так я и поступлю, потому что он обнял меня, но завтра он едет с королем на охоту.

– Так пойдем утром. Король любит охоту, но и отдыхом не брезгует, а сегодня он сильно засиделся.

Так они и сделали, но напрасно, потому что чех, поспешивший еще раньше них в замок, чтобы повидаться с Ягенкой, объявил им, что Повала эту ночь спал не у себя, а в королевских покоях. Однако разочарование их было вознаграждено, потому что они встретились с князем Янушем, который велел им присоединиться к своей свите, благодаря чему они могли принять участие в охоте. По дороге в лес Збышко нашел случай разговаривать с князем Ямонтом, который сообщил ему хорошую новость.

– Раздевая короля ко сну, – сказал он, – я напомнил ему о тебе и о твоей краковской истории. А так как при этом был рыцарь Повала, то он тотчас прибавил, что меченосцы взяли в плен твоего дядю, и просил короля похлопотать за него. Король, который очень разгневан на них за похищение маленького Яськи из Креткова и за другие разбои, рассердился еще больше. "К ним, – говорит, – надо идти не с добрым словом, а с копьем, с копьем, с копьем". А Повала нарочно подливал масла в огонь. А утром, когда послы меченосцев ждали у ворот, король на них даже не

взглянул, хоть они ему до земли кланялись. Эх, не добьются они теперь от него обещания не помогать князю Витольду – и не будут знать, что им делать. А ты будь уверен, что за твоего дядю король не откажется прижать к стене самого магистра.

И до такой степени утешил Збышку князек Ямонт, а еще больше обрадовала его Ягенка, которая, сопровождая княгиню Александру в лес, постаралась на обратном пути ехать рядом со Збышкой. Во время охоты бывала большая свобода, и потому возвращались обычно парами, а так как ни одной паре не было нужды быть слишком близко от другой, то можно было разговариваться свободно. Ягенка уже раньше узнала от чеха, что Мацько в плену, и не теряла времени. По ее просьбе княгиня дала письмо к магистру, а кроме того, настояла, чтобы о том же написал комтур торунский фон Венден в письме, в котором давал отчет обо всем, происходящем в Плоцке. Он сам хвастался княгине, что приписал так: "Желая склонить на свою сторону короля, нельзя препятствовать ему в этом деле". А магистру в эту минуту всего необходимее было расположить к себе столь могущественного государя и с совершенной безопасностью обратить все силы против Витольда, с которым орден поистине до сих пор не знал, что делать.

– Итак, что я могла, то сделала, стараясь, чтобы не было проволочки, – закончила Ягенка. – А так как король не хочет уступать сестре в важных делах, то, вероятно, он будет стараться угодить ей хоть в более мелких; поэтому я надеюсь, что все будет хорошо.

– Если бы иметь дело не с такими предателями, – отвечал Збышко, – я бы попросту отвез выкуп, и тем бы все кончилось; но с ними всякое может случиться, как случилось с Толимой: и деньги отнимут, и тому, кто привез их, спуска не дадут, если у него за спиной не стоит какая-нибудь сила.

– Понимаю, – отвечала Ягенка.

– Вы теперь все понимаете, – заметил Збышко, – и пока я жив, я буду вам благодарен.

А она, подняв на него свои добрые и печальные глаза, спросила:

– Почему же ты не говоришь мне ты, как старой знакомой?

– Не знаю, – искренне отвечал он. – Как-то мне неловко... И вы уж не такая маленькая девочка, как раньше были, а... совсем... как-то...

Он не мог подыскать сравнения, но она перебила его и сказала:

– Мне стало на несколько лет больше... а немцы и у меня убили отца в Силезии.

– Да, – отвечал Збышко, – дай ему, Господи, Царство Небесное. Некоторое время ехали они рядом, задумавшись и как бы слушая вечерний шум леса, а потом она снова спросила:

– А выкупив Мацьку, вы останетесь здесь?

Збышко посмотрел на нее с каким-то удивлением: до сих пор он так безраздельно предавался горю и скорби, что ему и в голову не приходило подумать о том, что будет потом. Поэтому он поднял глаза к небу, точно размышляя, и через некоторое время сказал:

– Не знаю. Господи Иисусе милостивый! Откуда же я могу знать? Знаю только то, что куда ни пойду – туда и судьба моя поплетется за мной. Эх, горькая судьбина... Выкуплю дядю, а потом, пожалуй, пойду к Витольду, исполнять клятвы, данные против меченосцев, и, может быть, погибну.

В ответ затуманились глаза девушки, и, слегка наклонившись к юноше, она тихо проговорила, как бы с мольбой:

– Не погибай! Не погибай.

И снова они перестали разговаривать; наконец уже перед самыми воротами города Збышко отогнал от себя мучившие его мысли и сказал:

– А вы?... А ты? Останешься здесь, при дворе?

– Нет, – отвечала она. – Скучно мне без братьев и без Згожелиц. Небось Чтан и Вильк уже поженились, а если и нет, так теперь я их не боюсь.

– Бог даст, дядя Мацько отвезет тебя в Згожелицы. Он так тебя любит, что ты во всем можешь на него положиться. Но и ты о нем помни...

– Клянусь тебе, что буду ему вместо родной дочери...

И после этих слов она совсем расплакалась, потому что на сердце у нее стало мучительно грустно.

* * *

На следующий день Повала из Тачева пришел на постоянный двор к Збышке и сказал ему:

– После праздника Божьего Тела король сейчас же едет в Ратенжек на свидание с великим магистром, а ты причислен к королевским рыцарям и едешь с нами.

Збышко даже вспыхнул весь от радости при этих словах: это зачисление в королевские рыцари не только ограждало его от предательств и подлостей меченосцев, но и покрывало его необычайной славой. Ведь к этим рыцарям принадлежал и Завиша Черный, и братья его, Фарурей и Кручек, и сам Повала, и Кшон из Козьих Голов, и Стах из Харбимовиц, и Пашко Злодей из Бискупиц, и Лис из Тарговиска, и много других, страшных, прославленных, о которых было известно и в королевстве, и за границей. Небольшой отряд их взял с собой король Ягелло, потому что многие остались дома, а другие искали приключений в далеких заморских странах; но король знал, что с этими рыцарями он может, не боясь предательства меченосцев, ехать хоть в Мальборг, потому что, в случае чего, они разрушили бы стены могучими своими плечами и прорубили бы ему дорогу среди немцев. И могло вспылать гордостью молодое сердце Збышки при мысли, что у него будут такие товарищи.

И Збышко в первую минуту забыл даже о своем горе и, пожимая руку Повалы из Тачева, с радостью говорил ему:

– Это вам, вам, а не кому другому, я этим обязан, вам.

– Отчасти мне, – отвечал Повала, – а отчасти здешней княжне, но больше всего –

милосердному нашему государю, к которому иди тотчас, упади к ногам и благодари, чтобы он не осудил тебя за неблагодарность.

– Богом клянусь, что готов за него погибнуть! – воскликнул Збышко.

Х

Свидание в Ратенжке, на островке Вислы, куда король отправился вскоре после праздника Божьего Тела, происходило при неблагоприятных предзнаменованиях и не привело к такому согласию и разрешению различных дел, как то, которое произошло в том же самом месте два года спустя, когда король получил обратно предательски оставленную опольским князем Добржинскую землю с Добржином и Бобровниками. Ягелло приехал, очень раздраженный оговорами, которые распускали про него меченосцы при западных дворах и в самом Риме, а кроме того, рассерженный нечестностью ордена. Магистр не хотел вести переговоров о Добржине и делал это преднамеренно. И сам он, и прочие сановники ордена ежедневно повторяли полякам: "Войны ни с вами, ни с Литвой мы не хотим, но Жмудь наша, потому что сам Витольд нам ее отдал. Обещайте, что не будете ему помогать, тогда война с ним скорее кончится, и тогда можно будет говорить о Добржине, и мы вам сделаем множество уступок". Но королевские советники, умные и опытные, знающие к тому же лживость меченосцев, не давали себя одурачить. "Когда вы усилитесь, вы станете еще заносчивее, – отвечали они магистру. – Вы говорите, что до Литвы вам дела нет, а сами хотите посадить Скиргеллу на виленский стол. Но ведь это же княжество Ягеллы, который сам кого хочет, того и ставит князем литовским. Поэтому берегитесь, как бы не покарал вас наш король". На это магистр возражал, что если король есть истинный господин Литвы, то пусть он прикажет Витольду прекратить войну и отдать Жмудь ордену, потому что в противном случае орден должен напасть на Витольда там, где он может достать его и победить. И таким образом продолжались споры с утра до вечера, ни на шаг не подвигаясь вперед. Король, не желая стеснять себя никакими обязательствами, все больше терял терпение и говорил магистру, что если бы Жмудь была под властью ордена счастлива, то Витольд и пальцем не шевельнул бы, потому что у него не было бы ни повода, ни причины. Магистр, человек спокойный и лучше других рыцарей ордена отдававший себе отчет в силах Ягеллы, старался смягчить короля и, не обращая внимания на ропот некоторых запальчивых и гордых комтуров, не жалел льстивых слов, а минутами даже становился смиренным. Но так как даже в этом смирении минутами слышались скрытые угрозы, то все это ни к чему и не приводило. Переговоры о важных делах скоро расстроились, и уже на другой день стали говорить о вещах второстепенных. Король резко обрушился на орден за содержание воровских шаек, за нападения и грабежи, происходящие возле границы, за похищение дочери Юранда и маленького Яська из Креткова, за убийства крестьян и рыбаков. Магистр отрекался, изворачивался, клялся, что все это происходило без его ведома, и со своей стороны упрекал короля в том, что не только Витольд, но и польские рыцари помогают язычникам-жмудицам против ордена, в доказательство чего указал на Мацьку из Богданца. К счастью, король уже знал от Повалы, чего искали на Жмуди рыцари из Богданца, и сумел ответить на упрек тем легче, что в свите его находился Збышко, а в свите магистра оба брата фон Бадены, прибывшие в надежде, что им удастся сразиться с поляками на арене.

Но и этого не было. Меченосцы хотели в случае успеха пригласить великого короля в Торунь и там в течение нескольких дней устраивать в его честь пиры и игры, но вследствие неудачных переговоров, породивших обоюдное недовольство и гнев, не было охоты ко всему этому. Разве только на стороне, в утренние часы мерялись рыцари друг с другом силой и ловкостью, но и тут, как говорил веселый князь Ямонт, меченосцев погладили против шерсти, потому что Повала из Тачева оказался

сильнее Арнольда фон Бадена, Добек из Олесницы превзошел всех в метании копья, а Лис из Тарговиска в прыганьи через лошадей. Пользуясь случаем, Збышко вел переговоры с Арнольдом фон Баденом о выкупе. Де Лорш, как граф и вельможа, смотревший на Арнольда сверху вниз, восставал против этого, говоря, что берет все на себя. Но Збышко полагал, что рыцарская честь обязывает его заплатить несколько гривен, которые он обязался выплатить, и потому, хотя сам Арнольд хотел сбавить цену, не принял ни этой уступки, ни посредничества де Лорша.

Арнольд фон Баден был человек довольно простой; главное достоинство его состояло в силе; был он глуповат, жаден до денег, но почти честен. Не было в нем свойственной меченосцам хитрости, и потому он не скрывал от Збышки, почему хочет сбавить с условленной суммы. "До заключения договора у короля с великим магистром дело не дойдет, – говорил он, – но дойдет до обмена пленниками – и тогда ты сможешь получить дядю даром. Я же предпочитаю взять хоть что-нибудь, нежели не получить ничего, потому что кошелек у меня всегда пуст: иной раз еле хватает на три гарнца пива, а мне без пяти либо без шести бывает не по себе". Но Збышко сердился на него за такие слова: "Я плачу потому, что дал слово рыцаря, а меньше платить не хочу, чтобы ты знал, чего мы стоим". В ответ на эти слова Арнольд обнимал его, а рыцари, как польские, так и меченосцы, хвалили его, говоря: "Справедливо, что он в такие юные годы носит пояс и шпоры, потому что он умеет беречь честь и достоинство".

Между тем король с великим магистром действительно условились об обмене пленными, причем всплыли наружу странные вещи, о которых епископы и сановники королевства впоследствии писали письма папе и к разным дворам; правда, в руках поляков было много пленников, но это были взрослые, сильные мужчины, взятые в пограничных боях и поединках. Между тем в руках меченосцев по большей части оказались женщины и дети, захваченные ради выкупа во время ночных нападений. Сам папа римский обратил на это внимание и, несмотря на всю ловкость Иоганна фон Фельде, прокуратора ордена в апостольской столице, громко выразил свой гнев и возмущение поступками меченосцев.

Что касается Мацьки, то тут были затруднения. Магистр не делал их на самом деле, но лишь старался сделать вид, что они существуют, чтобы придать вес каждой своей уступке. Поэтому меченосцы твердили, что рыцарь-христианин, воевавший с жмудинами против ордена, по справедливости должен быть приговорен к смерти. Напрасно королевские советники вновь и вновь указывали на все, что им было известно о Юранде и его дочери, а также о страшных обидах, какие допустили по отношению к ним и к рыцарям из Богданца слуги ордена. Магистр по странной случайности в своем ответе привел почти те же слова, какие когда-то сказала княгиня Александра старому рыцарю из Богданца:

– Вы стараетесь представить себя овечками, а наших волками. Между тем из четырех волков, принимавших участие в похищении дочери Юранда, ни один не остался в живых, а овечки безопасно гуляют по свету.

И это была правда; но все-таки на эту правду присутствовавший при переговорах рыцарь из Тачева ответил таким вопросом:

– Да, но разве хоть один из них убит изменнически? И разве те, которые погибли, не погибли с мечом в руках?

Магистру на это нечего было ответить; а когда он заметил, что король начинает хмуриться и сверкать глазами, он уступил, не желая доводить грозного государя до

вспышки. Порешили, что каждая сторона вышлет послов для отбора пленников. Со стороны поляков были для этого назначены Зиндрам из Машковиц, желавший вблизи посмотреть на государство меченосцев, и рыцарь Повала, а с ними Збышко из Богданца.

Збышке эту услугу оказал князь Ямонт. Он просил за него короля, рассуждая, что если юноша поедет за дядей как королевский посол, то он и скорее его увидит, и вернее привезет. Король не отказал в просьбе князьку, который благодаря своей веселости, доброте и прелестному лицу был любимцем и его, и всего двора, причем никогда не просил ни о чем для самого себя. Збышко поблагодарил его от всей души, потому что теперь был уже совершенно уверен, что высвободит Мацьку из рук меченосцев.

– Многие тебе позавидуют, – сказал он Ямонту, – что ты состоишь при короле, но это справедливо, потому что ты пользуешься своей близостью к королю только на благо ближних и потому, что нет ни у кого такого сердца, как у тебя.

– При государе хорошо, – отвечал князек, – но еще больше хотел бы я на войну с меченосцами и завидую тебе, потому что ты уже с ними дрался.

И, помолчав, он прибавил:

– Комтур турунский фон Венден приехал вчера, а сегодня вечером вы поедете к нему ночевать с магистром и его свитой.

– А потом в Мальборг?

– А потом в Мальборг.

И князь Ямонт стал смеяться:

– Не далекий это будет путь, но кислый, потому что немцы ничего не Добились от короля, да и с Витольдом не будет им большой радости. Говорят, он собрал все литовское войско и идет на Жмудь.

– Если король поможет ему, это будет великая война.

– Все рыцари наши молят об этом Господа Бога. Но если даже король, жалея крови христианской, не начнет великой войны, он все-таки поможет Витольду хлебом и деньгами, да не обойдется и без того, чтобы польские рыцари не пошли к нему добровольцами.

– Непременно, – отвечал Збышко. – Но, может быть, сам орден объявит ему за это войну?

– Э, нет, – ответил князь, – пока жив нынешний магистр, этого не будет. И он был прав. Збышко уже знал магистра раньше, но теперь, по дороге в

Мальборг, почти все время вместе с Зиндрамом из Машковиц и с Повалой находясь возле него, мог лучше присмотреться к нему и лучше узнать. И вот это путешествие только укрепило его в уверенности, что великий магистр Конрад фон Юнгинген не был дурным и испорченным человеком. Он вынужден был часто поступать несправедливо, потому что весь орден меченосцев стоял на несправедливости. Он вынужден был чинить обиды, потому что весь орден основан был на обиде. Он

вынужден был лгать, потому что получил ложь в удел вместе с достоинством магистра и с раннего возраста привык считать ложь только политической опытностью. Но он не был негодяем, боялся суда Божьего и, насколько мог, сдерживал гордость и заносчивость сановников ордена, нарочно старавшихся натолкнуть его на войну с королем Ягеллой. Однако он был человеком слабым. За целые века орден до такой степени привык зариться на чужую собственность, грабить, силой или хитростью отнимать соседние земли, что Конрад не только не мог сдержать эту хищную жадность, но и невольно, по инерции сам поддавался ей и старался удовлетворить ее. Давно уже миновали времена Винриха фон Книпроде, времена строгой дисциплины, которою орден приводил в изумление весь мир. Уже при предыдущем магистре, Конраде Валленроде, орден так опьянел от своего все возрастающего могущества, которого не могли ослабить временные несчастья, так опьянел от своей славы, счастья и людской крови, что связи, державшие его в силе и единстве, лопнули. Магистр, сколько мог, придерживался закона и справедливости, смягчая в особенности тяжесть железной руки ордена, угнетавшей крестьян, мещан и даже духовенство и дворянство, по ленному праву владевших землями меченосцев, так что поблизости от Мальборга кое-кто из крестьян и мещан мог похвастаться не только достатком, но и богатством. Но в более отдаленных местах самоуправство, жестокость и разнузданность комтуров попирали закон, распространяли притеснения и насилия, при помощи самовольно налагаемых податей, а то и без всякого видимого соблюдения закона, выжимали последний грош, заставляли литься слезы, а часто и кровь; таким образом все обширные земли сплошь стонали, жаловались и бедствовали. Если даже благо самого ордена указывало, как, например, на Жмуди, на необходимость придерживаться некоторой мягкости, то и это все было ни к чему при распушенности комтуров и их врожденной жестокости. И вот Конрад фон Юнгинген чувствовал себя, как возница, который, управляя разъяренными лошадьми, выпустил из рук вожжи и отдал колесницу на волю судьбы. Часто душу его охватывали дурные предчувствия, часто приходили ему в голову пророческие слова: "Я сотворил их пчелами пользы и поставил их на пороге христианских земель, но они восстали против меня. Ибо они не заботятся о душе и не жалеют тело того народа, который обратился к католической вере и ко мне. И они сделали из этого народа рабов и, не уча его заповедям Божиим и отнимая у него Святые Дары, обрекают его на большие муки в аду, нежели если бы он оставался в язычестве. Войны ведут они, влекомые своей жадностью. И посему настанет время, когда зубы их будут сокрушены, и правая нога их охромеет, чтобы узнали они грехи свои".

Магистр знал, что эти упреки, которые сделал меченосцам таинственный Голос в откровении святой Бригитты, были справедливы. Он понимал, что здание, построенное на чужой земле и на притеснениях других людей, поддерживаемое ложью, коварством, жестокостью, не может простоять долго. Он боялся, что, в течение целых лет подмываемое слезами и кровью, здание это рухнет от одного удара могучей польской руки; он предчувствовал, что колесница, влекомая взбешенными лошадьми, должна окончить путь свой на дне пропасти, и старался, чтобы, по крайней мере, час суда, гнева, горя и упадка пришел как можно позже.

Поэтому, несмотря на свою слабость, он в одном только отношении неизменно препятствовал своим дерзким и заносчивым комтурам: не допускал войны с Польшей. Напрасно упрекали его в боязни и слабости, напрасно пограничные комтуры всеми силами старались вызвать войну. Когда пламя вот-вот уж готово было вырваться наружу, он в последнюю минуту всегда отступал, а потом благодарил в своем Мальборге Бога, что ему удалось удержать меч, занесенный над головой ордена.

Но он знал, что этим должно кончиться. И это сознание, что орден основывается не

на законе, данном Господом, а на несправедливости и лжи, и это предчувствие близкого дня гибели, все это делало его одним из несчастнейших людей в мире. Он, несомненно, пожертвовал бы своей жизнью и кровью за то, чтобы все могло быть иначе и чтобы еще было время свернуть на добрую дорогу, но сам чувствовал, что уже поздно. Изменить путь – это значило отдать законным владельцам плодородную, богатую, бог весть с каких пор захваченную орденом землю, а вместе с ней множество таких богатых городов, как Гданск. Мало того, это значило отказаться от Жмуди, отказаться от поползновений на Литву, вложить меч в ножны, наконец, совсем уйти из этих стран, в которых ордену уже некого было обращаться в христианство, и поселиться опять в какой-нибудь Палестине или на каком-нибудь греческом острове, чтобы там защищать крест от настоящих сарацин. Но это было невозможно, потому что равнялось бы смертному приговору, произносимому над всем орденом. Кто бы на это согласился? Какой магистр мог желать чего-либо подобного? Душа и жизнь Конрада фон Юнгингена были омрачены, но человека, который выступил бы с подобным советом, он первый приговорил бы, как сумасшедшего, к темной комнате. Надо было идти все дальше и дальше, до дня, который сам Бог положил бы последним.

И он шел, но в тоске и печали. Уже засеребрились волосы на его висках и в бороде, а глаза, некогда быстрые, до половины закрылись отяжелевшими веками. Збышко ни разу не заметил на лице у него улыбки. Лицо магистра не было грозно, не было даже мрачно: оно только было как бы лицом человека, измученного каким-то безмолвным страданием. В латах, с крестом на груди, в широком белом плаще, также со знаком креста, он производил впечатление величия и скорби. Когда-то Конрад был весел, любил забавы, да и теперь не уклонялся от великолепных пиров, зрелищ и турниров; напротив, он сам все это устраивал, но ни в толпе блестящих рыцарей, приезжавших гостить в Мальборг, ни среди веселой суматохи, при звуках труб и бряцании оружия, ни за чашей, полной мальвазии, он никогда не мог развеселиться. Когда все вокруг него, казалось, дышало силой, блеском, неисчерпаемым богатством, несокрушимым могуществом, когда послы императора и других западных государей восклицали в восторге, что орден один, сам по себе, стоит всех королевств, – он один не обманывался и он один помнил зловещие слова, сказанные святой Бригитте: "Придет час, когда будут сокрушены их зубы, и будет отсечена правая рука их, а правая нога охромеет, чтобы познали они грехи свои".

XI

Они ехали сухим путем на Хелмжу до Грудзиондза, где задержались на ночь и на целый день, потому что великий магистр должен был рассудить там дело о праве рыбной ловли между старостой ордена и окружной шляхтой, земли которой примыкали к Висле. Оттуда плыли в ладьях до самого Мальборга. Зиндрам из Машковиц, Повала из Тачева и Збышко находились все время при магистре, которому было любопытно, какое впечатление произведет, в особенности на Зиндрама, видимое так близко могущество ордена. Это важно было магистру потому, что Зиндрам из Машковиц был не только могущественным и страшным в поединке рыцарем, но и чрезвычайно умелым военачальником. Никто во всем королевстве не умел так, как он, предводительствовать большим войском, готовить отряды для боя, строить и штурмовать замки, перебрасывать мосты через широкие реки, никто не знал так, как он, какое вооружение у каких народов, и как надо поступать в разных случаях войны. Магистр, зная, что в королевском совете многое зависело от мнения этого человека, полагал, что если его сможет поразить количество богатств ордена и его войск, то война отсрочится еще надолго. Но прежде всего сам вид Мальборга мог заставить тревожиться сердце каждого поляка, потому что с этой крепостью, считая Высокий замок, Средний и Передовой, никакая другая крепость в мире не могла даже сравниться [38]. Уже издали, плывя по Ногату, рыцари видели могучие башни,

вырисовывающиеся на небе. День был ясный и прозрачный, и их было видно отлично, а через несколько времени, когда суда еще более к ним приблизились, то еще ярче выступила крыша костела на Высоком замке и огромные стены, громоздящиеся друг над другом. Часть этих стен была кирпичного цвета, но большинство было покрыто той знаменитой серо-белой штукатуркой, делать которую умели только каменщики ордена. Величина стен превосходила все, когда-либо виденное польскими рыцарями. Могло показаться, что там здания растут на зданиях, образуя на месте, от природы низменном, как бы гору, вершиной которой был Старый замок, а склонами – Средний и раскидистый Передний. От этого гигантского гнезда вооруженных монахов веяло столь необычайной силой и мощью, что даже грустное и обычно мрачное лицо магистра слегка прояснилось при виде этого зрелища.

– Ex luto Мариенбург – из тины Мариенбург, – сказал он, обращаясь к Зиндраму, – но тины этой сила человеческая не одолеет.

Зиндрам не ответил и молча продолжал смотреть на башни и стены, укрепленные чудовищными откосами.

Помолчав, Конрад фон Юнгинген прибавил:

– Вы, рыцарь, знаете толк в крепостях: что скажете нам об этой?

– Крепость кажется мне неприступной, – сказал как бы в задумчивости польский рыцарь, – но...

– Но что? Какой недостаток вы можете в ней указать?

– Но у каждой крепости могут смениться обладатели. Магистр сдвинул брови:

– Что вы этим хотите сказать?

– То, что от глаз людских скрыты предназначения Божьи.

И снова он стал задумчиво смотреть на стены, а Збышко, которому Повала перевел этот ответ, смотрел на Зиндрама с восторгом и благодарностью. И в эту минуту его поразило сходство Зиндрама с предводителем жмудинов, Скирвойллой. У обоих были такие же огромные головы, точно вбитые между широкими плечами, такие же могучие груди и такие же кривые ноги.

Между тем магистр, не желая, чтобы последнее слово осталось за польским рыцарем, снова заговорил.

– Говорят, – сказал он, – что наш Мариенбург в шесть раз больше Вавеля.

– Там, на скале, нет такого большого места, как тут, на равнине, – отвечал рыцарь из Машковиц, – но сердце у нас в Вавеле больше.

Конрад с удивлением поднял брови:

– Не понимаю.

– Что такое сердце каждого замка, как не церковь? А наш собор в три раза больше этого.

И, сказав это, он указал на действительно небольшую церковь Мальборга. На фронте ее сверкало огромное мозаичное изображение Пречистой Девы. Магистр опять остался недоволен таким оборотом разговора.

– Скоры ваши ответы, рыцарь, но странны, – сказал он.

В это время они подъехали. Превосходная полиция ордена предупредила уже, видимо, город и замок о приезде великого магистра, потому что у пристани уже ждали, кроме нескольких братьев, трубачи, обычно игравшие, когда великий магистр переправлялся через реку. Далее стояли приготовленные кони, сев на которых, все проехали через город и через Невские ворота, мимо Воробьиной башни и въехали в Передний замок. В воротах магистра приветствовали: великий комтур Вильгельм фон Гельфенштейн, впрочем, носившей уже только титул, потому что уже несколько месяцев обязанности его исполнял в действительности Куно Лихтенштейн, посланный в это время в Англию; далее – великий госпиталит, родственник Куно, Конрад Лихтенштейн, великий гардеробмейстер Румпенгейм, великий казначей Бурхард фон Вобекке и, наконец, младший комтур, начальник мастерских и смотритель замка. Кроме этих высших сановников стояло там несколько братьев-священников, которые ведали дела, касающиеся церкви, и тяжко притесняли монастыри, а также не принадлежащее к ордену духовенство, принуждая его даже к работам по прокладке дорог и вырубанию льда. Позади них стояла толпа светских братьев, то есть рыцарей, не обязанных подчиняться каноническим правилам. Их рослые и сильные фигуры (слабых меченосцы не принимали), широкие плечи, густые бороды и злые глаза делали их более похожими на кровожадных немецких рыцарей-разбойников, нежели на монахов. В глазах их виднелась храбрость, упорство и непомерная гордость. Они не любили Конрада за его боязнь войны с Ягеллой; не раз на советах они открыто упрекали его в боязливости, рисовали его изображения на стенах и подговаривали шутов высмеивать его в глаза. Однако при виде его они теперь опустили головы с притворным смирением, в особенности потому, что магистр въезжал в город, сопровождаемый чужими рыцарями; и они целой толпой подбежали, чтобы остановить за узду его коня и поддержать стремя.

Магистр, сойдя с седла, тотчас обратился к Гельфенштейну и спросил:

– Есть какие-нибудь известия от Вернера фон Теттингена?

Вернер фон Теттинген, как великий маршал или предводитель воинских сил ордена, находился в это время в походе, предпринятом против Жмуди и Витольда.

– Важных известий нет, – отвечал Гельфенштейн, – но есть мелкие потери. Эти дикари сожгли поселки под Рагнетой и местечки при других замках.

– Надо надеяться на Бога, что первое же большое сражение сломит их злобу и упорство, – отвечал магистр.

И сказав это, он поднял глаза к небу; губы его шевелились некоторое время; он читал молитву о ниспослании победы орденским войскам. Потом он указал на польских рыцарей и сказал:

– Это послы польского короля: рыцарь из Машковиц, рыцарь из Тачева и рыцарь из Богданца; они прибыли с нами для обмена пленников. Пусть комтур замка ответит им покои, предназначенные для гостей, и пусть почтит и примет их, как подобает.

В ответ на эти слова братья-рыцари стали с любопытством посматривать на послов,

особенно на Повалу из Тачева, имя которого, как знаменитого борца, было некоторым знакомо. Тех же, кто не слышал о его подвигах при дворах бургундском, чешском и краковском, удивляла его огромная фигура и его боевой конь таких гигантских размеров, что старым рыцарям, бывавшим в молодости в Святой земле и в Египте, вспомнились слоны и верблюды.

Некоторые узнали и Збышку, который в свое время дрался на арене в Мальборге; они приветствовали его довольно предупредительно, памятуя, что могущественный и имеющий большую власть в ордене брат магистра Ульрих фон Юнгинген оказывал ему искреннюю дружбу и расположение; меньше всего внимания и восторга вызывал тот, кому в будущем, уже недалеко, предстояло быть страшнейшим разрушителем ордена, то есть Зиндрам из Машковиц: когда он сошел с коня, то благодаря своей необычайной крепости и ширине плеч он показался почти горбатым. Его слишком длинные руки и кривые ноги возбуждали усмешку на лицах более молодых братьев. Один из них, известный шутник, даже подошел к нему и хотел заговорить, но взглянув в глаза рыцарю из Машковиц, как-то потерял охоту и молча отошел в сторону.

Между тем комтур замка взял гостей и повел их за собой. Они вошли сперва на небольшой двор, где кроме школы и седельной мастерской, находилась часовня Святого Николая; потом через Николаевский мост вошли уже в Передний замок. Комтур некоторое время вел их среди могучих стен, то там, то сям вооруженных маленькими и большими башнями. Зиндрам из Машковиц зорко присматривался ко всему, а проводник, которого даже не спрашивали, охотно показывал разные строения, точно ему хотелось, чтобы гости осмотрели все как можно обстоятельнее.

– Это громадное здание, которое ваша милость видит перед собой по левую руку, – это наши конюшни. Мы убогие монахи, но все-таки люди говорят, что в других местах и рыцари так не живут, как у нас лошади.

– В убожестве вас не укоряют, – отвечал Повала, – но тут должно быть еще что-нибудь, помимо конюшни, потому что здание очень высокое, а ведь небось вы по лестницам лошадей не водите.

– Над конюшней, которая находится внизу и в которой помещается четыреста лошадей, – сказал комтур замка, – находятся амбары, а в них сложено зерна хоть на десять лет. Здесь до осады дело никогда не дойдет, а если бы и дошло, то голодом нас не взять никогда.

Сказав это, он свернул вправо и снова через мост, между башнями Святого Лаврентия и Панцирной, ввел их на другой двор, огромный, лежащий в самой середине замка.

– Обратите внимание, рыцарь, – сказал немец, – на то, что все, что вы видите к северу, хоть и неприступно по милосердию Божью, но все же есть только "Forburg" [39] и укрепления своими не может равняться ни со Средним замком, в который я вас веду, ни тем более с Высоким.

Действительно, отдельный ров и отдельный подъемный мост отделяли Средний замок от двора, и только в воротах замка, еще раз по совету комтура обернувшись назад, рыцари могли охватить взором весь этот огромный квадрат. Там здание высилось возле здания, и Зиндраму казалось, что он видит перед собой целый город. Находились там огромные запасы дров, сложенные в высокие, как дома, штабели, горы каменных ядер, кладбища, лазареты, магазины. Несколько в стороне, возле

лежащего посредине пруда, краснели могучие стены "темпля", т. е. большого магазина со столовой для наемников и челяди. Под северным валом виднелись другие конюшни, для рыцарских лошадей и для отборных лошадей магистра. Далее возвышались казармы для оруженосцев и наемных войск, а с противоположной стороны четырехугольника – жилища разных служителей и чиновников ордена; потом опять склады, амбары, пекарни, швальни, огромный арсенал или Карван, тюрьмы, старая пушкарня; и каждое здание было так прочно и так защищено, что в каждом можно было защищаться, как в отдельной крепости, и все это было окружено стеной и рядом грозных башен, за стеной – рвом, за рвом – венком огромных палисадов, за которыми только, на западе, катил желтые свои воды Ногат, а на севере и востоке сверкало громадное озеро; с юга же возвышались еще более сильные замки: Средний и Высокий.

Это было страшное гнездо, от которого веяло неумолимой силой и в котором соединялись две величайшие власти того времени: власть духовная и власть меча. Кто устоял против меча, против того подымался крик во всех христианских странах: он восстает против креста.

И тотчас со всех сторон на помощь сбегались рыцари. Гнездо это, кроме того, вечно полно было ремесленников и военных людей; шум вечно стоял в нем, как в улье. Перед домами, в проходах, у ворот, в мастерских – всюду царило движение, как на ярмарке. Эхо разносило стук молотов и долот, обтесывающих каменные ядра, шум мельниц и гумен, ржание коней, лязг оружия, звон труб и флейт, окрики и команду. На этих дворах можно было слышать все языки мира и встретить солдат из всех народов: английских лучников, не знающих промаха, в ста шагах простреливавших голубей, привязанных к мачте; своими стрелами они пробивали панцири, как сукно; были здесь страшные швейцарские пехотинцы, сражавшиеся двуручными мечами; храбрые, но невоздержные в еде и питье датчане; французские рыцари, одинаково склонные к смеху, как и к ссорам: молчаливые, но гордые испанские дворяне; блестящие итальянские рыцари, великолепные борцы, одетые в бархат и атлас, а на войне в несокрушимые латы, кованные в Венеции, Милане и Флоренции; были здесь и бургундские рыцари, и фризы, и, наконец, немцы из всех немецких стран. "Белые плащи" носились среди них, как хозяева и начальники. "Башня, полная золота", точнее – особый дом, построенный в Высоком замке, рядом с жилищем магистра, сверху донизу наполненный деньгами и слитками драгоценного металла, позволял ордену достойно чествовать "гостей", привлекать наемные войска, которые рассылались отсюда в походы и во все замки, в распоряжение войтов, старост и комтуров. Так рядом с силой меча и силой духовной жило здесь неисчислимое богатство, и в то же время железный порядок, который, будучи уже расшатан в провинциях из-за излишней самонадеянности и опьянения собственной властью, в самом Мальборге еще держался в силу старинной привычки. Государи прибывали сюда не только воевать с язычниками или брать взаймы деньги, но и учиться искусству управлять, а рыцари – учиться искусству военному. Ибо во всем мире никто не умел так господствовать и так воевать, как умел некогда орден. Когда он прибыл в эти страны, то кроме клочка земли да нескольких замков, подаренных ему неосторожным польским князем, у него не было ничего, а теперь он обладал обширной, большей, нежели многие королевства, областью, с массой плодородных земель, богатых городов и неприступных замков. Он владел всем этим и стерег, как стережет паук раскинутую сеть, все нити которой держит под собой. Отсюда, из этого Высокого замка, от магистра и белых плащей бежали эти нити при помощи посыльных во все стороны: к ленной шляхте, к городским советам, к бургомистрам, войтам, подвойтам и капитанам наемных войск, и что здесь создала и постановила мысль и воля, там тотчас приводили в исполнение сотни и тысячи железных рук. Сюда стекались из всей страны деньги, хлеб, всякого рода живность,

подати от стонущего под тяжелым ярмом светского духовенства и из других монастырей, на которые с недовольством взирал орден; отсюда, наконец, протягивались хищнические руки ко всем окрестным землям и народам.

Многочисленные прусские народы, говорившие по-литовски, были уже стерты с лица земли. Литва до недавних пор ощущала железную пяту меченосцев, попиравших ее грудь так ужасно, что с каждым вздохом из сердца струилась кровь. Польша, хоть и одержавшая победу в страшной битве под Пловцами, потеряла все же при Локотке свои владения на левом берегу Вислы, вместе с Гданском, Тчевом, Гневом и Светем. Орден ливонских рыцарей подбирался к русским землям, и оба эти ордена шли как первая волна огромного немецкого моря, все шире и шире заливавшего славянские земли.

И вдруг подернулось облаком солнце немецкого счастья. Литва приняла крещение от поляков, а краковский трон вместе с рукой прекрасной королевы получил Ягелло. Правда, орден не потерял от этого ни одной области, ни одного замка, но почувствовал, что против силы встала сила, и лишился причины, во имя которой он существовал в Пруссии. После крещения Литвы ордену оставалось вернуться в Палестину и охранять там странников, идущих в святые места. Но вернуться – это значило отказаться от богатств, власти, мощи, господства, городов, земель и целых королевств. И орден стал метаться в ужасе и бешенстве, как чудовищный дракон, в тело которого вонзилось копье. Магистр Конрад боялся сразу рискнуть всем и дрожал при мысли о войне с великим королем, владыкой земель польских, литовских и обширных областей русских, которые Ольгерд вырвал из пасти татар; но большинство братьев ордена стремилось к этой войне, чувствуя, что надо выдержать борьбу не на жизнь, а на смерть, пока еще силы целы, пока обаяние ордена не померкло, пока весь мир спешит к нему на помощь и пока громы папского престола не пали на это гнездо их, для которого было теперь вопросом жизни или смерти вовсе уже не распространение христианской веры, а напротив – сохранение язычества.

Между тем перед другими народами и при иностранных дворах Ягеллу и Литву обвиняли они в притворном и поддельном крещении, указывая, что немисливо, чтобы в один год могло совершиться то, чего меч ордена не мог добиться за целые века. Против Польши и ее владыки возбуждали королей и рыцарей, как против защитников и охранителей язычества, и голоса эти, которым не верили только в Риме, широкой волной расходились по земле и стягивали к Мальборгу князей, графов и рыцарей с юга и с запада. Орден становился более уверен в себе и чувствовал свою силу. Мариенбург с его грозными замками ослеплял людей своей мощью больше, чем когда-либо, ослепляло богатство, ослеплял кажущийся порядок – и казалось, будто весь орден в настоящее время сильнее и прочнее, чем был когда-либо. И никто из князей, никто из гостящих рыцарей, даже никто из рыцарей ордена, кроме магистра, не понимал, что со времени крещения Литвы произойдет нечто такое, как если бы эти волны Ногата, с одной стороны защищавшие страшную крепость, тихо, но неумолимо начали подмывать ее стены. Никто не понимал, что в этом гигантском теле осталась еще сила, но из него улетела душа; кто приезжал в первый раз и смотрел на этот вознесшийся "ex luto" Мариенбург, на эти стены, башни, на черные кресты над воротами, на строениях и плащах, тому прежде всего приходило на мысль, что и врата адавы не одолеют этой северной столицы креста.

И вот с такой мыслью смотрели на нее не только Повала из Тачева и Збышко, уже бывавший здесь, но и много более сообразительный Зиндрам из Машковиц. И у него, когда он смотрел на этот вооруженный рой солдат, заключенный в ограду башен и гигантских тынов, омрачилось лицо, и невольно пришли на память гордые слова,

которыми некогда меченосцы грозили королю Казимиру:

"Сила наша больше твоей, и если ты нам не уступишь, мы будем до самого Кракова преследовать тебя своими мечами".

Но в это время комтур замка повел рыцарей далее, в Средний замок, в восточной половине которого находились покои, отводимые для гостей.

XII

Мацько и Збышко долго держали друг друга в объятиях, потому что всегда любили один другого, а в последние годы общие приключения и несчастья сделали эту любовь еще более сильной. Старый рыцарь по первому взгляду на племянника угадал, что Дануси уже нет на свете; поэтому он ни о чем не спрашивал, только прижимал юношу к себе, силой этих объятий желая показать ему, что он не остался круглым сиротой и что есть у него близкая душа, готовая разделить его горькую участь.

Наконец, когда грусть и горе их значительно облегчились от слез, Мацько спросил после долгого молчания:

– Неужели ее снова у тебя отбили? Или она умерла у тебя на руках?

– Она умерла у меня на руках под самым Спыховом, – отвечал юноша. И он стал рассказывать, как что было, прерывая рассказ свой слезами и вздохами, а Мацько слушал внимательно, тоже вздыхал, а под конец стал снова спрашивать:

– А Юранд еще жив?

– Я оставил Юранда живым, но жить ему недолго, и верно уж я его не увижу.

– Так, может быть, тебе лучше было не уезжать?

– Как же я мог вас здесь оставить?

– Двумя неделями раньше, двумя позже, не все ли равно?

Но Збышко внимательно посмотрел на него и сказал:

– Так вы здесь были больны? Вид у вас нехороший.

– Да дело в том, что солнышко хоть и греет землю, но в подземелье все-таки холодно, и сырость там отчаянная, по той причине, что замок окружен водой. Я думал – совсем заплесневею. Дышать тоже нечем, и от всего этого рана моя снова открылась, та, из которой в Богданце вылез наконец стрелы от бобрового жира.

– Помню, – сказал Збышко, – ведь за бобром-то мы с Ягенкой ходили. Так эти собачьи дети держали вас тут в подземелье?

Мацько покачал головой и ответил:

– По правде сказать, они мне не очень-то рады были, и уж мне приходилось плохо. Велика здесь злоба на Витольда и жмудинов, но еще больше – на тех из нас, которые им помогают. Напрасно я объяснял, почему мы пошли к жмудинам. Мне чуть голову не отрубили, и если не сделали этого, то только потому, что им жаль было расстаться с выкупом: сам знаешь, деньги для них важнее мести, а кроме того, им

хотелось иметь в руках доказательство, что польский король посылает помощь язычникам. Жмудины несчастные просят, чтобы их крестили, только чтобы сделали это не меченосцы; мы-то там были, мы знаем, а меченосцы делают вид, что не знают, и жалуются на них при всех дворах, а вместе с ними и на нашего короля.

Тут Мацько стал задыхаться и на время должен был замолчать; оправившись, он продолжал:

– Может быть, помер бы я в подземелье. Правда, вступался за меня Арнольд фон Баден, которому хотелось получить выкуп. Но у него нет никакого значения, и зовут его медведем. К счастью, де Лорш узнал обо мне от Арнольда и сразу поднял страшный шум. Не знаю, говорил ли он тебе об этом, потому что он любит скрывать свои хорошие поступки... Здесь его ценят, потому что один из де Лоршей когда-то занимал в ордене важные должности, а этот – высокого рода и к тому же богач. Он им говорил, что он сам наш пленник и что если мне здесь отрубят голову или уморят голодом и холодом, то ты отрубишь голову ему. Он угрожал капитулу, что расскажет при иностранных дворах, как меченосцы обращаются с опоясанными рыцарями. Наконец они испугались и положили меня в лазарет, где и воздух, и пища лучше.

– Я с де Лорша ни единой гривны не возьму, клянусь Богом.

– Приятно взять с врага, но другу простить надо, – сказал Мацько. – А так как, оказывается, у магистра с королем заключен договор об обмене пленников, то и за меня ты платить не должен.

– А наше рыцарское слово? – спросил Збышко. – Договор договором, а Арнольд мог бы нас упрекнуть в бесчестии.

Услышав это, Мацько огорчился, немного подумал и сказал:

– Но можно бы что-нибудь отторговать?

– Мы сами себя оценили. Разве мы теперь меньше стоим?

Мацько огорчился еще больше, но в глазах его отразился восторг перед Збышкой и как бы еще большая любовь к нему.

– Умеет-таки он охранить свою честь. Уж такой уродился, – проворчал он.

И стал вздыхать. Збышко думал, что это от сожаления по тем гривнам, которые предстояло уплатить фон Бадену, и потому сказал:

– Знаете что? Денег у нас и так довольно, только бы судьба была не такая скверная.

– Господь ее переменит, – с волнением сказал старый рыцарь. – Мне-то уж недолго на свете жить.

– Молчите. Здоровы будете, пусть только вас ветром обдует.

– Ветром? Ветер молодое дерево согнет, а старое ломает.

– Вона! Еще не гниют у вас кости, и до старости вам еще далеко. Не печальтесь.

– Чтобы тебе было весело, так и я бы смеялся. А все-таки есть у меня и другая причина огорчаться, а по правде сказать – не только у меня, но и у всех нас.

– Что такое? – спросил Збышко.

– А помнишь, как я тебя в лагере Скирвойллы бранил за то, что ты славил силу меченосцев? Верно, крепок наш народ на поле, но я только теперь в первый раз присмотрелся к этим собачьим детям поближе...

И Мацько, как бы из опасения быть услышанным, понизил голос:

– И теперь вижу, что ты был нрав, а не я. Да хранит нас рука Господня. Что это за сила! Что за могущество! Чешутся у наших рыцарей руки, и тянет их поскорее на немцев, да не знают они, что меченосцам все народы и все королевства помогают, что денег у них больше, вооружение лучше, замки надежнее. Да сохранит нас рука Господня... И у нас, и тут говорят, что дело должно кончиться войной и кончится, но в тот час да смилостивится Господь над нашим королевством и над нашим народом.

Тут он обхватил руками седую свою голову, уперся локтями в колени и замолчал.

Но Збышко сказал:

– Вот видите? В поединке многие из нас сильнее их, но что касается войны – вы сами поняли.

– Ой, понял. Даст бог, поймут и послы короля, а особенно рыцарь из Машковиц.

– Я видел, как он помрачнел. Говорят, что никто на свете не понимает столько в военных делах, как он.

– Если это правда, то, вероятно, войны не будет.

– Если меченосцы поймут, что они сильнее, то именно она будет. И я вам скажу откровенно: уж лучше бы либо пан, либо пропал, потому что так жить нам тоже дольше нельзя.

И Збышко тоже, как бы подавленный собственным горем и горем всего народа, опустил голову, а Мацько сказал:

– Жаль королевства, но боюсь я, как бы не покарал нас Господь за лишнюю самоуверенность. Помнишь, как тогда в Вавеле, перед собором, когда тебе собирались отрубить голову, рыцари самого Тимура Хромого вызывали на бой? А ведь он владыка сорока королевств, он из людских черепов горы складывал... Мало им меченосцев, всех сразу готовы вызвать – и тем могут прогневить Господа...

Збышко при этом воспоминании схватился за белокурые свои волосы; страшное горе внезапно охватило его, и он вскричал:

– О, кто же, как не она, спас тогда меня от палача? О, Господи Иисусе! Дануся моя... О, Господи Иисусе...

И он стал рвать на себе волосы, а потом кусать кулаки, чтобы подавить рыдания:

так взволновалось сердце его от внезапного приступа горя.

– Парень, побойся Бога... Молчи... – восклицал Мацько. – Что ты можешь сделать? Возьми себя в руки, молчи...

Но Збышко долго не мог успокоиться и опомнился только тогда, когда Мацько, который действительно был еще болен, так ослабел, что закачался и упал на скамью, потеряв сознание. Тогда юноша положил его на постель, подкрепил вином, которое прислал комтур замка, и сидел возле него до тех пор, пока старый рыцарь не уснул.

На другой день проснулись они поздно, освеженные и отдохнувшие.

– Ну, – сказал Мацько, – видно, еще рано мне помирать: я так думаю, что, если обдует меня в поле ветер, так я и в седле сидеть смогу.

– Послы останутся здесь еще несколько дней, – отвечал Збышко. – Теперь к ним ходят люди просить за пленников, пойманных в Польше во время разбоев, но мы можем ехать когда хотите и когда почувствуете себя в силах...

В эту минуту вошел Глава.

– Ты не знаешь, что там делают послы? – спросил его старый рыцарь.

– Осматривают Высокий замок и церковь, – отвечал чех. – Комтур замка сам их сопровождает, а потом они пойдут к великому рефектариям обедать, куда магистр пригласит и вашу милость.

– А ты что с утра делал?

– А я присматривался к немецкой наемной пехоте, которую обучали капитаны, и сравнивал ее с нашей, чешской.

– А ты чешскую помнишь?

– Меня подростком взял в плен рыцарь Зых из Згожелиц, но я хорошо помню, потому что с детства был до таких вещей любопытен.

– Ну и что же?

– Да ничего. Верно, крепка ихняя пехота и обучена хорошо, но это волы, а наши чехи – волки. Если бы дошло дело до чего-нибудь, так сами знаете, господин, волы волков не едят, а волки страсть как до волов лакомы.

– Верно, – сказал Мацько, который, видимо, что-то знал об этом, – кто на ваших наскочит, тот и отскочит, как от ежа.

– В бою конный рыцарь десятерых пехотинцев стоит, – сказал Збышко.

– Но взять Мариенбург может только пехота, – возразил оруженосец. На этом разговор о пехоте кончился, потому что Мацько, следуя ходу своих мыслей, сказал:

– Слушай, Глава: нынче поем я да еще маленько приду в себя – и поедем.

– А куда? – спросил чех.

– Известно, в Мазовию. В Спыхов, – сказал Збышко.

– И там останемся?...

Мацько вопросительно посмотрел на Збышку, потому что до сих пор между ними не было разговора о том, что они станут делать дальше. Кажется, у юноши решение было уже готово, но он не хотел, видимо, огорчать дядю и потому уклончиво ответил:

– Сначала вы должны вполне оправиться.

– А потом что?

– Потом? Потом вы вернетесь в Богданец. Я знаю, как вы любите Богданец.

– А ты?

– И я люблю.

– Я не говорю, чтобы ты не ехал к Юранду, – медленно проговорил Мацько, – потому что, если он помрет, то надо похоронить его прилично, но ты слушай, что я тебе скажу: ты молод, умом тебе со мной не сравняться. Какая-то несчастная земля этот Спыхов. Если что и случилось с нами хорошее – так в других местах, а там одни огорчения да расстройств.

– Это вы правду говорите, – сказал Збышко, – но там гробик Данусин...

– Молчать, – вскричал Мацько, боясь, что Збышку охватит такой же прилив горя, как был вчера.

Но на лице юноши отразилась лишь нежная грусть.

– Будет еще время решить, – сказал он, помолчав. – Все равно вам надо отдохнуть в Плоцке.

– Ухода за вашей милостью будет там вдоволь, – вставил Глава.

– В самом деле, – сказал Збышко. – Вы знаете, что там Ягенка? Она состоит при княгине Александре. Да, ведь вы знаете, потому что сами ее туда отвезли. Она и в Спыхове была. Мне даже странно, что вы ничего мне о ней у Скирвойллы не говорили.

– Не только она была в Спыхове, но без нее Юранд либо до сих пор мыкался бы по дорогам, либо помер бы где-нибудь. Я привез ее в Плоцк ради аббатава наследства, а не говорил тебе о ней потому, что если бы и говорил, так было бы то же самое. Ты тогда, несчастный, ничего знать не хотел.

– Она очень вас любит, – сказал Збышко. – Славу богу, что никакие письма не понадобились, но она достала от княгини письма с просьбами за вас.

– Да пошлет ей за это счастья Господь Бог. Лучше нее девушки на свете нет, – сказал Мацько.

Дальнейший разговор их был прерван приходом Зиндрама из Машковиц и Повалы из Тачева, которые, услышав о вчерашнем обмороке Мацьки, пришли сегодня его проведать.

– Благословен Господь Бог наш, Иисус Христос, – сказал Зиндрам, переступая порог. – Как вы сегодня?

– Спасибо, помаленьку. Збышко говорит, что только бы ветром меня обдуло – тогда совсем хорошо будет.

– Отчего не быть? Будет. Все хорошо будет, – вставил Повала.

– И отдохнул я порядком, – отвечал Мацько, – не так, как вы, рано, говорят, встали?

– Сначала приходили к нам здешние жители менять пленных, – сказал Зиндрам, – а потом осматривали мы здешнее хозяйство: дворы да замки.

– Хорошее хозяйство и хорошие замки, – мрачно проворчал Мацько.

– Конечно, хорошее. На церкви арабские украшения, о которых меченосцы говорили, что научились их делать у сарацинов в Сицилии, а в замках комнаты со столбами, где один столб стоит, а где много. Вы сами увидите большую трапезную. Укрепления тоже везде страшные, нигде больше нет таких. Таких стен и ядро каменное, даже самое большое, не прошибет. Да, просто смотреть весело...

Зиндрам говорил это так весело, что Мацько посмотрел на него с изумлением и спросил:

– А богатство их, а порядок, а войско и гости? Это вы видели?

– Они все нам показывали, будто ради гостеприимства, а на самом деле для того, чтобы у нас сердце упало.

– Ну и что же?

– Ну, бог даст, придет война – и выгоним мы их туда, за моря и горы, откуда они пришли.

Мацько, забыв в эту минуту о своей болезни, даже вскочил на ноги от изумления.

– Как? – вскричал он. – Говорят, ум у вас проворный... Я чуть не обомлел, как увидел ихнюю силу... Боже ты мой! Что же вы думаете?

И он обратился к племяннику:

– Збышко, вели-ка поставить вино, которое они нам прислали. Садитесь, рыцари, и говорите, потому что лучше этого никакой лекарь мази мне не придумает.

Збышко, тоже очень заинтересованный, сам принес жбан вина и кубки. Все сели вокруг стола, и рыцарь из Машковиц начал так:

– Укрепления – пустяк: что человеческой рукой построено, то человеческая рука и

разрушить сможет. Знаете, что кирпичи связывает? Известь. А знаете, что людей? Любовь.

– Боже мой! Мед исходит из уст ваших, рыцарь, – воскликнул Мацько. Зиндрам про себя порадовался этой похвале и продолжал так:

– Из здешних людей у одного у нас в плену брат, у другого сын, у третьего родственник какой-нибудь дальний. Пограничные комтуры велят им ходить к нам на разбой. Значит, многих убивают, многих наши в плен берут. Но тут уже люди узнали о договоре между королем и магистром. С раннего утра стали приходить к нам и называть имена пленников. Наш писарь записывал. Прежде всех пришел бочар здешний, богатый мещанин, немец. И у него дом в Мальборге. Он под конец сказал: "Если бы я мог вашему королю и королевству чем-нибудь услужить, то с радостью отдал бы не только имущество, но и голову". Я прогнал его, думая, что он еврей. Но потом приходит священник из-под Оливы, просит за брата и говорит: "Правда ли, что вы собираетесь идти войной против наших прусских господ? Знайте, что здесь уже весь народ, говоря: "Да приидет царствие Твое", – думает о вашем короле". Потом было два шляхтича, тоже насчет сыновей, были купцы из Гданска, были ремесленники, был колокольный мастер из Квидзыня, много было разных людей – и все говорили то же самое.

Тут рыцарь из Машковиц замолк, встал, поглядел, не подслушивает ли кто за дверью, и, вернувшись, договорил, немного понизив голос:

– Долго я обо всем расспрашивал. Во всей Пруссии ненавидят меченосцев: и князья, и шляхта, и мещане, и мужики. И ненавидит их не только тот народ, который говорит на нашем или на прусском языке, но даже и немцы. Кто должен служить, тот служит, но каждому зараза милее меченосца. Вот что...

– Да, но какое отношение это имеет к силам меченосцев? – беспокойно спросил Мацько.

Зиндрам провел рукой по могучему своему лбу, с минуту подумал, точно искал сравнение, потом улыбнулся и спросил:

– Вы когда-нибудь дрались на турнире?

– Конечно, и не раз, – отвечал Мацько.

– Так как же вы думаете? Разве не свалится при первом же столкновении с коня такой рыцарь, даже самый сильный, у которого подрезана подпруга и ремни у стремян?

– Обязательно.

– Ну так вот видите ли: орден – это и есть такой рыцарь.

– Боже ты мой, – вскричал Збышко, – пожалуй, лучше этого и в книжке нельзя прочесть.

А Мацько даже взволновался и сказал немного дрожащим голосом:

– Да вознаградит вас Господь. На вашу голову, рыцарь, надо шлем на заказ делать: готового не достанешь.

XIII

Мацько и Збышко собирались тотчас же уехать из Мальборга, но в тот день, когда Зиндрам из Машковиц так подкрепил их души, они не выехали, потому что в Высоком замке был обед, на который Збышко был приглашен как королевский рыцарь, а ради Збышки – и Мацько. Обед проходил при небольшом числе приглашенных в великолепной большой трапезной, которую освещали десять окон и десять расходящихся звездой сводов которой, благодаря редкостному строительному искусству, опирались всего на одну колонну. Кроме королевских рыцарей, из чужих к столу сел только один швабский граф да один бургундский, который, хоть и был подданным богатых государей, все же приехал от их имени просить у ордена денежную ссуду. Из меченосцев возле магистра сидели четыре сановника, именованных столпами ордена, то есть великий комтур, раздаватель милостыни, гардеробмейстер и казначей. Пятый столп, маршал, находился в это время в походе против Витольда.

Хотя орден принял обет нищенства, все же ели на золоте и серебре, а пили мальвазию, потому что магистр хотел ослепить взоры польских послов. Но несмотря на обилие кушаний и настойчивые угощения, гостям был слегка неприятен этот пир, вследствие затруднений в разговоре и достоинства, которые всем приходилось соблюдать. Зато ужин в огромной трапезной (Conventus Remter) был гораздо веселее, потому что к нему собрался весь конвент и все гости, еще не успевшие отправиться в поход против Витольда с войсками маршала. Веселья этого не нарушил ни один спор, ни одна ссора. Правда, заграничные рыцари, предвидя, что придется им когда-нибудь встретиться с поляками, смотрели на них недружелюбно, но меченосцы заранее их предупредили, что следует вести себя спокойно, и очень их о том просили, боясь, как бы в лице послов не оскорбить короля и все королевство. Но даже и в этом случае выразилась враждебность: рыцари предупреждали гостей о запальчивости поляков: "За каждое хоть сколько-нибудь колкое слово они вам вцепятся в бороду либо пырнут ножом". Поэтому гости были удивлены добродушием Повалы из Тачева и Зиндрама из Машковиц, а более умные из них поняли, что не так грубы польские обычаи, как злобны и ядовиты языки меченосцев.

Некоторые, привыкшие к изысканным пиршествам западных дворов, вынесли даже не особенно лестное мнение об обхождении самих меченосцев, потому что за этим ужином слишком громко играли музыканты, грубо пели "шпильманы", грубо шутили шуты, плясали медведи и босые девки. Когда же высказывалось удивление по поводу присутствия в Высоком замке женщин, то оказалось, что устав нарушался уже давно и что сам великий Винрих Книпротде плясал здесь в свое время с красавицей Марией фон Альфлебен. Братья пояснили, что в замке женщины не могут только жить, но могут приходить в трапезные на пиры и что в прошлом году княгиня, жена Витольда, жившая в обставленной по-королевски старой пушкарне, ежедневно приходила сюда играть в золотые шашки, которые каждый вечер ей дарились.

Играли и в этот вечер, не только в шашки и шахматы, но и в кости; играли даже больше, чем разговаривали, так как слова заглушало пение и эта слишком громкая музыка. Однако среди общего шума случались минуты тишины, и однажды, пользуясь такой минутой, Зиндрам из Машковиц, будто бы ни о чем не зная, спросил великого магистра, во всех ли землях ордена подданные очень любят своих владык.

На это Конрад фон Юнгинген ответил:

– Кто любит крест, тот должен любить и орден.

Ответ этот понравился и братии, и гостям; стали хвалить за него магистра, и он,

обрадовавшись, продолжал:

– Кто нам друг, тому под нашу власть хорошо, а кто враг – против того у нас есть два средства.

– Какие же? – спросил польский рыцарь.

– Быть может, вы, рыцарь, не знаете, что я хожу в эту трапезную из своих покоев по маленькой лестнице, сделанной внутри стены; возле этой лестницы есть комната со сводами, и если бы я сводил вас туда, то вы узнали бы первый способ.

– Верно! – воскликнули братья.

Рыцарь из Машковиц догадался, что магистр говорит о той "башне", полной золота, которой хвастались меченосцы, поэтому он немного подумал и отвечал:

– Когда-то... о, страх, как давно, один германский император показал нашему послу, которого звали Скарбек, такую комнату и сказал: "Есть у меня чем побить твоего господина". А Скарбек бросил туда же драгоценный свой перстень и говорит: "Ступай, золото, к золоту: мы, поляки, больше любим железо..." И знаете, рыцари, что потом было? Потом был Хундсфельд...

– Что такое Хундсфельд? – в один голос спросили несколько рыцарей.

– Это, – спокойно отвечал Зиндрам, – такое поле, на котором люди не поспевали хоронить немцев, так что под конец хоронили их собаки.

И рыцари-гости, и меченосцы очень смутились, услышав такой ответ, и не знали, что им сказать, но Зиндрам из Машковиц прибавил, как бы заканчивая разговор:

– Золотом против железа ничего не добьешься.

– Да, – вскричал магистр, – но ведь это и есть наш второй способ: железо. Видели вы оружейные мастерские? Там день и ночь работают молоты, и таких панцирей, таких мечей во всем свете не сыщешь.

Но в ответ на это Повала из Тачева протянул руку к середине стола, взял тесак, служивший для рубки мяса, шириной в полпяди и длиной в локоть, легко свернул его в трубку, точно пергамент, поднял вверх так, чтобы все могли видеть, и, наконец, подал магистру:

– Если и в мечах ваших такое железо, то немного вы ими сделаете.

И он улыбнулся, довольный собой, а духовные и светские особы даже поднялись со своих мест и толпой сбежались к великому магистру; потом они стали передавать друг другу свернутый в трубку тесак, но все молчали, так как сердца у них сжались при виде такой силы.

– Клянусь головой святого Либерия, – воскликнул в конце концов магистр, – у вас, рыцарь, железные руки.

А граф бургундский прибавил:

– И из лучшего железа, чем это. Так свернул тесак, точно он восковой.

– Даже не покраснел и жилы у него не вздулись! – воскликнул один из меченосцев.

– Народ наш, – отвечал Повала, – простой, он не знает такого богатства, какое я вижу здесь, но зато крепок.

Тут подошли к нему французские и итальянские рыцари и стали говорить с ним на звонких своих языках, о которых старик Мацько говорил, что это похоже на то, как если бы кто-нибудь стучал оловянной посудой. Они дивились его силе, а он с ними чокался и отвечал:

– У нас на пирах часто такие вещи делают, а бывает, что тесак поменьше – так его и девушка какая-нибудь свернет.

Но немцам, которые любили хвастаться перед гостями своим ростом и силой, было стыдно, а кроме того, брала их злость, и потому старик Гельфенштейн стал кричать через весь стол:

– Это для нас позор. Брат Арнольд фон Баден, покажи, что и наши кости не из церковных свечей сделаны. Дайте ему тесак.

Слуги тотчас принесли тесак и положили его перед Арнольдом, но тот, потому ли, что его смутил вид стольких свидетелей, потому ли, что силы в пальцах у него, действительно, было меньше, чем у Повалы, – как бы то ни было, – он, правда, согнул тесак до половины, но свернуть его трубкой не мог.

И вот не один из иностранных гостей, которым не раз перед тем меченосцы шептали, что зимой настанет война с королем Ягеллой, не один из них крепко призадумался и вспомнил в этот миг, что зима в тех странах очень сурова и что лучше, пожалуй, вернуться, пока не поздно, под более нежное небо, в родной замок.

И во всем этом было удивительно то, что подобные мысли стали им приходиться в голову в июле, во время прекрасной погоды и даже зноя.

XIV

В Плоцке Збышко и Мацько не застали никого из двора, так как князь с княгиней и всеми детьми уехали в гости в Черск, куда их пригласила княгиня Анна Данута. О Ягенке узнали они от епископа, что она собиралась остаться в Спыхове при Юранде до самой его смерти. Известия эти им были на руку, так как и сами они хотели ехать в Спыхов. Мацько при этом очень восхвалял доброту Ягенки: она, дескать, предпочла отправиться к умирающему человеку, который не был даже ее родственником, нежели на черские празднества, на которых не могло быть недостатка в танцах и разных удовольствиях.

– Может быть, она сделала это и для того, чтобы не разъехаться с нами, – говорил старый рыцарь. – Я не видел ее давно уже и рад буду повидаться, потому что знаю, что и она меня любит. Выросла, должно быть, девка, небось еще лучше, чем раньше была.

А Збышко сказал:

– Она очень изменилась. Она всегда была хороша, но я помнил ее простой девушкой, а теперь ей прямо хоть в королевские покои идти.

– Неужели так изменилась? Положим, ведь эти Ястшембцы из Згожелиц – род старый и славный.

Наступило молчание; потом старый рыцарь снова заговорил:

– Наверное, так и будет, как я тебе говорил: ей захочется в Згожелицы.

– Мне и то странно было, что она оттуда уехала.

– Она хотела присмотреть за больным аббатом, за которым настоящего ухода не было. Кроме того, она боялась Чтана и Вилька, и я сам сказал ей, что братьям без нее будет безопаснее, нежели при ней.

– Правильно, на сирот они не могли напасть. Мацько задумался.

– Только боюсь, не отомстили ли они там мне за то, что я ее увез. Одному Богу известно, осталось ли хоть что-нибудь от Богданца. И не знаю, смогу ли от них защититься, когда вернусь. Они ребята молодые и сильные, а я стар.

– Ну уж это вы говорите тому, кто вас не знает, – отвечал Збышко.

И в самом деле, Мацько говорил это не совсем искренне. Ему нужно было другое, но сперва он только махнул рукой.

– Кабы я не хворал в Мальборге, тогда еще туда-сюда, – сказал он. – Но об этом мы поговорим в Спыхове.

И на другой же день, переночевав в Плоцке, они направились к Спыхову.

Дни были ясные, дорога сухая, легкая, к тому же безопасная, потому что ввиду последних переговоров меченосцы прекратили разбои на границе. Впрочем, рыцари принадлежали к таким путникам, перед которыми и разбойнику лучше издали поклониться, чем их задеть; поэтому дорога проходила спокойно, и на пятый день по отъезде из Плоцка они рано утром без труда достигли Спыхова. Ягенка, которая была привязана к Мацьке, как к самому близкому другу на свете, встретила его, точно отца родного, а он, хоть и не могли его растрогать какие-нибудь пустяки, был все же взволнован лаской доброй девушки. И когда немного спустя Збышко расспросил о Юранде, пошел сам к нему и к своему "гробнику", старый рыцарь глубоко вздохнул и сказал:

– Ну кого Господь хотел взять, того взял, а кого хотел оставить, того оставил; но я так думаю, что теперь кончены наши мытарства и скитания по разным трущобам и дебрям.

И помолчав, он прибавил:

– Эх, где только не носил нас Господь Бог за последние годы.

– Но рука Господня хранила вас, – отвечала Ягенка.

– Правда, что хранила, но, по правде сказать, все-таки пора уж домой.

– Нам надо остаться здесь, пока Юранд не умер, – сказала девушка.

– А каков он?

– Смотрит вверх и смеется: должно быть, уж рай видит, а в нем Данусю.

– Ухаживаешь за ним?

– Ухаживаю, да ксендз Калев говорит, что уж ангелы скоро его на свое попечение примут. Вчера ключница здешняя двоих видела.

– Говорят, – сказал на это Мацько, – что шляхтичу подобает умереть на поле битвы; но так умирать, как Юранд, хорошо и на постели.

– Не ест ничего, не пьет, все только смеется, – сказала Ягенка.

– Пойдем к нему. Збышко тоже, должно быть, там.

Но Збышко недолго побыл у Юранда, который никого не узнавал, и пошел в подземелье, к гробу Дануси. Там пробыл он до тех пор, пока старый Толима не пришел искать его, чтобы позвать завтракать. Уходя, при свете факела Збышко заметил, что весь гроб покрыт веночками из чабера и ноготков, а чисто выметенный вокруг гроба пол посыпан аиром и липовым цветом, издававшим медовый запах, и при виде этого зрелища сердце юноши преисполнилось благодарности, и он спросил:

– Кто это так украшает гробик?

– Панна из Згожелиц, – отвечал Толима.

Молодой рыцарь не ответил на это ничего, но немного спустя, увидев Ягенку, он неожиданно упал к ее ногам и, обняв колени ее, воскликнул:

– Да вознаградит тебя Бог за твою доброту и за цветы на Данусином гробике!

И сказав это, он горько заплакал, а она обняла руками его голову, как сестра, которая хочет приласкать огорченного брата, и сказала:

– Ой, милый Збышко, я хотела бы еще больше тебя утешить. И из глаз ее тоже покатались частые слезы.

XV

Юранд умер несколько дней спустя. Целую неделю совершал ксендз Калев службы над его телом, которое совсем не разлагалось, в чем все усматривали чудо Божье, и целую неделю Спыхов был полон гостей. Потом наступило время тишины, какая всегда бывает на похоронах. Збышко ходил в подземелье, а иногда в лес, с арбалетом, из которого, впрочем, не стрелял; так все ходил и ходил он, точно в самозабвении, но однажды вечером пришел в комнату, где сидели с Мацькой и Главой девушки, и внезапно сказал:

– Послушайте, что я скажу. Печаль никого не красит, а потому лучше вам возвращаться в Богданец и Згожелицы, нежели сидеть тут в печали!

Настало молчание, потому что все угадали, что разговор будет очень большого значения, и только через несколько времени Мацько заговорил первый:

– Нам лучше, но и тебе тоже лучше.

Но Збышко встряхнул своими белокурыми волосами.

– Нет, – сказал он, – Бог даст, вернусь в Богданец и я, но теперь надо мне собираться в другой путь.

– Эх, – вскричал Мацько, – я говорил, что конец, а выходит, что не конец. Побойся же ты Бога, Збышко.

– Ведь вы же знаете, что я дал обет.

– Так это и есть причина? Нет у тебя Дануси, нет и обета. Смерть разрешила тебя от клятвы!

– Моя бы смерть меня разрешила, но не ее. Я клялся перед Богом рыцарской честью. Чего же вы хотите? Рыцарской честью.

Каждое слово о рыцарской чести производило на Мацьку как бы волшебное действие. В жизни своей, кроме заповедей Божьих да церковных, он руководствовался не многими иными, но зато этими несколькими руководствовался неуклонно.

– Я тебе не говорю, чтобы ты не сдержал клятвы, – сказал он.

– А что же?

– А то, что ты молод и что времени у тебя на все хватит. Поезжай теперь с нами; отдохнешь, от горя и скорби оправившись, а там и поедешь, куда захочешь.

– Ну так я вам скажу, как на исповеди, – отвечал Збышко. – Езжу я, сами видите, куда надо, говорю с вами, ем и пью, как каждый человек, но по совести говорю, что внутри себя, в душе, не знаю, что делать. Одна грусть во мне, одно горе да горькие слезы, так сами из глаз и катятся.

– Так вот, тебе между чужими и будет всего хуже.

– Нет, – сказал Збышко. – Бог видит – в Богданце я совсем зачахну. Уж если я вам говорю, что не могу, – значит, не могу. Мне война нужна: в бою легче забыть. Чувствую, что как только исполню обет, так смогу сказать той душе святой: я все сделал, что обещал тебе. И тогда она меня оставит. А до тех пор – нет. В Богданце вы меня и на веревке не удержите...

После этих слов в комнате стало тихо, так что слышно было, как у потолка жужжат мухи.

– Чем ему чахнуть в Богданце, пусть лучше едет, – сказала наконец Ягенка.

Мацько заложил обе руки за голову, как делал всегда в минуты большой озабоченности, потом тяжело вздохнул и сказал:

– Эх, господи боже ты мой!..

Ягенка же продолжала:

– Збышко, но ты поклянись, что если Господь сохранит тебя, то ты не останешься

здесь, а вернешься к нам.

– Отчего же мне не вернуться. Конечно, мимо Спыхова не проеду, но здесь совсем не останусь.

– Дело в том, – продолжала девушка тихим голосом, – что, если тебя заботит гробик, так мы отвезем его в Кшесню..

– Ягуся! – взволнованно вскричал Збышко.

И в порыве восторга и благодарности упал к ее ногам.

XVI

Старый рыцарь во что бы то ни стало хотел сопровождать племянника к войскам князя Витольда, но тот не дал ему даже говорить об этом. Он во что бы то ни стало хотел ехать один, без обоза, с тремя только вооруженными слугами, из которых один должен был везти съестные припасы, другой оружие и одежду, а третий медвежьи шкуры для спанья. Напрасно Ягенка и Мацько умоляли его взять с собой хоть Главу, как оруженосца испытанной силы и верности. Збышко уперся и не хотел, говоря, что ему надо забыть о том горе, которое его точит, а присутствие оруженосца напоминало бы ему обо всем, что было и прошло.

Но еще до его отъезда происходили важные совещания о том, что делать со Спыховом. Мацько советовал это имение продать. Он говорил, что это земля несчастная, которая никому не принесла ничего, кроме горя и несчастья. В Спыхове было много всякого богатства, начиная от денег и кончая оружием, лошадьми, одеждой, кожухами, дорогими шкурами, драгоценной утварью и стадами. Поэтому Маньке в душе хотелось этим богатством поддержать Богданец, который был ему милее всех других земель. Долго совещались об этом, но Збышко ни за что не хотел согласиться на продажу.

– Как же я могу, – говорил он, – продавать кости Юранда? Так ли я должен отплатить ему за те благодеяния, которыми он меня осыпал?

– Мы обещали тебе взять гробик Дануси, – отвечал Мацько, – можем взять и тело Юранда.

– Он тут с предками, а без предков ему в Кшесне будет скучно. Если вы возьмете Данусю, он тут останется вдали от дочери; возьмете и его – тут предки одни останутся.

– А ты то забыл, что Юранд в раю каждый день всех видит, а ведь отец Калев говорит, что он в раю, – отвечал старый рыцарь.

Но ксендз Калев, который был на стороне Збышки, сказал:

– Душа в раю, но тело на земле, до самого дня Страшного суда.

Мацько слегка призадумался и, следуя за ходом своих мыслей, прибавил:

– Верно, там Юранд разве только того не увидит, кто осужден. Тут уж ничего не поделаешь.

– Что там толковать о суде Божьем, – отвечал Збышко. – Но и того не дай бог,

чтобы над святыми останками этими жил человек. Лучше всех здесь оставить, а Спыхова я не продам, хотя бы мне за него целое княжество давали.

После этих слов Мацько уже знал, что тут ничего не поделаешь, потому что знал упорство племянника и в глубине души восхищался им, как и всем, что касалось Збышки.

И он сказал, подумав:

– Правда, против меня говорит этот парень, но в том, что говорит – прав. И он расстроился, потому что все-таки не знал, что делать.

Но Ягенка, которая до сих пор молчала, выступила с новым советом:

– Если бы можно было найти честного человека, который тут всем заведовал бы или взял бы Спыхов в аренду, то не было бы у вас никаких забот, а деньги вы получали бы. Может быть, Толима?... Он стар и больше понимает в войне, чем в хозяйстве, но если не он, так, может быть, вы, отец Кaleb?...

– Милая панна! – отвечал ксендз Кaleb. – Оба мы с Толимой ищем земли, да не той, по которой ходить, а той, которая нас покроет.

И сказав это, он обратился к Толиме:

– Верно, старик?...

Толима приложил руку к острому своему уху и спросил: "Что?" – а когда ему повторили громче, в чем дело, он сказал:

– Святая истина! Не гожусь я хозяйничать. Топор пашет глубже, чем плуг!.. Вот за пана и дочку его я бы еще рад отомстить!..

И он вытянул вперед худые, но жилистые руки, с искривленными, как когти хищной птицы, пальцами, и, поворачивая седую, похожую на волчью, голову в сторону Мацьки и Збышки, прибавил:

– На немцев возьмите меня, ваша милость, вот это мое дело.

И он был прав. Во много раз увеличил он богатства Юранда, но только при помощи войны и добычи, а не хозяйством.

Тогда Ягенка, которая во все время этого разговора обдумывала, что сказать, снова проговорила:

– Здесь нужен человек молодой и не робкий, потому что граница ордена рядом; такой, я говорю, человек, который бы не только не прятался от немцев, но и сам искал бы их; поэтому я так думаю, что, например, Глава как раз подошел бы...

– Глядите-ка как рассуждает! – сказал Мацько, у которого, несмотря на всю любовь к Ягенке, никак не умещалось в голове, чтобы в таком деле могла принимать участие женщина, да еще девушка!

Но чех встал со скамьи, на которой сидел, и сказал:

– Бог видит, что я рад бы идти на войну с паном Збышкой: мы уже вместе маленько поколотили немцев, поколотили бы и еще!.. Но если уж мне оставаться, так я бы остался здесь... Толима мне друг, он меня знает... Орденская граница близко? Так что ж из этого?... Посмотрим, кому раньше надоеет соседство. Чем мне их боятся – пускай-ка они боятся меня. Не дай бог, чтобы я причинил вам убытки в хозяйстве и стал искать своей пользы. В этом панна за меня поручится: она знает, что я бы лучше подох сто раз, чем явиться мне к ней с грехом на совести... В хозяйстве я знаю толк, в Зго-желицах насмотрелся, но я так думаю, что здесь надо больше хозяйничать топором да мечом, чем плугом. И все это мне очень по душе, только что, если... того... если здесь остаться... тогда...

– Что тогда? – спросил Збышко. – Чего ты тянешь? Глава очень смутился и продолжал, заикаясь:

– Как уедет панна – так и все с ней уедут. Воевать – ладно, хозяйничать – тоже, но ежели одному... без всякой помощи... Страсть, как мне было бы скучно здесь без паненки и без... того... что это я хотел сказать?... Паненка-то не одна ездила... значит, никто мне здесь не поможет... не знаю...

– Про что он толкует? – спросил Мацько.

– Умный вы человек, а ничего не поняли, – отвечала Ягенка.

– А что?

Вместо ответа она обратилась к оруженосцу:

– А если бы с тобой, например, Ануля Сецеховна осталась? Ты бы выдержал?

В ответ чех грянулся к ее ногам, даже пыль поднялась с пола.

– Я бы с ней и в аду выдержал, – вскричал он, обнимая ноги Ягенки.

Збышко, услышав это восклицание, с удивлением взглянул на оруженосца, потому что раньше ни о чем не знал и ни о чем не догадывался; Мацько тоже дивился в душе тому, как много значит в людских делах женщина и как благодаря ей всякое дело может то удасться, а то и совсем пропасть.

– Бог милостив, – пробормотал он, – я-то уж до них не охотник. Однако Ягенка, опять обратившись к Главе, сказала:

– Но теперь нам только надо знать, выдержит ли с тобой Ануля.

И она позвала Сецеховну. Та вошла, видимо, зная или догадываясь, о чем идет речь; как бы то ни было, она закрыла глаза рукой, а голову опустила так низко, что виден был только пробор ее светлых волос, которые казались еще светлее, освещенные падающим на них лучом солнца. Она сначала остановилась у притолки, а потом, подбежав к Ягенке, упала перед ней на колени и спрятала лицо в складках ее юбки.

А чех стал на колени рядом с нею и сказал Ягенке:

– Благословите нас, панна.

XVII

На другой день настала минута отъезда Збышки. Сам он сидел высоко на боевом, рослом коне, а свои окружали его. Ягенка, стоя у стремени, молча подняла на юношу свои грустные голубые глаза, точно хотела вдоволь наглядеться на него перед разлукой. Мацько с ксендзом Калобом стояли у другого стремени, там же, где и оруженосец с Сецеховной. Збышко поворачивал голову то в одну, то в другую сторону, обмениваясь с окружающими теми короткими словами, которые говорятся обычно перед долгим путем: "Будьте здоровы", "Да хранить тебя Бог", "Пора", "Да, пора, пора". Он уже раньше простился со всеми и с Ягенкой, которой обнял колени, благодаря за доброту. Теперь же, когда он смотрел на нее с высокого рыцарского седла, ему хотелось сказать ей еще какое-нибудь доброе слово, потому что ее поднятые кверху глаза и лицо так явственно говорили ему: "Вернись". И сердце его наполнилось горячей признательностью. И как бы отвечая на эту немую речь, он сказал:

– Ягуся, ты мне как сестра родная... Знай это... Больше ничего не скажу...

– Знаю. Спасибо тебе.

– И о дяде помни.

– И ты помни.

– Вестимо, вернусь, коли не погибну.

– Не погибай.

Уже однажды, в Плоцке, когда он заговорил о походе, она точно так же сказала ему: "Не погибай", но теперь эти слова шли как будто еще глубже из души ее, и, может быть для того, чтобы скрыть слезы, она наклонилась так, что голова ее на мгновение коснулась колена Збышки.

Между тем верховые слуги, стоя в воротах, совсем готовые в путь, запели:

Не пропадет золотое колечко, Ворон его отнесет к ненаглядной...

– В путь! – крикнул Збышко.

– В путь.

– Спаси тебя Царица Небесная...

Застучали копыта по деревянному подъемному мосту, один из коней протяжно заржал, другие громко зафыркали, и всадники тронулись.

Ягенка, Мацько, ксендз, Толима, чех со свой невестой и те слуги, которые оставались в Спыхове, вышли на мост и смотрели вслед уезжающим. Ксендз Калоб долго осенял их крестным знаменем и наконец, когда они скрылись за высокими зарослями, сказал:

– Под этим знаком никакая беда их не постигнет.

А Мацько прибавил:

– Верно, однако, и то хорошо, что лошади фыркали.

* * *

Но и они недолго оставались в Спыхове. Через две недели старый рыцарь устроил все дела с чехом, который остался арендатором имения, а сам во главе большого обоза, окруженного вооруженными слугами, направился с Ягенкой в сторону Богданца. Не очень были довольны Толима и ксендз Калев, глядя на эти возы, потому что, по правде сказать, Мацько слегка ограбил Спыхов, но так как Збышко все управление доверил ему, то никто не посмел противиться. Впрочем, он взял бы еще больше, если бы его не сдерживала Ягенка, с которой он по-настоящему ссорился, негодуя на "бабий ум", но которую слушался почти во всем.

Однако гроба Дануси они не взяли, потому что раз Спыхов не был продан, Збышко предпочел, чтобы она осталась с предками. Зато взяли множество денег и разного добра, по большей части награбленного в разные времена у немцев в боях, которые происходили у них с Юрандом. И вот Мацько, поглядывая теперь на нагруженные, покрытые рогожами возы, радовался при мысли, как он поддержит и устроит Богданец. Но радость эту отравляло опасение, что Збышко может быть убит; однако зная рыцарскую опытность юноши, старик не терял надежды, что племянник благополучно вернется назад. И он с наслаждением думал об этой минуте.

"Может быть, так было Богу угодно, – говорил он себе, – чтобы Збышко сперва получил Спыхов, а потом Мочидолы и все, что осталось после аббата? Только бы он вернулся благополучно, а уж я ему в Богданце выстрою славную крепостцу. А тогда посмотрим..."

Тут вспомнилось ему, что Чтан из Рогова и Вильк из Бжозовой, наверно, встретят его не особенно ласково и что, пожалуй, придется с ними подраться, но он по этому поводу не волновался, как не волнуется старый боевой конь, когда ему предстоит идти в битву. Здоровье к нему вернулось, он ощущал силу в костях и знал, что легко справится с этими забияками, правда, сильными, но не обладающими никаким рыцарским опытом. Правда, недавно он говорил Збышке совсем другое, но говорил это лишь для того, чтобы склонить юношу к возвращению в Богданец.

"Я – щука, они – плотва, – думал он, – пускай лучше близко ко мне не подходят".

Зато стало беспокоить его нечто иное: Збышко еще бог весть когда вернется, да и Ягенку считает всего только сестрой. Ну как девушка тоже смотрит на него как на брата и не захочет дожидаться его возвращения, которое еще то ли будет, то ли нет?

Поэтому он обратился к ней и сказал:

– Слушай, Ягна, я не говорю о Чтане и Вильке, потому что это грубые мужики и тебе не пара. Ты теперь придворная дама... Конечно, не Чтан и не Вильк... Но как ты полагаешь?

– О чем вы спрашиваете?

– Не выйдешь ли ты за кого-нибудь?

– Я? Я пойду в монахини.

– Не болтай что попало. А если Збышко вернется? Но она покачала головой:

– Я пойду в монахини.

– Ну а если он тебя полюбит? Если он тебя страсть как просить станет.

В ответ на эти слова девушка повернула покрасневшее лицо к полю, но ветер, который дул как раз оттуда, принес Мацьке тихий ответ:

– Тогда не пойду.

XVIII

Несколько времени они пробыли в Плоцке, чтобы уладить дела с наследством и завещанием аббата, а потом, снабженные надлежащими документами, отправились дальше, мало отдыхая на дороге, которая была легка и безопасна, потому что жара высушила болота, сузила реки, а дороги пролегали по спокойным местностям, населенным своими и гостеприимными людьми. Однако из Серадзи осторожный Мацько послал слугу в Эгожелицы объявить о своем прибытии и о прибытии Ягенки, вследствие чего брат ее, Ясько, выехал их встречать и во главе вооруженных слуг сопровождал до самого дома.

Немало было при этой встрече радости, поцелуев и восклицаний. Ясько всегда был похож на Ягенку, как две капли воды, но уже перерос ее. Это был отличнейший малый: разбитной, веселый, как покойник Зых, от которого он унаследовал склонность к непрестанному пению, и живой, как искра. Он чувствовал уже себя взрослым, сильным и считал себя зрелым мужчиной, распоряжался своими слугами, как настоящий военачальник, они же мгновенно исполняли каждое его приказание, боясь, видимо, его силы и власти.

Всему этому очень дивились Мацько с Ягенкой, а Ясько с большой радостью дивился красоте и обращению сестры, которой давно не видел. При этом он говорил, что уже собирался к ней и еще бы немного – и они бы не застали его дома, потому что и так надо ему свет посмотреть, с людьми пожить, набраться рыцарской опытности, а также поискать случаев сразиться со странствующими рыцарями.

– Свет и обычаи узнать, – сказал ему на это Мацько, – это дело хорошее, потому что это учит тому, как выйти из того или иного положения и что сказать, а также укрепляет природный ум. Что же касается сражений с рыцарями, то лучше будет, если я скажу тебе, что для этого ты еще молод, чем если это скажет тебе какой-нибудь чужой рыцарь, который не задумается при этом над тобой посмеяться.

– Ну после этого смеха он бы заплакал, – отвечал Ясько, – а если не он, так его жена и дети.

И он вызывающе поглядел вперед, точно хотел сказать всем странствующим рыцарям на свет:

– Готовьтесь к бою не на жизнь, а на смерть.

Но старый рыцарь из Богданца спросил:

– А Чтан и Вильк оставляли вас тут в покое? Они все на Ягенку поглядывали.

– Э, Вильк убит в Силезии. Он хотел там взять приступом одну немецкую крепостцу и взял, да на него со стены скатили колоду: он через два дня Богу душу и отдал.

– Ну, жаль его. Хаживал и отец его на немцев в Силезию. Они там наш народ притесняют. И добычу с них брал.. Ничего нет хуже, как крепости брать, тут ни оружие, ни знание дела не помогут. Бог даст, князь Витольд не будет брать замков, а только в поле бить меченосцев.. А Чтан? О нем что слышать?

Ясько начал смеяться:

– Чтан женился. Взял дочь мужика из Высокого Берега, она красотой славилась. Э, она девка не только красивая, но и умная: ведь Чтану многие в силе уступят, а она его по волосатой морде колотит и за нос его водит, как медведя на цепи.

Услыхав это, старый рыцарь развеселился:

– Вишь ты какая! Все бабы одинаковы. Ягенка, и ты такая же будешь. Слава богу, что не было возни с этими забияками, потому что, по совести говоря, мне даже странно, что они на Богданце злобу свою не сорвали.

– Чтан было хотел, да Вильк, который был поумнее, не дал ему. Приехал он к нам в Згожелицы, спрашивает: что случилось с Ягенкой? Я ему сказал, что она поехала после аббата наследство получать. А он говорит: "Почему же мне Мацько об этом не говорил?" А я ему на это: "А что же, твоя, что ли, Ягенка? Зачем тебе все рассказывать?" Подумал он маленько. "Правда, – говорит, – что не моя". И так как ум-то у него был, то он, видно, сразу сообразил, что и вас, и нас к себе расположит, если будут оберегать Богданец от Чтана. Подрались они между собой на Лавице, возле Песков, и поколотили друг друга, а потом пьянствовали, как у них всегда дело кончалось.

– Пошли, Господи, Вильку царство небесное, – сказал Мацько.

И глубоко вздохнул, радуясь, что в Богданце не найдет других убытков, кроме тех, причиной которых могло быть его долгое отсутствие.

И действительно, не нашел, напротив, стада даже немного увеличились. Убыток весь заключался лишь в том, что несколько пленников убежало, да и то немного, потому что они могли убежать только в Силезию, но там немецкие или онемеченные разбойники-рыцари хуже обращались с пленниками, чем польская шляхта. Однако старый, огромный дом заметно пришел в упадок. Потрескались полы, покосились стены и потолки, а сосновые балки, срубленные двести лет тому назад, а то и больше, начали гнить. Во всех комнатах, где жил некогда многочисленный род Градов богданецких, во время обильных летних дождей протекали потолки. Крыша продырявилась и покрылась целыми кочками зеленого и рыжего мха. Все строение осело и казалось большим, но состарившимся грибом.

– Если бы был присмотр, все бы еще держалось, потому что недавно начало портиться, – говорил Мацько старому управляющему Кондрату, который в отсутствие панов заведовал имением.

А потом прибавил:

– Я-то и так бы прожил до смерти, но Збышке надобен замок.

– Боже ты мой! Замок?

– Да. А то как же?

Построить для Збышки и будущих его детей замок – это была любимая мысль старика. Он знал, что если шляхтич живет не в простом помещичьем доме, а за рвом и частоколом, да если к тому же у него есть сторожевая башня, с которой часовые осматривают окрестности, то такого шляхтича и соседи начинают уважать, и именем управлять ему легче. Для себя самого Мацько желал уже немногого, но для Збышки и его будущего потомства не хотел удовлетвориться малым, тем более теперь, когда состояние так сильно возросло.

"Только бы он женился на Ягенке, – думал Мацько, – ведь за ней Мочидолы и аббатство наследство. Тогда никто во всем округе не мог бы с ним равняться. Дай, Господи..."

Но все это зависело от того, вернется ли Збышко. А это было дело неведомое и зависящее от милосердия Божьего. Тогда Мацько говорил себе, что надо ему быть теперь с Господом Богом в хороших отношениях и не только ничем не гневить его, но и насколько возможно расположить в свою пользу. Для достижения этого он не жалел для кшесененского костела ни воску, ни зерна, ни дичи, а однажды вечером, приехав в Згожелицы, сказал Ягенке:

– Завтра я еду в Краков, ко гробу святой королевы нашей Ядвиги. Она от страха вскочила со скамьи:

– Неужели вы получили какую-нибудь скверную весть?

– Никакой вести не было, оттого что и не могло еще быть. Но ты помнишь, что когда я хворал от торчащего в боку наконечника (вы тогда со Збышкой за бобром ходили), дал я обет, что если Бог возвратит мне здоровье, то я пойду к этому гробу. Очень тогда все хвалили такое мое желание. И верно. Много у Господа Бога святых слуг, но ведь какой попало святой и там не значит столько, сколько наша королева, которую я не хочу обидеть еще и потому, что меня Збышко заботит.

– Правда. Верно, – сказала Ягенка. – Но ведь вы только что вернулись из такого ужасного путешествия...

– Ну так что ж? Уж лучше я все сразу сделаю, а потом буду спокойно сидеть дома до самого возвращения Збышки. Пусть только королева наша заступится за него перед Господом: тогда при его оружии и латах десять немцев с ним ничего не сделают... Тогда я с большей надеждой буду замок строить...

– Ну и крепки же вы.

– Вестимо, крепок. А я тебе кое-что скажу. Пускай Ясько, которому дома не сидится, со мной едет. Я человек бывалый, сумею его сдержать. А ежели что случится – ведь у мальчика руки-то чешутся, так ведь ты знаешь, что мне и бой не в диковинку, все равно, пешком или на конях, на мечях или на топорах...

– Я знаю. Лучше вас никто его не уберезет.

– Но я так думаю, что не придется подраться, потому что пока королева была жива, в Кракове всегда было много чужих рыцарей, которые приезжали смотреть на ее красоту, а теперь они охотнее ездят в Мальборг: там бочки с мальвазией пузастей.

– Ну зато ведь есть новая королева.

Но Мацько поморщился и махнул рукой:

– Видал я, и ничего больше не скажу. Понимаешь?

А помолчав прибавил:

– Недели через три или четыре мы вернемся.

Так и случилось. Старый рыцарь только велел Яське поклясться рыцарской честью и головой святого Георгия, что дальше он никуда не поедет, и они отправились.

До Кракова добрались без приключений, потому что места были спокойные, а от нападений со стороны онемеченных пограничных князьков и немецких разбойников-рыцарей эту страну ограждал страх перед властью короля и мужеством обитателей. Исполнив обет, они при помощи Повалы из Тачева и князька Ямонта попали к королевскому двору. Мацько думал, что и при дворе, и в других местах его будут обстоятельно расспрашивать о меченосцах как человека, который их хорошо узнал и к ним присмотрелся вблизи. Но после разговора с канцлером и краковским мечником старик с удивлением убедился, что они знают о меченосцах не только не меньше, но даже больше, чем он. До самых мельчайших подробностей было известно все, что делается в Мальборге и даже в отдаленнейших замках. Известно было, где какие команды, сколько где войска, каковы планы меченосцев на случай войны. Известно было даже о каждом комтуре, порывистый ли он человек и горячий или же рассудительный; и все записывалось так заботливо, точно война должна была вспыхнуть завтра.

Старый рыцарь очень обрадовался этому в душе, так как понимал, что к этой войне готовятся в Кракове гораздо рассудительнее, умнее и серьезнее, нежели в Мальборге. "Господь Бог дал нам такую же храбрость, а то и больше, – говорил себе Мацько, – а ума-то, видно, побольше и побольше предусмотрительности". На этот раз так и было. Кроме того, Мацько случайно узнал, откуда получают эти известия: их доставляли жители самой Пруссии, люди всех состояний, как поляки, так и немцы. Орден сумел возбудить против себя такую ненависть, что все в Пруссии ждали как избавления прихода Ягелловых войск.

Тут вспомнилось Мацьке то, что когда-то говорил в Мальборге Зиндрам из Машковиц, и он стал повторять про себя:

"Есть у него голова на плечах. Есть".

И старик подробно припоминал каждое его слово и однажды даже признался у Зиндрама ума; когда случилось, что молодой Ясько стал расспрашивать о меченосцах, Мацько ответил:

– Сильны они, мерзавцы, да что ты думаешь? Разве не вылетит из седла самый сильный рыцарь, если у него надрезаны подпруга и стремяна?

– Вылетит, как бог свят, – отвечал юноша.

– Ну вот видишь! – громко воскликнул Мацько. – Это-то я хотел тебе объяснить!

– А что именно?

– То, что орден и есть такой рыцарь.

И помолчав, Мацько прибавил:

– Не от всякого это услышишь небось.

И так как молодой рыцарь не мог еще хорошенько понять, в чем тут дело, старик стал ему объяснять, но забыл прибавить, что сравнение это он не сам выдумал, а вышло оно слово в слово из могучей головы Зиндрама из Машковиц.

XIX

В Кракове они пробыли недолго, но пробыли бы еще меньше, если бы не просьбы Яськи, который хотел насмотреться на людей и город, ибо все там казалось ему чудесным сном. Однако старому рыцарю мучительно хотелось скорее домой, к жатве, так что мало помогли эти просьбы, и к Успенью оба уже вернулись: один в Богданец, другой – в Згожелицы, к сестре.

С этой поры жизнь их стала тянуться довольно однообразно, наполненная работами по хозяйству и обычными деревенскими хлопотами. Хлеба в низко расположенных Мочидолах взошли на славу, но в Богданце, из-за сухого лета, урожай оказался плохим, и чтобы его собрать, большого труда не понадобилось. Вообще там было мало пахотной земли, потому что почти все имение состояло из леса, а вследствие долгого отсутствия хозяев даже и вырубленные места, которые аббат уже очистил было от пней и приспособил к запашке, снова заросли из-за отсутствия рабочих рук. Старый рыцарь, несмотря на свою чувствительность к какому бы то ни было ущербу, не особенно принимал это близко к сердцу, потому что знал, что с деньгами легко будет во всем лад и порядок, было бы только для кого трудиться и работать. Но именно это сомнение отравляло его работу и существование. Правда, рук он не опускал, вставал до рассвета, ездил к стадам, присматривал за полевыми и лесными работами, выбрал даже место для замка и крепостцы, подготовил строевой лес, но когда после знойного дня солнце таяло в золотых и багряных лучах заката, порой охватывала его страшная тоска, а вместе с ней и тревога, какой он никогда не испытывал. "Я тут хлопочу, – говорил он себе, – а там, может быть, лежит мой мальчик где-нибудь в поле, пронзенный копьем, а волки справляют по нему тризну". При этой мысли сердце его сжималось от великой любви и великого горя. И тогда он чутко прислушивался, не услышит ли топота, который ежедневно возвещал прибытие Ягенки: дело в том, что, стараясь делать при ней бодрый вид, он и сам несколько утешался.

Она же ездила каждый день, обыкновенно под вечер, с арбалетом, привязанным к седлу, и с копьем, которые брала на случай какого-нибудь приключения на обратном пути. Было совершенно немыслимо рассчитывать, что она когда-нибудь неожиданно застанет Збышку уже дома, так как Мацько не решался ждать его раньше, как через год, а то и полтора, но, видимо, и такая надежда таилась в девушке: приезжала она не так, как в старые времена, в подвязанной тесьмой рубашке, в тулупе, вывернутом шерстью наружу, и с листьями в растрепанных ветром волосах, а с отлично заплетенной косой и в платье из цветного серадзского сукна. Мацько выходил к ней навстречу, и первый вопрос ее всегда был один и тот же: "Ну что?" – а первый его ответ: "Да ничего". Потом он вел ее в комнаты, и они при свете огня разговаривали о Збышке, о Литве, о меченосцах и о войне, вечно одно за другим, вечно одно и то же, и никогда ни одному из них не только не надоедали эти разговоры, но они даже никак не могли вдоволь наговориться.

Так шли целые месяцы. Бывало, что и Мацько ездил в Згожелицы, но чаще Ягенка приезжала в Богданец. Однако иногда, когда в окрестностях было почему-нибудь беспокойно или появлялись медведи, Мацько провожал девушку до дома. Хорошо вооруженный, старик не боялся никаких диких зверей, потому что сам был опаснее для них, чем они для него. Тогда он с Ягенкой ехал рядом, и часто из глубины леса доносились до них страшные голоса, но они, забывая обо всем, что могло с ними случиться, говорили только о Збышке. Где он? Что делает? Может быть, уже наколотил или скоро наколотит столько меченосцев, сколько наколотить поклялся покойнице Данусе и ее покойнице матери? И скоро ли вернется назад? При этом Ягенка задавала Мацьке вопросы, которые уже раз сто задавала прежде, а он отвечал на них с таким вниманием и так обстоятельно, точно слышал их в первый раз.

– Так вы говорите, – спрашивала она, – что битва на поле не так опасна для рыцаря, как штурм замков?

– А вспомни-ка, что случилось с Вильком? От колоды, которая катится с вала, никакие латы не спасут, а в поле, если только у рыцаря есть настоящее умение, его и десять человек не осилит.

– А Збышко? Хорошие у него латы?

– У него их несколько, все отличные, а самые лучшие – те, которые достались от фриза: они миланской работы. Еще год тому назад они были Збышке немного велики, но теперь в самый раз.

– Так уж против таких лат никакое оружие ничего сделать не может? Правда?

– Что рука человеческая сделала, то она может и сломать. Против миланских лат есть и мечи миланские, и английские стрелы.

– Английские стрелы? – с тревогой спрашивала Ягенка.

– А разве я тебе не говорил? Нет в мире лучников лучше англичан... Разве только мазуры лесные, но и у тех нет такого оружия. Английский арбалет на сто шагов пробьет самые лучшие латы. Я видел под Вильной. И ни один из них не дает промаху, а находятся и такие, что попадают в ястреба влет.

– Ах, язычники окаянные! Что же вы с ними делали?

– Ничего не оставалось, как сейчас же нападать на них. Хорошо они, собачьи дети, и бердышами орудуют, но уж вруклопашную наш знает, что делать.

– Ну, хранила вас рука Господня, сохранит и теперь Збышку.

– А я тоже вот что часто думаю: "Господи Боже, уж если ты нас сотворил и поселил в Богданце, так уж теперь гляди, чтобы мы не исчезли". Но это уж дело Божье. По правде сказать – немалое это дело: за всем миром присматривать и ни о чем не забыть, но зато человек, во-первых, сам кое о чем напомним, не жалея на церковь святую давать, а во-вторых, ведь и голова-то Божья не то, что человеческая.

Так иногда разговаривали они, ободряя взаимно друг друга и обнадеживая. А между тем протекали дни, недели, месяцы. Осенью случилась у Мацьки история со старым Вильком из Бжозовой. Между Вильками и аббатом давно тянулся спор о пограничном

леске, который аббат, когда Богданец был у него в залоге, выкорчевал и присвоил себе. В свое время он даже вызывал обоих Вильков на бой, на копьях или на длинных мечах, но те не хотели драться с духовным лицом, а судом ничего не могли добиться. Теперь старик Вильк снова поднял вопрос об этой земле. Мацько же, который ни на что в мире не был так скуп, как на землю, в чем следовал как влечению своей природы, так и тому соображению, что на только что выкорчеванных местах отлично всходит ячмень, даже и слушать не хотел об уступке. И они бы обязательно пошли судиться, если бы случайно не съехались у ксендза в Кшесне. Там, когда старый Вильк внезапно сказал в конце жестокой ссоры: "Прежде, чем нас люди рассудят, я положусь на Бога, который отомстит вашему роду за мое горе", – упрямый Мацько тут вдруг размяк, побледнел, на минуту замолк, а потом сказал беспокойному соседу:

– Слушайте, дело начал не я, а аббат. Один Бог знает, чья тут правда, но если вы хотите накликать беду на Збышку, так берите землю, а Збышке да пошлет Господь здоровья и счастья настолько же, насколько чистосердечно я вам уступаю.

И он протянул Вильку руку; тот, давно зная старика, весьма удивился, так как и не предполагал, какая в этом как будто бы каменном сердце таилась любовь к племяннику и какая тревога за судьбу Збышки владела этим сердцем. И он долго не мог выговорить ни слова, пока наконец обрадованный таким исходом дела ксендз не осенил их крестным знаменем. Тогда Вильк сказал:

– Ну ежели так, тогда другое дело. Мне не земля важна была, потому что я стар и некому мне оставить ее, а справедливость. Кто со мной обойдется по-хорошему, тому я еще свою уступлю. А вашего племянника да благословит Господь, чтобы вы на старости лет не плакали по нему, как я по своем единственном парне...

И они бросились друг другу в объятия, а потом долго препирались о том, кому владеть землей. Все-таки Мацько в конце концов дал себя убедить в том, что так как Вильк один на свете, то ему некому оставить имущество.

После этого он пригласил старика в Богданец, где почтил его обильным угощением, потому что и сам был в душе очень рад. Радовала его мысль, что на выкорчеванной земле хорошо уродится ячмень, а кроме того, что он отвратил от Збышки беду.

"Только б вернулся, – думал старик, – а уж земли и богатства у него будет вдосталь".

Ягенка не менее его была довольна этим примирением.

– Уж, конечно, – сказала она, выслушав, как было дело, – если Господь милосердный захочет показать, что ему мир милее ссоры, то Збышко благополучно вернется назад.

В ответ на это лицо Мальки прояснилось, точно на него упал солнечный луч.

– Так и я думаю, – сказал он. – Всемогущ Господь Бог, но и в отношении всемогущества его есть способы: надо только голову иметь на плечах...

– В хитрости у вас никогда недостатка не было, – отвечала девушка, поднимая глаза к небу.

А через некоторое время, точно обдумав что-то, она снова проговорила:

– Но уж и любите же вы этого своего Збышку. Уж и любите... Ой-ой-ой...

– Как же его не любить, – отвечал старый рыцарь. – А ты? Разве ты его не любишь?

Ягенка ничего не ответила прямо. Но она сидела на скамье рядом с Мацькой, а теперь пододвинулась еще ближе к нему и, отвернувшись, тихонько толкнула старика локтем:

– Оставьте вы меня в покое.

XX

Война из-за Жмуди между меченосцами и Витольдом слишком занимала всех в королевстве, чтобы жители не стали разузнавать о ходе ее. Некоторые были уверены, что Ягелло придет на помощь двоюродному брату и что войны с орденом надо ждать с часу на час. Рыцари рвались в бой, а во всех шляхетских поместьях говорили, что и значительное число королевских советников, заседающих в Кракове, склоняется на сторону войны, полагая, что надо раз навсегда покончить с врагом, который никогда не хотел удовлетвориться тем, что у него есть, и мечтал о присвоении чужого добра даже тогда, когда его охватывал страх перед силой соседей. Но Мацько, как человек умный, к тому же бывалый и много знающий, не верил в близость войны и часто говорил молодому Яське из Згожелиц и другим соседям, с которыми встречался в Кшесне:

– Пока магистр Конрад жив, ничего из этого не выйдет, потому что он умнее других и знает, что это была бы не обыкновенная война, а резня: "либо твоя смерть, либо моя". И до этого он, зная силу короля, не допустит.

– Ну а если король первый объявит войну? – спрашивали соседи. Но Мацько качал головой.

– Видите ли, в чем дело... Я все это близко видал и многое понял. Если бы он был король из нашего прежнего королевского рода, который спокон веков был христианским, то, может быть, он бы и сам первый напал на немцев. Но наш Владислав Ягелло (я ничуть не хочу умалять его достоинство: он благородный государь – и да сохранит его Господь в добром здоровье) – прежде, чем мы выбрали его королем, был литовским великим князем и язычником: христианство он принял только что, а немцы по всему свету брешут, что душа у него еще языческая. Поэтому ему никак нельзя первому объявить войну и проливать христианскую кровь. По этой-то причине он и не выступает на помощь Витольду, хоть у него руки чешутся; а ведь и то знаю, что ненавидит он меченосцев, как моровую язву.

Такими речами Мацько снискал себе повсюду славу умного человека, который любое дело сумеет показать, как на ладони. В Кшесне по воскресеньям после обедни его окружали кольцом, а потом вошло в обычай, чтобы кто-нибудь из соседей, услышав новость, заезжал в Богданец: там старый рыцарь мог разъяснить ему то, чего простая шляхетская голова понять не могла. Мацько же принимал всех гостеприимно и охотно разговаривал с каждым, а когда наконец гость, наговорившись, уезжал, старик никогда не забывал проститься с ним такими словами:

– Вы моей голове дивитесь, но вот когда Збышко вернется – то-то вам настоящее диво будет. Ему хоть в королевском совете заседать – до того шельмец умен и проницателен.

И внушая такие взгляды гостям, он в конце концов внушил их самому себе и Ягенке. Збышко обоим им издали казался каким-то сказочным царевичем. Когда настала весна, они уже еле могли усидеть дома. Вернулись ласточки, вернулись аисты; в лугах закричали коростели, в зеленеющих хлебах послышались голоса перепелок; еще раньше этого прилетели косяки журавлей и чирков, один Збышко не возвращался. Но пока птичьи стаи летели с юга, крылатый вихрь с севера нес известия о войне. Ходили слухи о битвах и поединках, в которых хитрый Витольд то побеждал, то бывал сам побеждаем; говорили о великих бедствиях, которые причинила немцам зима и связанные с нею болезни. Но, наконец, пронеслась по всему краю радостная весть, что храбрый Кейстутович взял Новую Ковну, то есть Готтесвердер, разрушил ее и не оставил камня на камне, бревна на бревне. Когда эта весть дошла до Мацьки, он сел на коня и поскакал в Згожелицы.

– Эх, – говорил он, – ведомы мне эти места, – мы там со Збышкой и Скирвойллой много меченосцев поколотили. Там мы и благородного де Лорша в плен взяли. Ну, дал бог, подвернулась нога у меченосцев: этот замок взять было трудно.

Однако Ягенка еще до приезда Мацьки знала о разрушении Новой Ковны и даже слышала больше того: будто Витольд начал мирные переговоры. Эта новость даже больше заняла ее, чем предыдущая, потому что в случае мира Збышко, если он еще жив, должен бы возвратиться домой.

И она стала расспрашивать старого рыцаря, правдоподобно ли это. Он, подумав, ответил ей так:

– С Витольдом все правдоподобно, потому что он человек совсем особенный: наверное, из всех христианских государей он самый хитрый. Когда ему надо расширить свое господство в сторону Руси, он заключает мир с немцами, а когда там добивается того, что задумал, он снова бросается на немцев. Ничего они не могут сделать ни с ним, ни с этой несчастной Жмудью. То он у них отнимает, то опять отдает. И не только отдает, но и сам помогает им угнетать ее. Есть между нами люди, как есть и на Литве, которые ставят ему в вину, что он так играет кровью этого несчастного народа... По правде сказать, я бы сам считал это бессовестным, кабы дело шло не о Витольде... Потому что я иной раз думаю: а ну как он меня умнее и знает, что делает? И правда, я слышал от самого Скирвойллы, что он сделал из этой страны вечно сочащуюся рану на теле ордена, чтоб она всегда болела... Матери всегда будут родить, и крови не жаль, только бы она не проливалась без пользы.

– Мне важно только то, вернется ли Збышко.

– Вот, даст бог, вернется, коли ты это в счастливую минуту сказала.

Однако прошло еще несколько месяцев. Дошли вести, что мир действительно заключен, хлеба стояли золотые, колосья налились, полосы гречихи изрядно уже порыжели, а о Збышке не было ни слуху ни духу.

Наконец, после первой жатвы, Мацько потерял терпение и объявил, что отправится в Спыхов, разузнать там, как и что, потому что оттуда недалеко Литва, а кстати осмотреть хозяйство чеха.

Ягенка настояла на том, чтобы ей ехать вместе с ним, но он не хотел брать ее, и у них пошли из-за этого споры, тянувшиеся целую неделю. Наконец, когда однажды вечером они сидели и спорили в Згожелицах, во двор, как вихорь, влетел мальчик

из Богданца, босой, без шапки, и закричал, подбежав к завалинке, на которой сидели Мацько с Ягенкой:

– Молодой пан вернулся.

Збышко вернулся на самом деле, но какой-то странный: не только исхудалый, обожженный полевым ветром, усталый, но и какой-то ко всему безразличный и молчаливый. Чех, который вместе с женой приехал одновременно с ним, говорил и за него, и за себя. Говорил он, что поход, видно, удался молодому рыцарю, так как в Спыхове он возложил на гробы Дануси и ее матери целый пук рыцарских перьев, павлиньих и страусовых. Вернулся Збышко с отбитыми у врагов лошадьми и латами, из которых некоторые были весьма драгоценны, хоть и жестоко изрублены ударами топора и меча. Мацько изнемогал от любопытства узнать обо всем подробно из уст племянника, но тот только махал рукой и отвечал: "Да", "Нет", – а на третий день захворал и принужден был слечь. Оказалось, что у него помят левый бок и сломаны два ребра, которые, плохо сросшись, мешали ему при ходьбе. Отозвались и те раны, которые он когда-то получил при столкновении с туром, а окончательно подорвала его силы дорога из Спыхова. Все это само по себе не было страшно, потому что Збышко был человек молодой и полный сил, но в то же время охватила его какая-то непомерная усталость, точно все труды, которые он понес, только теперь в нем откликнулись. Сперва Мацько думал, что после двух или трех дней отдыха на ложе все пройдет, а между тем вышло даже напротив. Не помогали никакие мази, ни окуривание травами, доставленными местным овчаром, ни настойки, присланные Ягенкой и ксендзом из Кшесни: Збышко становился все слабее, все более казался утомленным и грустным.

– Что с тобой? Может быть, тебе чего-нибудь хочется? – спрашивал старый рыцарь.

– Ничего я не хочу, и все мне безразлично, – отвечал Збышко.

И так проходил день за днем. Ягенка, которой пришло в голову, что, быть может, это нечто большее, чем обычная "хворь", и что должно быть у юноши есть какая-то тайна, которая его мучит, стала уговаривать Мацьку еще раз попытаться расспросить, в чем тут дело.

Мацько согласился без колебаний, но, подумав с минуту, сказал:

– А может быть, он охотнее скажет тебе, чем мне? Потому что любить-то ведь он тебя любит: я видал, как он за тобой глазами следит, когда ты ходишь по комнате.

– Видали? – спросила Ягенка.

– Коли я сказал, что следит, значит – следит. А когда тебя долго нет, он то и дело на дверь поглядывает. Спроси-ка ты его.

На том и порешили. Однако оказалось, что Ягенка и не умеет, и не смеет. Когда дошло до дела, она поняла, что надо бы ей говорить о Данусе и о любви Збышки к покойнице, а на это у нее язык не поворачивался.

– Вы хитрей, – сказала она Мацьке, – и ум у вас лучше, и опытность. Говорите вы: я не могу.

Мацько волей-неволей взялся за дело, и однажды утром, когда Збышко, казалось, был несколько бодрее, чем всегда, он начал с ним такой разговор:

– Глава мне говорил, что ты в Спыхове в подземелье изрядную связку павлиньих перьев положил.

Збышко, не сводя глаз с потолка, на который смотрел лежа на спине, кивнул только головой в знак подтверждения.

– Ну, послал тебе Господь Бог удачу: ведь и на войне легче справиться с простым человеком, чем с рыцарем... Кнехтов можешь наколотить сколько хочешь, а рыцаря иной раз приходится долго искать... Что ж, так и лезли сами тебе под меч?

– Я нескольких вызвал на утопанную землю, а раз они окружили меня во время битвы, – лениво отвечал юноша.

– И добра отбитого много привез?...

– Не все я отбил: часть подарил князь Витольд.

– Он все такой же щедрый?

Збышко опять кивнул головой, видимо, не имея охоты к дальнейшей беседе.

Но Мацько не счел себя побежденным и решил приступить к самой сути.

– Скажи-ка мне откровенно, – продолжал он. – Так как ты уже положил на гробик перья, то должно бы тебе много легче стать?... Всегда человеку приятно бывает исполнить обет... Рад ты был? А?

Збышко оторвал грустный взор от потолка, перевел его на Мацьку и ответил как бы с некоторым удивлением:

– Нет.

– Нет? Побойся же Бога. А я думал, что как утетишь ты эту душу ангельскую, так и конец будет.

Юноша на минуту сомкнул глаза, точно задумался, и, наконец, ответил:

– Не нужна, видно, святым душам кровь человеческая. Настало молчание.

– Так зачем же ты ходил на эту войну? – спросил наконец Мацько,

– Зачем? – с некоторым оживлением отвечал Збышко. – Я сам думал, что мне станет легче. Сам думал, что и Данусю, и себя обрадую. А потом мне даже странно стало. Вышел я из подземелья от этих гробов, и так же мне тяжело было, как и раньше. Вот оно и видно, что не нужна святым душам кровь человеческая.

– Это тебе, должно быть, сказал кто-нибудь, потому что сам бы ты этого не придумал.

– Нет, я до этого сам дошел, именно потому, что после этого белый свет не показался мне веселее, чем был до того. А ксендз Калёб только согласился со мной.

– Убить врага на войне, в этом нет греха никакого. Даже похвально! Ведь они враги нашего племени.

– Я тоже этого за грех не считаю и не жалею их.

– А все Данусю жалеешь?

– Ну да; как вспомню ее, так жалко становится. Да, на все воля Божья. Ей лучше в царствии небесном, и я уже привык к этому.

– Так почему ж ты не перестанешь грустить? Чего тебе надо?

– Разве я знаю?...

– Вот отдохнешь вволю, и хворь у тебя скоро пройдет. Ступай в баню, вымойся, выпей кувшинчик меду для пота, – и все тут.

– А что дальше?

– Вот сразу и повеселеешь.

– А отчего я повеселею? Во мне-то веселья нет, а одолжить его не у кого.

– Ты что-то скрываешь.

Збышко пожал плечами:

– Нет у меня веселья, но и скрывать тоже мне нечего.

И он сказал это так искренне, что Мацько сразу перестал осуждать его за то, что он что-то скрывает; вместо этого он провел рукой по седым своим волосам, как делал всегда, когда крепко над чем-нибудь задумывался, и наконец сказал:

– Так я тебе скажу, чего тебе не хватает: одно у тебя кончилось, а другое еще не началось! Понял?

– Не очень, но может быть, – отвечал молодой человек.

И потянулся, точно ему хотелось спать.

Однако Мацько был уверен, что угадал истинную причину, и был очень рад, потому что совсем перестал беспокоиться. Он стал еще более лестного мнения о своем уме и в душе говорил себе:

"Не диво, что люди со мной советуются".

А когда после этого разговора, в тот же день вечером, приехала Ягенка, не успела она еще слезть с коня, как уж старик сказал ей, что знает, чего не хватает Збышке.

Девушка в одно мгновение соскочила с седла и стала допытываться:

– Чего? Чего? Говорите.

– И как раз у тебя есть для него лекарство.

– У меня? Какое?

Старик обнял ее за талию и стал что-то шептать ей на ухо; но шептал он недолго, потому что она вскоре отскочила от него, как ошпаренная, и, спрятав покрасневшее лицо между чепраком и высоким седлом, воскликнула:

– Уходите. Я вас терпеть не могу.

– Ей-богу же, я говорю правду, – смеясь сказал Мацько.

XXI

Старик Мацько угадал верно, но только не все. Действительно, часть жизни Збышки совершенно кончилась. При каждом воспоминании о Данусе ему становилось жаль ее, но ведь он сам говорил, что ей, должно быть, лучше при дворе Царя Небесного, чем было при дворе княжеском. Он уже сжился с мыслью, что ее нет на свете, привык к этому и считал, что иначе быть не могло. Когда-то в Кракове он весьма дивился на вырезанные из стекла и оправленные в олово изображения разных святых девственниц; были они разноцветные, и солнце просвечивало сквозь них. Точно так же представлял он себе теперь Данусю. Он видел ее голубой, прозрачной, повернувшейся боком, со сложенными ручками, с вознесенными к небу взорами, играющей на лютне в толпе ангелов, играющих в небе перед Богородицей и Младенцем.

В ней уже не было ничего земного, и она представлялась ему духом, столь чистым и бестелесным, что, когда он порой вспоминал, как она в лесном дворце прислуживала княгине, смеялась, разговаривала, садилась вместе с другими за стол, его даже охватывало изумление перед тем, что все это могло быть. Уже во время похода, в войске князя Витольда, когда военные дела и битвы целиком поглощали его внимание, он перестал тосковать по своей покойнице и думал о ней только так, как думает набожный человек о своей небесной покровительнице. Таким образом любовь его, утрачивая постепенно земные свойства, все более и более превращалось в сладостное, синее, как небо, воспоминание, даже в благоговейное преклонение.

Если бы он был человеком со слабым телом и более глубокой мыслью, он сделался бы монахом и в тихом монастырском житие сохранил бы, как святыню, это небесное воспоминание, – до той самой минуты, когда душа, точно птица из клетки, вылетает из уз телесных в небесные пространства. Но ему едва минуло двадцать лет, он выжимал рукой сок из сорванной ветви и мог так сдавить ногами конские бока, что лошади становилось трудно дышать. Он был таков, какова была вообще тогдашняя шляхта и аристократия: если они не умирали в детстве и не становились ксендзами, то, не зная границ и пределов своим страстям, они или пускались в разбой, распутство и пьянство, или рано женились, а потом, во время войн, выходили в поле с двадцатью четырьмя сыновьями, силой похожими на кабанов.

Но он и не знал, что он таков же, тем более что сначала хворал. Однако понемногу ребра его срослись, образовав лишь незначительную выпуклость на боку; выпуклость эта не мешала ему, и не только панцирь, но и обыкновенная одежда совершенно ее скрывали. Усталость проходила. Пышные белокурые волосы, остриженные в знак траура по Данусе, снова отросли. Прежняя необычайная красота к нему возвращалась. Когда несколько лет тому назад он в Кракове шел, чтобы умереть от руки палача, он казался пажем из знатного рода; теперь же стал он еще прекраснее, точно королевич, плечами, грудью, руками и ногами похожий на

великана, а лицом на девушку! Сила и жизнь кипели в нем, как кипяток в горшке. Теперь он отдыхал, лежа в постели и радуясь, что Мацько с Ягенкой стерегут его, ухаживают за ним и во всем ему угождают. Минутами ему казалось, что ему хорошо, как в раю, минутами же, особенно когда поблизости не было Ягенки, ему становилось нехорошо, грустно, он чувствовал себя одиноким. Тогда ему становилось жарко, хотелось зевать, потягиваться, и он говорил Мацьке, что как только выздоровеет, так снова пойдет на край света, на немцев, на татар или на другую какую-нибудь дичь, только бы избавиться от жизни, которая тяготит его невыносимо. Мацько, вместо того чтобы спорить, кивал головой в знак согласия, а сам тем временем посылал за Ягенкой, с приездом которой в голове Збышки тотчас таяли мысли о новых военных походах, как тают снега, когда их пригреет весеннее солнце.

Она же аккуратно приезжала и по зову, и по собственной воле, потому что любила Збышку всеми силами души и сердца. Во время своего пребывания в Плоцке, при дворах епископа и князя, она видела рыцарей, столь же прекрасных, столь же прославленных своей силой и храбростью; не раз преклоняли они перед ней колени, принося обеты верности, но Збышко был ею избран, его она полюбила в ранние годы первой любовью, а все несчастья, которые он испытал, только усилили любовь ее до такой степени, что он был ей милее и в сто раз дороже не только всех рыцарей, но и всех королей на земле. Теперь, когда, выздоравливая, он день ото дня становился прекраснее, любовь ее превратилась почти в обожание и заслоняла пред ней весь мир.

Но в этой любви она не признавалась даже самой себе, а перед Збышкой таила ее как можно тщательнее, боясь, как бы он снова не отверг ее. Даже с Мацькой стала она теперь так же осторожна и молчалива, как раньше охотно поверяла ему свои тайны. Выдать ее могла только заботливость, которую она проявляла в уходе за Збышкой, но и этой заботливости она старалась дать другие объяснения, и с этой целью однажды сказала Збышке:

– Если я и ухаживаю за тобой, то только из любви к Мацьке. А ты небось что подумал? Скажи-ка?

И делая вид, что поправляет волосы на лбу, она закрыла лицо рукой, а сама внимательно смотрела сквозь пальцы; Збышко же, застигнутый врасплох неожиданным вопросом, покраснел, как девушка, и только после некоторого молчания ответил:

– Я ничего не думал. Теперь ты другая. Опять наступило молчание.

– Другая? – спросила наконец девушка каким-то тихим и нежным голосом. – Еще бы. Конечно, другая. Но чтобы я так уж совсем терпеть тебя не могла – этого тоже не дай бог.

– Пошли тебе Господь и за это, – отвечал Збышко.

И с тех пор им было хорошо друг с другом, только как-то неловко и тревожно. Иногда могло показаться, что оба они говорят об одном, а думают о другом. Часто молчание воцарялось между ними. Збышко, все время лежа, следил за нею глазами, куда бы она ни отошла, потому что порой она казалась ему столь прекрасной, что он не мог на нее наглядеться. Бывало также, что взгляды их внезапно встречались, и тогда лица их вспыхивали, грудь девушки подымалась от частого дыхания, а сердце ее билось, точно в ожидании, что вот-вот она услышит что-то такое, отчего сгорит и растает вся ее душа. Но Збышко молчал, потому что совсем утрачивал

прежнюю свою смелость перед Ягенкой и боялся испугать ее неосторожным словом; вопреки тому, что видели его собственные глаза, он даже старался уверить себя, что она выказывает по отношению к нему только добрые чувства сестры, да и то только для того, чтобы доставить удовольствие Мацьке.

И однажды он заговорил об этом со стариком. Он старался говорить спокойно и даже небрежно, но и не замечал, как слова его становились все более похожи на жалобы, горестные и печальные. Мацько же терпеливо выслушал все, а под конец сказал только одно слово:

– Дурень.

И вышел из комнаты.

Но на дворе он стал потирать руки и похлопывать себя по бедрам от радости.

"Ишь ты, – говорил он себе, – когда она могла дешево достаться тебе, так ты и смотреть на нее не хотел, так натерпись же теперь страху, коли ты глуп. Я буду замок строить, а ты тем временем облизывайся. Ничего я тебе не скажу и глаз тебе не раскрою, хотя бы ты стал ржать громче всех лошадей в Богданце. Где валежник лежит на горячих угольях, там и так рано или поздно вспыхнет огонь, да я-то не стану раздувать уголья, потому что мне думается, что и не надо".

И он не только не раздувал угольев, но даже поддразнивал Збышку, как старый пройдоха, которому занятно играть с неопытным мальчиком. И вот однажды, когда Збышко снова сказал ему, что готов отправиться в какой-нибудь далекий поход, чтобы только избавиться от невыносимой для него жизни, Мацько сказал ему:

– Покуда у тебя под носом было голо, я тобою распоряжался, а теперь твоя воля. Если ты хочешь полагаться только на свой ум и идти, то иди.

Збышко даже привскочил от изумления и сел на ложе:

– Как, так вы уже и против этого ничего не скажете?

– А что же мне сказать? Мне только очень жаль рода, который погибнет вместе с тобой, да, может быть, и эту беду поправим.

– Как? – с беспокойством спросил Збышко.

– Как? Конечно, нечего и говорить, я старик, а Ягенке хотелось бы выйти за молодого, но ведь я был другом ее покойного отца... Так кто знает?...

– Вы были другом ее отца, – отвечал Збышко, – но мне вы добра никогда не хотели. Никогда. Никогда.

И он замолк, потому что подбородок у него затрясся, а Мацько сказал:

– Да коли ты во что бы то ни стало хочешь погибнуть? Так что же мне делать?

– Хорошо. Делайте что хотите. Я уеду сегодня же.

– Дурень, – повторил Мацько.

И он опять вышел из дому, посмотреть, как работают мужики, богданецкие, и те, которых одолжила из Згожелиц и Мочидолов Ягенка: они помогали рыть ров, который должен был окружать замок.

XXII

Правда, Збышко не исполнил своей угрозы и не уехал, но зато по прошествии еще одной недели здоровье вернулось к нему вполне, и он уже не мог больше лежать. Мацько сказал, что надо им теперь поехать в Згожелицы и поблагодарить Ягенку за ее заботы. Поэтому в один прекрасный день, хорошенько выпарившись в бане, он решил ехать тотчас. С этой целью он велел достать из сундука богатое платье, чтобы заменить им обычное, которое на нем было, а потом занялся завивкой волос. Однако это было дело нелегкое и немалое, и не только вследствие пышности и густоты Збышкиных волос, которые сзади падали ему на самые лопатки, как грива. В обыкновенной жизни рыцари носили волосы в сетке, имевшей форму гриба, такой способ имел и ту выгоду, что в походе шлем их не заставлял спутываться, но в торжественных случаях, например к свадьбе или едучи в гости гуда, где были девушки, волосы завивались локонами, которые густо смазывались яичным белком для блеска и крепости. Так хотел завиться и Збышко. Но две бабы, призванные из людской, непривычные к такой работе, никак не могли с нею справиться. Высохшие и ставшие пышными после бани волосы не хотели укладываться и торчали во все стороны, как плохо уложенная солома на крыше. Не помогли ни отнятые у фризов гребни, покрытые украшениями и сделанные из воловьего рога, ни даже скребница, за которой одна из баб сбегала на конюшню. В конце концов Збышко начал терять терпение и сердиться, как вдруг в комнату вошел Мацько в сопровождении Ягенки, которая неожиданно приехала в это время.

– Слава Господу Богу нашему, – сказала девушка.

– Вовеки веков, – с покрасневшим лицом отвечал Збышко. – Вот удивительно. Только что мы сами хотели ехать в Згожелицы, а тут ты.

И глаза у него засияли радостью, потому что с некоторых пор, как только он ее видел, на душе у него становилось так светло, точно он смотрел на восход солнца.

А Ягенка, увидев смущенных баб с гребнями в руках, скребницу, лежащую на скамье подле Збышки, и его торчащие во все стороны волосы, стала смеяться.

– Вот так пугало, – вскричала она, показывая из-под коралловых губ свои чудные, белые зубы. – Тебя бы в конопле поставить, либо в вишневом саду – на страх птицам.

Но Збышко нахмурился и сказал:

– Мы в Згожелицы хотели ехать, но там ты не могла бы обижать гостя, а здесь ты можешь надо мной потешаться, сколько хочешь. Конечно, ты всегда рада так поступать.

– Я рада так поступать? – спросила девушка. – Боже ты мой! Да я же приехала звать вас к ужину, а смеюсь я не над тобой, а над этими бабами, потому что если бы я была на их месте, так знала бы, что надо делать.

– И ничего не сделала бы.

– А Яську кто причесывает?

– Яськатебе брат, – отвечал Збышко.

– Конечно...

Но тут старый и опытный Мацько решил прийти им на помощь.

– В домах, – сказал он, – когда у мальчика, постриженного по-рыцарски, отрастают волосы, их ему завивает сестра, а в зрелом возрасте мужу – жена; но есть также обычай, что когда у рыцаря ни сестры, ни жены нет, то ему прислуживают благородные девушки, даже и совсем чужие.

– Правда, что существует такой обычай? – опуская глаза, спросила Ягенка.

– Не только в поместьях, но и в замках, да даже и при королевском дворе, – отвечал Мацько.

И он обратился к бабам:

– Коли вы ничего не умеете, так уходите в людскую.

– И пусть принесут мне теплой воды, – добавила девушка.

Мацько вышел вместе с бабами, будто бы с той целью, чтобы посуда не была грязная, и вскоре прислал теплую воду; когда она была поставлена на стол, молодые люди остались одни. Ягенка, смочив полотенце, стала им обтирать волосы Збышки; когда же они перестали топорщиться и упали, тяжелые от воды, она взяла гребень и села на скамью возле юноши, собираясь приступить к дальнейшей работе.

Так сидели они друг возле друга, оба прекрасные и влюбленные друг в друга, но сконфуженные и молчаливые. Наконец Ягенка стала укладывать его золотые волосы, а он чувствовал близость ее поднятых рук и дрожал с ног до головы, сдерживая себя всей силой воли, чтобы не обнять ее и не прижать изо всех сил к груди.

В тишине слышалось их учащенное дыхание.

– Ты, может быть, болен? – спросила девушка. – Что с тобой?

– Ничего, – отвечал молодой рыцарь.

– Как-то странно ты дышишь...

Опять настало молчание. Щеки Ягенки расцвели, как розы, потому что она чувствовала, что Збышко ни на мгновение не отрывает глаз от ее лица; и чтобы замаять собственное смущение, она снова спросила:

– Что ты так смотришь?

– Это тебе мешает?

– Нет, не мешает, я только так спрашиваю.

– Ягенка!.. – Что?

Збышко набрал в грудь воздуху, вздохнул, пошевелил губами, точно собираясь приступить к долгой речи, но, видно, у него еще не хватило смелости, потому что он только повторил:

– Ягенка...

– Что?

– Я бы тебе сказал, да боюсь...

– Не бойся. Я простая девушка.

– Ну да. Так вот, дядя Мацько говорит, что хочет тебя сватать...

– И хочет, только не для себя.

И она замолчала, точно испуганная собственными словами.

– Боже мой... Ягуся... А ты что скажешь на это, Ягуся?... – воскликнул Збышко.

Но внезапно глаза ее наполнились слезами, прекрасные губы дрогнули, а голос стал таким тихим, что Збышко едва мог расслышать, как она проговорила:

– Отец с аббатом хотели... а я... ведь ты знаешь...

При этих словах радость вспыхнула в его сердце, точно внезапное пламя. Он схватил девушку на руки, поднял, как перышко, кверху и стал кричать, как сумасшедший:

– Ягуся! Ягуся! Золото ты мое, солнышко ты мое...

И так кричал он до тех пор, пока старик Мацько, думая, что случилось что-то необычайное, не вбежал в комнату. Только увидев Ягенку в руках Збышки, он удивился, что дело пошло так неожиданно быстро, и вскричал:

– Во имя Отца и Сына! Опомнись, парень...

Збышко подскочил к нему, поставил Ягенку на пол, и оба они хотели стать на колени, но не успели этого сделать, как уже старик схватил их в костлявые объятия и изо всех сил прижал к груди.

– Слава тебе, Господи, – сказал он. – Знал я, что дело так кончится, а все-таки рад. Да благословит вас Господь. Легче умирать будет... Девка – чистое золото... И к Богу, и к людям... Ей-богу. А теперь, коли уж я дождался такой радости, будь что будет... Бог испытал, Бог и утешил... Надо ехать в Згожелицы, объявить Яське. Эх, кабы старый Зых жив был... и аббат... Да я вам за них обоих сойду, потому что, правду сказать, так вас обоих люблю, что и сказать совестно.

И хотя в груди его было крепкое сердце, он так взволновался, что у него даже что-то сдавило горло; он поцеловал еще раз Збышку, потом в обе щеки Ягенку и, проговорив почти сквозь слезы: "Мед, а не девка", пошел на конюшню, велеть оседлать лошадей.

Выйдя, он с радости наскочил на росшие перед домом подсолнечники и стал, как

пьяный, смотреть на их черные круги, обрамленные желтыми лепестками.

– Ишь, сколько вас, – сказал он. – Но даст бог, Градов богданецких будет еще больше.

И по дороге в конюшню принялся бормотать, высчитывая:

– Богданец, аббаты земли, Спыхов, Мочидолы... Бог всегда знает, к чему ведет, а придет час старого Вилька – надо бы и Бжозовую прикупить... Луга славные...

Между тем Ягенка и Збышко тоже вышли из дома, радостные, счастливые, сияющие, как солнце.

– Дядя, – крикнул издали Збышко.

Старик обернулся к ним, раскинул руки и стал кричать, как в лесу:

– Ау, ау, сюда, сюда!

XXIII

Они жили в Мочидолах, а старик Мацько строил им замок в Богданце. Строил с большими трудами, потому что хотел, чтобы фундамент был каменный, скрепленный известкой, а башня из кирпича, который достать в тех местах было трудно. В первый год он выкопал рвы, что удалось довольно легко, потому что холм, на котором должен был стоять замок, был когда-то окопан, быть может, еще во времена язычества; оставалось только очистить рвы от деревьев и кустов шиповника, которыми они заросли, а потом укрепить их и сколько следует углубить. При углублении рвов докопались до обильного источника, который вскоре так наполнил водой рвы, что Мацьке пришлось подумать, куда бы спускать воду. Потом на валу он поставил частокол и стал готовить материал для постройки самого замка; это были дубовые балки такой толщины, что три человека не могли обнять одной из них, а также сосновые балки, не гниющие ни под глиняным полом, ни под деревянной настилкой.

Несмотря на постоянную помощь крестьян из Згожелиц и Мочидолов, к возведению этих стен приступил он только через год, но приступил тем деятельнее, что еще перед этим у Ягенки родились близнецы. Тогда старый рыцарь почувствовал себя, как в раю, потому что теперь у него было, ради кого хлопотать, трудиться, и он знал, что род Градов не погибнет, а Тупая Подкова не раз еще обагрится кровью врагов.

Близнецам дали имена Мацько и Ясько. "Ребята, – говорил старик, – отличнейшие: во всем королевстве таких не сыщешь". И он сразу полюбил их великой любовью, а в Ягенке просто души не чаял. Кто хвалил ее, тот мог добиться от Мацьки чего угодно. Однако из-за нее Збышко искренне завидовали и восхваляли ее не только по расчету, а потому, что она, действительно, сияла в округе, как прекраснейший из цветков среди луга. Она принесла мужу не только приданое, но и больше, чем приданое: большую любовь и красоту, ослепляющую глаза, и отличное обхождение, и такую смелость, какой не всякий рыцарь мог бы похвастаться. Ей нипочем было через несколько дней после родов приняться за хозяйство, а потом поехать с мужем на охоту, либо утром поскакать на коне из Мочидолов в Богданец, а к полудню вернуться к Мацьке и Яське. Любил ее муж, любил старик Мацько, любили слуги, к которым она была добра, а в Кшесне, когда в воскресенье входила она в костел, ее приветствовал шепот восторга и обожания. Старый ее поклонник, грозный Чтан из

Рогова, женатый на дочери мужика, после обедни пьянствовал в корчме со старым Вильком из Бжозовой и выпивши говорил ему: "Не раз колотили мы из-за нее друг друга с вашим сыном: все хотели на ней жениться, да ведь это все равно, что на небо за месяцем лезть".

Прочие вслух признавались, что такой красавицы и в Кракове, при королевском дворе, не сыщешь. Наряду с богатством, красотой и умением обходиться, все весьма почитали ее твердость и силу. И все в один голос говорили: "Вот это так баба. Медведя на рогатину подцепит. А орехов ей не надо и грызть: пусть только рассыплет их по скамье да присядет сразу: так расколются, точно их мельничным жерновом придавили". Так восхваляли ее и в Кшесне, и в соседних деревнях, и даже в воеводской Серадзи. Однако, завидуя Збышке из Богданца, люди не особенно удивлялись, что она досталась ему, потому что и он окружен был ореолом такой военной славы, какой не пользовался никто во всей округе.

Молодые дворяне рассказывали друг другу целые истории о немцах, которых "налушил" Збышко в боях под предводительством Витольда и на поединках на утоптанной земле. Говорили, что ни один немец никогда не ушел от него, что в Мальборге он их целых двенадцать сшиб с коней и, между прочим, Ульриха, брата магистра; ходили, наконец, слухи, что он мог подраться даже с краковскими рыцарями и что сам непобедимый Завиша Черный – его истинный друг.

Некоторые не хотели верить столь необычным рассказам, но даже и они, когда заходила речь о том, кого бы выбрала округа, если бы польским рыцарям пришлось идти на войну, говорили: "Конечно, Збышку". И уж только потом вспоминали о косматом Чтане из Рогова и о прочих местных силачах, которым в отношении рыцарской науки далеко было до молодого рыцаря из Богданца.

Большое состояние наравне со славой доставляло ему общее уважение. То, что в приданое за Ягенкой он взял Мочидолы и все наследство аббата, – это еще не была его заслуга; но уже до этого ему принадлежал Спыхов со всеми сокровищами, накопленными Юрандом, а кроме того, люди шептались, что одной добычи, завоеванной рыцарями из Богданца и состоящей из лошадей, лат, одежд, драгоценностей, хватило бы на три, а то и четыре добрых деревни.

Во всем этом видели какое-то особое благословение Божье над родом Градов герба Тупой Подковы: ведь еще недавно род этот был в таком упадке, что, кроме Богданца, у него ничего не было, а теперь возвышался он над всеми окружающими. "Ведь в Богданце остался после пожара один горбатый домишко, – говорили старики, – а самую землю из-за недостатка рабочих рук пришлось им заложить родственнику, а вот теперь замок строят". И удивление было велико, но в удивлении этом не было зависти, потому что ему сопутствовало общее инстинктивное предчувствие, что и весь народ неудержимо приближается к какому-то большому благополучию и что по воле Божьей так именно и должно быть. Напротив, округа хвасталась и гордилась рыцарями из Богданца. Они были как бы видимым доказательством того, до чего могут довести шляхтича крепкая рука, храброе сердце и рыцарская жажда приключений. И вот при виде Мацьки и Збышки многие чувствовали, что им тоже тесно в домашнем благополучии, в родных пределах, что за стеной находятся во владении врагов большие богатства и обширные земли, которые можно завоевать с огромной пользой для себя и для королевства. И тот избыток сил, который ощущали отдельные семейства, тяготил все общество, и уже оно было похоже на кипяток, который неизбежно должен хлынуть через края сосуда. Мудрые краковские паны и миролюбивый король могли до поры до времени сдерживать эту силу и откладывать войну с извечным врагом на другие годы, но никакая человеческая власть не могла

подавить этих сил вполне, как не могла сдержать того напора, каким стремится к расширению своих границ целое государство.

XXIV

Мацько дожил до счастливых дней. Не раз говорил он соседям, что получил больше, чем сам рассчитывал. Даже старость только убелила ему волосы на голове да в бороде, но до сих пор не отняла у него ни сил, ни здоровья. Сердце его полно было такого веселья, какого он до сих пор не испытывал. Лицо его, некогда суровое, становилось все добродушнее, а глаза улыбались людям доброй улыбкой. В душе он был убежден, что все зло кончилось навсегда и что уж никакая печаль, никакое горе не смутят дней его жизни, текущих спокойно, как светлый ручей. До старости воевать, на старости лет хозяйничать и увеличивать богатство для внуков – ведь это же было главной мечтой его во все времена, и вот все это исполнилось. Хозяйство шло, как по маслу. Леса были значительно вырублены; освобожденные от пней и обсемененные поля каждую весну зеленели хлебами; умножались стада; в лугах паслось сорок маток с жеребятами, которых старый шляхтич каждый день осматривал; стада баранов и рогатого скота паслись на паровых полях и в перелесках; Богданец совсем изменился: из опустевшего селеньица становился он людной и богатой деревней, глаза человека, который к нему приближался, бывали еще издали ослеплены высокой сторожевой башней и не почерневшими еще стенами замка, блиставшими золотом на солнце и пурпуром в лучах заката.

И старик Мацько в душе радовался богатству, хозяйству, удаче и не спорил, когда люди говорили, что у него легкая рука. Год спустя после близнецов появился на свет еще мальчик, которого Ягенка, в память отца своего, назвала Зыхом. Мацько встретил его радостно и нисколько не огорчился тем, что если так будет продолжаться, то богатство, скопленное таким трудом, должно будет раздробиться. "Что у нас было? – сказал он однажды Збышке. – Ничего. А вот – послал же Господь. У старого Пакоша из Сулиславиц одна деревня и двадцать два сына, а ведь с голоду они не помирают. Разве мало земель на Литве и в Польше? Разве мало деревень и замков находится в собачьих руках меченосцев? Эх, что, если этак пошлет Господь? Отличное было бы жильё: ведь там замки все строятся из красного кирпича. А наш милостивый король превратил бы их в каштелянства". И вот что еще достойно внимания: ведь орден стоял на вершине силы, ведь богатством, властью, множеством обученных войск он превышал все западные королевства, и однако этот старый рыцарь помышлял о замках меченосцев как о будущих жилищах своих внуков. И вероятно, многие думали в королевстве Ягеллы точно так же, не только потому что дело касалось старинных польских земель, которыми завладел орден, но и в предчувствии той могучей силы, которая, накупая в груди народа, искала повсюду выхода.

Только на четвертый год, считая от женитьбы Збышки, замок был готов, да и то с помощью не только местных рабочих рук, богданецких, згожелицких и мочидольских, но и с помощью соседей, особенно старого Вилька из Бжозовой, который, оставшись после смерти сына один, очень сдружился с Мацькой, а потом полюбил и Збышку с Ягенкой. Мацько украсил комнаты военными трофеями, которые добыли они либо сами со Збышкой, либо получили в наследство после Юранда; к этому прибавил он богатства, завещанные аббатом, и то, что Ягенка привезла из дому; он привез из Серадзи стеклянные окна – словом, устроил великолепное жилище. Однако Збышко с женой и детьми переехал в замок только на пятый год, когда уже были кончены и другие постройки, как-то: стойла, хлева, кухни и бани; к этому же времени были закончены и погреба, которые старик строил из камня, скрепленного известью, чтобы они стояли вечно. Однако сам Мацько в замок не переселился, он предпочитал остаться в старом доме и на все просьбы Збышки и Ягенки отвечал отказами,

выражая свою мысль таким образом:

– Уж я помру там, где родился. Видите ли, во времена войны гжимальтов с наленчами Богданец был сожжен дотла: все постройки, все хаты, даже заборы, один этот дом уцелел. Люди говорили, что не загорелся он потому, что очень много было мху на крыше, но я думаю, что был в этом и перст Божий: чтобы мы сюда вернулись и снова отсюда вышли. Во время наших походов я не раз горевал, что некуда нам вернуться, но говорил это не совсем верно, потому что, правда, нечем было хозяйствовать и нечего есть, но было, где приютиться. Вы, молодые, другое дело, а я так думаю, что коли этот старый дом нами не побрезгал, так и мне не годится им брезгать.

И он там остался. Однако любил приходить в замок, чтобы осматривать его величину и великолепие, сравнивая его со старым жилищем, и в то же время смотреть на Збышку, Ягенку и внуков. Все, что он там видел, было по большей части делом его рук – и все-таки приводило в восхищение и заставляло гордиться. Иногда приезжал к нему старый Вильк, чтобы с ним "покалякать" при огне, либо сам он навещал его с той же целью в Бжозовой, и однажды так сказал ему об этих "новых затеях":

– Знаете, мне иногда даже чудно становится. Ведь известно, что Збышко и в Кракове у короля в замке бывал... Э, ему там даже чуть голову не отрубили. Бывал он и в Мазовии, и в Мальборге, и у князя Януша. Ягенка тоже в достатке росла, но ведь своего замка у них не было... А ведь теперь – поглядите-ка: словно никогда иначе и не жили... Ходят, скажу я вам, по комнатам, ходят, ходят, – и все слугам отдают приказания, а как устанут, так и присядут. Сушие каштелян с каштеляншей. Есть у них комната, где они обедают с солтысами [40], казначеями и челядью, а в комнате той скамьи: для него и для нее повыше, а для прочих пониже. И все сидят и ждут, пока пан и пани не положат себе кушаний. Так это у них все по-придворному, что даже приходится напоминать себе, что это не князь с княгиней, а племянник с племянницей, которые у меня, старика, руку целуют, на первое место сажают и благодетелем своим зовут.

– За это и посылает им Господь Бог, – заметил старый Вильк.

Потом, грустно покачав головой, он выпил меду, помешал железной кочергой головешки в камине и сказал:

– А моему парню не повезло.

– На все воля Божья.

– Да. Старшие, пятеро было их, давно уж погибли. Вы ведь знаете... Воистину, воля Божья. Но этот был всех сильнее. Настоящий был Вильк (волк) – и кабы не помер, так тоже, пожалуй, жил бы теперь в собственном замке.

– Лучше бы Чтан помер.

– Ну что Чтан. Говорил – он жернова мельничные на плечи взваливает, а сколько раз его мой поколотил. У моего была рыцарская сноровка, а Чтана теперь жена по морде бьет, потому что хоть он и здоровый мужик, а дурак.

– У-у... Совсем дурак, – согласился Мацько.

И пользуясь случаем, превознес до небес не только рыцарскую умелость, но и ум

Збышки. Рассказал, как тот в Мальборге дрался с лучшими рыцарями, "а с князьями ему разговаривать – это все равно, что орехи грызть". Хвалил также рассудительность Збышки и его распорядительность по хозяйству, без которой замок скоро бы съел все состояние. Но не желая, чтобы старый Вильк думал, будто им может угрожать что-либо подобное, он понизил голос и прибавил:

– Ну, слава богу, у нас всякого добра вдоволь, больше даже, чем людям известно, никому только об этом не говорите.

Однако люди догадывались, знали и рассказывали друг другу об этом наперебой, особенно же о богатствах, которые рыцари из Богданца должны были вывезти из Спыхова. Говорили, что из Мазовии деньги привозились целыми бочками. Кроме того, Мацько одолжил несколько гривен влиятельному помещику из Концеполя, что окончательно укрепило всех в верности предположения о его "сокровищах". Поэтому значение богданецких росло, росло к ним уважение, и в замке никогда не было недостатка в гостях, на что Мацько, при всей своей бережливости, смотрел благосклонно, потому что знал, что и это увеличивает славу их рода.

Особенно богато справлялись крестины, а раз в год, после Успенья, Збышко устраивал для соседей большой пир, к которому шляхтянки съезжались смотреть на рыцарские упражнения, слушать песельников и до самого утра танцевать с молодыми рыцарями при свете факелов. Тогда тешил взоры свои и наслаждался зрелищем Збышки и Ягенки старый Мацько: так они были великолепны. Збышко возмужал, вырос, и хотя в сравнении с мощной и высокой фигурой лицо его все еще казалось молодо, однако когда он повязывал пышные свои волосы пурпурной повязкой, одевался в блестящую, расшитую серебром и золотом одежду, то не только Мацько, но и многие шляхтичи в душе говорили себе: "Боже ты мой. Прямо князь какой-то, владеющий замком". А перед Ягенкой часто преклоняли колени рыцари, знающие западный обычай, прося ее быть их дамою: так ослепительно сверкала она здоровьем, молодостью, силой и красотой. Сам старый кастелян Концеполя, воевода серадзский, поражался, глядя на нее, сравнивал ее с утренней зарей и даже с "солнышком, которое озаряет мир и даже старые кости наполняет новым огнем".

XXV

Однако на пятый год, когда во всех деревнях был установлен необычайный порядок, когда над достроенной сторожевой башней уже несколько месяцев развевалось знамя с Тупой Подковой, а Ягенка благополучно родила четвертого сына, которого называли Юрандом, старик Мацько однажды так сказал Збышке:

– Все устраивается, и если бы Господь Бог еще одно дело устроил счастливо, я бы умер спокойно.

Збышко вопросительно взглянул на него и спросил:

– Не о войне ли с меченосцами вы говорите? Потому что чего же еще вам надо?

– Я скажу тебе то же, что говорил раньше, – отвечал Мацько, – пока магистр Конрад жив, войны не будет.

– Да разве ему вечно жить?

– Да ведь и мне не вечно, а потому я думаю о другом.

– О чем же?

– И-и... Лучше и не говорить. Пока что я собираюсь в Спыхов, а может быть, и к дворам княжеским, в Плоцк и Черск.

Збышко не особенно удивил этот ответ: за последние годы старик Мацько несколько раз ездил в Спыхов. Поэтому он только спросил:

– Долго вы там пробудете?

– Дольше, чем всегда, потому что задержусь в Плоцке.

И через неделю Мацько на самом деле уехал, взяв с собой несколько возов и хорошее оружие, "на случай, если придется выступить на турнире". На прощанье он объявил, что, быть может, пробудет дольше, чем обыкновенно, и действительно пробыл дольше, потому что полгода о нем не было никакой вести. Збышко начал беспокоиться и наконец отправил нарочного в Спыхов, но тот встретил Мацьку в Серадзи и вернулся с ним вместе.

Старый рыцарь вернулся какой-то мрачный, но, расспросив Збышко обо всем, что происходило во время его отсутствия, и, успокоившись, что все шло хорошо, он немного развеселился и первый заговорил о своей поездке.

– Ты знаешь, что я был в Мальборге? – сказал он.

– В Мальборге?

– А то где же!

Збышко с минуту смотрел на него удивленными глазами, потом вдруг ударил себя рукой по колену и сказал:

– Боже мой! А я совсем забыл.

– Вольно было тебе забывать, ты свои клятвы исполнил, – отвечал Мацько, – а мне не дай бог нарушить свое слово и запятнать честь. Это у нас не водится: забывать свое слово. Богом клянусь, покуда я жив – я своего не забуду.

Тут лицо Мацьки нахмурилось и стало таким грозным и злым, каким Збышко видал его только в старые годы, у Витольда и Скирвойллы, когда предстоял бой с меченосцами.

– Ну что же? – спросил Збышко. – Он от вас живым ушел?

– Никак не ушел, потому что и на поединок не вышел.

– Почему?

– Он сделан великим комтуром.

– Куно Лихтенштейн – великим комтуром?

– Э, может быть, его даже великим магистром выберут. Кто его знает? Но он уж и теперь считает себя наравне с князьями. Говорят, он всем правит и все дела ордена на нем держатся, а магистр ничего без него не предпринимает. Нетто такой

выйдет на утопанную землю? Только над тобой же смеяться станут.

– Над вами смеялись? – спросил Збышко, и глаза у него вдруг засверкали гневом.

– Смеялась в Плоцке княгиня Александра. "Поезжай, – говорит, – и вызови римского императора. Ему, – говорит, – (т. е. Лихтенштейну), как нам известно, прислали также вызовы и Завиша Черный, и Повала, и Пашко из Бискупиц, и даже таким рыцарям он ничего не ответил, потому что не может. Дело не в том, что он трус, а в том, что он монах и занимает такое высокое положение, что ему не до таких вещей. Он, дескать, нанесет больший ущерб своей чести, если примет вызов, чем если не обратит на него внимания". Так княгиня сказала.

– А вы что на это?

– Я очень расстроился, но сказал, что мне все равно надо ехать в Мальборг, чтобы сказать Богу и людям: "Что было в моих силах, то я сделал". Я просил тогда княгиню, чтобы она придумала какое-нибудь посольство и дала мне письмо в Мальборг, потому что знал, что иначе целым из этого волчьего гнезда не выберусь. А про себя я так думал: "Он не хотел принять вызов Завиши, Повалы и Пашка. Но если я ударю его по лицу в присутствии самого магистра, всех ком-туров и гостей, да вырву ему усы и бороду, так тогда он выйдет".

– Пошли вам Бог, – с волнением вскричал Збышко.

– Что? – спросил старый рыцарь. – Со всем можно справиться, надо только, чтобы голова была на плечах. Но тут не послал мне счастья Господь: не застал я его в Мальборге. Сказали, что он поехал к Витольду в качестве посла. Я тогда не знал, что делать: ждать его или ехать за ним вдогонку. Но так как я давно знаком с магистром и великим гардеробмейстером, то я признался им, зачем приехал. Они стали кричать, что этого и быть не может.

– Почему?

– По той же самой причине, о которой говорила в Плоцке княгиня. Да еще магистр сказал: "Что бы ты думал обо мне, если бы я стал принимать вызов каждого польского и мазовецкого рыцаря?" Ну, он прав был, потому что тогда его давно бы уже на свете не было. Удивлялись тогда они оба с гардеробмейстером, а вечером сказали об этом за ужином. Ну, скажу я тебе – точно кто в улей дунул. А особенно гости. Их сразу несколько поднялось. "Куно, – кричат, – не может, но мы можем". Тогда я выбрал себе троих и хотел драться с ними по очереди, но магистр, и то после долгих просьб, позволил сразиться только с одним, фамилия которого тоже Лихтенштейн: он родственник Куно.

– Ну и что же? – вскричал Збышко.

– Ну, конечно, привез я его латы, да так они искромсаны, что и гривны за них никто не даст.

– Побойтесь бога. Так вы же исполнили клятву.

– Сначала я был рад, потому что и сам так думал. Но потом пришло мне в голову: "Нет, это не одно и то же". И теперь нет мне покоя: а ну как это не то же самое?

Но Збышко стал его утешать:

– Вы меня тоже знаете. Я в таких делах и к себе, и к другим строг. Но если бы это случилось со мной, я бы считал себя удовлетворенным. И я вам говорю, что величайший рыцарь в Кракове со мной согласится. Сам Завиша, – уж он знает толк в рыцарской чести, – и он, наверное, скажет то же.

– Ты думаешь? – спросил Мацько.

– Да вы посмотрите: они по всему миру славятся и тоже его вызвали, а ни один из них не сделал даже того, что вы сделали. Вы поклялись убить Лихтенштейна – и ведь убили Лихтенштейна.

– Может быть, – сказал старый рыцарь.

А Збышко, которого интересовали рыцарские дела, спросил:

– Ну, рассказывайте: молодой он был или старый? Как дело было? На конях или пешие?

– Было ему тридцать пять лет, и была у него борода по пояс. На конях. Господь мне помог, я его копье переломил, но потом дело дошло до мечей. И так, я тебе скажу, кровь у него шла изо рта, что вся борода обмокла.

– А вы сколько раз жаловались, что стареете!

– Да я как сяду на коня либо стану на землю поплотнее, так ничего. А уж в седло мне теперь в латах не вскочить.

– Да ведь и Куно против вас не устоял бы.

Старик презрительно махнул рукой в знак того, что с Куно он справился бы много легче. Потом они пошли осматривать снятое с врага оружие, которое Мацько взял только в знак победы, потому что все было слишком изрублено и потому не имело никакой ценности. Только набедренники и наколенники были целы и обнаруживали очень хорошую работу.

– Я бы все-таки предпочел, чтобы это принадлежало Куно, – мрачно говорил Мацько.

Но Збышко ему возражал:

– Господь знает, что лучше. Если Куно станет магистром, вам уже его не достать, разве только в большой битве.

– Я прислушивался к тому, что люди говорят, – отвечал Мацько. – Одни там говорят, что после Конрада будет Куно, а другие, что Ульрих, брат Конрада.

– Я бы предпочел, чтобы был Ульрих, – сказал Збышко.

– И я, а знаешь, почему? Куно умнее и хитрее, а Ульрих горяч. Он настоящий рыцарь, ему честь дорога, войны с нами он очень хочет. Говорят также, что если он сделается магистром, то будет такая война, какой и на свете не бывало. А с Конрадом, сказывают, уже часто обмороки бывают. Раз и при мне ему стало дурно. Эх, пожалуй, дождемся.

– Дай-то Бог. А есть какие-нибудь новые несогласия с нами?

– Есть и старые, и новые. Меченосец всегда меченосец, Он хоть и знает, что ты сильнее и что с тобой шутки плохи, а все-таки будет на твое добро зариться, потому что иначе он не может.

– Да ведь они думают, что орден сильнее всех государств.

– Не все, но многие, а между ними и Ульрих. Потому что и в самом деле они очень сильны.

– А помните вы, что говорил Зиндрам из Машковиц?

– Помню, и дела там идут с каждым годом все хуже. Брат брата так не примет, как меня там принимали, когда ни один меченосец не видел. Всем они там опротивели.

– Значит, недолго ждать.

– Может – недолго, а может – долго, – сказал Мацько.

И, подумав с минуту, прибавил:

– А пока что надо собираться с силами и запастись всем, чтобы как следует выйти в поле.

XXVI

Однако магистр Конрад умер только через год. Ясько из Згожелиц, брат Ягенки, первым услышал в Серадзи о его смерти и о том, что на его место выбран Ульрих фон Юнгинген; он же и привез это известие в Богданец, где, как и во всех шляхетских домах, событие взволновало обитателей до самой глубины души. "Настают времена, каких до сих пор не бывало", – торжественно сказал старик Мацько, а Ягенка в первую минуту привела к Збышке всех детей и стала сама с ним прощаться, точно он завтра же должен был уехать. Правда, Мацько и Збышко знали, что война сразу не возгорится; однако и они думали, что дело до нее дойдет, и стали готовиться. Они выбирали лошадей, оружие, обучали военному ремеслу оруженосцев, челядь, деревенских солтысов, которые обязаны были составлять на войне конницу, и менее зажиточных шляхтичей, так как они охотно присоединялись к более могущественным. То же делалось и во всех других усадьбах; всюду стучали молоты в кузницах, всюду чистили старые панцири, натирали топленным салом луки и ремни, чинили телеги, делали запасы крупы и копченого мяса. Перед костелами по воскресеньям и праздникам шли расспросы и толки о новостях, и все огорчались, когда известия приходили мирные, потому что каждый в душе носил глубокое чувство того, что надо раз навсегда покончить с этим страшным врагом всего племени и что королевство до тех пор не будет процветать в силе, спокойствии и труде, пока, согласно словам святой Бригитты, у меченосцев не будут сокрушены зубы и не будет отсечена правая рука.

В Кшесне же особенно окружали Мацьку и Збышку, как людей знающих орден и опытных в войне с немцами. Их расспрашивали не только о новостях, но и о том, как надо драться с немцами; как лучше всего нападать на них, как они сражаются, чем они лучше поляков, чем хуже и чем легче рубить на них латы после того, как сломаются копыта: топором или мечом.

Они действительно были осведомлены в этих вещах, и потому их слушали с великим

вниманием, тем более что существовало общее убеждение, что война эта не будет легка, что придется померяться с лучшими рыцарями всех стран и нельзя будет остановиться на том, чтобы кое-где поколотить врага: надо сделать это обстоятельно, "до конца", или погибнуть с честью. И шляхтичи говорили между собой: "Коли надо, так надо: либо ихняя смерть, либо наша". И у поколения, носившего в груди предчувствие будущего величия, это не отнимало охоты драться. Напротив, охота эта росла с каждым часом и днем, но к делу приступали без пустой похвальбы и хвастовства, а скорее с некоторой упорной сосредоточенностью и со спокойной готовностью умереть.

– Либо нам, либо им смерть написана.

А между тем время шло да шло, но войны все не было. Правда, говорили о несогласиях между королем Владиславом и орденом; говорили о Добржинской земле, хотя она уже несколько лет тому назад была выкуплена, о пограничных спорах, о каком-то Дрезденке, про который многие слышали первый раз в жизни и из-за которого шли будто бы пререкания, а войны все не было. Некоторые даже начали уже сомневаться, будет ли она, потому что споры бывали всегда, но дело обычно кончалось съездами, договорами и посольствами. И вот распространилась весть, что и теперь приехали какие-то послы меченосцев в Краков, а польские отправились в Мальборг. Заговорили о посредничестве чешского и венгерского королей и даже самого папы. Вдали от Кракова обстоятельно не знали ничего, а потому между людьми ходили разные слухи, часто странные и неправдоподобные, но войны не было.

Под конец и сам Мацько, на памяти которого прошло немало военных угроз и переговоров, не знал, что обо всем этом думать, и отправился в Краков получить более точные сведения. Пробыл он там недолго и на шестой неделе вернулся назад – и вернулся с просветленным лицом. Когда же в Кшесне его, как всегда, окружила любопытная шляхта, он на многочисленные вопросы ответил тоже вопросом:

– А стрелы, копья и топоры у вас отточены?

– А что? Да неужто? Боже мой, какие новости? Кого видели? – кричали со всех сторон.

– Кого я видел? Зиндрама из Машковиц. А какие новости? Такие, что, кажется, сейчас придется седлать лошадь.

– Господи! Да как же? Рассказывайте.

– А вы слышали о Дрезденке?

– Конечно, слышали. Но ведь это замок, каких много, даже небольшой, а земли там вряд ли больше, чем у вас в Богданце.

– А разве это пустячная причина для войны?

– Конечно, пустячная; бывали и побольше, а ничего не выходило.

– А знаете, какую притчу сказал мне об этом Дрезденке Зиндрам из Машковиц?

– Да говорите скорее.

– Он мне так сказал: "Шел слепой по дороге и споткнулся о камень. Упал он

потому, что был слеп, но ведь причина-то камень". Вот Дрезденко и есть такой камень.

– Как? Да ведь орден еще стоит?

– Не понимаете? Тогда я вам иначе скажу: когда чашка слишком полна, так одна капля заставит воду литься через край.

Рыцарей охватило такое воодушевление, что Мацьке пришлось его сдерживать, а то они хотели сейчас же садиться на коней и ехать в Серадзь.

– Будьте готовы, – говорил он им, – но ждите терпеливо. Не забудут и нас. И они стали ждать, в полной готовности, но ждали долго, даже так долго, что некоторые опять начали сомневаться. Но Мацько не сомневался, потому что как по прилету птиц узнается приближение весны, так и он, человек опытный, умел по разным признакам заключить, что приближается война – и даже большая.

И вот, прежде всего во всех королевских лесах и пущах были объявлены охоты, каких самые старые люди не помнили. Туда целыми тысячами собирались крестьяне для облав, во время которых целыми стадами падали зубры, туры, олени, кабаны и разное мелкое зверье. Леса дымились целыми неделями и месяцами, а в дыму коптели соленое мясо; потом его отсылали в воеводские города, а оттуда в Плоцк, на склад. Очевидно было, что делаются запасы для больших войск. Мацько хорошо знал, что надо об этом думать, потому что такие же охоты приказывал устраивать перед каждым большим походом на Литве Витольд. Но были и другие признаки. Мужики целыми толпами стали убегать "из-под немецкой руки" в Польшу и Мазовию. В окрестности Богданца прибывали, главным образом, подданные немецких рыцарей из Силезии, но известно было, что везде происходит то же самое, особенно в Мазовии. Чех, управлявший в Мазовии Спыховом, прислал оттуда десятка полтора Мазуров, которые бежали из Пруссии и спрятались у него. Люди эти просили, чтобы им позволили принять участие в войне, в пехотных полках, потому что они хотели отомстить меченосцам за свои обиды. Меченосцев они ненавидели всей душой. Они говорили, что некоторые пограничные деревни в Пруссии почти совсем опустели, потому что крестьяне с женами и детьми переселились в мазовецкие княжества. Правда, меченосцы вешали пойманных беглецов, но несчастный народ ничто уже не могло удержать, и многие предпочитали смерть, нежели жизнь под страшным немецким ярмом. Потом по всей стране заходили нищие из Пруссии. Все они шли в Краков. Шли они из-под Гданска, из Мальборга, из Торуня, даже из отдаленного Кролевца, из всех прусских городов и из всех командорий. Были между ними не только нищие-странники, но церковные сторожа, органисты, разные монастырские служки, даже клирики и ксендзы. Догадывались, что они несут известия о том, что происходит в Пруссии: о военных приготовлениях, об укреплении замков, о гарнизонах, о наемных войсках и гостях. Люди шептались, что воеводы в воеводских городах и советники короля в Кракове запирались с ними по целым часам, слушая их и записывая их сообщения. Некоторые украдкой возвращались в Пруссию, а потом вновь появлялись в королевстве. Доходили вести и из Кракова, будто король и его совет знают благодаря этим людям о каждом шаге меченосцев.

В Мальборге происходило обратное. Один священник, бежавший из этой столицы, остановился у концепольских помещиков и рассказывал им, что магистр Ульрих и прочие меченосцы не заботятся об известиях из Польши и находятся в уверенности, что они одним взмахом завоюют и раздавят на веки веков все королевство, "так, чтобы и следа его не осталось". При этом он повторял слова магистра, сказанные на пиру в Мальборге: "Чем больше их будет, тем станут дешевле в Пруссии кожи".

И они готовились к войне в радости и восторге, надеясь на свою силу и на помощь, которую им пришлют все королевства, даже самые отдаленные.

Но, несмотря на все эти военные приготовления и хлопоты, война не приходила так скоро, как бы всем хотелось. Молодому владельцу Богданца тоже уже было "скучно" дома. Все давно было приготовлено; душа его рвалась к славе и битве, и каждый день проволоочки был ему в тягость. И он часто жаловался на это дяде и упрекал его, точно война или мир зависели от старика.

– Ведь вы же обещали наверное, что война будет, – говорил он, – а ничего нет как нет.

На это Мацько возражал:

– Умен ты, да не очень. А разве не видишь, что делается?

– А что, если король в последнюю минуту помирится? Говорят, он не хочет войны.

– И не хочет, но кто же, как не он, крикнул: "Пусть я не буду король, если позволю отнять Дрезденко". А Дрезденко немцы как взяли, так до сих пор и держат. Король не хочет пролития крови христианской, но королевский совет, у которого ум хороший, чувствует свою силу и припирает немцев к стене. И я тебе только то скажу, что, если бы не было Дрезденка, нашлось бы что-нибудь другое.

– То-то я слышал, что еще магистр Конрад захватил Дрезденко, а он, кажется, короля боялся.

– Боялся, потому что лучше других понимал польскую силу, но жадности ордена и он не мог обуздать. В Кракове мне так говорили: старик фон Ост, владелец Дрезденка, когда меченосцы захватывали Новую Мархию, поклонился королю, как ленник, потому, что земля эта испокон веков была польская и он хотел принадлежать к Польше. Но меченосцы пригласили его в Мальборг, напоили вином и выманили у него запись. Тут-то у короля и иссякло терпение.

– Верно, что могло иссякнуть! – воскликнул Збышко. Но Мацько сказал:

– Но все-таки дело обстоит так, как говорил Зиндрам из Машкова: Дрезденко – только камень, о который споткнулся слепой.

– А если немцы отдадут Дрезденко, что тогда будет?

– Тогда отыщется другой камень. Но меченосец не отдаст того, что однажды проглотил, разве только ему брюхо распороть, что дай нам, Господи, поскорее сделать.

– Нет! – вскричал ободренный Збышко. – Конрад, может быть, отдал бы, а Ульрих не отдаст. Он истинный рыцарь, ни в чем его упрекнуть нельзя, но он очень горяч.

Так они рассуждали между собой, а тем временем события катились, как камни, которые на горных тропинках столкнула нога прохожего. И все быстрее катились они в пропасть.

Вдруг понеслась по всей стране весть, что меченосцы напали на старопольский замок Санток, заложенный иоаннитам, и разграбили его. Новый магистр Ульрих,

когда польские послы прибыли с добрыми пожеланиями по поводу его избрания, нарочно уехал из Мальборга. С первой же минуты своего правления он отдал приказ, чтобы при сношениях с королем и вообще с Польшей вместо латинского употреблялся немецкий язык: наконец-то он показал, кто он. Краковские члены королевского совета, старавшиеся привести дело к войне тихонько, поняли, что он стремится к тому же открыто, и не только открыто, но напролом и с такой дерзостью, какой по отношению к польскому народу не позволяли себе магистры даже тогда, когда могущество их было действительно больше, а могущество королевства меньше, чем теперь.

Однако менее горячие, но более благоразумные, чем Ульрих, сановники ордена, которые знали Витольда, старались склонить его на свою сторону подарками и лестью, до такой степени превосходившей всякую меру, что подобия этой лести надо бы искать разве только в тех временах, когда римским императорам при жизни воздвигались храмы и алтари.

"У ордена есть два благодетеля, – говорили эти послы, кланяясь наместнику Ягеллы, – первый – Бог, а второй – Витольд; и потому каждое слово и каждое желание Витольда для меченосцев свято".

И они умоляли его выступить посредником в деле о Дрезденке, думая, что когда он, как подданный короля, станет судить своего государя, то тем самым его оскорбит, и добрые отношения между королем и Витольдом кончатся, если не навсегда, то, по крайней мере, надолго. Но так как королевский совет в Кракове знал обо всем, что происходит и замышляется в Мальборге, то и король тоже выбрал посредником Витольда.

И орден пожалел о своем выборе. Советники ордена, которым казалось, что они знают Витольда, знали его все еще слишком мало, потому что он не только присудил Дрезденку полякам, но и, понимая, чем должно кончиться дело, снова поднял восстание на Жмуди. Показывая ордену все более грозное лицо свое, он даже стал помогать жмудицам людьми, оружием и хлебом, присылаемым из плодоносных польских земель.

Когда это случилось, все во всех землях огромного королевства поняли, что пробил решительный час. Так и было.

Однажды, когда старик Мацько, Збышко и Ягенка сидели у ворот замка, наслаждаясь прекрасной погодой и теплом, в Богданец явился на взмыленной лошади неизвестный человек, бросил что-то вроде венка, сплетенного из вербы, под ноги рыцарей и, крикнув: "Война! Война!" – поскакал дальше.

Они в волнении вскочили на ноги. Лицо Мацьки сделалось грозно и торжественно. Збышко побежал, чтобы послать оруженосца с венком дальше, а потом вернулся с горящими глазами и воскликнул:

– Война! Наконец-то послал Господь! Война!

– Да еще такая, какой мы раньше не видели, – серьезно прибавил Мацько. Потом он крикнул слугам, и они тотчас собрались вокруг господ:

– Протрубить в рог со сторожевой башни на четыре стороны. А другие пусть скачут по деревням за солтысами. Вывести лошадей из конюшен и заложить телеги.

И не успел он докричать, как слуги уже рассыпались во все стороны, чтобы исполнить приказания, которые не были трудны, потому что все было давно готово: люди, телеги, лошади, оружие, латы, запасы еды. Оставалось садиться и ехать.

Но Збышко еще раз спросил у Мацьки:

– А вы не останетесь дома?

– Я? Да ты в уме?

– По закону вы можете, вы человек в годах, а тут было бы, по крайней мере, кому охранять Ягенку с детьми.

– Ну так слушай: я до седых волос ждал этого часа.

И довольно было взглянуть на это холодное, упрямое лицо, чтобы понять: все уговоры напрасны. Впрочем, несмотря на седьмой десяток, это был воин на совесть, руки его легко ходили в суставах, а топор в них так и свистал. Правда, он уже не мог в полном вооружении вскочить без стремени на коня, но и многие из молодых, особенно среди западных рыцарей, не могли этого сделать. Зато рыцарскую науку знал он в совершенстве, и более опытного воина не было во всей округе.

Ягенка тоже, видимо, не боялась остаться одна, потому что, услышав слова мужа, она встала, поцеловала у него руку и проговорила:

– Не заботься ты обо мне, милый Збышко, потому что замок у нас хороший и сам ты знаешь, что я не очень труслива и что ни арбалет, ни копье мне не в диковинку. Некогда о нас думать, когда надо спасать королевство, а нас тут Бог сохранит.

И вдруг глаза ее наполнились слезами, которые крупными каплями покатались по белым щекам. И, указав на детей, она продолжала дрожащим, взволнованным голосом:

– Эх, кабы не эти крошки, я бы сама в ногах у тебя валялась бы, пока ты не взял бы меня на эту войну.

– Ягуся! – воскликнул Збышко, обнимая ее.

Она тоже обняла его за шею и стала повторять, прижимаясь к нему изо всех сил:

– Только ты-то вернись, золотой мой, единственный, ненаглядный.

– Смотри же, каждый день благодари Бога за то, что он дал тебе такую жену, – низким голосом проговорил Мацько. И час спустя с башни был спущен флаг в знак отсутствия господ. Збышко и Мацько разрешили Ягенке с детьми проводить их до Серадзи, поэтому, хорошенько подкрепившись, все тронулись в путь с челядью и целым обозом телег.

День был ясный, безветренный. Леса в тишине стояли неподвижно. Стада на полях отдыхали, медленно и как будто задумчиво пережевывая жвачку. Только вследствие сухости воздуха кое-где на дорогах подымались клубы золотой пыли, а над этими клубами сверкали словно какие-то огоньки, ослепительно горевшие в солнечном блеске. Збышко, указывая на них жене и детям, говорил:

– Знаете, что это там блестит над пылью? Это наконечники копий. Видно, всюду уже

дошла весть о войне, и отовсюду народ поднялся на немца.

Так это и было. Недалеко за границей Богданца встретили они брата Ягенки, молодого Яську из Згожелиц, который, как землевладелец довольно богатый, вел за собой целых двадцать человек.

Вскоре после этого на перекрестке показалась среди туч пыли огромная фигура Чтана из Рогова; правда, он не был другом обитателей Богданца, но теперь еще издали закричал: "Идем бить их, собачьих детей", – и, вежливо поклонившись, проскакал дальше, окутанный клубами пыли. Встретили и старика Вилька из Бжозовой. Голова его уже немного тряслась от старости, но ехал и он, чтобы отомстить за смерть сына, которого убили немцы в Силезии.

И по мере того как они приближались к Серадзи, все чаще встречались на дорогах облака пыли, а когда вдали уже показались башни города, вся дорога оказалась загроможденной солтысами и вооруженными слугами, ехавшими на место сбора. И, видя весь этот народ, шумный, суровый и сильный, упорный в бою и беспредельно выносливый в отношении лишений, дождей, холода и всяких трудов, старик Мацько ободрялся и предсказывал Польше верную победу.

XXVII

И наконец война вспыхнула. Вначале она не была богата боями, но в первые минуты счастье не особенно улыбалось полякам. Прежде чем польские силы успели стянуться, меченосцы взяли Бобровники, сровняли с землей Злоторью и снова заняли несчастную, недавно с таким трудом полученную обратно, Добржинскую землю. Но чешское и венгерское посредничество на время погасило военную бурю. Настало перемирие, во время которого Вацлав, король чешский, должен был рассудить Польшу с орденом.

Однако в зимние и весенние месяцы обе стороны не переставали стягивать войска и придвигать их друг к другу; в это время подкупленный король чешский объявил решение в пользу ордена; война должна была вспыхнуть снова.

Между тем подошло лето, а вместе с ним подоспели "народы", приведенные Витольдом. После переправы под Червенском оба войска соединились с полками мазовецких князей. С другой стороны в лагере под Светем стало сто тысяч закованных в железо немцев. Король хотел переправиться через Дрвенцу и кратчайшим путем направиться к Мальборгу, но переправа оказалась невозможной, и он повернул от Кужентника к Дядлову, разрушил орденский замок Домбровно, или Гильгенбург, и там же стал лагерем.

И он, и польские, и литовские военачальники знали, что скоро должен произойти решительный бой, однако никто не думал, что это произойдет раньше, чем через несколько дней. Предполагали, что магистр, перерезав дорогу королю, захочет дать отдых своим полкам, чтобы на смертный бой вышли они не усталыми, а свежими. Между тем королевские войска остановились на ночь в Домбровне. Взятие этой крепости, произведенное не только без приказанья, но даже вопреки воле военного совета, наполнило радостью сердце короля и Витольда, потому что это был сильный замок, окруженный озером, с толстыми стенами и многочисленным гарнизоном. Однако польские рыцари взяли его чуть не мгновенно, с таким неудержимым рвением, что не успело подойти все войско, как уже от замка и города остались только груды развалин и пепла, среди которых дикие воины Витольда и татары под предводительством Саладина вырезали остатки отчаянно защищающихся немецких кнехтов.

Однако пожар продолжался недолго, потому что его потушил непродолжительный, но сильнейший ливень. Вся ночь с четырнадцатого на пятнадцатое июля была необычайно изменчива и ветрена. Вихри несли грозу за грозой. Временами казалось, что все небо пылает от молний, а молнии с ужасающим грохотом проносились с востока на запад. Частые молнии наполняли воздух запахом серы, а шум дождя заглушал все иные звуки. Потом ветер разгонял тучи, и среди их лоскутьев видны были звезды и большая, светлая луна. Только после полуночи несколько стихло, так что, по крайней мере, можно было зажечь огни. И тотчас тысячи их засверкали в огромном польско-литовском стане. Воины сушили возле них промокшую одежду и пели военные песни.

Король тоже не спал, потому что в доме, расположенном на самом краю лагеря, куда укрылся он от грозы, заседал военный совет, которому давался отчет во взятии Гильгенбурга. В штурме крепости принимал участие отряд серадзских войск, и потому начальник отряда, Якуб из Конецполя, призван был вместе с другими для дачи объяснений, почему они без приказа брали город и не отказались от штурма, хотя король послал своего воеводу и несколько подручных слуг, чтобы удержать идущие на приступ войска.

Поэтому воевода Якуб, не будучи уверен, что его не встретит выговор, а быть может и наказание, взял с собой несколько видных рыцарей, между которыми находились Мацько и Збышко в качестве свидетелей того, что Подвойский добрался до них только тогда, когда они находились уже на стенах замка и в минуту самой ожесточенной битвы с гарнизоном. Что же касается того, что он напал на замок, то он говорил, что "трудно обо всем спрашивать, когда войска растянуты на несколько миль". Будучи послан вперед, он полагал, что обязан рушить на пути войска все препятствия и избивать врага, где бы его ни встретил. Выслушав все это, король, князь Витольд и королевские советники, довольные в душе тем, что произошло, не только не стали упрекать воеводу и серадзских воинов за их поступок, но даже восхваляли их храбрость за то, что они "так проворно разделались с замком и его гарнизоном". Тогда могли Мацько и Збышко насмотреться на величайших людей в королевстве, потому что кроме короля и князей мазовецких там находились и два вождя всех войск: Витольд, предводительствовавший литовцами, жмудинами, русскими, бессарабцами, валахами и татарами, и Зиндрам из Машковиц, "того же герба, что и солнце", мечник краковский, главный начальник краковский, польских войск, превосходящий всех знанием военного дела. Кроме них в этом совете принимали участие великие воины и сановники: каштелян краковский Кристиан из Острова и воевода краковский Ясько из Тарнова, далее шли: воевода познанский Сендивуй из Остророга и воевода сандомирский Миколай из Михаловиц; настоятель костела Святого Флориана и в то же время подканцлер Миколай Тромба; маршал королевства Збигнев из Бжезя; Петр Шафранец, подкоморий краковский, и, наконец, Земовит, сын Земовита, князя на Плоцке, единственный молодой среди них, но зато удивительно "прыткий насчет войны": мнение его высоко ценил сам король.

В большой соседней комнате ожидали, чтобы быть под рукой и в случае нужды помочь советом, главнейшие рыцари, слава которых гремела по всей Польше и за границей: там Мацько и Збышко увидели Завишу Черного, Сулимчика, брата его Фарурея, Скарбка Абданка из Гур, Добка из Олесницы, когда-то на турнире в Торуни выбившего из седла двенадцать немецких рыцарей, огромного Пашка Злодея из Бискупиц, Повалу из Тачева, своего друга и доброжелателя, Кшона из Козьих Рогов, Мартина из Вроцимовиц, носившего большое знамя всего королевства, Флориана Элитчика из Корытницы, страшного в рукопашных схватках Лиса из Тарговиска и Сташка из Харбимовиц, который мог в полном вооружении перескочить через двух

высоких коней.

Было и много других славных рыцарей из разных земель и из Мазовии; звали их "предхоругвенными", потому что во время боя они стояли в первом ряду. Знакомые, а особенно Повала, были рады видеть Мацьку и Збышку и тотчас стали говорить с ними о старых временах и приключениях.

– Эх, – говорил Збышке рыцарь из Тачева, – поистине, у тебя с меченосцами крупные счета, но думаю – ты теперь отплатишь им за все.

– Отплачу, хоть бы кровью! И все мы отплатим! – отвечал Збышко.

– А знаешь ты, что твой Куно Лихтенштейн теперь великий комтур? – заметил Пашко Злодей из Бискупиц.

– Знаю, и дядя знает.

– Дай бог мне его встретить, – перебил Мацько, – у меня к нему дело особое.

– Да ведь и мы его вызывали, – отвечал Повала, – да он ответил, что высокая должность не позволяет ему сражаться. Ну теперь позволит.

Тогда Завиша, всегда говоривший очень спокойно и значительно, ответил:

– Он достанется тому, кому его Бог предназначит!

Но Збышко из одного любопытства тотчас предложил Завише рассудить дело дяди и спросил, не исполнен ли обет Мацьки тем, что он дрался с родственником Лихтенштейна, который объявил себя заместителем Куно и был убит. И все воскликнули, что клятва исполнена. Только сам упрямый Мацько, хоть и рад был решению, сказал:

– Да, но все-таки я более был бы уверен в спасении души, если бы встретился с самим Куно.

Потом заговорили о взятии Гильгенбурга и о предстоящей великой битве, которой ждали вскоре, потому что магистру ничего не оставалось делать, как преградить путь королю.

Но в то время, когда все ломали головы над тем, через сколько дней встреча может произойти, к ним подошел худой и высокий рыцарь, в одежде из красного сукна и с такой же шапочкой на голове; раскрыв объятия, он сказал нежным, почти женским голосом:

– Привет тебе, рыцарь Збышко из Богданца.

– Де Лорш! – вскричал Збышко. – Ты здесь?

И он заключил его в объятия, потому что сохранил о нем хорошие воспоминания; поцеловав его, как лучшего друга, Збышко стал с радостью спрашивать:

– Ты здесь? На нашей стороне?

– Может быть, много гельдернских рыцарей находятся на той стороне, – отвечал де

Лорш, – но я, как владелец Длуголяса, обязан служить государю моему, князю Янушу.

– Так ты стал наследником старого Миколая из Длуголяса?

– Да. По смерти Миколая и сына его, который убит под Бобровниками, Длуголяс достался прекрасной Ягенке, пять лет тому назад ставшей моей женой и госпожой.

– Боже мой! – вскричал Збышко. – Рассказывай, как это случилось. Но де Лорш поздоровался со старым Мацькой и сказал:

– Ваш старый оруженосец Гловач сказал мне, что я найду вас здесь, а сам ждет меня в палатке за ужином. Правда, это далеко, на другом конце лагеря, но верхами доедем скоро, едем со мной.

И, обращаясь к Повале, с которым некогда познакомился в Плоцке, де Лорш прибавил:

– И вы, благородный господин. Это для меня будет счастье и честь.

– Хорошо, – отвечал Повала. – Приятно поговорить со знакомыми, а кстати дорогой посмотрим лагерь.

И они вышли, чтобы сесть на коней и ехать. Но предварительно слуга де Лорша накинул им на плечи епанчи, которые он, видимо, нарочно привез. Подойдя к Збышке, он поцеловал у него руку и сказал:

– Позвольте вам поклониться, господин. Я – старый слуга ваш, но в темноте вы не можете меня узнать. Помните Сандеруса?

– Боже мой! – вскричал Збышко.

И на мгновение ожили в нем воспоминания о пережитых печалях, горестях и недавних несчастьях, точно так же, как две недели тому назад, когда, после соединения королевских войск с отрядами мазовецких князей, он после долгой разлуки встретил бывшего своего оруженосца Главу. И он сказал:

– Сандерус! Эх, помню и старые те времена, и тебя. Что же ты с той поры делал и где был? Разве ты уже не продаешь отпущений?

– Нет, господин. До минувшей весны я был звонарем при костеле в Длу-голясе, но так как покойный отец мой занимался военным ремеслом, то когда вспыхнула война, сразу опротивела мне медь костельных колоколов и проснулась охота к железу и стали.

– Что я слышу? – воскликнул Збышко, который как-то не мог представить себе Сандеруса, с топором, мечом или рогатиной выходящего на битву.

А Сандерус, держа ему стремя, сказал:

– Год тому назад по приказанию епископа плоцкого я ходил в прусские земли, чем оказал значительную услугу. Но это я расскажу потом, а теперь садитесь, господин, на коня, потому что чешский граф, которого вы зовете Главой, ждет вас с ужином в палатке моего господина.

Збышко сел на коня и, приблизившись к де Лоршу, поехал рядом с ним, чтобы свободнее разговаривать. Збышко хотелось узнать его историю.

– Я очень рад, – сказал он, – что ты на нашей стороне, но мне это странно, потому что ведь ты служил у меченосцев.

– Служат те, которые получают жалованье, – отвечал де Лорш, – а я его не получал. Нет. Я приехал к меченосцам только с той целью, чтобы искать приключений и получить рыцарский пояс, который, как тебе известно, я получил из рук польского князя. И пробыв много лет в этих местах, я узнал, на чьей стороне правда, а так как я к тому же здесь женился и стал помещиком, то как же мне было идти против вас? Я уже здешний, и погляди-ка, как я научился вашей речи. Э, я даже свою немного забыл.

– А твои земли в Гельдерне? Ведь я слышал – ты родственник тамошнего герцога и обладатель многих поместий и замков?

– Имена свои я уступил родственнику, Фулькону де Лоршу, который мне за них выплатил деньгами. Пять лет тому назад я был в Гельдерне и привез оттуда большие богатства, за которые приобрел земли в Мазовии.

– А как же случилось, что ты женился на Ягенке из Длуголяса?

– Ах, – отвечал де Лорш, – кто сумеет разгадать женщину? Она все надо мной смеялась, пока мне это не надоело и пока я не объявил ей, что с горя еду в Азию на войну и никогда уже больше не вернусь. Тогда она вдруг заплакала и сказала: "Тогда я пойду в монастырь". Я упал к ее ногам за эти слова, а две недели спустя епископ плоцкий обвенчал нас.

– А дети у вас есть? – спросил Збышко.

– После войны Ягенка собирается ко гробу вашей королевы Ядвиги, просить ее благословения, – вздыхая, отвечал де Лорш.

– Это хорошо. Говорят, это верное средство и в этих делах нет лучшей покровительницы, чем наша святая королева. Через несколько дней произойдет битва, а потом будет мир.

– Да.

– Но меченосцы, вероятно, считают тебя предателем.

– Нет, – сказал де Лорш. – Ты знаешь, как я берегу рыцарскую честь. Сандерус ездил с поручениями плоцкого епископа в Мальборг, и я послал через него письмо магистру Ульриху. В этом письме я отказался служить ему и открыл причины, по которым перехожу на вашу сторону.

– А, Сандерус, – воскликнул Збышко. – Он мне говорил, что ему опротивела колокольная медь и что в нем проснулась охота к железу и стали. Это меня удивляет, ведь он всегда был трус. Рыцарь де Лорш на это ответил:

– Сандерус постольку имеет дело с железом и сталью, поскольку бреет меня и моих оруженосцев.

– Так вот как! – смеясь, вскричал Збышко.

Некоторое время ехали молча, но потом де Лорш поднял глаза к небу и сказал:

– Я приглашал вас на ужин, но пока мы доедем, это, пожалуй, уже будет завтрак.

– Луна еще светит, – возразил Збышко. – Едем.

И, поравнявшись с Мацькой и Повалой, они продолжали путь все вместе широкой улицей, которую всегда прокладывали по приказу военачальников между палатками и кострами, чтобы оставался свободный проезд. Чтобы добраться до стоящих на другом конце лагеря мазовецких полков, всадникам пришлось проехать вдоль всего лагеря.

– С тех пор как стоит Польша, – заметил Мацько, – она еще не видала таких войск: сошлись народы со всех концов земли.

– И ни один король не сможет выставить таких войск, – отвечал де Лорш, – потому что ни у одного нет такого могущественного государства.

А старый рыцарь обратился к Повале из Тачева:

– Сколько, вы говорите, рыцарь, полков пришло с князем Витольдом?

– Сорок, – отвечал Повала. – наших, польских, вместе с мазурскими пятьдесят, но нас не так много, как Витольдовых, потому что у него иногда по несколько тысяч составляют один полк. Мы слышали, будто магистр сказал, что эта голытьба лучше управляется с ложками, чем с мечами, но бог даст, он это в дурной час сказал: я думаю, что литовские копья изрядно покраснеют от немецкой крови.

– А те, возле которых мы теперь проезжаем, это какие? – спросил де Лорш.

– Это татары. Их привел Витольдов ленник Саладин.

– Хороши в бою?

– Литва умеет воевать с ними и большую часть их побила, потому-то и пришлось им идти на эту войну. Но западным рыцарям с ними бороться трудно, потому что они в бегстве страшнее, чем при столкновении.

– Посмотрим на них поближе, – сказал де Лорш.

И рыцари поехали к кострам, которые были окружены людьми с совершенно обнаженными руками; несмотря на летнюю пору, люди эти были одеты в овчинные тулупы, шерстью наружу. Большая часть их спала на голой земле или на мокрой соломе, от которой подымался пар, но многие также сидели кучками возле горящих костров. Некоторые сокращали ночные часы, напевая в нос дикие песни и сопровождая пение мерным постукиванием одной лошадиной кости о другую, что создавало странный и неприятный шум; у некоторых были небольшие бубны; третьи брэнчали на натянутых тетивах. Некоторые ели только что вынутые из огня, дымящиеся и в то же время кровавые куски мяса, на которые дули толстыми, синими губами. Вообще у них был такой дикий и зловещий вид, что их легче было принять за каких-то страшных лесных зверей, нежели за людей. Дым от костров, от топившегося в огне конского и бараньего жира ел глаза, а кроме того, кругом

носился невыносимый смрад от пригоревшей шерсти, пропарившихся тулупов, только что содранных шкур и крови. С другой, неосвещенной стороны улицы, где стояли лошади, пахло их потом. Эти клячи, которых держали несколько сот для разъездов по близлежащим местам, выщипав всю траву из-под ног, грызлись между собой, пронзительно крича и храпя. Конюхи усмиряли драку криками и плетью из сыромятной кожи.

В одиночку опасно было замешиваться среди них, потому что эти дикари были необычайно хищны. Сейчас же за ними стояли не менее дикие ватаги бессарабцев, с рогами на головах, длинноволосых валахов, носящих вместо панцирей на груди и на спине раскрашенные деревянные доски с неуклюжими изображениями утвари, скелетов или зверей; потом сербы, спящий лагерь которых днем и ночью шумел, точно одна огромная лютня: столько в нем было флейт, дудок, свирелей и других музыкальных инструментов.

Светили огни, а с неба, окруженный облаками, которые гнал ветер, светил яркий месяц. Рыцари наши присматривались к лагерю. За сербами стояла несчастная жмудь. Немцы выжали из нее потоки крови, но она на каждый зов Витольда подымалась для новых боев. И теперь, как бы в предчувствии, что злая доля ее скоро кончится раз навсегда, она пришла сюда, охваченная духом того Скирвойллы, одно имя которого приводило немцев в трепет и бешенство. Огни жмудинов подходили вплотную к литовским, потому что это был один и тот же народ, имеющий общий язык и общие обычаи.

Но в начале литовского стана мрачное зрелище поразило взоры рыцарей. На сколоченной из кругляка виселице видны были два трупа; ветер с такой силой качал их, кружил и подбрасывал, что перекладина виселицы жалобно скрипела. Лошади при виде трупов слегка захрапели и присели на задние ноги; рыцари набожно перекрестились, а проехав, Повала сказал:

– Князь Витольд был у короля, а я состоял при короле, когда привели этих преступников. Уже раньше жаловались наши епископы и шляхтичи, что Литва слишком жестоко воюет, не щадя даже костелов. И вот когда их привели (а это были знатные люди, только они, говорят, осквернили Святые Дары), князь вскипел таким гневом, что страшно было на него взглянуть, и велел им повеситься. Эти несчастные сами должны были построить себе виселицу и сами повеситься, да еще один другого торопил: "Ну, живей, а то князь еще хуже рассердится". И страх обуял всех татар и литвинов, потому что они боятся не смерти, а княжеского гнева.

– Я помню, – сказал Збышко, – что, когда король в Кракове рассердился на меня из-за Лихтенштейна, молодой князь Ямонт тоже советовал мне повеситься. И он от доброты сердечной давал этот совет, хотя за это я вызвал бы его на утопанную землю, если бы не то, что и без того мне, как вы знаете, собирались отрубить голову.

– Князь Ямонт уже научился рыцарским обычаям, – отвечал Повала.

Так разговаривая, они миновали большой литовский лагерь и три блестящих русских полка, из которых самым многочисленным был смоленский, и въехали в лагерь польский. Там стояло пятьдесят полков конницы: ядро и в то же время центр всех войск. Оружие здесь было лучше, кони крупнее, рыцари обученнее: они ни в чем не уступали западным. Силой членов, выносливостью по отношению к голоду, холоду и трудам эти владельцы земель из Малой и Великой Польши даже превосходили более заботящихся об удобствах воинов Запада. Обычаи у них были проще, панцири

выкованы грубее, но крепче; их презрению к смерти и неизмеримому упорству в бою уже давно удивлялись приезжавшие издалека французские и английские рыцари.

Де Лорш, давно знавший польских рыцарей, говорил:

– В них вся сила и вся надежда. Я помню, как в Мальборге часто жаловались, что в боях с вами каждую пядь земли приходится покупать ценой крови.

– Кровь и теперь рекой потечет, – отвечал Мацько, – потому что и орден никогда до сих пор не собирал таких сил.

Тут заговорил Повала.

– Рыцарь Корзбуг, – сказал он, – ездивший от короля к магистру с письмами, рассказывал, что меченосцы говорят, будто ни у императора римского, ни у одного короля нет такого войска и что орден мог бы завоевать все королевства.

– Да ведь нас больше! – сказал Збышко.

– Да они войско Витольда ни во что не ставят: это, дескать, народ, вооруженный как попало, он от первого же удара рассыплется, как глиняный горшок под молотом. А правда ли это, или неправда – не знаю.

– И правда, и неправда! – заметил сообразительный Мацько. – Мы со Збышкой их знаем, потому что вместе с ними воевали. Верно, оружие и лошади у них хуже: поэтому часто бывает, что под напором рыцарей они гнутся, но сердца у них такие же храбрые, как у немцев, а то и храбрее.

– Скоро это обнаружится, – сказал Повала. – У короля вечно слезы на глазах навертываются при мысли, что столько прольется христианской крови. Он бы до последней минуты рад сохранить мир, но гордость меченосцев этого не допустит.

– Верно! Знаю я меченосцев, и все мы их знаем, – подтвердил Мацько. – Господь поставил уже весы, на которых взвесит нашу кровь и кровь врагов нашего племени.

Уже были недалеко мазовецкие полки, среди которых стояла палатка рыцаря де Лорша, как вдруг на середине "улицы" они заметили толпу людей, смотрящих на небо.

– Стойте, стойте, – прокричал чей-то голос из середины толпы.

– А кто говорит и что вы здесь делаете? – спросил Повала.

– Ксендз Клобуцкий. А вы кто?

– Повала из Тачева, рыцари из Богданца и де Лорш.

– Ах, это вы, господин, – таинственным голосом сказал ксендз, подходя к коню Повалы. – Взгляните-ка на месяц и посмотрите, что с ним делается. Вещая и чудесная ночь.

Рыцари подняли головы и стали смотреть на месяц, который уже побледнел и приближался к западу.

– Ничего не могу разглядеть, – сказал Повала. – А вы что видите?

– Монах в капюшоне сражается с королем в короне. Смотрите, вон там. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Как они дерутся... Господи, милостив буди нам грешным.

Кругом воцарилась тишина; все затаили дыхание в груди.

– Смотрите, смотрите! – восклицал ксендз.

– Правда, что-то такое есть, – сказал Мацько.

– Правда, правда, – подтвердили остальные.

– А король повалил монаха, – вскричал вдруг ксендз Клобуцкий. – Ногу на него поставил. Слава тебе, Господи.

– Вовеки веков.

В этот миг большая черная туча закрыла месяц, и сделалась темная ночь; только отсвет костров красными полосами падал на дорогу.

Рыцари поехали дальше, и когда они уже отделились от толпы, Повала спросил:

– Видели вы что-нибудь?

– Сначала ничего, – отвечал Мацько, – но потом я отлично видел короля и монаха.

– И я.

– И я.

– Знак Божий, – заметил Повала. – Ну, видно, несмотря на слезы нашего короля, миру не бывать.

– И бой будет такой, какого еще не бывало, – сказал Мацько.

И они продолжали путь молча. На душе у них было торжественно.

Но когда они находились уже недалеко от палатки де Лорша, ветер вдруг опять налетел с такой силой, что в мгновение ока раскидал костры Мазуров. Воздух наполнился тысячами головешек, горящих ветвей, искр и клубами дыма.

– Ну и дует, – сказал Збышко, опуская епанчу, которую ветер закинул ему на голову.

– А в ветре как будто слышатся стоны и плач.

– Рассвет уже недалек, но никто не знает, что принесет день, – прибавил де Лорш.

XXVIII

К утру ветер не только не стих, но даже до такой степени усилился, что нельзя было поставить палатку, в которой король с самого начала похода обычно выслушивал по три обедни в день. Наконец прибежал Витольд; он просил и умолял отложить службу до более удобного времени и не останавливать похода. Желание его

было исполнено, потому что иначе и быть не могло.

На заре войска тронулись, точно лава, а за ними шел бесконечный обоз возов. Через час после выступления ветер стих, так что можно было распустить знамена. И тогда поля, куда ни глянь, покрылись как бы тысячами пестрых цветов. Никакой глаз не мог охватить полков и леса разноцветных значков, под которыми войска шли вперед. Земля Краковская шла под красным знаменем с белым орлом в короне, и это было знамя всего королевства, великий знак для всех войск. Нес его Мартин из Вроцимовиц, рыцарь могучий и прославленный во всем мире. За ним шли придворные полки, над одним из которых виднелся двойной литовский крест, на другом герб Литвы. Далее под знаком святого Георгия шел могучий отряд наемных войск и заграничных охотников, составленный, главным образом, из чехов и моравов. Их много пошло на войну: весь сорок девятый полк был созван исключительно из них. Народ это был, особенно в пехоте, которая шла за копейщиками, дикий, но до того способный к битве, а при столкновениях до того свирепый, что всякая иная пехота отскакивала от этой, как собака от ежа. Бердыши, косы, топоры, а в особенности железные цепи составляли их оружие, которым они владели прямо-таки страшно. Они нанимались к любому, кто им платил, потому что единственной их стихией была война, грабежи, резня.

Рядом с моравами и чехами шли под своими знаменами шестнадцать конных полков польских земель, в том числе один пшемысльский, один львовский, один галицкий и три подольских, а за ними пехота тех же областей, вооруженная по преимуществу рогатинами и косами. Князья мазовецкие, Земовит и Януш, вели первый, второй и третий конные полки. Тут же шла конница епископа и магнатов, в числе двадцати двух полков: Яська из Тарнова, Ендрка из Тенчина, Спытка Леливы и Кшона из Острова, Миколая из Михалова, Збигнева из Бжеся, Кшона из Козьих Голов, Кубы из Концеполя, Яська Лигензы, Кмиты и Заклики, а кроме того, родовые полки Грыфитов и Бобовицких и разных других, которые во время боев собирались под общим знаменем и у которых был один и тот же боевой клич.

И так расцвела под ними земля, как расцветают луга весной. Шла целая волна лошадей, волна людей, над ними лес копий с разноцветными значками, а сзади, в облаках пыли, двигались составленные из мещан и крестьян пехотные полки. Все знали, что идут на страшную битву, но знали, что надо, и потому шли с легким сердцем.

На правом крыле шли ватаги Витольда, шли под разноцветными знаменами, но под общим литовским гербом. Взгляд не мог охватить всех войск, потому что они растянулись среди полей и лугов на пространство шириной больше немецкой мили.

Перед полуднем, пройдя поблизости деревень Логдау и Танненберг, войска остановились на опушке леса. Место казалось удобным для отдыха и вполне безопасным в отношении неожиданного нападения, потому что слева простиралось Домбровское озеро, а справа озеро Любеч; впереди же перед войсками на целую милю лежало поле. Посреди этого поля, слегка возвышавшегося в западном направлении, зеленели трясины Грюнвальда, а немного дальше виднелись серые соломенные крыши и пустынные унылые паровые поля Танненберга. Врага, который захотел бы спуститься к лесам и холму, легко было заметить, но полагали, что он может подойти не раньше, как на следующий день. Войска остановились только на привал. Однако опытный в военном деле Зиндрам из Машковиц даже на походе придерживался боевого порядка, а потому войска расположились так, чтобы в любую минуту быть готовыми к делу. Тотчас по приказу вождя были посланы на легких и быстрых конях разведчики в сторону Грюнвальда и Танненберга. Они должны были заняться исследованием

окружающей местности. Тем временем для благочестивого короля раскинули на высоком берегу озера Любеча палатку, в которой помещалась часовня. Таким образом он мог прослушать положенную обедню.

Ягелло, Витольд, мазовецкие князья и военный совет направились в палатку. Перед нею же собрались главнейшие рыцари, собрались, чтобы перед наступлением страшного дня поручить себя милосердию Божью и поглядеть на короля. И они видели, как он шел в серой походной одежде, с серьезным лицом, на котором заметна была тяжкая забота. Годы мало изменили его фигуру и не покрыли морщинами его лица, как и не убелили волос, которые он теперь точно так же быстрым движением закладывал за уши, как тогда, когда Збышко первый раз видел его в Кракове. Но шел он, как бы согбенный под тяжестью страшной ответственности, лежавшей на его плечах, шел, как бы погруженный в великую печаль. В войсках говорили, что король непрестанно плачет над той христианской кровью, которая должна была пролиться в боях. Так и было на самом деле. Ягелло содрогался при мысли о войне, особенно с людьми, носившими крест на плащах и знаменах, и всею душой жаждал мира. Напрасно польские паны и даже венгерские посредники указывали ему на заносчивость меченосцев, переполненный которою магистр Ульрих готов был вызвать на бой целый мир; напрасно собственный посланник Ягеллы, Петр Корзбуг, клялся крестом Господним, что орден и слышать не хочет о мире и что единственного комтура, графа фон Венде из Гневска, советовавшего сохранить мир, прочие меченосцы высмеивают и оскорбляют, король все еще надеялся, что враг признает справедливость его желаний, пожалеет человеческой крови и справедливым соглашением закончит страшную ссору.

Вот и теперь пошел он молиться об этом в часовню, потому что простую и добрую душу его терзала страшная тревога. Когда-то Ягелло уже посетил с огнем и мечом земли ордена, но тогда он делал это как языческий литовский князь; теперь же, когда, уже будучи польским королем и христианином, он увидел горящие села, развалины, кровь и слезы, охватил его страх перед гневом Божиим, а ведь это было только начало войны. О, если бы хоть теперь остановиться. Но вот не сегодня, так завтра народы сойдутся и земля размякнет от крови. Конечно, неправ этот враг, но он носит кресты на плащах и охраняют его столь великие святыни, что мысль в ужасе отступает перед ними. Все войско думало со страхом об этих святынях, и не стрел, не мечей, не топоров, а мощей всего больше боялись поляки. "Как мы сможем поднять руку на магистра, – говорили бесстрашные рыцари, – если на панцире у него висит ладанка, а в ней и мощи и древо Животворящего Креста". Правда, Витольд пылал жаждой войны, толкал к ней и рвался в бой, но набожное сердце короля трепетало при мысли о тех небесных силах, которыми орден прикрывал свою неправоту.

XXIX

Вот уже ксендз Бартош из Клобуцка окончил одну обедню, а Ярош, ксендз калишский, собирался вскоре начать вторую; король вышел из палатки, чтобы немного расправить усталые от стояния на коленях ноги; вдруг на взмыленной лошади прискакал, как буря, шляхтич Ганко Остойчик и, не успев еще соскочить с седла, закричал:

– Милосердный государь! Немцы.

При этих словах вскочили рыцари, король изменился в лице, помолчал мгновение, а потом воскликнул:

– Слава Господу Богу Иисусу Христу! Где ты их видел и сколько полков?

– Я видел один полк конницы у Грюнвальда, – задыхающимся голосом отвечал Ганко,
– но за холмом подымалась пыль. Должно быть, их больше шло.

– Слава Господу Богу нашему Иисусу Христу! – повторил король.

Вдруг Витольд, которому при первых же словах Ганки кровь ударила в лицо, обернулся к придворным и закричал:

– Отменить вторую обедню и дать мне коня! Но король положил руку ему на плечо и сказал:

– Поезжай ты, брат, а я останусь и прослушаю вторую обедню.

Тогда Витольд с Зиндрамом из Машковиц вскочили на коней, но в тот миг, когда они повернули к лагерю, примчался второй гонец, шляхтич Петр Окша из Влостова, и еще издали стал кричать:

– Немцы! Немцы! Я видел два полка конницы.

– На коней! – слышались голоса в толпе придворных и рыцарей.

И еще не окончил Петр своей речи, как уже вновь раздался конский топот и подскакал третий гонец, а за ним четвертый, пятый, шестой: все они видели немецкое войско, которое наступало, все увеличиваясь. Не было уже никакого сомнения, что вся немецкая армия преграждает дорогу королевскому войску.

Рыцари в мгновение ока поразъехали к своим полкам. С королем у походной часовни осталась только кучка придворных, ксендзов и оруженосцев. Но в этот миг прозвонил колокольчик, возвещая, что калишский ксендз выходит служить вторую обедню; Ягелло набожно сложил руки и, подняв глаза к небу, медленно направился к палатке.

* * *

Но когда, по окончании обедни, он снова вышел оттуда, он уже мог собственными глазами убедиться в том, что гонцы говорили правду: на краях обширной, но покато́й равнины что-то вдруг зачернело, точно на пустом поле внезапно вырос лес, а над этим лесом переливалась на солнце целая радуга пестрых знамен. Еще дальше, там, за Грюнвальдом и Танненбергом, подымалось к небу гигантское облако пыли. Король окинул взглядом весь этот грозный горизонт и, обратившись к ксендзу, подканцлеру Миколаю, спросил:

– Какого святого мы нынче празднуем?

– Сегодня день разослания апостолов, – отвечал ксендз-подканцлер.

Король вздохнул:

– Значит, день этот будет последним днем жизни для многих тысяч христиан, которые сойдутся сегодня на этом поле.

И он указал рукой на широкую пустую равнину; лишь посредине ее, на полпути к Танненбергу, росло несколько вековых дубов.

Между тем ему подвели коня, а вдали показалось шестьдесят всадников с копьями: Зиндрам из Машковиц прислал их как стражу, долженствующую оберегать особу короля.

* * *

Королевской стражей предводительствовал Александр, младший сын плоцкого князя, брат того Земовита, который, благодаря своей особенной способности к военному делу, заседал в военном совете. Второе место после него занимал литовский племянник государя, Зыгмунт Корыбут, юноша, на которого возлагались большие надежды, много обещавший, но с беспокойным характером. Из рыцарей славнейшие были: Ясько Монжик из Домбровы, настоящий великан, силой немного уступавший самому Завише Черному; Жулава, чешский барон, маленький и худой, но необычайно ловкий, известный при чешском и венгерском дворах поединками, на которых он победил более десяти ракузских рыцарей; еще один чех, Сокул, изумительный стрелок из лука; Беняш Веруш, великополянин; Петр Медиоланский; литовский боярин Сенко из Погоста, отец которого, Петр, начальствовал над одним из полков смоленской конницы; родственник короля князь Федушко; князь Ямонт – словом, величайшие польские рыцари, давшие клятву до последней капли крови защищать короля и оберегать его от всяких случайностей. Непосредственно же при особе короля находились ксендз-подканцлер Миколай и секретарь Збышко из Олесницы, юноша ученый, опытный в искусстве чтения и письма, но в то же время силой подобный кабану. Оружие короля охраняли три оруженосца: Чайка из Нового Двора, Миколай из Моравицы и Данило Русин, носивший королевский лук и колчан. Свиту дополняло несколько придворных, обязанностью которых было объезжать на быстрых конях войска и раздавать приказания.

Оруженосцы одели государя в драгоценные, блестящие латы, потом подвели ему великолепного коня, который из-под стального налобника фыркал ноздрями. Это было доброе предзнаменование: наполняя воздух ржанием, он слегка приседал, как птица, готовая полететь. Король, почувствовав под собой коня, а в руке копье, вдруг изменился. Печаль исчезла с лица его, маленькие черные глаза засверкали, а на лице заиграл румянец. Но длилось это мгновение, потому что, когда ксендз-подканцлер стал осенять его крестом, король сделался снова серьезен и смиренно склонил покрытую серебристым шлемом голову.

Между тем немецкая армия, медленно спускаясь с возвышенности, миновала Грюнвальд, миновала Танненберг и в полном боевом порядке остановилась среди поля. Снизу, из польского лагеря, отлично видно было грозную лавину закованных в железные латы коней и рыцарей. Более зоркие глаза даже разбирали гербы на знаменах, поскольку этому не мешал ветер, развевавший их: там были кресты, орлы, грифы, мечи, шлемы, барашки, головы медведей и зубров.

Старый Мацько и Збышко, ранее воевавшие с меченосцами и знавшие их войска и гербы, показывали своим серадзням два полка самого магистра, в которых служил цвет рыцарства; показывали они также боевой отряд ордена, которым начальствовал Фридрих фон Валленрод; могучий полк святого Георгия, со знаменем, на котором по белому полю был вышит красный крест, – и много иных полков. Неизвестны им были только знамена разных заграничных гостей, которые тысячами съехались со всех концов мира: из Ракуз, из Баварии, из Швабии, из Швейцарии, из славной своими рыцарями Бургундии, из богатой Фландрии, из солнечной Франции, о которой когда-то рассказывал Мацько, что ее рыцари, даже уже лежа на земле, все еще произносят боевые восклицания, из заморской Англии, родины искусных лучников, и даже из далекой Испании, где в непрестанных боях с сарацинами храбрость и честь расцвели пышнее, чем во всех иных странах.

И вот у этой крепкой шляхты из-под Серадзи, Концеполя, Кшесни, Богданца, Рогова и Бжозовой, как и у шляхты иных земель польских, вскипала кровь в жилах при мысли, что через минуту придется ей схватиться с немцами и всеми этими блестящими рыцарями. Лица старших стали серьезны и строги, потому что они знали, как тяжек и страшен будет бой. Зато сердца молодых запрыгали, как прыгают с визгом охотничьи псы, когда завидят зверя. Некоторые, крепко сжимая в руках копья и топоры, осаживали коней, точно готовясь к прыжку, другие тяжело дышали, точно им вдруг стало тесно в латах. Однако опытные воины их успокаивали: "Дело не минет и нас, хватит его на всех: дай бог, чтобы не было его слишком много".

Но меченосцы, смотря сверху на лесистую низину, видели на краю леса только несколько польских полков и вовсе не знали, вся ли это армия короля. Правда, налево, у озера, тоже виднелись серые полчища воинов, а в кустах поблескивало что-то вроде наконечников копий, употреблявшихся литовцами, но ведь это мог быть вспомогательный отряд? И только беглецы из разрушенного Гильгенбурга, которых привели к магистру, уверяли, что против войск ордена стоят все войска польско-литовские. Но напрасно говорили они о силе неприятеля. Магистр Ульрих не хотел им верить, потому что с самого начала этой войны верил лишь в то, что было ему выгодно и предвещало верную победу. Разведчиков и гонцов он не рассылал, понимая, что и без того дело кончится общим боем, а бой не может кончиться иначе, как страшным поражением неприятеля. Самоуверенный, полагающийся на силу, какой ни один магистр до него не выводил еще в поле, он не высоко ценил противника, а когда комтур гневский, самостоятельно проводивший разведку, указывал ему, что войска Ягеллы более многочисленны, он отвечал:

– Какие там войска. Только с поляками придется немного потрудиться, а остальные, сколько бы их ни было, – это жалкий народ, который больше ест, чем сражается.

И ведя в бой большие силы, он теперь возгорелся радостью, когда вдруг очутился перед неприятелем и когда боевое знамя королевства, ярко красневшее на темном фоне леса, не позволяло уже сомневаться, что впереди стоит главная польская армия.

Но немцы не могли напасть на стоящих у леса и в лесу поляков, потому что рыцари были страшны только в открытом поле и не любили и не умели сражаться в лесных чащах.

И вот вокруг магистра собрался небольшой военный совет: каким образом выманить неприятеля из зарослей.

– Клянусь святым Георгием! – воскликнул магистр. – Мы проехали без отдыха две мили, зной так и палит, а тела обливаются у нас под латами потом. Не станем же мы здесь ждать, пока неприятелю будет угодно выйти в поле.

В ответ на это граф Венде, человек почтенный и умный, сказал:

– Конечно, здесь уже смеялись над моими словами, и смеялись те, которые, бог даст, убегут с этого поля, на котором я паду (он взглянул на Вернера фон Теттингена), но все-таки я скажу то, что сказать обязывают меня совесть и любовь к ордену. Поляки не трусят, но, как я знаю, король решил до последней минуты ждать послов с предложением мира.

Вернер фон Теттинген ничего не ответил, только презрительно фыркнул; но и

магистру неприятны были слова фон Венде, и он заметил:

– Есть ли теперь время думать о мире? Нам надо подумать о другом деле.

– На это время всегда найдется, – ответил Венде.

Но жестокий комтур члуховский Генрих, поклявшийся, что прикажет носить перед собой два обнаженных меча, пока не обагрит их польской кровью, обратился к магистру толстое, потное лицо и в диком гневе вскричал:

– Мне милей смерть, чем позор! И хотя бы один, вот с этими мечами, я ударю на польское войско!

Ульрих слегка сдвинул брови.

– Ты говоришь против послушания, – сказал он. И обратился к комтурам:

– Совещайтесь только о том, как выманить неприятеля из лесу.

И вот послышались разноречивые советы, но, наконец, и комтурам, и главнейшим рыцарям-гостям понравился совет Герсдорфа выслать к королю двух герольдов с уведомлением, что магистр посылает ему два меча и вызывает поляков на смертный бой, а если королю мало места, то он, магистр, может слегка отодвинуть свои войска.

* * *

В это время король отъехал от берега озера и направился к левому крылу польских войск, где должен был посвятить в рыцари целую толпу всадников. Вдруг ему дали знать, что от войск меченосцев спускаются два герольда.

Сердце Владислава забилося надеждой:

– Что, как едут они с предложением мира?

– Дай бог! – отвечали духовные.

Король послал за Витольдом, а между тем герольды не спеша приближались к лагерю.

В ясном солнечном блеске хорошо было видно, как они приближаются на огромных, покрытых боевыми попонами конях; у одного на щите был изображен черный императорский орел на золотом поле, а у другого, который состоял герольдом князя шетинского, – гриф на белом поле. Ряды расступились перед ними, они же, сойдя с коней, вскоре очутились перед великим королем и, слегка склонив головы в знак уважения к нему, в следующих словах исполнили то, зачем были присланы.

– Магистр Ульрих, – сказал первый герольд, – вызывает тебя, государь, и князя Витольда на смертный бой, и чтобы возбудить ваше мужество, которого у вас, видимо, не хватает, шлет вам два обнаженных меча.

Сказав это, он положил мечи к ногам короля. Ясько Монжик из Домбровны перевел слова его королю, но едва он кончил, как вышел вперед другой герольд, с грифом на щите, и произнес следующее:

– Магистр Ульрих велел также объявить вам, государь, что если вам не хватает

места для битвы, то он подается назад со своими войсками, чтобы вы не кисли в зарослях.

Ясько Монжик перевел и его слова, и наступило молчание; только рыцари в королевской свите заскрежетали зубами при виде такой дерзости и обиды.

Последние надежды Ягеллы развевались как дым. Он ждал послов со словами согласия и мира, а это было посольство гордости и войны.

И подняв полные слез глаза к небу, он ответил:

– Мечей у нас довольно, но я принимаю и эти, как предвещание победы, которую сам Господь посылает мне вашими руками. Поле битвы он же назначит. К его справедливости ныне взываю, принося жалобу за мою обиду на вашу несправедливость и гордость.

И две крупных слезы скатились по его загорелым щекам. Между тем среди свиты раздались голоса рыцарей:

– Немцы отходят! Освобождают поле!

Герольды отошли и вскоре все увидели, как они едут в гору на огромных своих конях, сверкая на солнце шелками, надетыми поверх лат.

* * *

Польские войска в стройном боевом порядке выступили из леса и зарослей. В середине стоял так называемый "чельный" полк, состоящий из страшнейших рыцарей, за ним другие полки, пехота и наемники. Благодаря этому между полками образовались две длинные улицы, по которым носились Зин-драм из Машковиц и Витольд. Последний, без шлема, в блестящих латах, похож был на зловещую звезду или на пламя, несомое вихрем.

Рыцари набирали в грудь воздуха и крепче усаживались в седлах.

Битва вот-вот должна была завязаться.

* * *

Тем временем магистр смотрел на выходящие из лесу королевские войска.

Он долго смотрел на число их, на распростертые, точно у гигантской птицы, крылья, на колеблемые ветром знамена, и вдруг сердце его сжалось от какого-то неведомого, страшного чувства. Быть может, духовным взором он увидел горы трупов и реки крови. Он, не боящийся людей, убоился, быть может, Бога, уже держащего там, в небесах, весы победы.

Впервые пришла ему мысль, какой страшный день наступил, и впервые почувствовал он, какую неизмеримую ответственность принял он на свои плечи.

И лицо его побледнело, губы стали дрожать, а из глаз покатались обильные слезы. Комтуры с удивлением поглядывали на своего вождя.

– Что с вами, государь? – спросил граф Венде.

– Вот уж, поистине, подходящее время для слез, – заметил жестокий Генрих, комтур

члуховский.

А великий комтур, Куно Лихтенштейн, надул губы и сказал:

– Я открыто ставлю это в укор тебе, магистр, потому что тебе подобает теперь воодушевлять рыцарей, а не расслаблять их. Воистину, не таким мы видали тебя прежде.

Но у магистра, несмотря на все усилия, слезы так и катились на черную бороду, точно в нем плакал какой-то второй человек.

Наконец он поборол себя и, обратив суровые глаза на комтуров, крикнул:

– По местам.

И каждый бросился к своему полку, потому что магистр сказал это очень твердо, а он протянул руку к оруженосцу и проговорил:

– Дай мне шлем.

* * *

Уже сердца в обеих ратях стучали, как молоты, но трубы еще не давали сигнала к бою.

Наступило ожидание, быть может, более тяжелое, чем сама битва.

На поле, между немцами и королевской армией, в стороне Танненберга, высилось несколько вековых дубов; местные крестьяне влезли на них, чтобы посмотреть на борьбу этих войск, столь огромных, что мир с незапамятных времен не видал подобных. Но за исключением этой кучки деревьев все поле было пусто, серо, страшно, похоже на мертвую степь. Только ветер гулял по нему, а сверху носилась смерть. Глаза рыцарей невольно обращались к этой зловещей, безмолвной равнине. Несущиеся по небу облака время от времени закрывали солнце, и тогда на равнину падал смертельный сумрак.

Вдруг поднялся ветер. Он зашумел в лесу, сорвал тысячи листьев, вырвался на поле, подхватил клочья сухой травы, взвил облака пыли и понес их в глаза орденских войск. И в тот же миг воздух дрогнул от пронзительного рева рогов, рожков, дудок, – и все литовское крыло сорвалось с места, как стая птиц. Они, по обычаю, сразу пустились вскачь. Кони, вытянув шеи и прижав уши, рвались изо всех сил вперед; всадники, размахивая мечами и копьями, с неистовым криком летели на левое крыло меченосцев.

Там как раз находился магистр. Волнение его уже прошло, и из глаз его вместо слез брызгали искры. И увидав несущуюся тьму литовцев, он обернулся к Фридриху Валленроду, начальствовавшему этой частью войск, и сказал:

– Витольд выступил первый. Начинайте ж и вы во имя Господне. И знаком руки он двинул четырнадцать полков железных рыцарей.

– Gott mit uns! [41] – закричал Валленрод.

Полки, наклонив копья, пошли сперва шагом. Но как камень, сорвавшись с горы, по мере падения катится все быстрее, так и они: с шага перешли на рысь, потом

поскакали и двигались страшные, непреодолимые, как лавина, которая неминуемо сносит и рушит все на своем пути.

Земля стонала и гнулась под ними.

* * *

Битва с минуты на минуту должна была растянуться и вспыхнуть по всей линии, и польские полки запели старую боевую песнь святого Войцеха. Сто тысяч покрытых железом голов поднялось к небу, и из ста тысяч грудей вырвался один гигантский голос, похожий на гром небесный:

Богородица Дева,
Богом избранная Мария.
Пред Господом,
Сыном Твоим.
Благословенная,
Мать Единая,
Вымоли нам отпущенье грехов.
Кирие, элейсон...

И вместе с пением сила вступала в их кости, и сердца готовились к смерти. И была такая невероятная, победная мощь в этих голосах и в этой песне, точно и в самом деле грома прокатились по небу. Дрогнули копья в руках рыцарей, дрогнули знамена и значки, дрогнул воздух, закачались ветки в лесу, а пробужденное эхо лесное стало им откликаться в глубинах, и звать, и как бы повторять для озер и лугов и для всей земли от края до края:

Вымоли нам отпущенье грехов..
Кирие, элейсон..
А поляки всё пели:

Услыши молитву нашу.
Дай нам то, чего просим:
Благочестивую жизнь на земле
И по смерти царство небесное..
Кирие, элейсон.

И эхо в ответ повторило: "Кирие, элейсон". А меж тем на правом крыле кипела уж лютая битва и все приближалась к середине.

Лязг оружия, конское ржание, страшные крики воинов мешались с пением. Но порой крики стихали, точно у людей не хватало дыхания, и в один из таких перерывов еще раз можно было слышать голоса поющих:

Адаме, пахарь Божий,
Ты сидишь в Господнем совете.
Посели же нас, чад своих,
Там, где царствуют ангелы,
Там радость,
Там любовь,
Там бесконечное созерцание Господа..
Кирие, элейсон...

И снова грянуло в лесу эхо: "Кирие, элейсон". Крики на правом крыле сделались еще громче, но никто не мог ни узнать, ни понять, что там происходит, потому что магистр Ульрих, с горы смотревший на битву, в это мгновение бросил на поляков двенадцать полков под предводительством Лихтенштейна.

В это время к польскому "чельному" полку, точно молния, подлетел Зин-драм из Машковиц и, указав мечом на приближающуюся тучу немцев, крикнул так громко, что лошади в первом ряду присели на задние ноги:

– Вперед! Бей!

И рыцари, нагнувшись к шеям коней, наклонив вперед копыта, двинулись.

* * *

Но Литва подалась под страшным напором немцев. Первые ряды, всех лучше вооруженные, составленные из богатейших бояр, устали собой землю. Следующие в бешенстве схватились с меченосцами, но никакое мужество, никакая выносливость, никакая человеческая сила не могли уберечь их от смерти и поражения. Да и как же могло быть иначе, если с одной стороны сражались рыцари, с головы до ног закованные в стальную броню, сидящие на конях, защищенных сталью, а с другой стороны – народ, правда, рослый и сильный, но сидящий на маленьких лошадках и прикрытый одними шурами?... И тщетно старался упрямый литвин добраться до кожи немецкой... Копья, сабли, острия дротиков, палицы, утыканые кремнями или гвоздями, отскакивали от железных панцирей, как от скалы или как от замковых стен. Тяжесть людей и коней давила несчастных людей Витольда; их рубили мечи и топоры, их пронзали и дробили им кости бердыши, топтали копыта коней. Напрасно князь Витольд бросал в эту ненасытную глотку смерти все новые полчища, напрасно было упорство, бесцельна ярость, бесцельно презрение к смерти и реки крови. Сперва разбежались татары, бессарабцы, валахи, а вскоре упала и стена литовцев, и дикий ужас овладел всеми воинами.

Большая часть войск побежала по направлению к озеру Любечу; за нею помчались вдогонку главные силы меченосцев, кося направо и налево с такой силой, что все побережье покрылось трупами.

Зато другая часть Витольдовых войск, меньшая, в которой были три смоленских полка, отступала к польскому крылу под напором шести немецких полков, а потом и под натиском тех, которые возвращались из погони. Но лучше вооруженные смоленские войска оказывали более действенное сопротивление. Здесь бой обратился в резню. Потоками крови приходилось немцам покупать каждый шаг, чуть ли не каждую пядь земли. Один из смоленских полков был вырезан почти поголовно. Два других защищались с отчаянием и бешенством. Но побеждающих немцев ничто уже не могло удержать. Некоторые полки их были охвачены каким-то боевым неистовством. Отдельные рыцари, шпоря коней и подымая их на дыбы, очертя голову с поднятым топором бросались в самую гущу врагов. Удары их мечей и бердышей стали чуть ли не сверхъестественны, и вся лавина их, рубя, топча и дробя смоленских коней и рыцарей, зашла наконец в бок передовым польским полкам, которые уже целый час боролись с немцами, которыми предводительствовал Куно Лихтенштейн.

У Куно дело шло не так легко, потому что больше было равенства в конях и оружии, а умение одинаково. Поляки даже наперли на немцев и отбросили их назад, особенно потому, что первыми налетели три страшных полка: краковский, гончий под началом Ендрка из Брехотиц и придворный, которым начальствовал Повала из Тачева. Но самая отчаянная битва разгорелась только тогда, когда, переломав копыта, схватились за мечи и топоры. Тогда щит ударялся о щит, воин сцеплялся с воином, падали лошади, падали знамена, ломались шлемы под ударами палиц и шестоперов, лопались нарамники, панцири, обливалось кровью железо, люди валились с седел, как подрубленные стволы сосен. Те из меченосцев, которым приходилось уже под

Вильной сражаться с поляками, знали, как упрям и тяжел этот народ, но новичков и заграничных гостей охватило удивление, подобное страху. Кое-кто уже невольно сдерживал коня, неуверенно смотрел вперед и, не успев решить, что делать, погибал под ударом поляка. И как град немилосердно сыплется из медно-желтой тучи на поле ржи, так же сыпались страшные удары, рубили мечи, топоры, без остановки и без жалости, звенели, как в кузнице, железные латы, смерть, точно вихрь, погашала жизни, стоны рвались из грудей, гасли глаза, а побледневшие лица юношей погружались в вечную ночь.

Летели вверх искры, выбитые железом, обломки дерева, знамена, страусовые и павлиньи перья. Копыта коней скользили по окровавленным, валяющимся на земле панцирям и конским трупам. Кто падал раненым, того топтали подковы.

Но не пал еще ни один из славнейших рыцарей польских. В суматохе и тесноте шли они вперед, выкрикивая имена своих патронов, как огонь идет по сухой степи, пожирая кусты и травы. Там Лис из Тарговиска первый победил храброго остеродского комтура Гамрата, который, лишившись щита, обмотал руку белым своим плащом и плащом закрывался от ударов.

Острием меча Лис разорвал плащ и рассек нараменник; он отрубил Гамрату руку, потом пронзил живот. Острие меча скрипнуло по костям позвоночника. При виде смерти своего вождя закричали от ужаса люди из Остероды, но Лис кинулся на них, как орел на журавлиную стаю, а когда Сташко из Харбимовиц и Домарад из Кобылян подскочили к нему на помощь, – все втроем стали они рубить и "лущить" немцев, как медведи лушат стручки, когда доберутся до поля, покрытого молодым горохом.

В этой же схватке Пашко Злодей из Бискупиц убил славного брата Кунца Адельсбаха. Кунц, увидев перед собой великана с окровавленным топором в руках, с топором, на котором вместе с кровью налипли человеческие волосы, испугался и хотел отдаться в плен. Но Пашко, не расслышав его среди шума, привстал в стременах и рассек ему голову вместе со стальным шлемом, как яблоко. Тотчас после этого прекратил он жизнь Лоха из Мекленбурга, и Клингенштейна, и шваба Гельмсдорфа, происходившего из могущественного графского рода, и Лимпаху из-под Могунции, и Нахтервитца, тоже из Могунции, и наконец стали отступать перед ним испуганные немцы влево и вправо, а он налетал на них, как на валящуюся стену, и каждую минуту видно было, как он приподымается в седле, чтобы нанести удар, потом сверкал топор – и немецкий шлем падал в пролет между лошадьми.

Там же могучий Енджей из Брехотиц, сломав меч об голову рыцаря, на щите у которого была нарисована сова, а забрало выковано в виде совиной головы, схватил его за руку, сломал ее и, вырвав у врага шестопер, убил его этим же шестопером. Он же взял в плен молодого рыцаря Дингейма, которого увидел без шлема и пожалел убивать, потому что тот был еще почти ребенок и смотрел на него детскими глазами. Тогда Енджей бросил его своим оруженосцам, не предугадывая, что берет себе зятя, ибо впоследствии этот рыцарь женился на его дочери и навсегда остался в Польше.

Но зато теперь яростно кинулись сюда немцы, чтобы отбить молодого Дингейма, происходившего из могущественного рода рейнских графов. Но передовые рыцари: Сумик из Надброжа, два брата из Пломыкова, Добко Охвя и Зых Пикна тут же насели на них, как лев на быка, и отбросили к полку святого Георгия.

Между тем с рыцарями-гостями схватился королевский придворный полк, которым начальствовал Циолек из Желихова. Там Повала из Тачева со своей

сверхъестественной силой валил людей и коней, крушил железные шлемы, как яичную скорлупу, один напал на целую толпу, а рядом с ним шли Лешко из Горая, другой Повала из Выхуча, Мстислав из Скшынна и два чеха, Сокул и Збиславек. Долго длилась тут битва, потому что на один этот полк обрушились три немецких; но когда двадцать седьмой полк Яськи из Тарнова подоспел на помощь, силы более или менее сравнялись, и немцев отбросили почти на полвыстрела из арбалета от того места, где произошло первое столкновение.

Но еще дальше отбросил их большой краковский полк, которым предводительствовал сам Зиндрам и во главе которого шел страшнейший из всех поляков – Завиша Черный. Рядом с ним сражались: брат его Фарурей, Флориан Елитчик из Корытницы, Скарбек из Гур, знаменитый Лис из Тарговиска, Пашко Злодей, Ян Наленч и Стах из Харбимовиц. Под страшной рукой Завиши гибли могучие воины, точно в этих черных латах сама смерть шла им навстречу; а он дрался, сдвинув брови и втянув ноздри, спокойный, внимательный, точно делал привычное дело; иногда он уверенно поднимал щит, отражая удар, но каждому сверканию меча его отвечал страшный крик пораженного воина, а он даже не оглядывался и шел, трудясь, вперед, как черная туча, из которой одна за другой вырываются молнии.

Познанский полк, с орлом без короны на знамени, тоже дрался не на живот, а на смерть, а архиепископский и три мазовецких полка старались его превзойти. Но и все прочие состязались в упорстве и смелости натиска. В се-радзском полку молодой Збышко из Богданца бросался, как вепрь, в самую гущу врагов, а рядом с ним шел старый, страшный Мацько, сражаясь рассудительно, точно волк, который если укусит – так насмерть.

Всюду искал он глазами Куно Лихтенштейна, но не мог разглядеть его в толпе и пока что высматривал других, на ком было побогаче платье, – и несчастен был тот рыцарь, которому пришлось с ним повстречаться. Неподалеку от богданецких рыцарей шел мрачный Чтан из Рогова. В начале схватки на нем разбили шлем, и теперь он дрался с непокрытой головой, пугая своим окровавленным, волосатым лицом немцев, которым казалось, что перед ними не человек, а какое-то лесное чудовище.

Сначала сотни, а потом тысячи рыцарей упали с обеих сторон на землю, и наконец под ударами неутомимых поляков стала колебаться немецкая орда. Но вдруг произошло нечто такое, что могло в один миг изменить судьбу всей битвы.

Возвращаясь из погони за литвой, разгоревшиеся и упоенные победой немецкие полки налетели на польское крыло сбоку.

Думая, что все королевские войска уже разбиты и битва решительно выиграна, они возвращались большими беспорядочными толпами, с криком и пением, как вдруг увидели перед собой жестокую резню и поляков, которые уже почти побеждали, окружая немецкие отряды.

Тогда меченосцы, наклонив головы, стали с изумлением смотреть на то, что происходит, а потом каждый из них разом дал коню шпоры и помчался в самый водоворот боя.

И так толпа немцев налетала за толпой, что вскоре целые тысячи их обрушились на утомленные боем польские полки. Немцы радостно закричали, видя подходящую помощь, и с новым усердием принялись бить поляков. Страшная битва закипела по всей линии, по земле заструились потоки крови, небо покрылось тучами и слышались глухие раскаты грома, точно сам Бог хотел вмешаться в бой.

Но победа стала склоняться на сторону немцев... Начиналось уже замешательство в польских рядах, уже озверевшие от битвы полки меченосцев в один голос запели победную песню:

Christ ist erstanden!..[42]

* * *

И вдруг случилось нечто еще более ужасное.

Один лежащий на земле меченосец ножом распорол брюхо коня, на котором сидел Мартин из Вроцимовиц, держащий большое, священное для всех войск краковское знамя с изображением коронованного орла. И конь, и всадник вдруг упали, а вместе с ними качнулось и упало знамя.

В один миг сотни железных рук протянулись за ним, а из всех немецких грудей вырвался крик радости. Им казалось, что это конец, что страх и переполох охватят теперь поляков, что настает час ужаса, избиения и резни, что им придется теперь только преследовать бегущих и рубить их.

Но их ждало кровавое и страшное разочарование.

Правда, польские войска закричали от отчаяния, как один человек, при виде падающего знамени, но в этом крике и в этом отчаянии был не страх, а ярость. Точно живой огонь упал на панцири. Как разъяренные львы, ринулись к этому месту страшнейшие воины из обеих войск; казалось, буря разыгралась вокруг знамени. Люди и лошади слились в один чудовищный водоворот, и в этом водовороте мелькали руки, звенели мечи, свистали топоры, лязгала сталь о железо; лязг, стоны, дикие вопли избиваемых – все слилось в один чудовищный рев, точно души осужденных вдруг отозвались из ада. Поднялась пыль, и из нее вырывались только ослепшие от ужаса лошади, без всадников, с налитыми кровью глазами и дико развивающейся гривой.

Но это продолжалось недолго. Ни один немец не вышел живым из этой бури, и вскоре опять над польскими полками взвилось отбитое знамя. Ветер качал его, развевая, и оно расцвело, как гигантский цветок, как знак надежды и знак гнева Божьего на немцев и победы для польских рыцарей.

Все войско приветствовало его криком триумфа и с таким неистовством кинулось на немцев, точно в каждом полку стало вдвое больше сил и солдат.

А немцы, избиваемые без милосердия, без передышки, окруженные со всех сторон, неумолимо настигаемые ударами мечей, секир, топоров, палиц, снова начали колебаться и отступать. Кое-где послышались мольбы о пощаде. Кое-где из свалки выскакивал какой-нибудь заграничный рыцарь, с лицом, побелевшим от страха и изумления, и бежал без памяти туда, куда нес его не менее испуганный конь. Большая часть белых плащей, которые носили на латах рыцари ордена, лежала уже на земле.

И тяжкая тревога охватила сердца орденских вождей, потому что они поняли, что все их спасение в одном магистре, который до сих пор стоял наготове во главе шестнадцати запасных полков.

А он, смотря с горы на битву, тоже понял, что минута настала, и двинул свои железные полки, как двигает ветер тяжелую, несущую беды градовую тучу.

* * *

Но еще раньше этого перед третьей польской линией, которая до сих пор не принимала участия в бою, явился на взмыленном коне все видящий и следящий за ходом битвы Зиндрам из Машковиц.

Там среди польской пехоты стояло несколько рот сильных чехов. Одна из них заколебалась еще перед боем, но пристыженная вовремя, осталась на месте и, бросив своего предводителя, горела теперь жаждой боя, чтобы храбростью искупить минутную слабость. Но главные силы здесь состояли из польских полков, в которые входили конные, но не имеющие рыцарского вооружения, бедные землевладельцы, а также пехота, составленная из мешан и множества мужиков, вооруженных рогатинами, тяжелыми копьями и косами, торчком насаженными на палки.

– Готовься, готовься, – громовым голосом кричал Зиндрам из Машковиц, молнией проносясь вдоль рядов.

– Готовься, – повторяли младшие военачальники.

Но мужики, поняв, что наступает время их работы, воткнули древка копий, цепов и кос в землю и, перекрестившись, стали поплевывать на свои рабочие, огромные ладони.

И зловещее это поплеывание пронеслось по всей линии, а потом каждый воин схватился за оружие и набрал в себя воздух. В этот миг примчался к Зиндраму оруженосец с приказом от короля. Он шепнул ему что-то на ухо задыхающимся голосом, а Зиндрам повернулся к пехоте, взмахнул мечом и крикнул:

– Вперед!

– Вперед! Стенкой! Равняйся! – раздались окрики начальников.

– Пошел! Бей их, собачьих детей!

И двинулись. А чтобы идти ровным шагом и не нарушать строя, они все стали хором повторять:

– Бого-ро-ди-це Де-во, ра-дуй-ся...

И они шли, как разлившаяся река. Шли наемные полки и мещане; шли крестьяне из Малой и Великой Польши; шли силезцы, бежавшие перед войной в королевство; шли мазуры из-под Элка, бежавшие от меченосцев. Все поле засверкало и заблестело от наконечников копий и длинных кос.

И они подошли.

– Бей! – закричали вожди.

– Ух!

И каждый ухнул, как здоровый дровосек, когда в первый раз замахнется он топором. А потом пошел рубить изо всех сил, покуда хватит дыхания.

* * *

Король, с высокого места следивший за всею битвой, рассылал оруженосцев и даже охрип от приказаний; наконец, увидав, что все войска уже в деле, он и сам стал рваться в бой.

Придворные не пускали его, опасаясь за священную особу государя. Жу-лава схватил за узду коня, и хотя король ударил его копьем по руке, не пускал. Прочие загородили дорогу, умоляя, прося и доказывая ему, что все равно исхода битвы не изменить.

Между тем величайшая опасность вдруг нависла над королем и над всей его свитой.

Магистр, следуя примеру тех, которые вернулись после преследования литовцев, и желая также заехать во фланг поляков, описал дугу, вследствие чего его шестнадцать полков должны были пройти недалеко от того холма, на котором стоял Владислав Ягелло.

Опасность была замечена тотчас, но отступить было некогда.

Успели только свернуть королевское знамя, меж тем королевский писарь, Збигнев из Олесницы, во всю прыть поскакал к ближнему конному полку; полк этот готовился к отражению неприятеля; им начальствовал Миколай Келбаса.

– Король в опасности. На помощь, – крикнул Збигнев.

Но Келбаса, недавно лишившийся шлема, сорвал с головы пропитанную потом и кровью шапочку и, показывая ее гонцу, вскричал в диком гневе:

– Смотри, как мы тут ничего не делаем. Сумасшедший. Разве ты не видишь, что на нас идет эта туча? Если мы двинемся туда, к королю, то как раз и ее навлечем туда же. Ступай прочь, а то я тебя проколю мечом.

И забыв, с кем он говорит, тяжело дышащий, все забывший от гнева, Келбаса на самом деле замахнулся на гонца; тот, видя, с кем имеет дело, а главное – что воин прав, поскакал назад к королю и повторил ему то, что слышал.

Тогда королевская стража стеной выступила вперед, чтобы грудью своей закрыть государя. Но на этот раз король не дал себя удержать и стал в первом ряду. Едва они построились, как немецкие всадники очутились уже так близко, что можно было различить гербы на щитах. Вид их мог вселить трепет в самое смелое сердце: это был цвет немецкого рыцарства. В блестящих латах, сидя на гигантских, как туры, конях, еще не уставшие от боя, в котором они до сих пор не принимали участия, свежие, шли они, как ураган, с топотом, шумом, шелестом знамен и значков, а сам великий магистр мчался впереди них в белом, широком плаще, который, развеваясь по ветру, казался гигантскими орлиными крыльями.

Магистр промчался уже мимо королевской свиты и спешил к месту главного боя: что была для него какая-то горсточка рыцарей, стоящих в стороне? Он и не догадался, что среди нее находится сам король. Но от одного полка отделился огромный немец. Не то он узнал Ягеллу, не то прельстили его серебряные королевские латы, не то хотел он похвастаться рыцарской смелостью, как бы то ни было он наклонил голову, выставил вперед копье и поскакал прямо на короля.

Король же ударил коня шпорами, и прежде чем его успели удержать, кинулся навстречу рыцарю. И они бы столкнулись в смертельном поединке, если бы не тот же

Збигнев из Олесницы, молодой секретарь королевский, равно искусный как в латыни, так и в рыцарском ремесле. С обломком копья в руке заехал он сбоку, ударил немца по голове, разбил на нем шлем и свалил врага на землю. "В тот же миг сам король ударил его копьем и изволил убить его собственноручно".

Так погиб славный немецкий рыцарь Дипольд фон Дибер. Коня его схватил князь Ямонт, а сам он лежал смертельно раненный, в белом плаще, надетом поверх стальных лат, и в золотом поясе. Глаза его потухли, но ноги еще несколько времени бились по земле, пока величайшая успокоительница людей, смерть, не покрыла голову его ночью и не успокоила навсегда.

Рыцари холминского полка бросились было, чтобы отомстить за смерть товарища, но сам магистр преградил им путь, и крича: "Herum! Herum!" [43], гнал их туда, где должны были решиться судьбы этого кровавого дня, то есть на место главного боя.

И снова произошло нечто странное. Правда, Миколай Келбаса, стоя вблизи, узнал врагов, но в пыли не узнали их прочие польские полки. Думая, что это литва возвращается в бой, они не приготовились к встрече немцев.

Наконец, Добко из Олесницы вырвался навстречу скачущему впереди магистру и узнал его по плащу, щиту и большой ладанке с мощами, которую тот носил на груди, поверх панциря. Но польский рыцарь не смел ударить копьем по ладанке, хотя во много раз превосходил магистра силой. Поэтому он только слегка ранил копьем коня магистра, а затем оба они описали дугу-и каждый вернулся к своим.

– Немцы! Сам магистр! – закричал Добко.

Услышав это, польские полки с места помчались во весь опор на врагов. Первым налетел со своим полком Миколай Келбаса – и бой разгорелся опять.

Но потому ли, что рыцари из Хелминской земли, среди которых было много людей польской крови, сражались не очень рьяно, потому ли, что уже ничто не могло удержать ярости поляков, как бы то ни было, это новое нападение не оказало такого действия, на какое рассчитывал магистр. Ему казалось, что это будет последний удар, наносимый силам короля, а между тем он вскоре заметил, что поляки наступают, бьют, рубят, точно железными клещами охватывают эти полки, его же рыцари скорее защищаются, чем нападают.

Напрасно возбуждал он их голосом, напрасно мечом гнал в бой. Правда, они защищались, и защищались сильно, но не было в них того размаха, того воодушевления, которое охватывает победные войска и которым пылали сердца поляков. В разбитых латах, в крови, покрытые ранами, с выщербленным оружием, лишившись голоса, польские рыцари все же в каком-то самозабвении рвались к сильнейшим кучкам немцев, а те стали то удерживать лошадей, то оглядываться назад, как бы желая знать, не замкнулось ли уже то железное кольцо, которое все страшнее охватывало их. И они отступали, медленно, но неизменно, точно желая незаметно выскользнуть из убийственного охвата. Вдруг со стороны леса донеслись новые крики. Это Зиндрам вел в бой мужиков. Тотчас зазвенели по железу косы, загрохотали панцири под цепями, трупы падали все чаще, кровь ручьем лилась на взрытую землю, и битва превратилась в одно огромное пламя, потому что немцы, поняв, что все их спасение в мече, стали защищаться с отчаянием.

* * *

И они все еще боролись, не зная, на чьей стороне победа, пока гигантские клубы

пыли не поднялись неожиданно с правой стороны от места битвы.

– Литва возвращается, – грянули радостные польские голоса.

И они угадали. Литва, которую было легче разбить, нежели победить, теперь возвращалась и с нечеловеческим воем мчалась, как вихрь, на быстрых своих лошадях прямо в бой. Тогда несколько комтуров, а во главе их Вернер фон Теттинген, подскочили к магистру.

– Спасайтесь, государь, – кричал побледневшими губами комтур Эльблонга. – Спасайте себя и орден, пока кольцо не замкнулось.

Но храбрый Ульрих мрачно взглянул на него и, подняв руку к небу, воскликнул:

– Не дай бог мне покинуть это поле, на котором полегло столько воинов. Не дай бог.

И крикнув людям, чтоб они шли за ним, он кинулся в водоворот битвы. Между тем подоспела литва, и началась такая сумятица, что глаз человеческий не мог уже ничего разобрать в ней.

Магистр, раненный острием литовского копья в рот и дважды раненный в лицо, некоторое время еще отражал усталой рукой удары, наконец какая-то рогатина ударила его по шее, и он рухнул на землю.

Одетые в шкуры воины облепили его, как муравьи.

* * *

Вернер Теттинген с несколькими полками спасся бегством, но вокруг остальных полков сомкнулось железное кольцо королевских войск. Бой превратился в резню и избиение. Меченосцы понесли поражение, каких мало было в истории человечества. И никогда во времена христианские, после борьбы римлян и готов с Атиллой и Карла Мартелла с арабами, не сражались войска столь многочисленные. Но теперь одно из войск уже почти все полегло, как сжатое поле ржи. Ослабели и те полки, которые магистр последними повел в бой. Хелминские войска воткнули в землю древка своих значков. Прочие немецкие рыцари соскочили с коней в знак того, что хотят идти в рабство, и стали на колени на залитой кровью земле. Весь полк святого Георгия, в котором служили иностранные гости, вместе со своим предводителем сделал то же самое.

* * *

Но бой еще продолжался, потому что многие полки меченосцев предпочитали умирать, нежели просить о пощаде и идти в рабство. Теперь и немцы, по обыкновению своему, сбились в огромный круг и защищались, как стадо кабанов, окруженное волчьей стаей. Польско-литовское кольцо охватывало этот круг, как удав охватывает тело быка, и сжималось все теснее. И снова взлетали руки, гремели цепи, лязгали косы, секли мечи, кололи пики, свистели топоры и секиры. Немцев рубили, как лес, а они умирали молча, мрачные, огромные, неустрашимые.

Некоторые, подняв забрала, прощались друг с другом, даря последние, предсмертные поцелуи; некоторые очертя голову бросались в самую середину боя, точно охваченные безумием; были такие, что уже сражались как бы сквозь сон; некоторые, наконец, убивали сами себя, пронзая горло мизерикордией, или же, сбросив нашейники, умоляли товарища: "Ударь".

Вскоре польская ярость разбила большое кольцо на несколько меньших, и тогда отдельным рыцарям снова стало удобнее убежать. Но вообще и эти разбитые кучки дрались с бешенством и отчаянием.

Мало кто преклонял колена, прося о пощаде, а когда страшный натиск поляков разметал наконец и меньшие кучки, уже даже отдельные рыцари не хотели живьем сдаваться в руки победителей. Это был для ордена и всего западного рыцарства день величайшего поражения, но и величайшей славы. Под огромным Арнольдом фон Баденом, окруженным мужицкой пехотой, образовался вал польских трупов, а он, могучий и непобедимый, стоял над ним, как стоит пограничный столб, вкопанный на холме, и кто приближался к нему на длину меча, тот падал, как пораженный молнией.

* * *

Наконец подскакал к нему сам Завиша Черный Сулимчик; но видя рыцаря без коня и не желая, вопреки рыцарскому уставу, нападать на него сзади, Завиша тоже соскочил с коня и стал издали кричать:

– Поверни, немец, голову и сдайся или встретиться со мной.

Арнольд обернулся и, узнав Завишу по черным латам, сказал себе:

"Смерть идет. Час мой пробил, потому что никто не уходил живым от него. Однако если бы я его победил, то снискал бы бессмертную славу, а может быть, и спас бы себе жизнь".

Сказав это, он подскочил к нему, и они столкнулись, как две бури, на земле, устланной трупами. Но Завиша до такой степени превосходил всех силой, что несчастны были родители, детям которых случалось встретиться с ним в бою. И под тяжелым его мечом лопнул выкованный в Мальборге щит, рассыпался, как глиняный горшок, шлем – и силач Арнольд упал с рассеченной пополам головой.

* * *

Генрих, комтур члуховский, тот самый заклятый враг польского народа, который когда-то поклялся, что прикажет носить перед собой два меча до тех пор, пока не обагрит обоих польской кровью, теперь тайком убежал с поля битвы, как лисица бежит из окруженного охотниками леса; вдруг путь ему преградил Збышко из Богданца. Видя над собой занесенный меч, комтур крикнул: "Erbarme dich meiner!" (помилуй меня) – и в ужасе сложил руки; услышав это, молодой рыцарь не успел уже сдержать руки, но сумел еще повернуть меч и только плашмя ударил им по толстому потному лицу комтура. А потом он бросил его своему оруженосцу; тот накинул Генриху на шею веревку и потащил его, как вола, туда, куда сгоняли всех пленных меченосцев.

* * *

А старик Мацько все искал на кровавом побоище Куно Лихтенштейна, и судьба, весь этот день благоприятствовавшая, наконец предала меченосца в его руки, в зарослях, где попряталась горсть убежавших от страшного разгрома рыцарей. Блеск солнца, отразившийся в латах, выдал преследователям их присутствие. Все они тотчас упали на колени и тотчас сдались, но Мацько, узнав, что среди пленных находится великий комтур ордена, велел поставить его перед собой и, сняв с головы шлем, спросил:

– Куно Лихтенштейн, узнаешь ли ты меня?

Тот, нахмутив брови и устремив взор на Мацьку, сказал:

– Я видел тебя при дворе в Плоцке.

– Нет, – отвечал Мацько, – ты видел меня и раньше. Ты видел меня в Кракове, когда я молил тебя спасти жизнь моему племяннику, который за необдуманное нападение на тебя был присужден к смерти. Тогда я поклялся перед Господом рыцарской честью, что разыщу тебя и встречу с тобой в смертельной схватке.

– Знаю, – отвечал Лихтенштейн.

И он гордо надул губы, хотя в то же время слегка побледнел.

– Но теперь я твой пленник, – продолжал он, – и ты опозоришь себя, если поднимешь на меня меч.

Лицо Мацько зловеще сморщилось и стало похоже на волчью морду.

– Куно Лихтенштейн, – сказал он, – меча на безоружного я не подыму, но я говорю тебе, что, если ты откажешься драться со мной, я велю повесить тебя, как собаку.

– У меня нет выбора, становись, – воскликнул великий комтур.

– На смерть, а не на рабство, – еще раз предупредил Мацько.

– На смерть.

И они сразились в присутствии немецких и польских рыцарей. Куно был моложе и увертливее, но Мацько до такой степени превосходил противника силой рук и ног, что в мгновение ока повалил его на землю и коленом придавил его живот.

Глаза комтура от ужаса выкатились на лоб.

– Прости, – простонал он.

Изо рта у него текла слюна и пена.

– Нет, – ответил неумолимый Мацько.

И приставив мизерикордию к шее противника, он два раза ударил. Тот захрипел. Кровь хлынула у него изо рта, предсмертная судорога рванула его тело, потом он выпрямился – и великая успокоительница рыцарей успокоила его навсегда.

* * *

Битва превратилась в резню и преследование бегущих. Кто не хотел сдаваться – погиб. Много бывало в те времена на свете битв и поединков, но никто не помнил такого разгрома. Под ногами великого короля пал не только орден меченосцев, но и все немецкие рыцари, поддерживавшие эту "передовую стражу" тевтонов, все глубже въедавшуюся в тело славянства.

Из семисот "белых плащей", бывших вождями этого германского нашествия, осталось едва пятнадцать. Более сорока тысяч тел лежало в объятиях вечного сна на месте

кровавого боя.

Разные знамена, еще в полдень развевавшиеся над огромным войском меченосцев, все попали в кровавые и победные руки поляков. Не осталось ни одного. И вот польские и литовские рыцари бросали теперь эти знамена к ногам Ягеллы, который, набожно подымая глаза к небу, взволнованным голосом повторял: "Так хотел Бог". К государю приводили также главнейших пленников. Абданк Скарбек из Гур привел щетинского князя Казимира; Троцновский, чешский рыцарь – Конрада, олесницкого князя; наконец, Пшедпелко Копидловский привел слабейшего от ран Георгия Герсдорфа, который под знаменем святого Георгия начальствовал надо всеми гостями-рыцарями.

Двадцать два народа помогало в этой борьбе ордену против поляков, а теперь писаря короля записывали пленников, которые, преклоняя колена перед государем, молили о милосердии и о праве съездить домой за выкупом.

Вся армия меченосцев перестала существовать. Польская погоня захватила огромный орденский обоз, а в нем, кроме людей, бесконечное множество возов, нагруженных цепями, припасенными для поляков, и вином, приготовленным для великого пира после победы.

* * *

Солнце склонилось к западу. Выпал короткий, но сильный дождь и прибил пыль. Король, Витольд и Зиндрам из Машковиц собирались спуститься на место боя. К ним стали привозить тела павших вождей. Литовцы принесли исколотое копьями, покрытое пылью и кровью тело великого магистра Ульриха фон Юнгингена и положили перед королем; он грустно вздохнул и, смотря на огромный труп, навзничь лежащий на земле, сказал:

– Вот тот, кто еще сегодня утром думал быть сильнее всех владык мира...

И слезы, как жемчужины, покатались по его щекам. И, помолчав, он снова заговорил:

– Но так как он пал смертью храбрых, мы будем прославлять его мужество и почтим его погребением, достойным христианина.

И он тотчас отдал приказание, чтобы тело старательно обмыли в озере, одели в богатые одежды и, пока не готов гроб, накрыли орденским плащом.

Между тем приносили все новые трупы. Пленники распознавали их. Принесли великого комтура Куно Лихтенштейна, с горлом, страшно перерезанным мизерикордией; принесли маршала ордена Фридриха Валленрода; великого гардеробмейстера графа Альберта Шварцберга; великого казначея Томаса Мерхейма; графа фон Венде, павшего от руки Повалы из Тачева; принесли более шестисот тел знаменитых комтуров и братьев. Слуги клали их одного за другим, а они лежали, как срубленные деревья, с обращенными к небу и белыми, как их плащи, лицами, с раскрытыми остекленевшими глазами, в которых застыло выражение гнева и гордости, боевой ярости и ужаса.

Над головами их водружены были отнятые знамена, все, сколько их было. Вечерний ветер то свивал, то развивал пестрые ткани, а они шумели, точно убаюкивая убитых. Издали виднелись озаренные закатом отряды литовцев, тащившие отбитые пушки, которые меченосцы впервые применили в полевой битве, но которые не причинили никакого вреда победителям.

На холме возле короля собрались величайшие рыцари; дыша утомленными грудями, смотрели они на знамена и на все эти трупы, лежащие у их ног, как смотрят покрытые потом жнецы на сжатые и связанные снопы. Трудный был день, и страшна была жатва, но вот уже наступал великий, радостный вечер Господень.

И неизъяснимое счастье озаряло лица победителей, ибо все понимали, что это был вечер, полагающий конец горю и трудам не только этого дня, но и целых столетий.

А король, хоть и отдавал себе отчет в величине поражения, все же смотрел, словно в изумлении, и наконец спросил:

– Неужели весь орден лежит здесь?

Тогда подканцлер Миколай, знавший пророчество святой Бригитты, сказал:

– Настал час, когда сокрушены их зубы и отсечена правая рука их...

И он поднял руку и стал осенять крестным знаменем не только тех, которые лежали вблизи, но и все поле между Грюнвальдом и Танненбергом. В озаренном зарею и очищенном дождем воздухе ясно виднелось огромное, дымящееся, кровавое поле битвы, с торчащими на нем обломками копий, рогатин, кос, с грудями трупов конских и человеческих; над этими грудями торчали кверху руки, ноги, копыта, и простиралось это скорбное поле смерти с десятками тысяч тел дальше, чем мог охватить взор.

Слуги бегали по этому необозримому кладбищу, собирая оружие и снимая латы с убитых.

А вверху, на румянном небе, уже кружились стаи ворон, галок и орлов. Они кричали и радовались при виде добычи.

* * *

И не только предатель-орден лежал у ног короля, но и вся сила немецкая, до сих пор волной заливавшая несчастные славянские земли, разбилась в тот день искупления о польские груди.

* * *

Так тебе, великое, священное прошлое, и тебе, кровь жертв, да будет слава и честь во веки веков.

XXX

Мацько и Збышко вернулись в Богданец. Старый рыцарь прожил еще долго, а Збышко в здоровье и силе дождался той счастливой минуты, когда из одних ворот Мальборга со слезами на глазах выезжал магистр ордена меченосцев, а в другие во главе войска въезжал польский воевода, чтобы именем короля и королевства принять в обладание город и всю страну, вплоть до седых волн Балтики.

Примечания

1

Платить наличными (лат.).

2

Исторический факт. (Примеч. автора.)

3

Скоец был равен двум грошам и составлял 1/24 часть гривны.

4

Комес (лат.) – звание, которым в Польше титуловали в XI–XII вв. высших чиновников.

5

Торг, гостиный двор (лат.).

6

Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя твое (лат.).

7

Добжинская земля была захвачена меченосцами на основании незаконного договора их с Владиславом Опольским.

8

Мир вам! (лат.).

9

Адский огонь (лат.).

10

Отроками на Руси (X–XI вв.) называли младших дружинников князей и крупных феодалов.

11

Уменьшительное от Пшецлав. (Примеч. автора.)

12

Вильк – волк. – Примеч. перев.

13

Школяры (лат.).

14

Все законы, любое право позволяют отражать силу силой и защищаться всеми средствами (лат.).

15

Распутную и пьяницу (лат.).

16

Женщину (лат.).

17

Бахусу (лат).

18

Служила (лат).

19

Прелюбодейка (лат.).

20

Супругу (лат.).

21

Помои (лат.).

22

Вовеки веков, аминь! (лат.).

23

Курпами называли обитателей лесных пущ по нижнему течению реки Нарев (Северная Мазовия).

24

Напр., Цимбарка, вышедшая за Эрнста Железного, Габсбурга.

25

Рыцарь Утер, влюбившись в добродетельную Игерну, жену князя Горласа, принял с помощью Мерлина вид Горласа и прижил с Игерной ребенка, впоследствии ставшего королем Артуром.

26

О таких случаях упоминает Виганд из Марбурга.

27

Как помнит читатель, дело происходило незадолго до Рождества. Облатки же

составляют у поляков необходимую принадлежность встречи Сочельника. Изготавливаются они при костеле, где и раздаются прихожанам заблаговременно. – Примеч. перев.

28

Опоясанный воин (лат.).

29

Ладно! Ладно! (лат.).

30

В случае смерти (лат.).

31

Се агнец Господень (лат.).

32

Господи, недостоин я (лат.).

33

Богородица, дева, радуйся (лат.).

34

Кто там? (нем.).

35

Остатки этой виселицы просуществовали до 1818 года.

36

По розам может он узнать, где покоилась моя голова (нем.).

37

Вечный покой (лат.).

38

В совершенные развалины превратил Мальборг (Мариенбург) Фридрих II, король прусский, после падения Речи Посполитой.

39

Предзамковое укрепление (нем.).

40

Солтыс – староста.

41

С нами Бог! (нем.)

42

Христос воскрес! (нем.)

43 Сюда! Сюда! (нем.)